



В РЕЙМОНТ-МУЖИКИ

WŁADYSŁAW
REJMONT

CHŁOPI

М.И.И.И.

В. РЕЙМОНТ

МУЖИКИ

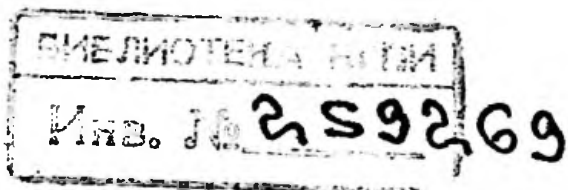
РОМАН

ТОМ

ВТОРОЙ

*Перевод
с польского
М. Абкиной*

ОА



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА •
1981

1

№ 170-07
1980

Оформление художника
А. Яковлева

1980 г. 11.11.80 11.11.80

© Оформление, Издательство
«Художественная литература»,
1981 г.

ВЕСНА

I

Была весна, час рассвета.

Апрельский день выходил из логова мрака и туманов лениво, как батрак, который лег спать сильно утомленный и, не выспавшись, должен встать на заре и тотчас идти в поле пахать.

Начинало светать, но вокруг царила еще немая тишина. Только слышно было, как часто-часто каплет роса с деревьев, спавших в густой мгле.

Синий и словно обрызганный росой полог неба уже чуть-чуть светлел над черной безмолвной землей, тонувшей во мраке.

Луга и поля в низинах заливал туман, похожий на молоко, вспененное при доении. Где-то в деревнях, еще невидимых, начинали перекликаться петухи.

Последние звезды меркли, как глаза, запорошенные сном. А на востоке, словно жар под остывшей золой, разгоралась алая заря.

Но вот предутренний туман заколыхался и, подобно водам в весенний разлив, тяжело хлынул на черные поля, а кое-где, как дым каминов, голубыми лентами поднимался к небу.

День наступал, боролся с бледнеющей ночью, а она, не желая уходить, прижималась к земле плотно, как мокрая шуба.

По небу медленно разливался свет, и оно как будто приближалось к земле. Уже кое-где выступали из тумана верхушки деревьев, на взгорьях выплывали из ночного мрака серые поля, мокрые от росы, тусклыми зеркалами мерцали озера, ручьи длинными влажными прядями тянулись сквозь редкую мглу.

Светало все больше, и в мертвенную синеву просачивалась утренний заря. Скоро она запылала в небе заревом еще невидимого пожара, и уже рассвело настолько, что вырвался вокруг черным кольцом леса и все виднее становилась дорога, окаймленная рядами тополей, которые гнулись будто устал от трудного подъема в гору. А деревни еще лежали в ставшемся низко тумане и только кое-где выступали на фоне утреннего неба, как черные камни из темной воды, да близкие деревья серебрились росой в блеске зари.

Сквозь туман еще не взошло, но чувствовалось, что оно вот-вот появится из охватившего небо зари и брызнет лучами на землю, а она, еще не совсем очнувшись, с трудом открывала затуманенные глаза и лениво потягивалась в блаженном полусне. Вокруг стало еще тише. Казалось, земля притаила дыхание, и только ветер, легкий, как сон ребенка, веял от леса, стряхивая росу с листьев.

Но вот в сероватом, оцепенелом сумраке рассвета, над сонными темными полями, словно в благоговейном безмолвном храме, зазвучала вдруг песня жаворонка...

Он сорвался откуда-то с пашни, взмахнул крылышками и зазвенел, как колокольчик из чистого серебра, поднялся к бледному небу, как душистый весенний побег, взлетал все выше, и все громче и громче разливалась над миром его песня в священной тишине восхода. А за ним и другие жаворонки радостными трелями возвестили всему живому наступление утра.

Скоро и чайки закричали на болотах, громко заклекотали аисты где-то в деревнях, еще не видных в сером сумраке.

Все ждало солнца.

И вот оно выплыло из-за дальних лесов, поднялось из багнии. Словно огромную, золотую, сверкающую огнями чашу вознесли над сонной землей невидимые руки, благословляя систем мир, все живое и мертвое, рождающееся и умирающее. Начинаясь священнодействие дня, и уже в природе, казалось, пало ниц перед его величием и умоляло, не смея поднять недостойные очи.

Настал день, необъятный океан радостного света.

Туман, как благовонный дым кадил, поднимался с земли и залитому золотом небу. Птицы подняли звонкий гам и крик, словно сливая свои голоса в горячей благодарственной молитве.



А солнце все росло, все выше и выше поднималось над черными лесом, над бесчисленными селениями и огромное, жгущее, покоряло землю могучей и сладостной силой.

В этот утренний час на песчаном пригорке у леса, позади стогов лушина, стоявших неподалеку от широкой пыльной дороги, показалась старая Агата, родственница Ивана.

Она еще осенью ушла побираться и теперь возвращалась в Ницы, как птицы всегда возвращаются весной в свои гнезда. Старая, дряхлая, слабая, Агата еле шла. Она касалась придорожную вербу, кривую, гнилую, которая дохнула в песках. В жалких лохмотьях, с котомками на спине, обвешанная четками, она шла, опираясь на палку, с какой всегда ходят нищие.

Она вышла из-за стогов и торопливо засемила по дороге, подняв к восходящему солнцу лицо, серое и сухое, как пустыне прошлогодние перелог. Ее выпуклые глаза сияли радостью. Еще бы! Ведь после долгой и тяжелой зимы она возвращалась в родную деревню! Вот она и бежала так, что четки бряцали и котомки то и дело сползали с плеч. От быстрой ходьбы спирало дыхание, болела грудь, и Агате приходилось останавливаться или замедлять шаг. Идти было все труднее, но она жадными глазами осматривала кругом, улыбалась серым полям в зеленоватой пыли, деревням, постепенно выплывавшим из туманной мглы, оголенным еще деревьям, сторожившим дорогу или стоявшим в поле, как одинокие часовые. Улыбалась всему, что видела вокруг!

Солнце поднялось уже так высоко, что видны были даже дальние окраины полей. Все сверкало в розовой пыли. Черная пашня жирно лоснилась на солнце, в канавах журчала вода, песни жаворонков звенели в прохладном воздухе. Кое-где под кустами еще белели последние пятна снега. И, как янтарные четки, качались на деревьях уцелевшие желтые листья. Но в местах, закрытых от ветра, и у затененных солнцем лужид пробивались уже золотистые стебельки молодой травы, иногда выглядывал желтый кончик одуванчика. Теплый ветер разносил влажный, сочный запах полей, лепиво нежившихся на солнце, и везде слышалась весна, везде, несмотря на легкий утренний сухой ветер, была такая ширь и свет, таким блаженством дышало все, что у Агаты душа рвалась вдаль — полетела бы, как жаворонок, как опьяненная радостью птица с криком несется над полями.

— Иисусе! Иисусе сладчайший! — вздыхала она и время от времени присаживалась, смотрела вокруг, словно вбирая весь этот мир в свое взволнованное сердце.

Гей! Ведь весна шла по бескрайним полям, и возвещали о ней голоса жаворонков, и солнце, и этот ласковый ветер, пожный, как поцелуй матери, и затаенное дыхание земли, стосковавшейся по плугу и семенам, и веселый шум и гомон вокруг, и воздух, теплый и живительный, словно насыщенный всем, что скоро станет зеленою, цветком и налитым колосом.

Гей! Весна шла, как юная царица в солнечном наряде, с губами алыми, как утренняя зорька, с голубыми косами вод. Она слетала от солнца в эти апрельские утра, неслась над землей и из своих распростертых благостных рук выпускала жаворонков, чтобы они возвещали людям радость, а за нею с веселым курлыканьем тянулись журавлиные стаи, проплывали в светлом небе вереницы диких гусей, над лугами кружили аисты, а у хат щебетали ласточки, и все крылатое племя с песнями летело домой из дальних краев. Где весна касалась земли краем солнечного одеяния, там всходила молодая травка, наливались клейкие почки, пробивались зеленые побеги, робко шелестели молодые листочки, рождалась новая, могучая, буйная жизнь. А весна шла дальше, по всему миру, от востока до запада.

Весна осеняла покосившиеся, прикившие к земле хаты, кроткими глазами заглядывала под крыши и будила изнеможенные, омраченные сердца людей, и люди выходили из темницы печалей с надеждой на лучшее, на обильный урожай, на счастье, о котором они так долго тосковали.

Зашумела на земле жизнь, как давно умолкший колокол, которому привесили новый язык, язык из солнечных лучей, и звонит он гордо, весело, будит все, что замерло, поет о таких делах, о таких чудесах и чарах, что все сердца радостно вторят ему и слезы сами льются из глаз. Воскресает в бессмертной мощи душа человеческая и в упоении счастья обнимает всю землю, весь мир, каждое деревце, каждый камень и каждое облачко, все, что она видит...

Это самое чувствовала и Агата, медленно ковыляя по дороге и пожирая глазами любимые, родные места. Она шла как пьяная, и только когда на колокольне липецкого костела защебетал маленький колокол, сзывая людей на молитву, старуха вдруг очнулась и опустилась на колени.

— Благодарю тебя, господи, за то, что по твоей свя-

той воле вернулась я домой... Что смилоствился ты падо мною, сиротой!..

Как тут было молиться, когда слезы внезапно хлыпущим дождем переполнили сердце и потекли по изможденному лицу! Агата только что-то бессвязно бормотала, руки у нее так тряслись, что она не могла найти четок, слова молитв куда-то улетучились из памяти, растеклись в душе капельками горячей росы. Наконец она порывисто встала и пошла дальше, внимательно оглядывая поля и порой шепча вслух какие-то молитвы, вдруг всплывшие в памяти...

Утро было уже в разгаре, туман совсем рассеялся, и Липцы открылись перед ней как на ладони. Они лежали в ложине, вокруг большого озера, голубевшего, как зеркало под легкой белой вуалью. Низенькие, приземистые избы широко расселись среди еще голых садов, как степенные кумушки, занятые разговором. Тут и там вился дым над крышами, сверкали на солнце окошки, ослепительно белели на фоне темных деревьев свежесыбеленные степы.

Агата уже различала каждую избу. На краю деревни, у дороги, по которой она шла, стояла мельница, и стук ее слышался все явственнее, а почти напротив, на другом конце, высились белые степы костела, окруженного могучими деревьями. Горели на солнце его окна и золотой крест на куполе, а неподалеку краснела черепичная крыша плетения.

Вокруг, куда ни глянь, темно-синим венком лежали леса, раскинулись необозримые поля, серыми гусеницами прилепали к земле дальние деревни, укрытые в садах, вился дорожки, окаймленные кустами и рядами склоненных деревьев, открывались песчаные холмы, кое-где поросшие можжевельником, блестела между хат узкая лента речки, вливавшейся в озеро.

А поближе к деревне широким кругом расходились липецкие земли, изрезанные на полосы, как будто растянули здесь под холмами огромный холст, раскроенный на куски. Полосы разделялись межами, на которых густо разрослись ветвистые груши, торчали большие камни, поросшие терновником. В золотом свете утра резко выступали грязно-серые перелогы, зеленоватые полосы озимей сменялись черными картофельными грядами или вспахан-ными по осени полосами, а в низинах, как жидкое стекло, сверкали ручейки.

За мельницей простирались рыжеватые луга, где бродили аисты, да капустные поля,— эти лежали еще под водой, видны были только островки мокрых гряд, блестящие, как спины пескарей, а над ними кружили белогрудые чайки. На распустьях стояли на страже кресты и статуи девы Марии, а над всем широким миром висело золотое солнце, звучали песни жаворонков. Доносился порой из хлебов тоскливый рев скота, гоготали где-то гуси, звучали громкие голоса людей. Временами налетал теплый, ласковый ветер и уносил куда-то все звуки, и тогда земля затихала, словно в глубоком раздумье.

Однако на полях почти нигде не видно было работающих. Только у самой деревни возились несколько женщин,— они разбрасывали по полю навоз, и острый, щеко-чущий запах носился в воздухе.

— Заспались, что ли, лентяи? День просто на редкость, а никто еще не вышел в поле... Земля так и просит плуга! — огорченно бормотала Агата.

И, чтобы быть еще ближе к полям, она сошла с дороги на тропинку за рвом, где маргаритки уже поднимали розовые ресницы навстречу солнцу и трава зеленела гуще, чем в других местах.

Поля были пустынные просто на удивление. Агата хорошо помнила, как прежние годы в эту пору они пестрели бабьими юбками, гудели песнями и криками. Она знала, что в такую погоду самая пора вывозить в поле навоз, начинать запашку и посев. А нынче — что же это такое? Один-единственный мужик ходит среди поля согнувшись и разбрасывает полукругом семена.

— Горох, должно быть, сеет так рано... Не Доминиковой ли парень — ведь это, кажись, их поля? Пошли вам господь урожай хороший, родимые! — умиленно прошептала Агата.

Идти было трудно, тропка была неровная, вся в свежих кротовинах, заваленная камнями, а местами болотистая. Но старуха не обращала на это внимания и с наслаждением, с нежностью всматривалась в каждую полянку, в каждую полосу.

— Ксендза рожь... Вот как славно, густо пошла! Ну, да ведь, когда я из деревни уходила, работник его тут пахал. А его преподобие сидел поблизости... Как сейчас помню!

И она ковыляла дальше, тяжело вздыхая и вода вокруг мокрыми глазами.

— А это вот Плосковых рожь... Видно, поздняя... илп, может, отсырела маленько.

С трудом нагнувшись, она потрогала дрожащими, старческими пальцами влажные стебли, погладила их любовно, как детские волосики.

— Боронова пшеница... Вот какой кусище поля! Ну как же, первый хозяин в Липцах! Да пшеница что-то пожелтела, промерала, что ли?... Зима тут, видно, была тяжелая... — рассуждала сама с собой Агата, замечая на полосах припикшей к земле, занесенной илом озими следы больших снегопадов и половодья...

Натерпелись люди немало, набедовались! — вздохнула она и, заслонив глаза ладонью, стала всматриваться в шедших ей навстречу мальчиков. — Кажись, племянник органиста, Михал, да кто-то из сынков... В Волю, должно быть, идут собирать с прихожан яйца к пасхе — ишь с какими корзинами!.. Да, не кто другой, как они!

— Слава Иисусу! — поздоровалась она, когда они подошли близко.

Ей очень хотелось поговорить с ними, но мальчики только буркнули в ответ: «Во веки веков» — и быстро прошли мимо, занятые оживленным разговором.

Пригорюнилась Агата.

«Ведь у меня на глазах выросли, а вот не узнают! Ну, да где же им помнить нищенку такую! А Михал порядком подрос, наверное, уже на органе в костеле играет...»

Размышляя так, Агата снова всматривалась в даль: из деревни шел какой-то еврей, гоня перед собой большого тельца.

— У кого купили? — спросила Агата.

— У Клембовой! — ответил еврей, удерживая бело-рыжего тельца, который упирался, все норовил повернуть назад и жалобно мычал.

— Не иначе как от Пеструхи. Ведь ее еще перед жатвой к быку водили... А может, и от Серой. Славный телок...

Она обернулась и посмотрела вслед тельцу любовным, хозяйским взглядом, но на дороге уже не было никого: теленок вырвался у еврея из рук и, задрвав хвост, мчался в деревню прямо через поле, а еврей бежал ему наперерез так быстро, что полы его халата развевались.

— Насыпь ему соли на хвост да попроси хорошенько, — может, и вернется! — удовлетворенно пробормотала Агата,

следа за этой погоней. — Вот и у Клембов на поле ни живой души!

Но раздумывать об этом было некогда — она подошла уже так близко к деревне, что чужла запах дыма, видела в садах проветривавшиеся перины. Она обводила все глазами, и сердце у нее так и прыгало от радости, от глубокой благодарности судьбе за то, что позволила ей дожить до этой весны и вернуться к своим, в родные места. Ведь она так тяжело хворала зимой и могла умереть среди чужих, но вот привел господь вернуться!

Только этой надеждой и жила она всю долгую зиму, только она укрепляла ее каждую минуту и защищала от морозов, нужды и смерти.

Агата присела под кустами, чтобы немножко успокоиться, раньше чем войдет в деревню. Но где там! Ее разбирала такая радость, что каждая жилка дрожала, а сердце билось мучительно, как пойманная птица.

— Есть еще добрые и милосердные люди на свете, есть! — шептала она, заботливо осматривая свои котомки. Да, она-таки прикопила немножко, будет на что ее похоронить!

Уж много лет она только о том и думала, чтобы, когда придет ее смертный час, умереть в родной деревне, в избе, на постели с периной, под образами, так, как умирают все почтенные люди. К этому последнему часу она всю жизнь готовилась, копила деньги. В эту мечту вкладывала всю свою душу.

На чердаке у Клембов стоял ее сундук, а в нем хорошая перина, подушки, простыни и наволочки, все чистое, новое, — она хотела, чтобы все было наготове. Да и негде ей было постлать это все — разве была у нее когда-нибудь своя изба или хотя бы своя кровать? Всю жизнь она ютилась по чужим углам, спала на соломе, в хлеву, где придется, где добрые люди позволяли ей голову приклонить. Никогда она не совалась к сильным и богатым, не роптала на долю свою, потому что твердо верила, что все на земле делается по воле божией и грешный человек не может ничего изменить. И только тайно, робко прося у бога прощения за гордыню, мечтала и молилась об одном — чтобы ее похоронили, как хоронят почтенных хозяек.

Вот и сейчас, из последних сил дотащившись до деревни, чувствуя, что конец ее близок, она стала торопливо припоминать, все ли у нее приготовлено, не забыла ли чего-нибудь.

Нет, есть все, что нужно! Она несла с собой восковую свечу, которую выпросила, когда ее наняли молиться над каким-то покойником, и бутылочку с освященной водой. Купила и новое кропило, и образок Ченстоховской божьей матери, который она, умирая, будет держать в руках. Приберегла несколько рублей на похороны... А может быть, хватит и на отпевание, хотя бы в костеле! О том, чтобы ксендз проводил ее на кладбище, она и думать не смела. Разве это возможно! Такая честь и счастье не каждому хозяину выпадает на долю! К тому же всех ее сбережений не хватит, чтобы уплатить за это.

Агата горестно вздохнула и поднялась. Мучил кашель, кололо в груди, она вдруг так ослабела, что едва передвигала ноги и каждую минуту приходилось отдыхать.

«Хоть бы до сенокоса дотянуть. Или до начала жатвы!» — мечтала она, радостно приглядываясь к хатам, которые были уже совсем близко. «А потом уже лягу и помру, пойду к тебе, Иисусе сладчайший!» — бормотала она робко, словно моля простить ей такие грешные надежды.

Но вдруг ее душу омрачила забота: кто же примет ее к себе в дом, чтобы она могла умереть спокойно?

«Поищу добрых, милосердных людей и денег немного им пообещаю, так скорее согласятся... Правда, кому охота возиться с чужими да беспорядок в избе устраивать?»

О том, что на это согласятся Клембы, ее родня, она и думать не смела.

«Столько детей, в избе теснота, а теперь куры и гуси сидят на яйцах, им тоже место нужно. Да и невелика честь для таких хозяев, чтобы у них в доме помирали нищенки!»

Так рассуждала она про себя без всякой горечи, поднимаясь на дорогу вдоль высокой плотины, которая не давала озеру разливаться по лугам и капустным полям.

Мельница стояла у самой плотины, но в таком низком месте, что ее запорошенные мукой крыши едва выступали над дорогой. Она работала, грохоча и содрогаясь.

А слева блестело озеро. Солнце купало золотистые косы в голубой от неба, тихой воде; на берегах, под глядевшими в озеро ольхами, гоготали и хлопали крыльями гуси, а на улицах, еще не просохших, с веселыми криками бегали ребятишки.

Все в Липцах было на прежнем месте, как тогда, когда она уходила, как всегда, спокон веку. Хаты теснились

по обе стороны озера, окруженные дворами и густо разросшимися садами.

Агата брела через силу, и только глаза ее быстро бегали вокруг и все примечали. В доме мельника, который стоял несколько в стороне от дороги и выглядел издали, пожалуй, не хуже какой-нибудь барской усадьбы, в открытых окнах колыхались от ветра белые занавески, а на крыльце сидела мельничиха, окруженная шумным выводком гусенят, желтеньких, словно из воска вылепленных, и, ловя то одного, то другого, прижимала к груди и гладила.

Агата поздоровалась с нею и тихонько прошла мимо, радуясь, что ее не учуяли собаки, гревшиеся на солнышке у дома.

Она перешла мост, под которым вода с шумом устремлялась на мельничные колеса. За мостом дороги расходились, словно две руки, обнимающие озеро.

Агата постояла минутку в нерешительности, но желание все осмотреть победило усталость, и она повернула налево, хотя эта дорога была длиннее.

Первой с краю стояла кузница. Она была заперта и безмолвна. У ее закоптелых стен валялся передок телеги, несколько ржавых плугов. Кузнеца нигде не было видно, а жена его в одной рубаше и юбке копала грядки в саду у дороги.

Агата останавливалась теперь перед каждой избой и, перегибаясь через низенькие изгороди, с любопытством заглядывала во дворы, в открытые окна и двери. Порой собаки лаяли на нее, но, обнюхав и как будто узнав свою, опять ложились и грелись на солнышке.

Она шла медленно, шаг за шагом, еле переводя дух от усталости, а еще больше — от радостного волнения.

Шла тихо, как ветерок, который порой пробегал по озеру и шелестел в рыжих ветвях ольх. Серебряная и пеприятная, она сливалась с этими плетнями, с этой подсыхающей землей, с легкой тенью, падавшей от обнаженных деревьев, и никто не обращал на нее внимания.

А она от души радовалась тому, что все видит таким же, каким оставила осенью.

В хатах готовили завтрак, — из труб поднимался дым, а кое-где из открытых окон доносился запах вареного картофеля.

Кричали дети, тревожно гоготали гуси, сторожившие своих гусенят, и все же в деревне было до страшности тихо

а пусто. Солнце стояло уже высоко, сеяло на землю частое золото и гляделось в озеро, а никто не спешил в поле, не стучали телеги, не скрипели плуги, выезжая на пашню.

«На ярмарку, что ли, мужики уехали?» — подумала Агата, еще внимательнее приглядываясь к избам.

Амбар войта уже издали желтел свежим тесом среди беззащитных садов, а на избе Гульбаса, стоявшей рядом, соломенная крыша так растрепалась, что видны были решетки, торчавшие как голые ребра.

— Ветром сорвало, а им, лентяям, чинить неохота! — пробормотала Агата.

Дальше, в старой, покосившейся избенке жили Прытки. Битые стекла были заткнуты соломой.

А вот и хата солтыса, построенная по старинке, фасадом к дороге. За нею изба Плошков, разделенная на две половины.

Дальше живут Бальцерки; дом их узнаешь сразу, он заметный, потому что девушки чисто выбелили серые стены и покрасили голубой краской оконные рамы.

А там, в старом большом саду, жилье Боруны, первого хозяина и богача в Липцах. Солнце играет в чистых стеклах, стены сверкают, словно только что выбеленные. Двор у них просторный, все службы стоят в ряд, такие крепкие и нарядные, что не у всякого и хата такая есть. Плетни пелехоньки, и все в таком порядке, — у любого голландца-колониста не лучше.

Дальше изба Голубов. Агата все избы знала наперечет, помнила, как молитву. И повсюду сегодня было тихо и пусто, только в садах краснели развешенные перины и разная одежда, да кое-где мелькали женщины, копавшие грядки.

В защищенных от ветра уголках огородов из сгнивших головок высаженной капусты уже росли зеленые косички, а под стенами поднимались из серой земли бледные ростки лилий, всходила рассада под прикрытием терновых кустов. На деревьях наливались клейкие почки, под плетнями везде буйно росли крапива и бурьян, а кусты крыжовника оделись светлой молодой зеленью.

Самая настоящая, словно с неба упавшая весна сияла вокруг, пульсировала в каждой комке набухшей земли, а в Липцах царил такая унылая, такая необычная тишина!

— Что-то ни единого мужика не видно! Не иначе как на суд уехали или на сход их всех позвали! — рассуждала Агата, входя в открытые настежь двери костела.

Обедня уже кончилась, ксендз исповедовал прихожан. У исповедальни на скамьях сидели, дожидаясь очереди, десятка полтора мужиков из дальних деревень, безмолвные и сосредоточенные. Только изредка слышались тяжелые вздохи или слова молитвы.

От лампы, висевшей на шнуре перед главным алтарем, тянулись голубые лучи к высоким окнам, за которыми сияло солнце и чирикали воробьи, часто залетая в костел и носясь под сводами со стебельками в клювах. Порой ласточки, звонко щебеча, влетали в раскрытую дверь, кружили, как слепые, в холодной тишине у стен и спешили улететь опять на свет божий.

Агата прочитала только краткую молитву — она торопилась; очень уж ей хотелось поскорее увидеть Клембов. Выйдя из костела, она столкнулась лицом к лицу с Ягустинкой.

— Агата! — вскрикнула та с удивлением.

— Да, вот жива еще, хозяйюшка, жива!

Агата хотела поцеловать у нее руку, но та не дала.

— А говорили, будто ты уже ноги протянула где-то в теплых краях... Ну, видно, легкий хлеб Христов тебе не впрок — похоже, что ты на ладан дышишь! — говорила Ягустинка, критически ее разглядывая.

— Твоя правда, хозяйюшка, уж не знаю, как и дотащилась сюда. Скоро, скоро богу душу отдам!

— К Клембам спешишь?

— А куда же еще? Родня!

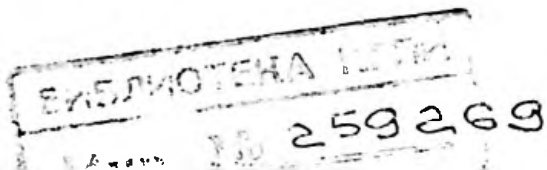
— Они тебе обрадуются: котомки-то, я вижу, полнехоньки! Да и денежки, наверное, в узелках припрятаны. Теперь они тебя с великим удовольствием за родню признают!

— А здоровы они, не знаешь? — спросила Агата, расстроенная этими пасмешками.

— Здоровы. Только Томек прихворнул маленько, так теперь в остроге лечится.

— Клемб! Томаш! В остроге! Не шути ты так, мне не до смеху!

— Правду тебе говорю. И еще скажу, что он не один сидит, а в хорошей компании — вместе со всей деревней! Да, да, и богатство не помогает, когда суд за решетку посадит да двери крепко замкнет!



— Иисусе Христе, царица небесная! — ахнула осто-беневшая Агата.

— Беги скорее к Клембовой, там тебя угостят новостями слаще меда! Ха-ха-ха! Празднуют мужички на славу! — язвительно фыркала Ягустинка, и ее злые глаза сверкнули ненавистью.

Агата плелась, как оглушенная, все еще отказываясь верить тому, что услышала. По дороге она встретила несколько знакомых женщин; они здоровались с ней ласково, заговаривали о том о сем, но она, казалось, ничего не слышала. Она дрожала от возраставшей тревоги и парочно замедляла шаги, чтобы оттянуть ту минуту, когда подтвердится ужасная новость. Долго сидела у ограды плебанин, тупо глядя на дом ксендза. На крыльце стоял на одной ноге апст, наблюдая за собаками, которые возились на желтых дорожках сада, а Амброжий и служанка ксендза обкладывали свежим дерном цветник, уже рыжевший молодыми ростками.

Наконец, немного собравшись с силами, Агата тихонько вошла во двор Клембов. Дом их стоял рядом с плебанией.

Подходила с трепетом, то и дело хватаясь за плетень и тревожно обводя взглядом сад и дом в глубине двора. Все было тихо. Дверь в сени была открыта настежь, на дворе разлеглась в луже свинья с поросятами, да куры усердно разгребали навоз.

Подобрав пустую лохань, Агата вошла в большую темповатую горницу.

— Слава Иисусу! — едва выговорила она.

— Во веки веков. Кто там? — отозвался через минуту голос из чулана.

— Это я, Агата! (Боже, как у нее колотилось сердце!)

— Агата! Ну что вы скажете, люди добрые! Агата! — быстро заговорила жена Клемба, появляясь на пороге с полным фартуком пискливых гусенят. Старые гусыни, шипя и гогоча, шли за ней.

— Ну, слава тебе, господи! А говорили, будто ты еще на святках померла, только никто не знал где, и мой даже собирался в канцелярию съездить — разузнать. Садись, устала небось! Вот гусенята у нас вывелись...

— Ишь сколько, хорошо вывелись!

— Да, от пяти гусынь будет без малого шестьдесят штук. Ну, пойдем на крыльцо, надо их покормить и приглядеть, чтобы старые их не потоптали.

Она осторожно спустила гуссят из фартука на землю, и они закопошились у ее ног, как желтенькие клу-бочки, а старые гуси, радостно гогоча, водили над ними клювами.

Клембова принесла на дощечке мелко изрубленное вареное яйцо, перемешанное с крапивой и кашей, и, сев на корточки, зорко следила за старыми гусями, которые клевали и топтали маленьких и все норовили украсть у них корм.

— Все с отметинами будут,— заметила Агата, садясь на завалинку.

— Да, хорошая порода. Органистиха поменялась со мной яйцами — давала ей по три за одно... Ну, хорошо, что ты уже воротилась!.. Работы столько, что не знаю, за что раньше братья.

— Я сейчас... сейчас примусь... Только немножко отдохну... Хворала я и совсем из сил выбилась. Вот только отдышусь и сейчас...

Она хотела встать, взяться за какую-нибудь работу, но пошатнулась, привалилась к стене и со стоном соскользнула на землю.

— Эге, да ты, я вижу, совсем извелась, не работница ты теперь, нет! — сказала Клембова тише, глядя на ее синее, отекшее лицо и странно искривленное тело.

Она поняла, что от Агаты не только не будет никакой помощи, но еще, пожалуй, хлопот с ней не оберешься. Агата, видимо, прочла эти мысли в озабоченном и хмуром лице хозяйки и сказала робко, заискивающе:

— Не бойся, я у вас места занимать не буду и к миске не полезу, пет! Вот передохну маленько и пойду... Я только хотела всех вас повидать, узнать, как вы тут... А я уйду... — Глаза ее наполнились слезами.

— Да я тебя не гоню, сиди! А захочешь уйти — воля твоя.

— А хлопцы где? Наверное, в поле с Томеком? — спросила наконец Агата.

— Так ты ничего не знаешь? Все в остроге!

Агата только руки заломила в ужасе.

— Говорила мне Ягустинка, да я ей не поверила!

— Она сказала чистую правду.

Клембова, вспомнив о своем горе, выпрямилась, и по ее исхудавшему лицу потекли крупные слезы.

Агата смотрела на нее во все глаза, не смея больше спрашивать.

— Господи Иисусе! В деревне как будто Страшный час настал, когда всех забрали и в город увезли. Последний час настал, говорю тебе! Дивлюсь, как это я еще живу и вижу за белый свет! Вот уж завтра будет три недели, а мне снится, будто это было вчера. Остались дома только Матек и девки — они сейчас навоз повезли в поле — ну и сирота несчастная!.. Пошли прочь, окаянные! Собственных детей топчут, как свиньи! — крикнула она вдруг на гусей и стала сзывать гусенят, которые всей стаей вслед за матерями убежали во двор.

— Пусть их побегают, ворон нигде не видать, — сказала Агата. — А я за ними присмотрю.

— Где тебе за гусями гоняться, шевельнуться не можешь!

— Да мне уже маленько полегчало, как только я ваш порог переступила.

— Ну, тогда постереги... А я тебе поесть соберу. Может, молочка согреть?

— Спаси тебя Христос, да нынче ведь вербная суббота, молочка пить не полагается. Дай кружку кипятку, а хлеб у меня есть, я его накрошу туда и поем на славу.

Клембова тотчас принесла в чашке кипятку с солью, кружка накрошила в него хлеба и принялась медленно есть, дала на каждую ложку. А Клембова присела на пороге и следя глазами за гусенятами, щипавшими траву под плетнем, начала рассказывать:

— Из-за леса все вышло. Пан тайком от нас продал его евреям. И те сразу стали рубить. Обида-то нам какая... А управы искать не у кого. Что же было делать? Кому жаловаться? К тому же пан так на всех лицецких озлился, что ни одного человека на работу не нанял. Ну, мужики сговорились и всей деревней пошли свое добро оборонять. Говорили, что целую деревню не засудят. Да никто и не думал, не гадал, что до этого дело дойдет: ведь свое отстаивали, так за что же карать? Пошли на вырубку, побили лесорубов, потому что они добром не отступились, побили дворовых и всех прогнали из лесу... Своего добились — и правильно сделали, потому что, пока нашу часть не выделят, помещик права не имеет лес трогать. Из наших тоже немало народу перепортили; старого Борыну привезли с разбитой головой, это его лесник так отделал, а Борынов Айтек за отца потом лесника убил.

— Господи Иисусе! Насмерть убил?

— Насмерть... А старик до сих пор хворает, лежит без

памяти. Ему всех больше досталось, да и другим тоже немало: Шимеку Домишиковой ногу перешибли, Матеуша Голуба так избили, что пришлось его домой на санях везти. Стаху Плошке голову разбили, пострадали и другие, не помню уж, кто и как. Да никто не плакался, не унывал, довольны были, что отстояли лес. Воротились с песнями, весело, как после победы на войне, и всю-то ночь на радостях пили в корчме, а тем, кто лежал пластом, носили водку домой.

Ну, а на третий день, в воскресенье, с самого утра шел мокрый снег и такая слякоть была, что носа на двор высунуть не хотелось. Только что мы собрались в костел, вдруг Гульбасовы парни как закричат на улице: «Стражники едут!»

Люди очухаться не успели, понаехало их человек тридцать, а с ними и чиновники и весь суд. Остановились у ксендза. И не рассказать, что творилось, когда начали судить, допрашивать, записывать и людей одного за другим под стражу брать. Никто не отпирался, все были уверены, что дело наше правое, и все, как на духу, говорили чистую правду. Только к вечеру кончился допрос, и хотели они всю деревню, с бабами вместе, забрать, но тут поднялся такой крик, ребятишки ревели, а мужики уже начали колья искать. Пришлось ксендзу с начальством потолковать — и баб не тронули, даже Козлову не взяли, а она здорово ругалась и грозилась. Только мужиков увезли в острог, а Антека Борыну даже веревками приказали связать.

— Батюшки! Вереvками!

— И связали, а он веревки-то разорвал, как гнилые нитки! Начальство даже перепугалось — думали, что он ошалел. Стал перед ними да так прямо в глаза и говорит:

— Вы меня крепко в кандалы закуйте и стерегите, не то всех вас убью и на себя руки наложу!..

Это он не в себе был оттого, что отца убили... Сам и руки протянул, чтобы кандалы надели, и ноги подставил. Так его и повезли...

— Мать божья! Иисусе милостивый! — стонала Агата.

— Все мне видится, как их брали... До смерти не забуду. Взяли моего с хлопцами... Взяли Плошковых и Прычковых... И Голубов. Взяли Вахников и Бальцерков, взяли Сохов... А других еще сколько! Почитай больше полсотни мужиков в тюрьму угнали. Что тут было! Никакими сло-

вами не опишешь! Какой плач поднялся, какой крик, какая ругаь страшная... А теперь весна подошла, снег нынче быстро стоял, земля подсохла, так и просит вспашки! Пора пахать, сеять, пора работать, а работать-то пекому! Остались в деревне только войт, кузнец да несколько стариков, таких, что еле ноги волочат, а из парней один Ясек, дурачок этот. А тут и рожать приходит время, иные бабы уже слегли, коровы тоже телятся, птицу выводить пора. Да и о своем мужике каждой приходится думать, возить то еду, то денег, то чистую рубаху. Дела столько, что рук не хватает. Самим не управиться, а работников из других деревень теперь не наймешь, — каждому свое прежде обработать нужно.

— А наших скоро выпустят?

— Кто же это знает! Ездил к начальству ксендз, ездил войт — всем один ответ: когда следствие кончится, тогда отпустим, а суд будет потом. Три недели прошло, и ни один еще не вернулся. В четверг Рох тоже ездил узнавать.

— А Бoryна жив еще?

— Жив, но еле дышит, без памяти лежит, как колода. Привозила Ганка и докторов и знахарей — никто не помог.

— Уж если человеку пришла пора помирать, разве доктора помогут!

Обе замолчали. Клембова смотрела через сад на далекую тополевую дорогу, ведущую в город, и тихо плакала.

Потом, готовя обед, она постепенно рассказала все, что произошло в деревне за эту зиму и о чем Агата и ведать не ведала.

Старуха только руками разводила да гнулась к земле от ужаса и удивления. Эти новости ладали на нее, словно камни, и наполняли ее такой скорбью и болью, что она тоже заплакала.

— Боже ты мой, ходила я по миру и все думала о Липцах, а никогда мне и на ум прийти не могло, что тут такие дела творятся... Да я за всю свою долгую жизнь о таком не слыхивала! Нечистый тут засел накрепко, что ли?

— Видно, что так!

— А может, это кара божья за злобу людскую, за грехи?

— Как богу не карать за такой смертный грех, какой сотворили Антек с мачехой? А тут и новые грехи творятся у всех на глазах!

Агата боялась спрашивать, подпала только дрожащую руку и стала торопливо креститься, шепча молитву.

— Такое несчастье постигло всю деревню, и Борына лежит без памяти, а говорят, — Клембова понизила голос и боязливо осмотрелась по сторонам, — говорят, Ягуся уже с войтом спуталась... Аптека нет, Матеуша нет, все другие парни тоже в тюрьме, так для нее любой хорош!.. О господи! — Она заломила руки.

Агата уже и не откликнулась. Она вдруг почувствовала такую усталость и так была потрясена услышанными новостями, что ушла в хлев поспать.

Только на закате побрела она в деревню к знакомым, а вернулась, когда у Клембов ужинали.

Ей была приготовлена ложка и место за столом — рядом с хозяйкой. Ела Агата очень мало, как привередливый ребенок, и все время тихо рассказывала о тех местах, куда ходила, о том, что видела на свете, и все немало дивились, слушая ее.

А когда наступил вечер, догорели последние отблески зари в окнах и деревня совсем затихла, в избе зажгли огонь и стали понемногу готовиться ко сну. Агата перетаскивала свои котомки поближе к лампе и начала доставать оттуда привезенные подарки.

Все обступили ее тесным кольцом, затаив дыхание, следя за нею разгоревшимися глазами.

А она сначала раздала всем по освященному образку, потом девушкам бусы, да такие красивые, — они так и переливались всеми цветами! В избе поднялся восторженный визг, девушки, толкая друг друга, примеряли их перед зеркалом и любовались собой, надувая шеи, как индюшки. В котомке нашлись и отличные ножи для парней, и целая пачка махорки для Томаша, а напоследок вынула Агата для хозяйки широкий плоский воротничок с цветной каемкой. Клембова даже руками всплеснула от восторга.

Все радовались подаркам, не раз и не два любовались ими, а Агата, не менее их довольная, с гордостью объясняла, сколько каждая вещь стоит и где куплена.

Они сидели еще долго, до поздней ночи, разговаривая об отсутствующих.

— Так тихо на деревне, что даже страх берет, — сказала Агата, когда уже все примолкли. — А бывало, весною в эту пору все ходуном ходит от криков да смеха!

— Деревня теперь — как открытая могила. Только плитой закрыть да крест поставить... И помолиться-то некому, некому заупокойную обедню ксендзу заказать... — грустно подтвердила Клембова.

— Правда!.. Ну, хозяйюшка, позволь уж мне па чердак пойти лечь, кости разболелись с дороги, и глаза слипаются.

— Ложись, где приглянется, места хватит.

Старуха собрала свои сумки и, выйдя в сени, начала взбираться по лесенке на чердак. Клембова крикнула ей вслед в открытую дверь:

— Да, чуть не забыла тебе сказать: перинку твою мы взяли из сундука. Марцыся хворала оспой на масляной, холод был такой, а укрыть нечем, так мы у тебя заняли. Перина уже проветрена, и хоть завтра можно будет отнести ее паверх...

— Перину!.. Что ж, ваша воля... Коли нужна была... Конечно.

Агата не договорила — что-то сдавило ей горло. Ощупью добралась она до сундука и, сев на корточки, подняла крышку, стала торопливо дрожащими руками шарить в нем, ощущивать свое приданое к смертному часу.

Да... Перины нет. А ведь оставила совсем новую. В чистом чехле. Ни разу на ней не спала... Столько времени по перышку собирала на пастбищах, чтобы умереть на перине, как все порядочные хозяйки. А ее отняли!..

Ее душили слезы, сердце готово было разорваться от боли.

Долго молилась она, долго плакала и горько жаловалась Иисусу на свою обиду.

Должно быть, час был уже поздний, и где-то пели петухи, возвещая не то полночь, не то перемену погоды.

II

На следующий день было вербное воскресенье.

Уже совсем рассвело, но до восхода солнца было еще далеко, когда из Бoryнoвoй избы выпала Ганка, укутанная в платок, потому что было довольно холодно.

Она выглянула на черневшую за плетнем дорогу, мокрую от росы, а кое-где и посеребренную инеем. Везде было еще пусто, ни признака жизни. Рассвет погожего дня одевал голубой ризой оцепеневшие от холода верхушки деревьев, но под плетнями еще робко таились последние ночные тени.

Вернувшись на крыльцо и став на колени с трудом, так как она со дня на день ожидала родов, Ганка стала молиться, блуждая вокруг заспанными глазами.

День понемногу разгорался белым заревом, утренняя заря словно сквозь сито просачивалась, осыпая огневыми брызгами восточный край неба, который поднимался все выше и выше, как золотой балдахин над еще невидимой, но уже ослепляющей своим блеском дароносицей.

Ночью подморозило, и все плетни, мостки, крыши и камни сверкали инеем, а деревья стояли в пушистом белом облаке.

Деревня еще спала, скрытая в сумраке лощины, и только некоторые избы, те, что стояли ближе к дороге, выделялись белыми стенами. По затуманенной глади озера тянулись длинные темноватые полосы течения, похожие на застывающее жидкое стекло.

В тишине непрерывно стучала мельница и невидимый ручей, таинственно журча, струился по камням.

Петухи раскричались уже вовсю, а в садах звенел хор птиц, когда Ганка очнулась от сморившей ее дремоты. Натруженное, неотдохнувшее тело просило отдыха, но она встряхнулась, протерла глаза и, мысленно припоминая слова молитвы, сошла во двор посмотреть на скот и будить Петрика и Витека.

Прежде всего она заглянула к борову. Он сделал усилие подняться на передние ноги, но не мог — очень уж был жирен — и, повалившись на толстый зад, водил рылом в хрюкал, пока Ганка размешивала ему пойло.

— Ишь как разжирел, на ногах не устоишь! Сала на тебе будет не меньше, как на четыре пальца! — Она с удовлетворением пощупала ему бока.

Потом открыла дверь в курятник и бросила за порог для приманки горсть свиного корма. Куры разом слетели с насестов, а петухи громко запели.

Запертые рядом гуси встретили ее шипением и гоготаньем. Гусаков она выгнала во двор, и они немедленно затеяли драку с курами, а из-под сидевших в гнездах гусынь стала вынимать яйца и просматривать их на свет.

— Того и гляди вылупятся! — вслух подумала она, уловив едва слышное постукивание клювов в яйцах.

Когда она шла к конюшне, уже и Лапа вылез из своей конуры. Он потягивался и зевал, не обращая внимания на воинственно шипевших на него гусаков.

— Ах ты лодырь, спит всю ночь, как батрак. Нет того, чтобы дом посторожить!

Пес завилял хвостом, радостно залаял, потом перемахнул через кур, так что полетели перья, и стал прыгать

Ганке на грудь, лизать ей руки. Волей-неволей пришлось его погладить.

— Не всякий человек так ласку чувствует, как этот пес. Знает, бестия, хозяев!

Она выпрямилась и подняла глаза к седым от изморози крышам, где в эту минуту ласточки, сидевшие рядом на карнизе, мелодично защебетали.

— Петрик! Белый день на дворе! — крикнула она, стуча кулаком в дверь конюшни, и, услышав его бормотанье и лязг отодвигаемого засова, открыла соседнюю дверь в хлев.

Коровы лежали рядом перед яслями.

— Витек! Спит, чучело, как после свадьбы!

Мальчик сразу проснулся, соскочил с нар и стал торопливо натягивать штанишки, виновато бормоча что-то.

— Подбрось коровам сена, пусть поедят перед доением, и сейчас же иди в дом картошку чистить! А Лысуле сена не давай, пусть сама ее кормит, — добавила она резко. Лысуля была корова Ягуси.

— Так она ее кормит, что корова ревмя ревет и с голоду подстилку жрет.

— Пусть подышает, не мой убыток! — зло отрезала Ганка.

Витек еще что-то буркнул, но как только хозяйка вышла, шлепнулся поперек нар, как был, с подтяжкой в руке, чтобы еще хоть пять минут подремать.

А Ганка зашла в овин, где, укрытый соломой, лежал картофель, отобранный для посадки, и заглянула под навес — здесь складывали всякую хозяйственную утварь. Лапа вприпрыжку бежал впереди, каждую минуту отбегая к гусакам и задирая их. Внимательно осмотрев все и проверив, не случилось ли ночью какой беды (она это делала каждое утро), Ганка направилась к калитке. Она хотела выйти в поле и взглянуть на озимь.

Уже и солнце встало, огненным вихрем пронизало сады, иней засверкал под его лучами, с деревьев закапало. Поднялся ветер и тихо зашелестел в ветвях. Жаворонки заливались все звонче, в деревне и на дорогах началось движение — слышен был плеск воды, которую набирали из озера, скрипели ворота, кричали где-то гуси, лаяла собака, иногда в утренней тишине звучали голоса людей.

Деревня просыпалась немного позднее обычного — ведь сегодня было воскресенье и каждому хотелось понежиться под периной усталые кости.

Галка ни на что не обращала внимания, она вся ушла в свои мысли. Губы машинально шептали молитву, но душа была далеко. Ею овладели воспоминания.

Перед ее сиявшими радостью глазами расстилались широкие поля, замкнутые стеной далекого леса. Розовое пламя утреннего солнца заливало лес, и лучи его выхватывали из спеловой чащи янтарные толстые ели. Вся земля, пробуждаясь, трепетала в золотом блеске. Осень мокрой зеленой шерстью покрывала поля, в бороздах местами серебристыми стружками блестела вода. Во влажном и прохладном дыхании полей была та весенняя тишина, в которой все растет и выходит из земли на свет.

Но не о том думала Галка, не на то глядела. В памяти вставали воспоминания о всех пережитых несчастьях, голоде, обидах, об измене Антека, о боли, острой, как гвозди, о всех печалях и муках — столько их было, что она сама удивлялась, как это она могла все перетерпеть. И все-таки перетерпела и вот дождалась перемены к лучшему! Ведь она опять хозяйка, опять на своей земле! И кто имеет право выгнать ее отсюда, кто может это сделать?

Она за эти полгода выстрадала столько, сколько иной не выстрадает за целую жизнь. И она перенесет все, что господу угодно будет, все выдержит и дождетя того, что Антек остепенится и что земля перейдет к ним навсегда.

Три недели прошло, а ей кажется, будто вчера это было, вчера мужики шли оборонять свой лес...

Она тогда не пошла со всеми, — трудно это было в ее положении и небезопасно. Она сильно беспокоилась за Антека: ей сказали, что он не пошел с народом, и она решила, что он остался в деревне назло старику, а может быть и затем, чтобы в его отсутствие встретиться где-нибудь с Ягусей. Это ее мучило, но искать его она все же не пошла.

И вдруг перед самым полуднем примчался Гульбасов парнишка и кричит:

— Побили мы дворовых! Побили!

И, как угорелый, побежал дальше.

Она и Клембова пошли навстречу мужикам. От леса бежал сын Доминиковой и уже издали кричал:

— Борыну убили, Антека убили, и Матеуша, и других!

Добежал, взмахнул руками, что-то пробормотал и упал. Пришлось ему потом зубы разжимать, чтобы влить воды, он был без памяти.

А у Галки с той минуты душа окаменела от ужаса.

Ганке на грудь, лизать ей руки. Волей-неволей пришлось его погладить.

— Не всякий человек так ласку чувствует, как этот пес. Знает, бестия, хозяев!

Она выпрямилась и подняла глаза к седым от пиморози крышам, где в эту минуту ласточки, сидевшие рядком на карпизе, мелодично защебетали.

— Петрик! Белый день па дворе! — крикнула она, стуча кулаком в дверь конюшни, и, услышав его бормотанье и лязг отодвигаемого засова, открыла соседнюю дверь в хлев.

Коровы лежали рядом перед яслями.

— Витек! Спит, чучело, как после свадьбы!

Мальчик сразу проснулся, соскочил с нар и стал торопливо натягивать штанишки, виновато бормоча что-то.

— Подбрось коровам сена, пусть поедят перед доением, и сейчас же иди в дом картошку чистить! А Лысуле сена не давай, пусть сама ее кормит, — добавила она резко. Лысуля была корова Ягуси.

— Так она ее кормит, что корова ревмя ревет и с голоду подстилку жрет.

— Пусть подыхает, не мой убыток! — зло отрезала Ганка.

Витек еще что-то буркнул, но как только хозяйка вышла, шлепнулся поперек нар, как был, с подтяжкой в руке, чтобы еще хоть пять минут подремать.

А Ганка зашла в овин, где, укрытый соломой, лежал картофель, отобранный для посадки, и заглянула под навес — здесь складывали всякую хозяйственную утварь. Лапа вприпрыжку бежал впереди, каждую минуту отбегая к гусакам и задирая их. Внимательно осмотрев все и проверив, не случилось ли ночью какой беды (она это делала каждое утро), Ганка направилась к калитке. Она хотела выйти в поле и взглянуть на озимь.

Уже и солнце встало, огненным вихрем пронизало сады, иней засверкал под его лучами, с деревьев закапало. Поднялся ветер и тихо зашелестел в ветвях. Жаворонки заливались все звонче, в деревне и на дорогах началось движение — слышен был плеск воды, которую набирали из озера, скрипели ворота, кричали где-то гуси, лаяла собака, иногда в утренней тишине звучали голоса людей.

Деревня просыпалась немного позднее обычного — ведь сегодня было воскресенье и каждому хотелось понежить под периной усталые кости.

Ганка ни на что не обращала внимания, она вся ушла в свои мысли. Губы машинально шептали молитву, но душа была далеко. Ею овладели воспоминания.

Перед ее сиявшими радостью глазами расстилались широкие поля, замкнутые стеной далекого леса. Розовое пламя утреннего солнца заливало лес, и лучи его выхватывали из спеловой чащи лиственные толстые ели. Вся земля, пробуждаясь, трепетала в золотом блеске. Осень мокрой зеленой шерстью покрывала поля, в бороздах местами серебряными стружками блестела вода. Во влажном и прохладном дыхании полей была та весенняя тишина, в которой все растет и выходит из земли на свет.

Но не о том думала Ганка, не на то глядела. В памяти вставали воспоминания о всех пережитых несчастьях, голоде, обидах, об измене Антека, о боли, острой, как гвозди, о всех печалях и муках — столько их было, что она сама удивлялась, как это она могла все перетерпеть. И все-таки перетерпела и вот дождалась перемены к лучшему! Ведь она опять хозяйка, опять на своей земле! И кто имеет право выгнать ее отсюда, кто может это сделать?

Она за эти полгода выстрадала столько, сколько иной не выстрадает за целую жизнь. И она перенесет все, что господу угодно будет, все выдержит и дождетя того, что Антек остепенится и что земля перейдет к ним навсегда.

Три недели прошло, а ей кажется, будто вчера это было, вчера мужики шли оборонять свой лес...

Она тогда не пошла со всеми, — трудно это было в ее положении и небезопасно. Она сильно беспокоилась за Антека: ей сказали, что он не пошел с народом, и она решила, что он остался в деревне пазло старику, а может быть и затем, чтобы в его отсутствие встретиться где-нибудь с Ягусей. Это ее мучило, но искать его она все же не пошла.

И вдруг перед самым полуднем примчался Гульбасов парнишка и кричит:

— Побили мы дворовых! Побили!

И, как угорелый, побежал дальше.

Она и Клембова пошли навстречу мужикам. От леса бежал сын Доминиковой и уже издали кричал:

— Борыну убили, Антека убили, и Матеуша, и других!

Добежал, взмахнул руками, что-то пробормотал и упал. Пришлось ему потом зубы разжимать, чтобы влить воды, он был без памяти.

А у Ганки с той минуты душа окаменела от ужаса.

Участье, что еще раньше, чем парня в чувство привели, мужики высыпали из леса на дорогу и рассказали, как было дело. А скоро она и сама увидела Антека живого — он шагал у отцовских саней, синий, как труп, весь в крови. Он был тогда как помешанный.

У нее, конечно, сердце разрывалось, ее душили слезы, но она пересилила себя, когда отец ее, старый Былица, отвел ее в сторону и тихо сказал:

— Старик сейчас помрет, Антек не в себе, а у Бoryны в избе нет никого. Смотри, если кузнец туда заберется, его уж никто не выгонит!

Она сразу все сообразила, побежала домой, забрала детей да из вещей что под руку попало, за остальным попросила Веронку присмотреть и потихоньку стала перебираться на старое место, на заднюю половину Бoryновой избы.

Еще Бoryну перевязывал Амброжий, еще не разошелся народ по домам и вся деревня радостно шумела, а кое-где раздавались стоны раненых, когда Ганка перебралась в избу старика да так там и осталась.

И зорко стерегла все: ведь земля достанется Антеку, а старик мог каждую минуту умереть.

Уж это все знают: кто первый доберется до наследства и вцепится в него, у того вырвать его нелегко, и закон будет на его стороне.

Кузнец орал, гнал ее из дома, сильно разгневанный тем, что она его опередила, ну, а ей что до его криков и угроз! Станет она спрашивать у кого-то позволения, как бы не так! Она уцепилась за землю и стерегла ее, как собака, обороняла свое добро — знала, что старик скоро умрет, а Антека заберут, об этом ее предупредил Рох.

На кого ей было надеяться? У кого искать защиты? Ведь известно: на бога надейся, а сам не плошай.

Не плачем и воем своего добьешься, а цепкой, упрямой хваткой — это она уже знала, знала по опыту!

И хотя Антека и увезли, она скоро успокоилась. Против судьбы разве пойдешь? Где человеку, крупинке малой, противиться тому, что суждено!

Да и педосуг ей было горевать и плакать — ведь это-кое хозяйство взвалила на свои плечи.

Осталась одна, как кустик на голом пустыре. Но работы она не боялась, не испугалась и людей. А против нее была Ягна, были кузнец с женой, которые сильно на нее злились, был войт, который обхаживал Ягну и оттого сто-

ял за псе горой. Даже ксепдза Доминикова настроила против Ганки.

И все-таки она не сдалась, она с каждым днем все глубже врастала в землю, все крепче держала в руках хозяйство. Не прошло и двух недель, а уже все в доме велось по ее воле, ее умом, ее силами.

Она недоедала, недосыпала, не давала себе роздыху, работала, как вол в ярме, с рассвета до поздней ночи.

Очень робкая от природы и забитая мужем, Ганка не привыкла решать сама, и подчас ей бывало так трудно, что руки опускались. Но ненависть к Ягне и страх, что при малейшей слабости враги выживут ее из дома, поддерживали ее в этой борьбе.

И она словно росла на глазах у всех, вызывая удивление и уважение к себе.

— Ишь ты! Прежде казалось, что ей до трех не сосчитать, а теперь она хорошего мужика стоит! — говорили о ней первые в деревне хозяйки.

Плошкова и другие даже готовы были с ней подружиться, охотно давали советы и помогали, чем могли.

Она была им благодарна, но ни с одной близко не сходилась и ее не тешили их милости — нелегко ей было забыть недавние обиды.

Она была не охотница до пустой болтовни, не любила ялть во дворе с соседками и перемывать людям коски.

Мало ли у нее было своих забот, где тут чужими заниматься!

Ганке вспомнилась Ягна, с которой она вела ожесточенную, молчаливую и упорную войну. Сама мысль о ней для Ганки как нож в сердце. Она сорвалась с места и пошла в дом.

Она еще больше рассердилась, увидев, что в доме все тихо и на дворе тихо.

Она кричала на Витека, согнала с нар Петрика, достала Юзьке: солнце уже вот как высоко, а она не работает!

Только на минуту отойди, и все по углам дрыхнут! — Ганка, растапливая печь.

Она выпустила детей на крыльцо, сунув им по ломтю хлеба, позвала Лапу, чтобы он поиграл с ними, а сама пошла к старика.

Воловине Боруны было еще совсем тихо. Ганка хлопнула дверью, но стук не разбудил Ягну.

А старик лежал так же, как она его оставила пакапуне вечером: на красной полосатой подушке выделялось синее, обросшее бородой лицо, такое изможденное и застывшее, что оно походило на вырезанный из дерева лик угодника. Широко открытые глаза неподвижно смотрели в одну точку, ничего не видя, голова была обвязана тряпками, а раскинутые руки висели бессильно, как падломленные сучья.

Гапка оправила ему постель, сдвинула перину пониже к ногам, потому что в комнате было жарко, потом стала его поить, вливая в рот свежую воду. Он пил медленно и ни разу не пошевелился, только в глазах что-то блеснуло на миг — так иногда река вдруг блеснет сквозь ночной мрак.

Вздохнув от жалости к нему, Гапка нарочно стукнула своим деревянным башмаком по ведерку, сердито поглядев на спящую Ягусю.

Но Ягуся и тут не проснулась. Она лежала на боку, лицом к двери, и, вероятно из-за жары, сдвинула перину до половины груди. Ее голые плечи и шея нежно розовели и тихо шевелились от дыхания, из-за полураскрытых вышневых губ белейшим жемчугом блестели зубы, а незаплетенные пышные волосы, как чистый, высушенный на солнце лен, рассыпались по белой подушке и сплывали до пола.

— Исцарапать бы тебе ногтями холеное личико, так не гордилась бы ты перед другими своей красотой! — прошептала Гапка, и от ненависти у нее даже закололо в сердце, а пальцы сами скрючились и потянулись к Ягусе. Но тут же она бессознательным жестом пригладила волосы, погляделась в зеркальце, висевшее на окне, и отшатнулась, увидев свое исхудалое лицо, все в желтых пятнах, и воспаленные глаза.

«Ни о чем не тужит, жрет до отвала, высыпается в тепле, детей не родит, — отчего же ей не быть красивой!» — подумала она с горечью и, выходя, с таким треском захлопнула дверь, что стекла задребезжали.

Ягна наконец проснулась. Только старик лежал все так же неподвижно и смотрел в пространство.

Он лежал уже целых три недели, с того дня, как его привезли из лесу. По временам как будто приходил в себя, звал Ягну, брал ее за руки, пытался что-то сказать и снова впадал в беспамятство, не произнеся ни единого слова.

Рох привозил к нему из города врача, тот его осмотрел, написал рецепт, взял десять рублей; и лекарства стоили немало, а помогли они столько же, сколько бесплатное лечение Доминиковой, «заговаривавшей» болезнь.

Скоро все поняли, что он уже не поправится, и оставили его в покое. Все были убеждены, что если болезнь смертельная, так сколько ни привози лекарств и докторов, все равно человек умрет, а если ему суждено выздороветь, так он и без всякой помощи выздоровеет.

Теперь весь уход за ним состоял в том, что ему часто меняли на голове мокрые тряпки и давали пить воду или молоко. Есть он не мог — сейчас же начиналась рвота.

Понимающие люди, а особенно Амброжий, у которого был богатый опыт, говорили, что если Борына не придет в сознание, смерть его будет легкой. Ее ожидали со дня на день, а она не приходила. Всем надоело долгое ожидание, потому что за стариком нужно было ухаживать.

Собственно, это была прежде всего обязанность Ягны. Но Ягна и часу не могла высидеть дома. Старик ей окончательно опротивел, тяготила постоянная война с Ганкой, которая ее от всего отстраивала и следила за ней, как за воровкой какой-нибудь. Что ж удивительного в том, что ее тянуло из дому на люди, на волю, в пригретые солнцем просторы. И, свалив на Юзю присмотр за стариком, она целые дни носилась неизвестно где и нередко возвращалась уже поздно вечером.

А Юзя ухаживала за стариком только при других: она была еще глупая девчонка и непоседа. Пришлось Ганке заботы о больном взять на себя. Кузнец и его жена приходили чуть не десять раз в день, но только для того, чтобы следить, как бы она, Ганка, чего-нибудь не унесла из дому, а главное — они ждали, не заговорит ли старик, не сделает ли какого-нибудь распоряжения насчет наследства.

Как псы около издыхающего барана ворча спорят, кто раньше вонзит в него зубы и урвет себе лучший кусок, так грызлись они между собой. Кузнец и сейчас не зевал — хватал, что только под руку подвернется, не брезгая и старым ремешком или куском доски. Приходилось у него чуть не силой отнимать все, следить за каждым его шагом, и дня не проходило без ссор и яростной ругани.

Пословица говорит: «Кто рано встает, тому бог дает». И это верно. А кузнец готов был встать в полночь и бежать за десять деревень, если дело шло о хорошей наживе. Жадный был мужик и пронырлив на редкость!

Вот и сегодня не успела Ягна встать с постели и надеть юбку, как дверь скрипнула, кузнец шмыгнул в комнату и направился прямо к постели старика.

— Ничего не говорил? — спросил он, заглядывая больному в глаза.

— Лежит, как лежал! — ответила Ягна, подбирая волосы под платок.

Она стояла еще босая, в одной сорочке и юбке, немного заспанная, и была так хороша, такой жаркой пестрой веяло от нее, что кузнец долго оглядывал ее прищуренными глазами.

— А знаешь, — начал он, подойдя поближе, — органист мне проговорился, что у старого должно быть много наличных денег, потому что он еще перед рождеством хотел ссудить одному мужику из Дембиц целых пять сотен, да не сошлись насчет процентов. Значит, эти деньги у него где-нибудь в избе припрятаны... Хорошенько смотри за Ганкой, если она до них первая доберется, так уж никто их не увидит... А ты потихоньку, помаленьку обшарь все углы, только так, чтобы никто не заметил... Слышишь, что я говорю?

— Слышу! — Ягна набросила на плечи платок, потому что кузнец словно ощупывал ее всю воровскими глазами.

Он обошел комнату, как будто невзначай заглянул за образа, внимательно осмотрел каждый уголок.

— А ключ от чулана у тебя? — Он указал глазами на низенькую запертую дверь.

— Вот висит у окна, за распятием.

— Отец у меня долото брал, еще с месяц тому, а теперь оно мне пужпо и никак найти не могу. Может, оно там среди всякой рухляди валяется.

— Ищите сами, я там рыться не стану.

Но он, услышав в сечах голос Ганки, отошел от двери, повесил ключ на место и схватился за шапку.

— Завтра поищу... Домой надо бежать. Что, Рох приехал?

— А мне откуда зпать? У Ганки спросите.

Он постоял еще минутку, пощипывая рыжие усы, а глаза так и шныряли по всем углам. Потом усмехнулся чему-то про себя и вышел.

Ягна сбросила с плеч платок и припнулась застилать постель и наводить в комнате порядок. Время от времени она украдкой посматривала на мужа и старалась ходить по комнате так, чтобы не встретить его всегда открытых глаз.

Да, он был ей противен, она его боялась и ненавидела всеми силами души за пережитые обиды. И всякий раз когда он подзывал ее и обнимал горячими и липкими руками, она замирала от страха и отвращения, потому что от него веяло смертью. Но несмотря на это, она, пожалуй, искреннее всех желала его выздоровления.

Теперь только она понимала, что утратит, когда его не станет. При нем она чувствовала себя хозяйкой, все ее слушались, и другие женщины и девушки волей-неволей должны были оказывать ей уважение, уступать первое место. Как же, ведь она была женой Борыны! А Мацей, хотя дома был зол, как пес, и давно она не слыхала от него доброго слова, на людях был к ней очень внимателен и следил, чтобы ее никто не смел обидеть.

Прежде она этим не дорожила, а с тех пор как Ганка забралась в дом и начала верховодить и отстранять ее от хозяйства, она почувствовала себя всеми брошенной и обиженной.

Не земли ей было жалко — что ей земля, хозяйство? Они ее интересовали столько же, сколько прошлогодний снег. Правда, она уже привыкла быть полновластной хозяйкой, любила щеголять своим богатством, но все же она не стала бы тужить, потеряв его, — ей и у матери жилось не худо. Одно было нестерпимо обидно — что приходится смиряться перед Ганкой, женой Антека. Это задевало Ягну за живое, рождало злобу и желание делать все наперекор.

К тому же и мать и кузнец изо дня в день ее подзуживали. Не будь их, она бы, может быть, скоро сдалась — очень уж ей надоели вечные ссоры и не раз хотелось все бросить и уйти к матери.

— И думать не смей! Сиди там, покуда он не помрет, стереги свое! — строго приказывала мать.

И она сидела, хотя ей было невыносимо тошно, — ведь целыми днями не с кем слова сказать, ни посмеяться, ни выбежать к кому-нибудь...

А в доме кряхтел старик, вертелась Ганка, всегда готовая ругаться, шла непрерывная война, и Ягне становилось уже нелегко.

У матери тоже невозможно было долго усидеть.

Ягна бегала с куделью по знакомым, но и там было не радостно: во всей деревне остались одни женщины, заплаканные, сердитые и раскисшие, как мартовские дни, и повсюду одна и та же песня — бесконечные жалобы! И нигде ни единого парня днем с огнем не сыщешь!

Ягна томплась, места себе не находила от тоски.

К тому же все чаще и чаще одолевали ее воспоминания об Аптеке.

Правда, под конец, перед тем как его увезли, она очень к нему охладела, боялась его, и свидания с ним были для нее мучением. А напоследок он ее так обидел, что и теперь еще при одном воспоминании сердце наполнялось горечью. Но прежде у нее было к кому выходить, она знала, что там, под сеновалом, каждый вечер кто-то с нетерпением ее ждет, что есть человек, которому радостно покоряться... И хотя она дрожала от страха, что ее выследят, и Аптек не раз сердился, что она заставляет себя долго ждать, она охотно бежала к нему и забывала обо всем на свете, когда он крепко прижимал ее к себе, целовал, как безумный... Нечего было и думать сопротивляться, — когда он обнимал, она вся замирала, ее кидало в жар. И нередко потом она не могла заснуть до полуночи, прижимаясь горевшим от поцелуев лицом к холодной стене, взволнованная сладкими и жгучими воспоминаниями.

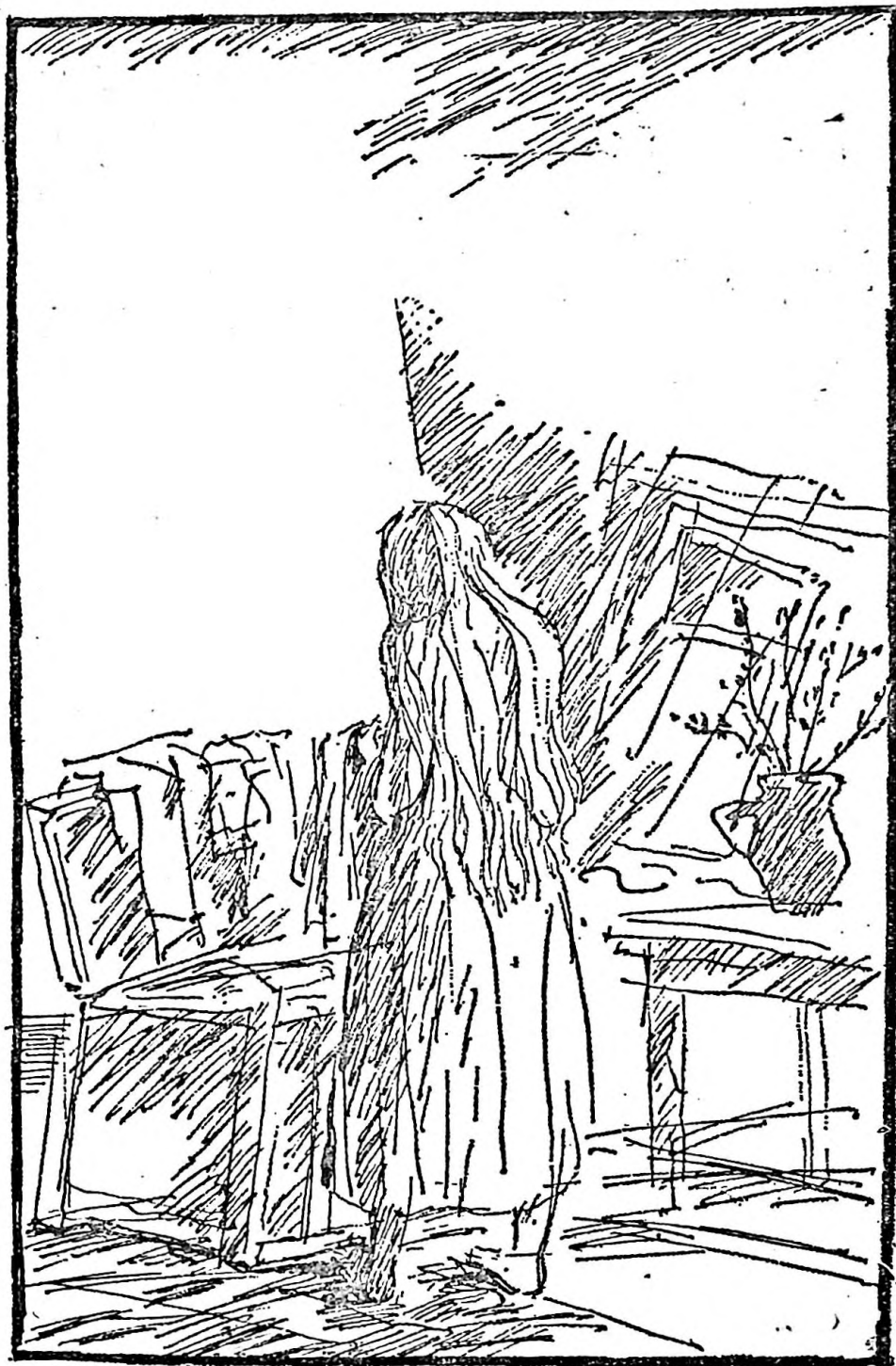
А теперь она одна как перст. Правда, никто за ней не подглядывает, нет над ней хозяйина, но она больше и не рвется ни к кому, никто не ждет ее у перелазы, никто не требует ласк...

Войт таскается за ней, щиплет, нашептывает ласковые слова, прижимает к плетню при встречах, зовет в корчму, угощает и пристаёт с ласками, но она ему это позволяет только оттого, что ей очень скучно, не с кем посмеяться. А ему далеко до Аптеки, как собаке — до хозяйина.

И еще она с войтом гуляет назло всей деревне, назло ему, Аптеку! Ведь он ее больно обидел, в грязь втоптал напоследок! Целую ночь и целый день просидел около отца, даже спал на ее кровати, ни на шаг из избы не отлучался, а ее словно и не замечал, хотя она все подходила к нему и, как собака, глазами молила сжаться над нею.

Нет, ни разу не взглянул на нее! Видел только отца да Ганку и детей, даже Лапу видел, только не ее, Ягну!

Может быть, поэтому она совсем его разлюбила. Когда ему надевали кандалы, он показался ей каким-то другим, чужим человеком, и она даже не жалела его и с тайным злорадством смотрела на Ганку, которая рвала на себе волосы, билась головой о стену и выла, как сука, когда топят ее щенят. А Ягна с отвращением отводила глаза от лица Аптеки: оно было страшно, как лицо безумного.



И таким чужим стал он ей тогда, что этого Аптека она даже и помнила теперь неясно, как человека, которого видела только один раз.

Зато тем ярче помнился ей Антек таким, каким он был в дни любви и безумств, в дни свиданий, объятий, поцелуев и восторгов... Тот Антек, к кому и сейчас в бессонные ночи рвалось ее измученное сердце, крича от горя и невыразимой тоски.

К тем дням счастья летела Ягусипа душа, к тому Аптеку, не зная, где он, живет ли он еще на белом свете.

Вот и теперь вставал он у нее в памяти, как сладостный сон, от которого так не хочется просыпаться, но вдруг опять раздался за стеной крикливый голос Ганки.

— Ишь разошлась, визжит, как драпая кошка! — пробормотала Ягна, очнувшись.

Солнце уже заглядывало в боковое окно и озаряло красным светом темноватую комнату. В саду весело щебетали птицы, и, видно, потеплело, так как с крыш стеклянными бусами стекал растаявший иней. В открытое окно с утренним ветерком влетали крики гусей, плескавшихся в озере.

Ягна кружила по комнате, тихоенько напевая, как щегленок. Было воскресенье, и она собиралась с вербой в костел. Уже с вечера в кувшине стояли наготове веточки красных лоз, осыпанных серебристо-серыми пушистыми «барашками», немного увядшие, потому что она забыла налить в кувшин воды. Она стала их заботливо обрызгивать, но Витек крикнул ей из-за двери:

— Хозяйка велела, чтобы вы свою корову накормили, она мычит с голоду.

— Скажи, что это не ее дело! — огрызнулась она громко и прислушалась, чтобы узнать, что закричит в ответ Ганка. — А, верещи, пока язык не устанет, меня нынче не выведешь из себя!

И преспокойно начала выпимать из сундука наряды и раскладывать их на кровати, выбирая, что надеть сегодня в костел. Но вдруг нахмурилась, опечалилась — так иногда туча набежит на солнце и вокруг сразу потемнеет. Зачем ей наряжаться? Для кого? Для завистливых женских глаз, оценивающих каждую ленточку на ней? Чтобы бабам было о чем судачить за ее спиной?

Ягна недовольно отвернулась от разложенных нарядов и, сев у окна, принялась расчесывать свои пышные светлые волосы, грустно поглядывая на залитую солнцем деревню. Среди садов белели хаты, столбы голубого дыма

поднимались к небу. На другой стороне озера, на дороге, заслоненной деревьями, проходили иногда бабы — красные юбки отражались в воде, мелькали в светлой тени прибрежных деревьев. Проплывали гуси белыми цепочками — казалось, они плывут в голубой бездне отраженного в воде неба, оставляя за собой черные полукруги, похожие на тихо ползущих змей. Проворные ласточки пролетали низко, сверкая белыми грудками. Где-то у водопоя мычали коровы и лаяла собака.

Ягна скоро перестала замечать все это, потому что взгляд ее потонул в вышине, там, где на влажном небе паслись стада облаков, белых и пушистых, как барашки, а где-то за ними, высоко, тянулись птицы, и только крики их, протяжные и унылые, долетали до земли. От этих криков сердце Ягны сжала давно подстерегавшая его тоска. Угасший взор ее бродил по качавшимся деревьям, по воде, в которой, утопая в лазури, плыли те же облака. Но она ничего не видела из-за крупных слез, которые застилали ей глаза и катились одна за другой по бледному лицу, как прозрачные бусинки рассыпавшихся четок.

Понимала ли она, что с нею? Нет, она только чувствовала, что ее что-то подхватывает и несет, что она готова идти на край света, куда глаза глядят, куда поведет эта непреодолимая тоска. И плакала она помимо воли, почти не сознавая этого и не страдая, — так деревце, осыпанное цветами, весенним утром, когда пригреет его солнце и качает ветер, роняет обильную росу и, вбирая из земли живительные соки, протягивает к небу цветущие ветви.

— Витек! Ступай доложи этой пани, что завтрак подан! — закричала Ганка.

Ягна очнулась, утерла слезы, причесалась и торопливо пошла на половину Ганки.

Там уже все сидели за столом. Юзька поливала сметаной, прожаренной с луком, картофель в большой миске, от которой шел пар, и все совали в нее ложки, жадно глядя на вкусную еду.

Ганка сидела на первом месте, Петрик в конце стола, а рядом с ним, прямо на полу, присел Витек. Юзя ела стоя, потому что ей все время приходилось подбавлять из горшка картофель, а дети сидели у печки за изрядной миской и ложками отгоняли Лапу, который то и дело хватал картошку и завтракал вместе с ними.

У Ягны было свое место — у двери, против Петрика. Ели медленно, исподлобья поглядывая друг на друга.

Напрасно Юзька болтала без умолку и Петрик изредка вставлял слово-другое, а под конец и Ганка, тропутая заплаканными и грустными глазами Ягны, стала заговаривать с нею, — Ягна как воды в рот набрала.

— Витек, а кто тебе такую шишку набил? — спросила Ганка.

— Это я об ясли стукнулся! — Витек покраснел как рак и тер ушибленное место, многозначительно поглядывая на Юзьку.

— А вербу ты уже наломал?

— Сейчас поем и сбегаю за нею, — виновато сказал Витек, торопливо доедая свою порцию.

Ягна положила ложку и вышла.

— Опять ее какая-то муха укусила! — шепнула Юзька, подливая Петрику борща.

— Не всякий может тараторить без умолку, как ты. А что, она корову уже подоила?

— Взяла сейчас подойник, верно, в хлев пошла.

— Да, вот что, Юзя: надо для Сивули жмых приготовить! Она не сегодня-завтра отелится.

— Бычок у нее будет! — объявил Витек, вставая.

— Дурак! — буркнул презрительно Петрик. Он отпустил немного пояс, потому что поел основательно, зажег о головню папиросу и вышел вместе с Витеком.

Женщины молча принялись за работу: Юзька мыла посуду, а Ганка убирала постели.

— Пойдешь в костел с вербой, Гануся?

— Ты с Витеком ступай. Петрик тоже может идти, пусть только сперва лошадей почистит да задаст им корм. А я останусь дома — за отцом пригляжу... И, может, Рох сегодня придет с вестями от Антека.

— Не сказать ли Ягустинке, чтобы завтра пришла картошку перебирать?

— Скажи. Одним нам не управиться, а перебирать надо поскорее.

— Да заодно бы уж и навоз в поле раскидать.

— Петрик завтра к полудню, наверное, кончит возить, после обеда они с Витеком примутся раскидывать, а в свободное время и ты им поможешь...

За окнами поднялся гусиный крик, и в горницу влетел запыхавшийся Витек.

— Ты даже гусям покою не даешь!

— Они меня щипать начали, а я отбивался.

Он бросил на сундук целую охапку еще мокрых от росы

красных веток, осыпанных серыми «баранками». Юзя принялась их разбирать и каждый пучок перевязывала красной шерстяной ниткой.

— Это тебя аист клюнул в лоб? — спросила она тихонько у Витека.

— Ну да, он, а кто же еще? Ты только меня не выдавай, Юзя! — Он оглянулся на Ганку, достававшую из сундука праздничную одежду. — Сейчас тебе расскажу, как дело было... Я высмотрел, что его на ночь оставляют па крыльце... Подкрался поздно вечером, когда в плебании все спали... И уже было схватил его... Хоть он меня и клюнул, все равно я бы его курткой обернул и унес. Да тут собаки меня учуяли... Вот хоть и знают меня, а так лаяли, окаянные, что пришлось удирать. Даже штанину мне разорвали. Да я все равно не отступлюсь...

— А что если ксепдз узнает, что ты у него аиста унес?

— Да кто ему скажет? А я непременно аиста унесу, потому что он мой.

— Где же ты его спрячешь? Как бы его опять у тебя не отняли!

— Уж я такое местечко нашел, что и полиция не пронохает!.. А потом, когда все забудут, приведу его в хату и скажу, что это я нового приманил. Кто же его узнает? Только ты, Юзя, не выдавай меня! Я тебе каких-нибудь птичек наловлю, а то и зайчика молодого принесу.

— Мальчишка я, что ли, чтобы птичками забавляться? Одевайся скорее, пойдем вместе в костел.

— Юзя, а ты дашь мне пести вербу?

— Чего захотел! Это только жепщины несут вербу святить!

— Я у костела ее тебе отдам, только вот по деревне бы пронести ее!

Он просил так горячо, что Юзя обещала. Она кинулась навстречу входившей Настке, уже разодетой, чтобы идти в костел. У Настки тоже в руках была верба.

— Узнала что-нибудь новое о Матеуше? — спросила у нее Ганка, поздоровавшись.

— Только то, что войт вчера говорил: лучше ему.

— Ничего войт не знает! Брешет, что в голову придет.

— Да он то же самое говорил ксепдзу!

— А про Аптека ничего не мог мне сказать...

— Потому что Матеуш сидит вместе со всеми, а Антек отдельно.

— Э!.. Войт просто так врет, чтобы было с чем к людям в избу зайти.

— Так он и к вам заходил?

— Каждый день заходит, да не к нам, а к Ягусе. У них какие-то свои дела, вот и сходятся во дворе, от людей подалее.

Ганка сказала это тихо и с ударением, увидев в окно, что Ягна сходит с крыльца, нарядно одетая, с молитвенником и вербой в руках. Она долго смотрела ей вслед.

— Опоздаете, девки! Народ уже гурьбой валит по дороге.

— Нет, еще не звонили.

Но тут как раз загудел колокол, сзывая на молитву, и звонил долго, медленно и громко.

Через несколько минут в доме осталась одна Ганка, все ушли в костел.

Ганка поставила в печь обед, приделась и, сев с детьми на крыльце, принялась их вычесывать, — в будни у нее на это не хватало времени.

Солнце поднялось уже довольно высоко, из всех ворот выходили люди, спеша в костел, и на дорогах, как маки, алели наряды женщин, слышался говор, крики ребят, которые забавлялись тем, что швыряли камнями в озеро и в птиц. Изредка гроыхали телеги, полные людей, — это ехали жители других деревень. Проходили какие-то незнакомые мужики. Наконец прошли все, и улицы опустели и затихли.

Вычесав детей, Ганка усадила их во дворе на соломе, зашла в избу присмотреть за кипящими на огне горшками, потом вернулась на крыльцо и стала молиться, перебирая четки. Молитвы она твердила наизусть, потому что читать не умела.

Время близилось уже к полудню, в деревне стояла праздничная тишина, не слышно было ни единого голоса, только чирикали воробьи да щебетали ласточки, лепившие гнезда под стрехой. Погода была теплая. Ранняя весна только что коснулась земли и деревьев. Небо было молодое, густо-синее, словно только что умытое. Сады стояли неподвижно, поднимая к солнцу ветви, осыпанные набухшими почками, и только на ольхах, окаймлявших озеро, тихо, словно от дыхания, шевелились желтые ветки, а на тополях рыжие, клейкие и пахучие, будто истекающие медом, почки раскрывались на свету, как клювы птешчиков.

На крыльце изрядно припекало, и даже мухи уже ползали по нагретым стенам, а иногда пролетала пчела и, жужжа, падала на маргаритки, выглядывавшие из-под плетня, или носилась по кустам, на которых бушевало зеленое пламя молодой листвы.

Но с полей и от леса еще веял резкий и сырой ветер.

Служба в костеле, должно быть, уже близилась к концу, потому что в тихом весеннем воздухе слышно было отдаленное пение, звуки органа, и по временам частым дождем рассыпался замирающий звон колокольчика.

Время текло медленно, в тишине даже птицы замолкли, когда стало припекать солнце, и только вороны, подстерегая гусепят, кружили низко над озером, а гусак, завидя их, тревожно гоготал. Заклекотал где-то аист и пролетел так близко, что его длинная тень побежала по земле.

Ганка усердно молилась, присматривая в то же время за игравшими детьми и часто заходя в дом, чтобы взглянуть на старика.

А он лежал, как всегда, неподвижно и смотрел в пространство.

Он медленно догорал, подходил с каждым днем все ближе к своему смертному часу, как колосистая рожь дозревает на солнце, дожидаясь острого серпа. Он никого не узнавал и даже, когда звал Ягну и ошупью брал ее за руки, смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Однако Ганке казалось, что, услышав ее голос, он шевелит губами и смотрит так, как будто хочет что-то сказать...

Никакой перемены в его состоянии не замечалось, и тем, кто на него смотрел, даже плакать хотелось от жалости.

Господи, кто мог этого ожидать! Такой хозяин, такой богач, умница, каких мало, и вот лежит, как разбитое молнией дерево, еще в зеленых ветвях, но уже обреченное.

Лежит человек, не мертвый и не живой, и помочь ему может только милосердный бог. О, судьба человеческая, судьба неумолимая! Ты приходишь, когда никто тебя не ждет, среди бела дня или во мраке ночи, и уносишь человека, как былинку, в печальный край смерти!

Вот о чём с грустью думала Ганка, сидя у постели Бoryлы и поглядывая в окно. Она вздохнула раз, другой, отложила четки и пошла доить коров — вздохи вздохами, а работа прежде всего.

Когда она вернулась с полными подойниками, все уже были дома. Юзя рассказала, о чем ксендз говорил с амвоном.

и кто из знакомых был в костеле. В избе и на крыльце стало шумно, потому что с Юзей пришли несколько подружек. Все они глотали серенькие «барашки» с освященной вербы — в деревнях верили, что они охраняют от болезней горла.

Смеху было при этом много, потому что некоторые не умели глотать, давились, и чтобы проглоченное легче проскочило, нужно было колотить их в спину кулаком, что Витек и делал с превеликим удовольствием.

Ягна не пришла к обеду. Видели, как она шла из костела с матерью и семьей кузнеца.

Только что пообедали и встали из-за стола, как вошел Рох. Все радостно бросились к нему навстречу, потому что он за это время стал для них близким человеком. А он здоровался с каждым отдельно, каждому говорил что-нибудь и целовал в голову. Ему подали обед, но он есть не стал — очень уж был утомлен. Сидел и озабоченно обводил глазами избу. Ганка внимательно следила за его взглядом, не решаясь спросить, какие он привез вести.

— Ну, виделся я с Аптеком! — сказал он наконец вполголоса, ни на кого не глядя.

Ганка вскочила с сундука. Страх так сильно сжал ей сердце, что она ни слова не могла вымолвить.

— Он здоров и бодр. Хотя надзиратель нас караулил, мы с ним разговаривали целый час.

— В цепях он? — с трудом выговорила Ганка.

— С чего ты это взяла? Ходит, как все другие. Ему там не так уж худо, не бойся!

— А Козел рассказывал, что там их бьют и что они к стене прикованы.

— Может, где в других местах так и бывает... за другие вины. А Антека не трогали, он сам это мне сказал.

Ганка от радости всплеснула руками, и улыбка, как луч солнца, осветила ее лицо.

— А как прощались, наказал, чтобы вы непременно борова закололи еще до праздников, потому что он тоже на пасхе разговеться хочет.

— Голодом его там морят, беднягу, голодом! — причитала Ганка.

— А отец хотел борова откормить и продать, — заметила Юзя.

— Мало ли что! Антек приказывает заколоть, а теперь он после отца старший, его воля, — возразила Ганка резко и решительно.

— И еще он говорил, чтобы обязательно на поле людей послали все сделать, что надо. Я ему рассказал, как ты толково тут хозяйничаешь.

— А он? Он что на это сказал? — Ганка вся вспыхнула от радости.

— А он мне на это ответил, что ты, коли захочешь, со всем справишься.

— Управлюсь, управлюсь! — сказала она тихо, но твердо, и в глазах ее сверкнула неукротимая воля.

— Ну, что тут у вас слышно?

— Да ничего, все по-старому. А скоро его выпустят? — спросила Ганка дрожащим от волнения голосом.

— Может, и сейчас, после праздников, а может, и попозже, смотря по тому, когда следствие кончится. А оно долго протянется, ведь сколько народу сидит, почитай вся деревня, — ответил Рох уклончиво, не глядя на нее.

— А про дом он спрашивал? Про детей... Про меня... Про всех? — начала Ганка с беспокойством.

— Спрашивал, как же! И я ему все по порядку рассказывал.

— И... обо всех в деревне?

Ей ужасно хотелось знать, осведомлялся ли Антек и об Ягне, но она не смела спросить прямо, а узнать как-нибудь окольным путем, сделать так, чтобы Рох ничего не заметил и сам проговорился, она не сумела, как ни старалась. К тому же удобный момент был упущен — в деревне уже знали о возвращении Роха, и скоро, еще перед вечерней, к избе Ганки стали сходитьсь бабы, жаждавшие услышать что-нибудь о своих.

Рох вышел к ним во двор и, сев на заваulinку, стал рассказывать то, что узнал о каждом. Вести были не худые, но в толпе раздавались всхлипывания, иногда вырывался и громкий плач и жалобные причитания.

Потом Рох пошел по деревне, заходил почти в каждую избу, всем принося слова утешения. С его приходом в избе словно светлее становилось, в сердцах людей расцветала надежда, укреплялась вера, но и слезы лились обильнее, и разбуженные воспоминания сильнее тяготили душу, и тоска по близким становилась острее.

Верно сказала вчера жена Клемба старой Агате: деревня стала подобна открытой могиле. Можно было подумать, что мор посетил Липцы и большинство населения свезли на кладбище. А еще бывает так после войны, когда смерть выкосит мужчин и в опустевших избах голоса бабы, пла-

чут дети, слышатся лишь жалобы и вздохи и все полно живых и болезненных воспоминаний об утраченном.

Никакими словами не опишешь того, что творилось в измученных душах.

Кончилась третья неделя, а Липцы еще не успокоились. Напротив, сознание, что мужики несправедливо пострадали, стало еще острее. И не диво, что постоянно — и утром, как только люди просыпались, и днем, и вечером — в хатах, на дворах, где бы только они ни собирались, неизменно и заунывно, как пение нищих, звучали жалобы, и росла жажда мести, и руки сами собой сжимались в кулаки, а злобные слова вырывались неудержимо, как гром.

Рассказы Роха действовали, как палка, которой неосторожно разгребли золу, и тлеющий под ней огонь вспыхнул с новой силой. Они привели лишь к тому, что все еще живее почувствовали нанесенную им обиду. Даже к вечеру пошло очень мало людей, а остальные собирались кучками у плетней, стояли на улице или шли в корчму, толкуя все о том же, плача и бранясь.

Одна только Ганка стала спокойнее. Трудно передать, как она радовалась похвале мужа, как была ободрена ею, полна надежд, энергии, желания показать, что может со всем справиться!

Только что женщины разошлись по домам, как пришла Магда навестить больного, а Ганка и Юзя пошли в хлев посмотреть борова.

Выпустили его во двор, но он был так раскормлен, что сразу повалился на навоз и не хотел подняться.

— Надо будет его завтра заколоть. Ты звала Ягустинку?

— Да. Она обещалась прийти еще сегодня к вечеру.

— Оденься и сбегай к Амброжию, пусть завтра, хотя бы после обедни, придет заколоть его и разделать тушу.

— Досуг ли ему? Он говорил, что завтра два ксендза приедут исповедовать.

— Найдет время! Он знает, что я водки не пожалею. Никто другой не умеет так ловко резать и тушу разделывать. Ягустинка ему поможет.

— А я рано утром съезжу в город соли купить и приправ.

— Что, проветриться захотелось? Незачем тебе ехать, все найдется у Янкеля, я сама сейчас схожу к нему и куплю.

— Юзька! — крикнула Ганка вслед девочке. — А где Петрик и Витек?

— Наверное, на деревню ушли, Петрик взял с собой скрипку.

— Если встретишь, гони их домой, пусть из сарая корыто к крыльцу перенесут, надо будет его рано утром выпарить.

Юзька, довольная тем, что хоть в деревню можно сбегать, помчалась к Настке, чтобы вдвоем пойти разыскивать Амброжия.

А Ганке так и не удалось пойти в корчму: приплелся ее отец, старый Былица. Она дала ему поесть и начала весело рассказывать все, что говорил Рох об Антеке, по досказать не успела — вдруг вбежала Магда с криком:

— Идите скорее, с отцом что-то неладно!

Борына сидел на краю кровати, глаза его блуждали по комнате. Ганка бросилась поддержать его, чтобы он не свалился, а он посмотрел на нее, потом на дверь, в которую неожиданно вошел кузнец.

— Ганка! — произнес он вдруг так внятно и громко, что она даже вздрогнула.

— Здесь, здесь я! Не шевелитесь только, доктор запретил! — шептала она со страхом.

— Что там в деревне? — Голос был надтреснутый, какой-то новый, незнакомый голос.

— Весна, тепло, — ответила, запинаясь, Ганка.

— Встали все? В поле пора...

Они не знали, что сказать, и переглядывались. Магда громко заплакала.

— Свое обороняйте! Не сдавайтесь, мужики!

Он кричал, но слова обрывались, и вдруг он затрясся весь, забился в Ганкиных руках. Кузнец с женой хотели ей помочь, но она не выпустила его, хотя у нее уже замлели и руки и спина. Все трое с тревогой смотрели в лицо Борыне, ожидая, что он скажет.

— Ячмень бы надо первым делом посеять... Ко мне, люди! Спасите! — крикнул он вдруг страшным голосом, весь напрягся, изогнулся и упал на спину. Глаза закрылись он хрипел.

— Помирает! Иисусе Христе! Помирает! — завопила Ганка, изо всех сил дергая его.

А Магда тотчас сунула ему в бессильно свесившуюся руку зажженную восковую свечу.

— Ксендза! Скорее, Михал!

Но раньше чем кузнец вышел, Борына открыл глаза и выронил из рук свечу.

— Уже ему легче... Ищет чего-то... — пробормотал кузнец, нагнувшись над ним, но старик довольно сильно оттолкнул его и произнес, как человек в полном сознании:

— Ганка, выгони этих людей!

Магда с плачем бросилась к нему, но он, видимо, ее не узнавал.

— Не хочу... Не надо... Выгони... — повторял он настойчиво.

— Выходите хоть в сени, не сердите его! — умоляла Ганка.

— Выйди ты, Магда, а я с места не двинусь, — порцедил кузнец упрямо, смекнув, что старик хочет что-то сказать Ганке по секрету.

Борына услышал его слова и, приподнявшись, так грозно посмотрел на него, указывая рукой на дверь, что кузнец выскочил из комнаты, как собака, которой дали пинка. Злобно ругаясь, он подошел к плакавшей на крыльце Магде, но вдруг притих, оглянулся кругом и побежал в сад. Здесь он крадучись подобрался к окну и стал подслушивать. Кровать больного стояла изголовьем к этому окну, и сквозь стекло можно было кое-что расслышать.

— Сядь ко мне! — приказал Ганке старик, когда кузнец вышел.

Она присела на краю кровати, едва удерживая слезы.

— В чулапе найдешь немного денег... Спрячь, чтобы у тебя их не отобрали.

— Где?

Ее трясло от волнения.

— В зерне...

Он говорил вятно, отдыхая после каждого слова, а она, подавляя непонятный страх, впиалась глазами в его странно блестящие глаза.

— Аптека выручай... Полхозяйства продай, а его не давай... Не давай... своего!

Он не договорил, посинел весь и упал на подушки. Глаза потухли и словно заволоклись пленкой, но он еще что-то бормотал и пытался приподняться.

Ганка вскрикнула от ужаса, и сейчас же вбежали кузнец и Магда, стали приводить его в чувство, брызгая в лицо водой. Но сознание больше не возвращалось к нему. Он лежал, как прежде, неподвижный, в оцепенении, с открытыми глазами, далекий от всего, что делалось кругом.

Долго еще сидели они втроем подле него. Женщины тихо плакали, и никто не говорил ни слова. Надвигались сумерки. Когда в комнате стало темно, они все вышли во двор. День догорел, и только в озере еще тлели последние отблески заката.

— Что он тебе сказал? — резко спросил кузнец, загоразивая Ганке дорогу.

— Да ты же слышал.

— Ну, а потом?

— То же, что и при тебе.

— Эй, Ганка, не выводите меня из себя, плохо тебе будет...

— А я твоих угроз боюсь не больше, чем вот этой собаки...

— Он тебе что-то в руки сунул, я видел, — схитрил кузнец.

— Что супул, то завтра за сараем найдешь, — насмешливо огрызнулась Ганка.

Он бросился на нее, и, может быть, дело кончилось бы плохо, если бы не Ягустинка, которая вошла в эту минуту и, по своему обыкновению, съязвила:

— Такой у вас тут мирный и задухшевный разговор идет, что по всей деревне слышно!

Кузнец обругал ее последними словами и убежал.

Скоро наступила темная ночь, тучи заволокли небо, и ни одна звезда не мерцала в вышине. Поднялся ветер и тормозил деревья, а они шумели глухо и уныло: видно, опять менялась погода.

На половине Ганки было светло и шумно, в печи трещал огонь, варился ужин. Несколько пожилых баб, среди них и Ягустинка, беседовали между собой, а Юзя с Насткой и Ясеком Недотепой сидели на крылечке, слушая мелодии, которые извлекал из своей скрипки Петрик, такие печальные, что плакать хотелось. Только Ганке не сиделось на месте. Она все думала о словах свекра и каждую минуту забегала к нему в комнату.

Но сейчас никак нельзя было искать деньги в чулане: в комнате сидела Ягна, укладывая в сундук свои праздничные наряды.

— Петрик, да перестань ты! Ведь уже наступает страстной понедельник, а ты все пиликаешь да пиликаешь! Грех это! — накинулась Ганка на Петрика. Она была так взбудоражена, что едва сдерживала слезы. Петрик сразу перестал играть, и молодежь перешла в избу.

— А мы тут о брате помещика толкуем, о полоумном Яцке, — сказала одна из женщин.

Но Ганка не разобрала, что ей говорят, потому что в эту минуту во дворе громко залаяли собаки. Она опять вышла на крыльцо и прислушалась. Лапа, как бешеный, помчался в сад.

— Куси его, Лапа! Хватай, Бурек!

Но собаки вдруг замолчали и вернулись, радостно повзгивая.

Это повторялось в тот вечер несколько раз, и у Ганки возникло страшное подозрение.

— Петрик, запри все накрепко, тут, видно, кто-то ходит высматривает. И свой это, потому что собаки его не трогают!

Соседки скоро разошлись, и весь дом уснул, только Ганка не спала. Она еще раз вышла проверить, заперты ли двери, и долго стояла у стены, тревожно прислушиваясь.

— В зерне... Значит, в какой-нибудь из кадок... Только бы меня кто-нибудь не опередил!

При этой мысли она вся облилась холодным потом, и сердце ее сильно забилося.

В эту ночь она почти не спала.

III

— Юзя, разведи огонь, собери все горшки и вскипяти в них воду, а я сбегаю к Янкелю за приправами.

— Ты поскорее, Амброжий того и гляди придет!

— Не беспокойся, чуть свет не притащится, ему ведь надо сперва в костеле все приготовить.

— Отзвонит и придет, а в костеле его Рох заменит.

— Ничего, я поспею. Кликви-ка хлопцев, чтобы живее корыто выскребли и перенесли его на крыльцо. А когда Ягустинка придет, пусть перемоем все лохани. Бочонки тоже надо вынести из чулана и выкатить в озеро, пусть помокну. Только не забудь камней в них положить, чтобы их не унесло! А ребят не буди, пусть спят, свободнее нам будет... — наказывала Ганка Юзе. Накинув на голову платок, она торопливо вышла.

Было раннее утро, пасмурное, дождливое, неприятно промозглое: от мокрой земли поднимался седой туман, опадая мелким холодным дождем, скользкие дороги про-

питались водой. Потемневшие избы были едва видны, а деревья мелькали дрожащими тенями, словно сотканными из белесой мглы, и смотрелись в синее озеро. Слышался тихий неровный плеск капель, падавших в воду, а кругом из-за дождя света божьего не видно было, и улица была пустыня.

Только когда уныло задребезжал маленький колокол, на дороге кое-где запестрели платья женщин. Старательно обходя лужи, они пробирались в костел.

Ганка шла быстро, рассчитывая, что, может быть, встретит Амброжия на повороте, но он еще не выходил. У озера, как всегда в этот час, бродила слепая кляча ксендза, таща бочку на полозьях. Она на каждом шагу останавливалась, спотыкалась на выбоинах, чутьем лишь находила дорогу к воде, а работник, вместо того чтобы ее вести, укрылся от дождя под плетнем и курил папиросу.

И как раз в это время к плебании подъехала бричка, запряженная откормленными гнедыми лошадками, и с нее слезал тучный, краснолицый ксендз из Лазнева.

«Исповедовать будет... Наверное, и слупский ксендз сейчас приедет», — подумала Ганка, тщательно ища глазами Амброжия. Она обошла костел боковой дорожкой, еще более мокрой, потому что ее укрывали ряды высоких топей, мелькавших за сеткой дождя, как тени, движущиеся за мутным стеклом.

Пройдя мимо корчмы, Ганка повернула направо, на вязкую полевую тропинку.

Она рассчитала, что еще успеет провести отца и поговорить с Веронкой. Сестры окончательно помирились с тех пор, как Ганка переселилась к Бoryне.

Она застала всех дома.

— Что-то Юзька вчера натрепала мне, будто отец хворает, — сказала она, входя.

— Э!.. Не хочет в работе помогать, вот и залег под тулупом, крихтит да болезнью отговаривается, — хмурясь, ответила Веронка.

— Холодище тут у тебя, так за поги и хватает! — сказала Ганка, вздрогнув.

Крыша в избе протекала, как решето, и липкая грязь покрывала пол.

— Топить нечем. Кто хворосту принесет? Разве есть у меня силы чуть свет бежать такую даль в лес и тащить дрова на спине? Да и сколько другой работы, — не знаешь,

за что раньше браться. Где же мне одной со всем управиться?

Обе вздохнули при мысли о своем одиночестве и беспомощности.

— Когда Стах был здесь, казалось, что от него в хозяйстве никакой пользы нет, а как не стало его, тут-то я и увидела, что значит мужик в доме!.. Ты в город поедешь?

— Поеду, и хотела бы поскорее, да Рох узнал, что к ним будут пускать только на праздниках. В светлое воскресенье соберусь и свезу ему, горемычному, кое-чего, чтобы было чем разговеться.

— И я бы рада моему чего-нибудь свезти, да что у меня есть? Ломоть хлеба?

— Не горюй, я наготовлю побольше, чтобы для обоих хватило, вместе и повезем.

— Спаси тебя Христос за доброту твою! Я как-нибудь отработаю.

— Не надо мне твоей отработки, я от чистого сердца даю. Сама не хуже тебя с бедой зналась, помню еще, как она грызет человека! — грустно сказала Ганка.

— Да, всю жизнь из нужды не вылезает, разве только в могилу от нее убежишь! Собрала я немного денег, думала, весной куплю поросенка, откормлю, вот к осени и заработаю малость. Да пришлось Стаху дать с собой несколько рублей, а потом сюда злотый, туда злотый — смотришь, все деньги утекли, как вода, а новых уже не накопить. Вот и вся польза от того, что он за других постоял!

— Полно тебе вздор молоть, он по доброй воле пошел, чтобы свое отстоять, достанется и вам какой-нибудь морг леса.

— Достанется, как же! Пока солнце взойдет, роса глаза выест! Деньги к деньгам идут, а бедняк подыхай с голоду да утешайся тем, что когда-нибудь и ему поесть придется!

— Нужно тебе чего-нибудь? — робко спросила Ганка.

— А что ж у меня есть? Только то, что корчмарь или мельник в долг дадут! — воскликнула Веронка, в отчаянии разводя руками.

— От всего сердца рада бы тебе помочь, да нельзя: я не на своем хозяйстве, самой приходится отбиваться от всех, как от собак, да глядеть, чтобы меня из дому не выгнали... От забот голова кругом идет!

Ей вспомнилась прошедшая ночь.

— Зато Ягуся ни о чем не тужит. Она не дура, времени даром не теряет! — заметила Веронка.

— А что?

Ганка встала и с беспокойством посмотрела на сестру.

— Да ничего, живет себе припеваючи, наряжается, в гости ходит, всякий день у нее праздник!.. Вчера, например, видели ее с войтом в корчме; за перегородкой сидели, и Янкель едва поспевал им туда бутылки подавать... Не такая она дура, чтобы о старике убиваться, — добавила Веронка язвительно.

— Всею конец приходит! — угрюмо пробормотала Ганка, накидывая на голову платок.

— Ну, а тем временем она нагуляется, поживет в свое удовольствие — этого у нее уж никто не отнимет. Умно делает, шельма!..

— Легко умным быть, когда ни до чего дела нет!.. Слушай, Веронка, мы нынче поросенка режем, так ты зайди вечером, поможешь... — сказала Ганка, прерывая эти горькие рассуждения, и вышла.

Она заглянула к отцу, на ту половину, где жила прежде. Старик лежал на полатах и стонал.

— Что это с вами, отец?

Она присела около него.

— Да ничего, дочка, только лихорадка трясет меня да в груди что-то давит.

— Что за диво — ведь тут холод и сырость, как на улице! Вставай, пойдем к нам, за детьми присмотрите, потому что мы сегодня боровка резать будем. Есть вам не хочется?

— Поел бы... Забыли мне вчера дать... Да и едим-то одну картошку с солью. Стах ведь в тюрьме... Приду, Гануся... Приду! — бормотал он обрадованно, сползая с полатей.

А Ганка, занятая мыслями о Ягнe, как нож острый терзавшими ее сердце, побежала в корчму купить все, что нужно.

Теперь уже Янкель не требовал у нее денег вперед и с готовностью отмерял и отвешивал все, чего ей надо было, да еще подсовывал всякие заманчивые вещи.

— Давайте только то, что я спрашиваю! Я не ребенок, знаю, чего мне надо! — высокомерно прикрикнула она, не вступая с ним в разговоры.

Янкель только усмехнулся, потому что она и так уже набрала товару на несколько рублей, водки взяла поболь-

ше, чтобы и на праздник хватило, хлеба ситного, две связки бубликов и десятка полтора сельдей, а напоследок даже бутылочку рисовой, так что едва могла поднять кошелку.

«Ягнe можно, а я что — собака? Работаю ведь рук не покладая!» — думала она, возвращаясь домой, но потом пожалела, что истратила лишнее, и, если бы не было стыдно, отнесла бы Янкелю обратно бутылку рисовой.

Дома приготовления были уже в полном разгаре. Амброжий грелся у печи и по своему обыкновению подпучивал над Ягустинкой, которая так усердно мыла кипяток посуду, что пар заполнил всю комнату.

— А я уже вас жду, хозяйка, чтобы огреть борова по голове дубиной.

— Не думала я, что вы так рано придете!

— Рох меня заменил в ризнице, ксендзов Валек надует органисту мехи, а костел подметет Магда. Все и устроил так, чтобы вас не подвести. Исповедовать ксендзы начнут только после завтрака... Ну, и холод нынче, даже кости ноют! — добавил он жалобно.

— У огня сидите, чуть в печь не влезли, а на холод жалуетесь! — удивилась Юзя.

— Глупая, внутри холодно, даже деревяшка моя заоченела.

— Найдется чем вас разогреть. Сейчас подам... Юзя, намочи-ка селедки, живо!

— Давайте какис есть. Водкой их хорошенько залью, тогда всю соль и вытяпет.

— А у тебя только одно на уме! Хотя в полночь рюмки зазвенят, так и тогда встанешь, чтобы выпить, — ядовито заметила Ягустинка.

— Правда твоя, бабка! Да и у тебя, кажись, язык одеревенел, рада небось его в водке помочить, а? — засмеялся Амброжий, потирая руки.

— Да уж меня, старый хрыч, не перепьешь!

— Что-то мало людей нынче в костел пошло, — перебила их Ганка, очень недовольная тем, что оба напрашиваются на выпивку.

— Еще время есть. Сойдутся все, не бойтесь, бегом побегут грехи вытряхивать.

— Да заодно и от работы отвертеться, новости послушать, свеженьких грехов набраться!

— Девки уже со вчерашнего дня готовятся, — пискнула откуда-то Юзя.

— Еще бы! Им перед своим ксендзом исповедоваться стыдно! — отозвалась Ягустинка.

— Эй, бабушка, тебе бы пора на паперти сидеть, каяться да четки перебирать, а ты других судишь!

— Погожу, пока ты сядешь со мной рядом, хромоногий!

— А мне не к спеху, я еще сначала по тебе звонить буду да лопатой твою могилку подровняю!

— Ты меня лучше не задевай, я сегодня злая! — пробормотала Ягустинка.

— Палкой заслонюсь, так не укусишь. Да и зубки свои пожалеи, последние ведь!

Ягустинку всю передернуло от злости, но она смолчала. А тут как раз Ганка налила рюмки и стала чокаться с ними. Юзя подала селедку, Амброжий поджарил ее на углях и с наслаждением съел.

— Ну, побаловались и будет! За работу, люди! — воскликнул он, скинул тулуп, засучил рукава, поточил на оселке нож и, взяв крепкую дубинку, которой растирали картофель для свиней, вышел во двор.

Все пошли за ним и смотрели, как он с Петриком вдвоем выводили из хлева упиравшегося борова.

— Корыто давайте — кровь собрать! Живо!

Принесли корыто. Боров терся об угол и тихо повизгивал.

Все стояли вокруг молча, оглядывая его белые бока и толстое обвислое брюхо. Мокли порядком, так как дождь лил все сильнее и туман окутывал сад. Лапа, повизгивая, бегал вокруг, какие-то бабы остановились у ворот, несколько ребятишек забрались на забор, и все с любопытством смотрели.

Амброжий перекрестился и ударил борова дубиной меж ушей так, что он с визгом свалился набок. Тогда Амброжий сел ему на брюхо. Блеснул нож и по рукоятку вошел в грудь животного.

Подставили корытце, кровь хлынула и потекла с бульканьем, дымясь, как кипяток.

— Пошел вон, Лапа! Ишь ты, крови захотел в пост! — сказал Амброжий, тяжело отдуваясь.

— На крыльце его кипятком обдашь?

— Нет, в избу внесем, надо же его потом подвесить, чтобы тушу разделать.

— А мне думается, в горнице тесно.

— Можно на отцовской половине, там просторно, а

старик у нас не помешает. Только живее посидит, пока не остыла, легче щетина сойдет.

Через каких-нибудь четверть часа боров, уже очищенный и обмытый, висел в комнате Боряны.

Ягпы дома не было: она с раннего утра ушла в костел, не подозревая, что тут затевается. А старик, как всегда, лежал на кровати, устремив бессмысленный взгляд куда-то в пространство.

Сначала все работали молча, часто оглядываясь на больного, но он был так неподвижен, что о нем скоро забыли и всецело занялись боровом, который не обманул ожиданий: сало было отличное и на спине толщиной в добрых шесть пальцев.

— Ну, отпели мы его, перевезли, пора его водкой sprysnut'! — объявил Амброжий, моя руки над копытном.

— Пойдемте завтракать, найдется чем запить.

Перед тем как приняться за борщ и картошку, Амброжий выпил немалую порцию, но поел наскоро и сразу взялся за работу, подгоняя остальных, в особенности Ягустинку, которая была его главной помощницей, — она не хуже его умела солить и приправлять мясо.

Помогала и Ганка, чем могла, а Юзя хваталась за всякую работу, только бы не уходить из комнаты.

— Ступай помоги навоз накладывать, надо, чтобы они поскорее его вывезли, а то сегодня не кончат эти лодыри! — кричала на нее Ганка.

И Юзя очень неохотно убегала во двор и здесь вымещала свою досаду на Петрике и Витеке; только и слышно было ее ворчанье. Да и как ей было не злиться на то, что ее выгоняли из хаты? Ведь там становилось все веселее! Каждую минуту под тем или иным предлогом забегала какая-нибудь кумушка и, увидев висевшего бора, всплескивала руками и начинала громко восторгаться — такой-де он жирный да громадный, даже у мельника и у органиста нет такого.

А Ганке это льстило, она была горда тем, что режет бора, и, хотя жаль было водки, приходилось, соблюдая обычай, угощать всех по такому торжественному случаю. Она налиwała рюмки, подавала на закуску хлеб с солью, охотно слушала льстивые речи, и сама разговаривала до утомления — едва одна соседка за порог, как уже другая в сенях вытирает ноги, заходя якобы на минуточку, по дороге в костел. Валили, как на богомолье, а ребятшек на-

билось по углам и заглядывало в окна столько, что Юзьке не раз приходилось их разгонять.

Уже и в деревне замечалось неожиданное оживление. Все больше народу шлепало по грязи, все чаще тарахтели телеги из других деревень, а у озера пестрели бабьи наряды. Люди шли к исповеди, несмотря на распутицу и ненастную погоду, которая все время менялась: то дождь льет, то пробежит по садам теплый ветер, то начнет сыпать снежная крупа, а был даже и такой час, когда солнце пробилось сквозь тучи и золотом осыпало все. Так бывает ранней весной, когда погода напоминает капризную женщину, которая то смеется, то плачет, то весела, то печальна и сама не знает, что с ней.

В избе у Ганки работа кипела, от болтовни гул стоял. Амброжий часто убегал в костел взглянуть, все ли там в порядке, и потом жаловался на холод и просил водки, чтобы согреться.

— Рассажал я ксендзов, пародом их окружил, теперь до полудня с места не двинутся.

— Ну, нет, лазиевский ксендз долго не выдержит: говорят, его экономке то и дело приходится подавать ему ночную посудину.

— Эй, бабка, смотри за своим носом, а ксендзов не тронь!

Амброжий не любил, когда смеялись над ксендзами.

— Да и про слунского тоже рассказывают, будто он, когда исповедует, всегда флакончик в руке держит и нос зажимает, потому что от мужиков ему воняет, и после каждого платком в воздухе машет и кадить велит в исповедальне.

— Заткни глотку! Сказано тебе: ксендзов не задевай! — крикнул сердито Амброжий.

— А Рох в костеле? — поспешно спросила Ганка, тоже очень недовольная насмешками Ягустинки.

— Сидит там с самого утра. Прислуживал за обедней и делает вместо меня все, что надо.

— А Михал где же?

— Пошел с сыном органиста в Репки, с мужиков даяния собирать.

— Наш органист гусем пашет, песок сеет и неплохой урожай собирает! — вздохнул Амброжий.

— Еще бы! Уж самое меньшее за каждую душу, записанную в поминовение, по яйцу получает.

— А за карточки на исповедь отдельно берет по три гроша с человека. Вижу я каждый день, какие мешки гащат со всякой всячиной! Одних яиц органистиха на прошлой неделе продала штук триста,— сказала Ягустинка.

— Пришел он сюда, говорят, пешком, с одним узелком, а теперь добра и на четырех возах не вывезешь!

— Что ж, органист двадцать с лишним лет в Липцах живет, приход большой, а он служит, старается, деньги бережет, вот и подкопил,— оправдывал его Амброжий.

— Подкопил! Дерет с людей безбожно за каждый пу-
стяк и, прежде чем кому что-нибудь сделает, в руки смотрит! По тридцать золотых за похороны берет,— за то, что поблеет по-латыни и на органе побрепчит!

— Зато он ученый, свое дело знает, ему приходится головой работать.

— Ученый, слов нет: знает, где надо громче блеять, где тише! А еще лучше умеет у людей последнее вымани-
вать.

— Другой пропилил бы, а он сына в ксепдзы готовит!

— Что ж, ему от этого и почет большой, и польза бу-
дет! — твердила свое Ягустинка.

Разговор прервался на самом интересном месте: вошла Ягуся и остановилась, как вкопанная, на пороге.

— Боровом любишься? — фыркнула Ягустинка.

— Не могла ты на своей половине резать? Всю ком-
нату мне загадили! — выговорила Ягна с трудом, и лицо
ее стало пунцовым.

— Времени у тебя довольно, вымоешь! — холодно от-
чеканила Ганка.

Ягуся рванулась было вперед, и все думали, что сейчас вспыхнет ссора. Но она сдержала себя, повертелась в комнате, взяла с распятия четки и, прикрыв неубранную постель шалью, вышла, не сказав ни слова, только губы у нее тряслись от затаенного гнева.

— Помогла бы, столько дела! — сказала ей в сенях Юзя.

Ягна прошипела что-то так злобно, что слов нельзя было разобрать, и выбежала, как шальная. Смотревший ей вслед Витек сказал, что она помчалась прямо к кузнецу.

— Ну и пусть идет! Пожалуется ему, ей и полегчает маленько.

— Опять тебе воевать придется! — заметила вполголо-
са Ягустинка.

— Эх, голубушка, только войной и держусь, — ответила Ганка спокойно, но на душе у нее кошки скребли: она понимала, что сейчас прибежит кузнец и не миновать жестокой стычки.

— Того и гляди, вяжутся! — сочувственно шепнула Ягустинка.

— Ничего, выдержу, не запугают меня! — отозвалась с усмешкой Ганка.

Ягустинка даже головой покачала, удивляясь ее стойкости, и выразительно посмотрела на Амброжия, который уже кончал работу.

— Схожу в костел, прозвоню полдень и вернусь к обеду, — сказал он Ганке.

Вернулся он очень скоро и объяснил, что ксендзы уже сели за стол, что мельник прислал им целую вершу рыбы, а после обеда опять будут исповедовать, потому что очень много народу ждет в костеле.

Быстро пообедали (Амброжий усердно запивал обед, жалуясь, что водка недостаточно крепка и не утоляет жажды после таких соленых селедок) и снова принялись за дело.

Амброжий разрубил борова на части и отделял мясо на колбасы, а Ягустинка на столе резала сало и старательно солила его.

Влетел кузнец. По лицу видно было, что он едва сдерживается.

— А я и не знал, что ты купила себе этакое борова! — начал он иронически.

— Купила и, видишь, режу! — В душе Ганка немного трусила.

— Славный боров! Небось рублей тридцать отдала?

Он внимательно оглядел тушу.

— А сала-то сколько, редкостный был боров! — с усмешечкой сказала Ягустинка, подсовывая кусок под нос кузнецу.

— Ну... Не все тридцать отдала, не все! — ответила задорно Ганка.

— Борынов это боров! — выпалил кузнец, уже не сдерживая ярости.

— Экой догадливый, по хвосту узнал чей! — издевалась Ягустинка.

— А по какому такому праву ты его заколола? — гневно кричал кузнец.

— Не шуми, тут тебе не корчма! А по такому праву, что Антек через Роха приказал его заколоть.

— А как Антек может распоряжаться? Его это боров, что ли?

— Его, конечно!

Ганка уже собралась с духом и была готова к борьбе.

— Неправда, он общий! Дорого же ты за это заплатишь!

— Не тебе буду отчет давать!

— А то кому же? В суд подадим!

— Тише, придержи язык, тут больной лежит! Все это его, им нажито.

— А есть будете вы!

— Да уж конечно, тебе и понюхать не дам!

— Дай половину, так я тебя трогать не буду,— сказал он примирительно.

— Силой и пожки не возьмешь.

— Так дай добром вот эту четверть и кусок сала.

— Прикажет Антек — тогда дам, а до этого — ни косточки!

— Взбесилась баба! Антека это боров, что ли? — опять разозлился кузнец.

— Оп отцовский, значит, все равно что Антека. Пока отец хворает, Антек тут за него распоряжается. А там как бог даст.

— В остроге пусть распоряжается, если ему позволят! Погонят его в кандалах в Сибирь, там и будет хозяйничать! — крикнул кузнец с пеной у рта.

— Не твое дело! Может, и погонят, а все равно полей отцовских ты не заграбастаешь, хотя бы для этого еще раз людей паших продал, как Иуда! — пропзнесла Ганка грозно, внезапно ужаленная страхом за мужа.

У кузнеца даже ноги задрожали и руки заходили ходуном — так ему хотелось схватить ее за горло, таскать по избе и бить. Но его стесняло присутствие посторонних, и он только метал на Ганку свирепые взгляды и от злости не мог выговорить ни слова. А она не оробела: взяла в руки нож, которым рубили мясо, и так пристально и дерзко посмотрела на своего врага, что он, опешив, присел на сундук и принялся скручивать папиросу, а воспаленные глаза его бегали по комнате. Несколько минут он, видимо, что-то взвешивал и обдумывал, потом встал и сказал примирительно:



— Пойдем на ту половину, я тебе что-то скажу, и мы поладим.

Ганка вытерла руки и пошла за ним, но дверь на всякий случай оставила открытой.

— Не хочу с тобой ни ссориться, ни судиться, — начал кузнец, закуривая.

— Потому что знаешь, что этим ничего не добьешься. Ганка уже совсем успокоилась.

— Говорил отец вчера еще что-нибудь?

Тон у кузнеца был уже ласковый, он улыбался.

— Нет. Лежал тихо, как и сегодня лежит, — ответила Ганка, подозрительно насторожившись.

— Невелика важность — поросенок, режьте и ешьте на здоровье, не мой убыток. Иной раз и сболтнешь такое, о чем потом пожалеешь. Так ты забудь, что я говорил. Поважнее дело есть... Знаешь ли, что говорят в деревне? Что у отца где-то припрятано много денег... — Он сделал паузу, впиваясь глазами в лицо Ганки. — Стоило бы поискать — не дай бог, помрет, так затеряются они или кто-нибудь чужой их стащит.

— Да разве он скажет, где спрятал! — Лицо Ганки было непроницаемо.

— Тебе скажет, если ты его умно выпросишь.

— Ну, пусть только в себя придет, тогда попробую выведать.

— Если будешь, как умная, держать язык за зубами, так только мы двое и будем знать про эти деньги. Коли их найдется порядочно, можно будет и Антека из острога выкупить. А другим это знать незачем! С Ягны хватит того, что ей отец отписал, да и эти шесть моргов можно бы у нее судом оттягать. А Гжеле немало посылали за эти годы! — шепнул кузнец, нагибаясь к уху Ганки.

— Верно говоришь... Верно, — поддакивала она, стараясь ничем себя не выдать.

— Должно быть, он их где-то в избе спрятал... Как думаешь?

— Откуда же мне знать? Он ни словечком про это не обмолвился.

— О зерне он что-то толковал вчера, не помнишь разве? — подсказывал ей кузнец.

— Да, верно, он о посеве вспоминал.

— И еще о бочках что-то такое, — продолжал он, попуская с нее глаз.

— Ну, как же, в бочках ведь у пего и лежит зерно для посева,— ответила Ганка, как будто ничего не подозревая.

Кузнец выругался про себя, в нем росла уверенность, что Ганка что-то знает: он прочел это по ее замкнутому лицу, по глазам, чересчур настороженным и беспокойным.

— Ты смотри не болтай о том, что я тебе говорил.

— Сплетница я, что ли, чтобы с новостями по кумушкам бегать?

— Да я только так, на всякий случай тебе говорю... А за стариком следи хсрошенько, уж если у него одни раз в голове прояснилось, так он каждую минуту может и совсем в разум прийти.

— Ох, поскорее бы!

Кузнец стрельнул в нее своим липким взглядом, подергал ус и вышел, а она смотрела ему вслед с затаенной усмешкой.

— Иуда, подлец, разбойник! — прошептала она с ненавистью, шагнув к двери, за которой он скрылся. Не в первый раз он ей грозит, пугает, что Антека сошлют в Сибирь и прикуют к тачке. Она, правда, не очень-то этому верила, понимая, что кузнец говорит больше по злобе и для того, чтобы ее запугать и легче выжить из дома свекра.

А все-таки ее терзала сильная тревога за Антека. Она разузнавала, где только могла, какая его ждет кара, и с грустью говорила себе, что выйти сухим из воды ему не удастся.

— Правда, он убил лесника, защищая родного отца, но за убийство его непременно засудят!

Так говорили рассудительные люди. Но каждый толковал свое, и Ганка не знала, кому верить. В городе адвокат, к которому ксендз дал ей письмо, сказал, что дело может кончиться и совсем скверно, и не так уж скверно, надо только не жалеть денег и терпеливо ждать. А больше всего ее пугали разговоры в деревне, где кузнец всем выкладывал свои соображения и настраивал всех так, как ему было выгодно.

Вот и сегодня слова его камнем легли на сердце Ганке. У нее подкашивались ноги, страх делал ее молчаливой. К тому же сразу по уходе кузнеца прибежала Магда и уселась подле больного, якобы для того, чтобы отгонять от него мух, которых вовсе и не было в избе, а на самом деле — чтобы зорко следить за всем.

Впрочем, ей это быстро надоело, и она несколько раз порывалась помочь Ганке и остальным.

— Не трудись, сами справимся. Ты и дома у себя немало парабатаешься! — сказала ей Гапка таким тоном, что Магда больше не предлагала своих услуг и только изредка нерешительно заговаривала о том о сем, — она от природы была робка и молчалива.

Уже к вечеру пришла Ягна, па этот раз не одна, а с матерью.

Обе поздоровались так мирно и дружелюбно, даже ласково, что Гапку это поразило, и хотя она ответила им тем же, не скупясь на приветливые слова и даже на водку, по все время была пастороже. Домипикова отодвинула рюмку:

— Страстная неделя! Как можно водку пить!

— Не в корчме, а дома. При случае не грех, — оправдывалась Гапка.

— Люди рады воспользоваться случаем и себе поблажку дать...

— Выпейте, хозяйка, со мной, я ведь не органист! — крикнул Амброжий.

— Где только рюмка звякнет, ты уж тут как тут! — буркнула Домипикова, припимаясь перевязывать больному голову.

— Что ж... Каждому свое! Один бьет себя в грудь и кается, как только колокольный звон слышит, другой, когда бутылка зазвечит, рюмку ищет.

— Лежит, горемычный, и ничего не видит, не знает! — причитала пад Бороной Домипикова.

— И колбасы не поест, и водочки не попробует! — тем же тоном протянула, передразнивая ее, Ягустинка.

— А у тебя только смешки на уме! — гневно обрушилась па нее Домипикова.

— Слезами все равно горю не поможешь. Только и утехи, что посмеешься иной раз.

— Кто зло сеет, тот пусть и печаль пожнет и кается!

— Недаром люди говорят, что Амброжий, хоть и служит в костеле, а готов за угощение с самим чертом покумиться! — запальчиво сказала Домипикова, смерив его суровым взглядом.

В избе наступило тягостное молчание. Амброжий побавровел от злости, по проглотил просившийся на язык резкий ответ: он знал, что каждое его слово станет известно ксендзу еще сегодня, самое позднее завтра после обедни. Недаром Доминикова не вылезала из костела. Притихли и остальные под взглядом ее совиных глаз. Даже неуго-

мопная Ягустинка тревожно помалкивала. Доминиковой боялась вся деревня. Говорили, что уже немало людей испытало на себе силу ее «дурного глаза».

Помня это, все в избе работали молча, боязливо потупив головы, и только ее лицо, сухое, перепухавшее морщинами и словно отлитое из белого воска, мелькало то тут, то там. Она тоже больше не говорила ни слова и вместе с Ягной принялась помогать в работе так решительно, что Ганка не посмела возражать.

Скоро за Амброжием прибежал работник ксеядза — звать его в костел. Женщины остались одни и старательно укладывали в кадки мясо и сало.

— На этой половине меньше топят, здесь в чулане для мяса холоднее будет, — объявила Доминикова, и они с Ягной мигом вынесли кадки в чулан.

Это произошло так быстро, что Ганка не успела им помешать. Ужасно разозлившись, она поспешно принялась переносить на свою половину то, что осталось, позвав на помощь Юзю и Петрика.

В сумерки, когда зажгли огонь, они принялись готовить колбасы и сосиски. Ганка рубила мясо с угрюмым остервенением — она все еще не могла успокоиться.

— Не оставлю мясо у них в чулане, чтобы она его сожрала либо унесла! Не дожدهшься, окаянная! Ишь ловкая какая! — процедила она сквозь зубы.

— А вы рано утром, когда она уйдет в костел, потихонечку перенесите все в свой чулан, вот и дело с копцом! Не вырвет же она его у вас силой! — посоветовала Ягустинка.

— Пусть только попробует! Это они сговорились, для того и прибежали! — волновалась Ганка.

— А колбасы у нас будут готовы раньше, чем вернется Амброжий, — заговаривала с ней старуха.

Но Ганка не отвечала, занятая работой, а еще больше размышлениями о том, как отобрать сало и окорока.

В печи трещал огонь, разгоревшийся так ярко, что вся комната была залита красным светом. В больших горшках готовилась начинка для колбас, а над корытами с кровью о чем-то тревожно шептались дети.

— Ей-богу, у меня даже под ложечкой сосет от этих запахов! — вздохнул Витек, раздувая ноздри.

— Не нюхай, а то тебе достанется! Сходи коров напои, сена им наложи да сечки на ночь засыпь! Поздно уже, когда ты со всем справишься?

— А вот сейчас Петрик придет, один я, конечно, но управлюсь.

— Петрик? А куда же он ушел?

— Не знаете разве? Он помогает убирать на той половине.

— Что-о? Петрик! Сейчас же ступай скотину поить! — крикнула Ганка в сени так резко, что Петрик мигом побежал во двор.

— А ты ручек своих не жалея, сама комнату убери! Видали, пани какая, ручек марать не хочет, работником помыкает! — негодовала окончательно рассвирепевшая Ганка.

В эту минуту на улпце застучала бричка, задребезжал колокольчик.

— Это ксендз кого-то причащать едет, — пояснил Былица, входя в избу.

— А кто же это захворал? Я не слышала...

— За войтову избу поехал! — крикнул в окно Витек.

— Наверное, к кому-нибудь из коморников.

— А может, к вашим Прычкам, Ягустинка? Ведь там как раз их изба.

— Нет, они здоровы, таким гадам разве что станется? — буркнула Ягустинка. Однако, хотя она с детьми своими была в ссоре и постоянно судилась, материнское сердце дрогнуло.

— Схожу узнаю и мигом вернусь. — Она поспешно убежала.

Прошло немало времени, уже и Амброжий успел вернуться, а Ягустинки все не было. Амброжий рассказал, что ксендза вызвали к Агате, родственнице Клембов, которая в субботу вернулась в деревню.

— Да разве она не у Клембов живет?

— Нет. У Козла или у Прычков, что ли, помирать собирается.

Больше они об этом не говорили, поглощенные работой, которая и так уж очень затянулась. Юзя и Ганка то и дело отрывались от нее для обычных вечерних хлопот по хозяйству.

Вечер тянулся, долгий и скучный, на дворе было темно, хоть глаз выколи, хлестал холодный дождь, ветер бился о стены, с шумом качал деревья и порой так дул в трубу, что головни сыпались из печи в комнату.

Кончили почти в полночь, а Ягустинка все еще не возвращалась.

«На улице ливень и грязь, вот ей и не хотелось шлепать в темноте», — подумала Ганка, выглянув во двор перед тем как лечь спать.

Погода и в самом деле была такая, когда добрый хозяин собаки не выгонит: от ветра трещали крыши, по мутному небу мчались сырые, набухшие дождем тучи, не видно было ни единой звезды, ни одного огонька в избах, тонувших во мраке. Деревня давно спала, и только ветер со свистом гулял по полям, воевал с деревьями и поднимал волны на озере.

Все легли спать, не дожидаясь Ягустинки. Она пришла только на другое утро, мрачная, как этот холодный, ветреный и пасмурный день. Погрела в избе руки и сразу ушла в овин перебирать картофель, сваленный туда из ям.

Она работала почти одна — Юзя часто убегала накладывать навоз на телегу. Его с рассвета начал возить на поле Петрик, которому здорово влетело от Ганки за то, что он вчера поленился это сделать. Теперь Петрик гнал всю, орал на Витека, хлестал лошадей и мчался, разбрызгивая во все стороны грязь.

— Ишь бездельник, теперь на лошадках отыгрывается! — сказала Ягустинка, замахиваясь на гусей, которые прибежали в овин целым стадом и, громко гогоча, клевали картофель. Юзя пробовала с ней заговаривать, но старуха не отвечала, сидела насупившись и прятала под низко надетым платком красные, заплаканные глаза.

Ганка один только раз заглянула к ним, — она караулила в избе, ожидая ухода Ягны, чтобы унести мясо к себе и заодно пошарить в бочках с зерном.

Но Ягна, как нарочно, сиднем сидела у себя, и Ганка, не выдержав, несколько раз заходила к больному, потом под каким-то предлогом сунулась в чулан.

— Чего ты там ищешь? Скажи, я покажу, я ведь знаю, где что лежит! — воскликнула Ягна, войдя туда вслед за ней.

И Ганке пришлось уйти. Она успела только сунуть руки в зерно, но деньги могли лежать глубоко, на самом дне.

Она сразу поняла, что Ягна за ней следит, и поспешила отложить поиски до более удобного времени.

«Пока надо приготовить всем гостинцы», — решила она, с сожалением осматривая колбасы, подвешенные на шесте. У Боровых и у других зажиточных хозяев было принято,

когда резали свишью, на другой день рассылать родственникам и друзьям по колбасе, куску мяса или сала.

— Как ни жалко, а дать надо, чтобы не говорили, что ты скупая, — сказал Былица, входя как раз в ту минуту, когда она предавалась этим грустным размышлениям.

И Ганка скрепя сердце стала раскладывать дары на тарелки и в мисочки, то с тяжелым вздохом заменяя слишком короткие колбасы другими, подлиннее, то прибавляя, то опять снимая по кусочку, и, наконец, совсем измученная, кликнула Юзю.

— Одеваться получше, разнесешь всем.

— Ой, сколько тут!

— Что делать, надо! Без людей не проживешь! Первым делом эти, самые длинные, отнеси тетке: она на меня волком смотрит, поносит меня на чем свет стоит, да уж бог с ней! Вот эту мисочку — войту. Подлец он, но с Мацеем всегда был дружен, да и нам может еще при случае оказать услугу. Целую колбасу, сосиски и кусок бока — Магде: пусть не верещат, что мы одни съели отцовскую свишню. Правда, им рта не заткнешь, но все же одной придишкой меньше... Жене Прычека вот эту колбасу: баба она зубастая, запосчивая, кичливая, но первая пришла ко мне с дружеским словом. А вот этот последний кусок — Клембовой.

— А Доминиковой ничего не пошлешь?

— Потом ей дам, после обеда... Придется дать. Она — как помет: не вороши и лучше обходи издали. Ну, обнеси всех по порядку, да смотри не заговоришься там с девочками, дома работа ждет!

— Дай и для Настки кусочек, они такие бедные, даже на соль у них нет! — тихо попросила Юзя.

— Пусть придет, дам ей чего-нибудь. Отец, а вы возьмете для Веронки. Она обещала вчера зайти...

— Ее мельничиха позвала комнаты убирать — должно быть, на праздники гостей ждут...

Старик долго рассказывал бы новости, но Ганка, отправив Юзю, оделась потеплее и пошла помогать Ягустинке и подгонять работников.

— А мы тебя ждали вчера к ужину, — начала она, удивленная молчалием старухи.

— Эх, нагладелась я там... Наелась горя досыта!

— Агата, говорят, слегла?

— Да, у Козлов помирает, сирота.

— Как? А почему не у Клембов?

— Люди только тех за родню признают, кому ничего от них не надо или кто приходит не с пустыми руками. А на других родственников они собак спускают...

— Что ты толкуешь! Ведь не выгнали же ее Клембы?

— Приплелась она к ним в субботу и в ту же ночь расхворалась. Говорят, Клембова взяла ее перину и почти голую из дому отпустила.

— Клембова! Такая хорошая баба! Не может быть! Вражье...

— Говорю то, что от людей слыхала.

— Значит, Агата у Козловой лежит? Кто бы подумал, что Козлова такая жалостливая!

— За деньги и ксендз пожалеет! Козлова взяла у Агаты двадцать злотых, и за это обязаны они держать ее у себя до ее последнего часа — старуха со дня на день смерти ждет. А за похороны отдельно... Недолго Козловой ждать, Агата не сегодня-завтра богу душу отдаст...

Ягустинка умолкла, тщетно пытаясь сдержать всхлипывания.

— Что это ты, нездорова, что ли? — спросила Ганка с участием.

— Насмотрелась на людское горе, божий свет не мил! Человек ведь не камень. Крепишь сердце, чем можешь, хоть злобой на всех, да не помогает: приходит такой час, когда оно на куски разрывается.

Она заплакала навзрыд и долго тряслась вся, громко сморкаясь, потом опять заговорила с такой болью, что слова ее, как горькие, жгучие слезы, падали на душу Ганки.

— И конца нет этой маяте людской! Сидела я у Агаты, когда ксендз уехал, прибегает Филипка из-за озера, кричит, что старшая у нее помирает... Пошла я к ним... Господи! В хате — мороз, окна тряпьем позатыканы... Одинаединственная кровать, а все дети, как собаки, вповалку на соломе спят. А девка не померла — это она с голоду ослабела... Картошка у них кончилась. Перину уже продали. Каждую четвертку крупы приходится вымаливать у мельника, — никто не хочет дать взаймы до нового урожая. Да и у кого найдется лишнее? Ниоткуда спасения нет! Филипп-то в остроге! Только я от них вышла, сказала мне Грегорова, что Флорка Прычкова родила, а ходить за ней некому... Сволочь они, обидели меня, хоть и дети родные... А я все-таки зашла к ней, не время теперь обиды помнить... Там тоже нужда зубы скалит. Ребятишек полно хата, Флорка больна, ни гроша за душой и помощи ждать

неоткуда... Не землю же ей глотать! Сварить что-нибудь некому, поле не обработано, а весна на дворе! Адам ведь взят вместе с другими. Мальчишку родила крепкого, как кремь, только чем она его вскормит? Сама высохла, как щепка, и молока в грудях ни капли, а корова еще не отелилась... И везде тяжко, а уж у коморников что творится, и рассказывать неохота! Заработать негде, да и некому работать-то! Хоть бы господь догадался па всех бедняков легкую смерть наслать — не мучились бы больше!

— А у кого же в деревне полная чаша? Везде горе, у всех па сердце скребет.

— Ну, еще бы, и у богатеев забот немало! Один думает, чем бы лучше колбасы начинить, другой ищет, кому бы под большие проценты деньги ссудить... А до бедняков никому дела нет, хоть под забором околевай! Господи Иисусе, в одной деревне живут, через улицу, а никому их беда спать не мешает! Каждый сдает бедноту на божье попечение, и все па него валит — мол, господом так заведено, — а сам за полной миской брюхо тепит и теплым тулупом уши закрывает, чтобы не слышать, как воют несчастные.

— Что поделаешь? У кого же есть столько, чтобы всем беднякам помогать?

— Кто не хочет, всегда отговорку найдет! Я не про себя говорю, ты не на своем хозяйстве и пелегко тебе, знаю. Но есть такие, что могли бы людям помочь: мельник, ксендз, органист да и другие...

— Если бы с ними кто потолковал, может, и сжалились бы...

— У кого душа есть, сам услышит, как люди стонут, не падо ему про это с амвона кричать! Эх, милая ты моя, они очень хорошо знают, как бедный народ бьется, — ведь они чужой бедой кормятся, от нее жиреют!.. Мельник уже теперь урожай собирает, хотя до жатвы еще далско: как па богомолье, тянется к нему народ за мукой да крупой, отдают ему последний грош или в долг берут — кто за большие проценты, кто за отработку. Что поделаешь, кормиться-то падо!..

— Правда, даром никто не даст...

Гапка вспомнила еще педавпо пережитую нужду и тяжело вздохнула.

— Я вчера до поздней ночи сидела у Флорки, сошлись туда и другие бабы и рассказывали, что в деревне делает-ся. Наслушалась я!..

— Господи помилуй! — вскрикнула вдруг Гапка и вскочила: ветер так ударил в ворота овина, что они чуть не разлетелись. Она с трудом их закрыла и крепко подперла кольями.

— Ветер сильный, но теплый, не принес бы опять дождя.

— И так уж телеги в поле увязают.

— Денька два солпечных — и все просохнет. Весна ведь!

— Хорошо бы до праздников посадку начать!

Так они изредка переговаривались, усердно работая, а скоро и совсем замолчали, и слышался только стук перебираемой картошки. Мелкую они бросали в одну кучу, подгнившую в другую.

— Будет чем откормить свинью, да и для коров хватит...

Гапка словно не слышала — она была занята одной мыслью: как бы ей добраться до денег свекра. Только изредка поглядывала она в открытую дверь на двор, на деревья, боровшиеся с ветром. Синие рваные тучи неслись по небу, как разметанные снопы, а ветер все крепчал и так поддувал снизу, что соломенная крыша на избе топорщилась щеткой. Было сыро и холодно, остро пахло навозом, который выбирали из навозной кучи и возили на поле. Во дворе было почти пусто, только по временам пробегали подгоняемые ветром взъерошенные куры, а гуси сидели под плетнем, закрывая телом попискивавших гусенят. Каждые полчаса во двор въезжал Петрик на пустой телеге, поворачивал у самого овина, и, подбросив лошади сена, накладывал вдвоем с Витеком навоз, потом уезжал обратно в поле.

А по временам влетала Юзья, раскрасневшаяся, хавшаяся, и начинала трещать. Ей очень нравилось носить колбасы.

— Войту отнесла, теперь побегу к тетке!.. У войта все дома, белят уже избу к пасхе. Так благодарили, так благодарили!..

Рассказав все подробно, хотя никто ее об этом не просил, Юзя опять убегала, осторожно держа завязанные в белый платок тарелки с гостинцами.

— Болтушка, а смышленная девка! — замечала стинка.

— У нее одно в голове — проказы да забавы, — отшучивалась Гапка.

— А чего же ты от нее хочешь? Девчонка еще, ребенок...

— Витек, погляди, кто там вошел в дом! — крикнула вдруг Ганка.

— Это кузнец сейчас туда прошел.

Уколотая дурным предчувствием, Ганка побежала прямо на отцовскую половину. Больной лежал, как всегда, неподвижно на спине, а Ягна шила что-то у окна, и больше никого в комнате не было.

— А куда же Михал девался?

— Он где-то здесь, ищет отвертку, которую он Мацею одолжил, — пояснила Ягна, не поднимая глаз.

Ганка выглянула в сени — никого. Зашла на свою половину — тут только Былица сидел у печки с малышами и мастерил им ветряную мельницу. Она поискала даже во дворе — кузнеца нигде не было. Тогда она ринулась прямо в чулан, хотя дверь была закрыта.

Там у бочки стоял кузнец и, по локоть погрузив руки в зерно, усердно рылся в нем.

— В ячмене отвертку спрятал, да? — выкрикнула она, задыхаясь от гнева и волнения, и грозно подошла к нему.

— Нет, смотрю, не заплесневел ли, годится ли для посева, — запинаясь, пробормотал захваченный врасплох кузнец.

— Не твоя это забота! Зачем сюда влез? — крикнула Ганка.

Он неохотно вынул руки из бочки и, едва сдерживая ярость, проворчал:

— А ты за мной следишь, как за вором каким!..

— Я не знаю, зачем ты сюда пришел. Ишь в чужой чулан залез и шарит в бочках! Может, еще замки станешь вывертывать да сундуки открывать? — кричала Ганка все громче.

— Я же тебе вчера объяснил, чего нам надо искать... — Кузнец пытался говорить спокойно.

— Морочил ты меня, зубы мне заговаривал! Я тебя пасквось вижу, разгадала твои Иудины замыслы!

— Ганка, придержи язык, не то я его тебе укорочу! — злобно прорычал кузнец.

— Попробуй, разбойник! Только пальцем меня тронь, так я такой шум подниму, что полдеревни сбежится и увидят люди, что ты за птица! — пригрозила Ганка.

Кузнец внимательно оглядел все углы и наконец отступил, отчаянно ругаясь. Они посмотрели друг другу

в глаза так пронзительно, что если бы могли, убили бы, какжется, друг друга этими горящими взглядами.

Ганка долго не могла опомниться, даже воды пришлось выпить, так она была взволнована.

«Надо деньги отыскать поскорее и спрятать в надежном месте, потому что, если он найдет их, украдет все», — думала она, направляясь в овин, но вдруг с полдороги вернулась обратно.

— Сидишь дома, сторожишь, а чужих пускаешь в чулан! — крикнула она Ягне, открыв дверь.

— Михал не чужой. У него здесь такие же права, как у тебя, — ответила Ягна, ничуть не робея.

— Брешешь, как собака! Ты с ним заодно! Ну, помни: если только из дому что-нибудь пропадет, — как бог свят, в суд подам и укажу, что ты помогала! Слышишь?

Ягна вскочила и схватила что под руку подвернулось.

— А, драться хочешь! Попробуй только, я тебя так отделаю, что кровью умоешься и родная мать тебя не узнает! — истукленно закричала Ганка.

Неизвестно, чем бы это кончилось, — обе уже подступили друг к другу и собирались пустить в ход ногти, — но в эту минуту вошел Рох. Пристыженная его взглядом, Ганка немного остыла и вышла, изо всей силы хлопнув дверью.

Ягна осталась в комнате. Она стояла ошеломленная, губы у нее дрожали, сердце колотилось и крупные слезы градом катились из глаз. Наконец она пришла в себя и, бросив в угол валец, который держала в руках, повалилась на кровать, вся содрогааясь от горьких, безутешных рыданий.

Тем временем Ганка объясняла Рогу, из-за чего они поссорились.

Он терпеливо слушал ее бессвязный, прерываемый всхлипываниями рассказ, но, так и не поняв толком, в чем дело, резко остановил ее и стал сурово отчитывать. Даже поданное ему угощение сердито отодвинул и схватился за шапку.

— Придется, видно, куда-нибудь уехать и в Липцы дорогу забыть, коли вы все так себя ведете, дьявола тепшите! Мало им горя, болезней, нужды, они еще дерутся между собой да злобствуют!

Он даже задохнулся после такой длинной отповеди. Ганка была очень огорчена и боялась, как бы он не ушел разгневанный. Она поцеловала у него руку и от всего сердца попросила прощения.

— Да вы поймите, от нее просто житья нет, все делает мне назло и во вред. Ведь из-за нее нас отец обидел — столько земли ей записал! А вы знаете, какая она, знаете, что она с парнями гуляла, что она... (Нет, об Аптеке она не могла сказать.) А теперь, говорят, уже с войтом связалась, — добавила она тише. — Как увижу ее, все во мне кипит, пожом бы ее пырнула...

— Господь сказал: мне отмщение и аз воздам. Она тоже человек и обиду чувствует. За грехи свои она тяжело ответит. А тебе говорю: не обижай ее!

— Я ее обижаю? Я? — удивилась Ганка. Она не понимала, чем обижена Ягна.

Рох жевал хлеб, молча поглядывал на Ганку и о чем-то думал. Потом приласкал детей, жавшихся к его коленям, и собрался уходить.

— Я еще загляну к вам как-нибудь вечером. А ты смотри, оставь ее в покое, делай свое дело, а остальное в божьей воле.

Простился и ушел в деревню.

IV

Рох брел по дороге вдоль озера медленно, так как ветер просто валил с ног, и к тому же старик был удручен тем, что творилось в деревне, часто посматривал на избы, задумывался и грустно вздыхал. Да, плохо дело, так плохо, что дальше некуда!

И хуже всего было не то, что многие голодали и болели, что участились ссоры и драки, и даже не то, что смерть уносила больше людей, чем в иные годы. Так бывало и раньше, ко всему этому народ притерпелся. Самое худшее было то, что поля оставались необработанными, потому что некому было пахать и сеять.

Весна шла по всему миру, прилетели с нею и птицы в прошлогодние гнезда, на высоких местах вода сошла, поля подсыхали, земля просила плуга, удобрения и семени...

Но кому же идти в поле, когда все работники в тюрьме? В деревне оставались почти одни только женщины, где им было со всем управиться! А тут еще, как всегда весною, многим пришлось рожать, да и коровы телились, и домашняя птица неслась, и свиньи поросились. Пора было засеять огороды и высаживать рассаду, надо было достать из ям и перебрать картошку, спускать воду с по-

лей, вывозить павоз па поля; тут хоть руки до костей со-три, а без мужика всего не осилишь... Да еще надо инвентарь в порядок привести, резать сечку для скота, дрова из лесу возить да рубить. А сколько всяких других работ и забот — да хотя бы о детях, которых в деревне что маку. Бабы уже рук и ног своих не чуяли, к вечеру поясища немела от усталости, а работа оставалась и наполовину несконченной, и, самое главное, за полевые работы еще никто и не принимался.

Земля ждала. Обогревало ее молодое солнце, сушили ветры, мочили насквозь теплые, благодатные дожди, крепили туманные и теплые весенние ночи. И уже всходила зеленой щетинкой трава, быстро росла озимь, звенели жаворонки над полями, а по болотистым лугам бродили аисты; кое-где уже и цветы расцветали в сырых лощинах и тянулись к сияющему небу, которое светлым пологом обнимало землю и что ни день поднималось все выше, и все дальше достигал тоскующий взор — уже до самого леса, прежде скрытого в зимнем сумраке. Все пробуждалось и нарядилось для веселого праздника весны.

В соседних деревнях везде кипела работа. С утра до вечера — в дождь и вёдро — в полях раздавались веселые песни, ауканье. Блестели плуги, суетились люди, ржанье лошадей мешалось с веселым тарахтеньем телег. Только на липецких пашнях было пусто и тихо, как на кладбище.

А в довершение всего женщин томила тяжкая тревога за тех, кто сидел в тюрьме.

Чуть не каждый день брели они в город — кто с узелками, а кто и с пустыми руками, только для того, чтобы тшцетно молить об освобождении невинных.

Но разве сжалится кто-нибудь над обиженным народом, если он сам для себя не добьется справедливости?

Беда посетила Липцы, такая беда, что люди из других деревень начинали видеть в ней обиду, нанесенную не одним липецким, а всему крестьянству. Только обезьяны грызутся между собой, а человек всегда за человека стоять должен, чтобы и самому не оказаться одиноким в беде!

Не диво, что мужики соседних деревень, которые прежде были с Липцами на ножах из-за размежевания полей да разных потрав, а то и просто из зависти, потому что липецкие важничали перед другими и деревню свою считали первой, теперь забыли старые споры, и часто какой-

нибудь житель Рудки, или Воли, или Дембицы и даже не один из репецкой шляхты отправлялся на тайную разведку в Липцы.

А по воскресеньям после службы в костеле или, например, вчера, после исповеди, они усиленно расспрашивали об арестованных и, слушая рассказы липецких, хмурились и так же, как те, сжимая кулаки, крепко ругали обидчиков и сокрушались об участии несправедливо пострадавших.

Вот об этом-то и размышлял Рох сейчас, обдумывая одно затеянное им большое дело. Он еще замедлил шаг, часто останавливался, укрываясь от ветра за деревьями, и, словно не замечая ничего вокруг, смотрел куда-то вдаль.

А кругом становилось светлее и теплее, и только несносный ветер с часу на час усиливался и шумел; со стоном гнулись тонкие деревья, купая ветви в озере, солома с крыш летела целыми пучками, ломались сучья. Ветер дул теперь уже с такой силой, что все пришло в движение — плетни, сады, хаты, деревья, и, казалось, все летело за ним. Даже бледное солнце, выглянувшее из-за разорванных туч, тоже быстро бежало по небу, а над костелом какие-то птицы с распростертыми крыльями, обессилив, отдались на волю ветра и со страшными криками разбивались о башенки костела и метавшиеся деревья.

Однако этот надоевший и проказливый ветер хорошо сушил землю, и с утра уже поля посветлели, а с дорог схлынула вода.

Рох долго еще стоял в раздумье, забыв обо всем, но вдруг насторожился: ветер донес до него чьи-то взволнованные голоса.

Он торопливо осмотрелся: на другом берегу, перед избой солтыса, толпа баб обступила каких-то людей, которых он не мог разглядеть.

Заинтересованный Рох поспешил туда, чтобы узнать, что случилось. Но, увидев издали стражников и войта, свернул в ближайший двор, а оттуда стал осторожно пробираться садами к толпе; он предпочитал не попадаться на глаза представителям власти.

Толпа галдела все громче, подходило все больше и больше женщин, сбежались со всех сторон и дети и протискивались между старших, толкая друг друга. Во дворе солтыса уже не хватало места, и толпа хлынула на улицу,

пе обращая внимания на грязь и хлеставшие их по головам ветви. Кричали все разом, и Рох ничего не мог разобрать, потому что ветром уносило слова. Только он слышал из-за деревьев, что больше всех шумит Плошкова. Раскрасневшаяся толстуха так яростно размахивала кулаками под самым носом войта, что войт пятился от нее, а другие поддерживали ее, крича, как стадо рассерженных пидюков. Жена Кобуся забегала то справа, то слева, тщетно пытаясь добраться до стражников, над головами которых то и дело взлетали сжатые кулаки, а кое-где уже и палки или грязная метла.

Войт что-то объяснял, озабоченно скреб затылок и один выдерживал натиск баб, пока стражники со всякими предосторожностями не отступили к озеру и пошли по направлению к мельнице. Тогда и он пошел за ними, отругиваясь на ходу и грозя мальчишкам, которые кидали в него грязью.

— Чего они хотели? — спросил Рох, входя в толпу.

— Чего хотели? Чтобы деревня сейчас же послала двадцать телег и людей чинить дорогу в лесу, — объяснила Плошкова.

— Какое-то важное начальство там проезжать будет, вот и велено засыпать все рытвины...

— А мы сказали, что ни телег, ни лошадей не дадим!

— Кто же это поедет?

— Пускай выпустят наших мужиков, тогда они им дороге починят.

— Пана запрягли бы!

— Сами пусть за работу примутся, а по нашим хатам работников искать нечего!

— Обидчики проклятые!

Так наперебой кричали бабы все громче и пронзительнее.

— Как только я их увидела, так и почувяла недоброе!

— Они уже с утра толковали с войтом в корчме.

— Нахлестались водки и пошли ходить по хатам выгонять людей на работу!

— Войту все известно, он обязан был доложить начальству, какое положение в Липцах, — вставил Рох, напрасно стараясь перекричать возбужденных женщин.

— Да что о нем говорить — он всегда с ними заодно!

— Первый их на нас натравливает!

— Он только свою выгоду во всем соблюдает! — кричали в толпе.

— Уговаривал нас дать стражникам по пятнадцати яиц с каждой пзбы пли по курнице, тогда они нас оставят в покое и пошлют на шарварк¹ другие деревни.

— А камня в лоб не хотят?

— Да палок бы еще добавить!

— Тише, бабы, а то еще посадят и вас за оскорбление начальства.

— Пусть судят, пусть в острог сажают, а я хоть самому большому начальнику в глаза все скажу! Скажу, как нас обижают!

— Испугалась я войта! Подумаешь, особа какая! Чу-чело — воробьев пугать! Забыл, что его на эту должность мужики выбрали, так они его и спять могут! — орала Плошкова.

— А за что же нас карать? Или мы податей не платим, не отдаем сыновей в солдаты, не делаем, что прикажут? Мало пм, что мужиков у нас забрали!

— Уж это известно: если они в деревне показались, жди напасти!

— В жатву собаку мою в поле подстрелили!

— На меня в суд подали за то, что сажа в трубе загорелась!

— А на меня разве не подавали в прошлом году, когда я лен сушила за гумном?

— А Гульбасова парнишку как избили за то, что камнем в них швырнул!

Все кричали разом, окружив Роха; такой поднялся галдеж, что он даже уши заткнул.

— Да помолчите вы! Разговорами делу не поможешь! Тише! — крикнул он наконец.

— Идите вы к войту и все ему скажите, не то мы сами туда пойдем с метлами! — неистово заорала Кобусиха.

— Пойду, а вы по домам ступайте! У каждой небось работы довольно. Я ему все объясню! — горячо убеждал их Рох, боясь, как бы не вернулись стражники.

В костеле прозвонили полдень, и бабы стали медленно расходиться, громко переговариваясь и часто останавливаясь перед пзбами.

А Рох торопливо вошел в избу солтыса, где он теперь жпл. (Детей он обучал в пустовавшей избе Сикоры, на другом конце деревни, за корчмой.)

¹ Шарварк — дорожная повинность, налагаемая местными властями на крестьян.

Солтыса дома не было — он поехал в уезд платить подати, а жена солтыса рассказала Роху спокойно, по порядку, как все произошло.

— Только бы это не кончилось бедой! — сказала она в заключение.

— Во всем войт виноват. Стражники делают, что им приказано, а он-то знает, что в деревне остались одни бабы и в поле работать некому, не то что дорогу чинить! Пойду я к нему, пусть уладит дело, чтобы штрафа на деревню не наложили.

— Это они Липцам мстят за лес! — заметила Сохова.

— Кто мстит? Помещик? Да он же этими делами не ведает!

— Э, паны между собой всегда сталкиваются, они друг за дружку стоят. А наш помещик клялся, что оплатит лппецким.

— О господи Иисусе, дня спокойного нет! Не одно, так другое!..

— Только бы хуже не было! — вздохнула Сохова, складывая руки, как на молитву.

— Слетелись все, как сороки, и такой крик подняли, что не дай боже!

— У кого болит, тот и кричит!

— Да ведь криком делу не поможешь, только новое несчастье накликать можно.

Рох был раздражен и опасался, как бы на деревню не свалилась новая беда.

— К ребятам идете?

Рох встал с лавки.

— Нет, я отпустил учеников — праздник наступает и они должны дома помогать: столько дела у всех!

— Ходила я сегодня утром в Волю работников панимать, по три злотых давала за вспашку, на моих харчах — и ни один не идет: говорят, сперва свое надо обработать, где тут о чужом думать! Обещают прийти через неделю, а то и через две.

— Эх, жалко, что у меня всего только две руки, да и те слабые! — вздохнул Рох.

— Вы и так народу много помогаете! Что бы с нами было, кабы не ваш разум и доброе сердце!

— Если бы я мог сделать все, что хочу, не было бы горя на свете. Да ведь...

Он развел руками в немом сознании своего бессилия и поспешно вышел.

Он направился к войту, но дошел до него не скоро, потому что по дороге заходил во все избы.

Деревня уже немного успокоилась. Еще кое-где у плетней шумели самые неугомонные бабы, но большинство разошлось по домам готовить обед, и на улицах только ветер гулял и по-прежнему тормозил деревья.

Но вскоре после полудня, несмотря на ветер, повсюду закопошились люди. Во дворах, на огородах, на крылечках, в сенях и горницах гудело, как в ульях. Работали одни только женщины и девушки, а если где и попадался парнишка, так из тех, что еще в одних рубашонках бегают или, самое большее, в подпaskи годятся; все, кто постарше, сидели в тюрьме вместе с отцами.

Работали торопливо, подгоняя друг друга, — вчера все просидели почти целый день в костеле, ожидая исповеди, сегодня всех избудоражило появление стражников и надо было наверстывать потерянное время.

Подходил праздник, страстной вторник был уже на носу, так что прибавилось работы и всяких хлопот: и хаты надо было в порядок привести, и детей обшить, и себе кое-что справиться, и зерно на мельницу свезти, и для разговенья всего наготовить, да и мало ли что еще! В каждой избе у хозяйки голова шла крутом, — надо было не только со всем управиться, но и хорошенько поискать в чуланах, что бы такое продать корчмарю или в город отвезти, чтобы выручить немного денег. Несколько женщин уже сегодня после обеда уехали в город, везя под соломой всякую всячину на продажу.

— Смотрите, как бы вас по дороге деревом где-нибудь не придавило! — предостерегал Рох Гульбасову, проезжавшую мимо на тощей лошаде, которая еле шла против ветра. Он тут же свернул к ее избе, увидев, что девушки, замазывавшие щели, не могли достать до верхних наличников. Он им помог, потом развел в ведре известку для побелки стен, сделал им из соломы отличную кисть и только после этого побрел дальше.

У Вахипков девушки вывозили навоз на ближнее поле, но так ловко с этим управлялись, что половину навоза растеряли по дороге.

Девушки вдвоем тянули под уздцы упиравшуюся лошадь. Рох умял, как следует, навоз на телеге, а лошадь огрел кнутом, и она сразу пошла и стала послушной, как ребенок.

У Бальдерков Марыся (первая после Ягны красавица

в деревне) сеяла горох сразу за оградой. Земля была черная, хорошо унавоженная, но дело у Марыси не спорилось. Повязанная платком, в отцовском кафтане до земли, она двигалась, как муха в смоле.

— Не торопись, успеешь! — смеялся Рох, зайдя на огород.

— Как же... Кто в страстной вторник горох сеет, соберет по мешку с гарница! — отозвалась Марыся.

— Покуда ты весь высеешь, у тебя уже первый взойдет! И слишком густо сеешь, Марысь, слишком густо: как вырастет, перепутается весь и поляжет.

Он показал ей, как сеять под ветер, потому что глупая девушка сеяла как попало.

— А Вавжон Соха меня уверял, что ты все умеешь! — сказал он с притворным укором, шагая рядом с нею по борозде, полной грязи.

— Вы с ним говорили? — воскликнула Марыся, круто остановившись и тяжело дыша от волнения.

Она густо покраснела, но расспрашивать Роха не решалась.

Рох только усмехнулся вместо ответа, но перед уходом сказал:

— На праздниках увижу его, так расскажу, как ты усердно работаешь!

У Плошков, родственников Стаха, два мальчика вспахивали под картофель полосу у самой дороги. Одни правили лошадей, другой пробовал пахать, но оба еще едва доросли до конского хвоста и силенок у них не хватало. Плуг ходил, как пьяный, а лошадь то и дело поворачивала к конюшне. Мальчики стегали ее и бранились.

— Мы справимся, Рох, справимся, только вот из-за проклятых камней плуг все выскакивает! А кобыла рвется к жеребенку, — оправдывался, глотая слезы, старший, когда Рох отобрал у него плуг и сразу врезал его в землю, показывая им в то же время, как надо держать лошадь.

— Теперь мы до вечера целую полосу вспашем! — задорно воскликнул мальчик, опасливо поглядывая по сторонам — не видел ли кто, как Рох им помогал. Когда старик ушел, он присел на плуг, спиной к ветру и, подражая отцу, закурил папиросу.

А Рох шел дальше, от избы к избе, высматривая, где он может быть полезен.

Он улаживал ссоры, унимал расшалившихся детей, разрешал споры, давал советы, а где нужно, помогал

в работе, хотя бы самой тяжелой, например, Клембовой нарубил дров, увидев, что она не может справиться с суковатым пнем, а Пачесям принес воды с озера. Заметив, что люди уже совсем пали духом или ропщут, он веселой шуткой старался вызвать смех. Девушкам рассказывал о жизни в усадьбах и вместе с ними вспоминал их дружков. С бабами говорил о детях, о хозяйстве, о соседях, обо всем, что их занимало, только бы отвлечь их от печальных мыслей.

Человек он был умный, бывалый, многое повидал на свете и потому с первого взгляда понимал, о чем нужно говорить с каждым человеком, какой притчей прогнать его грусть, вырвать душу из когтей тоски, с кем посмеяться, кому молвить суровое и мудрое слово, а то и пригрозить.

Он был добр и отзывчив, и, хотя его и не просили, нередко просиживал ночи у постели больных, ободряя несчастных. В деревне его уважали больше, чем ксендза.

Но мог ли Рох помочь всему людскому горю? Мог ли один бороться с судьбой, накормить голодных, вернуть здоровье больным, заменить своими двумя руками все недостающие рабочие руки?

Он трудился сверх сил, помогал людям и защищал их интересы, но для деревни его помощь была каплей в море. Это было все равно что смочить запекшиеся от жажды губы, не дав человеку напиться!

Деревня была большая, одних дворов больше пятидесяти, и пахотной земли много, и скота. Все это требовало ухода. А сколько ртов надо было накормить в каждой избе!

С того дня, как увезли всех мужчин, хозяйство держалось кое-как, скорее волей божьей, чем усилиями людей. Надо ли удивляться, что с каждым днем множились горе, нужда, жалобы и волнения?

Все это Рох хорошо знал, но только сегодня, ходя из избы в избу, он своими глазами увидел царившую в Липцах разруху.

Поля оставались необработанными, никто не пахал, не сеял, не сажал, а если кое-где и копались в земле, так это была не работа, а детская забава. На каждом шагу уже заметны были разрушения и запущенность: тут валились плетни, там ободраанные крыши обнажали решетины и стропила, сорванные с петель двери висели, как перебитые крылья, и колотились о стены. Многие избы покосились и требовали подпорок.

Везде около изб стояли гниющие лужи, грязь была по колена, под степами нагажено так, что пройти нельзя, и на каждом шагу замечалось такое разорение, что сердце щемило. Коровы часто мычали с голоду, лошади обрастали навозом — некому было их чистить.

В таком состоянии было хозяйство у всех. Даже телята, извалявшиеся в грязи, бродили без присмотра по дорогам, хозяйственный инвентарь портился под дождем, ржавели плуги, в телегах поросились свиньи. Все, что покосилось, оборвалось, сломалось и упало, так уже и оставалось, — кому же было поднимать да чинить? Кому вовремя остановить разрушение?

Женщинам? Да у них, бедных, едва хватало сил и времени на самые необходимые дела! Вот если бы вернулись мужики, сразу все пошло бы по-другому. Их возвращения ждали, как спасения, ждали со дня на день, только этой надеждой и жили. Но мужики не возвращались, и никак не удавалось узнать, когда же их выпустят. И люди маялись, изнывали от горя и забот, тешили дьявола сварами, дразгами и драками.

Уже седые сумерки одели землю, когда Рох вышел из последней избы за костелом, от Голубов, и поплелся к войту на другой конец деревни.

Ветер все еще гудел и бесновался, с такой силой качая деревья, что опасно было проходить мимо: то и дело на дорогу валились сломанные сучья.

Старик сторбившись пробирался под самыми плетнями, едва видимый в сером сумраке, странно напоминавшем толченное стекло.

— Если вам войт нужен, так ищите его на мельнице, дома его нет! — объявила Ягустипка, как из земли выросшая перед Рохом.

Рох, не говоря ни слова, свернул к мельнице. Он терпеть не мог этой старой сплетницы. Но она догнала его и, семена рядом, зашептала почти на ухо:

— Зайдите к моим детям, да и к Филиппке... Зайдите!

— Если я им чем-нибудь могу помочь, то зайду.

— Они так просили, так просили! — с мольбой твердила Ягустипка.

— Ладно, только сперва мне нужно с войтом поговорить.

— Спасибо вам!

Она дрожащими губами припала к его руке.

— Что это вы? — удивился Рох, потому что они всегда воевали друг с другом.

— Ничего. Для каждого приходит такой час, когда ему, как псу загпанному и бездомному, хочется, чтобы его погладила добрая рука, — пробормотала Ягустипка со слезами в голосе. Но раньше чем Рох успел найти и сказать ей ласковое слово, она торопливо ушла.

Войта и на мельнице не оказалось, — должно быть, уехал со стражниками в город. Так объяснил Рогу мельников работник и пригласил его в свою каморку отдохнуть. Там уже сидело много липецких баб и людей из других деревень, которые привезли молоть зерно и дожидались своей очереди. Рох охотно посидел бы там подольше, но солдатка Тереза тотчас под села к нему и робко стала расспрашивать о Матеуше Голубе.

— Вы были в тюрьме, так, верно, и его видели... Что, он здоров? А когда его выпустят? — настойчиво спрашивала она, не смея поднять глаз.

— А как поживает твой муж в армии? Здоров? Скоро воротится? — спросил наконец Рох так же тихо и посмотрел на нее пристально и сурово.

Тереза покраспела и убежала на мельницу.

А Рох только головой покачал, думая об этой слепой любви, и вышел вслед за Терезой, чтобы поговорить с нею, предостеречь от греха. Но хотя на мельнице и горели лампы, он не мог найти ее в полумраке среди висевшей туманом мучной пыли. Мельница грохотала, вода с шумом падала на колеса, ветер словно швырял огромными мешками в стены и крышу, и все кругом дребезжало и тряслось. Рох перестал искать солдатку и пошел к Прычкам и Флиппке.

Среди качавшихся деревьев тут и там, как волчьи глаза, мигали огоньки, и ночь стояла такая светлая, что отчетливо видны были хаты, утопавшие в садах, и можно было даже разглядеть поля вдали. Высокое темно-синее небо совсем очистилось от туч, только кое-где было словно снегом запорошено и на нем загоралось все больше звезд. Но ветер не утих, напротив, бушевал еще сильнее.

Он бесновался всю ночь, и многие ни на миг не могли сомкнуть глаз: в избах сильно дуло, деревья бились о стены и стучали в окна. Казалось, вот-вот ветер сорвет с земли всю деревню и понесет ее по свету.

Утихло только к утру. Но едва петухи возвестили рассвет и измученные люди задремали, как раскатился над



деревней гром, огненными лептами замелькали молнии и пошел проливной дождь.

Утро настало, и наконец все успокоилось, дождь перестал, с полей так и веяло теплом. Радостно защибетали птицы, и, хотя солнце еще не вставало, низкие беловатые тучи местами разорвались и сквозь них ярко голубело небо. Все предвещало хорошую погоду.

Но когда люди в деревне встали, со всех сторон поднялись причитания и плач, потому что ветер и гроза наделали много бед. На дорогах лежали вповалку сломанные деревья, куски крыш, сорванные плетни, — ни пройти, ни проехать!

У Плосков обвалился хлев и задавило всех гусей. В каждом хозяйстве случилась какая-нибудь беда, и на всех дворах голосили и плакали бабы.

Вышла и Гапка из избы осмотреть свое хозяйство и проверить, все ли цело. Вдруг во двор вбежала Сикора.

— А вы не знаете, что у Стаха изба развалилась? Чудо, что их всех не убило! — кричала она уже от ворот.

— Иисусе! Матерь божья!

Гапка обомлела от ужаса.

— Я за вами прибежала — они там совсем голову потеряли... Плачут...

Накинув впопыхах платок, Гапка побежала к сестре, а за ней уже тянулась толпа баб, так как весть о несчастье быстро разнеслась по деревне.

И правда, от избы Стаха остались только стены, да и те еще больше покосились и ушли в землю. Крыши не было, качались только над стенами сломанные стропила. Обвалилась и печная труба, остов ее торчал, как гнилой зуб. Земля вокруг была покрыта разметанной соломой и обломками всякой рухляди.

Веронка сидела у ступы на сваленных в кучу вещах и, обхватив руками плакавших детей, громко голосила.

Бросилась к ней Гапка, собрались вокруг соседи и стали утешать ее, но она ничего не слышала и не видела, плакала навзрыд, захлебываясь слезами.

— Ой, сироты мои несчастные, сироты горькие! — стопала она в отчаянии, и не одна баба, глядя на нее, утирала слезы жалости.

— И куда мы, несчастные, денемся? Где головы приклоним? Куда пойдем? — кричала Веронка, как безумная, прижимая к себе детей.

А старый Былица, сторбившись, бледный как мертвец,

все ходил вокруг развалин и то сгоял кур в кучу, то подкладывал сена привязанной к дереву корове, то присаживался под стеной, свистом подзывал собаку и бесмысленно таращил на всех глаза. Люди решили, что он окончательно рехнулся.

Вдруг все задвигались, расступились и стали низко кланяться: в толпе женщин неожиданно появился ксендз.

— Мне Амброжий только что сказал, какое тут несчастье случилось. А где же Стахова жена?

Все отошли в сторону, давая ему дорогу, а Веронка все плакала и ничего не замечала.

— Веронка, смотри, его преподобие пришел, — шепнула Ганка.

Тут только она вскочила и, увидев перед собой ксендза, повалилась ему в ноги, причитая еще громче и жалобнее.

— Ну, ну, не плачь, успокойся! Что делать, божья воля! Божья воля, слышишь, что говорю! — повторял он, но и сам был взволнован и украдкой утирал слезы.

— По миру вам идти придется, кусочки выпрашивать!

— Ну, ну, не горюй, добрые люди вам пропасть не дадут, и господь поможет. Не ушибло никого из вас?

— Нет, слава богу!

— Истинное чудо! Могло ведь всех задавить, как гусей у Плошковой!

— Могло так быть, что ни один бы живой не выбрался! — заговорили бабы, перебивая друг друга.

— А скотину не убило? Скотина, спрашиваю, цела?

— Господь уберег. Вся была в сених, а сени целы остались.

Ксендз попохал табак, оглядывая слезящимися глазами груды развалин: крыша и потолок рухнули внутрь избы, и в окна видна была куча деревянных обломков и гнилой соломы.

— Счастье ваше... Ведь всех могло задавить... Ну, ну!

— А пускай бы задавило, пусть бы всех насмерть пришибло, так не пришлось бы на это разорение смотреть, не дожили бы до такого несчастья!.. Ох, господи, господи, без всего осталась я с сиротами! Куда теперь? Что буду делать? — Веронка опять заревела и стала рвать на себе волосы.

Ксендз, беспомощно разводя руками, топтался на месте.

— Посуше будет вам стоять-то! — шепнула одна из баб, пододвинув к нему обломок доски, так как он стоял по щиколотку в грязи. Он ступил на доску и, нюхая табак, искал слова утешения.

Ганка занялась сестрой и отцом, а остальные толпились около ксендза, выжидательно глядя на него.

Подходили все новые группы женщин и детей, грязь так и хлюпала под деревянными башмаками, шелестели тихие встревоженные голоса, раздавался детский плач и затихавшие уже всхлипывания Веронки. Лица баб, полу-скрытые низко надвинутыми платками, были хмуры, как висевшее над головами небо, в них читались печаль и утрюмая забота. И не у одной по щеке катилась горячая слеза.

Но все смотрели на печальную картину разорения спокойно, с покорностью судьбе. Что поделаешь! Если чужие беды принимать близко к сердцу, сил не хватит свой крест нести! Да к тому же случившегося не изменишь, от судьбы не уйдешь. Так рассуждали все.

Ксендз вдруг подошел к Веронке и сказал:

— Ты бы перво-наперво бога поблагодарила за спасение!

— Правда! Я хоть поросенка продам, а на обедню вам денег отнесу...

— Не надо, деньги тебе на другое понадобятся, я и так после праздников молебен отслужу.

Веронка поцеловала у него руку и в порыве горячей благодарности даже в ноги ему поклонилась. А он перекрестил ее, погладил по голове, а детей, жавшихся к его коленям, обнял с отеческой лаской.

— Только духом не падайте, и все будет хорошо. Как же это у вас случилось-то?

— Как? С вечера легли мы спать рано, керосину в лампе не было, да и печь топить нечем. Ветер был такой, что вся хата трещала, но я ничуть не боялась — не такие еще бури она выдерживала. Долго я не могла уснуть, по избе сильный сквозняк ходил. А потом, должно быть, все-таки задремала. Вдруг как загудит, как ухнет в стены, как тряхнет хату! Господи! Показалось мне, будто весь свет рупится! Вскочила с постели, схватила ребят в охапку, а тут уже все трещит, ломается, па голову летит... Выскочили мы в сени, а потолок за нами сразу и обвалился... Не успела я с мыслями собраться, как уже и печь рухнула... На дворе — почь, ветер с ног валит, до деревьев

далеко, все спят и криков никто не услышит... Залезла я с ребятами в картофельную яму, и мы до утра там и просидели.

— Бог вас охранял. А чья это корова привязана к черешне?

— Да моя, кормилица наша единственная!

— Ого, какая! Спина, как балка, бока высокие, паверное, много молока дает. Тельная?

— Со дня на день должна отелиться.

— Приведи ее в мой хлев, место найдется, она может там постоять, покуда на пастбище не выгонишь. Но вы-то все куда денетесь? Куда денетесь, говорю?

В эту минуту какая-то собака залаяла и стала кидаться на людей, а когда ее отогнали, села на пороге и жутко завывала.

— Вzbесилась, что ли? Чья это? — спрашивал ксендз, укрываясь за спины баб.

— Да это наш Кручек... Жалеет нас... Разумный песик! — пролепетал Былица и пошел успокаивать собаку.

А ксендз попрощался и, кивнув Сикоре, чтобы шла за ним, протянул обе руки бабам, которые бросились их целовать, и медленно зашагал домой.

Видно было, как он, стоя на дороге, о чем-то долго толковал с Сикорой.

А бабы, наговорившись и повздыхав над Веронкой, стали быстро расходиться, вспомнив о завтраке и всякой неотложной работе.

У развалившейся избы осталась только семья Былицы. Они совещались, как вытащить что-нибудь из-под обломков, когда вернулась запыхавшаяся Сикора.

— Ко мне перебирайтесь, на ту половину, где Рох детей учил. Печи там, правда, нет, да ничего, будешь у меня стряпать, — сказала она скороговоркой.

— А платить-то тебе чем буду, голубка?

— Об этом не беспокойся. Найдутся деньжонки — заплатишь, а нет, так при работе как-нибудь подсобишь, или так живи, все равно горница пустая стоит. От чистого сердца прошу, а ксендз велел отдать тебе вот эту бумажку на первое обзаведение.

Она развернула трехрублевку перед глазами Веронки.

— Дай ему бог здоровья! — воскликнула Веронка, целуя бумажку.

— Добрый человек. Другого такого не сыскать, — добавила и Ганка.

— Корове у него в хлеву тоже будет хорошо,— заметил старик.

Они тут же стали перебираться.

Изба Сикоров стояла у дороги, на повороте к деревне, недалеко от избы Стаха, и они быстро перенесли туда уцелевшие пожитки и все то, что удалось кое-как вытащить из-под развалин. Ганка позвала на помощь своего работника, да и Рох подошел и принялся деятельно помогать, так что еще до полудня Веронка была водворена в новое жилище.

— Бездомная я теперь, нищая! Четыре угла до потолка, даже образа нет и ни одной миски! — горевала она, осматриваясь на новом месте.

— Образ я тебе припесу, из посуды тоже все, что найдется у меня лишнего. А воротится Стах, так с помощью добрых людей живо избу поставит, недолго тебе тут оставаться,— ласково утешала ее Ганка.— А где же отец?

Она хотела забрать его к себе.

Старик остался у развалин. Сидел на пороге и осматривал помятый бок Кручека.

— Пойдемте ко мне, отец, у Веронки теперь тесно, а у нас угол для вас найдется.

— Не пойду, Гануся... Здесь родился, здесь и помереть хочу.

Сколько она ни просила, сколько ни уговаривала его, он стоял на своем.

— В сепях себе постель налажу. А коли велишь, у тебя кормиться буду, детей за это поняпчу... Вот песика возьми к себе, видишь, бок ему покалечило... Он хорошо сторожить будет, чуткий очень...

— Смотрите, обвалятся стены и вас задавит! — уговаривала его Ганка.

— Ничего, они дольше продержатся, чем иной человек. А собачку возьми.

Ганка больше не настаивала. По правде сказать, и у нее было тесно, а со стариком в дом вошла бы новая забота.

Она велела Петрику отвести Кручека домой на веревке.

— Будет у нас вместо Бурека, тот сбежал куда-то. Вот еще косолапый! — крикнула она раздраженно, видя, что Петрик не может справиться с собакой.

— Дурачок! Кусаться вздумал! Везде там тебя каждый день кормить будут... И в тепле лежишь, Кручек,— увещевал старик собаку, привязывая ей на шею веревку.

Ганка побежала вперед, чтобы по дороге еще раз заглянуть к сестре.

Она застала в избе несколько жепщин. Веронка опять заливалась слезами.

— И чем же я заслужила такую вашу доброту, чем? — причитала она.

— Много уделить не можем, у самих нужда. А то, что принесли, бери, от всей души даем, — сказала Клембова, сунув ей в руки порядочный узелок.

— Ведь такое несчастье!..

— Люди не каменные, каждый горя хлебнул, понимает...

— И одна ты, без мужа, как мы все!

— Тебе сейчас горше, чем нам, — говорили женщины и клали перед Веронкой принесенные узелки. Сговорившись между собой, они принесли ей, кто что мог: гороху, ячменной крупы, муки.

— Родимые вы мои, хозяйшкн дорогие! — всхлипывала Веронка, обнимая всех так горячо, что и они заплакали.

«Есть еще добрые люди на свете, есть!» — думала растроганная Ганка.

А тут пришла и жена органиста с караваем хлеба под мышкой и куском сала в бумажке.

Ганка, не дожидаясь, что она скажет, побежала домой, так как уже прозвонили полдень.

День был ясный, хотя и без солнца, воздух удивительно прозрачный. Высоко на лазурном небе кое-где стояли белые перистые облака, а внизу как на ладони видны были широко раскинувшиеся поля. Местами зеленели всходы, местами желтело жнивье, и, как стекло, блестели ручейки.

Громко заливались жаворонки, а от полей и лесов, из голубой дали плыл по всему миру живительный весенний воздух, теплый и влажный, пропитанный медовым запахом тополевых почек.

На улицах деревни копошились люди, убирая сучья и деревья, сломанные ветром.

Воздух был так неподвижен, что деревья, овеянные пухом первой зелени, почти не шевелились.

У костела на кленах и развесистых липах чернели несметные тучи воробьев, и оглушительное чирканье разносилось по деревне. А у тихой сверкающей глади озера

кричали гуси, сзывая гусенят, и громко стучали вальками бабы, стиравшие в нескольких местах.

Везде кипела работа, люди шумно перекликались, суетились, в садах мелькали яркие юбки баб и бегали ребятишки.

Двери в сени и комнаты были раскрыты настежь, на плетнях сушилось только что выстиранное белье, проветривались постели, тут и там белели стены. Собаки воевали со свиньями, рывшимися в канавах, а коровы поднимали рогатые головы из-за оград и тоскливо мычали.

Много телег потянулось в местечко за покупками к празднику. А после полудня приехал на длинном возу старый торговец Юдка с женой и мальчишкой.

Они разъезжали от избы к избе, провожаемые яростным лаем собак, и редко Юдка выходил из избы с пустыми руками. Он не плутовал, как корчмарь и другие, платил хорошо и даже если кому до нового урожая пужбы были деньги, давал займы под небольшие проценты. Он был умный еврей, знал всех в деревне, знал, как с кем говорить, и то и дело тащил на свой воз теленка или четверть зерна. А жена его торговала отдельно, у кого покупала яйца и петухов, у кого — ощипанную курицу, у кого — кусок полотна. Все это она, впрочем, не столько покупала, сколько выменивала на всякие воротнички, ленты, тесемки, брошки и другие мелочи, до которых женщины такие охотницы. Свои товары она носила в большущей картонке, соблазняя щеголих.

Воз Юдки подъехал к дому Борыны, и Юзька влетела с криком:

— Ганусь, купи красной тесемки и краски для яиц! Да и нитки тоже у нас кончились.

— Завтра поедешь в город, там и купишь все, что нужно.

— Вот и хорошо! В городе, пожалуй, дешевле, там не так обжулят, — уверяла Юзька, обрадовавшись, что поедет в город. Она, уже не дожидаясь приказа, выбежала к торговцам, крича, что ничего не надо и ничего не продают.

— Да загони кур, а то какая-нибудь попадет к ним на воз! — крикнула ей вслед Ганка, выйдя на крыльцо.

Во двор зашла солдатка Тереза, словно спасаясь от еврейки, которая что-то кричала ей.

Тереза вбежала за Ганкой в комнату, красная, смущенная до такой степени, что слова не могла вымолвить. Чем-

то она была сильно расстроена, даже слезы блестели на ее длинных ресницах.

— Что с тобой, Терезка? — спросила Ганка с любопытством.

— Эти мошенники дают мне только пятнадцать злотых, а юбка шерстяная, совсем новая! Что делать? Деньги мне до зарезу нужны!

— Покажи-ка... А много ли просишь? — сказала Ганка, большая охотница до всяких нарядов.

— Да уж самое меньшее тридцать злотых! Юбка новехонькая, целых шесть с половиной аршин! На нее пошло больше четырех фунтов самой чистой шерсти... И красильщику я заплатила.

Она развернула юбку, и словно радуга засияла в избе, переливаясь такими яркими красками, что хоть глаза зажмуривай.

— Красота! Эх, жалко... Да что делать, самой к празднику деньги понадобятся. Может, подождешь до фоминой?

— Где там, мне деньги сейчас нужны!

Тереза торопливо сложила юбку и отвернулась, словно стыдась чего-то.

— Может быть, войтова жена купит... У них деньги водятся.

Ганка опять принялась рассматривать юбку, примерять, но наконец со вздохом сожаления отдала ее Терезе.

— Хочешь мужу денег послать?

— Да... жалуется, что трудно ему там... Ну, оставайтесь с богом!

И чуть не бегом выбежала из избы, а Ягустинка, растиравшая в лохани картофель для свиней, громко расхохоталась:

— Ишь как бежит, чуть юбок не потеряла! Скопфузила ты ее: деньги-то ей нужны для Матеуша, а не для мужа.

— Так она с ним водится? — удивилась Ганка.

— Господи, ничего-то ты не знаешь, словно в лесу живешь!

— Откуда же мне знать?

— Да ведь Тереза каждую неделю бегают в город к Матеушу и, как собачонка, целый день караулит у тюрьмы. Носит ему, что только может.

— Побойся бога! У нее свой мужик есть!

— Есть, да далеко, на военной службе, и вернется ли еще, бог весть. Бабенке одной скучно, а Матеуш близ-

ко, под рукой, и орел парень! Отчего же ей не побаловаться?

Ганка не отвечала, глубоко задумавшись. Она вспомнила Антека и Ягну...

— А когда Матеуша забрали, она с его сестрой, с Насткой, подружилась, даже живет у них теперь, вместе в город ездят; Настка как будто брата навещать, а больше для того, чтобы Шимек ее не позабыл.

— И все-то ты знаешь!

— Ведь у людей на глазах все делают, глупые, так как же не знать! Вот продает последнюю юбку, чтобы Матеушу праздник справить! — насмешливо отозвалась Ягустинка.

— Ох, ох, чего не бывает на свете!.. И мне падо бы к Антеку съездить.

— Где же в твоём положении в такую дорогу пускаться! Еще расхвораетесь... Не может разве Юзька поехать или кто другой?

Ягустинка чуть не назвала Ягну, но вовремя прикусила язык.

— Нет, сама поеду! Бог даст, ничего со мной не случится. Рох говорил, что на праздниках будут к нему пускать. Поеду!.. Да, вот что, Ягустинка: пора бы окорока переложить!

— Пожалуй, не мешает — третий день солются. Сейчас пойдусь.

Она пошла в чулан, но быстро вернулась, смущенная, и объявила, что половина мяса исчезла.

Ганка бросилась в чулан, за ней — Юзька, и обе в ужасе остановились перед кадкой, теряясь в догадках, куда могло деваться мясо.

— Это не собака: сразу видно, что ножом отрезали... Чужой вор унес бы все, а не два-три фунта... Это Ягусина работа! — решила Ганка и в ярости кинулась в комнату, но Ягны там не было, а старик лежал, как всегда, с широко открытыми глазами.

Тут только Юзька вспомнила, что Ягуся, уходя утром из дому, что-то прятала под передником; тогда она подумала, что это паряд, который Ягуся шила себе к пасхе вместе с дочкой Бальцерков.

— Значит, к матери унесла... Чужое-то слаще, — заметила Ягустинка.

— Юзя! Зови Петрика! Надо все, что осталось, перенести ко мне в чулан, — распорядилась Ганка.

И тотчас все было перенесено. Ганка хотела было задно передвинуть на свою половину и бочки с зерном, — там ей было бы удобнее поискать деньги, но раздумала: бочек было слишком много, да и об этом мог узпать кузнец.

Весь день она подстерегала приход Ягны и, когда та в сумерках вернулась домой, сразу накинулась на нее.

— Ну, и съела! Оно мое так же, как и ваше! Отрезала кусок и съела! — резко ответила Ягна, и хотя Ганка весь вечер не давала ей покоя, она на все ее наскоки не отзывалась больше ни словом, как будто нарочно дразня ее. Даже ужинать пришла как ни в чем не бывало и с усмешкой смотрела Ганке в глаза. А Ганка, взбешенная тем, что ничего не может с ней поделать, весь вечер срывала злость на остальных, допекая их из-за каждого пустяка, и даже спать отослала всех раньше под тем предлогом, что завтра страстной четверг и надо начинать предпраздничную уборку.

Сама она легла тоже ранее обычного, но долго не могла уснуть и, услышав отчаянный лай собак, вышла во двор. У Ягны еще горела лампа.

— Поздно, нечего керосин жечь, его даром не дают! — крикнула она в сени.

— А жги и ты хоть всю ночь! — отозвалась Ягна из-за двери.

Ганка опять так разозлилась, что задремала только после первых петухов.

А наутро, чуть свет, Юзька, хотя она больше всех любила поспать, первая вскочила с постели, вспомнив, что ей сегодня ехать в город за покупками, и побежала будить Петрика, чтобы он запрягал. Услышав, что Ганка приказывает Петрику запрячь в телегу гнедую, она встала на дыбы.

— Я на досках и слепой кобыле не поеду! — закричала она со слезами. — Нищая я, что ли, чтобы меня в навозной телеге возили? В городе небось знают, чья я дочь! Отец ни за что бы этого не позволил!

Она подняла такой шум, что в конце концов добила своего и поехала в бричке, запряженной парой лошадей, с работником на козлах, как всегда ездили деревенские богачки.

— Красной бумаги купи, и золотой, и всякой, какую только найдешь! — кричал ей Витек с огорода, где он с самой зари разрыхлял землю на грядках, так как Ганка

еще сегодня собиралась сажать рассаду. Как только хозяйка надолго уходила в дом, Витек убегал на улицу и вместе с другими мальчишками поднимал страшный шум трещотками под чужими заборами, благо колокола в костеле, как всегда в страстной четверг, рано перестали звонить.

Погода установилась такая же, как вчера, но было как-то тихо и невесело. Ночью похолодало, утро вставало седое от росы, туманное и сырое. Хотя было уже не рано, щебетали ласточки, съездившись на крышах, и громче кричали гуси, выгнанные к озеру. А деревья, как только рассвело, сразу поднялась, и задолго до завтрака уже везде забегали, засуетились бабы. Детей выгнали из хат, чтобы не мешали, и они носились по улицам, стуча колотушками и трещотками.

Даже в костел к обедне (которую служили сегодня без колокольного звона и органа) пошли очень немногие. В эти последние предпраздничные дни пора было приниматься за уборку, а главное — печь хлеба, месить тесто на пироги и на всякие затейливые печення. Почти в каждой избе окна и двери были плотно закрыты, чтобы не остудить теста, в печах бушевал огонь, а из труб летел дым к пасмурному небу.

Голодный скот мычал в хлевах и обгрызал ясли, свиньи залезали в огороды, куры и гуси бродили по улицам, а дети делали все, что хотели, — дрались, лазали на деревья за вороньими гнездами, потому что усмирить их было некому. Все женщины были заняты — месили тесто, лепили каравай, укрывали перинами квашни и миски с тестом, сажали хлеба в печь. Они забыли обо всем на свете и беспокоились только, как бы не получилась закалина в хлебе или не подгорели пироги.

Так было везде — у мельника, у органиста, в плебании, у зажиточных хозяев и у коморников. Каждый бедняк, хотя бы в долг или на последние гроши, считал нужным приготовить себе что-нибудь на разговенье, чтобы этот единственный раз в году, под светлое воскресенье, поест вволю и мяса, и других вкусных вещей.

Не у всех имелись хлебные печи с подом, и приходилось печь у соседей. Поэтому в садах между хатами непрестанно пробегали девушки с охапками дров, а у озера время от времени появлялись растрепанные, испачканные мукой женщины, которые несли на длинных досках и в корытах сырые булки и пироги, покрытые подушками,

песни так торжественно и осторожно, как хоругви во время престного хода.

Даже в костеле кипела работа: работник ксендза возил из леса елки, а органист, Рох и Амброжий украшали плащаницу.

На следующий день, в пятницу, суета еще усилилась, и почти никто не заметил сына органиста Яся, который приехал домой на праздники и прогуливался по деревне, заглядывая в окна; зайти никуда нельзя было и не с кем было поболтать. Как тут зайдешь, когда все проходы и даже сады заставлены шкафами, кроватями, всякой мебелью, а в хатах спешно белят стены, скребут полы, на крылечках начищают образа.

Везде был галдеж, суматоха, беготня, все подгоняли друг друга и тем поднимали еще больший шум. Даже малышей заставляли работать — убирать грязь во дворах и посыпать землю желтым песком.

По старому обычаю, на страстной неделе с пятницы до воскресенья не полагалось есть горячего, и все голодали во славу божью, довольствуясь сухим хлебом и печеной картошкой.

Разумеется, и у Борын в эти дни творилось то же, что и в других избах, с той только разницей, что здесь было больше рабочих рук и не так туго с деньгами, поэтому все приготовления закончили скорее.

В пятницу, уже в потемках, Ганка с помощью Петрика кончила белить избу внутри и снаружи и стала поспешно мыться и одеваться, чтобы идти в костел, куда уже направлялись другие бабы.

В печи гудел большой огонь, и на нем в чугунном котле, таком большом, что двоим тяжело было его поднимать, тушилась целая свиная нога, вчера наскоро подкопченая, а в котле поменьше шипели колбасы, и по комнате разносился такой аппетитный запах, что Витек, что-то острогавший в углу около детей, только облизывался и шдыхал.

А у печи, в ярком свете огня, сидели рядышком Ягна с ПЗей и с увлечением красили яйца. Каждая складывала свои отдельно, чтобы потом похвастаться своим искусством. Ягуса сперва обмывала яйца теплой водой и, вытерев досуха, наводила узор топленным воском, а затем опускала их по очереди в каждый из трех горшочков с кипящей краской. Работа была кропотливая, — то воск местами не держался, то яйца разбивались в руках или

лопались во время кипячения, но в конце копцов они покрасили штук тридцать и стали показывать их друг другу и хвастать самыми красивыми

Ну, где же Юзьке было равняться с Ягусей! Она показывала яйца, крашеные в луковой шелухе, желтенькие, в затейливых белых узорах. Правда, так красиво далеко не всякий сумел бы сделать, по, увидев Ягусины, Юзя даже рот от удивления раскрыла и огорчилась. От них просто в глазах рябило: были тут и красные, и желтые, и лиловые, и темно-голубые, как цветущий лен, а рисунки на них были такие, что глаза разбегались: на одном — петухи поют на заборе, на другом — гуси шипят на свиней, лежащих в луже, на третьем изображена стая белых голубей над красными полями, на четвертом — чудные узоры, какими мороз разрисовывает стекла.

Юзя и Ягуся любовались ими, по многу раз рассматривая каждое яйцо. Когда вернулись из костела Ганка и Ягустипка, Ганка тоже поглядела, но не сказала ничего. Ягустинка же, пересмотрев все яйца, пробормотала с удивлением:

— И откуда это у тебя берется? Ну и мастерица!

— Откуда? Сама не знаю. Что голова придумает, само из-под пальцев выходит...

Ягна радовалась, как ребенок.

— Его преподобию надо бы парочку отнести!

— Вот он будет их у нас завтра святить, так я ему поднесу, может, и возьмет.

— Как же, не видал ксендз таких чудес! Удивит опа его! — насмешливо фыркнула Ганка, когда Ягна ушла к себе.

В других хатах в этот вечер тоже долго не ложились спать.

Ночь была темная, облачная, но тихая. Только мельница грохотала, да чуть не до полуночи светились окна хат, где бабы шли к празднику наряды и кончали последние приготовления. Лучи света из окон ложились на дорогу, дрожали в темном озере.

Наступила суббота. День был совсем теплый, повитый легким туманом, и так как-то радостно было на свете, что хоть и устали все после тяжелой вчерашней работы, а вставали бодро и проворно для новых хлопот и трудов.

Площадь у костела так и гудела от криков и беготни. Испокон веков в деревнях был обычай рано утром в страстную субботу «хорошить» овсяный кисель и селедку, на-

доевшие всем за долгие недели великого поста. Нынешней весной в Липцах не было старших парней, и этим занялись мальчишки во главе с Ясеком Недотепой. Они раздобыли где-то большой горшок с киселем, подбавили туда разной дряни и уговорили Витека нести горшок на спине в сетке от сыров, а рядом шел другой мальчик, волоча на веревке выстроганное из дерева подобие селедки. Кисель и селедка шли впереди, а за ними гурьбой остальные с колотушками, трещотками и стучали, трещали, орали что есть силы. Вел их всех Ясек — он хоть и придурковат был и растяпа, но великий мастер на всякие проказы и затей.

Процессия обошла кругом озеро и у костела свернула на дорогу под тополями, где должно было состояться «погребение». Вдруг Ясек ударил лопатой по горшку, и горшок разлетелся в куски, а содержимое его потекло по спине Витека.

То-то была потеха! Мальчишки, обессилив от смеха, приседали на дороге, а Витек разозлился и наскакивал на Ясека с кулаками, потом подрался и с другими и наконец с ревом убежал домой.

Гапка прибавила ему и от себя за испорченную куртку и послала в лес за сосновыми ветками и «заячьим усом». К тому еще и Петрик посмеялся над ним, не пожалела его даже Юзья, усердно посыпавшая широкий двор до самой улицы желтым песком, привезенным с кладбища. Посыпала она и дорожку к крыльцу, и проход под навесом, так что изба была точно опоясана желтой лентой.

А в комнате старика уже готовили все к разговенью. Пол был вымыт и тоже посыпан песком, окна протерты, со степ и образов обметена паутина, а свою кровать Ягуся покрыла красивой шалью.

Гапка, Ягуся и Домникова, почти не разговаривавшие друг с другом, придвинули к переднему окну, где стояла кровать старика, большой стол, накрытый толстым белым полотном, края которого Ягуся оклеила широкой каймой из красной бумаги. Посреди стола поставили высокое распятие, украшенное бумажными цветами, а перед ним, на опрокинутом вверх дном цветочном горшке, барашка, так искусно сделанного Ягусей из масла, что он был совсем как живой: вместо глаз были вставлены бусы, а хвост, уши, копытца и хоругвь сделаны из красной пушистой шерсти. Кругом в первом ряду легли ситные хлебы и белые калачи, замешанные на молоке и масле, за ними

желтые куличи с изюмом, большие и поменьше — для Юзи и детей. Были тут ватрушки с творогом, посыпанные сахаром и сладким маком, а напоследок поставили большое блюдо колбас, окруженных облупленными яйцами, и па противне целую свиную ногу и часть головы. Все это было обложено кругом крашеными яйцами. Ждали только Витека, чтобы натывать везде зеленых веток и оплести весь стол «заячьим усом».

Только что убрали стол, как одна за другой начали приходить соседки. Они приносили в мисках и блюдах свои пасхальные яства и ставили их на длинной скамье у стола: у ксендза не хватало времени обойти всю деревню, и он распорядился, чтобы все, что надо святить, снесли в несколько пзб.

Липцы были самой ближней деревней, и здесь он святит на обратном пути, объехав приход. Часто это бывало уже под вечер.

Соседки разошлись, не вступая в долгие разговоры, — надо было поспеть в костел на торжественный обряд освящения огня и воды. Предварительно во всех домах тушили огонь, чтобы потом опять зажечь его огнем освященной свечи.

Помчалась в костел и Юзя, взяв с собой детей.

Ждали их долго — только к полудню стали возвращаться из костела женщины, бережно заслоня от ветра зажженные в костеле свечи. Юзя принесла целую бутылку воды и огонь, которым Ганца сейчас же разожгла приготовленные дрова. Она первая выпила освященной воды, затем дала всем другим по очереди — в деревнях верили, что эта вода предохраняет от болезней горла. Потом Ганка покропила ею скот и плодовые деревья в саду — это для того, чтобы животные легче рожали, а деревья принесли богатый урожай.

Видя, что ни Ягна, ни Магда не вспомнили о старике, она сама умыла его теплой водой, расчесала спутанные волосы, принесла ему чистую рубаху и постельное белье. Бoryна позволял делать с собой все, но ни разу не шевельнулся, лежал, глядя прямо перед собой, безучастный, как всегда.

После полудня в деревне уже чувствовался праздник. Еще тут и там кончали черную работу, но большинство хозяек уже наряджались, причесывались, мылись, старательно отмывали ребят, так что из хат неслись протестующие крики.

Все с нетерпением ожидали ксендза, а он вернулся из усадьбы только под вечер и сразу пошел в деревню. Он был в стихаре. Племянник органиста, Михал, нес за ним медный ковш со святой водой и кропило.

Ганка вышла встречать его за ворота.

Он торопился и, зайдя в дом, быстро прочитал молитву, окропил все, посмотрел в синее, обросшее лицо Бобыны.

— Что, никакой перемены?

— Рана-то почти зажила, а ему ничуть не лучше.

Ксендз понюхал табак, обвел глазами людей, столпившихся у порога и в сенях.

— А где же тот хлопчик, что мне аиста продал?

Юзя вытолкнула вперед прятавшегося за печкой скопфуженного Витека.

— На тебе пятачок, молодец он у тебя! Так кур гоняет с грядок, ни одной не пропустит... А что, завтра к мужьям в город пойдете? — обратился он к бабам.

— Да, полдеревни собирается!

— Вот и хорошо, только смотрите, чтобы все было тихо и чинно! А ко всеобщей приходит к десяти! В десять начну, слышите? Да если будете спать в костеле, так велю Амброжию вывести! — строго добавил он, медленно проходя на крыльцо.

Толпа двинулась за ним — провожать до дома мельника, а Витек, показывая Юзе медный пятак, прошептал сердито:

— Недолго моему аисту ксендзовых кур гонять!

Они шмыгнули в разные стороны, увидев Ганку, входившую на крыльцо.

Уже начинало темнеть, сумерки мутной синевой медленно затопляли сады, дома и окрестные поля. Белели в ней только стены припавших к земле хат, мигали меж деревьев огоньки, а в вышине, на чистом небе выступал бледный серп молодого месяца.

Деревня постепенно погружалась во мрак и торжественную праздничную тишину. В костеле, стоявшем высоко над избами, засняли все окна, из открытых настежь дверей лилась широкая струя света.

Скоро застучали первые телеги, подъезжая к кладбищу, и приехавшие жители дальних деревень начали сходиться к костелу. В Липцах тоже все выходили из домов, то и дело хлопали двери, в теплом сумраке звучали шаги и тихий говор, все перекликались, здоровались, не

видя друг друга. И медленно, но неустанно ширившийся людской поток плыл по дороге к костелу.

У Бoryнов стеречь дом оставлены были старый Былица да Витек, который вдвоем с Мацеком Клембом мастерил деревянного петуха, чтобы с ним ходить по домам после обливания¹.

Ганка отправила вперед Юзьку с детьми и Петрика, а сама собиралась выйти попозже. Она была уже одета, по медлила, чего-то ожидая, все выходила на крыльцо и смотрела на улицу. Только когда Ягна ушла с Магдой и послышался голос кузнеца, шедшего в костел вместе с войтом, Ганка вернулась домой и что-то тихо приказала отцу.

Былица вышел во двор караулить, а она на цыпочках проскользнула в чулан Бoryны... Вышла она оттуда через полчаса, старательно застегивая на груди корсаж. Глаза ее горели, руки тряслись.

V

На дорогах было уже пусто и темпо, в хатах гасли огни. Спешили в костел последние запоздавшие прихожане, а на площади перед костелом теснилось множество телег, бричек, распряженных лошадей, под колокольной ернели экипажи помещиков. Топот и ржанье далеко разосились во мраке.

Ганка, войдя в притвор, еще раз пощупала что-то за лазухой и, спустив платок на плечи, начала проталкиваться к передним скамьям.

Костел был уже битком набит, плотно стиснутая толпа колыхалась из стороны в сторону и шумела, как вода; молитвы, вздохи, кашель, приветствия сливались в тихий гул, от напора людей качались хоругви, расставленные меж скамей, и елочки, украшавшие алтари и стены.

Только что Ганка добралась до своего места, как ксендз вышел служить всенощную; из толпы слышались громкие вздохи, замелькали поднятые руки. Все опускалось на колени, и давка от этого еще усилилась. Скоро весь народ стоял уже на коленях, плечом к плечу, и в этой чело-

¹ Обливание — деревенский обычай: в попедельник на пасхальной неделе молодежь обливает друг друга водой.

веческой гуще сверкали только глаза, устремленные па большой алтарь, где стояла статуя Иисуса, обнаженного и покрытого ранами. Сегодня он был облачен в красную мантию и держал в руке маленькую хоругвь.

Наступила внезапная тишина, как в весенний полдень, когда солнце прогреет поля, утихнет ветер и шепчутся, качаясь, колосья, а высоко под лазурным небом нежно звенят песни жаворонков.

Видно было, как шевелились губы да часто и тихо, как дождик по листьям, шелестели слова молитвы. Головы склонялись все ниже, порой срывался откуда-то стон, или чьи-нибудь руки с мольбой тянулись к алтарю, или звучал тоненький жалобный плач. Толпа, как стелющаяся по земле поросль, тревожно притаилась в тепи высоких сводов, мрачных, как древний лес. Хотя на алтарях горели свечи, костел тонул в густом сумраке, в окна и широко раскрытые двери вторгалась черная ночь и глядел из-за туч бледный серп луны.

Только Ганка не могла сосредоточиться на молитве и внутренне трепетала от страха и волнения, как будто была еще там, в чулане Бороны.

Ее пронизывала дрожь, она еще чувствовала па руках холод зерна и все сжимала плечи, чтобы ощутить спрятанный на груди узелок.

Радость и какая-то непонятная тревога так ее одолевали, что четки валялись из рук, она забывала слова молитв и горящими глазами все оглядывала толпу, но никого не узнавала, хотя рядом сидели Юзя, Ягуся с матерью и другие.

На скамьях сбоку от алтаря сидели с молитвенниками в руках жены и дочери помещиков из Рудки, Модлицы, Воли, а их мужья и отцы о чем-то беседовали в дверях ризницы. На ступенях алтаря стояли нарядно одетые мельничиха и жена органиста, а у самой решетки, там, где было место первейших липецких хозяев, тех, что всегда следили за порядком в костеле, а во время крестного хода несли балдахин над ксендзом и вели его под руки, сейчас сплошной толпой стояли на коленях мужики из других деревень, и с трудом можно было различить среди них войта, солтыса и рыжую голову кузнеца.

Не одни женские глаза с тоской устремлялись туда, но тщетно искали они своих; были там мужики из Дембицы, из Воли, из Репок, со всего прихода, только липецких не видно было, не видно было первых хозяев! И замечались

души женщин, как испуганные птицы, с плачем kloпились головы к земле, и горькие мысли о своей сиротской доле жгли, как огонь.

Ведь подумать только: самый большой праздник в году, пасха, столько собралось в костеле народу, и у всех лица, немного похудевшие от долгого поста, сияют радостью, все щеголяют нарядами, держатся гордо, как папы, занимают первые места, а несчастные липецкие мужики... Что-то они сейчас делают там, в тюрьме? В холоде да в голоде, терпят горькие обиды, от тоски деваться им некуда!

Праздник для всех, только не для них, певинно страдающих!.. Другие вместе с семьями вернутся домой и будут наслаждаться отдыхом, вкусной едой, весенним солнцем, будут болтать, веселиться... Все, только не они, горемычные!

А их одинокие жены и дети тихо разойдутся по пустым хатам и со слезами будут есть пасхальные куличи и в тоске и заботах спать лягут...

— Иисусе! Иисусе! — срывались скорбные, приглушенные стоны вокруг Ганки, и она наконец очнулась и увидела знакомые лица и налитые слезами глаза. Даже Ягна низко склонила голову над молитвенником, и крупные слезы капали на страницы. Мать толкала ее, но как она могла успокоиться, когда ей так живо вспомнился Антек! И, как тогда, на рождестве, она слышала его горячий шепот, и чудилось ей, что он опять стоит на коленях у ее скамьи. Внезапная тоска защемила ей сердце, и слезы опять потекли по щекам.

Хорошо, что в эту минуту ксеендз начал проповедь, и в костеле стало шумно, все вставали с колен и проталкивались ближе к амвоу. Ксеендз говорил о муках Христа, распятого за то, что он пришел спасти мир, требовал справедливости для обиженных, стоял за бедняков. И так красноречиво описывал страдания господа, что кровь у людей закипала жаждой мести и не одна рука сжималась в кулак, а бабы плакали в голос и сморкались.

Ксеендз говорил долго, так долго, что у многих уже глаза слипались, а по углам люди по-настоящему задремали. Окончив рассказ о муках Христовых, он обратился к народу и, потрясая руками, стал кричать, что люди распинают Христа каждый день, каждый час грехами своими, убивают его злобой, неверием и несоблюдением заповедей божьих..

Вихрь рыданий, стонов и вздохов потряс костел, и только когда он утих, ксендз, уже ободряюще и радостно, заговорил о воскресении Христа, о весне, которую господь по доброте своей каждый год посылает людям. Говорил, что придет время, когда всякая несправедливость исчезнет, все обиженные будут вознаграждены и утихнут рыдания страждущих и зло перестанет царить на земле, ибо вернется в мир Иисус, чтобы судить живых и мертвых, унижить гордых, воздать вечную хвалу праведным.

И от слов этих солнце всходило во всех сердцах. Только лицецкие бабы дрожали от душевной боли. Сознание своей обездоленности было так мучительно, что они вдруг завыли, заплакали в голос и распростерлись на полу, скорбными стонами взывая о милости и спасении.

Забурлило в костеле, закричали, заплакали и другие, стали поднимать лицецких, сажать на скамьи, ободрять и утешать, а ксендз, утирая слезы рукавом, твердил, что господь испытывает тех, кого любит; и кто будет твердо верить в его милосердие, к тем мужья вернутся не сегодня-завтра...

Женщины успокоились, слова ксендза опять вселили в них надежду.

И когда затем ксендз у алтаря затянул гимн Воскресения, которому вторили мощные звуки органа, когда запели на весь мир колокола и ксендз со святыми дарами вышел к народу в синем облаке ладана, под мелодичный звон колокольчиков, из всех грудей грянула песнь, разбив тишину, жаркий вихрь экстаза осушил слезы и подхватил всех, и весь этот лес людской, слив голоса в мощный хор, двинулся вслед за пастырем, который шел, высоко подняв дароносицу, горевшую, как солнце, над головами людей. Медленно плыла она меж ярких огней, повитая дымом кадила, притягивая все глаза и сердца.

Процессия обходила внутри костел, медленно, шаг за шагом подвигаясь в ужасной тесноте. Гремел хор и орган, без усталости заливались колокола.

— Аллилуйя! Аллилуйя! — гудел весь костел так, что дрожали стены, пели все сердца и голоса, пронизанные пламенным восторгом.

Служба кончилась почти в полночь, и люди стали торопливо расходиться. Только Ганка, ободренная своей сегодняшней удачей и уверениями ксендза, горячо молилась, пока Амброжий настойчивым бречанием ключей не заставил ее выйти из опустевшего костела.

Она ощущала сейчас такое спокойствие и веру в свои силы, что даже страх за Аптека, так долго мучивший ее, вдруг исчез.

Ища в толпе своих, она шла домой медленно, так как посередине дороги непрерывной цепью тянулись повозки, а по обочинам двигались пешеходы. Луна уже зашла, серые тучи плыли в вышине, то и дело закрывая темно-синее небо, на котором искрились далекие звезды.

Ночь наступала теплая, влажная от обильной росы, с полей тянул легкий ветерок, пропитанный сыростью земли и болот, а по дорогам носились медовые запахи тополей и берез. Ничего нельзя было разглядеть, только изредка там, где было посветлее, мелькали головы идущих. Но темпота гудела голосами, и, услышав их, громче заливались во дворах собаки, а в окнах там и сям загорались огоньки.

Заглянув по дороге в копынную и хлев, Гапка вошла в дом. Там уже ложились спать.

«Пусть только вернется да возьмет в свои руки хозяйство, а я ни словечком ему о прошлом не напомню», — решила она, раздеваясь, но вдруг, услышав шаги Ягуси, которая уходила на свою половину, подумала:

«А что, если он опять с ней свяжется?»

Она легла в постель и еще некоторое время напряженно прислушивалась. В деревне было тихо, только с дорог еще доносился стук последних повозок и голоса, замиравшие в пустынной дали.

— Нет, тогда, значит, ни бога, ни правды нет! — прошептала она сурово, но думать об этом больше не было сил, сон сморил ее.

На другое утро Липцы проснулись очень поздно.

День открыл голубые глаза, еще немного сонные, но сияющие, а деревня все спала крепким сном.

Никто не спешил вставать, хотя наступило светлое воскресенье. Солище играло в озере и в каждой капельке росы, катилось по высокому, светлому небу и, казалось, пело всему миру «аллплуйя».

Огромное, лучезарное, плыло оно, рассеивая утренний туман, над садами, хатами, полями, и радостно запели птицы, зазвенели, залепетали ручейки, зашумели леса, задрожала под ветром молодая листва, а земля встрепенулась, и заколыхалось на ней густое руно всходов, и росинки посыпались с них, как слезы.

Эх, и радостный же настал день. «Аллилуйя! Аллилуйя!» — звучало во всем мире.

Только в Липцах было тише и печальнее, чем в былые весны.

Спали долго. Был уже белый день и солнце стояло высоко над садами, когда зашевелились в хатах люди, за скрипели ворота и взлохмаченные головы начали выглядывать на свет божий, залитый солнцем, звенящий песнями жаворонков, окропленный молодой зеленью.

Заспался и у Борын. Раньше других встала Гапка и разбудила Петрика, чтобы запрягал в бричку лошадей, а сама начала накрывать на стол. Юзя тем временем мыла и наряджала детей, причем сопровождалось это немалым шумом и визгом. А во дворе у колодца умывались старательно, ради праздника, Петрик и Витек. Только старый Былица сидел на крыльце, играя с собакой, и часто втягивал носом воздух, проверяя, не режут ли уже колбасу.

По обычаю, огня в печи в это утро не разводили, разговлялись приготовленными заранее холодными кушаньями. Гапка принесла их с отцовской половины и раскладывала по тарелкам всем поровну — хлеб, яйца, колбасу, ветчину, сыр и сладкие пироги.

Приодевшись, она созвала всех и даже пошла сама приглашать Ягусю. Та сейчас же появилась, нарядная, прекрасная, как утренняя заря. Голубые глаза ее сияли, льняные волосы были гладко причесаны.

Не одна Ягуся была одета по-праздничному, и на других жепщинах так и горели пестрые юбки и корсажи, и даже Витек, хотя и босой, был в повой курточке с блестящими пуговицами, которые он выпросил у Петрика. А Петрик — тот сегодня совершенно преобразился: на нем был темно-синий жупан и полосатые желто-зеленые штаны. Он чисто выбрился, волосы подстриг ровно надо лбом, а ворот рубахи завязал красной лептой. Когда он вошел в комнату, все удивились, а Юзья даже руками всплеснула:

— Петрик, ты ли это? Да тебя родная мать не узнала бы!

— Серую шкуру сбросил — и парень, как свеча! — заметил и Былица.

Петрик в ответ только усмехнулся. Глаза его не отрывались от Ягуси. Гапка, перекрестясь, чокалась со всемплю очереди и торопила садиться за стол. Расселись на лавках, и даже Витек робко присел на краешке.

Ели не спеша, смакуя вкусную пасхальную еду после

Она ощущала сейчас такое спокойствие и веру в свои силы, что даже страх за Аптека, так долго мучивший ее, вдруг исчез.

Ища в толпе своих, она шла домой медленно, так как посередине дороги непрерывной цепью тянулись повозки, а по обочинам двигались пешеходы. Луна уже зашла, серые тучи плыли в вышине, то и дело закрывая темно-синее небо, на котором искрились далекие звезды.

Ночь наступала теплая, влажная от обильной росы, с полей тянул легкий ветерок, пропитанный сыростью земли и болот, а по дорогам носились медовые запахи тополей и берез. Ничего нельзя было разглядеть, только изредка там, где было посветлее, мелькали головы идущих. Но темнота гудела голосами, и, услышав их, громче заливались во дворах собаки, а в окнах там и сям загорались огоньки.

Заглянув по дороге в конюшню и хлев, Ганка вошла в дом. Там уже ложились спать.

«Пусть только вернется да возьмет в свои руки хозяйство, а я ни словечком ему о прошлом не напомню», — решила она, раздеваясь, но вдруг, услышав шаги Ягуси, которая уходила на свою половину, подумала:

«А что, если он опять с ней свяжется?»

Она легла в постель и еще некоторое время напряженно прислушивалась. В деревне было тихо, только с дорог еще доносился стук последних повозок и голоса, замирающие в устывшей дали.

— Нет, тогда, значит, ни бога, ни правды нет! — пролептала она сурово, но думать об этом больше не было сил, сон сморил ее.

На другое утро Липцы проснулись очень поздно.

День открыл голубые глаза, еще немного сонные, по сияющие, а деревня все спала крепким сном.

Никто не спешил вставать, хотя наступило светлое воскресенье. Солнце играло в озере и в каждой капельке росы, катилось по высокому, светлому небу и, казалось, пело всему миру «аллилуйя».

Огромное, лучезарное, плыло оно, рассеивая утренний туман, над садами, хатами, полями, и радостно запели птицы, зазвенели, залепетали ручейки, зашумели леса, задрожала под ветром молодая листва, а земля встрепнулась, и заколыхалось на ней густое руно всходов, и росинки посыпались с них, как слезы.

Эх, и радостный же настал день. «Аллилуйя! Аллилуйя!» — звучало во всем мире.

Только в Липцах было тише и печальнее, чем в былые весны.

Спали долго. Был уже белый день и солнце стояло высоко над садами, когда зашевелились в хатах люди, заскрипели ворота и взлохмаченные головы начали выглядывать на свет божий, залитый солнцем, звенящий песнями жаворонков, окропленный молодой зеленью.

Заспались и у Борын. Раньше других встала Гапка и разбудила Петрика, чтобы запрягал в бричку лошадей, а сама начала накрывать на стол. Юзя тем временем мыла и наряжала детей, причем сопровождалось это немалым шумом и визгом. А во дворе у колодца умывались старательно, ради праздника, Петрик и Вптек. Только старый Былица сидел на крыльце, играя с собакой, и часто втягивал носом воздух, проверяя, не режут ли уже колбасу.

По обычаю, огня в печи в это утро не разводили, разговлялись приготовленными заранее холодными кушаньями. Ганка принесла их с отцовской половины и раскладывала по тарелкам всем поровну — хлеб, яйца, колбасу, ветчину, сыр и сладкие пироги.

Приодевшись, она созвала всех и даже пошла сама приглашать Ягусю. Та сейчас же появилась, парадная, прекрасная, как утренняя заря. Голубые глаза ее сияли, льняные волосы были гладко причесаны.

Не одна Ягуся была одета по-праздничному, и на других женщинах так и горели пестрые юбки и корсажи, и даже Витек, хотя и босой, был в новой курточке с блестящими пуговицами, которые он выпросил у Петрика. А Петрик — тот сегодня совершенно преобразился: на нем был темно-синий жупан и полосатые желто-зеленые штаны. Он чисто выбрился, волосы подстриг ровно надо лбом, а ворот рубахи завязал красной лентой. Когда он вошел в комнату, все удивились, а Юзя даже руками всплеснула:

— Петрик, ты ли это? Да тебя родная мать не узнала бы!

— Серую шкуру сбросил — и парень, как свеча! — заметил и Былица.

Петрик в ответ только усмехнулся. Глаза его не отрывались от Ягуси. Ганка, перекрестясь, чокалась со всеми по очереди и торопила садиться за стол. Расселись на лавках, и даже Витек робко присел на краешке.

Ели не спеша, смакуя вкусную пасхальную еду после

долгих недель поста. Колбаса была так сильно приправлена чесноком, что запах пошел по всей избе, и собаки, вставшие у стола, жалобно скулили.

Все молчали, усердно работая челюстями, пока не утолили первый голод. В эти торжественные минуты насыщения тишину нарушали только чавканье, сопение да бульканье водки, которой Ганка сегодня не жалела и даже настойчиво потчевала всех.

— Скоро поедем? — первый нарушил молчание Петрик.

— Да хоть сейчас после завтрака.

— Ягустинка хотела с вами ехать, — заметила Юзя.

— Если вовремя придет, поедет. А дожидаться ее не стану.

— Корм для лошадей брать?

— Только на одну кормежку — к вечеру вернемся.

И снова принялись за еду. Лица покраснели от сытости, всем было жарко, все испытывали блаженство. Ели с разбором, чтобы как можно больше вместить и как можно дольше ощущать во рту приятный вкус. Только когда Ганка встала, все оторвались от тарелок, порядком уже отяжелев. А Петрик и Витек все, что не успели доест, унесли к себе в копытошню.

— Ну, запрягайте сейчас же! — распорядилась Ганка и, собрав для мужа такой тяжелый узел всякой снеди, что с трудом его подняла, начала одеваться в дорогу.

Уже бричка стояла у крыльца, когда, запыхавшись, прибежала Ягустинка.

— А я уже хотела ехать, не дождавшись тебя! — сказала ей Ганка.

— Так вы уже разговлялись? — со вздохом сожаления спросила Ягустинка.

— Найдется кое-что и для тебя, садись, закуси.

Голодную Ягустинку упрашивать не пришлось — она накинулась на еду, как волк, и уписывала за обе щеки все, что было на столе.

— Господь знал, что делал, когда сотворил свинью! — сказала она, наевшись. — Только вот ведь что удивительно: пока она жива, ей не мешают в грязи валяться, а после смерти обязательно ее водочкой обмывают.

— Пейте на здоровье, только поскорее, время не терпит!

И через несколько минут они уехали. Ганка, уже сидя в бричке, наказывала Юзе присматривать за отцом. Девочка сейчас же собрала полную тарелку всякой еды и от-

несла больному. Сколько она с ним ни заговаривала, он не отвечал, не взглянул даже на нее, но все, что она клала ему в рот, съедал жадно, по-прежнему глядя в одну точку застывшим, мертвым взглядом. Он, может быть, и больше съел бы, но Юзе скоро надоело его кормить, и она убегала на улицу смотреть, как почти с каждого двора выезжали или выходили женщины с котомками. В город потянулось десятка полтора телег, а по тропке вдоль канавы шли пешком женщины в ярких платьях, с узлами на спине.

Когда затих вдали стук колес, в опустевшей деревне залегла грустная тишина. День тянулся медленно, глухое безмолвие царило на улицах, — ни говора, ни песен, ни обычной праздничной толчеи, только несколько мальчишек бегали у озера, швыряя камешками в гусей.

Солнце поднималось все выше, заливая мир светом, и стояла такая теплынь, что на окнах уже жужжали мухи, а в прозрачном воздухе, как шальные, носились ласточки. Озеро переливалось огнями, деревья купались в зелени, и от молодой их листвы шел сладкий аромат. С неоглядных полей, сливавшихся с голубым небом, прохладный ветер доносил порой запахи земли и цвение жаворонков. Все дышало мирным блаженством весны, а из окрестных деревень, едва видных в объятый солнечным пожаром дали, доносился по временам мощный хор голосов и звуки выстрелов.

В Липцах было пусто и уныло, как после похорон. Выпущенные на водопой коровы бродили, где хотели, терлись о деревья и мычали, вытягивая морды к зеленевшим вдали полям. Не видно было никого ни во дворах, ни в растворенных пастежь сених, только кое-где на солнечной стороне грелись люди на завалинках, у открытых окон девушки заплетали косы, а на порогах старухи вычесывали детей.

Так шли часы за часами в сонной и печальной тишине. Только ветер изредка тормозил деревья, и они шумели тихопоко, клонясь к хатам и робко заглядывая в пустые команаты, или стая воробьев с шумом перелетала из сада на улицу, или отрывистые крики ребятишек, отгоняющих воров от дылят, нарушали безмолвие.

Нет, не так бывало прежде в этот день!

Время уже близилось к полудню, и солнце стояло высоко над хатами, когда пришелся Рох к Борынам, заглянул к больному, поболтал с детьми и присел на крыльце погреться на солнышке. Он читал какую-то книжку, но

часто отрывался и внимательно поглядывал на дорогу. Скоро пришла жена кузнеца с детьми и, проведав отца, села на завалипке.

— Ваш дома? — спросил у нее Рох после долгого молчания.

— Где там! В городе. Поехал с войтом.

— Там пынче вся деревня!

— Да... Разговоятся горемычные наши!

— А ты что же с матерью не поехала? — спросил Рох у вышедшей из дому Ягны.

— Кому я там нужна? — Она вышла за ворота, с тоской глядя на поля.

— Новая юбка на ней! — пробормотала Магда со вздохом.

— Мамы покойной юбка, не узнала ты, что ли? И кораллы все, что у нее на шее, и эти большие янтари — все мамино! — с горечью сказала Юзя. — Только платок на голове у нее свой.

— Правда, ведь столько осталось после покойницы. Нам он тронуть ничего не позволял, а ей все отдал, вот она и щеголяет теперь...

— Да еще жаловалась как-то Настке, что юбки залежались и вомяют...

— Чтоб ей чертов помет нюхать!

— Пусть только отец выздоровеет, я ему сейчас же скажу про кораллы — пять ниток осталось длинных, а кораллы крупные, как горох!

Магда ответила только вздохом. Юзя скоро убежала со двора, Витек за конюшней все еще мастерил своего петуха, а дети у крыльца возились с собаками под присмотром Былицы, который стерег их, как наседка цыплят. Рох, казалось, задремал.

— Ну как, в поле вы со всем управились?

— Нет, только картошку посадили да горох посеяли.

— У других и этого не сделано!

— Успеется еще, — говорят, на фоминой наших мужиков выпустят.

— Это какой такой пророк сказал?

— Разные люди говорили в костеле... А Козлова собирается идти к помещику — просить, чтобы заступился.

— Глупая! Разве это помещик их в тюрьме держит?

— Если он заступится, так, может, и выпустят.

— Уж он не раз за них просил — и не помогло.

— Нет, если бы он только захотел!.. Да он не хочет:

сердит на Липцы... Так мой говорит...— Магда вдруг смущенно замолчала и наклонилась к своему младшему. Рох напрасно ждал, что она еще что-нибудь скажет.

— Когда же Козлова пойдет? — спросил он, видимо заинтересованный.

— Сегодня после полудня.

— Только и пользы от этого будет, что прогуляется на свежем воздухе.

Магда ничего не ответила, потому что в эту минуту во двор с улицы вошел пан Яцек, брат помещика. В деревне его считали полоумным, оттого что он постоянно носил с собой скрипку, играл на ней под крестами на дорогах и водился только с крестьянами. Вот и сейчас он нес под мышкой скрипку и шел, горбясь, с трубкой в зубах, худой, высокий, с светлой бородкой и блуждающими глазами. Рох поднялся ему навстречу. Они, видно, были знакомы, так как пошли вместе к озеру, долго сидели там на камнях и о чем-то тихо толковали. Уже давно миновал полдень, когда они разошлись. Рох вернулся на крыльцо, но был какой-то вялый и глядел невесело.

— Отощал как панич, кожа да кости! Я не сразу его и узнал! — заметил Былица.

— А разве вы его знали? — спросил Рох вполголоса, оглянувшись на Магду.

— А как же... Немало он в молодости проказничал, немало! Погубитель девичий был, всех девок в Воле перепортил, ни одной, бывало, не пропустит... Помню хорошо, на каких рысках он сдвиг, как гулял... Помню...— бормотал старик.

— Все это он искупил тяжкими страданиями! Так вы, видно, самый старый в деревне, а?

— Нет. Амброжий, думается, старше, потому что я его только таким, как сейчас, и помню.

— Он сам говорит, что смерть о нем позабыла! — встала Магда.

— Ну, смерть никого не забывает, она только ждет, пока человек подгниет... А этот крепкий... Вывертывается человек, как может! — крихтя, сказал Былица.

Они долго молчали.

— На моей памяти в Липцах всего пятнадцать дворов было,— начал снова Былица, робко протягивая руку к табакерке Роха.

— А теперь их сорок! — Рох пододвинул ему табакерку.

— И новые хозяева уже ждут наделов. Урожайный год или нет, а парод знай себе плодится... Да... А земли не прибавляется! Еще несколько лет, и ее на всех уже не хватит,— говорил Былица, звонко чихая.

— Да, уже и сейчас в деревне тесно! — сказала Магда.

— Это верно. А пожениятся парни, так их детям уже и по моргу не достанется...

— Придется им тогда из деревни уходить. Свет велик! — заметил Рох.

— А с чем же они в свет пойдут? С голыми руками, ветер ловить?

— Вот немцы на Слупи откупили землю у помещика и теперь дома себе строят. По шестьдесят моргов на усадьбу! — сказал Рох хмуро.

— Как же, слышали мы... Так ведь то немцы, они народ особый — ученые, зажиточные, торгуют и на чужой пужде богатеют... А пусть бы попробовали, как мы, крестьяне, голыми руками за землю браться, так и трех севов не продержались бы!.. В Липцах тесно, задыхаются люди, а у пана одного вон сколько земли зря под паром гуляет. — Он указал на помещичьи поля за мельницей, тянувшиеся в гору, к лесу, где чернели стога лущина.

— Это под лесом?

— Как раз к нашим полям подходят. Вот бы их откуITY! Наделов тридцать там отмерить можно... Да разве он продаст, если ему деньги не нужны? Этакий богач...

— Много вы знаете! Богач, а всегда без копейки, извертелся весь, как угорь, занимает и у мужиков, и где только может! Евреи требуют обратно задаток за лес, налоги не плачены, дворовые с Нового года ни денег, ни месячины не получали, всем он задолжал, а чем заплатить? Откуда ему взять, коли лес рубить ему запретили, пока он с мужиками не договорится? Недолго он в Воле просидит, недолго! Говорят, уже покупателя ищет...

Магда неожиданно разговорилась, но когда Рох попробовал выведать у нее еще больше, она спохватилась и, кое-как отделившись от него, позвала детей и ушла домой.

— Должно быть, она многое знает от мужа, да боится говорить... Земля эта, что к нашей прилегает, хорошая, луга два покоса дают... — вслух рассуждал Былица, засмотревшись на помещичьи поля, где за стогами виднелись крыши усадебных построек. Но Рох его уже не слушал. Увидев издали Козлова, стоявшую у озера в кучке жепщиц, он торопливо зашагал туда.

«Кха, кха... Прижали, значит, папа... Эх, а здорово мужики могли бы пожить... Да... Вторая деревня там выросла бы... Рук у пас довольно и пужда в земле большая», — размышлял Былица, торопливо семена за детьми, убежавшими на улицу.

Зазвонил к вечерне.

Солнце уже перекатилось к лесу, и от деревьев ложились длинные тени на озеро и дороги. В предвечерней тишине слышен был отдаленный стук колес, крики птиц на болотах и тихие, волнующие звуки органа в костеле.

Кое-кто уже вернулся из города, и на всех мостиках застучали деревянные башмаки — люди бежали узнавать новости.

После вечерни, на закате, по дороге в Вульку проехал ксепдз, и от Амброжия узнали, что в усадьбе сегодня бал. А вскоре и органист со всем семейством отправился в гости к мельнику. Ясь вел под руку разряженную мать и весело здоровался с девушками, выглядывавшими из-за плетней.

Тихие сумерки окутали землю, солнце зашло, и вечерняя заря разливалась все шире, полнеба пылало, словно посыпанное раскаленными угольями. Мерцала алым светом и вода в озере, загорелись в избах окна, а из города приезжало все больше повозок, и все громче звучал говор перед избами.

Ганка еще не вернулась, но на дворе у Борыны было шумно и весело. К Юзе пришли подружки и, как щеглята, облепив завалянку и крыльцо, шуточно перебранивались с Ясеком Недотепой, который увязался за Настусей, хотя она теперь гнала его от себя, метя на другого. Юзя угощала гостей куличом и колбасой.

Верховодила в этой компании Настуся, как самая старшая, и она-то всех больше насмеялась над Ясеком, который непременно хотел, чтобы его считали лихим парнем. Вот и сейчас он стоял перед девушками в полосатых штанах, в новом жилете и, заломив набекрень шляпу, подбоченясь, говорил со смехом:

— Я теперь у вас в цене должен быть — один ведь парень на всю деревню!

— Не беспокойся, есть еще кому за коровами бегать!

— Чучело, тебе только картошку чистить!

— Да еще ребятишкам носы утирать!

Так кричали девушки наперебой, громко хохоча, но Ясек не растерялся, плюнул сквозь зубы и сказал:

— За такими глупыми девчонками я не гонюсь. Вам еще впору гусей пасти!

— Сам прошлым летом за коровьим хвостом выплясывал, а сейчас взрослого парня из себя корчит!

— Каждый день удирал от быка и портки терял!

— Женился бы ты на Магде из корчмы; самая для тебя подходящая жена!

— Она у еврея детей пянчит, так и тебе сумеет потереть!

— А то к Агате посватайся, будешь ее по костелам водить!

— Смейтесь, смейтесь, а вздумай я к которой-нибудь сватов заслать, так на радостях даст обет в Чепстохов сходить и каждую пятницу пост соблюдать,— отпарировал Ясек.

— Да позволит ли еще тебе мать жениться? Ведь ты ей в доме пужен — горшки перемывать да кур щупать! — воскликнула Настка.

— Вот рассержусь и пойду к Марысе Бальцерковой!

— Иди, иди, Марыся уже тебя ждет, встретит метлой либо еще чем-нибудь похуже!

— И как только тебя увидит, сейчас собак с цепи спустит!

— Да смотри не потеряй чего-нибудь по дороге! — засмеялась Настка, потянув его за штаны,— у Ясека вся одежда была словно «на рост» куплена.

— Ишь сапоги после деда донашивает!

— А живет у него из старой наволочки, которую свиньи изодрали!

Насмешки сыпались градом вперемежку с хохотом. Смеялся и Ясек и, подскочив к Настке, хотел ее обнять, но одна из девушек подставила ему ногу и он растянулся во весь рост на земле и долго не мог встать, потому что все его толкали.

— Да оставьте вы его, будет вам! — вступилась Юзя, помогая ему подняться. Ясек хоть и недотепа, а был все же хозяйский сын и приходился ей родней по матери.

Потом стали играть в жмурки. Ясеку завязали глаза, поставили его против крыльца, и девушки, как стайка воробьев, разлетелись во все стороны. Он погнался за ними, растопырив руки, и каждый миг патыкался на плетень или стены. Услышав смех, он кидался в ту сторону, по поймать кого-нибудь из них было нелегко, они кружились

около, нарочно задевая его, и во дворе поднялся такой топот, словно по дороге гнали целый табун жеребят, а визг, крик, хохот разносились по всей деревне.

Сумрак густел, догорала заря. Игра была в самом разгаре, когда вдруг за сараем отчаянно закудахтали куры. Юзя помчалась туда.

Под навесом стоял Витек, пряча что-то за спиной, а сынишка Гульбаса присел за плугами, и только голова его белела в темноте.

— Ничего, пичего, Юзя! — бормотал Витек смущенно.

— Вы кур душили! Вот перья еще летают!

— Нет, нет, я только у одного петуха несколько перышек из хвоста вырвал, мне для моей птицы надо. И петух-то не наш, не наш, Юзя! Это Ендрек принес своего...

— Покажи! — сурово потребовала Юзя.

Витек бросил к ее ногам полуживого петуха, начисто ощипанного.

— Да, должно быть, не наш, — сказала она, хотя узнать, чей петух, было невысказано. — Ну-ка покажи свою диковицу!

Витек вынес на свет совсем уже готового петушка, выстроганного из дерева и облепленного тестом, в которое были патыканы перья. Петушок был совсем как живой, тем более что голова с клювом была взята от настоящего петуха и надета на палочку. Птица была прикреплена к выкрашенной в красный цвет дощечке, так искусно прилаженной к маленькой повозочке, что, когда Витек тронул длинное дышло, петух стал плясать и поднимать крылья. А Гульбасенок вместо него закукарекал так, что куры откликнулись с насестов.

— Иисусе! Сколько живу, таких чудес не видывала! — Юзя присела на корточки около петуха.

— Хорош, а? Похож он у меня вышел, Юзя? — сказал Витек с гордостью.

— Ты его сам сделал? И все своей головой придумал? — Юзя опомниться не могла от удивления.

— Сам! Ендрек мне только принес живого, а я все сам, Юзя!

— Господи, ведь деревянный, а как живой движется! Давай покажем его девкам! Вот будут дивиться! Покажи, Витек!

— Нет. Завтра пойдем с ним по хатам после обливания, тогда и увидят. Еще надо колышками огородить, чтобы не улетел.

— Ну ладно. Убери коровник и приходи в избу работать, там тебе светлее будет.

— Приду, вот только на деревню еще надо сбегать...

Юзя вернулась на крыльцо, но девушки уже бросили игру и расходились. Наступал вечер, в домах загорелись огни, на небе уже показались первые звезды, а с полей тянуло почной прохладой.

Все женщины вернулись из города, одной Гапки не было.

Юзя приготовила роскошный ужин: борщ с колбасой и картофель, обильно политый салом. Так как Рох уже ждал, дети просили есть и в комнату несколько раз заглядывала Ягна, Юзя стала подавать на стол, и в эту минуту тихонько вошел Витек и подсел к дымящейся миске. Он был что-то очень красен, мало ел, и руки у него так дрожали, что ложка стучала о зубы. Не доев, он опять куда-то убежал.

Юзья перехватила его во дворе, у хлева, когда он набирал в полу своей куртки месиво, приготовленное для свиней. Она сурово потребовала объяснений.

Витек всячески изворачивался, врал, но в конце концов сознался:

— Я отобрал у ксендза своего аиста!

— Господи Иисусе! Матерь божия! И никто тебя не видел?

— Никто. Ксендз уехал, собаки убежали на кухню жрать, а аист стоял на крыльце. Мацюсь все подсмотрел и прибежал мне сказать! А я его кафтаном Петрика накрыл, чтобы он меня не клюнул, и упес в одно потайное место. Только смотри, Юзя, золотая моя, никому про это ни гугу! Через неделю-другую я его приведу в хату, и увидишь, как важно он будет расхаживать на крыльце! Никто не узнает, что это тот самый, только ты меня не выдавай!

— Ну, вот еще! Когда же я тебя выдавала? Но как ты решился на такое дело?

— А что? Я свое отобрал. Я ведь тебе все время твердил, что не уступлю его, — вот и отнял! Не для того я его приручал, чтобы другие им тешились! — сказал Витек и убежал куда-то в поле.

Он вернулся довольно скоро и примостился у печи вместе с детьми — доделывать петушка.

В комнате было как-то сонно и тоскливо. Ягна ушла к себе, Рох сидел на крыльце с Былицей, который уже клеил носом.

— Идите домой, вас там дожидается пап Яцек! — шепотом сказал ему Рох.

— Меня дожидается? Пап Яцек?.. Бегу, бегу... Меня?.. Ну, пу! — залепетал пораженный Былица, сразу встряхнувшись.

Он ушел, а Рох остался на крылечке и, шепча молитву, смотрел куда-то в почь, в необъятную глубину небес, мерцавшую звездным светом. Ниже, над полями, уже восходил рогатый месяц, бодая темноту острыми рожками.

Один за другим гасли в хатах огни, как глаза, сомкнутые сном. Разливалось кругом безмолвие, и только чуть слышно дрожали листья да вдалеке глухо бормотала речка. В одном лишь доме — у мельника — еще светились окна. Там веселились до поздней ночи.

А в доме Бoryпы было тихо, все легли спать и погасили свет, только в печи, где стояли горшки с ужином, еще тлели уголья да в углу трещал сверчок. Рох все сидел на крыльце, поджидая Ганку. Уже около полуночи на мосту у мельницы застучали копыта, и скоро во двор въехала ее бричка.

Ганка была почему-то грустна и молчалива. После того, как они поужинали и Петрик ушел на конюшню, Рох решился спросить:

— Ну, видела мужа?

— Как же, полдня с ним просидела. Он здоров и духом не падает... Велел вам кланяться. Видела я и других... Их скоро выпустят, по никто не знает, когда... И у адвоката, что на суде будет Антека защищать, я тоже побывала...

Она не сказала Роху того, что камнем лежало у нее на сердце, но, рассказывая о всяких вещах, не имевших отношения к Антеку, неожиданно заплакала и закрыла лицо руками. Слезы текли у нее сквозь пальцы.

— Я приду завтра утром. Отдохни, растрясло тебя, верно... Как бы это тебе не повредило!

— Э, пусть бы я околела, чтобы не мучиться больше! — вырвалось у Ганки.

Рох только головой покачал и молча вышел. Слышно было, как он во дворе сердито усмирал лаявших собак, загоняя их в конуры.

Ганка сейчас же легла около детей, по, как ни была утомлена, уснуть не могла. Еще бы! Ведь Антек встретил ее, как падосышнюю собаку!.. Все, что она привезла, ел с удовольствием, деньги взял, не спрашивая, откуда они, и даже не пожалел ее, измученную дальней поездкой!

Опа рассказывала ему, как ведет хозяйство, а он не только ее не похвалил, но за многое сердито отчитывал. Обо всех в деревне расспрашивал, а о собственных детях и не вспомнил! Она пришла к нему, верная и любящая, стосковавшаяся по его ласке. Ведь она ему жена венчанная, мать его детей, а он ее даже не поцеловал, не приглубил, не спросил о здоровье... Он вел себя, как чужой, и на нее смотрел, как на чужую, слушал ее невнимательно. И под конец она уже не могла говорить, не могла удерживать слез, а он еще на нее накричал, чтобы не приезжала сюда реветь! Иисусе! И как она не умерла на месте! За все ее тяжкие непосильные труды, за все заботы о его добре, за все, что она терпит ради него, никакой награды, ни ласки, ни одного слова утешения!

— Господи, будь милостив ко мне, помоги, не то не выдержу!..— стонала она, зарываясь лицом в подушку, чтобы не разбудить детей. Каждая жилка в ней дрожала от боли, от горького унижения и страшной обиды.

Она весь день должна была сдерживать себя при Антеке, да и здесь, на людях, тоже и только сейчас дала волю отчаянию, раздиравшему ей сердце.

Наступил пасхальный понедельник. День запялся еще светлее вчерашнего, в росах и голубой дымке, но весь пропизанный солнцем и какой-то удивительно веселый. Птицы пели громче, теплый ветер пробегал по листьям. Люди вставали бодрые, раскрывали настежь окна и двери, выходили поглядеть на зеленые сады, на всю эту землю бескрайнюю в весеннем уборе, в алмазных росах, в радостном блеске солнца, на поля, где уже колыхалась озимь, как желтоватая, подернутая рябью река, разливаясь до самых хат.

Все умывались на крылечках, перекрикивались через сады. Из труб уже вился дым, ржали лошади в конюшнях, скрипели веревы, у озера набирали воду, шел скот на водопой, кричали гуси. А когда ударили в колокола и мощные их голоса загудели, разлились по всей деревне, по полям, по далеким лесам, еще громче зазвучали голоса людей, еще живее и радостнее забились сердца.

Мальчишки уже бегали с самодельными насосами и справляли обычай обливания. Прячась за деревьями у озера, обливали не только прохожих, но и каждого, кто переступал порог избы, так что степы все были мокрые и у домов серебрились лужи.



Забурлило на всех улицах и дворах,— шум, хохот, беготня усиливались, потому что и девушки припяти участие в забаве. Они гонялись друг за дружкой по садам, а так как между ними было много и взрослых, то мальчишкам от них доставалось порядком. До того расшалились девушки, что на Ясека Недотепу, который с пожарной кишкой подстерегал Настку, напали дочери Бальцерка, всего облили да еще для потехи столкнули в озеро.

Потерпев такое позорное поражение и к тому же еще от девушек, разозленный Ясек призвал на помощь Петрика, работника Борыны, и оба устроили засаду Настке, да так ловко, что она сразу попалась им в лапы. Они потащили ее к колодцу и здорово искупали, а она вопила благим матом. Потом, в компании с Витеком, Ендрекон Гульбасом и несколькими мальчишками постарше, поймали Марысю Бальцеркову и задали ей такую баню, что мать с палкой прилетела ее выручать. Потом подкараулили где-то у плетня Ягпу и ее облили. Даже Юзьку не пощадили, как она ни молила, и она с ревом побежала жаловаться Ганке.

— Жалуетея, а сама довольна, глаза так и блестят!

— И на мне, окаянные, все до нитки промочили! — весело говорила Ягустинка, вбежав в избу.

— Разве эти сорванцы кого-нибудь пропустят! — негодовала Юзя, переодеваясь во все сухое, но все-таки не утерпела, вышла на крыльцо, потому что улица так и гудела от криков и топота. Мальчишки совсем ошалели, ходили толпой, загоняя всех, кто попадется, под свои насосы, и пришлось в конце концов солтысу разгонять озорников, потому что никто не мог носа высунуть из хаты.

— Тебе, видно, нездоровится после вчерашнего? — тихо спросила у Ганки Ягустинка, сушившая мокрую спину перед огнем.

— Да, шевелится он во мне и все толкается... И мутит меня что-то...

— А ты ляг! Надо бы чебреца настоять и выпить. Растрясло тебя вчера! — сокрушалась Ягустинка, по как только запахло жареной колбасой, она села вместе с другими завтракать, жадно высматривая себе кусок побольше.

— Поешь и ты, хозяйка, голодом здоровья не поправишь.

— Нет, меня от мяса воротит. Я чаю себе заварю.

— Что ж, пополоскать кишки чаем хорошо, а еще бы лучше вскипятить водочки с салом и кореньями, скорее бы полегчало.

— Еще бы, этакое лекарство мертвого па ноги поставит! — рассмеялся Петрик. Он сидел около Ягуси, смотрел ей в глаза, услужливо подавая все, па что она только ни взглянет, и часто заговаривал с пей. Но так как Ягуся отвечала неохотно, он стал расспрашивать Ягустинку о Матеуше, о Стахе Плошке и других.

— Всех видела, всех! Сидят они вместе, а хоромы у них прямо панские — высокие, светлые, с полами, только окна-то железной паутиной затканы, чтобы им прогуляться не вздумалось. А кормят тоже нехудо. Принесли па обед гороховый суп, я попробовала: словно на старом сапоге сварен, а заправлен колесной мазью. На второе подали кашенную кашу... Ну и каша! Лапа бы ее и пе понюхал! Приходится им на свои деньги кормиться, а у кого денег нет, приправит казенные харчи молитвой и ест! — рассказывала Ягустинка, паяспичая, как всегда.

— А скоро их начнут выпускать?

— Говорят, что уже на фоминной некоторые вернутся! — сказала Ягустинка, попизив голос и тревожно оглянувшись на Ганку. Ягну точно ветром сорвало с места, она убежала из компаты, пе докопчив завтрака. А старуха заговорила о Козловой.

— Поздно она вернулась и пи с чем, только и пользы, что порастрясло ее в телеге после колбас да па усадьбу полюбовалась — говорят, она почище будет, чем мужицкая хата! Помещик объявил, что никому помочь не может, что это дело комиссара, а если бы даже мог, так и тогда не стал бы хлопотать ни за одного липецкого мужика, потому что из-за них он больше всех пострадал. Ведь лес-то ему продавать запретили, и теперь купцы его по судам таскают... Ругался, говорят, отчаянно и кричал, что коли ему из-за мужиков придется с сумой ходить, так пускай вся деревня пропадает! Козлова уже с утра с этими новостями по хатам бегают и грозитя помещику отомстить.

— Дурища, что она может ему сделать?

— Эх, милые вы мои, всякое бывает! Иной раз и самый маленький человек... — Она пе договорила и бросилась к Ганке, которая в эту минуту покачнулась и прислонилась к степе, чтобы пе упасть.

— Господи помилуй! Как бы это с тобой раньше времени не приключилось! — прошептала она в испуге и подтащила Ганку к кровати.

Ганка лежала в полуобмороке, едва дыша, пот крупными каплями выступил па ее лице, покрытом желтыми

пятнами. Старуха терла ей уксусом виски, но только когда она приложила к поздырям хрен, Ганка очнулась и открыла глаза.

Разошлись каждый к своей работе, в избе остался только Витек. Улучив минуту, он стал просить хозяйку, чтобы она отпустила его на гулянку с петухом.

— Ступай, только одежды смотри не порти и не озорничай. Собак привяжи, чтобы они не убежали за вами в другую деревню! Когда пойдете?

— Сейчас же после обедни.

Ягустинка заглянула со двора в окно и спросила:

— А где же собаки, Витек? Я вышла их покормить, кликала — ни одна не прибежала!

— Правда, их ведь и утром в хлеву не было! Лапа! Кручек! — закричал Витек, выбежав на крыльцо, но собаки не отзывались.

— Наверное, на деревню убежали! — объяснил он.

Отсутствие собак во дворе никого не беспокоило — в этом не было ничего необычного. Только через некоторое время Юзья услышала где-то, как будто во дворе, глухой визг, но никого там не нашла и побежала в сад, решив, что это Витек расправляется с забежавшей чужой собакой. К ее удивлению, и в саду никого не было, да и визг уже утих. Но возвращаясь из сада, она паткнулась на Кручека. Он лежал мертвый, с разбитым черепом, под задней стеной дома.

Юзя подняла такой крик, что все сбежались.

— Кручека убили! Должно быть, воры!

Тревога охватила всех.

— Не иначе как воры тут побывали! Во имя отца и сына! — вскрикнула Ягустинка, заметив вдруг кучу вырытой земли и глубокую яму под опорными бревнами избы.

— Подкопались под отцовский чулан!

— А яма какая — на лошади можно въехать!

— И в пей полным-полно зерна!

— Ой, а может, там еще сидят разбойники! — взвизгнула Юзя.

Кинулись все на половину Борыны. Ягуси дома не было, а старик лежал лицом к двери. В чулане, всегда темном, было светло — свет пропикал через дыру в полу, — и все сразу увидели, что здесь все перемешано, как в похлебке горох с капустой. Зерно из бочек было высыпано на пол. Тут же валялась одежда, сброшенная с жердей, и

даже мотки пряжи и шерсти лежали раздерганые и спутанные.

С первого взгляда невозможно было определить, чего не хватало. Но Ганка сразу сообразила, что это дело рук кузнеца, и ее даже в жар бросило при мысли, что, опоздай она на один день, он пашел бы деньги. Она нагнулась над ямой, скрывая от окружающих свою радость и что-то нащупывая за пазухой.

— А в хлеву-то все ли цело? — промолвила она, испуганная внезапным подозрением.

К счастью, там все оказалось на месте.

— Двери были хорошо заперты! — сказал Петрик и вдруг, подбежав к яме, где хранился картофель, отвалил от отверстия большую колоду и вытащил жалобно скулившего Лапу.

— Ясное дело — его туда воры бросили. Но странно... Собака злая, а подпустила их к себе!..

— И никто ночью не слышал лая!

О подкопе дали знать солтысу, новость мигом распространилась по всей деревне, и люди летели со всех ног посмотреть, поахать, обсудить подробности. Сад наполнился народом, давка была такая, как перед исповедальней, каждый обязательно просовывал голову в яму, высказывал свои соображения и внимательно осматривал убитого Кручека.

Появился Рох, успокоил плакавшую Юзю, которая каждому отдельно рассказывала, как все было, и пошел к Ганке — она уже опять лежала в постели, но казалась до странности спокойной.

— А я боялся, что ты примешь это близко к сердцу, — шачал Рох.

— Да ведь вор ничего, слава богу, не взял... Опоздал! — добавила она тихо.

— А ты подозреваешь кого-нибудь?

— Голову даю на отсечение, что это кузнец.

— Так он, видно, заранее что-то высмотрел, да за тем и охотился?

— Да... Только проворонил он свое счастье! Я одному вам это говорю...

— И хорошо делаешь... С поличным не пойман, свидетелей нет... Ох, ох, на что только не идет человек ради денег!

— Вы даже Антеку не проговоритесь! — попросила Ганка.

— Ты знаешь, что я не болтлив... Убить человека легче, чем родить... Да, я подозревал, что кузнец ловкач и плут, но не думал, что он на такую штуку способен!

— Он и на худшее способен. Я его хорошо знаю...

Пришли войт и солтыс, стали делать подробный осмотр и допрашивать Юзьку.

— Если бы Козел не сидел в остроге, я бы подумал, что это его дельце! — сказал войт вполголоса.

— Тсс, Петр, Козлова сюда идет! — Солтыс дернул его за рукав.

— И как это воры ничего не унесли? Спугнули их, должно быть.

— Надо стражникам дать знать... Эх! Не было печали, так черти накачали! И праздник не дадут спокойно провести!..

Солтыс вдруг нагнулся и поднял с земли окровавленный железный прут.

— Вот чем пришибли вашего Кручека!

Железо переходило из рук в руки.

— Из таких прутьев зубья для бороны куют.

— Его могли украсть у Михала из кузницы.

— Нет, кузница с самой пятницы на запоре.

— Надо у кузнеца спросить, не пропал ли у него прут.

— А может, они его с собой принесли? Кузнеца дома нет. Мы с солтысом без вас знаем, что надо делать! — отрезал войт и крикнул в толпу, чтобы не болтались тут попусту, а расходились по домам.

Никто его не боялся, но так как пора было идти в костел, — из других деревень уже шли люди, и все чаще грохотали по мосту телеги, — толпа скоро разошлась.

А когда все ушли, в сад припелся Былица и стал осматривать свою убитую собаку, пробовал ее расшевелить и тихо говорил ей что-то.

Дом тоже опустел, все отправились в костел, кроме Ганки, которая лежала в постели. Она шепотом твердила одну молитву за другой, но мысли ее были заняты Антеком. Когда старик увел детей на улицу и в доме наступила тишина, она крепко уснула.

Уже и полдень подошел, хорошо разогретый солнцем и такой тихий, что пение из костела разносилось по всей деревне. Уже прозвонили перед вознесением чаши, а Ганка все спала. Разбудил ее только грохот телег, скакавших по ухабам; по обычаю, на второй день пасхи крестьяне,

разъезжаясь после обедни в костеле, состязались, кто первый доскачет до своего дома. Сквозь просветы между деревьями так и мелькали телеги, битком набитые людьми, и лошади, нещадно подгоняемые кнутами. Несся вихрь криков и смеха, и от топота тряслась изба.

Ганка хотела было встать и поглядеть на это зрелище, но вернулись из костела все домашние, и Ягустинка, разогревая обед, начала рассказывать, что сегодня в костел пришло очень много народу, так что и половина не поместилась внутри, что съехались все помещики с семьями, что после обедни ксендз созвал в ризницу богатых и о чем-то долго с ними толковал. А Юзя подробно описывала, как были одеты помещицы и их дочери.

— Знаешь, у паненок из Воли такие сзади гузки — ни дать ни взять индюки, когда они хвосты распускают!

— Они сено или тряпки в этом месте подкладывают, — пояснила Ягустинка.

— А в поясе тонкие, как осы, кнутом их, кажется, перешибешь! И животов совсем нет — не понять, куда они их девают? Я близко присмотрелась...

— Куда девают? Да под корсеты убирают. Рассказывала мне одна дворовая — она в модницкой усадьбе в горничных служила, — как панны голодом себя морят и на ночь поясами стягиваются, чтобы не растолстеть. Такая у господ мода, чтобы каждая женщина была тоненькая, как жердочка, а зад чтоб пышный был.

— В деревне не так, у нас парня над худыми смеются.

— А как же! Девка должна быть круглая, как репа, и горячая, как печь, — сказал Петрик, не отрывая глаз от Ягустинки, снимавшей горшки с очага.

— Ишь чучело, выгулялся, нажрался мяса, так теперь вот на что уже облизывается! — вознегодовала Ягустинка.

Петрик, не смутившись, хотел добавить еще что-то скормное, но пришла Доминикова осмотреть Ганку, и его прогнали из комнаты.

Обедали на крыльце, потому что день был теплый и солнечный. Молодые листья зелеными бабочками трепетали на ветвях, а из сада доходил птичий гомон.

Доминикова запретила Ганке вставать, и когда после обеда пришла Веронка с детьми, к кровати придвинули стол, Юзя подала всякую снедь и бутылку горелки с медом, и Ганка, хотя и через силу, стала, как полагается гостеприимной хозяйке, потчевать сестру и соседок, которые приходили выразить ей сочувствие. Гости попивали

горелку, деликатно пощипывали сладкий пирог и рассказывали всякую всячину, а главное — обсуждали подробности подкопа.

Остальные члены семейства грелись на солнышке перед домом и разговаривали с людьми, которые все приходили в сад посмотреть на яму, еще не заваленную, так как войт запретил трогать ее до приезда писаря и стражников.

Ягустинка — бог знает в который раз! — рассказывала о случившемся, когда со двора повалили на улицу мальчики с петухом. Предводительствовал ими Витек, одетый франтом, — на этот раз даже в башмаках и в картузе Борыны, лихо сдвинутом набекрень, — а рядом шли Мацюсь Клемб, Ендрек Гульбас, Куба, сын криворотого Гжели, и другие подростки. У всех были в руках палки, через плечо висели сумки, а Витек нес под мышкой скрипку Петрика.

Они торжественно вышли на улицу и первым делом правились к ксендзу, как это делали в прежние годы взрослые парни. Смело вошли они в сад плебаниц, выстроились в ряд и поставили впереди петуха. Витек заиграл на скрипке, Ендрек заставил птицу плясать и сам запел петухом, а все остальные, стуча палками и погами, запели хором:

Мы славим Иисуса
И деву Марию,
Угостите же нас,
Хозяева дорогие!

Они пели долго, все смелее и громче, пока наконец ксендз не вышел к ним, дал всем по пятаку, полюбовался петушком и милостиво отпустил их.

Витек весь вспотел от страха — боялся, как бы ксендз не заговорил с ним об аисте. Но ксендз, видно, его не узнал среди других мальчиков и, уйдя в компаты, выслал им еще через служанку превкусного сладкого пирога, за что они съели ему еще раз и пошли к органисту.

И так они ходили из дома в дом, окруженные гурьбой ребятишек, которые шумели и толкались. Приходилось все время охранять от них петушка — каждому хотелось потрогать его перышки, дернуть за палочку, приводившую его в движение.

Вел эту буйную ватагу Витек. Он зорко следил за всем, ногой давал знак начинать и дирижировал смычком, указывая, когда брать ноту повыше, когда пониже. Ему же передавали все полученные от хозяев дары.

Они расхаживали по улицам торжественно и шумно, и по всей деревне слышны были их песни и звуки скрипки, а люди дивились: этакие малыши, от земли не видать, а все у них выходит, как у взрослых парней.

Время близилось к закату, румяное солнце было уже над лесом, а по голубому небу разбежались белые облачка, как несметное стадо гусей. Иногда пролетал ветер и качал ржавые верхушки тополей. А в деревне становилось вселюднее и шумнее. Старики, беседуя, сидели на порогах. Девушки веселились у озера, заводили песни или, обнявшись, гуляли по берегу. Яркие юбки их мелькали, как маки и настурции, меж деревьев и отражались в зеркальной глади. Дети бегали за процессией «христовославцев», а некоторые ушли межами в поле.

Уже звонили к вечерне, когда толстуха Плошкова вошла к Ганке, сначала навестив Боряну.

— Была я у вашего больного. Господи! Все лежит, как лежал... Он на меня даже и не взглянул... Солнце светит на постель, а он, как дитя малое, его руками ловит, загребает! Что с человеком стало — просто хоть плачь! — говорила она, садясь у кровати. Но несмотря на огорчение, выпила, как другие, и потянулась за пирогом. — Что, он теперь побольше есть стал? Мне показалось, словно бы он немного пополнил.

— Да, ест хорошо. Может, еще поправится.

— Хлопцы пошли с петухом в Волю! — затараторила Юзья, влетая в комнату, но, увидев гостью, тотчас ушла на крыльцо к Ягусе.

— Юзя, пора коров доить! — крикнула ей вдогонку Ганка.

— Верно, праздник праздником, а дело своим чередом... Приходили и ко мне с петушком... А ваш Витек молодец! И по глазам видно, что славный парнишка.

— На проказы он великий мастер, а к работе придется палкой гнать.

— Эх, голубка, с работниками везде одно горе! Вон и мельничиха мне жаловалась на своих девок: и полугода ли одной продержат нелзя.

— У них там девки быстро обзаводятся ребятишками. Свежий хлеб, что ли, помогает?

— Хлеб своим чередом, а помогает больше работник. Да и сынок — тот, что учится, — нет-нет домой заглянет... Говорят, и сам мельник не промах, ни одной не пропустит. Оттого-то мельничихе и не удастся держать девку целый

год. Правда, и работники обнаглели... Вот я подпаска напаяла, потому что мальчишек у нас нет, так он меня ни в грош не ставит и требует на ужин молока! Слыханное ли дело!

— И у меня работник есть, знаю, как они привередничают. А приходится все терпеть, не то возьмет да уйдет в самую страду, как же я без него в таком хозяйстве?

— Смотрите, как бы только его у вас не смапили, — сказала Плошкова потише.

— А что? Вы разве слышали что-нибудь? — всполошилась Гапка.

— Дошло до меня стороной... Может, и брешут, так зачем я буду повторять... Ой, да что же это я, болтаю, болтаю и забыла совсем, зачем пришла! Обещали сегодня у меня собраться соседки, наговоримся хоть, горемычные! Приходите и вы. Первейшие хозяйки соберутся, так без Бoryповой нельзя! — льстиво добавила Плошкова. Но Гапка отговорилаcь нездоровьем.

Плошкова, очень недовольная отказом, пошла приглашать Ягну.

Но и Ягуся отказала — они с матерью уже обещали пойти в другое место.

— Пошла бы ты, Ягна, право! Ведь скучно тебе без мужиков, а к Плошковой, паверно, Амброжий или кто из стариков заглянет, полюбезничают с тобой, — шепнула Ягустинка с порога.

— А вы все свое, словом, как ножом, режете!

— Мне весело, вот я и желаю всякому того, чего ему нужно! — ехидно ответила Ягустинка.

Ягусю передернуло от злости. Она вышла на улицу, беспомощно оглядываясь по сторонам и еле удерживая слезы. Правду сказала Ягустинка: ей было ужасно скучно. Ей не было легче оттого, что во всем чувствовался праздник, люди гуляли компаниями, смех и крик летели по всей деревне и даже на серых полях нестрелы женские платья и звепели песни. Ей было тоскливо, уж просто стало невмоготу. С самого утра ее сегодня что-то мучило, не давало покоя, и она ходила по знакомым, убегала на дорогу, в поле и даже раза три уже меняла паряды, но ничего не помогало. Все сильнее тянуло ее бежать куда-то, что-то делать, чего-то искать...

Вот и сейчас она забрела далеко, на тополеву дорогу. Шла, глядя на большое красное солнце, заходившее за лес,

шла сквозь тени и полосы яркого света, которые пробивались меж деревьев.

Ее овеивала прохлада в тени, а теплое дыхание полей наполняло блаженным трепетом. От деревни пелся ей вслед постепенно замирающий говор, долетали откуда-то заунывные звуки скрипки и цеплялись за сердце, словно звенящая золотыми росинками паутина, и сердце растворялось в едва слышном шелесте тополей, в сумраке, который уже стлался по бороздам и таился в кустах терновника.

Ягна все шла вперед, не зная, что ее гонит и куда.

Она глубоко вздыхала, порой разводила руками, порой растерянно останавливалась и блуждала вокруг горящими глазами, словно ища, за что ухватиться измученной душе, но опять шла, а мысли сновали, капризные и неуловимые, как светлые блики на воде, которых не поймает, потому что теперь от протянутой руки мгновенно сотрет их. Она невидящим взглядом смотрела на солнце, а ряды тополей, склонявшихся над нею, казались ей туманными призраками прошлого... Она вся ушла в себя и остро чувствовала одно: томит ее что-то до боли, до слез, тянет куда-то вдаль — так, кажется, и уцепилась бы за этих птиц, летящих на запад, и унеслась на край света. Поднималось в ней какое-то властное и мучительное чувство, и слезы туманили глаза, и она вся горела, как в огне; рвала липкие, пахучие почки тополей и охлаждала ими губы и глаза.

Иногда она присаживалась под деревом и, подперев голову руками, задумывалась. Она прижималась к стволу всем телом и тяжело дышала. Казалось, и в ней что-то просыпалось, как просыпается весной лежащая под паром плодородная земля, пело, как поют деревья, опьяненные мощью роста, ширилось и распрямлялось, как распрямляется все, пригретое первым солнцем.

Она вся дрожала, слезы жгли ей веки, усталые ноги подламывались и с трудом несли ее. Хотелось плакать и петь, валяться на молодых всходах, осыпанных жемчугами холодной росы. Порой ее охватывало шальное желание прыгнуть в кусты терновника, продираться сквозь их колючую чащу и чувствовать дикую, сладкую боль борьбы и преодоления.

Она вдруг повернула обратно и, услышав звуки скрипки, побежала быстрее. Эти звуки наполняли ее безумным упоением, кружили голову. Эх, так бы и пустилась и шлепая, ринулась бы в толчею шумной корчмы, в разгул, шашничество, пусть даже на погибель!..

По тропинке от кладбища к тополевой дороге, залитой алым светом вечерней зари, шел кто-то с книжкой в руке, останавливаясь по временам под белыми березами.

Это был Ясь, сын органиста.

Ягуся хотела тайком посмотреть на него из-за дерева, но он сразу ее заметил.

А у нее ноги словно приросли к земле, она не могла убежать и не могла отвести от него глаз. Ясь подходил все ближе, улыбаясь, зубы его сверкали между красных губ. Он был строен, высок и белолиц.

— Что же это, Ягуся, вы меня не узнали?

От звука этого голоса у нее что-то дрогнуло внутри.

— Как не узнать! Только пан Ясь стал теперь совсем другой... И такой щеголь!

— Ну, как же, годы идут... А вы в Буды ходили? В гости?

— Нет, так просто гуляла, праздник ведь пынче... Это молитвенник? — Она робко дотронулась до книги в его руке.

— Нет, тут про дальние края и моря рассказывается.

— Инсусе! Про моря! И картинки тоже не божественные?

— А вы сами посмотрите! — Он раскрыл перед глазами Ягуси книгу и стал ее перелистывать.

Они стояли рядом, плечо к плечу, невольно прижимаясь друг к другу, их склоненные над книгой головы соприкасались. Когда Ясь объяснял что-нибудь, Ягна поднимала на него глаза, полные восхищения, и, не смея дышать, наклонялась к нему все ближе, чтобы лучше видеть картинки.

Ясь вдруг вздрогнул и немного отодвинулся.

— Смеркается, пора домой! — сказал он шепотом.

— Так пойдете!

Они шли молча, укрытые тенями деревьев. Солнце зашло, и голубоватый сумрак падал на поля. Закат сегодня не окрасил неба, оно только слабо золотилось за толстыми стволами тополей. День угасал.

— И все, что здесь нарисовано, на самом деле так? — спросила Ягуся, останавливаясь.

— Все, Ягуся, все так и есть.

— Господи! Неужто есть на свете такие воды большие, такие земли? Поверить трудно!

— Есть, Ягуся, есть!

Ясь говорил все тише, заглядывая ей в глаза так близ-

ко, что она сдерживала дыхание. Дрожь пробежала по ее телу, она подалась грудью вперед и ждала, что он обнимет ее. Но Ясь торопливо отодвинулся.

— Мне пора... Покойной ночи, Ягуся! — бросил он и быстро пошел вперед.

А она долго еще стояла не двигаясь.

«Приворожил он меня, что ли?» — думала она, медленно возвращаясь домой. Она как-то отяжелела, в голове стоял туман, тело налилось истомой.

Наступал вечер, в окнах загорелись огоньки, из корчмы слышны были музыка и приглушенный говор.

Она заглянула в окно ярко освещенной корчмы: посреди комнаты стоял пан Яцек и играл на скрипке, а у стойки качался пьяный Амброжий и что-то громко рассказывал бабам, часто протягивая руку к рюмке.

Вдруг кто-то крепко обнял Ягну сзади. Она вскрикнула и стала вырываться.

— Ага, попалась! Теперь не отпущу. Выпьем с тобой пойдем! — шептал войт, не размыкая рук, и потащил ее через боковую дверь в каморку за перегородкой.

Никто их не увидел, так как уже темно и улица была пустынна.

Тише стало в деревне, смолкал говор, пустели дворы, люди расходились по домам. Кончался праздник, дни сладкого отдыха. Будни стояли у порога, скалили в темноте острые зубы, и не одно сердце снова щемил страх и осаждали заботы.

Понахмурилась, примолкла деревня, крепче прижавшись к земле, прячась в безмолвные сады. Еще кое-где на завалинках сидели люди, доедая остатки пасхальной снеди и тихо разговаривая. А другие ложились уже спать и пели молитвы.

Только у Плошков было ещелюдно и шумно. Здесь собрались соседки и, рассевшись на скамьях, чинно беседовали. На первом месте — жена войта, рядом с нею Бальцеркова. Была здесь и сухонькая Сикора, и крикливая Борына, двоюродная сестра Мацея, была и жена кузнеца с грудным ребенком, занятая разговором с тихой и набожной женой солтыса. Пришли и другие почтенные хозяйки.

Сидели, важные и надутые, как наседки на яйцах, в парадных пышных юбках, в платках, по липецкой моде спущенных до половины спины, в огромных, как колеса, белоснежных чепцах с оборками и высоких, до ушей, плетеных воротничках, поверх которых каждая навесила все

свои кораллы. Женщины развлекались вовсю, их лица все больше багровели и спяли довольством. Они старательно расправляли юбки, чтобы не смялись, подсаживались поближе одна к другой и шептались, перемывая косточки знакомым.

Когда ввалился кузнец, объявив, что он прямо из города, стало еще веселее. Кузнец был шутник, каких мало, а так как он сейчас был еще и под хмельком, то врал так забавно, что бабы покатывались со смеху. Он смеялся громче всех, хохот его слышен был даже у Борын.

Долго шло у них веселье. Плошкова раза три посылала в корчму за водкой.

А у Борын все еще сидели на крыльце. Даже Ганка встала с постели и, кутаясь в тулуп, потому что после заката похолодало, под села к остальным.

Пока было светло, Рох читал им вслух. Несколько раз Ганка, вглядываясь в даль, тихо приказывала Юзе:

— Выгляни-ка на дорогу!

Но на дороге никого не было, и Рох продолжал читать. А когда стемнело, стал рассказывать всякие истории. Слушали его с напряженным вниманием. Мрак укрывал их, фигуры едва выделялись на фоне белой стены. Наступала ночь, холодная и беззвездная. В глубокой тишине слышно было только, как шумит где-то вода да ворчат собаки.

Все сблизь в кучу. Настуся, Юзя, Веронка с детьми, Ягустинка, Клембова и Петрик сидели на ступеньках у ног Роха, а Ганка немного в стороне, на камне.

Рох рассказывал им о прошлом польского народа, о всяких чудесах, какие бывают на свете. Как только он мог все это узнать и запомнить!

Они слушали его затаив дыхание, не смея шелохнуться, жадно вбирая в себя каждое слово, как высохшая земля пьет теплый обильный дождь. А он, не видный в темноте, говорил торжественно и тихо:

— После зимы приходит весна для всех, кто ее ожидает и в трудах готовится к ней.

Надейтесь, ибо обиженные восторжествуют.

Жертвенной кровью и трудом надо засеять ниву счастья человеческого, и кто засеял, у того взойдет и наступит для него пора жатвы!

А кто печется о хлебе насущном, не сядет за трапезу господню.

Кто только ропщет на зло, а добра не творит, тот умножает зло.

Он говорил долго, все тише и печальнее, и когда мрак совсем скрыл его, то чудилось, будто это голос земли или будто умершие поколения Борын из этих старых стен, склоненных деревьев, из густого мрака ночи говорят со своими потомками, поучая и предостерегая их.

И души живых внимали этим словам, как благовесту, и томилась мечтой о непостижимом чуде.

Никто из них даже не услышал, что по всей деревне залаяли собаки, что на дороге кто-то вопит и бегут люди.

— Подлесье горит! — крикнул чей-то голос за садом.

Все выбежали за ворота. Это была правда: горели постройки на помещичьем хуторе Подлесье и пламя кровавыми кустами взвивалось в темноте.

— Вот слово и стало плотью! — пробормотала Ягустинка, вспомнив Козлову.

— Вот она, кара божья!

— Это за нашу обиду! — скрещивались голоса в темноте.

Каждую минуту хлопали двери, и полуодетые люди выбегали на улицу. На мосту перед мельницей, откуда пожар был хорошо виден, толпа все росла и скоро там собралась вся деревня.

Пожар усиливался с каждой минутой. Хутор стоял на холме у леса, и потому, несмотря на расстояние в несколько верст, в Липцах вся картина видна была, как на ладони. Черную стену леса лизали огненные языки, летели вверх кровавые клубящиеся тучи. Ветра не было, и огонь поднимался все выше, строения пылали, как смолистые щепки, черный дым валил столбами, и зарево огненной рекой разливалось во мраке и полыхало уже высоко над лесом.

Вдруг жуткий рев прорезал воздух.

— Волыны стойла горят! Немного они скота спасут, — ведь там только одна дверь!

— Стога загорелись!

— И амбары уже в огне! — тревожно кричали в толпе.

Прибежали ксендз, кузнец, солтыс. Позже явился откуда-то и войт, мертвецки пьяный, так что едва держался на ногах, и тотчас начал гнать людей на помощь в усадьбу.

Но никто туда не спешил. Злобный ропот раздался в толпе:

— Пусть выпустят из острога наших мужиков, так они побегут спасать.

Не помогли ни брань, ни угрозы, ни слезные мольбы ксендза; люди не двигались с места и угрюмо смотрели на пожар.

— Сукины вы сыны! Холуй панские! — крикнула жена Кобуса, грозя кулаком кузнецу и войту.

И только они оба да солтыс поехали в Подлесье, да и то с пустыми руками — ни ведер, ни багров бабы им не дали.

— Палками того, кто с места тронется! Убьем стервецов! — визжали они хором.

Вся деревня высыпала на улицу, даже самых малых ребят, ревавших благим матом, матери тут же укачивали на руках.

Теснились в угрюмом молчании, — редко кто бросал слово, да и то шепотом, — жадно смотрели на пожар и вздыхали. И в каждом сердце росла глубоко затаенная радость: они верили, что это за них помещик наказан богом.

Горело до поздней ночи, но в Липцах никто не уходил домой, стояли и терпеливо ожидали, пока все кончится. Уже над хутором бушевало сплошное море пламени и волнами вздымалось к небу. Горящая солома и дранка с крыш падали кровавым дождем. Зарево, огненным пологом развеваясь в темноте, румянило вершины деревьев и крышу мельницы, а озеро было словно осыпано розовым жаром из печи.

Грохот телег, крики, рев животных доносились с Подлесья, аловещий ужас уничтожения, казалось, реял в воздухе, а в Липцах толпа все стояла живой стеной, словно выросла в землю, теша глаза и души мстью.

От корчмы долетал хриплый голос пьяного Амброжия. Он пел:

Эх, Марысь, моя Марысь!
Доброе пиво ты варишь!

VI

Услышав такую необычайную новость, Ганка даже приподнялась с постели, но Ягустинка вовремя удержала ее и силой уложила обратно на подушки.

— Лежи, лежи, нигде не горит!

— Ты слышала, что он сказал? Да уж не помутилось ли у него в голове? Смочите себе голову святой водой, отец, авось дурь пройдет.

— Нет, Ганусь, я в своем уме и сказал тебе истинную правду: пан Яцек со вчерашнего дня живет у меня,— сказал Былица, собираясь чихнуть после солидной понюшки табаку.

— Видно, уж совсем одурел!.. Погляди, не идут ли? Заморят мне голодом ребенка!

— На дороге никого не видать,— доложила через минуту Ягустинка и, снова принимаясь за прерванную уборку, стала посыпать пол песком.

Старик чихнул несколько раз подряд да так сильно, что даже присел на лавку.

— Трубите, как на городском базаре!

— Табак крепкий, Ганусь, это пан Яцек мне дал... Целую пачку!

Было еще рано, в окно смотрело яркое, теплое солнце, деревья в саду качались от ветра, в открытую дверь лезли из сеней изогнутые гусиные шеи и красные шипящие клювы, и целая стая перепачкавшихся в грязи гусенят с писком карабкались на высокий порог. Вдруг где-то заворчала собака, и старые гуси подняли крик, а сидевшие на яйцах наседки испуганно заклохтели и стали разбегаться.

— Вы бы их хоть в сад прогнали, пусть траву пощиплют.

— Сейчас выгоню, Ганусь, и от ворона постерегу...

В избе наступила тишина, и только шум ветвей долетал сюда из сада да слабо колыхались бумажные украшения под закопченным потолком.

— Что там хлопцы делают? — спросила Ганка после долгого молчания.

— Петрик пашет картофельное поле под горкой, а Витек на мерине поехал боронить полосу под лен в Свином овражке.

— Мокро там еще?

— Мокро, башмаки целиком вязнут, но после бороньбы скорее просохнет.

— К тому времени, как земля нагреется и можно будет сеять, я, пожалуй, уже встану.

— Ты здоровье сейчас побереги, а работа от тебя пикуда не уйдет.

— Что, коровы выдоены?

— Да, я сама доила, потому что Ягуся оставила у хлева подойник и куда-то ушла.

— Вечно она бежит по деревне, как бродячая собака, никакой помощи от нее в доме!.. Вот что, Ягустипка, скажи Кобусихе, что я ей гряды под капусту дам и Петрик свезет ей навоз в поле и запашет, только с тем, чтобы она отработала мне потом, по четыре дня за грядку. Половину отработает, когда картошку сажать будем, а остальное в жатву.

— Козлова тоже проспала полосу под лен за отработку.

— Ну, эта нарабатывает, сколько кот заплачет! Пусть у других поищет. Прошлым летом она по всей деревне верещала, что Мацей ее обидел!

— Как хочешь, твоя земля, твоя и воля! Еще Филипка заходила вчера, когда ты рожала... Просила картошки.

— За деньги?

— Нет, отработает. У них днем с огнем гроша медного не сыщешь, с голоду умирают.

— Сейчас пусть возьмет полкорца, а если еще понадобится, так дам уже после посадки, потому что не знаю, сколько у нас останется. Вот Юзька придет и отмерит ей... Хотя знаю я, какая Филипка работница: только бы работу с рук сбыть...

— Да где же ей сил взять? Недоедает, недосыпает и каждый год рождает.

— Господи Иисусе, как маются люди!.. Урожай еще за горами, а нужда на пороге!

— Как же, на пороге! Давно в хатах сидит! Людям с голоду животы подводит, еле живы.

— Ты свинью выпустила?

— Да, она у степи лежит. А поросята славные, кругленькие, как булочки.

В дверях появился Былица.

— Гусей я под крыжовником оставил... Приходит это ко мне пан Ядек в праздник и говорит: «Переберусь я к вам жить, Былица, и хорошо платить буду». Я подумал: «Смеется он над мужиком, как водится у панов», и говорю ему тоже в шутку: «Что ж, деньги мне нужны и свободные комнаты в моей квартире есть!» А он засмеялся, дал мне пачку табаку, осмотрел пазу и говорит: «Если вы тут можете жить, так и я проживу, а пазу мы поменьше в такой порядок приведем, что она за усадьбу сойдет».

— Ай-ай, такой шляхтич, помещиков брат! — удивлялась старуха.

— Постлал себе постель в сенях рядом с моей и живет; когда я уходил, он на пороге папироску курил и воробьев верном приманивал.

— А есть-то что будет?

— Принес котелки и чай себе кипятит да попивает.

— Неспроста это он! Когда такой знатный пан... Нет! Тут что-то есть!..

— А только то и есть, что совсем с ума спятил! Каждый человек бьется, лучшего ищет, а такой пан по своей воле на худшее пойдет? Не иначе как рехнулся! — сказала Ганка и вытянула голову, прислушиваясь, потому что во дворе раздались голоса.

Это вернулись из костела все, кто был на крестинах. Впереди Юзя под надзором Доминиковой несла новорожденного в подушечке, прикрытой платком, за ними шагали крестные отец и мать — войт и Плошкова, а позади ковылял Амброжий, не поспевая за остальными.

Раньше чем войти, Доминикова взяла ребенка и, перекрестясь, стала по древнему обычаю обходить с ним вокруг дома, останавливаясь у каждого угла и приговаривая:

На востоке — дует,
На севере — холод,
На западе — темень,
На юге — тепло.

А везде берегись нечистого, душа человеческая, и только на бога уповай.

— Смотрите-ка, Доминикова у нас богомолка известная, а как колдует! — смеялся войт.

— Молитва молитвой, но и заговор на всякий случай не помешает, — шепотом сказала Плошкова.

Шумно вошли в комнату. Доминикова распеленала ребенка и голенького, красного, как вареный рак, подала Ганке.

— Приносим тебе, мать, нового христианина, нареченного при святом крещении Рохом! Пусть растет здоровым, тебе на радость.

— И пусть наплодит еще дюжину Рохов! Крепкий паренек; кричал так, что не пришлось и щипать его, когда крестили, а соль как выплевывал — просто смех брал!..

— Потому что он из рода, который водочкой не брезговал, — отозвался Амброжий.

Ребенок на постели пищал и дрыгал ножками. Доминикова вытерла ему водкой глаза, губы и лоб и только

после этого приложила его Ганке к груди. Он присосался, как пьявка, и затих.

Ганка сердечно поблагодарила кума и куму и, целуясь со всеми, извинялась, что крестины не такие, какие бы должны быть в доме Борын.

— Родите в будущем году четвертого, тогда мы дело поправим и свое возьмем! — пошутил войт, отирая усы, так как ему уже подавали рюмку.

— Крестины без отца — что грех без отпущения, — неосторожно брякнул Амброжий.

Ганка расплакалась, и женщины стали ее утешать, обнимать, чокаться с ней. Немного успокоившись, она попросила гостей приниматься за еду, так как яичница с колбасой уже благоухала на столе.

Угощала Ягустинка, а Юзя укачивала ребенка в корыте — у старой колыбели не хватало ножек.

Долго стучали ложки и никто не говорил ни слова.

В сени набились соседские дети, и в дверь то и дело просовывались их головенки. Войт бросил им горсть леденцов, и они, визжа и толкаясь, выбежали на крыльцо.

— Что-то и Амброжий сегодня как воды в рот набрал, — начала Ягустинка.

— А вот спужу и думаю, что малышу-то надо хозяйство готовить и невесту.

— Земля — это уж отцова забота, а невесту кумовья подыщут.

— Этого добра вдоволь — только бери, еще поклоняются тебе да приплатят.

— А войтовой, должно быть, скучно без маленького! Я видела, как она проветривала на плетне одежду своих покойничков.

— Говорят, войт обещал к осени справить крестины!

— Ишь ты! Столько хлопот у человека, на такой ведь должности, а и про это не забывает!

— Скучно в доме без детского крику! — сказал войт серьезно.

— Это верно. Горя с ними немало, да зато и помощь и утеха.

— Да, счастье, нечего сказать! Дорогонько оно обходится! — буркнула Ягустинка.

— Правда, бывают и злые дети, родителей ни в грош не ставят, да ведь яблочко от яблонки недалеко падает. Что посеял, то и пожнешь! — вздохнула Доминикова.

Ягустинка вскипела, понимая, что это камешек в ее огород.

— Легко тебе над другими смеяться, когда у тебя такие сынки славные, — и нарядут, и коров подоят, и горшки перемоют, не хуже любой девки.

— Потому что в послушании и страхе божием воспитаны!

— Ну, как же, сами щеки подставляют — бей! Точь-в-точь, как отец их покойный! А что яблоко от яблони недалеко катится, это ты правильно сказала. Помню, что ты в молодости с парнями разделявала, и не дивлюсь, что Ягуся вся в мать; будь то хоть кол, а если шапку на него напялишь — так ни в чем ему не откажет, такая добрая! — шипела Ягустинка над ухом Домниниковой, а та побледнела и все ниже опускала голову.

Через сени прошла Ягна. Ганка позвала ее и угостила водкой. Она выпила и, ни на кого не глядя, ушла на свою половину.

Разговор не клеился. Войт помрачнел, видя, что Ягуся не возвращается. Он сидел, насторожившись, и, когда она опять появилась в сенях и вышла во двор, украдкой проводил ее глазами.

И женщины не поддерживали разговора; обе старухи мерили друг друга злыми взглядами, а Плоскова шепталась о чем-то с Ганкой. Один Амброжий не расставался с бутылкой и, хотя никто его не слушал, плел какие-то небылицы.

Вдруг войт поднялся и, делая вид, что выходит за дом по нужде, прокрался через сад на задний двор. Ягуся сидела на пороге хлева и поила с пальца пестрого теленка.

Войт, тревожно оглянувшись, сунул ей за корсаж горсть конфет и шепнул:

— На тебе, Ягусь, приходи вечером к Янкелю за перегородку, дам тебе кое-что получше.

И, не дожидаясь ответа, поспешно ушел в дом.

— А славный теленок у вас, дорого за него дадут, — сказал он, расстегивая кафтан.

— Мы его на племя оставим, он от господского быка.

— Вот обрадуется Антек такому приплоду!

— О господи, да когда же он его увидит? Когда?

— Скоро! Вы верьте, когда я вам говорю!

— Да ведь всех со дня па день ждут, а их нет и нет!

— Говорю вам, не нынче-завтра вернутся, уж мне ли не знать!

— Хуже всего, что поля ждать не хотят!
— Страшно и подумать, что будет осенью, если вовремя не засеем!

На улице застучали колеса. Юзя, выглянув, сказала:

— Ксендз с Рохом проехали!

— Это он за церковным вином ездил, — пояснил Амброжий.

— Что же он Роха в помощники взял, а не Доминикову? — съязвила Ягустинка.

Доминикова не успела огрызнуться, как вошел кузнец, и войт с рюмкой шагнул ему навстречу.

— Опоздал ты, Михал, теперь догоняй нас!

— Тебя, кум, я живо догоню — уже там ищут тебя...

Не успел кузнец договорить, как ввалился запыхавшийся солтыс.

— Пойдем-ка, Петр, тебя писарь и стражники дожидаются.

— Вот собачья жизнь, ни минуты покоя! Надо идти, служба...

— А ты их поскорее отправь и вернись.

— Где там, будут допрашивать насчет пожара на Подлесье и вашего подкопа.

Он ушел с солтысом, а Ганка, в упор глядя на кузнеца, сказала:

— Когда придут протокол писать, ты им все расскажи, Михал.

Пощипывая усы, кузнец делал вид, будто рассматривает новорожденного.

— А что же я им могу сказать? То самое, что и Юзька.

— Девчонку к стражникам я не пущу — не дело это! А ты скажи, что из чулана как будто ничего не унесли, а пропало ли что иное — это уж одному богу известно. — Она кашлянула и поправила перину, опустив голову, чтобы скрыть насмешливую улыбку. Кузнец, круто повернувшись, вышел.

— Мошеник окаянный! — с усмешкой пробормотала про себя Ганка.

— Ну и короткие вышли крестины, — жаловался Амброжий, берясь за шапку.

— Юзька, отрежь Амброжью колбасы, пусть он дома крестины допразднует.

— Гусь я, что ли, чтобы сухую колбасу жевать?

— Так и водки себе отлей, только на нас не обижайся.

— Умные люди говорят: отмеряй крупу, когда ее в горшок сыплешь, при работе на пальцы не поглядывай, в гостях рюмочек не считай!..

Не прошло и десяти минут, как солтыс начал обходить избы и звать всех к войту — на допрос к писарю и стражникам.

Плошкова рассердилась и, подбочившись, заорала на него:

— А начхать мне на войтовы приказы! Наше это дело? Звали мы их? Есть у нас время со стражниками возиться! Мы не собаки, чтобы на каждый свист бежать! Пусть сами приходят и допрашивают, если им нужно! Не пойдем!

Она выбежала на улицу к собравшейся там группе перепуганных женщин.

— За работу, кумы, в поле! У кого есть дело к хозяйкам, должен знать, где нас искать. Не дождутся они, чтобы мы по их приказу все бросали и стояли у дверей, как собаки. Пустозвоны оканные! — кричала она в сильнейшем раздражении.

Плошковы были первые после Борыни хозяева в Липцах, и бабы ее послушались. Они разлетелись, как вспугнутые наседки, а так как большинство уже с утра работало в поле, деревня опустела, только дети играли у озера да грелись на солнце старухи.

Писарь, конечно, разозлился и крепко обругал солтыса, но поневоле пришлось идти в поле. Долго он бродил по участкам, расспрашивая людей, что им известно о пожаре в Подлесье, а люди говорили все то, что он и сам знал. Да и кто бы стал выдавать писарю и стражникам то, что думал?

Писарь и его спутники только потеряли время до полудня, набегались по бездорожью, чуть не по пояс увязая в грязь, так как пашни местами были еще очень рыхлые, и все это без пользы.

Сердитые пришли они к Борыне составлять протокол насчет подкопа. Урядник ругался последними словами. На крыльце попался ему Былица, он подскочил к нему, размахивая кулаками, и заорал:

— Ты, морда собачья, чего смотришь? Как дом сторожишь? Почему у тебя воры подкопы делают, а? — Дальше пошла уже матерная ругань.

— Сам смотри, па то ты и поставлен, а я к тебе не занимался, слышишь! — отрезал Былица, задетый за живое.

Тут и писарь гаркнул, чтобы он не смел дерзить, когда говорит с начальством, не то в острог попадет. Старик рассердился не на шутку. Он гордо выпрямился и, грозно сверкая глазами, захрипел:

— А ты что за особа? Обществу служишь, общество тебе платит, так и делай, что тебе войт приказывает, а нас не тронь! Ишь оборванец, писаришка несчастный! Отъелся на наших хлебах и еще людьми тут помыкает! Небось найдется и па тебя управа.

Войт и солтыс бросились его упимать, видя, что он окончательно вышел из себя и трясущимися руками ищет около себя палки.

— Можешь на меня штраф наложить, заплачу и еще на выпивку тебе прибавлю, коли захочу! — кричал Былида.

Они, уже не обращая на него внимания, начали расспрашивать всех в доме о подкопе и подробно все записывать. А старик не мог успокоиться — что-то ворчал себе под нос, ходил вокруг дома, заглядывал во все углы и даже пнул ногой Лапу.

Кончив, писарь и стражники захотели подкрепиться, но Ганка велела им сказать, что на завтрак молока и хлеба не найдется, есть только картошка. И они ушли в корчму, проклиная Липцы на чем свет стоит.

— Хорошо сделала, Гануся, и ничего тебе за это не будет! Господи, даже покойный пан, хоть и право имел, никогда так меня не бесчестил, никогда!

Он долго не мог забыть обиды.

После полудня зашла одна из соседок и рассказала, что «те» все еще сидят в корчме, а солтыс побежал за Козловой.

— Ищи ветра в поле! — фыркнула Ягустинка.

— Опа, должно быть, в лес за хворостом ушла?

— Нет, она в Варшаву вчера уехала, за подкидышами из приюта. Хочет взять на воспитание двоих.

— Чтобы голодом их заморить, как тех, что взяла два года назад!

— Может, оно и лучше для спрот несчастных: не будут целую жизнь мыкаться, как псы бездомные.

— И незаконный ребенок — душа живая! Козлова тяжело ответит перед богом.

— Так ведь не с умыслом она их морит — сама не чаето ест досыта, откуда ей для детей взять?

— За детей этих платят, она не из милости их держит,— сурово возразила Ганка.

— Семь с полтиной в год за каждого! Невелика корысть!

— Невелика, потому что она деньги сразу пропивает, а потом ребятишки с голоду мрут.

— Да ведь не все, вот вырастила же она вашего Витека и того другого, что живет у хозяина в Модлице.

— Ну, Витека Мацей взял совсем малышом, когда он еще в одной рубашонке бегал. Он у нас отъелся. И с тем другим так же было.

— Я Козлову не защищаю, говорю только, что думаю. Приходится бабе искать какого-нибудь заработка, коли есть нечего.

— Ну да, Козла-то нет, некому воровать!

— А с Агатой ей не повезло: старуха, вместо того чтобы помереть, совсем поправилась и ушла от нее. Теперь всем рассказывает, что Козлова каждый день ее пилила, зачем она тянет, не помирает, и ее в убыток вводит.

— Агата, наверное, вернется к Клембам — где же ей больше пристанища искать?

— Нет, не вернется: разобиделась на родню, Клембой-то не хотелось ее отпускать — у старухи и постель есть, и денег, верно, прикоплено немало. Да Агата не осталась. Сундук свой перенесла к солтысу и теперь присматривает местечко, где бы можно было помереть спокойно.

— Ну, авось еще поживет. Теперь она в каждой избе пригодится — гусей попасет или за коровами присмотрит. И куда это Ягна опять запропастилась!

— Должно быть, у органиста — воротник его дочке вышивает.

— Вот нашла время пустяками заниматься, как будто дома мало дела!

— Да она с самой пасхи постоянно там сидит! — ябедничала Юзка.

— Я ее приструню, будет помнить!.. Дай-ка мне малого!

Она взяла ребенка и, как только убрали со стола, разогнала всех работать и осталась одна. Время от времени она прислушивалась, не плачут ли старшие дети, игравшие перед домом под присмотром Былицы. А на другой половине Боруна лежал, как всегда, смотрел на падавшую из окна дрожащую полосу солпечного света и, ловя ее паль-

цами, о чем-то тихо говорил сам с собой, как ребенок, которого оставили одного.

В деревне тоже было пусто; все, кто только ногами двигал, ушли работать в поле.

С самой пасхи стояла хорошая погода, дни становились все светлее и теплее. Они были уже длинные, по утрам туманные, серенькие, к полудню разогревались, а на закате горели алыми зорями, — настоящие весенние дни.

Иные из них текли медленно, напоминая ручейки, сверкающие на солнце, прохладные и прозрачные, что тихо плещутся о пустынные берега, желтые от молочая, или белые от маргариток, или зеленеющие вербамп.

Им на смену приходили дни совсем уже теплые, пронизанные солнцем, благоухавшие свежей зеленью, дни буйного роста, и по вечерам, когда смолкали голоса птиц и деревня засыпала, казалось, что слышишь, как корни прокладывают себе путь в земле, как тянутся вверх стебли, слышишь шорох раскрывающихся почек, рост побегов, голоса всего того, что рождается на свет.

А бывали дни без солнца, в синевато-серой дымке, придавленные низко нависшим небом и брюхатыми тучами. Дни тяжелые, сырые и душные, ударяющие в голову, как водка, так что люди ходили, словно пьяные, деревья судорожно дрожали, и все живое, изнемогая от непонятного томления, рвалось неведомо куда и к чему. В такие дни хотелось плакать, бродить без цели, кататься по мокрой траве, как это делали ошалевшие от весны собаки.

А порой вставали дни, уже с самого рассвета дождливые, будто окутанные серой дерюгой, и не видно было ничего вокруг, ни дорог, ни хат, прятавшихся в мокрые сады. Дождь лил непрерывно, тихо и упорно, как будто с невидимого веретена разматывались дрожащие, ровные, серые нити, связывая небо с землей, и все, покорно пригнувшись, мокло, слушая частый стук капель и плесканье воды, которая белой пеной текла с почерневших полей.

Все было так, как каждый год ранней весной, и никто в деревне не замечал всего этого, некогда было глядеть и задумываться, — рассвет выгонял людей на работу, и только поздние сумерки заставляли уходить с поля, так что они едва успевали дома поесть и немного отдохнуть.

Липцы на весь день пустыли, сторожили их только старики, собаки да еще сады, которые все более густой чащею укрывали хаты. Иногда плелся через деревню нищий, провожаемый собачьим лаем, или проезжал воз на

мельницу — и опять пустели улицы, а безмолвные хаты смотрели горящими на солнце оконцами в широкие поля, безбрежным морем окружавшие деревню. Земля, как мать родная, качала на коленях детей своих и кормила их налитой грудью.

Да, наступили страдные дни, теплые, орошенные дождями, раз даже пошел легкий, как пух, снег и посеребрил поля, но не надолго, солнце быстро его растопило. И неудивительно, что прекратились в деревне всякие перебранки, споры и пересуды, — работа всех запрягла в тяжелое ярмо, пригнула к земле все головы.

С самого рассвета, чуть только росистое утро открывало серые глаза и запевали первые жаворонки, вся деревня была уже на ногах. Начиналась суeta, скрипели ворота, плакали дети, гоготали гуси, которых выгоняли в овражки. Мальчишки поспешно выводили лошадей и волокли плуги, нагружали на телеги картофель, и через несколько минут все выезжали в поле и в деревне становилось пусто и тихо. Даже к ранней обедне почти никто не ходил, и часто орган играл в пустом костеле. Только заслышав звон «сигнатурки», маленького колокола, люди в полях опускались на колени и читали утренние молитвы.

Да, на работу выходили все, но людей в Липцах было так мало, что в поле это было почти незаметно. Только внимательно присмотревшись, можно было увидеть кое-где плуги, лошадей, телегу на меже и баб, которые, словно красные гусеницы, копошились среди простора полей, под высоким ясным небом.

Вокруг, из Рудки, Воли, Модлицы, из всех окрестных деревень, маячивших белыми стенами и верхушками садов в голубой дали, неслись крики, песни, шумные отголоски полевых работ. Насколько хватал глаз, за пограничными буграми видно было, как мужики сеяли, шли за плугом, сажали картофель, а в песчаных местах вилась пыль за боронами.

А липецкие поля лежали немые, грустные, заглохшие, как бесплодные пустыри, подобные засыхающему дереву среди молодого леса. Лежали в сиротливом одиночестве, словно под паром, потому что все женские руки в деревне не могли заменить и десятка мужчин, хотя женщины трудились в поте лица с утра до ночи.

Что они могли сделать одни? Возились с картошкой да льном, а на остальных полях только все громче перекликались куропатки, часто пробегали зайцы, да так смело

и неторопливо, что можно было сосчитать мелькавшие и озими белые спинки. Стаи ворон прыгали по необработанным полосам, лениво раскинувшись на солнце и напрасно оживившим руки пахаря.

Какая польза была людям оттого, что дни стояли чудесные, что солнце вставало каждое утро, как золотая дароносица, омытая в серебряных росах, что все зеленело, благоухало травами, звенело птичьими голосами, что каждый овражек, каждая канавка желтели молочаем, каждая межа переливалась, как лента, расшитая маргаритками, что луга были усеяны розовым пухом цветов, что каждое деревце оделось буйной зеленью, и все в мире дышало весной, и земля словно кипела и клокотала в весеннем своем цветении?

До того ли им было, когда поля лежали невспаханные, незасеянные, как крепкие, здоровые парни, которые только греются на солнце и в безделье теряют неделю за неделей; когда на жаркой, плодородной земле вместо хлебов разрасталась очанка, осот целился в небо, качалась в бороздах лебеда, краснел щавель, густо всходил пырей на осенней зяби, а на жнивье гордо высились стройные стебли царского скипетра и, как бесцеремонные кумушки, широко расселись лопухи; когда все сорняки, что до сих пор робко таились в земле, теперь торжествовали, буйно росли и плодились, лезли из борозд на гряды и полонили пашни!

Даже жутью какой-то веяло от этих заброшенных полей.

Чудилось, будто леса, низко склоненные над перелогам, удивленно перешептываются, ручьи как-то боязливо пробегают по этой пустыне, а терновник, уже осыпанный белыми бутонами, и дикие груши на межах, и пролетавшие птицы, и каждый странник, что забрел сюда с чужой стороны, и даже кресты и статуи, сторожившие дороги,— все озирается в недоумении и спрашивает у ясных дней и пустых полей:

«А куда же девались хозяева? Почему не слышно песен, почему не радуются люди весне?»

И отвечал им только плач женщин, только он говорил о том, что случилось в Липцах.

Дни проходили за днями без всякой перемены к лучшему — напротив, с каждым утром все меньше женщин выходило в поле, так как они едва управлялись с работой, накопившейся дома.

Только у Борын все шло обычным порядком, хотя и медленнее, чем в прошлые годы, и не так ладно, потому что Петрик только еще приучался к полевым работам. Все-таки в рабочих руках недостатка не было, и они кое-как управлялись со всем.

Ганка еще не вставала после родов, но распоряжалась всем толково и так властно, что даже Ягусю заставила вместе с другими приняться за работу. Она помнила обо всем: о скотине, о том, когда надо пахать и где что сеять, о больном свекре, о детях, так как Былица с самых крестин не приходил,— захворал, видно. Целыми днями Ганка лежала одна, людей видела только в обед и вечером, да раз в день навещала ее Доминикова. Из соседок ни одна не показывалась, даже Магда, а о Рохе не было ни слуху ни духу: уехал тогда с ксендзом и пропал. Ей страшно надое-ло лежать, и, чтобы поскорее набраться сил и выздороветь, она не жалела себе сала, яиц, мяса и даже велела зарезать курицу в суп,— правда, курица эта не неслась, но все же копеек тридцать стоила. Зато Ганка поправлялась так быстро, что уже на фоминной встала и решпла идти в костел на «введение»¹. Женщины ее отговаривали, но она никого не послушалась и сразу после обедни в сопровождении Плошковой отправилась в костел.

Она еще нетвердо держалась на ногах и частенько опиралась на куму.

— Так весной пахнет, что у меня даже голова кружится!

— Ничего, через день-другой привыкнешь.

— Всего неделю я пролежала, а кажется, будто месяц прошел — так переменилось все кругом!

— Да, весна на быстром коне скачет, не догонишь ее!

— А зазеленело-то все как, господи!

И правда, сады висели над землей огромной зеленой тучей, только трубы белели да крыши выделялись среди зелени. В чаще ветвей неистово щебетали птицы, от полей тянуло теплым ветром, который трепал бурьян под плетнями, рябил воду в озере.

— Вот какие большие почки на вишнях,— того и гляди зацветут!

— Если только их морозом не хватит, вишни будет много.

¹ Введение — обряд введения в костел женщины в первый раз после родов.

— Говорят же люди: коли хлеб не уродится, так сад пригодится.

— Видно, так оно и будет в Липцах в нынешнем году.... И тому идет! — печально вздохнула Ганка, обводя влажными глазами незасеянные поля.

Они скоро ушли из костела, потому что ребенок раскричался, да и Ганка почувствовала такую усталость, что, придя домой, сразу легла. Однако не успела она отдышаться, как влетел Витек:

— Хозяйка, по деревне цыгане идут!

— Вот не было печали! Зови Петрика и закройте ворота, чтобы они чего не утащили.

Она сильно встревожилась и вышла на крыльцо.

Скоро по деревне рассеялась ватага цыганок, с детьми за спиной, оборванных, растрепанных, черных, как чугуны, и таких надоедливых, что не приведи бог.

Они шлялись повсюду, просили милостыню, предлагали погадать и насильно лезли в избы. Их было не больше десятка, а шум поднялся на всю деревню.

— Юзья, загони кур и гусей во двор, а детей отведи в дом, не то еще украдут их! — приказала Ганка и села на крыльце караулить. Увидев, что одна из цыганок направляется к их воротам, она натравила на нее собаку. Лапа свирепо наскакивал на цыганку, не пускал ее во двор, та погрозила палкой и что-то забормотала.

— Проклинай сколько хочешь, воровка, не боюсь я тебя!

— Не сглазила бы она тебя, если бы ты ее впустила! — язвительно пробормотала Ягна.

— Да зато украла бы что-нибудь! Такую не устережешь! А если тебе хочется, чтобы она тебе поворожила, так беги за ней.

Видно, Ганка угадала тайное желание Ягны, потому что та помчалась на улицу и весь воскресный день ходила за цыганками. Она не могла отделаться от какого-то смутного страха, но любопытство было сильнее, она сто раз возвращалась домой и опять убегала за цыганками. Наконец в сумерки, когда цыганки уже уходили к лесу, она увидела, что одна из них вошла в корчму, и с великим страхом последовала за нею. Беспреданно крестясь, она попросила ее погадать, несмотря на то, что у прилавка толпились люди.

Вечером после ужина собрались у Юзи на крыльце девушки и болтали, рассказывая, что каждой из них нагадала цыганка: Марысе Бальцерковой — свадьбу осенью,

Настке — большое богатство и мужа, Улпсе Сохе — что жених ей изменит, толстухе Веронке Бартковой — болезнь, а солдатке Терезе...

— Незаконного щенка, наверное! — проворчала сидевшая в стороне Ягустинка.

Девушки не обратили на нее внимания, потому что к ним в это время подсел Петрик и стал рассказывать про цыган, будто у них есть свой король, у которого на одежде нашито множество серебряных пуговиц, и так все ему покорны, что стоит ему в шутку приказать кому-нибудь повеситься, тот мигом это исполнит.

— Над всеми ворами король, такую власть имеет, а его собаками травят! — прошептал про себя Витек.

— Собачье племя, нехристи окающиеся! — выбранилась Ягустинка и, подсев ближе, начала рассказывать всей компании, как цыгане крадут детей в деревнях.

— Для того, чтобы дети стали черные, они их кунают в ольховом настое, так что и родная мать их потом не узнает, дети делаются настоящими чертенятами.

— И говорят, будто они знают такие наговоры и заколдовать могут так, что и сказать страшно! — пролепетала одна из девушек.

— Верно, верно, вот, к примеру, дует она на тебя — и сразу у тебя вырастут усы в аршин!

— Смейтесь, смейтесь! А вот я слышала, что одному мужику из слупского прихода, который на них собак натравил, цыганка поднесла к глазам свое зеркальце, и он в тот же миг ослеп.

— И еще говорят, будто они людей во что хочешь оборотить могут, даже в зверей.

— Кто пьян напьется, тот и сам, без цыган, свиньей обернется!

— Ну, а тот хозяин из Модлицы, что прошлым летом на богомолье ходил, не ползал разве на четвереньках, не лаял?

— Того нечистый опутал, — ведь ксендз из него бесов выгонял!

— Иисусе, чего только не бывает на свете, даже мороз по коже дерет!

Охваченные тревогой девушки сдвинулись теснее, а Витек, дрожа от страха, шепотом сказал:

— И у нас тут недоброе творится...

— Не ври, дурень! — прикрикнула на него Ягустинка.

— Да разве я посмел бы врать... Ходит кто-то по ко-

пюшне, корм лошадям подсыпает... И за сеновал ходит, я сам видел, как Лапа туда кинулся, заворчал сперва, а потом хвостом вилял и ластился... А никого там не было! Это, верно, Кубина душа приходит,— добавил он тише, оглядываясь.

— Кубина душа! — повторила Юзя шепотом и несколько раз перекрестилась.

Все затряслось от страха, а когда скрипнула дверь, с криками вскочили с мест. На пороге стояла Ганка.

— Петрик, а где у этих цыган табор?

— В костеле говорили, что в лесу, за Бороновым крестом.

— Надо будет ночью покараулить, как бы чего-нибудь не увели со двора.

— Да говорят, они поблизости от своего табора не крадут.

— На это надеяться нечего! Удастся, так украдут. Два года назад они там же стояли, а у Сохи свинью увели... — сказала Ганка.

Когда девушки разошлись, она проверила, хорошо ли Петрик и Вптек заперли хлева и конюшню, а вернувшись в избу, зашла на половину Бороны взглянуть, дома ли Ягуся.

— Юзюка, сбегай-ка за Ягной, пусть идет домой! Я сегодня не оставляю дверь на всю ночь открытой.

Но Юзя скоро вернулась с сообщением, что у Доминиковой темно и в деревне почти все уже спят.

— Не впускай эту бродягу, пусть до утра на дворе сидит! — сердилась Ганка, запирая дверь на засов.

Было, должно быть, уже очень поздно, когда, услышав, что кто-то дергает дверь, Ганка слезла с кровати и пошла отворять. Она даже отшатнулась — так от Ягны несло водкой. По всему видно было, что она сильно пьяна: долго не могла пайти ручку двери, а когда вошла к себе, натыкалась на мебель и, не раздеваясь, повалилась на кровать.

— Ну и ну! И па ярмарке так не папиваются!

Этой ночью Ганке так и не пришлось спать спокойно: па рассвете в деревне поднялся крик и плач, и люди выбегали в одном белье па улицу, думая, что где-нибудь пожар.

Это Бальдеркова и ее дочка ревели в голос — у них воры увели лошадей.

Вмг к их избе сбежалась вся деревня, а они, полуодетые, не помня себя от отчаяния, со слезами и причитаниями рассказывали, как Марыся па заре пошла засыпать

корм лошади и увидела, что дверь открыта настежь и конюшня пуста.

— Господи Иисусе, смилуйся! Спасите, люди, спасите! — плакала старуха, хватаясь за голову.

Прибежал солтыс, послал за войтом, но его дома не оказалось, он явился только через некоторое время, едва держась на ногах. Пьяный, заспанный, он ничего не соображал, бессвязно бормотал что-то и начал разгонять всех. Солтысу пришлось увести его с глаз людских, чтобы не срамился.

Впрочем, людям было не до него, на всех камнем навалилась эта новая тяжкая беда. Слушали рассказ Бальцерковых, ходили от конюшни на дорогу и обратно, не зная, что делать, растерянные и окончательно перепуганные. Наконец кто-то крикнул громко:

— Это цыгане увели!

— Правда! Ведь они в лесу ночевали.

— Для того они вчера и ходили да высматривали! Их работа! Больше никому! — слышались взволнованные голоса.

— Надо бежать в табор и коня отобрать, а воров избить! — взвизгнула Гульбасова.

— Убить их надо за такое дело!

Шум поднялся страшный, некоторые начали выламывать колья из плетней, размахивали кулаками, метались, и уже готовы были бежать к лесу, как вдруг обнаружилась еще одна беда.

Прибежала с плачем жена солтыса и объявила, что у них украли со двора телегу. Все остолбенели. Долго только ахали и вздыхали, разводя руками и в ужасе переглядываясь.

— Коня и телегу! Такого еще у нас в деревне не бывало!

— Разгневался господь на Липцы!

— Что ни день, то хуже!

— За годы столько не случилось, сколько теперь за один месяц!

— И чем еще все это кончится, чем только кончится! — тревожно шептались бабы.

Потом все побежали за солтысом в сад Бальцерков, где на свежей земле видны были следы конских копыт, и шли эти следы до сарая солтыса. Там, видно, воры впрягли лошадь в телегу и полем выехали мимо мельницы на дорогу к Воле.

Полдеревни шло по этим следам, в молчании рассматривая их. Под обгорелыми стогами, на повороте к Подлесью, следы вдруг исчезли, и никак не удалось их отыскать.

Эта покража так всполошила всех, что, несмотря на прекрасную погоду, очень немногие ушли работать в поле. Люди бродили как в воду опущенные, ломали руки, жалели Бальцеркову и все сильнее беспокоились за свое добро.

А Бальцеркова сидела на пороге конюшни, как у гроба, с распухшими от слез глазами и, задыхаясь, причитала сквозь рыдания:

— Ох, мой гневой, лошадка моя любимая, работник ты мой единственный! Ведь ему только десятый год пошел, я его жеребенком взяла. Сама выходила, как дитяtko родное, он с моим Стахом однолеток! Что мы, сироты, теперь без тебя делать будем? Что?

Она причитала так жалобно, что чувствительные бабы плакали вместе с нею, понимая, какая это потеря: ведь без лошади в крестьянском хозяйстве как без рук, особенно весною, да еще сейчас, когда мужиков нет!

Соседки сидели вокруг Бальцерковой, утешая ее и поминная гневного добрым словом:

— Славный был мерин, крепкий еще, а ласковый, как ребенок!

— Он моего парнишку лягнул, а все-таки, кума, скажу по совести: лошадка была знатная!

— А шаловливый, как собачонка! Помните, как он перины с плетней сбрасывал?

— Да, другого такого коня поискать! — сочувственно вздыхали соседки, словно покойника поминали, а Бальцеркова всякий раз, как взглянет на ясли, опять начинала плакать наваряд. Пустое стойло, как свежая могила, напоминало о непзжитой еще утрате. Успокоилась она только тогда, когда ей сказали, что солтыс, взяв с собой работника Гавки, Петрика, работника ксендза, Валека, и мельникова Франека, поехал искать лошадь у цыган.

— Как же, пщите ветра в поле! Сумели украсть, сумеют и спрятать.

Уже под вечер они вернулись и рассказали, что нигде ни следа, лошадь как в воду канула.

Появился и войт и, хотя уже темнело, уехал вместе с солтысом в бричке доложить начальству о краже, а Бальцеркова с дочерью Марысей пошли сами искать лошадь по ближним деревням.



Вернулись ни с чем, узнав только, что и в других деревнях участились кражи. Эта весть еще больше расстроила людей, все дрожали за свое добро. Войт даже поставил сторожей. За отсутствием парней этот почпой дозор состоял из двух женщин и мальчиков постарше и должен был каждую ночь обходить деревню, а кроме того, в каждой избе кто-нибудь караулил и девушки ночевали в конюшнях и хлевах.

Однако ничего не помогло. И общая тревога еще усилилась, когда, несмотря на все караулы, в первую же ночь у Филиппки воры увели супоросую свинью.

Невозможно описать, что творилось с несчастной женщиной: она убивалась так, как будто потеряла ребенка. Ведь эта свинья была ее единственным богатством, она надеялась, продав ее, прокормить семью до нового урожая. Она так рыдала и билась головой о стену, что страшно было смотреть. Даже к ксендзу побежала с плачем и так его разжалобила, что он дал ей целый рубль и обещал подарить поросенка из тех, что должны были родиться к жатве.

Люди теряли головы, не зная, как уберечься от краж. День этот был настоящим днем траура в деревне, а к тому же еще и погода испортилась: с раннего утра морозил дождик, грузное серое небо словно придавило мир, и в ушу невольно закрадывалась грусть. Люди ходили удрученные, вздыхали и со страхом думали о предстоящей очи.

Но, к счастью, под вечер явился Рох и, обегав все избы, сообщил удивительную, невероятную новость: послезавтра, в четверг, съедутся в Липцы соседи — помочь в полевых работах.

Сперва никто не хотел этому верить, но когда и ксендз торжественно подтвердил слова Роха, радость обуяла всех, и в сумерки, когда дождь перестал и лужи порозовели от вечерней заре, просочившейся сквозь туман, улицы деревни ожили, огласились веселыми криками. Все бегали друг к другу обсуждать новость и дивиться ей. Эта неожиданно пришедшая помощь так ободрила людей, что на радостях они забыли о ворах и очень немногие караулили в эту ночь.

Наутро вся деревня чуть свет была уже на ногах. Убирали, пекли хлеб, готовили телеги, резали картофель для посадки, шли в поле раскидывать навоз, лежавший там еще в кучах, а в иных домах уже хлопотали, чтобы было

чем напоить и накормить неожиданных гостей, понимая, что принять их надо честь честью, по-хозяйски. Немало кур и гусей, оставленных на продажу, было зарезано для гостей и немало бабы опять набрали в долг у корчмаря и мельника. Казалось, в Липцах готовились к великому празднику.

А больше всех радовался и волновался Рох. Целый день он носился по деревне, следя за приготовлениями, и всех подгонял и так сиял, был так не по-обычному разговорчив, что, когда он зашел к Борянам, Ганка, которая опять слегла, сказала тихо:

— У вас глаза горят, как у больного...

— Нет, я здоров и счастлив, как никогда в жизни! Ты подумай: на целых два дня в Липцы наедет столько мужиков, что всю неотложную работу сделают. Как же не радоваться?

— Странно мне, что они согласны работать даром, только за спасибо... Этого еще не бывало!..

— Да, за спасибо придут помогать, так добрые поляки и должны делать! Не бывало так прежде — это верно, а теперь будет! Еще все переменится к лучшему, вот увидишь! Народ поумнеет, поймет, что не на кого ему надеяться, кроме как на самого себя, что никто нам не поможет, сами мы должны себе помочь. И тогда разрастется народ по всей земле бором могучим и враги его исчезнут, как снег весной. Увидишь, придет такая пора!

Но как только Ганка начала допытываться, кто совершил это чудо, кто надоумил мужиков приехать помогать, Рох убежал и опять стал ходить по избам. До поздней ночи горел свет везде — это девушки готовили себе наряды, рассчитывая, что завтра придут не только мужики, но и молодые парни.

И назавтра, когда рассвет побелил крыши, деревня была уже готова к приему гостей. Из труб вился дым, девушки, как угорелые, носились из избы в избу, мальчишки взбирались по лесенкам на крыши и наблюдали за дорогой. День был теплый, но пасмурный и какой-то унылый. Птицы громко щебетали в садах, но голоса людей звучали глухо, тяжело повисая в сырой духоте утра.

Ждали долго. И только когда уже прозвонили к обеду, глухо загудело на дорогах и в легком голубоватом тумане показались первые телеги..

— Едут из Воли!

— Едут из Репок!

— Из Дембицы едут!

— Едут из Прплука!

Так кричали со всех сторон и бежали взапуски к костелу, куда уже подъезжали ряды телег. Скоро вся площадь заполнилась телегами и людьми. Приодетые по-праздничному мужики соскакивали и здоровались с женщинами, сбегавшимися отовсюду. А дети, как водится, шумели всю, толпой окружив прпезжпх.

Все сейчас же двинулись в костел, откуда уже неслись звуки органа. А как только обедня отошла, чуть не вся деревня повалила за кладбищенские ворота, под колокольню. Впереди выступали хозяйки, девушки вертелась по сторонам, пожирая глазами парней, а жены бедняков держались особняком, сбившись в кучу, как пугливые куропатки. Они не смели лезть на глаза ксендзу, который вскоре вышел к толпе, поздоровался со всеми и вместе с Рохом начал распределять прпехавших по пзбам, причем старался, чтобы богатые попадали к богатым.

Не прошло и получаса, как приезжих всех разобрали и у костела остались только заплаканные беднячки, тщетно ожидавшие, что им тоже дадут помощников.

А во дворах поднялась суматоха: расставляли перед пзбами скамьи и столы, подавали гостям завтрак и потчевали водкой, чтобы скорее побрататься. Девушки ухаживали за гостями, а сами почти ничего не ели от волнения — ведь большинство прпезжпх были молодые парни, и такие разодетые, как будто они прпехали не на работу, а на сговор!

Долго разговаривать было некогда, гости сообщали только, из каких они деревень и как их звать, и даже ели мало, вежливо отговариваясь тем, что они еще не заслужили такого угощения.

И скоро они, под предводительством женщин, начали выезжать в поля.

Это было похоже на большой праздник.

Ожили пустые, немые поля, зазвенели голосами, со всех дворов выезжали телеги, по всем дорогам потянулись плуги, по всем межам двигались люди, раздавались оклики и веселые приветствия. Ржали лошади, стучали разошедшиеся колеса, заливались собаки, гоняясь за жеребятами, и буйная радость переполняла все сердца. На полосах, отведенных под картофель, под ячмень, под рожь, на заросших бурьяном перелогох люди принялись за работу шумно, радостно, словно в пляс пускались.

Вот утих говор, свистнули батоги, заскрипела упряжь, рванулись лошади, и ржавые еще плуги медленно начали врезаться в землю и выворачивать первые пласты, черные и жирные. А люди выпрямлялись, набирая воздуха и силы, крестились и, окинув взглядом пашни, принимались за работу.

Благоговеющая тишина царит теперь в поле, в необъятном храме, где идет богослужение. В ожидании склонялись над своими нивами, бросали сеяли труд свой в упование на счастливое, урожайное завтра, с глубокой верой отдавали матери-земле все свои силы и думы.

И ожили тосковавшие липецкие поля, дождались хозяев! Куда ни глянь, от хмурых лесов до самых дальних окраин полей, в зеленоватом тумане, словно в подводном царстве, так и мелькали пестрые юбки, полосатые штаны, белые кафтаны, лошади, которые согнувшись тащили тяжелые плуги, и телеги на межах.

Словно пчелиный рой облепил благоуханную землю и трудолюбиво копался в ней в тишине бледного весеннего дня, и громче пели невидимые жаворонки, паря где-то в вышине, а порой проносился ветер, трепал деревья, развевал юбки женщин и, приласкав мимоходом хлеба, с хохотом улетал в лес.

Долгие часы работали без передышки, только время от времени кто-нибудь разгнул спину, переводил дух и опять гнулся над землей. Даже полдничать не уехали с поля; присев на межах, наскоро поели, размяли кости и, как только покормили лошадей, опять взялись за плуги, не ленясь и не мешкая.

Только в сумерки начали разъезжаться с полей. И сразу замелькали огоньки в избах, и вся деревня засияла светом, выбивавшимся из окон и открытых дверей. В каждой избе хлопотали хозяйки, готовя ужин. Поднялся шум, беготня, скрип ворот, мычание телят, гоготание гусей, которых загоняли на ночь, детский крик. Вся деревня гудела веселым шумом.

Он утих только тогда, когда хозяйки стали приглашать гостей за стол. Их с почетом усаживали на первые места, предлагали лучшие куски, не жалели ни мяса, ни водки.

Во всех домах ужинали, и в открытые окна и двери видны были головы, жующие рты, слышался стук ложек, а вкусный запах жареного сала разносился по улицам и щекотал ноздри.

Только Рох нигде не присаживался надолго, а все ходил из дома в дом, радуя людей добрым словом, и, потолковав, шел к другим, как рачительный хозяин, который ничего не упустит, ни о чем не забудет. Как и все в деревне, он был весел, может быть, радовался даже больше других.

В избе у Ганки тоже чувствовался сегодня праздник. Хотя ей помощников не требовалось, она, чтобы помочь другим, позвала к себе ужинать двух репецких, которые работали у Веронки и Голубов. Выбрала именно этих, потому что они считали себя шляхтичами.

Правда, в Липцах всегда подсмеивались над такой шляхтой и ни в грош ее не ставили, ругая даже больше, чем «городскую рвань» и всяких торговцев и дельцов, но как только репецкие вошли в избу, Ганка сразу решила, что это люди иного, высшего сорта.

Были они невзрачные, худощавые, одеты по-городскому, в черные длинные сюртуки, усики у них торчали, как конопляные веи. Они смотрели на все свысока, но были разговорчивы, обходительны и вежливы, совсем как господа. Они усердно хвалили все и каждой умели польстить, так что женщины таяли от удовольствия.

Ганка велела приготовить ужин посытнее и накрыть стол чистой скатертью.

Она была очень внимательна к гостям и приказала домашним ухаживать за ними, так что все ходили вокруг них чуть не на цыпочках, стараясь по глазам угадать каждое их желание. А Ягна совсем голову потеряла, разделилась, как на праздник, и не сводила глаз с гостя помоложе.

— У него свои панны есть, на босых он и не взглянет! — шепнула ей Ягустинка.

Ягна вся вспыхнула и ушла к себе.

Как раз в эту минуту вошел Рох и стал искать глазами свободное место.

— Больше всего удивятся наши мужики тому, что люди из Репок приехали в Липцы помогать! — сказал он вполголоса.

— Мы с ними дрались в лесу не за свое дело, так никто из нас и не зол на липецких, — возразил старший из репчаков.

— Всегда так и бывает: двое дерутся, а третьему от этого польза!

— Верно вы говорите, Рох. А если бы эти двое поладили между собой, третьему могло бы здорово достаться, не так ли?

— Так, так, пан Репецкий!

— Нынче в Липцы беда пришла, завтра она может на Репки свалиться!

— И на всякую деревню, пан Репецкий, если мужики, вместо того чтобы друг за дружку стоять и вместе защищаться, начнут ссориться и по злобе друг друга врагу выдавать. А умные и дружелюбные соседи — что каменные стены, которые свинья не подроеет.

— Мы это уже знаем, Рох, а вот мужики еще не понимают, в том-то вся беда!..

— Ничего! Ближе то время, когда поймут: умнеет народ...

Тотчас после ужина все вышли на крылечко, где Петрик играл девушкам на скрипке.

Наступал вечер, тихий и теплый. Туман белой шубой стлался по лугам, над болотами кричали чайки, стучала, как всегда, мельница, порой шумели деревья. Высокое небо заволокли бурые тучи, и только по краям их просачивался лунный свет, а местами в прорывах между туч, как в глубине колодца, ярко мерцали звезды.

Деревня шумела, как улей перед вылетом пчел. До поздней ночи светились окна, а во дворах и на улицах слышался тихий шепот, взрывы веселого хохота. Девушки гуляли с молодыми, гости постарше сидели с хозяевами на порогах и чинно беседовали, наслаждаясь отдыхом и прохладой.

Назавтра, когда земля была еще в предрассветной синей мгле и заря только начинала румянить небо, все вскочили и стали собираться в поле.

Взошло солнце, и мир, одетый серебряным инеем, весь заискрился влажным блеском. Защебетали птицы, зашумели деревья, зажурчали воды, и ветер, отряхая кусты, разнес по деревне стук телег, мычание, оклики, песни девушек, весь тот шум и суету, которыми в деревне всегда сопровождается выезд в поле.

На лугах еще лежал белый как снег туман, и только на высоких местах он поредел, иссеченный солнечными лучами, и клочьями прозрачной пряжи поднимался к ясному небу. Поля дремали под инеем, набухая во сне, как почки, а люди уже со всех сторон атаковали сонные росистые просторы. Мелькая в пронизанном солнцем тумане, они сгибались над пашинами в молчании, а от земли, от деревьев и синих далей, от сверкающих ручьев, от туманов и неба, высоко вознесшего пылающий солнечный диск, шла

такая яркая весна, такой угар силы и пьянящей радости, что спирало дыхание в груди, сердца преклонялись перед чудом весны, зримом в самой жалкой былинке, и трепетали тем святым восторгом, который делает людей молчаливыми и прорывается лишь тихой слезой или вздохом.

Долго люди озирались кругом, пабожно крестились и наконец молча принимались за работу. Когда зазвонили к ранней обедне, все уже были в поле.

Работали так усердно, что и не заметили, как появился в поле ксендз, — он после обедни пришел к своему работнику, пахавшему у дороги. Ксендз объявил бабам, что, хоть сегодня день святого Марка, крестный ход отложен до третьего мая.

— Сейчас жаль время терять, мужики ведь не приедут второй раз вам помогать!

Он и сам не уходил с поля до самого вечера. Подобрал рясю и оппраясь на палку (потому что пелегко было ему носить такое брюхо!), он неутомимо ходил и ходил, изредка присаживаясь на меже, чтобы утереть вспотевшую лысину и отдышаться.

Солиде большим красным шаром опускалось за лес, земля меркла и густо засинели дали, когда, покончив с самыми неотложными работами, мужики начали стягиваться в деревню: они торопились, чтобы еще засветло поспеть домой.

Многие и от ужина отказались и наскоро съедали что-нибудь, другие торопливо брали поданные миски с едой. Лошади были уже запряжены и ржали перед избами.

Ксендз вместе с Рохом обходил всех и каждого отдельно еще раз благодарил за помощь липецким.

— Когда даешь пуждающемуся — даешь самому господу! И вот я вам что скажу: хотя вы не охотники обедни заказывать и не думаете о пуждах костела, хотя уж год я напрасно кричу, что у меня в плебании крыша протекает, — я буду за вас каждый день молиться, потому что вы сделали доброе дело! — говорил ксендз, со слезами целуя склонявшиеся перед ним толовы.

Ксендз и Рох были уже около избы кузнеца и сворачивали на другую сторону озера, когда им преградили дорогу заплаканные женщины с Козловой во главе. Это была деревенская беднота.

— Мы, ваше преподобие, спросить хотим: что, нам мужики помогать не будут? — начала Козлова громко и дерзко.

— Ждали мы, ждали, что и паш черед придет, а они уже уезжают!

— И мы, сироты, останемся без всякой помощи,— говорили все хором.

Ксендз от смущения даже побагровел.

— Что же я сделаю? Не хватило на всех... И так они целых два дня славно работали,— бормотал он, обводя глазами женщин.

— Да, помогли, только богачам! — заплакала Филипка.

— А к вам, как к зачумленным, никто не пришел помочь!

— Никому и дела нет до нас, несчастных!

— Хоть бы несколько человек — под картошку вспахать — и тех не дали! — жалобно говорили бабы.

— Голубушки, да ведь уезжают они... Как тут быть!.. Ну, что-нибудь придумаем. Знаю, что и вам трудно... И ваши мужья в остроге... Ну, ничего, придумаем что-нибудь!

— А до каких же пор нам ждать? Если и картошки не посадим, так только и остается веревку поискать! — заголосила Гульбасова.

— Сказано вам — уладим! Дам вам своих лошадей хоть на целый день, только вы мне их не загоняйте... Мельника тоже уговорю... Войта... Может, и Боряны своих дадут.

— Жди у моря погоды! Пойдем, бабы, не скулите понапрасну! Если бы вы нужды не знали, вам бы ксендз помог! Для хозяев богатых все найдется, а беднота грызи камни да слезами запивай! Овчар почему о баранах заботится? Потому что он их стрижет. А с нас что возьмешь — вши разве! — кричала Козлова так громко, что ксендз даже ушп заткнул и поскорее ушел.

Бабы сбились в кучу и плакали горькими слезами, громко причитая, а Рох их утешал, как умел, обещая помочь. Он отвел их в сторону под плетень, так как мужики уже разъезжались, на улицах грохотали телеги и со всех порогов неслись горячие слова благодарности.

— Спасибо! Воздай вам господы!

— Будьте здоровы!

— Отблагодарим вас при случае!

— По воскресеньям приезжайте к нам в гости, как к родным!

— Родителям кланяйтесь! И баб своих к нам привозите!

— А будет кому нужда. — от всего сердца поможем!
— Счастливо оставаться! Пошли вам бог урожай хороший, люди добрые! — отзывались уезжавшие и махали руками и шапками.

Девушки и все ребятнишки, сколько их было в деревне, провожали гостей за околицу, шагая рядом с телегами. Наибольшее столпотворение было на тополевой дороге, по ней ехали мужики из трех деревень. Телеги катились медленно, под веселые разговоры, смех и шутки.

Закат уже догорал, и только вода в ручьях и озере сверкала еще красными отблесками. Над лугами клубился туман, тишина весеннего вечера окутывала землю, где-то вдалеке слышался дружный хор лягушек.

Липецкие проводили гостей до перекрестка и там стали прощаться под смех и крики. Не успели лошади тронуться, как одна из девушек запела им вслед:

Что ж ты, Ясь, со свадьбой тянешь?
Иль меня опять обманешь?

А парни, оборачиваясь, пели в ответ:

В мороз, Марысь, не годится,
Могут сваты простудиться.
Жди уже в посту!
Ой, да дана,
В великом посту.

Звенели молодые голоса и неслись радостно по широкому миру.

VII

Мужики возвращаются!

Весть грянула, как гром, и молнией облетела Липцы.
Правда ли это? И когда?

Никто ничего не знал.

Известно было только одно: сторож из волостной канцелярии, еще на заре пришедший к войту с какой-то казенной бумагой, сказал это Клембовой, которая выгоняла гусей к озеру, та мигом кинулась с новостью к соседям, а девушки Бальцерковой разнесли ее по ближайшим избам, и через каких-нибудь десять минут вся деревня была уже на ногах и радостно шумела.

Было еще очень рано, только что рассвело, и майское утро вставало какое-то темное и мокрое, дождик моросил, как сквозь густое сито, и тихо плескался в расцветающих садах.

«Наши возвращаются! Наши идут!» — летели крики по всей деревне, гулко отдаваясь в воздухе, звенели радостным благовестом в каждой избе, вырывались, как пламя, из каждого сердца.

День только начинался, а в Липцах царило оживление, как в храмовой праздник. Дети с шумом мчались на улицу, то и дело хлопали двери изб, жепщины кончали одеваться уже на порогах, жадно всматриваясь в дорогу, заслопенную распутившейся листвой и сеткой дождя.

«Все возвращаются! Мужики, парни, мальчики — все! Идут! Уже вышли из лесу, уже на тополевой дороге!» — кричали все наперебой, стоя на порогах, а иные мчались па улицу, как шальные. Кое-где слышался и плач и быстрый топот ног — люди бежали встречать своих.

Стучали деревянные башмаки, разбрызгивая грязь. Все выбежали за костел, но на длинной, залитой дождем дороге серели только мутные лужи да глубокие колеи. Ни живой души не было видно под потемневшими от ливня то полями.

Жестoko разочарованные, все, недолго думая, помчались на другой конец деревни, за мельницу, потому что мужики могли прийти и той дорогой, через Волю. Но и там было пусто! Хлестал дождь, серой пылью заслоняя широкую ухабистую дорогу. Желтая от глины вода неслась по канавам, бурлила в бороздах, да и по дороге, пенясь, текли потоки, а расцветший терновник по краям зеленого поля свертывал иззябшие цветы.

— Вороны летают высоко, — значит, лить скоро перестанет! — сказала одна из девушек, тщетно вглядываясь в даль.

Они прошли немного дальше и вдруг заметили, что со стороны сгоревшего хутора кто-то идет им навстречу.

Это был знакомый всем в деревне слепой нищий. Собака, которая служила ему поводырем, сердито залаяла на девушек и стала рваться на веревке, а слепой, внимательно прислушиваясь, готовился защищаться палкой, но, услышав говор, прикрикнул на собаку, поздоровался и весело сказал:

— Кажись, лицеющие, а? И что-то много вас...

Девушки обступили его и стали рассказывать новость, перекрикивая друг друга.

— Ой, налетели на меня сороки и все разом растрещались! — буркнул старик, внимательно слушая и поворачи-

ваясь во все стороны к теснившимся вокруг него девушкам.

В Липцы возвращались уже всей гурьбой, а нищий плелся среди них, подскакивая на костылях и выставляя вперед свое широкое лицо со слепыми глазами.

Щеки у него были толстые, красные, брови седые и лохматые, нос, как труба, и брюхо изрядное.

Он терпеливо слушал тараторивших девушек, а когда разобрал наконец, в чем дело, перебил их:

— Вот с этой вестью я и спешил к вам в деревню! Нехристь один сказал мне на ушко, что липецкие мужики сегодня выходят из острога! Вчера он это мне сказал, а я и подумал: сбегаю-ка завтра чуть свет и первый припесу эту весть бабам! Как липецких не уважить — другой такой деревни поискать! А кто же это тут около меня шагает? Что-то я по голосу не узнаю...

— Марыся Бальцеркова!.. Настка Голуб!.. Улися солтысова! Кася Клембова!.. Гапуся Сикора! — закричали девушки.

— Ого! Самый цвет девичий мне навстречу вышел! Видно, не терпелось вам хлопцев своих увидеть, а приходится вместо их дедом довольствоваться, а?

— Неправда! Мы отцов встречать вышли! — закричали все хором.

— Побойтесь бога, ведь я не глухой, только слепой! — взмолился старик, глубже надвигая на уши баранью шапку.

— Говорили в деревне, что они уже идут, вот мы и бежали навстречу! А тут никого!

— Рано еще. Хорошо, если к полудню поспеют домой хозяева, ну, а парни, может, и до вечера не вернуться.

— Это еще почему? Всех вместе выпустят, значит, вместе и придут!

— А может, парни в городе задержатся? Мало ли там девушек? Какая им нужда к вам спешить? Хе-хе! — дразнил их старик, посмеиваясь.

— Ну и пусть там забавляются! Никто по ним не плачет!

— Еще бы, в городе немало таких, что в мамки пошли либо печи у евреев топят... Такие им рады будут! — хмурясь, пробурчала Настуся.

— Кому городские потаскухи милее, те нам не нужны!

— А давно вы, дедушка, в Липцах не были? — спросила одна из девушек.

— Давно. С осени. Зимовал я у добрых людей, все трудное время прожил в усадьбе.

— Уж не у нашего ли помещика, в Воле?

— В Воле, да! Я ведь с господами да с их собаками запанибрата: они меня знают и не обижают! Отвели мне теплое местечко у печи, кормили, сколько влезет, вот я им всю зиму из соломы перевясла плел и бога славил. И сам раздобрел, и песик мой отъелся, бока себе нагулял. Ого! Помещик ваш умный, с нищими в дружбе живет: он знает, что в случае чего от них и суму и вшей даром получит... Хе-хе! — засмеялся слепой, моргая глазами, и продолжал болтать:

— А послал господь весну, и надоели мне пайские хоромы да сладкая еда, заскучал я по мужицким хатам, потянуло в широкий свет! Эх! Дождик-то — чистое золото, теплый да частый, от него все скорее уродится! Так и пахнет кругом молодой травкой!.. Да куда же вы, девушки?

Он услышал, что они сорвались и побежали, оставив его одного у мельницы.

— Девушки!

Но ни одна не отозвалась. Они увидали издали толпу баб, шедших мимо озера к дому войта, и помчались к ним.

У дома войта собралось полдеревни, чтобы узнать у него что-нибудь достоверное о возвращении мужиков.

Войт, видимо, недавно встал — он сидел на пороге без кафтана и, обертывая ноги опучами, кричал жене, чтобы она подала ему сапоги.

Женщины с шумом налетели на него, сгорая от нетерпения, запыхавшиеся, забрызганные грязью, некоторые даже еще неумытые и непричесанные.

Войт дал им накричаться, а тем временем натянул смазанные салом сапоги, умылся в сенях и, расчесывая взлохмаченные волосы у открытого окна, бросил насмешливо:

— Что, невтерпеж вам, заждались мужиков? Не бойтесь, нынче непременно вернутся. Мать, дай-ка ту бумагу, что сторож принес... Она за образами.

Он повертел бумажку в руках и, щелкнув по ней пальцем, сказал:

— Вот тут черным по белому написано: «Так как крестьяне села Липцы Тымовской волости, уезда...» Нате, сами читайте! Уж если войт вам говорит, что вернутся, значит, так оно и будет!

Он бросил им через окно бумажку, и она стала переходить из рук в руки.

Ни одна из женщин не умела прочитать ни слова, так как бумага была «казенная» — написана по-русски. Но они впивались глазами в строчки с какой-то тревожной радостью. Когда черед наконец дошел до Ганки, она взяла бумагу через передник и отдала ее войту.

— Кум, а все вернутся? — спросила она робко.

— Написано, что вернутся, значит, вернутся.

— Всех взяли вместе, значит, вместе и выпустят, — сказала одна из баб.

— Зашла бы ты к нам обсушиться, кума, ведь дождем тебя помочило, — приглашала Ганку жена войта. Но Ганка отказалась, надвинула на лоб платок и первая пошла домой.

Шла очень медленно, задыхаясь от смешанного чувства радости и страха.

«Значит, и Антека отпустят, обязательно отпустят!» — думала она. Ей пришлось остановиться и прислониться к чьему-то плетню — у нее вдруг так замерло сердце, что она чуть не упала. Долго ловила воздух горячими, пересохшими губами... Она до сих пор еще чувствовала себя нездоровой, странная слабость не проходила. «Антек вернется! Вернется!» От распиравшей сердце радости хотелось кричать, и в то же время Ганка испытывала какую-то непонятную тревогу, неясные опасения.

Она шла, ступая все медленнее, все тяжелее, и жалась к плетням, потому что по всей улице с шумом валила толпа баб. Все смеялись и болтали, сияя радостью, и, несмотря на дождь, собирались кучками у ворот и на берегу, с живостью обсуждая событие.

Ганку догнала Ягустинка.

— Знаешь уже небось? Да, вот это новость так новость! Ждали мы ее каждый день, а как пришла — точно обухом по голове! От войта идешь?

— Да. Он подтвердил, что придут нынче, и даже нам бумагу прочитал.

— Ну, коли в бумаге сказано, значит, верно! Слава тебе господи, вернутся, горемычные, вернутся хозяева! — с жаром промолвила Ягустинка, и слезы потекли из ее выпцветших глаз. Ганка даже удивилась.

— Я думала, ты на всех злобишься, а ты ревешь. Вот так диво!

— Что ты! В такое время злобствовать! Иной раз с горя дашь волю языку, а в душе — совсем другое. Волей-неволей вместе с другими и радуешься и печалишься. Не может человек жить в стороне от всех, нет, не может!..

Они проходили мимо кузницы. Здесь оглушительно стучали молоты, в горне полыхал красный огонь, а кузнец у стены натягивал обод на колесо. Увидев Ганку, он выпрямился и пристально глянул в ее разгоревшееся лицо.

— Ну что? Дождались Липцы праздничка! Говорят, выпустили некоторых.

— Всех! Войт это в бумаге прочитал,— поправила его Ягустинка.

— Всех?.. Убийц небось так скоро не выпустят!

У Ганки даже в голове зашумело и сердце готово было разорваться от боли, но она выдержала удар и, только уходя, сказала со страшной ненавистью:

— Чтoб у тебя твой собачий язык отсох!

И прибавила шагу, чтобы не слышать его смеха, который ножом резал ее.

Уже войдя на крыльцо, она обернулась и посмотрела на небо.

— Все льет и льет... Трудно будет плугам выехать в поле! — сказала она с притворным спокойствием.

— Ничего! Утренний дождик, что пляска старухи, недолго.

— Надо будет пока картошку сажать...

— Бабы сейчас придут, опоздали из-за этой новости, но придут непременно. Я ко всем с вечера заходила, и они обещались прийти отработать.

В печи уже трещал огонь, в избе было тепло и светлее, чем на улице. Юзя чпстила картофель, а ребенок кричал благим матом, как пи старались старшие дети его забавлять. Ганка, опустившись на колени у люльки, стала его кормить.

— Юзя, скажи Петрику, чтобы телегу приготовил, будет вывозить от Флорки навоз на те полосы, что около ржи Пачесей. Пока дождь пройдет, он успеет несколько телег вывезти... Нечего ему без дела шататься!

— Ну, ты уж никому полениться не дашь!

— Потому что и сама рук и ног не жалею! — Ганка встала. — Ох, чуть было не забыла: ведь нынче с полудня праздник. Ксендз объявил, что будет крестный ход, тот, который отложили в день святого Марка...

— Сегодня мальчишки будут делать на буграх первую

вспашку! — со смехом сказала Юзья, обращаясь к вошедшему Витеку.

— Идут уже бабы! Ягустинка, ты ступай с ними и налаживай все, а я дома останусь, приберу и завтрак приготовлю. Юзя и Витек будут носить картофель в поле! — распоряжалась Гапка, глядя в окна на поденщиц, до самых глаз укутанных кто платком, кто мешком. Они с корзинами и мотыгами шли к крыльцу и очищали башмаки от грязи.

Ягустинка тотчас повела их через калитку за сеповал, где начинались черные, намокшие картофельные поля.

Здесь они сразу приступили к делу — вскапывали мотыгами землю и сажали картофель. Четыре женщины работали, а Ягустинка только присматривала за ними и подгоняла.

Да не спорилась у них работа! Руки немели от холода, в бороздах было мокро, и в башмаки набиралась вода, а одежда пачкалась и промокала. Дождик, хотя и теплый и мелкий, моросил без перерыва, поливая землю и деревья, которые, свесив цветущие ветви над дорогой, с наслаждением подставляли их под его струи.

Впрочем, по всем признакам погода уже менялась: пели петухи, край неба заметно прояснился, в воздухе по временам стрелой проносились ласточки, словно вылетев на разведку, а вороны слетали со стрех и кружили низко над полями.

Женщины, похожие на кучи мокрого тряпья, согнувшись над грядками, копались в земле. Работали они не очень усердно, разговаривая и подолгу отдыхая; видно было, что они не на себя работают, а отрабатывают долг. Наконец Ягустинка, сажавшая горох между бороздами, заговорила громко, осматриваясь кругом:

— Не много же нынче хозяек и в поле и на огородах!

— Не до работы им сейчас — мужей ждут!

— Ясное дело. Должно быть, варят да жарят и перья греют.

— Смеетесь, а сами небось тоже рады! — сказала Козлова Ягустинке.

— Отпираться не буду, Липцы уж мне опротивели без мужиков. Я хоть и старуха, а прямо скажу: скоты они, подлецы, драчуны, обманщики, а как появится хоть один, будь он чучело из чучел, так сразу и веселее, и занятнее, и легче жить на свете! И если кто скажет, что это неправда, соврет, как пес.

— Заждались их бабы, как коршун дождя! — вздохнула одна из женщин.

— Не одна за радость тяжеленько расплатится, а больше всех девки.

— Да. И девяти месяцев не пройдет, как ксендзу работа будет, — с крестинами не управится!

— Эх! Старые, а глупости болтаете! На то господь и сотворил женщину, чтобы детей рожать. Не грех это! — задорно воскликнула жена криворотого Гжели.

— А ты все свое: за байстрюков горой стоишь!

— И всегда, до самой смерти, всякому в глаза буду говорить: законный ли, нет ли, все равно такой же человек и имеет такое же право жить на свете!

Остальные бабы дружно напали на нее, стали ее презрительно высмеивать. А она только руками всплеснула и покачала головой.

— Бог в помощь! Ну, как идет работа? — крикнула Ганка из-за плетня.

— Спасибо, хорошо. Только уж больно мокро здесь.

— А картошки хватает?

Ганка присела на плетне.

— Носят нам, сколько требуется. Да мне думается, что она слишком толсто нарезана.

— Мы же ее только пополам резали. А вот у мельника мелкую картошку даже целиком сажают. Рох говорит, что так вдвое больше уродится.

— Должно быть, это немцы выдумали. А у нас, с тех пор как Липцы стоят, всегда картошку для посадки резали на столько кусков, сколько глазков, — протянула завзятая спорщица Гульбасова.

— Да ведь, милая ты моя, нынешние люди не глупее прежних!

— Ну, еще бы! Нынче яйца курицу учат.

— Это верно. Но и то надо сказать: пные до старости дожили, а ума не нажили! — заключила Ганка, отходя от плетня.

— Загордилась, как будто уже все Бoryново хозяйство к ней перешло! — проворчала Козлова, глядя ей вслед.

— Ты ее не тронь, баба — чистое золото! Я не видывала умнее ее и добрее. Уж поверьте мне: по целым дням я у них в доме, а у меня глаз зоркий и голова на плечах есть. Натерпелась она... Не дай бог никому такой крест нести!

— И что еще ждет-то ее... Ягна в доме, и как только Автек вернется, так же у них там чудеса пойдут — будет что послушать людям!

— Говорят, будто Ягна с войтом спуталась, правда это?

Все посмеялись над Филипкой: об этом уже все воробы чирикают, а для нее это новость!

— Эй, бабы, придержите языки! И ветер иной раз подслушать может и разнести, куда не следует! — прикрикнула на них Ягустинка.

Бабы опять нагнулись к грядам, замелькали мотыги, порой со звоном ударяясь о камень, а они все судачили без умолку, переминая косточки всем в деревне.

Ганка шла к дому от перелаза, осторожно нагибаясь под вишнями, чтобы не задеть головой мокрые, низко нависшие ветви, густо осыпанные уже белыми бутонами и молодыми листочками.

Она пошла во двор осматривать свое хозяйство.

С самой пасхи она почти не выходила из дому, ей стало хуже после того первого выхода в костел. И только сегодня радостная весть подняла ее с кровати и держала на ногах. Хотя и пошатываясь на каждом шагу, она ходила по двору, заглядывала во все углы и все больше и больше злилась.

Коровы были вялые, и бока у них выпачканы навозом, поросята что-то мало подросли, и даже гуси показались ей заморенными.

— Ты бы хоть соломой лошадь вытер! — напала она на Петрика, выезжавшего с навозом в поле, но парень только что-то злобно проворчал и уехал.

В овине новая неприятность. В куче картофеля преспокойно рылся Ягусин поросенок, а куры разгребали высевки, которые давно следовало снести наверх. Ганка накричала на Юзьку, а Витека оттаскала за волосы. Мальчик едва вырвался и убежал, а Юзя разревелась и стала горько жаловаться:

— С утра до вечера работаю, как лошадь, а ты еще на меня орешь! Ягна по целым дням бездельничает, а ей ты небось ничего не скажешь!

— Ну, ну, не реви, глупая! Сама видишь, что у нас творится.

— Да разве я одна могла за всем усмотреть?

— Ладно, будет шуметь! Несите в поле картошку, а то бабам не хватит.

Ганка перестала сердиться. «Правда, где же девчонке одной со всем хозяйством управиться!.. А работники! Господи, да они уже с утра ждут не дождутся вечера! На них полагаться — все равно что павьять волков овец пасти... Совести у них нет!» — размышляла она с горечью, вымещая свою злость на Ягусином поросенке. Поросенок с визгом удрал, а по дороге его еще и Лапа оттрепал за ухо.

Заглянула Ганка в конюшню, а там опять огорчение: кобыла обгрызла пустые ясли, жеребенок, грязный как свинья, таскал солому из подстилки.

— У Кубы сердце лопнуло бы, если бы он тебя таким увидел! — прошептала она, накладывая им в ясли сена и глядя теплые, мягкие морды.

Дальше она не пошла: ее вдруг охватило чувство отворачивания и равнодушия ко всему на свете, слезы поднялись к горлу, и, привалившись к нарам Петрика, она заплакала, сама не зная о чем.

Силы внезапно оставили ее, сердце тяжелым камнем лежало в груди. Нет, не может она больше бороться с судьбой, не может! Она почувствовала себя всеми покинутой и такой одинокой, как дерево, выросшее на открытом пригорке и ничем не защищенное от непогод. И душу-то не с кем отвести! И конца не видно ее горькой доле! Ничего! Только давить постоянно слезами, растравляя душу обидой и горем. Вечно мучайся и жди еще худшего!..

Жеребенок лизал ей лицо, а она бессознательно прижималась головой к его шее и плакала все сильнее.

На что ей все это хозяйство, богатство, почет, если за всю жизнь она не знала ни одной минуты счастья, ничего, ничего! Она причитала так жалобно, что кобыла даже заржала, повернула к пей голову и стала рваться на цепи.

Дотащившись до избы, она взяла на руки ребенка и, кормя его, бессмысленно смотрела в запотевшее окно, по которому текли струйки дождя.

Ребенок был что-то беспокоен, пищал и метался.

— Тише, маленький, тише! Вот приедет отец, привезет тебе петушка... Вернется, посадит сыночка на коня... Не плачь, дитятко... Баюшки-баю... Вернется твой батька, вернется!.. — напевала она, укачивая его на руках и ходя по избе. — А может, и вправду вернется! — вдруг сказала она себе и остановилась.

Ее даже в жар бросило, бодро распрямила она согнутые плечи, и такая радость залила душу, что ей уже захотелось сейчас же бежать в чулан, нарезать для Антека

свинины, послать к Янкелю за водкой. Она даже шагнула было к сундуку, чтобы принарядиться для встречи, но раньше чем дошла, вспомнились ей слова кузнеца, и словно ястреб острыми когтями впился в ее наблевшее сердце. Она застыла на месте, оглядывая комнату испуганными глазами, как человек, ищущий спасения и не знающий, что делать.

«А если он совсем не вернется?..»

— Господи, господи! — простонала она, хватаясь за голову.

Она боялась повторить вслух эти слова, а они гудели в ней, как в колоде, и воплем ужаса поднимались из груди к горлу.

Дети подрались, подняли крик, она выгнала их за дверь и принялась готовить завтрак, так как проголодавшаяся Юзя уже раз-другой заглядывала в комнату, — посмотреть, готово ли.

Слезы пришлось утереть, горе затаить в душе, — ярмо повседневных забот вливалось в затылок, напоминая, что работа ждать не может...

И Гапка забегала по избе, захлопотала, хотя ноги подкашивались и все валялось из рук. И уже только изредка вырывался у нее скорбный вздох, слеза катилась по щеке, и она тоскливо поглядывала в туманную даль за окном.

— Что же, Ягуся не пойдет картошку сажать? — крикнула Юзя под окном.

Гапка отставила в сторону горшок с борщом и пошла на половину старика.

Он лежал на боку, лицом к окну, и как будто смотрел на Ягпу, а она расчесывала перед зеркалом, поставленным на сундук, свои длинные светлые волосы.

— Праздник, что ли, сегодня? Почему на работу не выходишь?

— Не бежать же мне в поле с распущенными волосами.

— С утра ты уже десять раз могла бы их заплести!

— Могла, да вот не запледа!

— Ягна, ты так со мной не разговаривай!

— А что? Прогонишь с работы или из жалованья вычтешь? — дерзко огрызнулась Ягна, продолжая так же неторопливо причесываться. — Ты падо мной не хозяйка, не у тебя я живу.

— А у кого же?

— У себя, в своем доме — запомни это!

— Помрет отец, тогда увидим, у себя ты или нет.

— А пока он жив, я могу тебе на дверь указать!

— Мне! Мне! — Ганка так и подскочила, словно ее кнутом стегнули.

— Что ты постоянно ко мне пристаешь, как репей к собачьему хвосту! Я тебе никогда ни единого худого слова не говорю, а ты все только ругаешься да попукаешь меня, как лысого коня!

— Благодари бога, что тебе еще сильнее не досталось! — обрушилась на нее Ганка.

— Тронь только попробуй! Я хоть и сирота и некому за меня вступиться, но увидим, кто кого осилит!

Ягна отбросила волосы с лица, и ее суровый, враждебный взгляд как ножом ударил Ганку. Такая злоба закипела в душе Ганки, что она погрозила ей кулаками и начала выкрикивать все, что только наворачивалось на язык.

— Грозить? Ишь сиротка невинная, обижают ее, бедную! Все добрые люди знают, что ты проделывала, всему приходу известно про твои пашни. Не раз видели тебя в корчме с войтом! И тогда, когда я тебе за полночь дверь отперла, ты с ним распутничала и вернулась пьяная в стельку! Эй, смотри, Ягна: повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломать! Как поживешь, так и прослышешь!.. Недолго тебе барствовать, придет этому конец, и ни войт, ни кузнец тебе не помогут! Ты... ты...

Ганка даже поперхнулась криком и закашлялась.

— Как хочу, так живу, и никому до этого дела нет! — крикнула вдруг Ягуся, отбросив волосы за спину. Она была вне себя и готова на все, вплоть до драки. Она вся тряслась, руки у нее дергались, а глаза сверкали так дико, что у Ганки сердце ёкнуло. Она замолчала и выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Взволнованная этой ссорой, она долго не могла ни за что приняться и сидела с ребенком у окна, а завтрак подавала Юзя.

Только когда все поели и опять ушли на работу, она немного пришла в себя, но ничего не могла делать и решила сходить к отцу, который уже несколько дней хворал. Пошла — и с полдороги вернулась: волнение так обессилило ее, что она не могла двигаться. Да и потом, когда она немного собралась с силами, только руки ее почти механически делали все, что нужно, а голова была занята мыслями об Аптеке, и она часто задумывалась, глядя в одну точку.

Депь между тем разгулялся: дождь перестал, капало только с крыш и с деревьев, когда ветер шевелил ветки. Дороги засеребрились лужами, и небо все больше прояснялось.

Люди рассчитывали, что к полудню солнце непременно выглянет, потому что ласточки летали высоко. Белые облака, позолоченные невидимым солнцем, стаями плыли в вышине, с полей веяло теплом, и птицы щебетали в садах, как снегом осыпанных белым цветом вишен. В деревне стало очень шумно. Из всех труб валил дым, хозяйки стряпали вкусные блюда, радость звучала в громких голосах, которые неслись от избы к избе; девушки наряжались по-праздничному, вплетали ленты в косы, многие мчались в корчму за водкой, так как Япкель, обрадованный вестью о возвращении мужиков, давал сегодня всем в долг сколько угодно. Каждую минуту кто-нибудь лез на крышу и напряженно всматривался во все дороги, которыми можно было прийти из города.

Женщины так увлеклись приготовлениями, что почти никто не пошел работать в поле, даже гусей забыли выгнать в овражек, и они громко гоготали во дворах. А ребяташки, бегавшие сегодня на воле, без всякого присмотра, шалили отчаянно; мальчишки постарше, вооружившись длинными пестами, убежали на тополевую дорогу, лазали там на деревья и разоряли вороньи гнезда, а перепуганные птицы черной тучей кружили высоко в воздухе и жалобно каркали. Младшие развлекались тем, что гоняли слепую лошадь ксендза, тащившую бочку на полозьях. Они старались загнать ее с высокого обрыва в озеро, но умную лошадь трудно было обмануть: очутившись уже на самом краю, она останавливалась, словно назло им, опускала голову, не слушая понуканий, и терпеливо отряхивалась от комков земли и грязи, которыми осыпали ее озорники. Почувяв же, что они лезут на бочку и уже хватаются за узду, она грозно ржала и, пускаясь вскачь, внезапно въезжала в толпу мальчишек, а они с криками разбегались. Так они забавлялись довольно долго и наконец поднесли лошади к поздрам зажженную тряпку. Она, испугавшись, бросилась в сторону, прямо на плетень Бороны, свалила калитку и запуталась в постромках, а мальчишки обступили ее и давай стегать ее прутьями, сколько влезет.

Лошадь переломала бы себе ноги, если бы не Ягна, которая, услышав крики, палкой разогнала сорванцов и

вывела ее на дорогу. Но лошадь с испугу утратила чутье и, видно, не знала, в какую сторону идти, а ее мучители подстерегали ее, прячась за деревьями. И Ягна решила сама отвести лошадь к хозяину.

Она вела ее по дорожке между садом ксендза и избой Клембов. В это время к дому органиста, стоявшему в глубине двора, подкатила бричка. В ней уже сидела жена органиста, а Ясь на крыльце прощался с родными.

— Вот привела лошадь, потому что ребята ее пугали, — пачала она робко.

— Отец, кликни-ка Валека, пусть он ее отведет домой! Ты зачем же, дубина этакая, бросил лошадь? Чтобы опа ноги себе поломала? — прикрикнула она на работника.

Ясь, увидев Ягпу, покосился на родителей и протянул ей руку.

— Счастливо оставаться, Ягуся!

— Опять в школу?

Что-то похожее на сожаление сжало ей сердце.

— Везу его в город, в ксендзы будет готовиться, — гордо объявила мать.

— В ксендзы!

Ягна удивленно посмотрела на Яся. А он уже садился на переднюю скамейку, спиной к лошадям.

— Хочу подольше смотреть на Липцы! — пояснил он, любовным взглядом обводя замшелую крышу отцовского дома и цветущие сады, сверкавшие росой.

Лошади тронулись легкой рысцой. Ягна пошла за бричкой. Ясь еще что-то кричал сестрам, плакавшим у крыльца, но смотрел только на нее — в ее синие влажные глаза, сияющие, как майский день, на ее белокурую голову, обвитую толстыми косами, которые тройным рядом лежали над белым лбом и спускались па уши, на лицо, прелестное, как полевая роза.

А она шла почти бессознательно, словно замороженная его горячим взглядом. Губы у нее дрожали, сердце блаженно замирало, а глаза покорно следовали за Ясем.

Только когда бричка свернула под тополя, глаза их оторвались друг от друга. Взгляд Ягны наткнулся вдруг на пустоту, и она круто остановилась.

Ясь махал ей шапкой на прощанье. Они уже въезжали в сумрак под тополями.

Ягна стояла и протирала глаза, как человек, внезапно разбуженный от сна.

«Иисусе! Этакой глазами в самый ад заведет» — подумала она, как бы силясь стряхнуть с себя жаркие взгляды Яся.

— Органистов сып, а с виду пастоящий панич... И будет ксендзом, может быть, его даже в Липцы назначат!

Она оглянулась. Бричка исчезла из виду, долетали только стук колес и голоса Яся и его матери, которые громко здоровались с прохожими.

— Мальчик, почти еще ребенок, а взглянет — словно обвинит! Даже дрожь пробирает и в голове мутится!..

Она вздрогнула, облизывая розовые губы, и блаженно потянулась...

Ей вдруг стало холодно. Только теперь она вспомнила, что ноги ее босы, голова не покрыта и на плечи свех сорочки наброшен только рваный платок. Она даже покраснела от стыда и побежала домой.

— Мужики возвращаются, знаешь? — радостно кричали ей от плетней и калиток девушки, жепщины, дети.

— Ну и что? — ответила она кому-то из них почти со злостью.

— Вернутся! Разве этого мало? — удивлялись они ее равнодушию.

— А мне все равно — с ними или без них. Вот дуры! — ворчала она, неприятно задетая тем, что все, кроме нее, шалеют от радости, поджидая любимых.

Она зашла к матери. Дома был только Енджик. Сегодня он в первый раз слез с кровати. Перебитая нога была еще забинтована. Он сидел на пороге и плел корзинку, подсвистывая сорокам, прыгавшим по изгороди.

— Слыхала, Ягусь, выпустили наших!

— Еще бы, все в деревне только о том и трещат!

— А Настуся просто с ума сходит от радости, что Шимек вернется...

— Ей-то что? — Она сверкнула глазами сурово, как мать.

— Да так... Просто... Ой, как у меня опять нога разболелась! — пробормотал оробевший Енджик. — Цыц, подлые! — он швырнул палкой в сени, где раскудахтались куры.

Он для виду потирал больную ногу и покорно заглядывал в хмурое лицо сестры.

— А где же мать?

— В плебанию ушла. Ягусь, про Настку я это просто так сболтнул...

— Дурак, думаешь, что ты один это знаешь! Поженятся, и все тут...

— Да разве мать позволит? Ведь у Настуси всего один морг.

— Если он будет у матери позволения спрашивать, так никогда не женится! Парень в летах, пора своим умом жить, должен знать, что делать...

— Он знает, Ягусь, знает, и, если заартачится, поставит на своем! Он матери не послушает, назло ей жепится и отберет свой падел.

— Болтай, болтай, только смотри, как бы мать не услышала!

Тоска одолела Ягну. Подумать только — этакая Настка, и та завела милого дружка, и у той свои радости. У других девушек тоже. К каждой сегодня кто-то вернется...

— Да, все вернутся! — Ее вдруг охватило радостное терпение, и, оставив недоумевающего Енджика, она побежала домой убирать и готовиться к встрече, как все другие, и ожидать, лихорадочно ожидать освобожденных, как ждала их сейчас вся деревня.

Опа весело суетилась, даже запела от радости и несколько раз выбегала поглядеть на дорогу, к которой были прикованы все глаза.

— А вы кого же высматриваете? — неожиданно спросил у нее кто-то из соседей.

Ягну словно обухом по голове стукнули. Она побледнела, руки опустились, как перебитые крылья, сердце задрожало от боли.

Правда, кого ей ждать? Ведь никто к ней не спешит, на свете она одна, как перст! «Вот Антек разве!.. — подумала она с какой-то тревогой. — Антек!» — повторила, тихо вздыхая, и воспоминания замелькали в памяти, как легкие тени, как чудный, но давно сившийся сон. «Может, и вернется, — сказала себе Ягна. — Правда, кузнец только вчера уверял, что его не выпустят с другими, что он останется в тюрьме на долгие годы...»

— Но может быть, все-таки выпустят! — сказала она вслух, мысленно выходя уже к нему навстречу, но без радости, без волнения, с какой-то затаенной глубоко в душе неприязнью. — Ну и пусть себе вернется, мне-то что? — прошептала она сердито.

Мацей что-то забормотал, но она с отвращением повернулась к нему спиной и не стала его кормить, хотя знала, что он именно этого просит по-своему.

— Хоть бы издох наконец! — разозлилась она вдруг и, чтобы не видеть его, опять вышла на крыльцо.

Вальки стучали на берегу, под деревьями краснели юбки прачек. Легкий сухой ветер чуть-чуть касался зеленых верб, и тогда ветви их тихо дрожали. Солнце готовилось выглянуть из-за белесых туч, уже поблескивали лужи, а по глади озера плясали золотые огоньки. Рассеялась туманная завеса дождя, за серыми каменными оградами, как огромные снопы цветов, все отчетливее выступали в ясном воздухе расцветающие сады, полные ароматов и птичьего гомона. Громко стучала мельница, из кузницы разлетались пронзительно-звонкие удары молотов, и деревня, полная шума и суеты, напоминала пчелиный улей.

«А может, и увижу его» — подумала Ягна, подставляя лицо ветру и каплям, скатывавшимся с ветвей.

— Ягуся, работать не пойдешь? — крикнула ей Юзя со двора.

Ягне сегодня и в голову не пришло упираться, она взяла мотыгу и пошла в поле к работавшим там женщинам. У нее больше не было ни сил, ни охоты делать Ганке наперекор, она даже рада была подчиниться приказанию, которое отвлекло ее от раздумья и сомнений. Ее томила непонятная тоска, слезы набегали на глаза, душа рвалась куда-то. Она так рьяно взялась за работу, что оставила всех далеко позади и не давала себе роздыху, не обращая внимания на колкости Ягустинки, не видя враждебных глаз, все время следивших за ней, как злые собаки, готовые вцепиться в нее зубами.

Только по временам она вдруг выпрямлялась — так выпрямляется под ветром дикая груша на меже, отягощенная массой цветов, и, тихо качаясь, глядит на свет тысячу глаз и роняет белые душистые лепестки в волны зеленых колосьев, будто плачет, вспоминая лютую зиму...

Ягна думала иногда об Аптеке, но гораздо чаще вставали у нее в памяти глаза Яся, его красные губы, и милый голос звучал в ее сердце сладко, разгоняя печаль. И, ниже сгибаясь над грядой, она всей силой своей тоски цеплялась за эти воспоминания. Такая уж она уродилась — как хрупкий бересклет или дикий хмель, которым всегда нужно цепляться за какую-нибудь ветку или обвиваться вокруг крепкого ствола, чтобы они могли расти, и цвести, и жить, и если лишить их этой опоры, они легко погибают...

А женщины, напугавшись о ней вволю, сняли уже

платки, так как становилось жарко, и все оживленнее болтали, все чаще потягивались и с нетерпением ожидали полудня.

— Козлова, ты ростом повыше, погляди, не видать еще наших на дороге?

— Ни слуху ни духу! — объявила Козлова, встав на дыпочки, чтобы дальше видеть.

— Больно скоро захотели! Раньше вечера опи не придут... Ведь путь не близкий...

— И пять кабаков по дороге! — не утерпела Ягустинка.

— Ну, не до водки теперь им, бедным!

— Натерпелись, чай, измучились... Шутка сказать, столько времени!..

— И всего-то мучений, что отсыпались в тепле да ели до отвала...

— Ох, уж и отъелись небось на казенных харчах, как боров на крапиве!

— На воле и сухая картошка слаще, — сказала жена Гжели.

— Куда как сладка такая воля!.. Только и пользы от нее бедняку, что может подышать с голоду, как ему вздумается, потому что штрафа за это не берут и в тюрьму не тащат!

— Правда, родимые, правда! А все же неволя хуже всего...

Прибежал Витек звать их обедать и собрал корзины. После полудня сегодня работать не полагалось по случаю крестного хода.

Обед Гапка приказала подавать на крыльцо, так как солнце уже ярко светило и все крыши и цветущие деревья, словно запорошенные ослепительно белым снегом, купались в прозрачном воздухе.

Солнечный день был тих, ветерок касался деревьев легко, как материнская рука, нежно ласкающая личико ребенка.

После обеда никто не пошел в поле работать и даже коров пригнали с пастбищ, только кое-кто из хозяек победнее выводили своих заморенных кормилиц попасться на меже или в овражках.

А когда уже солнце далеко отошло к лесу, люди стали собираться у костела, их тихий говор сливался с щебетом птиц на кленах и липах, достигавших крыши костела своими верхушками, едва тронутыми зеленью. Солнце припекало порядком, как всегда после утрепнего дождя. При-

наряженные женщины стояли группами, некоторые тоскливо поглядывали на дорогу под тополями. У ворот кладбища сидел слепой пищий со своей собакой и тянул заунывную песню, настороженно прислушиваясь ко всему вокруг и протягивая свою тарелочку прохожим.

Скоро вышел ксендз в стихаре и епитрахили, с непокрытой головой. Его лысина так и блестела на солнце.

Крест взял Петрик, потому что Амброжию не под силу было нести его так далеко, а войт, солтыс и одна из самых крепких девушек вынесли хоругви, которые тотчас заплескались на ветру, сверкая яркими красками. Племянник органиста Михал нес святую воду и кропило, некоторым прихожанам Амброжий раздал свечи, а органист с молитвенником в руке стал подле ксендза. Ксендз дал знак, и люди тихо двинулись по деревне, берегом озера, в неподвижной воде которого отражалась вся процессия.

По дороге к ней присоединилось еще много женщин и детей, а в последнюю минуту к ксендзу протолкались мельник и кузнец.

В самом конце процессии, позади всех, плелась старая Агата, часто кашляя, да ковыляя на костылях слепой пищий, по он у моста свернул куда-то, — вероятно в корчму.

Только за мельницей (она не работала, так как и помощник мельника, весь в муке, присоединился к процессии) зажгли свечи, ксендз надел свою черную шапочку, перекрестился и затянул: «Под твою защиту...».

Все подхватили, кто как умел, и с пением двинулись лугами, где еще много стояло луж, а местами ноги увязали по щиколотку в густой грязи.

Заслоняя руками огоньки свеч, бабы потянулись гуськом по узкой тропинке, мелькая красными и полосатыми юбкам, которые сливались как бы в длинную нитку разноцветных бус.

Река, искрясь на солнце, вилась среди зеленых лугов, пестревших полянками желтых и белых цветов.

Реяли над головами хоругви, как большие желтые и красные птицы, впереди качался крест, голоса поющих медленно разносились в неподвижном прозрачном воздухе. Река плескалась о берега, густо усеянные одуванчиками, и плеском своим словно вторила пению. Все взгляды были устремлены вперед, к ясному горизонту, на реку, сверкавшую золотыми чешуйками, и деревни на холмах, едва маячившие в голубой дали белыми лептами цветущих плодовых садов.

Ксендз со своей свитой шел сразу за крестом и пел вместе со всеми.

— Что-то много уток летит! — пробормотал он, скосив глаза направо.

— Это перелетные, — отозвался мельник, глядя за реку, где из низин, поросших желтым прошлогодним камышом и ольхой, тяжело поднимались одна за другой целые стаи.

— И аистов как будто больше, чем в прошлом году.

— Есть у них чем кормиться на моих лугах, вот и тянутся сюда со всех сторон!

— А мой в самый праздник где-то пропал!

— Должно быть, пристал к какой-нибудь стае.

— Что это у тебя на тех вспаханных полосках?

— А это я засадил целый морг конским зубом¹. Мокровато еще тут, но, говорят, лето будет сухое, так, может, он и поднимется хорошо.

— Только бы не так, как мой в прошлом году: и собирать нечего было.

— Куропаткам зато повезло! Много их там вывелось, — вполголоса пошутил мельник.

— Да. Вы ели куропаток, а мои сивки стучали зубами о пустые ясли!

— Если уродится, так я вам уделю возик.

— Спасибо, а то и клевер у меня плоховат. Если будет засуха, пропадет! — горестно вздохнул ксендз и опять запел.

Процессия приближалась к первому межевому бугру, так густо покрытому кустами цветущего терновника, что он казался громадным белым букетом, в котором звенели целые рои пчел.

Люди со свечами окружили его венком дрожащих огоньков, высоко поднялся крест, воткнутый в кусты, развернулись склопенные хоругви, и все стали па колени, словно перед алтарем, на котором в цветах явилось людям священное величие весны.

Ксендз прочел молитву против града, брызнул святой водой на четыре стороны, окропил склопенные головы и все вокруг, весь этот мир, трепетавший тихой радостью роста, силой и счастьем.

Зазвучало опять пение, все вставали с колен, веселые, оживленные.

¹ Конский зуб — кормная трава.

Пошли дальше, свернув сразу палево, через луга. За лугами начинался широкий пограничный выгон, и шествие двигалось между высоких кустов можжевельника, словно стороживших поля. Выгон вился, как широкая зеленая река, волнами колыхалась на нем высокая трава, густо расшитая цветами, и даже старые колеи сплошь заросли желтым молочаем и белой ромашкой.

Кое-где приходилось обходить высокие камни, поросшие терновником. Одинокое стояли дикие груши, все в цвету, звеневшие пчелами и такие прекрасные, что хотелось встать перед ними на колени и целовать землю, породившую их. А подальше клонилась березка в белой рубашке, вся обвитая зелеными расплетенными косами, трепетно-чистая, как девушка, принимающая первое причастие.

Шествие медленно поднималось в гору, обходя липецкие поля с севера, вдоль участка мельника, где уже шумела рожь.

Ксендз шел за крестом, за ним теснились девушки и бабы помоложе, а в конце, поодиночке или парами, плелись старухи. Дети бегали по сторонам, подальше от глаз ксендза, чтобы можно было проказничать на свободе.

Наконец вышли на ровное место. Стало тише, ветер совсем улегся, и хоругви повисли. Процессия растянулась длинной лентой, наряды женщин, как цветы, мелькали среди зелени, оготки свеч золотыми мотыльками порхали в воздухе.

А над всем простиралось высокое чистое небо, и только кое-где виднелось белое облачко, словно овечка, затерявшаяся в необозримых голубых полях, по которым плыло огромное сияющее солнце, заливая мир теплом и светом.

Громче зазвучало пение, грянули изо всей мочи, так что с ближайших деревьев все птицы разлетелись. Порой испуганная куропатка взлетала из-под ног или выскакивал из-за кочки заяц и сломя голову мчался прочь.

— Озимые хорошо поднимаются,— шепотом заметил ксендз.— А тут кто же это так изгадил? Половина павоза осталась в бороздах!

— Тут кто-то из коморниц картошку сажал. Должно быть, па корове пахали.

— Да ведь когда борошить будут, борона все паружу вытащит! Ну и работнички, прах их возьми!

— А это ваш Валек тут бабам помогал,— тихо сказал кузнец.

Ксендза передернуло, но он промолчал и, подпевая

остальным, обводил глазами необъятную ширь полей. Их волнистая поверхность местами округлостью своей напоминала грудь кормящей матери и, казалось, дышала в блаженном избытке сил, готовая накормить и приголубить всех, кто прильнет к ней, чтобы они могли забыть о своей тяжелой доле.

И такие просторы открывались глазам, что вся процессия казалась среди них цепочкой муравьев, а голоса людей звучали не громче трелей жаворонка.

Солнце уже клонилось к закату и золотило поля, от деревьев ложились тени. Липецкое озеро блестело, как зеркало, в раме садов, покрытых белой пеной цветов. Деревня лежала в ложине, словно на дне огромной чаши, заслоненная деревьями, из-за которых лишь кое-где серели амбары. Только костел высился над всем, издали ярко белели его стены, и горел в небе золотой крест.

Справа равнины разливались необозримым серо-зеленым морем, из которого вставали деревни, придорожные кресты да одиноко растущие деревья. Взор птиц несся в эту даль, не встречая нигде границ, кроме чернеющих на горизонте лесов.

— Что-то очень уж тихо! Как бы ночью дождя не было, — начал ксендз.

— Не будет. Видите, как прояснилось и похолодало.

— Да, утром лило как из ведра, а сейчас уже и следов дождя не видно.

— Весна! Мигом все высыхает, — заметил кузнец.

Они дошли до другой межевой насыпи, высокой, как курган. Говорили, что под нею зарыты погибшие во время восстания. На верхушке ее стоял небольшой крест, совсем обветшалый, на нем висели образки и засохшие прошлогодние венки, а сбоку жалась к нему развилстая верба, укрывая его рапы молодыми побегами. Здесь было пустошно и как-то жутко, даже воробы не гнездились в дуплах деревьев, и хотя вокруг лежали пахотные земли, бугор был почти гол, его осыпавшиеся склоны желтели песком, и только островки заячьей капусты, как лишай, местами покрывали его да торчали сухие стебли царского скипетра и прошлогодней белены.

Ксендз отслужил молебен от мора, и все, ускорив шаг, двинулись по узкой тропе, которая, пересекая тополевую дорогу, вела к самому лесу.

Шли тесной толпой. Органист запел молитву, по ему подтягивали лишь немногие, да и то вяло, вразброд, так

как женщины тихо разговаривали между собой, по временам лишь выкрикивая там, где надо, «Моли бога о нас!». Ребятишки бежали впереди и шалили вовсю, а Петрик, озираясь на ксендаа, то и дело сердито ворчал па них:

— Озорники проклятые! Безбожники! Вот как сниму ремени!..

Ксенда, уже порядком уставший, отирал потную лысину и, оглядывая поля, разговаривал с войтом:

— Ого! Тут уже горох взошел!

— Да, ранний, должно быть. И земля хорошо вспахана.

— Я сеял еще на вербной неделе, а только что ростки показались.

— Потому что у нас в низине холодно, а тут земля теплее.

— Вот и ячмень у них уже взошел, и ровный такой, словно сеялкой сеян.

— Модлицкие мужики — хорошие хозяева и поля обрабатывают не по-нашему, а так, как помещики.

— Только на наших полях ни следа еще овса и ячменя!

— Да, запоздали мы, а к тому еще дожди побили всходы...

— А вспахано бог знает как! — огорченно вздохнул ксенда.

— Дареному коню в зубы не смотрят! — засмеялся кузнец.

— Ну, вы, сорванцы, уши оборву, если не перестанете! — прикрикнул ксенда на мальчиков, швырявших камнями в стайку куропаток, которая вспорхнула над полем.

Разговоры сразу утихли. Органист опять зажужжал, кузнец стал вторить ему так громко, что в ушах гудело, а тоненькие голоса женщин сливались в заунывный хор, который тянулся над землей, как вереница птиц, истомленных долгим полетом и падающих все ниже и ниже.

Шли они так среди зеленых полей и пели, а модлицкие крестьяне, работавшие па своих полосах, разгибали спины и снимали шапки. Мычали коровы, поднимая головы, а иногда испуганный жеребенок убегал от матери и мчался куда глаза глядят.

До третьего бугра и креста у тополевой дороги оставалось уже каких-нибудь сто сажений, когда кто-то крикнул во весь голос:

— Из лесу выходят люди!

— Может, это наши?

— Наши! Наши! — грянула толпа, и многие бросились было вперед.

— Куда! Сперва молебеп! — резко приказал ксепдз.

И они остановились, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Еще теснее сбились в кучу, всех так и подмывало бежать навстречу своим, но боялись ксепдза. Впрочем, он и сам прибавил шагу.

Неожиданный порыв ветра погасил свечи и трепал хоругови. Закачались кусты, травы и осыпанные цветами ветви. А толпа хотя и пела все громче, но уже почти бежала вперед, и все глаза были устремлены на близкий лес, где между деревьев у дороги белели мужицкие кафтаны.

— Не толкайтесь, глупые! Не убегут от вас мужики! — стыдил ксепдз женщин, потому что ему уже наступали на пятки.

Ганка, шедшая в первых рядах, даже вскрикнула громко, увидев кафтаны. Хотя она и знала, что Антека среди верзнувшихся нет, она вся дрожала от радости и упоительная надежда наполняла ей душу. Она отошла в сторону, на борозду, и глядела, глядела...

А Ягуся, шедшая рядом с матерью, тоже сорвалась с места, готовая бежать туда, где стояли мужики. Ее то бросало в жар, то бил такой озноб, что зубы стучали. Другие не меньше, чем она, рвались навстречу близким, по которым они так стосковались. Несколько девушек и подростков не вытерпели: хлынули из рядов, как вода из опрокинутого ведра, и, не слушая окриков, полетели напрямик к лесу, только пятки сверкали.

Процессия быстро дошла до креста, от которого уже было рукой подать до последнего бугра, отделявшего липецкие земли от помещичьего леса.

Там, в тени высоких берез, стороживших распятие, стояли группой мужики. Увидев издали крестный ход, они обнажили головы, и глазам женщин предстали любимые лица мужей, отцов, братьев и сыновей, похудевшие, истомленные, но радостные.

— Плошки! Сикоры! Матеуш! Клемб! Гульбас! И старый Гжеля! И Филипп! Родимые вы наши! Горемычные! Иисусе, пресвятая мать божья! — горячо шептали в толпе, и все глаза сияли счастьем, руки тянулись навстречу, уже слышался заглушенный плач, но ксепдз одним громким словом удержал и заставил замолчать всех и, дойдя до креста, спокойно прочел молитву «от огня». Правда, читал

он ее медленно и рассеянно, потому что невольно все время озирался на все стороны и растроганно поглядывал на осунувшиеся лица мужиков.

Только кончив молитву и окропив водой склоненные головы, он спял шапочку и весело гаркнул во весь голос: — Слава Иисусу! Здорово, люди добрые!

Они ответили хором и затеснились к нему, а он, расцеловавшись со всеми по очереди, сел под крестом, отдуваясь от усталости и отирая пот.

Вокруг кипело, как в котле. Говор, смех, звонкие поцелуи, радостный плач, крики ребятишек, горячий шепот, возгласы, подобно песне рвавшиеся из счастливых сердец, сразу забывших о долгой тоске... Каждая женщина уводила своего в сторонку, каждый из вернувшихся, как высокая ель среди кустов, стоял, окруженный женщинами и детьми. Долго это длилось и не кончилось бы до ночи, если бы ксендз не спохватился и не объявил, что пора продолжать крестный ход.

Двинулись к последней межевой насыпи. Дорога шла лесом, между невысоких зарослей можжевельника и молодых сосенок.

Так как прибавилось много народу, то шествие заняло всю дорогу, и, кроме того, многие шли лесом и полями. Все Подлесье кипело людьми, и песня взлетала до самого неба. Но скоро она опала, как туча, когда отгремит гром; подпевали ксендзу только передние ряды, а остальным не терпелось поговорить со своими. Порядок был уже нарушен, толпа рассеивалась во все стороны, каждая семья шла отдельно, многие взяли на руки младших детей, молодые шли парами, тихо разговаривая, а иные забирались в чащу, подальше от людских глаз. Девушки, красные, как спелые вишни, прижимались к своим друзьям, уже никого не стесняясь. Время от времени они, от избытка счастья, запевали так громко, что испуганные вороны улетали из гнезд в поле и от быстрого движения воздуха гасли свечи, а лес откликался протяжным гулом.

Потом опять наступала тишина, в которой слышался только топот ног, залихватистый смех и приглушенный говор в кустах да заунывное бормотание старух, твердивших все одни и те же слова молитвы.

Близился час заката, небо величаво вздымалось, как раззолоченный стеклянный купол, и только два-три облачка пылали пурпуром в его синих просторах. А солнце уже кончало свой путь и висело над лесом. Между могучих

стволов и в зеленой поросли скользили золотые отсветы, а на полянах одиноко растущие деревья пылали ярким огнем, как и притаившиеся в чаще ручейки. Да и весь лес был в огне и красном дыму. Только местами, там, где высокие ели стояли сплошной стеной, как ряд богатырей плечом к плечу, царил мрак, впрочем, и его кое-где разгонял солнечный дождь.

Бор склонялся над дорогой и, казалось, глядел па поля, грея в лучах заката свои пышные верхушки. В нем было так тихо, что отчетливо слышно было, как стучат клювами дятлы. Где-то часто и звонко куковала кукушка, а с полей доходил сюда птичий гомон.

Дорога местами вилась по самому краю полей, и мужики часто прерывали разговор и, теснясь к канаве, отделившей дорогу от поля, шли, не сводя глаз с зеленеющих пашен. Длинные полосы озими колыхались, как вода, с радостным шелестом, словно кланялись верпувшимся хозяевам. А мужики пожирали их глазами, многие даже спинали шапки и крестились, и у всех одинаково трепетали сердца в немом и горячем преклонении перед святой и желанной кормилицей-землей.

Разумеется, после первых приветствий разговоры стали еще оживленнее, радость переполняла все сердца, и не одному хотелось крикнуть на весь лес или припасть к этому полю и заплакать.

Одна только Ганка чувствовала себя обделенной. Вот впереди нее, и позади, и по сторонам шумно пдут мужики, и к ним нежно льнут жены и дети, о чем-то говорят, смотрят друг другу в глаза. Ей одной не с кем слова молвить. Вся толпа так и бурлит неудержимой радостью, а она, шагая среди них, чувствует себя несчастной, покинутой, одинокой, как засыхающее в роще дерево, на котором даже ворона гнезда не вьет и ни одна птица не сядет. С нею мало кто и здоровался — каждый торопился к своим... Что им она? Сколько людей вернулось! Даже Козел тут, и опять придется стеречь от него чуланы да хлевы запирать... Отпустили самых отчаянных бунтовщиков: брата войта, Гжелю и Матеуша. Только Аптека нет... Может быть, она его уже никогда не увидит.

Эти мысли камнем ложились ей на душу, лишали сил, и она уже едва передвигала ноги, но шла с высоко поднятой головой и, как всегда, глядела на всех сурово и гордо. Запевали — она пела с другими, ксендз начинал молиться — и она первая побелевшими губами повторяла за ним

молитву. И только во время долгих промежутков, когда рядом слышался взволнованный, горячий шепот, она устремляла суровые глаза на сверкавший впереди крест и старалась сдерживать предательские слезы, которые нет-нет да набегали на воспаленные веки... Она даже не решилась спросить у кого-нибудь об Антеке — ведь она могла при этом выдать свою муку! Столько уже выстрадано, так неужели теперь она сдастся, не осилит горя? Нет! Стерпит и это, и еще больше! Так она приказывала себе, но чувствовала, что подступают к горлу жгучие слезы, темнеет в глазах и тоска душит ее все сильнее и сильнее.

Не одной Ганке было так тяжело — не лучше чувствовала себя и Ягуся. Она шла в сторонке, настороженная, как пугливая серна. В первые минуты и она в порыве радости помчалась навстречу мужикам и чуть ли не первая добежала до них. Но никто не выскочил из толпы ей навстречу, никто не обнял, не поцеловал. Еще издали увидела она возвышавшуюся над всеми голову Матеуша, и ее горящие глаза обратились к нему, оживило вдруг давно забытое влечение, и она с радостным криком проталкивалась к нему. Но раньше, чем дошла, уже мать повисла на шее у Матеуша, Настуся обнимала его, младшие дети прыгали вокруг, а солдатка Тереза, красная, как свекла, и заплаканная, держала его за руку, не остерегаясь уже чужих глаз.

Ягусю словно холодной водой окатили. Она выбралась из толпы и побежала в лес, сама не зная, что с ней. Минуту назад ей так страстно хотелось радоваться вместе со всеми, быть в толпе, среди веселого шума приветствий. Ведь и в ней бьется живое, горячее сердце, готовое к порывам восторга и счастливым слезам, а приходится идти одной, в стороне от других, как запаршивевшей собаке!

Она вся дрожала от боли и, с трудом сдерживая слезы и жалобы, брела, хмурая, как дождевая туча, которая с минуты на минуту разразится проливным дождем.

Несколько раз порывалась она бежать домой, но жаль было уходить с такого праздника и она слонялась среди людей, как Лапа, ищущий в толпе хозяев. Ее не тянуло ни к матери, ни к брату, который нарочно углубился в лес и не видел ничего, кроме своей Настуси. И другие не обращали на нее внимания. Наконец ее обуяла такая злость, что она с радостью швырнула бы камнем в толпу, в эти веселые, улыбающиеся лица.

Крестный ход уже выходил из леса.

Последний бугор стоял на распутье, отсюда одна из дорог вела прямо к мельнице.

Солнце заходило, из лощины веяло холодом. Ксепдз торопился — его ожидала бричка с Валеком на козлах.

Еще что-то пели, по уже наспех, кое-как, потому что все устали. Мужики тихо расспрашивали жен о пожаре на хуторе, развалины которого видны были отсюда. Да и на помещичьих полях происходило что-то непонятное, вызывавшее всеобщее любопытство.

Помещик ехал по пашням на своем буланом вслед за какими-то людьми, которые длинными шестами вымеряли поле. А на развилине дорог, у креста, и около сожженных стогов стояли чьи-то брички, выкрашенные в ярко-желтый цвет.

— Что это может быть? — спросил кто-то.

— Видишь, поле вымеряют. Да только это не землемеры.

— Купцы, должно быть, па мужиков они не похожи.

— Видать, немцы.

— Вот это верно! Кафтаны сипие, в зубах трубки, а штаны навыпуск!

— Точь-в-точь как голландцы из Грюнбаха.

Так шептались липецкие, с любопытством наблюдая, и какое-то глухое беспокойство начинало охватывать всех. Никто даже не заметил, как кузнец украдкой выбрался из толпы и чуть не ползком бороздами пробирался к помещику.

— Хотят хутор у пана откупить, что ли?

— Еще на пасхе говорили, что пан ищет покупателей.

— Ох, не дай бог иметь немцев соседями!

Разговоры утихли, потому что крестный ход кончился, и ксепдз уже садился в бричку вместе с семьей органиста.

Толпа, разбившись на кучки, медленно потянулась в деревню. Шли и дорогой, и межами, — кому где ближе к дому.

Солнце зашло, и на земле темнело, а па бледно-зеленом небе разгоралась вечерняя заря. С лугов за мельницей поднимался белый пар, расползаясь легкой пряжей по низинам. В тишине, окутавшей все, доносился откуда-то громкий клекот аиста. А голоса людей затихли, и процессия попомногу растворялась в полях, только тут и там еще алела юбка, или белый кафтан мелькал в голубом сумраке.

Вскоре улицы деревни ожили и зашумели, со всех сторон валил народ. Сызнова начались в избах рассказы, пре-

рываемые восклицаниями, горячими поцелуями, взрывами смеха.

Накопец бабы, разгоряченные и словно опалевшие от этого шума, пачали усаживать дорогих гостей за миски, усердно подкладывая им лучшие куски и упрашивая есть.

Забыты были все горести и обиды, долгих месяцев разлуки как не бывало. Каждый от всего сердца радовался возвращению домой и то и дело обнимал своих, прижимал к груди и обо всем расспрашивал.

Наевшись, пошли осматривать хозяйство. Радовались приплоду. Несмотря на темноту, обходили двор, сад, гладили коров и лошадей и даже трогали пальцами осыпанные цветами ветви так любовно, словно гладили детские головенки.

И не опишешь, какое веселье царило в Липцах.

Только у Борян было не так, как у других.

Дом почти опустел — Ягустинка убежала к своим, Юзя с Витеком умчались туда, где былолюдно и весело, и Ганка, оставшись одна, ходила по темной избе, укачивая на руках плакавшего ребенка, дав волю горю и мучительным слезам.

Не она одна так проводила этот вечер: по темному двору ходила, терзаемая такой же печалью, Ягуся, напоминая птицу, которая бьется о прутья клетки.

Она вернулась раньше всех и, сердитая, мрачная, как ночь, набросилась на работу. Хваталась за все, работала за других: выдоила коров, напоила теленка, даже отнесла корм свиньям. Ганка глазам не верила. А Ягуся, никого не замечая, работала, словно хотела работой заглушить тайную горечь.

Но хотя руки ее немели от усталости и поясницу ломало, слезы не высохали и часто жгли щеки, а в душе росла и росла жестокая боль.

Заплаканные глаза ничего не видели вокруг, не замечали и Петрика, который с тех пор, как она вернулась, ни на шаг не отходил от нее, помогал в работе, тихо заговаривал и, с жадностью глядя на нее, частенько придвигался так близко, что она невольно отшатывалась. Дошло до того, что, когда она в амбаре набирала сечку, он обнял ее за талию, прижал к стене и, что-то бормоча, потянулся к ее губам.

Ягуся не сопротивлялась, не догадываясь, к чему дело клонится, она даже как будто рада была покориться чужой воле. Но когда Петрик толкнул ее на солому и она

ощутила на лице его влажные губы, она рванулась вихрем, отшвырнула его, как тряпку, с такой силой, что он шлепнулся на землю.

Она даже затряслась от бешеного гнева.

— Чучело поганое! Свинопас! Посмей только еще раз меня тронуть, так я тебе ноги и руки переломаяю! Покажу я тебе нежности — кровью обольешься! — кричала она, хватаясь за грабли. Но тотчас забыла о нем и, покончив с уборкой, ушла в дом.

На пороге она столкнулась с Гапкой. Они заглянули друг другу в глаза, налитые слезами, омраченные болью, и торопливо разошлись.

Двери в сени были открыты, в комнатах горели лампы, и обе женщины, словно под влиянием какой-то непонятной силы, то и дело смотрели издали друг на друга.

Потом они принялись вместе готовить ужин, но ни одна и рта не раскрыла, ни слова не вымолвила, и только глазами обе украдкой следили друг за другом. Каждая хорошо понимала, какую муку терпит сегодня другая, и часто злорадные, мстительные взгляды скрещивались, как острые ножи, а крепко сжатые губы как бы говорили:

«И поделом! Так тебе и надо!»

Бывали минуты, когда они жалели друг друга и не прочь были заговорить дружелюбно. Каждая только ждала, чтобы начала другая, и готовила уже ласковый ответ. Они даже подходили поближе, выжидательно косясь друг на друга, угасала давнишняя злоба, и сближала их одинаковая судьба и одиночество... Но всякий раз что-то мешало им заговорить: то плач ребенка, то неясное чувство стыда, то внезапно ожившие в памяти обиды. И в конце концов озлобление взяло верх, еще дальше оттолкнуло их друг от друга, и из глаз опять молниями засверкала ненависть.

— И поделом тебе! Поделом! — шипела каждая сквозь зубы, меряя глазами соперницу, опять готовая поссориться, даже подражаться, чтобы выместить раздражение.

Но, к счастью, до этого не дошло, потому что Ягуся тотчас после ужина ушла к матери.

Вечер был тихий и теплый. Звезды только кое-где поблескивали в глубине серого неба, болота курились белым туманом, от них долетал хор лягушек и порой стоны чаек. Земля была окутана мраком, на светлом фоне неба рисовались спящие деревья. В садах, словно обрызганных известкой, благоухали цветущие вишни и едва распустившая-

ся сирень, пахло молодой травой и мокрой землей; каждый запах ощущался отдельно, а все вместе наполняли воздух таким опьяняющим ароматом, что кружилась голова.

В деревне еще не спали, на порогах и завалинках, тонувших в темноте, слышался тихий говор, улыбки, укрытые тенью деревьев и только кое-где прорезанные лучами света из окон, полны были людей.

Ягуся направилась было к матери, но, не дойдя, пошла бродить у озера, все чаще останавливаясь, потому что чуть не на каждом шагу натывалась на какую-нибудь парочку. Встретились ей и брат с Настусей. Он обнимал ее одной рукой и крепко целовал.

Потом она печально спугнула Марысю Бальцеркову с Вавжоном. Эти стояли у плетня, в густой тени, прижавшись друг к другу и забыв все на свете.

Она узнавала по голосу и другим. Из каждой тени на берегу, из-под плетней, отовсюду слышался шепот, слова, тихие, как дыхание, страстные вздохи и шорохи. Даже девочки-подростки гуляли сегодня с мальчишками, бегали наперегонки и веселились.

От всего этого Ягусе вдруг стало тошно, и она, стараясь избежать встреч, пошла прямо к матери, но у самого дома столкнулась лицом к лицу с Матеушем. Он даже не взглянул на нее, прошел, как проходят мимо дерева. С ним шла Тереза, он обнимал ее и что-то говорил. Они прошли, а Ягуся еще слышала их голоса и тихий смех.

Она вдруг повернула обратно и стремглав, словно за ней гнались собаки, побежала домой.

А теплый весенний вечер, проникнутый радостью встреч, освященный тишиной счастья, проходил и ничем нельзя было удержать его.

Где-то во мраке, в саду или в поле, запела свирель. Ее томительные звуки словно вторили страстному шепоту и звукам поцелуев.

На болотах звел громкий хор лягушек, часто обрываясь, и со стороны озера, затуманенного, как сонные глаза, им отвечали другие протяжным, замирающим кваканьем. Бегавшие по улицам дети вздумали с ними состязаться и, передразнивая их, затаили:

Ква-ква-ква!
Ах! издох!
Я рада, ты рада,
Обе мы рады,
Рады, рады, рады!

День вставал чудесный, веселый и свежий, как хорошо выпавшийся человек, который, как только проснется, сразу вскакивает и, едва протерев глаза, уже хватается за работу. Большое красное солнце медленно поднималось на высокое небо, как на необъятное поле, на котором лежали бесчисленные стада белых облаков.

И ветер гулял уже по свету, как хозяин, который будит всех спозаранку, перебирал оцепеневшие от ночного холода колосья, дул на туман, разгоняя его во все стороны, тормозил тяжело повисшие ветви деревьев, гудел на перекрестках и, подкравшись тихонько к еще спавшим садам, с такой силой врывается в чащу деревьев, что с вишен сыпались последние цветы, снегом покрывали землю и падали, как слезы, на поверхность озера.

Земля просыпалась. Запели птицы, зашептались деревья, цветы поднимали навстречу солнцу еще сонные, влажные ресницы, сверкающая роса сыпалась градом жемчуга.

Долгий блаженный трепет объял все, что вновь пробуждалось к жизни, и откуда-то из глубины земли, из недр бытия, грянул немой крик и молнией пролетел над миром. Так человек, когда его мучит тяжелый сон, мечется, замирает от страха и вдруг откроет глаза, увидит сияние солнца и криком ошеломительного счастья приветствует день, радуясь, что он еще среди живых, забывая, что наступивший день — это еще один день трудов и страданий, такой, как был вчера, какой придет завтра, какие будут всегда.

Просыпались и Липцы. Из дверей высовывались взломаченные головы, вода вокруг заспанными глазами. Умывались у крылечек, бежали к озеру по воду полуодетые женщины. Кто-то рубил дрова, выезжали на дорогу телеги, над трубами расцветали в воздухе кольца дыма, слышно было, как в избах кричат на ленивцев, не хотевших вставать.

Было еще рано, солнце стояло невысоко над восточным краем неба и сбоку пронизывало красными лучами темные сады. А в деревне уже все было в движении.

Ветер уgomонился, и все наслаждалось тишиной свежего, благоуханного утра. Солнце играло в озере и ручьях, с крыш текли жемчужные струйки, ласточки посилились в прозрачном воздухе, аисты летели из гнезд на луга искать корм, на плетнях пели петухи, весело хлопая крыльями.

ми, а гуси, озабоченно гогоча, вели своих гусенят к розовеющему озеру. У порогов и во дворах торопливо доили коров, из всех ворот выгоняли на дорогу скот. Коровы шли, покачивая боками и протяжно мыча, терлись о плетни и деревья, а овцы, задрав головы, бежали среди дороги, поднимая облака пыли. Всех их гнали па площадь перед костелом, где два подростка верхом, свистя кнутами и громко ругаясь, сгоняли вместе разбегавшееся стадо и орали на опоздавших пастухов.

Все стадо двинулось па дорогу под тополями и скоро скрылось из виду в туче пыли, красной от солнца. Только блеяние овец и лай собак в этом густом тумане указывали, где оно движется.

Скоро и пастушки погнали стада белых, крикливых гусей, а некоторые вели стельных коров пастись на межу или тащили за гривы стреноженных лошадей на паровое поле.

Кончилась утренняя суeta, но в деревне не стало тише, так как все собирались на ярмарку.

Прошла уже неделя с возвращения мужиков из тюрьмы, и в Липцах все понемногу входило в колею. Как после сильной бури, наделавшей много вреда, люди, оправившись от тревоги, со вздохами и жалобами принимались за кропотливую работу восстановления.

Правда, не все еще шло как следует. Мужики хоть и взяли опять хозяйство в свои твердые руки, но ленились рано вставать, подолгу нежились под перипамн. Не один частенько заглядывал в корчму — якобы узнать новости об их деле в суде. Иные полдня слонялись по деревне и болтали с кумовьями, другие кое-как управлялись только с самой неотложной работой, — нелегко было после долгого перерыва сразу рьяно приняться за дело. Но с каждым днем они все больше втягивались в работу, все реже появлялись в корчме и на улицах, с каждым днем пужда все крепче хватала людей за шиворот и гнула к земле, запрягая их в ярмо тяжелого повседневного труда.

Но сегодня почти никто не вышел в поле, — все собирались в Тымов на ярмарку.

В этом году запасы истощились раньше, задолго до нового урожая, и наступило такое трудное время, что в избах стон стоял. Вот потому-то все, у кого еще было что продать, спешили на ярмарку. А иные ехали просто для того, чтобы встретиться со знакомыми из соседних деревень, кое-что повидать и выпить рюмочку-другую. Ведь

у каждого были свои заботы, а где и развлечься людям, как не на ярмарке или на храмовом празднике? Где душу отвести, подбодриться, услышать что-нибудь новенькое?

И вот как только выгнали скот на пастбище, все начали собираться, запрягать лошадей, а те, кому предстояло идти пешком, выходили в путь спозаранку.

Первыми двинулись бедняки. Филипка с плачем погнала продавать шесть старых гусей, разлучив их с едва подростшими гусятами: муж ее, выйдя из тюрьмы, захворал, а дома нечего было есть.

Кто-то тащил за рога телку. А так как у нужды, как говорится, руки длинные и до всех доберутся, то и криворотый Гжеля, у которого земли было целых восемь моргов, повел па ярмарку дойную корову, а сосед его, Юзеф Вахник, — свинью с поросятами.

Изворачивались бедняки, как могли. Иному уже так туго приходилось, что последнюю лошадедку вел на продажу, как, например, Гульбас. Бальцеркова подала на него в суд, требуя пятнадцать рублей, которые он когда-то занял у нее на корову, и теперь ему грозила опись имущества. Бедняга волей-неволей сел на гнедого и поехал его продавать, провожаемый ропотом, плачем, причитаниями всей семьи.

Телеги медленно выезжали одна за другой — зажиточные хозяева тоже везли продавать, что только можно, потому что войт требовал уплаты податей и грозил всякими карами. Хозяйки ехали каждая со своим добром: из-под платков кудахтали куры, шипел на возу жирный гусь, а те, что шли пешком, несли яйца в узелках, масло, накопленное тайком от детей, а кое-кто и парадную юбку или кусок полотна. Всех нужда поприжала, до нового урожая было еще далеко.

Все так спешили, что даже обедню в костеле сегодня ксендз отслужил гораздо раньше обычного, и солдатка Терезка, у которой было какое-то дело к нему, пришла в ту минуту, когда он уже шел домой завтракать. Она не посмела его остановить и стала дожидаться у ограды. Наконец ксендз вышел на крыльцо, но прежде чем она успела подойти к нему, сел в бричку и приказал скорее везти себя в Тымов.

Терезка, горько вздыхая, долго еще смотрела па дорогу, где поднималась пыль и серой тучей ложилась на поля. Стук колес замирал уже вдали, и только красные платки

жепщин, шедших гуськом по сторонам дороги, мелькали иногда между деревьями.

Скоро в Липцах все затихло, даже мельница не громыхла и кузница была заперта, а улицы совсем опустели. Те, кто не уехал на ярмарку, возились во дворах и на огородах за хатами.

Терезка, сильно чем-то обеспокоенная, вернулась домой.

Она жила за костелом, рядом с Голубами, в избенке, состоявшей из одной комнаты с сенцами. Другую половину избы брат при разделе отрезал и перенес на свой участок, и теперь перепиленные стропила крыши торчали, как сломанные ребра.

Стоявшая на пороге Настка увидела Терезу — их избы разделял только узенький садик.

— Ну что? Он тебе прочитал? — крикнула она, подбегая.

Терезка, остановившись у плетня, рассказала о своей неудаче.

— А может, органист прочитает? Оп, должно быть, по-писаному читать умеет.

— Наверное, умеет, да как я с пустыми руками к нему пойду?

— Возьми несколько яиц.

— Мать все понесла в город, только утиные остались.

— Не беспокойся, он и утиные возьмет.

— Пошла бы, да боязно мне как-то! Если бы знать, что тут написано!

Она достала из-за пазухи письмо от мужа, которое войт привез ей вчера вечером из волости. Что там может быть?

Настка взяла у нее из рук исписанный листок, присела под плетнем и, расправив письмо на коленях, опять принялась с большим трудом разбирать его. А Тереза села на приступке и, подпирая руками подбородок, со страхом смотрела на непонятные строчки. Настка разобрала только первую, где написано было: «Слава господу нашему Иисусу Христу».

— Нет, дальше не разберу, нечего и стараться! Вот Матеуш наверняка прочитал бы!

— Нет, нет! — Терезка густо покраснела и тихо попросила: — Не говори ты ему про письмо, Настуся, не говори ничего!

— По-печатному я из любой книжки прочту, буквы я хорошо знаю... Ну, а тут ничего не могу понять, все какие-

то закорючки, словно муху кто обмакнул в чернила да пустил на бумагу.

— Не скажешь ему, Настуся, нет?

— Уж я тебе и вчера говорила, что не стану мешаться в ваши дела. Вернется твой — все и так непременно откроется! — сказала Настка, вставая.

Терезка захлебывалась слезами и не могла выговорить ни слова.

Настка почему-то вдруг рассердилась и ушла, сзывая по дороге кур, а Терезка, завязав в узелок пяток утиных яиц, поплелась к органисту.

Но, видно, нелегко ей было, она то и дело останавливалась и, укрываясь в тени, с тревогой всматривалась в непонятные буквы письма.

«А может, его уже отпускают?»

Страх сжимал ей горло, ноги подкашивались, а сердце так отчаянно билось, что она прислонялась к деревьям и заплаканными глазами смотрела вокруг, словно ища спасения.

«Или, может, он только насчет денег пишет!»

Она шла все медленнее, беспрестанно вынимая из-за пазухи письмо, словно оно давило или жгло ее, и наконец завязала его в платок.

У органиста как будто никого не было дома: двери стояли открытыми настежь, но в комнатах было пусто, только в одной, где окно было завешено юбкой, кто-то громко храпел под периной.

Терезка робко прошла через сени и окинула взглядом двор. На пороге кухни сидела служанка и, поставив меж колен кадку, сбивала масло, отгоняя веткой мух.

— А где же хозяйка?

— На огороде, сейчас ее услышите!

Терезка стала в сторонке, комкая письмо в руке, и падвинула платок на глаза, потому что солнце выходило уже из-за крыш.

На дворе ксепдза, по ту сторону забора, слышались крики домашней птицы. Утки плескались в лужах, молодые индюшки кряхтели где-то под плетнем, а индюки, растопырив крылья, воинственно насакивали на валявшихся в грязи поросят. Из-под стены амбара взлетали голуби, кружили в воздухе и снежной тучей садились на красную крышу плетения. С полей тянуло влажным теплом, расцветшие сады купались в солнечном свете, и осыпанные цветами яблони выглядывали из зелени, как белые

облака, обрызганные зарей. Пчелы с тихим жужжапием летели на работу, мелькали в воздухе мотыльки, как цветочные лепестки, порой стая воробьев с шумом падала с деревьев на плетень.

У Терезки вдруг полились слезы из глаз.

— Органист дома? — спросила она, отвернувшись.

— Где ж ему быть? Ксендз уехал, вот он и вылеживается, как боров!

— А ксендз, должно быть, на ярмарку поехал?

— Да, быка хочет купить.

— Еще быка? Мало ли у него скота!

— У кого много, тому еще больше хочется, — буркнула служанка.

Терезка помолчала. Горько ей стало при мысли, что вот у людей всего по горло, а она едва-едва сводит концы с концами и часто голодает.

— Хозяйка идет! — воскликнула служанка и так усердно завертела колотушкой в маслобойке, что сметана брызнула через край.

— Это твои штучки, бездельник! Ты нарочно пустил лошадь в клевер! — раздался в саду визгливый голос жены органиста. — Ленъ было на паровое ее выгнать! Господи Иисусе, ни на кого положиться нельзя! Добрых две сажени клевера пропали! Вот скажу сейчас дяде, так он тебе, дармоед, такую баню задаст, что долго будешь поминать!

— Я ее выгнал на перелог и своими руками стреножил и привязал к колышку!

— Не ври. Вот дядя с тобой поговорит!

— Говорю вам, тетя, я ее на клевер не пускал.

— А кто же? Ксендз, что ли? — иронически спросила тетка.

— Угадали, тетя, ксендз своих лошадей там пас, — сказал Михал, повысив голос.

— Очумел, хлопец! Заткни глотку, а то еще кто-нибудь услышит!

— Не буду молчать, в глаза ему скажу, потому что я сам видел! Вы вот на меня кричите, а клевер-то ксендз потравил! Пришел я на заре за нашими лошадьми, — гнедой лежал, а кобыла паслась. Они там и были, где я их на почь оставил. Следов там много, можете проверить, еще свежие. Отвязал я их и сел на гнедого, гляжу, в нашем клевере чьи-то лошади пасутся! Еще только начинало светать, я тропкой подобрался к огороду ксендза, чтобы их

перехватить. Выхожу на дорожку Клемба, а там ксендз стоит с требником, оглядывается по сторонам и кнутом загоняет лошадей все дальше в клевер...

— Тиме, Михал! Слыханное ли это дело, чтобы сам ксендз... Давно я говорила, что сено наше в том году... Тиме, там какая-то баба стоит!

Опа поспешно прошла вперед, а тут как раз и органист с постели стал звать Михала.

Терезка подала хозяйке узелок с яйцами и, низко поклонившись, робко попросила прочесть ей письмо мужа.

Та велела ей подождать. И только через полчаса ее позвали в комнаты. Органист, совсем раскисший, в одном белье, стал читать вслух, прихлебывая кофе.

Терезка слушала с замирающим сердцем. Муж писал, что к жатве вернется домой вместе с Кубой Ярчиком из Вольки и Гжелей Борыной. Письмо было ласковое, он заботливо осведомлялся о ее здоровье, обо всем, что делается дома, посылал поклоны знакомым и, видно, очень рад был, что скоро вернется. В конце была приписка Гжели — просьба сообщить отцу о его скором приезде. Бедняга не знал ничего о несчастье с Матеем.

Но Терезку теплые, ласковые слова мужа хлестали, как плетью, пригибали к земле. Она крепилась, чтобы не заметили другие, пыталась спокойно принять страшную весть, но предательские слезы горячими струйками потекли по щекам.

— Ишь как рада, что муж вернется! — насмешливо пробормотала жена органиста.

У Терезки слезы посыпались уже градом. Убежала бедняжка, чтобы не заплакать в голос, и долго пряталась от людей под чьим-то плетнем.

— Что мне, сироте, теперь делать? Что? — шептала она в безнадежном отчаянии.

Ясное дело, вернется муж и все узнает!

Страх лютым вихрем охватил Терезку. «Ясек — хороший человек, но горячий, как все Плошки, обиды не простит, убьет еще, пожалуй, Матеуша! Господи, спаси и помилуй!» О себе она не думала.

Плача и терзаясь этими мыслями, она и не заметила, как очутилась у Борыц. Ганки дома не было, она еще рано утром уехала в город. Ягна работала у матери, и дома были только Юзя и Ягустинка, расстилавшие в саду смоченный холст.

Терезка рассказала о Гзеле и заторопилась уходить,

по старуха отвела ее в сторону и сказала тихо и удивительно мягко:

— Опомнись, Терезка! Пора тебе за ум взяться, — ведь злых языков не обрежешь!.. Вернется Ясек — все равно узнает. Ты о том подумай, что милый дружок на месяц, а муж — на всю жизнь! Я тебе добра желаю.

— Что вы такое говорите? — лепетала Терезка, словно не понимая.

— Не прикидывайся дуручкой! Про вас все знают. Прогони ты Матеуша, пока не поздно, — тогда Ясек людям не поверит, он по тебе небось стосковался, так ты ему что угодно втолкуешь. Матеушу полюбила твоя перина, да ведь не прирос он к ней, прогони его, пока еще есть время! Не бойся, и Ясек тоже не замухрышка какой-нибудь. А любовь пройдет, как вчерашний день, не удержишь ее, хотя бы ты жизнь за нее положила! Любовь все равно что жирная приправа к воскресному обеду: будешь есть ее каждый день, так она быстро тебе приестся и отрыгивать станешь. Вот люди говорят: «Девичья любовь — слезы, а бабья жизнь — могила». Может, оно и правда, да могила эта с мужем и ребятишками лучше, чем вольная жизнь в одиночку. Ты не реви, а спасайся, пока не поздно! Если муж тебя за эту любовь бросит да из дому выгонит, куда пойдешь? По чужим людям, на позор и погибель? Ох, как хорошо — променял дядя топор на палочку! Упадешь с воза, так беги потом за ним высунув язык! Против ветра живо дух захватит, из сил выбьешься, а не догонишь! Дура ты, дура! Все мужики из одного теста, все равно — Матеушем его звать или Кубой! Каждый клянется, пока своего не добьется, каждый — что мед, пока ты ему мила. Ты хорошенько это запомни и подумай над тем, что я тебе говорю, — ведь родня я тебе и добра тебе желаю!

Терезке было уже невозможно. Она убежала в поле и, зарывшись в рожь, дала наконец волю слезам и горю.

Напрасно пыталась она подумать над тем, что сказала Ягустинка, — каждую минуту ее охватывала такая тоска по Матеушу, что она, рыдая, металась на земле, как раненый зверь.

И только крики, раздавшиеся неподалеку, заставили ее вскочить.

Где-то — ей казалось, что это у дома войта, — шла ожесточенная перебранка.

И в самом деле, это ссорились жена войта с Козловой, ругая друг друга последними словами.

Стояли каждая у своего плетня — их разделяла только улица — в одних рубахах и юбках и, задыхаясь от злобы, орала изо всех сил, грозя друг другу кулаками.

Войт запрягал лошадей в бричку, изредка перекидываясь несколькими словами с мужиком из Модлицы, сидевшим па крыльце. А мужик даже ногами топал от удовольствия, возгласами подзуживая женщин.

Крики их разносились далеко вокруг, и люди начали сбегаться, как на потеху. Уже много зрителей стояло на улице, у всех соседних плетней, из-за всех углов торчали головы.

Ох и ругались же они! Жена войта, всегда тихая и миролюбивая, сегодня словно взбесилась и все больше и больше свирепела, Козлова же нарочно давала ей пакряться и потом, слово за слово, хладнокровно язвила ее пасмешливыми замечаниями.

— Визжи себе, пани войтова, визжи, тебя ни один пес не перещеголяет!

— Разве это в первый раз? Недели не проходит, чтобы у меня из хаты что-нибудь не пропало! То куры, то цыплята, то утки, даже старая гусыня! А с огорода, из сада сколько украдено — и не счесть! Чтоб ты подавилась моим добром! Чтоб тебя скрючило! Чтоб ты под забором околела!

— Каркай, ворона! Дери горло, если тебе от этого легче, пани войтова!

— А нынче, — обратилась жена войта к появившейся на улице Терезке, — вынесла я утром белить пять кусков полотна. Прихожу после завтрака мочить их, смотрю — одного не хватает! Ищу — нет нигде, как сквозь землю провалился! А был камнями придавлен, и ветра нет! Полотно тощее, льняное, не хуже фабричного — и пропало!

— Глаза жиром заплыли, как у свиньи, вот и не доглядела!

— Это ты мое полотно украла! — крикнула жена войта.

— Я! Ну-ка повтори, повтори еще раз!

— Воровка! Перед всем светом скажу! Погонят тебя в кандалах в острог, тогда небось сознаешься!

— Воровкой меня называет! Слышите, люди добрые? Как бог свят, подам в суд — все слышали! Я украла? А свидетели у тебя есть? Чем докажешь?

Жена войта, схватив кол, выбежала на улицу. Наскакивая на Козлову, как разъяренная собака, она кричала:

— Я тебе палкой докажу! Лучше всяких свидетелей! Вот как дам...

— А ну-ка подойди, папи войтова! Тропь только меня. чучело собачье! — завизжала и Козлова, выбегая ей навстречу.

Она оттолкнула мужа, который пробовал ее удержать, и, подбочеясь, шагнула к жене войта, насмешливо дразня ее:

— Ударь, ударь, самой тогда не миновать острога!

— Заткни глотку, не то раньше засажу тебя под замок! — крикнул войт.

— Бешеных собак запирай, это твое дело! А бабу свою лучше держи на привязи, чтобы она на людей не кидалась! — завопила Козлова, окончательно выйдя из себя.

— Опомнись, баба, с тобой начальство говорит! — грозно сказал войт.

— А начхать мне на такое начальство! Ишь грозить еще вздумал! Сам, может, полотно это взял — полюбовнице какой-нибудь на рубаху! Видно, мирских денег уже не хватило, пропил ты их, пьяница! Знаем все про твои делишки! Посидишь и ты, начальник, ой посидишь!

Тут уж и войт и жена его не выдержали и набросились на Козлову, как волки. Жена первая ударила ее палкой по голове и с диким воем вцепилась в волосы, а войт начал дубасить ее кулаками куда попало.

Бартек бросился выручать жену, все четверо сбились в клубок, и не разобрать было, чьи кулаки молотят, как пепами, чьи головы мотаются из стороны в сторону, кто кричит. Они перекатились от плетня на улицу, как подхваченный ветром сноп, и в конце копцов упали на землю, поднимая пыль. Их крики и ругань неслись по всей деревне, а соседки, причитая, растерянно теснились вокруг, пока наконец прибежавшие мужики не разняли дерущихся.

Плач, угрозы, проклятия не утихали. Соседи поспешили разойтись, чтобы не попасть в свидетели, и рассказывали всем по секрету, как войт и его жена избили Козлову.

Вскоре войт с опухшим лицом, взяв с собой жену, которая тоже была вся в синяках и царапинах, первый уехал подавать жалобу. А через час двинулись и Козловы, старик Плошка очень охотно и даже даром взялся отвезти их в город, чтобы оказать «дружескую услугу» войту.

Они отправились в таком виде, как были после драки, не приведя себя хотя бы немного в порядок. И нарочно

ехали через всю деревню шагом, чтобы по дороге можно было всем рассказать, как их избили, показать рапы каждому, кто только хотел смотреть.

У Козла голова была рассечена до кости и кровь заливала лицо, шею и грудь, которая видна была из-под разорванной рубахи. Не так уж ему было больно, но он каждую минуту ощупывал себя и отчаянно вопил:

— Ох, мочи нет! Все ребра мне переломал! Спасите, люди, спасите, помираю!

А Магда жалобно вторила ему:

— Дубиной его колотил! Тише, бедный ты мой! Избил он тебя, как собаку, ну да есть еще суд и управа на разбойников, есть! Дорого он за это заплатит! Хотели его забить до смерти — люди видели! Они едва его оторвали — все это на суде честно покажут!

Магда и сама была так избита, что ее с трудом узнавали. Ехала она с непокрытой головой, и видно было, что волосы во многих местах вырваны вместе с кожей, уши надорваны, глаза залиты кровью и все лицо так исцарапано ногтями, как будто по нем борона прошлась. И хотя все знали, какое зелье эта баба, но ее искренно жалели.

— Так людей покалечить, стыд и срам! Ведь еле живы оба!

— Что, здорово их разделал? И мясник так не сумеет! Пану войту ведь все дозволено, — начальство, важная особа! — ехидно говорил Плошка, обращаясь к пароду.

И так он этим всех взбудоражил, что долго еще после отъезда Козловых деревня не могла успокоиться.

Терезка, со страху прятаясь где-то во время драки, вылезла из своего убежища, когда обе стороны уже отправились подавать в суд.

Она тотчас зашла к Козлам, так как Бартек приходился ей двоюродным братом. В избе не было никого, и только на дворе у стены сидели трое детей — подкидышей, привезенных Магдой из Варшавы.

Дети, прижавшись друг к другу, жадно грызли полу-сырую картошку, с визгом отбиваясь от поросят. Они были такие худенькие, жалкие и грязные, что у Терезки защемило сердце. Она перенесла детей в сени и, заперев дверь, помчалась домой с новостями.

У Голубов она застала одну Настку.

Матеуш еще до завтрака ушел к Стаху, зятю Былицы. Они вместе осматривали развалившуюся избу, советуясь,

как ее привести в порядок. Былица ходил за ними и время от времени вставлял свое слово.

А пап Ядек, по обыкновению, сидел на пороге, курил и свистом сзывал голубей, круживших над черешнями.

Время близилось к полудню, и разогретый воздух над полями дрожал и переливался, как вода. Папши и сады заглядывались на солнце, порой с черешни слетали лепестки цветов, порхая по траве, как бело-розовые мотыльки.

Матеуш кончил осмотр и, постукивая топором по степам, сказал решительно:

— Совсем сгнило все, одна труха, ничего из этих бревен не сделаешь! Зря только будем время терять.

— Может, докупить немного лесу, и тогда...— умоляюще сказал Стах.

— Докупите на целую избу, а из этого гнилья не выбрешь ни одного бревна.

— Бога побойтесь!

— Да ведь балки еще выдержат, только углы бы дать новые. И стены подпорками подпереть да скрепами стянуть...— бормотал старый Былица.

— Если вы такой мастер, так и ставьте себе сами, а я из трухи не умею!— сердито отрезал Матеуш, надевая жилет.

Подошла Веронка с ребенком на руках и запыла:

— Что же мы теперь делать будем, что?

— Рублей триста, не меньше, надо на новую избу!— озабоченно вздохнул Стах.

— А если только одну горницу с сенцами?

— Ведь сколько-нибудь дерева можно привезти из нашего леса... Хоть немного, а остальное докупим. Тогда хватило бы. Попросить разве в волости?

— Как же, дадут вам сейчас, когда из-за леса тяжба идет! Даже хворост собирать запрещено. Подождите, пока дело кончится,— советовал Матеуш.

— Жди у моря погоды! А куда же нам зимой деваться!— крикнула Веронка и горько заплакала.

Все молчали. Матеуш собирал свои плотничьи инструменты, Стах чесал затылок, а Былица, прячась за угол, усиленно сморкался, и в унылой тишине слышались только всхлипывания Веронки.

Вдруг пап Ядек встал и сказал громко:

— Не плачьте, Веронка, лес на избу найдется.

Все, ошеломленные, смотрели на него, разинув рты. Матеуш первый опомнился и захохотал:

— Умный обещает, а дурак радуется! Самому при-
ткнуться негде, а другим избы вздумал раздавать! — ска-
зал он резко, исподлобья глядя на папа Яцека.

Тот, ничего не отвечая, снова сел на пороге, закурил
папиросу и, пощипывая бородку, смотрел на небо.

— Погодите маленько, он вам скоро, пожалуй, и целую
усадьбу пообещает, — заметил Матеуш, смеясь и пожимая
плечами.

Он скоро ушел, свернув на тропинку за овинами.

Сегодня на огородах работало мало народу. Матеуш
почти никого не встречал по дороге. Кое-где только из-
дали мелькала красная юбка. Один мужик чинил кры-
шу, другой что-то мастерил в воротах овина, выходивших
в поле.

Матеуш не спешил. Он охотно останавливался потол-
ковать со встречаемыми о драке войта с Козлом, весело
ухмыляясь, заигрывал с девушками, а баб забавлял шут-
ками, такими солеными, что на огородах не утихал смех.

Не одна женщина, вздыхая, глядела ему вслед, потому
что парень он был красивый, рослый, как дуб, и над всеми
липедскими парнями король: первый после Антека сылач,
танцор не хуже Стаха Плошки и умница. А к тому же
мастер на все руки: он и телегу сколотит, и печь поставит,
и хату постройт. И на флейте играл хорошо. Хотя земли
у него почти не было и деньги не держались, — очень уж
он был щедр, — многие матери рады были бы пропить с
ним хоть целого теленка, только бы женить его на дочке,
и не одна девушка позволяла ему всякие вольности, паде-
ясь, что он после этого скорее женится на ней.

Но все их старания ни к чему не вели. Он пил с мате-
рями, гулял с девушками, а от женитьбы увертывался,
как угорь.

— Выбрать одну нелегко, все хороши, а подрастают
еще лучшие... Так я уж подожду! — говорил он свахам,
предлагавшим ему невест.

А этой зимой он сошелся с Терезкой и жил с ней чуть
не на глазах у всей деревни, не обращая внимания на
сплетни и угрозы.

— Приедет Ясек, так я ее верну ему. Он еще мне
бутылку водки поставит за то, что я его жепу берег, — по-
шутил он как-то в компании приятелей вскоре после вы-
хода из тюрьмы. Терезка ему уже наскучила, и он все
больше избегал ее.

Вот и сейчас он пошел домой той дорогой, что подлин-

нее, мимо огородов, чтобы побалагурить с девушками. И совсем неожиданно наткнулся на Ягусю, она полола на огороде матери.

— Ягуся! — воскликнул он радостно.

Ягуся выпрямилась, будто стройная мальва выросла над грядой.

— Заметил меня наконец? Вот какой прыткий, целую неделю уже в деревне, а только теперь...

— Да ты еще краше стала! — сказал он, с восторгом любуясь ею.

Юбка у нее была подоткнута и открывала ноги до колен, из-под красного платочка, завязанного под подбородком, синели огромные лучистые глаза, белые зубы блестели меж вишневых губ, и разругавшееся, как яблочко, прелестное лицо так и просило поцелуев. Гордо подбоченившись, она так пристально смотрела на Матеуша, что того пронизала дрожь. Он оглянулся по сторонам и подошел ближе.

— Целую неделю тебя ищу, высматриваю везде — и все напрасно!

— Ври больше! Каждый вечер зубоскалит под плетнями, каждый вечер другую девушку обхаживает, а теперь вздумал меня морочить!

— Так-то ты меня встречаешь, Ягусь?

— А как же еще тебя встречать? Может, в ноги тебе поклониться да благодарить за то, что вспомнил про меня?

— Не так ты меня в прошлом году встречала!

— Мало ли что было — да прошло! — Она отвернулась, пряча лицо, а Матеуш вдруг шагнул к ней и жадно обнял.

Она сердито вырвалась.

— Не тропь! Терезка мне за тебя глаза выцарапает!

— Ягусь! — стоном вырвалось у Матеуша.

— Прибереги нежности для своей солдатки! Ступай к ней, пачкай ее, пока муж не вернулся. Она тебя откармливала в остроге, издержалась на тебя, так отработывай теперь!

Она хлестала его этими словами, как кнутом, и столько в них было презрения, что у Матеуша язык отнялся.

Он от стыда покраснел как рак, съежился и торопливо ушел.

Ягпа сказала только то, что думала и что мысленно твердила Матеушу всю неделю, но сейчас же пожалела об этом: не ожидала она, что он рассердится и уйдет.

«Глупый! Ведь я это только так сказала, без всякой злобы! — думала она, огорченно глядя ему вслед. — И чего он так рассердился!»

— Матеуш!

Но он не слышал, он бежал через сад, как будто за ним гнались.

— Злая оса! Стерва! — бормотал он и бежал прямо домой. Гнев его постепенно сменялся удивлением. Ведь Ягна всегда была такая овечка, рта раскрыть не смела! А сейчас прогнала его, как собаку! Стыд жег его, он осмотрелся: не слышал ли кто, как она его честила?

«Терезкой попрекает, глупая! Что мне эта солдатка? Забава, и только! А как она глазами сверкнула! Как подбоченилась красиво! Каким жаром веет от нее! О господи, от такой и в морду получить не стыдно, только бы добраться до меду...» Разомлевший от этих мыслей, Матеуш невольно замедлил шаги, подходя к дому.

«Сердится за то, что я ее позабыл... Правда, я виноват... И за Терезку... — Он поморщился, словно уксусу хлебнул. — Надоела эта плакса, опротивело постоянное пытье! Не венчался я с ней, так и не обязан век за нее держаться, как за коровий хвост! Ведь у нее муж есть! Дождусь еще, что ксендз начнет срамить с амвона! С такой и сам раскиснешь! Черт бы побрал этих баб!»

Дома он накричал на Настку за то, что обед еще не готов, и зашел к Терезке. Она в саду доила корову и, услышав его шаги, подняла на него глаза, печальные, еще влажные от слез.

— Чего ревела?

Она тихо оправдывалась, не сводя с него влюбленного взгляда.

— Ты бы лучше на вымя смотрела, брызжешь молоком на юбку!

Он был сегодня суров, не приласкал ее, и Терезка ломала голову, гадая, что с ним. Она вся сжалась, как испуганный кролик, и скоро замолчала совсем, заметив, что каждое ее слово раздражает Матеуша.

Матеуш делал вид, что ищет чего-то в саду и у дома, а сам исподтишка посматривал на нее и все больше недоумевал:

«Да где же у меня глаза были? Этакая замухрышка, кожа да кости! Кислятина! Околдовала она меня, что ли?»

Глаза у нее, правда, были красивые, не хуже чем у Ягуси, огромные, голубые, как небо, оттененные черными

бровями. Но встречаясь с ними, Матеуш невольно отворачивался и ругался про себя:

— Ишь таращит зенки, как теленок! Вот пазло не посмотрю на тебя, не притяпешь меня, нет!

Эти пристальные взгляды его раздражали, вызывали в нем еще больший гнев.

Обедали вместе, но он ни разу не заговорил с Терезкой, не посмотрел даже в ее сторону. И только все время ворчал на сестру.

— Собака не стала бы есть такой каши, прямо копчелая!

— Ну что ты, Матеуш! Чутьочку только подгорела!

— Ты со мной не спорь! Мухами ее приправила, их тут больше, чем сала!

— Уж и мухи ему мешают! Привередник какой! Не отравись!

А когда Настка подала капусту, он стал жаловаться, что сало тухлое.

— Колесной мазью заправить — и ло, я думаю, хуже не будет!

— Пойди полжи ось, так увидишь, а я попробовать не охотница! — отрезала Настка.

Он придирался ко всякому пустяку и продолжал злиться. Терезка все время молчала, но после обеда он принялся и за нее. Увидел, что ее корова третса об угол избы.

— Вот, обросла навозом, как корой! Не можешь ее обтирать, что ли?

— В хлеву мокро, вот опа и пачкается.

— Мокро! В лесу подстилки сколько хочешь. А вы только ждете, чтобы ее кто-нибудь собрал и домой вам принес. Ведь у коровы бока преют от навоза! Столько баб в доме, а порядка ни на грош! — кричал Матеуш, а Терезка кротко молчала, не смея защищаться и только глазами моля пожалеть ее.

Тихая, уступчивая и трудолюбивая, как муравей, она даже довольна была, что Матеуш взял над ней власть и так строго распоряжается всем. А Матеуша эта покорность злила все больше и больше, сердили ее робкие и нежные взгляды, бесшумные движения, смиренный вид, сердило, что опа постоянно вертится около него. Ему хотелось крикнуть, чтобы опа ушла с глаз долой.

— Эх, пропади все пропадом! — вырвалось у него, и, даже не отдохнув, он собрал свои инструменты и ушел к Клембам, где нужно было чинить избу.

У Клембов еще полдничают, сидя во дворе за мисками. Матеуш закурил и присел на завалинке.

Разговор шел о возвращении из солдатчины Гжели Борыны.

— Так он уже отслужил срок? — равнодушно спросил Матеуш.

— А ты разве не знаешь? Едут домой вместе с Ясеком, Терезкиным мужем, и Ярчиком из Воли.

— Пишет, что к жатве приедут. Терезка бегала сегодня с письмом к органисту, чтобы прочитал ей. От него-то я и узнал...

— Ясек возвращается! Вот так новости! — невольно вырвалось у Матеуша.

Все замолчали и переглянулись, а женщины даже покраснели, с трудом сдерживая смех. Матеуш, ничего не замечая, сказал спокойно, с довольным видом:

— Это хорошо, что приедет. Может, перестанут судачить про Терезку.

Клембы так удивились, что даже перестали есть и ложки повисли в воздухе. А он, дерзко поглядывая на всех, продолжал:

— Знаете, как ее чернят! Мне до нее дела нет, хоть она нам и родня по отцу, но на ее месте я сплетникам сумел бы рты заткнуть, попомнили бы они меня! А уж бабы хуже всего, ни одной не оставят в покое. Хоть будь она снега белее, все равно грязью обольют!

— Верно! Верно! — поддакивали ему, не поднимая глаз от мисок.

— А что, были вы уже у Борыны? — с любопытством спросил Матеуш у Клемба.

— Все собираюсь, да каждый день что-нибудь мешает.

— Он за всех страдает, а никто уже о нем и не помнит!

— А ты-то к нему заходил?

— Нельзя мне одному идти — скажут люди, что к Ягге...

— Ишь какой осторожный, — как девка после того, как с ней беда приключилась! — заметила старая Агата, сидевшая у плетня с мисочкой на коленях.

— Надоели мне постоянные сплетни!

— И волк остепенится, когда зубов уже нет! — засмеялся Клемб.

— Или когда он берлогу себе ищет, — подсказал Матеуш.

— Эге, значит, ты, того и гляди, к кому-нибудь сватов пошлешь! — шутил сын Клемба.

— А как же! Все хожу и думаю, кого посватать.

— Скорее выбирай, а меня в дружки зови, Матеуш! — воскликнула старшая дочь Кася.

— Легко сказать — выбери, когда все девки у нас как на подбор, одна другой лучше! Магдуся — самая богатая, но у нее уже зубов нет и течет из глаз. Улися — настоящий цветочек, да вот одно бедро у нее толще другого, а приданого только бочка капусты. Франка — с приплодом. Марыся очень уж к парням добра. У Евки капитал — целых сто злотых и все медяками! Но лентяйка она, любит под периной валяться. И все хотят сытно есть, сладко пить и ничего не делать. Не девушки — клад! Да вот еще беда: у иных перины слишком для меня коротки!

Грянул такой дружный смех, что даже голуби испугались и улетели с крыши.

— Верпо говорю! Я уже у многих примерял: перины мне и до колен не доходят, как же я зимой спать буду? В саюгах, что ли?

Клембова отчитала его за то, что он при девушках говорит такие непристойности.

— Да я так, в шутку только сказал...

Девушки надулись, как пидюшки.

— Скажите, какой разборчивый! Всех охаял! Если в Липцах тебе невест мало, так ищи в других деревнях! — набросились они на него.

— Я ничего не говорю, и в Липцах их довольно, у нас перезрелую девку легче найти, чем злотый. Продаются по дыдеку¹ и еще в придачу с отца магарыч получишь. Только бы покупатели нашлись! Добра этого столько, что в деревне от девичьего визга деваться некуда, и как только придет суббота — в каждой избе уже чуть свет моются дочиста, лепты в косы вплетают и по садам кур ловят, чтобы обменять их у корчмаря на водку. А с самого полудня из-за углов на все стороны поглядывают, не идут ли откуда сваты! Слышал я, как иные с крыш платками машут и верещат: «Ко мне, Мацюсь, ко мне!» А матери им помогают: «К Касе иди, Мацюсь, к Касе! Добавлю к приданому сыр и десяток яиц! К Касе!»

Матеуш изображал это так забавно, что сыновья Клембов покатывались со смеху, зато дочери подняли такой негодующий визг, что старик прикрикнул на них:

¹ Дыдек — около трех копеек.

— Тише вы! Трещат, как сороки к дождю.

Но они не сразу успокоились, и Клемб, чтобы прекратить этот шумный спор, спросил у Матеуша:

— А ты видел, как войт сегодня носвал?

— Нет. Говорят, Козлам здорово досталось.

— Да, отделал он их — дальше некуда! На них глядеть страшно! Расходился наш войт, пу-ну!

— От мирского хлеба его распирает, вот и брыкается.

— А главное — никого не боится. Кто ему отпор даст? Другой за такую штуку здорово поплатится, а у него и волос с головы не упадет. С начальством знается, вот и делает в волости, что хочет.

— Потому что вы бараны, позволяете такому над собой командовать! На всех плюет, важничает, а они у него ноги целовать готовы!

— Раз мы сами его выбрали, значит, почитать должны!

— Кто его посадил, тот и согнать может.

— Тише, не кричи, Матеуш, еще, пожалуй, дойдет до него!

— Ну что ж? Донесут ему, так и будет знать! Пусть только меня затронет!

— Мацей хворает, вот и некому войта унять. А идти в войты никто не хочет, потому что едва со своими делами управляемся, — шепотом сказал Клемб, поднимаясь с лавки.

За ппм встали остальные и разошлись — кто лег отдохнуть, кто вышел на улицу кости поразмять, девушки ушли к озеру мыть посуду. Матеуш принялся обтесывать подпорки для избы, а старый Клемб закурил трубку и присел на пороге.

— Кто о других только хлопочет, того нужда с ног свалит! — буркнул он, с наслаждением попыхивая трубкой.

Солнце впсело уже над самой хатой, жарко стало после полудня. Неподвижно стояли сады, меж стволов играли солнечные лучи, бесшумно опадали цветы на траву, на яблонях жужжали пчелы. Сквозь ветви блестело озеро. Даже птицы примолкли, и блаженная послеполуденная тишина навевала сон.

Клемб, чтобы не задремать, побрел к яме, где хранился картофель.

Возвращаясь оттуда, он что-то очень уж усиленно попыхивал пригасшей трубкой и сплевывал, движением головы откидывая падавшие на лоб волосы.

— Ну что, смотрел? — спросила жена, высунув голову из сеней.

— Смотрел... Если только раз в день варить, картошки хватит до нового урожая.

— Да что ты! Раз в день! Все молодые, здоровые, им есть надо!

— Ну, так не дотянем до новой. Столько пароду — десять ртов! Надо что-нибудь придумать.

— Уж не телушку ли продавать хочешь? Так знай, что я этого не допущу! Что хочешь делай, а скотинку не дам! Ты это помни!

Клемб замахал на нее руками, словно отгоняя надоевшую осу, и, когда она ушла, стал разжигать трубку.

— Чертова баба! Когда нужда, так и телушка твоя — не алтарь!

Солнце слепило глаза, а укрыться от него было негде — тени почти не было. Клемб только повернулся к нему спиной и курил, затягиваясь все реже и ленивее. Под стрехой ворковали голуби, а тихий шелест листьев так убаюкивал, что старик начал клевать носом.

— Томаш! Томаш!

— Он открыл глаза. Подле него сидела Агата и тревожно смотрела ему в лицо.

— Трудно вам будет прожить до жатвы, — начала она тихо. — Если хотите... У меня есть кое-какие гроши, выручу я вас. Копила их на похороны, но уже раз вы в такой нужде, я их вам одолжу. А телушку жаль. Приме она прошлым летом родилась... И молочная. Может, бог даст, доживу, так вы мне из нового урожая отдадите. У своего и богатому хозяину взять не стыдно! Вот возьмите. — Она совала ему в руки горсть золотых, всего рубля три.

— Не надо, поберегите для себя. Как-нибудь обойдусь.

— Берите, берите, я еще с полтинник добавлю, — тихо просила Агата.

— Спасибо. Ишь какая вы добрая!

— Берите уж для ровного счета все тридцать золотых! — Она доставала из узелка по пятаку и совала ему в руки. — Берите! — просила жалобно, сдерживая слезы, у нее душа болела, словно она каждый грош отдираала от внутренних органов.

Новенькие монеты заманчиво блестели на солнце. Томаш даже глаза прищурил, с наслаждением перебирая их,

и тяжело вздыхал, борясь с великим искушением. Но в конце концов отвернулся и пробормотал:

— Спрячьте их подальше, а то подглядит кто-нибудь и украдет у вас.

Агата еще упрашивала его тихонько, но больше для приличия, и, так как он не отвечал ничего, поспешно завязала в узелок свои сокровища.

— Отчего это вы не живете у нас? — спросил Клемб темного погоды.

— Как же! Работать я не могу, за гусями даже ходить нет сил... Неужели я даром ваш хлеб есть буду? Слабая стала, со дня на день конца жду. Конечно, хотелось бы у родных помереть... Хотя бы даже в той загородке, где телка стояла... Да как можно... Вам такие хлопоты и беспокойство! А на похороны у меня есть целых сорок алотых! И на отпевание хватит, чтобы все как у людей... И перипу я бы вам отдала. Не бойтесь, я тихонько усну, вы и не оглянетесь... Скоро уж, скоро... — робко лепетала Агата, с бьющимся сердцем ожидая, что он согласится и скажет: «Оставайтесь!»

Но Томаш молчал, словно не понимая, о чем она просит. Потягивался, зевал, потом, крадучись, пошел мимо пазы, за овин — полсжать на сене.

— Ну да... Такой почтенный хозяин, а я нищенка... — тихо и скорбно шептала про себя Агата, заплаканными глазами глядя ему вслед.

Медленно побрела она со двора, часто кашляя и присаживаясь на берегу озера. Опять, как каждый день, пошла по деревне подыскивать себе место, где можно бы умереть, где ее похоронят «по-людски», без обмана.

Бродила в поисках таких добрых людей, мелькала между хат, как легкая осенняя паутина, которая летит, не имея, за что уцепиться.

Людей это сместило, и они для потехи убеждали бедную старуху, что она должна остаться у родственников. А Клембам, якобы по дружбе, говорили:

— Родня она вам как-никак, да и деньги на похороны у нее есть, и долго она у вас не загостится. Куда же ей больше деваться?

Все эти соображения пришли в голову и Клембовой, в то время как муж рассказывал ей о предложении Агаты. Они уже лежали в постели. Когда дети заснули, она шепотом стала уговаривать Томаша:

— Место найдется. Она в сенцах может полежать, а гусей под навес выгоним... Авось не объест нас. Долго она не протянет, на похороны у нее есть. И люди не будут нас осуждать. Да и перину не придется тогда отдавать... На дороге такую не найдешь!..

Но Клемб вместо ответа захрапел. И только утром сказал ей:

— Если бы у Агаты не было ни гроша, я бы ее принял в дом — ничего не поделаешь, дело божье! Ну, а так люди скажут, что мы на эти несколько злотых польстились... И то уж болтают, что она для нас побираться ходила... Нельзя!

Клембова во всем привыкла слушаться мужа. Она только с сожалением вздохнула, подумав о перине, и пошла торопить дочек. Им сегодня надо было сажать капусту.

День, как и вчера, был прекрасный, солнечный, — настоящий майский день. Только ветер-проказник своевольничал в полях, и колосья ходили, как волны в море. В садах шумели деревья, густо усыпая землю белыми лепестками, и благоухали пышные, тяжелые кисти сирепи и черемухи. С пастбищ у леса ветер доносил песни, в кузнице звенел молот. С самого утра на дорогах былолюдно. Шли бабы на капустные поля, неся рассаду в корзинах и решетках, громко толкуя о вчерашней ярмарке и о подвигах войта.

И скоро, раньше еще, чем высохла роса, на черных капустных полях, изрезанных бороздами, в которых сверкала на солнце вода, запестрели бабын платки.

Клембова с дочерьми тоже пошла туда, а Клемб вместе с Матеушем и парнями принялся ставить подпорки под избу.

Но когда солнце начало сильно припекать, старик, предоставив сыновьям кончать работу, позвал Бальцерека и они вдвоем пошли навестить Бoryну.

— А хороша погодка, кум! — промолвил Клемб, беря повьюшку табаку.

— Погода знатная. Только бы недолго такая жара простояла!

— Кругом везде дожди, так и нас они не минуют.

— Надо бы, а то на деревьях уже червячков тьма-тьмушая — видно, засуха будет.

— Да, и яровые запоздали, как бы не спалило!

— Авось господь не допустит... Ну, как на ярмарке, кум? Узнал что-нибудь насчет лошади?



— Где там!.. Дал я уряднику три рубля, обещал поискать.

— Ни дня нельзя спокойным быть! Живешь постоянно под страхом, как заяц, и никто не поможет!

— А войт у нас... Только для украшения,— осторожно понизив голос, сказал Бальцерек.

— Надо будет о новом подумать,— отозвался Клемб.

Бальцерек посмотрел на него, но тот запальчиво продолжал:

— Деревню срамит! Слыхал ты про вчерашнее?

— Ну, что подрался — не беда, это со всяким бывает, дело обыкновенное. Я о другом думаю: как бы нам его хозяйничанье не обошлось дорого!

— Так разве он сам деньгами распоряжается? Есть кассир, и писарь, и управа...

— Да, да, собаки мясо стерегут! Много их, сторожей-то, а потом — плати мужик, не устерегли, мол!

— Так-то оно так... А ты что-нибудь узнал?

Бальцерек только сплюнул и рукой махнул — не хотел говорить. Человек он был угрюмый, замкнутый, да и женой своей забитый, поэтому держал язык за зубами.

Они дошли до дома Борыны. На крыльце Юзюк чистила картофель.

— Входите, отец там один лежит. Гануся в поле, капусту сажает, а Ягна у матери работает.

Комната была пуста, в открытое окно заглядывали ветки сирени, и солнечные лучи сеялись сквозь листву.

Мацей сидел на кровати. Он сильно исхудал, желтое лицо обросло седой щетиной, голова еще была обвязана, сильные губы все время шевелились.

Они поздоровались, но он не ответил, даже не повернул головы.

— Что, не узнали нас? — сказал Клемб, беря его за руку.

А он, казалось, их не видел и прислушивался к щебетанию ласточек, лепивших гнезда под карнизом, или, может быть, к шелесту ветвей, которые терлись о стены и лезли в окна.

— Мацей! — опять произнес Клемб и осторожно потряс его за плечи. — Слышите? Это я, Клемб, а это Бальцерек, кум ваш. Узнаете?

Они ждали, глядя ему в глаза.

— Один я здесь, люди! Ко мне! Бей их, сукиных де-

тей, бей! — крикнул вдруг Мацей страшным голосом, поднял руки, словно защищаясь, и упал павзничь.

На крик прибежала Юзя и положила ему на голову мокрую тряпку, но он лежал уже спокойно, только в широко открытых глазах застыло выражение смертельного страха.

Гости скоро ушли, сильно расстроенные.

— Труп это лежит, а не живой человек! — сказал Клемб, оглядываясь на дом.

Юзя снова принялась чистить на крыльце картошку, дети играли у завалинки, а по саду расхаживал анст Витека. Ветер заслонял ветвями открытое окно в комнате Бороны.

Некоторое время Клемб и Бальдерек молчали, как люди, вышедшие только что из могильного склепа.

— Каждого это ждет, каждого! — дрожащим голосом шепнул Клемб.

— Да-а, воля божья, ничего не поделаешь. Но он мог бы еще пожить, если бы не этот лес...

— Правда, пропал человек, а то, за что он дрался, другим достанется.

— Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать... Мало ли он потрудился на своем веку...

— И мы с тобой, может, скоро за ним пойдем.

Они в суровом молчании смотрели на зеленющие поля, где колышутся хлеба, на лес, видный, как на ладони, на всю эту светлую картину весны.

— Такова уж судьба человеческая, ее не переменить! — И с этими словами они разошлись.

В этот день и в следующие павещали больного Мадея и другие соседи, но он никого не узнавал, и в конце концов к нему перестали ходить.

— Теперь уж только молиться надо, чтобы господь его поскорее прибрал, — сказал ксендз.

А так как у всех было достаточно забот и дел, то неудивительно, что о Мадее скоро забыли. Если случайно кто и вспоминал, то как о покойнике.

И бедняга лежал один, всеми заброшенный, словно уже и в самом деле был мертвецом в могиле, поросшей травой.

Кому было помнить о нем?

Нередко он по целым дням лежал без капли воды и, вероятно, умер бы просто с голоду, если бы не доброе сердце Витека, который хватал все, что только можно

было, и пес хозяйну и даже часто тайком доил коров и поил его молоком.

Больной вызывал в нем беспокойные мысли, и наконец он как-то раз решился спросить у Петрика:

— Петрик, правда, что если без исповеди помрешь, так душа попадет в ад?

— Правда. Ксендз это постоянно говорит в костеле.

— Значит, и хозяин наш может в ад попасть? — Витек испуганно перекрестился.

— А что хозяин? Такой же человек, как другие.

— Скажешь тоже! Хозяин — такой же, как другие!

— Глуп ты, как кочан капустный! — рассердился Петрик.

Так проходили дни в доме Бороны.

А в деревне между тем бурлило, как в котле. Причиной была драка войта с Козлом. Тот и другой теперь искали свидетелей, каждый старался перетянуть людей на свою сторону.

Хотя войту такой мужик, как Козел, был не страшен, однако он не дремал и действовал вовсю. Перевес сразу оказался на его стороне, больше половины деревни высказывались за него. Все знали его, как фальшивую монету, по ведь он был войт, мог при случае оказать услугу, мог и насолить каждому. И, действуя уговорам, обещаниями и водкой, он сумел заставить нужными свидетелями.

Козел лежал тяжелобольной, к нему даже приводили ксендза. О болезни этой ходили разные толки, потихоньку говорили, что он только прикидывается больным, чтобы войту туго пришлось на суде. Одному богу известно, так ли это было или нет. Во всяком случае жена Козла с утра до вечера бегала по соседям, жалуясь и кляня войта. Она говорила, что им пришлось продать свинью с поросятами, чтобы были деньги на лечение, и, останавливаясь нарочно перед избой войта, орала, что Бартек помирает.

На ее стороне были сердобольные женщины и вся беднота, да еще Кобус, один из небогатых хозяев, остальные и слушать ее не хотели, врали прямо в глаза, будто ничего не видели, многие советовали ей не задевать войта, потому что ничего она не добьется.

Так как один из сторонников Козла, Кобус, был человек беспокойный и горячий и, чуть что, лез с кулаками, а бабы давали волю языку, то в деревне пошли ссоры, перебранки. Но разве могла беднота воевать с войтом и хозяевами?

Не прошло и недели, а уж всем так эта история надое-
ла, что и слушать Магду больше не хотели. Но вдруг у
Козла нашлись новые защитники, и опять заварилась
каша!

Плошка сговорился с мельником, и неожиданно оба
встали на сторону Козла.

Конечно, о нем они думали не больше, чем о прошло-
годнем снеге, — у них были свои цели и расчеты.

Плошка был мужик честолюбивый, скрытный, гордый
своим умом и богатством, а о мельнике все знали, что
он обдирала, скряга, за грош дал бы себя повесить.

И вот между обеими сторонами началась борьба, тай-
ная и упорная. Они притворялись друзьями, встречались,
как прежде, и даже нередко шли вместе, обнявшись, в
корчму.

Кто поумнее, сразу смекнули, что не за справедливость
стоят Плошка и мельник, не о Козле хлопчут, а о чем-
то ином — может быть, о должности войта.

— Один поживился, теперь другие поживиться хо-
тят! — говорили старики, качая головами.

Так шли дни за днями, и раздоры в Липцах все росли.

А тут вдруг разнеслась по избам весть:

— В корчме остановились немцы!

— Должно быть, на Подлесье едут, — догадывался
один.

— Ну и пусть себе едут с богом! Вам-то что? — отзы-
вался другой.

Но какое-то тревожное любопытство овладело людьми.
Сообщали эту новость друг другу, перекрикиваясь через
улицу, стояли у плетней, обсуждая ее. А некоторые даже
отправились в корчму на разведки.

В самом деле, перед корчмой стояло пять фур, все на
железных осях, покрашенные желтой и голубой краской,
с полотняными навесами, из-под которых выглядывали
женщины и виднелась всякая хозяйственная утварь. И в
корчме у стойки пили человек десять немцев.

Здоровенные были, рослые, бородатые, в длинных си-
них сюртуках, с серебряными цепочками по жилету, а
рожи так и лоснились от хорошей еды. Они о чем-то гово-
рили с евреем на своем языке.

Мужики вошли гурьбой, остановились рядом, потре-
бовали водки, а тем временем глазели на немцев и внима-
тельно слушали. Но трудно было понять хотя бы одно
слово. Наконец Матеуш, который и с евреями умел бол-

тать на их языке, так бойко заговорил с немцами, что даже Янкель обернулся и посмотрел на него с удивлением. Но немцы только переглядывались и ничего не отвечали. Потом и Гжеля, брат войта, сказал им какое-то немецкое слово. А они повернулись спиной к мужикам и захрюкали что-то по-своему, как свиньи над корытом.

— Дать бы им по рылам! — сказал возмущенный Матеуш.

— Поцупать палкой бока, так живо бы заговорили!

Немцы, словно почуяв недоброе, взяли бочонок пива и быстро убрались из корчмы.

Когда они уехали, Янкель рассказал парням, что немцы покупают у пана Подлесье и едут туда измерять землю под колонию и что на хуторе поселится пятнадцать семейств.

— Мы тут задыхаемся, повернуться нигде на наших наделах, а немцы рассядутся на тридцати моргах каждый!

— Так ты заплати дорожке, да и персхвати у них хутор! Шевели мозгами, коли умником себя считаешь! — прикрикнул на Гжелию Стах Плошка.

— Скверное дело! — Матеуш стукнул кулаком по стойке. — Когда они засядут на Подлесье, солоно нам придется в Липцах! — уверял он как человек бывалый и хорошо знающий немцев.

Ему не очень-то верили, тем не менее деревня всполошилась. Все судили да рядили, чем такое соседство может повредить Липцам.

А тут пастухи и всякий прохожий люд каждый день рассказывали, что на Подлесье уже обмеряют землю, свозят камень и роют колодцы.

Многие из любопытства ходили за мельницу, к Воле, в собственными глазами убеждались, что это правда.

Но все еще не удавалось узнать, как обстоит дело с покупкой Подлесья. Приставали к кузнецу, который успел спихнуться с немцами и подковывал им лошадей. Но кузнец вилял и не говорил ничего определенного.

Наконец брат войта, Гжеля, отправился на разведку и, вернувшись, объяснил все толком.

Дело было так. Помещик задолжал одному немцу пятнадцать тысяч рублей, а вернуть не мог. Немец хотел за долг взять Подлесье и разницу доплатить паличными деньгами. Помещик якобы дал согласие, но так как немец предлагал только по шестидесяти рублей за морг, то он

искал других покупателей и оттягивал сделку, как только мог.

— Но, видно, придется ему немцам продать! В усадьбе полно евреев, которым он задолжал, каждый своего требует! Говорил мне лесничий, что уже и коровы описаны за неуплату податей. Откуда же ему взять, когда у него весь хлеб на корню продан? Лес рубить не позволят, пока он с нами судится. Никак ему не обернуться, продаст Подлесье хотя бы за бесценок! — утверждал Гжеля.

— За такую землю и по сто рублей морг недорого!

— Что ж, покупай! Он продаст и еще ручку у тебя поделует.

— Да ведь дорога и копейка, когда ее нет!

— Немцы поживятся, а мужик только облизывайся!

Так говорили липецкие, горько вздыхая. Досада их разбирала. Жаль было упускать такую землю — и плодородная, и близко, рукой подать. Каждому пригодилось бы несколько моргов! Тесно им было на своих наделах, трудились на них, как муравьи, а едва перебивались от жатвы до жатвы. Такой кусочек отличной земли пришелся бы очень кстати — можно было бы отделить сыновей и зятьев. На Подлесье выросла бы новая деревня, там и луга хорошие, и вода рядом... Ну, да ничего не выйдет. Немцам земля достанется, заживут они на пей господами, а ты, мужик, околевай!

— И куда мы их всех денем? — вздыхали старики, глядя на молодежь, гулявшую вечерами по улицам. А было ее много, так много, что уж и в избах места не хватало. Но как тут земли прикупишь, когда и на жизнь едва хватает?

Спльно заботило это мужиков, они даже к ксендзу ходили за советом. Но и он ничего не мог придумать, из пустого не нальешь!

— Да, без денег далеко не уедешь! Бедняку всегда ветер в лицо!

Тужили, роптали, а делу этим ничуть не помогли.

В довершение всего наступила сильная жара. Был только конец мая, а жарко, как в июле. Дни вставали безветренные и душные, солнце с самого утра пекло так, что на высоких местах и песках яровые уже пожелтели и привяли, на паровых полях трава выгорела дотла, ручьи пересыхали, а картофель, который сначала всходил хорошо, теперь едва покрывал землю жалкими побегами. Только озимь не особенно пострадала, — колосистая, вы-

сокая, она еще хорошо поднималась, так что даже заслоняла хаты, и только крыши виднелись над лесом колосьев.

Ночи тоже были душные. Все ночевали в саду, потому что в комнатах дышать было нечем.

Эта жара, заботы, и огорчения, и тайная борьба Плошки с войтом, и трудная, как никогда, весна — все вместе было причиной того, что в Липцах люди стали как-то удивительно сварливы и беспокойны.

Ходили раздраженные, готовые каждую минуту хлестнуть кого-нибудь резким словом, а то и подраться. Всякий рад был поддеть другого, и деревня стала адом. Каждый день уже с раннего утра от ссор и брани гул стоял: то Кобус с женой подрался и пришлось ксендзу их мирить и стыдить, то Бальдеркова сцепилась с Гульбасом из-за поросенка, подрывшего морковь, то Плошкова грызлась с солтысом из-за подмеченных гусенят. Предлогом для ссор служили дети, потравы, какие-нибудь соседские дразни. Придирались ко всякому пустяку, только бы покричать да поругаться. словно эпидемия охватила деревню, эпидемия ссор, драк и тяжб.

Амброжий в разговорах с чужими шутил:

— Неплохое времечко послал мне господь! Никто не помирает, никто не родится, не женится, а меня каждый день кто-нибудь водочкой ублажает и в свидетели зовет. Если бы они так еще годик-другой ссорились, совсем бы я спился.

Да, шеледно было в Липцах. А всего хуже, пожалуй, было в избе Доминиковой.

Шимек вместе с другими вернулся из тюрьмы, Енджик поправился, нужда Пачесей не дожимала, как других, и все, казалось, должно было бы идти по-прежнему. Но парни перестали слушаться. Стали дерзить матери, спорить с нею, на каждое слово огрызались, не давали себя бить и никакой домашней бабьей работы делать не хотели.

— Работницу наймите или сами все делайте! — сказали они ей решительно.

У Доминиковой были железные руки и крутой, непреклонный нрав. Еще бы! Столько лет она всем правила, столько лет никто не смел противиться ее воле! А теперь кто на нее восставал? Кто осмеливался перечить ей? Собственные дети!

— Инсусе! — кричала она в исступлении, то и дело хватая палку и бросаясь на сыновей. Она хотела их укротить, заставить слушаться. Но они заартачились не

меньше, чем она, встали на дыбы. И чуть не каждый день в доме поднимался такой крик, что сбегались соседи.

Подученный Домипиковой ксендз вызвал Шимека и Епджика к себе и уговаривал покориться матери и жить с нею в мире и согласии. Парни терпеливо его выслушали, смиренно поцеловали руку и в ноги поклонились, как полагается, но вели себя по-прежнему.

— Мы не дети, знаем, что нам делать. Пусть мать уступит! — оправдывались они перед людьми. — Ведь над нами вся деревня смеется!

Домипикова даже пожелтела от злости и досады. Вместо того чтобы сидеть целый день в костеле или в гостях у кумушек, она должна была теперь делать всю домашнюю работу. Она то и дело звала Ягусю помогать. Но и дочь доставляла ей немало стыда и огорчений. Доминикова была на стороне войта и даже согласилась выступить свидетельницей против Козла, — она видела, как они дрались, и потом делала перевязки войту и его жене, Петр часто по вечерам заходил к ней — якобы посоветоваться о деле, но главным образом для того, чтобы вызвать потом Ягусю и уйти с ней на огороды.

В деревне от людских глаз ничего не скроешь, все хорошо знают, что у кого творится. Поведение Ягуси вызывало всеобщее возмущение, и добрые люди не раз уже предостерегали старуху.

Но как она могла помешать этому, если Ягна, несмотря на ее упреки и мольбы, делала все точно назло! Самый тяжкий грех и позорящие ее сплетни пугали Ягусю меньше, чем необходимость сидеть одиноко в опостылевшем доме мужа. Какой-то злой вихрь подхватил ее и нес, и никто не в силах был удержать ее.

А Ганке это даже было на руку, она часто говорила другим:

— Пусть их забавляются, пока войту не запретят тратить мирские деньги. Ведь он ничего для нее не жалеет, чего только не привозит ей из города, в золото рад бы ее одеть! Пусть себе тешатся, пока этому не придет конец. Что мне за дело до них?

Ей и в самом деле было не до них. Мало ли забот ее грызло? Она не жалела денег на адвоката, но ведь еще не известно было, когда будет разбираться дело Антека и что его ждет. А он, бедный, изывал в тюрьме. Хозяйство тоже начинало приходить в упадок. Могла ли она одна за всем уследить? Петрика, должно быть, подзужи-

вал кузнец, — парепь обнаглел, делал все, что ему хотелось, и передко, когда она уезжала в город, целый день шатался по деревне. Гапка как-то пригрозила ему, что, когда вернется Автск, он с ним расправится.

— Вернется, как же! Еще этого не бывало, чтобы разбойников выпускали! — дерзко крикнул он ей в ответ.

Гапка онемела от гнева. Хлестнуть бы по этой наглой роже, по где же ей с ним справиться? Еще пзобьет ее, и кто ее защитит, кто поддержит? Нет, приходится терпеть, а то уйдет еще и все хозяйство свалится на ее руки. Она уже и так едва управляетсЯ с работой, здоровье все хуже и хуже. Ведь и железо в конце концов разъедает ржа, и камень не на век, — а что же говорить о слабой женщине!

Как-то в один из последних дней мая ксендз с органом уехали на храмовой праздник, а Амброжий так напился с немцами, которые часто заходили в корчму, что некому было звонить к вечерне и отпереть костел. И вот прихожане пошли молиться в часовенку у ворот кладбища, в которой стояла статуя девы Марии. Каждый год в мае девушки украшали эту статую бумажными лентами и полевыми цветами. Часовня была очень древняя, стены потрескались и осыпались, даже птицы не вили в ней гнезд, и только во время осенних непогод пастух иногда укрывался здесь от дождя. Росшие вокруг старушки-липы и стройные березы, да еще покосившиеся кресты кое-как укрывали ее от зимних выюг.

Народу набралось порядочно, наснех убрали часовенку зеленью и цветами, вымели сор, посыпали пол желтым песком, а зажженные лампы и свечи поставили у ног девы.

Впереди, у порога, засыпанного тюльпанами и розовыми цветами шинковника, стал на колени кузнец и первый запел молитву.

Солнце давно зашло. Смеркалось, по небу на западе еще пылало, облитое золотом, исчерченное нежно-зелеными полосами. В безветренной тишине косы берез тяжело спадали до земли, а колосья, казалось, заслушались звонкого лепета речки и тихого стрекотания кузнечиков.

Уже последние стада возвращались с пастбищ. От деревни, с полей, невидных в сумерках, долетали пронзительные голоса пастухов и протяжное мычанье. А люди в часовне пели, глядя в ясный лик богоматери:

Доброй ночи, благоухающая липа,
Доброй ночи, Мария!

С кладбища повеяло запахом молодых берез, и соловьи уже начинали пробовать голоса: они тянули отдельные ноты, словно набирая сил, и наконец полились жемчужные трели, шелканье, нежный, маяющий свист. А в поле неподалеку откликнулась скрипка пана Яцека, вторая пению так тихо и проникновенно, словно это звенели желтые колосья ржи, ударяясь друг о дружку, или золотое небо и сухая от зноя земля славили песней май.

Так пели все вместе — люди, птицы и скрипка. А когда на мгновение замирали соловьиные песни и струны скрипки словно переводили дух, слышен был монотонный и протяжный хор бесчисленных лягушек.

Долго это длилось. Кузнец наконец заторопился и, оборачиваясь, покрикивал на тех, кто отставал. Раз даже гаркнул на Мацюся Клемба:

— Не дери глотку, дьявол, не за коровами идешь!

Запели дружнее, и голоса взлетали вверх все разом, как стая голубей, и, кружась, медленно уносились к темнеющему небу.

Сумрак сгущался, тихая теплая ночь уже обнимала мир, и на небе блестящей росой искрились звезды, когда люди начали расходиться из часовни.

Девушки шли, обнявшись, и пели.

Ганка возвращалась одна, с ребенком на руках, глубоко задумавшись. Ее догнал кузнец и запагал рядом.

Она всю дорогу молчала. И только у самого дома, видя, что он не отстаёт, спросила:

— Зайдешь к нам, Михал?

— Сядем на крыльце, я тебе кое-что скажу, — промолвил он шепотом.

Она похолодела, готовясь услышать о какой-нибудь новой беде.

— Ты, кажется, ездила к Антеку? — начал он.

— Ездила, да меня к нему не пустили.

— Этого-то я и боялся!

— Говори, что знаешь! — Мороз пробежал по телу Ганки.

— Что я могу знать? Только то, что у урядника выпытал.

— Что же? — Она прислонилась к столбу крыльца и крепче прижала к себе ребенка.

— Он говорит, что Антека до суда не выпустят.

— Почему? — с трудом выговорила Ганка, вся дрожа. — Ведь адвокат сказал, что могут выпустить.

— Ну да, чтобы он сбежал! Так просто не отпустят. Слушай, Ганка! Пришел я к тебе сегодня, как друг. Что там между нами было, дело прошлое. Когда-нибудь увидишь, что я был прав. Ты мне не верила — дело твое... Но сейчас ты меня послушай, а я, как на исповеди, всю правду тебе скажу. С Аптеком дело плохо! Его, наверное, засадят надолго — может, на десять лет. Слышишь?

— Слышу, да не верю! — Ганка вдруг сразу успокоилась.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится! А я тебе истинную правду сказал.

— Ты всегда такую правду говоришь, — пренебрежительно усмехнулась Ганка.

Кузнеца передернуло. Но он стал ее горячо уверять, что на этот раз пришел, как бескорыстный друг, помочь ей советом. Ганка слушала, блуждая глазами по двору, и уже несколько раз нетерпеливо привставала: недоенные коровы мычали в хлеву, гусей до сих пор не загнали на ночь, жеребенок бегал по двору взапуски с Лапой, а Петрик и Витек сидели в сарае и болтали.

Она не верила ни одному слову кузнеца. «Пусть себе болтает, авось проговорится, узнаю я тогда, зачем он пришел», — думала она насторожившись.

— Что же делать? Что? — спросила она только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Средство есть, — ответил кузнец тихо.

Она повернулась к нему.

— Если внести залог, так его отпустят до суда, а потом он уже сам что-нибудь надумает... Хотя бы в Америку уедет... Не поймают его!

— Иисусе! Мария! В Америку! — вскрикнула Ганка невольно.

— Тише! Вот богом тебе клянусь, что так пан советовал. «Пусть удирает, — говорит, — не то самое меньшее — десять лет! Пропадет мужик!» Вчера еще он мне это говорил.

— Бежать из деревни... От земли... От детей... Господи!

— Ты только внеси залог, а там Антек уже сам решит.

— Откуда же мне взять? Боже мой, уехать так далеко. От всего!

— Пятьсот рублей они требуют. У тебя ведь есть те... отцовские деньги. Ты их и отдай... Сочтемся потом. Только бы его спасти...

Ганка вскочила.

— Одна у тебя песня!

— Чего мечешься, как дура? — рассердился кузнец. — Будет тут еще обижаться на каждое слово, а муж в остроге сгинет! Вот я ему расскажу, как ты стараешься его выручить!

Ганка опять села, не зная, что и думать.

А кузнец начал распространяться об Америке, о том, какая там хорошая и привольная жизнь, как все богатеют. Говорил о знакомых крестьянах, которые уехали туда и пишут письма, даже депьги присылают родным. Антек мог бы сразу ехать, есть человек, который многих уже переправил. Мало ли таких, как Антек, бежало туда! А она может уехать попозже — для отвода глаз. Вот вернется Гжеля с военной службы и выплатит им их часть наследства, а не захочет — так покупателя найти недолго.

— Посоветуйся с ксендзом. Увидишь, он тебе то же самое скажет. Тогда ты поймешь, что я прав и от чистого сердца советую, а не о своей выгоде думаю. Только смотри, никому ни слова, чтобы до властей не дошло. Если они смекнут, в чем дело, так его ни за какие тысячи не выпустят да еще в кандалы закуют! — докончил он внушительно.

— Где же мне взять залог? Такие большие деньги! — простонала Ганка.

— Знаю я одного человека в Модлице... Он дал бы под хорошие проценты... Деньги найдутся... Это уж мое дело, я помогу.

Он долго еще убеждал ее.

— Так ты подумай, надо решать поскорее.

Кузнец ушел бесшумно, она и не заметила, как он скрылся в темноте.

Было уже поздно, в доме все спали, только Витек сидел под стеной, словно сторожа хозяйку. В деревне тоже все улеглись, даже собаки не лаяли, и только журчала вода в озере да птицы заливались в садах. Взошла луна и серебряным серпом плыла в темной, жуткой бездне неба. Туман низко стлался по лугам, а над полями ржи желтым пологом висела цветочная пыльца. Меж деревьев ледяным блеском светилось озеро. Даже в ушах звенело от соловьиных трелей и щелканья.

Ганка, как прикованная, все сидела на том же месте, и одна мысль вертелась у нее в голове:

«Господи Иисусе, бежать из деревни, от земли, от всего!»

Ужас охватил ее и рос с каждой минутой, невыразимая печаль давила сердце.

Пролетел с унылым шумом ветер, и заколебались тени. Соловьи умолкли. На дворе завыл Лапа.

— Воет! Это он Кубину душу учуял! — прошептал Витек и испуганно перекрестился.

— Дурак! Спать ступай!

— Вы не верите вот, а он приходит, к лошадям заглядывает, корм им подсыпает... Ведь уже не в первый раз!..

Ганка его не слушала. Тишина снова залегла вокруг, пели соловьи, а она сидела, как каменная, повторяя иногда с большим страхом:

— Уехать на край света! Навсегда! Иисусе милосердный! Навсегда...

IX

Еще не совсем увяли зеленые ветки, которыми убраны были избы в тропцын день, когда в Липцах однажды утром неожиданно появился Рох.

В деревню он пошел только после обедни и долгой беседы с ксендзом. В эти дни окучивали картофель и большинство хозяев было в поле, но, как только разнеслась весть о приезде Роха, люди выбежали на дорогу встречать его. А он шагал, как всегда, медленно, опираясь на палку, все в том же сером кафтане, с четками на шее. Ветер трепал седые волосы, худощавое лицо светилось добротой.

Откинув голову, он обводил глазами дома и сады, весело улыбался всему, здоровался с каждым отдельно, гладил по голове ребятишек, окруживших его, первый заговаривал с бабами, довольный, что все здесь по-старому.

— Я в Ченстохов ходил на богомолье, — отвечал он любопытным, которые приставали к нему с расспросами, где он так долго пропадал.

Все искренно радовались его возвращению и тут же на дороге спешили рассказать ему липецкие новости. Иные уже и совета спрашивали или, отведя его в сторону, жаловались и выкладывали перед ним все свои заботы, как припрятанные на черный день гроши.

— Замаялся я совсем, отдохну денек-другой, — говорил он, пытаясь от них отделаться.

Все наперерыв приглашали его к себе.

— Покамест поживу у Мацея, я уже обещал Ганке. А там, если кто меня примет, у того поселюсь надолго.



И он торопливо пошел к Борунам.

Ганка тоже ему обрадовалась и стала угощать от всего сердца. Но он, как только снял с плеч котомку и отдыхался, спросил о старике.

— Сходите поглядите на него, он в саду лежит, в хате жарко. А я вам тем временем молока согрею. Может, и яичницу скушаете?

Но Рох был уже в саду и тихо пробирался под ветвями к больному, который лежал в спятом с брички кузове, на перипе, укрытый тулупом. В ногах у него, свернувшись клубком, приткнулся Лапа, а меж деревьев с забавной важностью расхаживал, как часовой, аист Витека.

Сад был старый, тенистый. Высокие развесистые деревья совсем заслоняли небо, и внизу на траве только кое-где золотыми пауками бегали солнечные блики.

Мацей лежал на спине. С тихим шумом качались над ним деревья, укрывая его тенью, и только когда ветер раздвигал этот тенистый полог, открывался клочок голубого неба, и солнце било больному прямо в глаза.

Рох присел около него.

Шелестели листья, по временам Лапа коротко рывкал на муху, или ласточки, громко щебеча, проносились меж черных стволов и улетали в зеленевшие за садом поля.

Больной вдруг повернул голову к Рогу.

— Узнаете меня, Мацей? Узнаете?

Слабая улыбка пробежала по лицу Боруны, глаза заморгали. Он пошевелил синими губами, но не мог выговорить ни слова.

— Может, с божьей помощью еще поправитесь!

Боруна, должно быть, понял, — он потряс головой, с недовольным видом отвернулся и опять устремил глаза на склоненные над ним ветви и сверкавшие между ними солнечные брызги.

Рох только вздохнул, перекрестил его и ушел.

— Правда, отцу как будто лучше? — спросила у него Ганка.

Он долго не отвечал, задумавшись, потом сказал тихо и серьезно:

— Так и лампа перед тем, как потухнуть, вспыхивает ярким пламенем. Кажется мне, что Мацей доживает последние дни. Даже удивительно, что он еще жив: высох, как щепка.

— Да ведь он ничего не ест, даже молоко не всегда пьет.

— Ты должна быть готова к тому, что он каждую минуту может умереть.

— Господи, я и сама это вижу, и Амброжий вчера то же самое говорил, даже советовал не ждать и сейчас гроб заказывать.

— Да, закажи, недолго гробу стоять... Когда душе пора уйти из мира, ничем ее не удержишь, даже слезами... А если бы не это, иные веками оставались бы жить на земле,— грустно сказал Рох.

Он не спеша пил поданное ему Ганкой молоко и спрашивал ее обо всем, что делается в деревне.

Она повторила то, что он уже слышал дорогой от других, а затем начала торопливо и подробно рассказывать о своих заботах.

— Где же это Юзька? — нетерпеливо перебил он.

— В поле, картошку окучивает вместе с Ягустинкой и коморницами. А Петрик возит для Стаха деревья из лесу.

— Так Стах избу строит?

— Да. Ведь пан Яцек дал ему десять сосен.

— В самом деле? Мне говорили, да я не верил.

— Да и трудно поверить. Никто сначала не хотел верить: мало ли что обещал! Ведь говорится, что обещание — дураку утех. Но пап Яцек дал Стаху письмо и велел ему идти с этим письмом к нашему помещику. Веронка даже Стаха пускать не хотела. «Зачем, говорит, зря подметки рвать? Еще засмеют тебя люди, что поверил полоумному...» Но Стах уперся и пошел. И рассказывал он потом, что не пришлось ему ждать и десяти минут, как его позвали в комнаты, пан попотчевал его водкой и сказал: «Приезжай с возами, лесничий выберет тебе десять штук строевых сосен». Ну, Клемб дал ему своих лошадей, и солтыс дал, а я отпустила с ним Петрика. Пан уже ждал их на вырубке, сейчас же сам выбрал лучшие деревья, из тех, что зимой рубили для купцов. Теперь Стах возит их из лесу,— с сучьями добрых тридцать телег будет! Знатную избу Стах себе поставит! Уж как он пана Яцека благодарил и прощения просил! Ведь, по правде сказать, все его пищим считали и дурачком, потому что неизвестно, на какие деньги живет, и все бродит по полям да на скрипке под крестами играет... А иной раз такую околесицу несет, словно не в своем уме... А оказалось-то, что его сам помещик слушается! Кто бы подумал!

— Человека не по виду, а по делам судить надо.

— Столько лесу отдать! Матеуш считает, что его будет рублей на полтора — и даром, за спасибо! Слыханное ли дело!

— Говорили мне, что он за это берет себе старую избу Стаха в пожизненное владение.

— Да она гроша ломаного не стоит! Уж мы, признаться, подумывали, нет ли тут какого подвоха. Веронка даже к ксендзу ходила советоваться. Он ее дурой обозвал.

— Правильно! Дают — так бери и бога благодари!

— Да ведь не привыкли мы даром получать. И еще от панов! Когда это кто давал мужику что-нибудь даром? Хотя бы за самым пустяковым делом придешь — сейчас в руки тебе смотрят. В волостную канцелярию без денег и не суйся, скажут — приходи завтра, а то и через неделю. Как стала я хлопотать по Антекову делу, тогда узнала, какие порядки на свете. Немало я денег извела...

— Хорошо, что ты мне напомнила про Антека. Я был в городе.

— Видели его?

— Нет, времени не было.

— А я недавно ездила, но меня к нему не пустили. Один бог знает, когда его увижу!

— Может быть, скорее, чем ты думаешь, — сказал Рох, улыбаясь.

— Да что вы!

— Правду говорю. В главном управлении мне сказали, что Антека могут и до суда выпустить, если его возьмут на поруки или внесут в суд залог — пятьсот рублей.

— То же самое и кузнец говорил!

И Ганка слово в слово повторила Роху все, что сказал кузнец.

— Совет дельный, да Михал-то человек ненадежный, у него какие-то тут свои расчеты. Землю продавать не спеши! От нее иной уезжает на рысках, а возвращается ползком, на четвереньках... Надо другое придумать. Может, кто-нибудь за него поручится? Поразунай между людьми... Конечно, если бы были деньги...

— Деньги, может, и найдутся, — шепотом сказала Ганка. — У меня есть немного, только сосчитать не умею... Может, их и хватит...

— Покажи-ка, вместе сочтем.

Она ушла куда-то в глубину двора и, вернувшись через несколько минут, заперла дверь на засов и положила Роху на колени узелок с деньгами.

Были в нем бумажки и серебро, даже несколько золотых монет и шесть питок кораллов.

— Это свекрови покойной кораллы, он их отдал Ягне, да потом, видно, отобрал! — сказала она шепотом, присев на корточки перед лавкой, на которой Рох считал деньги.

— Четыреста тридцать два рубля и пять золотых. Это от Мацей?

— Да... Он мне после праздников дал... — пробормотала Гаянка, краснея и запинаясь.

— На залог не хватит. Но можно продать что-нибудь.

— Я могу продать свинью... Да и телку, обойдемся без нее. Япкель уже насчет нее спрашивал... И два-три корца зерна...

— Вот видишь, так понемножку и соберешь, сколько надо. И выкупим Аптека без чужой помощи. Знает кто про эти деньги?

— Мне их Мацей дал на то, чтобы Аптека выручить, и приказал про это никому ни слова не говорить. Я вам первому доверилась. Если бы Михал...

— Не разболтаю, не беспокойся! Когда известят тебя, что пора, поедем вместе за Аптеком. Как-нибудь все уладится, голубка! — сказал Рох, целуя ее в голову, когда она с благодарностью обняла его колени.

— Родной отец не сделал бы для нас столько! — воскликнула она со слезами.

— Вернется муж, тогда бога благодари, а не меня. А где же Ягуся?

— Она еще затемно уехала в город с матерью и войтом. Говорят, что к нотариусу, — старая хочет всю землю дочке записать.

— Все Ягне? А парни как же?

— Да она это им назло — за то, что раздела требуют. У них там ад крошечный, дня не проходит без свар. А войт за Доминикову стоит. Он после смерти Доминика был опекуном над сиротами.

— Вот оно что! А я-то другое думал, — разное мне говорили...

— Говорили вам истинную правду. Он опекает одну только Ягпу, да так, что и рассказывать стыдно. Ведь Мацей еще дышит, а она, как сука... Я не стала бы чужих сплетен повторять, если бы сама не застала их в саду...

— Укажи мне, где можно отдохнуть, — перебил ее Рох, вставая.

Она хотела постлать ему на Юзиной кровати, но он предпочел пойти в овин.

— Дегьги спрячь хорошенько! — предостерег он ее, уходя.

Он опять появился в избе только после полудня, пообедал и собрался идти в деревню, но Ганка робко попросила:

— Вы не поможете мне, Рох, алтарь убрать?

— Правда, завтра ведь праздник тела господня. А где же ты алтарь поставишь?

— Там, где каждый год, перед крыльцом. Петрик сейчас привезет из лесу хвою, а Ягустинку с Юзей я после обеда послала собирать цветы для венков.

— Ну, а свечи и подсвечники у тебя есть?

— Амброжий обещал принести рано утром из костела.

— Ладно, я тебе помогу, только спачала схожу к пану Яцеку и еще засветло вернусь.

— Скажите там Веронке, чтобы с утра пришла помогать!

Рох кивнул головой и пошел к развалившейся избе Стаха.

Пан Ядек, по своему обыкновению, сидел на пороге, курил и, пощипывая бородку, смотрел на поля, провожая глазами летящих птиц.

Перед избой и под черешнями уже лежало несколько могучих сосен и груды срезанных ветвей. Вокруг них бродил старый Былица, вымерял их топориком, обрубал иногда какой-нибудь сук и бормотал себе под нос:

— И ты пришла на наш двор... Ну, да... Вижу, что хороша... Спасибо! Сейчас тебя Матеуш обгешет... На брус-ся годишься... Сухо тебе будет, не бойся...

— Как с живым человеком говорит! — удивился Рох.

— Присаживайтесь. Это у него от радости в голове помутилось. Целые дни не отходит от деревьев. Вот послушайте...

— И ты, бедная, настоялась в лесу, зато теперь отдохнешь. Никто уж тебя не тронет! — говорил старик, любовно поглаживая желтую облупленную кору сосны.

Потом подошел к самой толстой, сваленной на дорожке, присел на корточки перед разрезом и, с нежностью глядя на желтые, налитые смолой кольца, бормотал:

— Вот ты какая большая, да справились и с тобой, а? Увезли бы тебя в город, а теперь останешься у своих, у хозяев, образа на тебя повесим, святой водой тебя ксенда окропит...

Пан Ядек слушал и едва заметно усмехался. Поговорив с Рохом, он взял скрипку под мышку и пошел межой к лесу. А Рох еще некоторое время сидел у Веронки и выслушивал новости.

Близился вечер, и жара спала, от лугов даже тянуло прохладой, да и с самого полудня дул ветер и молодая рожь на полях ходила волнами. Порой казалось — вот-вот это бурное море колосьев хлынет на межи и дороги и затопит их, но они только ударялись о землю желтыми гривами и подавались назад, как табун вставших на дыбы жеребцов. Ветер налетал со всех сторон и трепал их, забавляясь, и опять волновались нивы, полные желтых бугров, зеленых излучин, ржавых струй, шелеста и свиста. А над ними высоко в небе звенели жаворонки, порой пролетала стая ворон, то кружась в воздухе, то садясь отдыхать на деревьях. Солнце, уже багровое, клонилось все ниже к западу, и по полям и садам, метавшимся под ветром, как стада на привязи, медленно разливался алый свет догорающего дня.

Был канун праздника, и люди сегодня раньше уходили с поля. Женщины на крылечках плели венки для алтарей, дети приносили охапки зелени. Перед домами Плошки и мельника навалены были молодые березки и елочки, их вкапывали в землю там, где собирались ставить алтари. Кое-где девушки уже убрали ветками избы, приводили в порядок дорогу, засыпая выбоины. У озера еще стирали несколько баб, слышался стук вальков и крики чем-то испуганных гусей.

Рох только что собрался уходить от Веронки, как на толевой дороге в облаках пыли появился кто-то на быстро скакавшей лошади. Его задержали телеги с лесом для Стаха, и он повернул, намереваясь объехать полем.

— Эй, ты! Лошадь испортишь, куда так торопишься? — кричали ему.

Но он умудрился проскочить мимо и поскакал по деревне во весь дух, так что у лошади ёкала селезенка.

— Эй, Адам, постой-ка! — окликнул его Рох.

Сын Клемба остановился на минуту и закричал во весь голос:

— А вы и не знаете — в лесу лежат убитые! Ох, дайте дух перевести... Пас я коня на меже, и мы с Ендриком Гульбасовым ехали уже домой, да вдруг перед Бoryновым крестом конь как шарахнется в сторону, я даже наземь слетел! Гляжу, что за дьявол коня испугал? А там в мо-

жжевеликике какие-то люди лежат... Мы их окликнули, а они молчат, лежат, как мертвые.

— Дурак, что ты людей морочишь! — закричали на него со всех сторон.

— Пойдемте сами поглядите! И Ендрик видел, только он со страху в лес ускакал, туда, где бабы хворост собирают... Мертвые лежат!

— Во имя отца и сына! Так поезжай скорее, скажи войту!

— Войт еще из города не вернулся, — сказал кто-то.

— Тогда солтысу надо сказать! Он возле кузницы дороге с парнями чинит! — кричали вслед Адаму, который бешеным галопом мчался дальше.

Конечно, весть об убитых в лесу мигом облетела всю деревню, люди выбегали из хат, крича и крестясь в ужасе, и еще не взошло солнце, как полдеревни высыпало на дорогу. Кто-то известил ксендза, и он вышел из плебании, чтобы расспросить подробнее о случившемся. У костела собралась целая толпа, молодежь побежала вперед, на тополеву дорогу, а остальные с величайшим нетерпением ожидали солтыса, который поехал туда на телеге, взяв с собой Клемба и парней.

Ждали долго, солтыс вернулся только в сумерки и, к всеобщему удивлению, в бричке войта. Он был, видно, очень сердит, отчаянно ругался и стегал лошадей. Он и не подумал остановиться перед встречавшей его толпой, но кто-то схватил лошадей под уздцы, и Шимону волея-певолей пришлось остановиться.

— Бездельники эти парни, сочинили басню для потехи! Никаких убитых в лесу не было, просто кто-то там спал под кустами. Поймаю я этого Адама, так покажу ему, как людей пугать! А войта я встретил по дороге и пересел к нему в бричку... Вот и вся история! Ну, трогай, милые!

— Что же это, войт заболел, что ли? Почему лежит, как баран? — спросил кто-то, заглянув в бричку.

— Сон его сморил, и все тут! — солтыс стегнул лошадей, и они побежали рысью.

— Ах, висельники, шельмы! Выдумать такое!

— Это Гульбасенка штуки, он на всякие проказы мастер!

— Взгреть бы их ремнем, чтобы не тревожили людей зря!

Так возмущались все, медленно расходясь по домам.

У окрашенного закатом озера еще стояли небольшие группы людей, когда на дороге показались бабы-коморницы с тяжелыми вязанками хвороста на спине. Впереди шла Козлова, согнувшись чуть не пополам под своей ношей. Увидев людей, она остановилась и прислонила вязанку к дереву.

— Солтыс вас здорово одурачил! — сказала она, тяжело дыша от усталости. — Убитых, правда, в лесу не было, зато было кое-что похуже!

И когда вокруг собралось много людей, привлеченных ее голосом, Козлова дала волю языку:

— Шли мы домой, дорогой мимо леса, к кресту, вдруг скачет к нам Гульбасов парнишка и кричит в страхе: «Под можжевельником убитые лежат!» — «Убитые или пет, — думаю себе, — а поглядеть не мешает». Пошли мы туда... Уже издали видим: и вправду лежат какие-то люди, как мертвые... Только ноги торчат из кустов. Филипка меня тянет — бежим, мол, — Гжелиха уже молитву бормочет, да и у меня мороз по коже подирает. Но я перекрестилась, подхожу ближе, гляжу... а это наш пан войт лежит без кафтана, а около него Ягуся Бoryпова и спят себе сном праведным! Надрызгались в городе, жарко им было, вот они и вздумали отдохнуть в холодке да побаловаться. А водкой от них так и разит! Мы их будить не стали, пусть свидетели придут, пусть вся деревня увидит, что у нас творится! И сказать стыд, как она была раздета, уж Филипка ее пожалела и платком прикрыла. Грех, да и только! До старости я дожила, а про такой срам и не слыхивала! Солтыс сейчас приехал и разбудил их. Ягна убежала в поле, а пана войта еле на бричку втащили — пьян, как свинья!

— Господи Иисусе, этого в Липцах еще не бывало! — ахнула одна из баб.

— Если бы еще парень с девушкой, а то хозяин, семейный человек и войт!

— Бoryна со смертью борется, некому воды ему подать, а эта...

— Я бы ее из деревни вон выгнала! Я бы такую стерву батогами па площади секла! — воскликнула Козлова.

— Грех сам за себя кричит, о чем тут еще толковать! — успокаивали ее другие бабы.

— А Доминикова где?

— Они ее нарочно в городе оставили, чтобы не мешала.

— Боже мой, подумать страшно, какие дела творятся на свете!

— Этакой грех, этакой соблазн — ведь стыд на всю деревню падет!

— Ягна срама не боится, завтра будет то же самое делать.

Так толковали в избах, а некоторые бабы даже плакали и ломали руки от негодования и ужаса, боясь суровой божьей кары на всю деревню. Липцы так и гудели от разговоров и причитаний.

А парни, собравшись на мосту, расспрашивали Гульбаса о подробностях и хохотали, забавляясь всей этой историей.

— Вот так петух наш войт! Ну и хват! — смеялся Адам Вахник.

— Он еще поплатится за эти шашни, жена ему голову оторвет!

— И с полгода к себе подпускать не будет!

— Ну, после Ягуси, он не очень-то будет к ней торопиться.

— Эх, черт его побери! Для Ягны каждый на все решится.

— Еще бы! Баба — как лань! Такую красавицу и среди знатных панн не сыщешь.

— Глянет на человека — так его к ней и потянет!

— Не женщина — мед! Не дивлюсь я, что Антек Боруна...

— Будет вам, хлопцы! Ендрик врет одно, Козлова — другое, а бабы из зависти еще прибавить рады! По правде сказать, мы не знаем, как там дело было. У нас не раз чернят и самую честную бабу, — начал Матеуш, и в голосе его слышалось глубокое огорчение. Но он не договорил, потому что к ним подошел брат войта, Гжеля.

— Что, Петр еще спит? — спрашивали у него любопытные.

— Хоть он мне брат родной, а я его больше знать не хочу! Но виновата во всем эта бесстыдница!

— Неправда! — крикнул вдруг Петрик, работник Боруны, подступая к Гжелю с кулаками. — Кто так говорит, брешет, как пес!

Всех изумило это неожиданное заступничество. А Петрик кричал, размахивая кулаками:

— Войт один виноват! Разве это она ему кораллы привозила? Она его в корчму тащила? Опа его по целым но-

чам в саду подстерегала? Я хорошо знаю, как он ее неволил да соблазнял! А может быть, и капель ей каких-нибудь подлил, чтобы она ему не противилась!

— Ишь заступник нашелся! Не прыгай так, штаны свалятся!

— Вот узнает, что ты ее защищал, так жалованья тебе прибавит.

— Или старые портки Мацея подарит!

Парни покатывались со смеху.

— Ни муж, ни кто другой за нее не вступится, так я ее в обиду не дам! Не дам, и если еще услышу худое слово, кулаков не пожалею... Сукины вы сыны, сплетники! Если бы это с кем-нибудь из ваших сестер или жен произошло, так небось языки бы проглотили!

— И ты язык придержи, батрак! Не твое это дело, смотри за конскими хвостами! — заорал на него Стах Плошка.

— И гляди, чтобы тебе самому прежде не досталось! — добавил Вахник.

— А к хозяйским сынам не суйся, лохматый! — бросил кто-то, уходя.

— Подумаешь, хозяева! Помещики какие! Я служу да тайком не пропиваю в корчме отцовское добро, не таскаю ничего из чулана! Я вам покажу! Вы еще меня не знаете! — кричал Петрик вслед парням, которые поспешно и молча расходились, потому что им вдруг стало как-то не по себе.

Вечер уже наступил, ветреный и удивительно светлый. Закат давно догорел, но на небе еще лежали островки багряной зари, похожие на разрытые муравейники, и медленно наплывали большие облака. Что-то тревожное чувствовалось в воздухе, ветер дул поверху, и только самые высокие деревья качали верхушками. С криками пролетали где-то птицы, гуси во дворах беспокойно гоготали, а собаки лаяли, как бешеные, забегая даже на поля. Такая же неясная тревога томила и людей. После ужина никто не сидел дома, не отдыхал на пороге, как обычно. Все шли к соседям и, собираясь у плетней, тихо толковали между собой.

Деревня как будто вымерла, не слышно было ни смеха, ни песен, как обычно в теплые вечера. О случившемся говорили шепотом, чтобы не слышали дети и девушки, и все с одинаковым ужасом и возмущением.

На крыльце у Гавки тоже собралось несколько куму-

шек, прибежали выразить ей сочувствие и узнать что-нибудь новое об Ягне. Они и так и этак подъезжали к Ганке, но она только сказала грустно:

— Срам это и грех, но и несчастье большое.

— Ну еще бы! И завтра весь приход узнает.

— Будут говорить, что такие безобразия всегда только в Липцах и бывают.

— И про всех липецких баб дурная слава пойдет!

— А бабы у нас известные праведницы!.. Каждая, если бы к ней кто-нибудь так приставал, сделала бы то же, что Ягна, — насмешливо бросила Ягустинка.

— Перестань, не время сейчас шутки шутить! — сурово остановила ее Ганка и больше уже ни словом не обмолвилась.

Ее еще душил стыд, но злоба против Ягны, вспыхнувшая в ней в первые минуты, уже исчезла. Когда кумушки разошлись, она заглянула на другую половину — якобы проведать Мацея и, увидев, что Ягна спит одетая, закрыла дверь и заботливо раздела ее.

«Упаси боже от такой доли!» — думала она с непонятной ей самой жалостью и в тот вечер еще несколько раз заглянула к Ягне.

Ягустинка, должно быть, что-то смекнула — она сказала осторожно:

— И Ягна, конечно, не без греха, но больше всего виноват войт.

— Правда. И только ему надо за все отплатить! — подтвердила Ганка так горячо, что Петрик с благодарностью взглянул на нее.

Не одна она так думала. До поздней ночи старик Плошка и Козел с женой бегали по деревне, бунтуя людей против войта. Плошка заходил в избы и начинал как бы шутя:

— Удалой у нас войт, во всем уезде другого такого молодца не найти!

Ему что-то не очень охотно подпевали, и он решил пойти в корчму. Там сидело несколько небогатых хозяев. Он угостил их водкой и, когда они уже немного захмелели, сказал:

— Войт-то наш как отличается, слышали?

— Не впервой ему! — уклончиво заметил Кобус.

— А я насчет него свою думку думаю и никому не скажу! — бурчал подвыпивший Сикора, тяжело наваливаясь грудью на прилавок.

— Ну и держи ее зубами, никто ее у тебя не вырвет! — рассердился Плошка и уже осторожнее продолжал настраивать их против войта, распространяясь о том, какой дурной пример он подает другим, какой срам навлек на деревню и так далее.

— Я и про тебя свое думаю, да не скажу, — твердил Сикора.

— Одно средство — снять его с должности, тогда он сразу уgomонится! — говорил Плошка, поставив им новую бутылку. — Мы его войтом выбрали, мы и согнать можем. То, что он сегодня натворил, позор для всей деревни, но за ним водятся дела и похуже. Постоянно он с начальством заодно и против нас. Затеял русскую школу в Липцах строить! Да и немцев на Подлесье посадить — это, говорят, тоже он помещику советовал. И все пьет, гуляет, вот амбар новый себе построил, лошадь прикупил, каждое воскресенье мясо едят и чай пьют, а на чьи это деньги, а? Ясное дело, не на свои, а на мирские!

— Я так считаю, что войт — свинья, но и ты не прочь рыло свое в мирское корыто сунуть! — пьяно пробормотал Сикора.

— Ишь нахлестался и вздор мелет!

— Я свое говорю: не выберем тебя войтом!

Мужики отодвинулись от пьяного и долго о чем-то совещались.

А на другой день в деревне еще громче заговорили о подвигах войта, потому что ксендз запретил ставить алтарь перед его избой, как это делалось в прежние годы. Войт, конечно, тотчас об этом узнал и рано утром послал за Доминиковой, которая только около полуночи вернулась из города.

Он ужасно бесился, изругал органиста, а Амброжия даже ударил чубуком.

В день праздника погода стояла такая хорошая, как и в прежние дни, но очень уж душно было и тихо, ни малейший ветерок не освежал воздух, солнце с самого утра пекло немилосердно, и в сухом, накаленном воздухе вяли листья, бессильно клонились колосья. Песок жег ноги, а со стен капала растопленная смола.

Господь бог дал сегодня солнцу волю, и оно было беспощадно, но на него никто не обращал внимания; уже с раннего утра поднялась в деревне суета, беготня, собирались в костел. Девушки, которым предстояло нести об-

раза в процессии и усыпать цветами дорогу ксендзу, бегали друг к другу примерять наряды, причесываться и болтать всякую чепуху, а старшие спешно сооружали алтари. Один поставили перед домом мельника, второй — перед плебанней, третий — перед избой Бороны. Здесь Ганка и все домашние уже чуть не с рассвета трудились вместе с Рохом.

Они первые кончили и славно убрали свой алтарь. Все дивились и даже уверяли, что он красивее, чем у мельника.

И это была правда: перед крыльцом стояла как бы целая часовенка, сплетенная из березовых веток и всякой другой зелени, убранная кусками шерстяной ткани, такой пестрой, что даже в глазах рябило, а посредине возвышался алтарь, прикрытый тонкой белой холстиной, уставленный свечами и цветами в горшках, которые Юзья оклеила золотой бумагой.

Над алтарем повесили большой образ божьей матери, а рядом — образа поменьше, столько, сколько поместилось. И наконец, не зная уже, чем еще его украсить, подвесили над самым алтарем клетку с дроздом, которую принесла Настуся. Дрозд заливался вовсю, а Витек тихонько ему подсвистывал.

Двор от крыльца до ворот был усажен елочками и березками и густо посыпан желтым песком.

Юзя принесла охапки васильков, лилового шпорника, полевого горошка и украшала ими стены часовенки, образа, подсвечники — все, что только можно было, даже землю перед алтарем усыпала цветами. Не забыла она и хату: стены и окна исчезали под массой зелени, а соломенная крыша была утыкана высокими стеблями камыша.

Работали все, кроме Ягуси, которая ускользнула из дому рано утром и до сих пор не возвращалась.

Хоть они и управились раньше других, но солнце стояло уже высоко над деревней, когда они кончили. Все больше и больше бричек громыhalo на дороге — это ехали в костел мужики из соседних деревень.

Все стали поспешно одеваться.

Витека оставили сторожить двор, так как ребята сбегались толпой смотреть алтарь и подсвистывать дрозду. Витек пробовал отгонять их хлыстом, а когда это не помогало, выпускал на них своего аиста. Аист, видимо приученный, подкрадывался к ним, норовил клюнуть острым клювом в босые ноги, и ребяташки с криком разбегались.

Зазвонил маленький колокол в костеле, и все вышли со двора. Юзья бежала впереди, в белом платье и сапожках, зашнурованных красными тесемками, с молитвенником в руке.

— Витек, ну как я тебе нравлюсь? — спросила она, поворачиваясь перед ним на каблуках.

— Славно! Точь-в-точь беленький гусенок! — ответил он с восхищением.

— Понимаешь ты столько же, сколько твой аист! Ганка говорит, что я сегодня буду наряднее всех девушек в деревне! — тараторила Юзя, обтягивая чересчур короткое платье.

— Эге, а коленки у тебя краснеют сквозь юбку, как гусиные лапы!

— Дурак! Никто тебя не просит приглядываться. Смотри аиста своего спрячь! Ксендз придет с процессией, еще, пожалуй, увидит его и узнает! — предостерегала Юзя уходя.

— А ведь правда, красивая она и нарядная такая! Да и хозяйка тоже сегодня расфуфырилась, чисто индюк! — пробормотал Витек про себя, глядя им вслед. Но тут же вспомнив предостережение Юзи, схватил аиста и упрятал его в пустую картофельную яму. Он оставил Лапу стеречь алтарь от детей, а сам побежал к Мацею, который, как всегда, лежал в саду.

В деревне было уже совсем тихо, все проехали и прошли, опустели улицы, и только во дворах кое-где играли дети, грелись на солнце собаки. Над озером в жарком воздухе носились ласточки.

Когда обедня отошла, ударили во все колокола так громко, что голуби вспорхнули с крыш. Народ повалил из костела. Над головами качались склоненные хоругви, пылали свечи, образа несли девушки, все в белом, а последним выплыл из дверей пурпурный балдахин, под ним ксендз с золотой дароносицей в руках медленно сходил по ступеням.

Когда толпа кое-как выровнялась в процессию, оставив длинный проход, окаймленный пылающими свечами, ксендз затаился:

— У врат твоих стою, господи!..

И весь народ ответил ему мощным хором, достигающим неба:

— И жду милости твоей...

С пением двинулись вперед, теснясь и толкаясь в во-

ротах кладбища, так как людей съехалось видимо-невидимо, весь приход был тут и люди из всех окрестных имений. Ксендза вели под руки помещики, а балдахин над ним, к досаде липецких, несли чужие мужики из других деревень. С тепистого кладбища шествие вышло на площадь, залитую ослепительным солнцем и, казалось, раскаленную добела. Солнце било в глаза, жгло огнем, и люди шли медленно под звон колоколов и пение, в ароматном дыму кадил и облаках пыли. Горели свечи, сыпались цветы под ноги ксендзу.

Дошли до первого алтаря — во дворе Борыны. На улице сразу началась такая давка, что трескали плетни, от напора толпы тряслись деревья, и немало людей сорвалось в озеро с высокого берега. Густая поющая толпа напоминала реку, сверкающую радужными переливами, а посреди этой реки, как лодка на волнах, плыл пурпуровый балдахин, качались хоругви, иконы и статуи святых, украшенные тюлем и цветами.

У алтаря Борын ксендз прочитал первое Евангелие и, исцмного передохнув, повел всех к алтарю мельника.

Стало еще жарче, люди изнемогали, пыль забиралась в горло. По бледному небу тянулись длинные беловатые полосы, а накаленный воздух мерцал и переливался. Собиралась гроза.

Уж добрый час продолжалось шествие, все истомились, ксендз был красен, как свекла, то и дело утирал пот, но обходил алтари медленно, перед каждым читал Евангелие и пел все новые и новые молитвы.

Когда утомленный хор затихал и слышен был только топот ног, в наступившей тишине звенели песни жаворонков в полях, где-то неутомимо куковала кукушка. А колокола все гудели, медленно, протяжно и громко.

И хотя мужики не жалели глоток, женщины заливались высокими голосами и даже дети пели тонко и пронзительно, хотя без усталости звенели колокольчики и от тяжелого топота гудела сухая земля, — звон колоколов все покрывал. Они пели чистыми, глубокими голосами, полными радости, так громко, словно кто бил молотом по солнцу, и весь мир, казалось, колебался и звенел.

Когда обошли все алтари, пришлось еще отстоять длинную службу в костеле. И только что люди стали выходить на площадь, чтобы немного поостыть в тени, оделить милостыней нищих да поболтать со знакомыми, как вдруг потемнело, прокатился отдаленный гром, сухой

горячий ветер закачал деревья и взвихрил на дорогах пыль.

Мужики из ближних деревень спешно стали разъезжаться.

Сначала пошел только мелкий дождик, теплый и редкий, духота еще усилилась, солнце палило немилосердно, лягушки квакали сонно, все тише и тише. Но вот потемнело снова, загремел гром, и на густо-синем небе замелькали короткие бледные молнии.

Гроза шла с восточной стороны. Оттуда дугой стягивались тяжелые синие тучи, несущие дождь или град, а порывистый шумный ветер, опережая их, свистел в вершинах деревьев, терзал колосья. Птицы с криком летели под навесы, даже собаки прятались в избах, а скот бежал с поля. По дорогам клубилась пыль, и раскаты грома слышались все ближе.

Не прошло и нескольких минут, как солнце стало тонуть в грязно-бурой мгле и светило, как сквозь закопченное стекло. Гремело уже над деревней, налетел такой вихрь, что чуть не вырывал с корнями деревья. Он ломал ветви, срывал солому с крыш и уносил ее. Гром ударил где-то над лесом, и небо вмиг потемнело, солнце померкло, от громовых раскатов, следовавших один за другим, дрожала земля, дрожали избы, и ослепляющие молнии рассекали покрытое тучами небо. Все живое в ужасе попряталось.

К счастью, гроза прошла стороной. Гром гремел уже где-то вдалеке, вихрь пронесся, не наделав бед, небо светлело. Но перед вечерней хлынул проливной дождь, сразу уложивший хлеба. Река вздулась, а из всех оврагов, канав и борозд неслись пенящиеся потоки.

Ливень утих только к самому вечеру, и на западе из-за туч огненным шаром выкатилось солнце.

Липцы снова ожили, во всех избах распахнулись двери, люди выглядывали на свет божий, с наслаждением вдыхая очищенный грозой воздух. После дождя все благоухало, особенно молодые березки и мята в садах. Мокрая земля словно плавилась на солнце, сверкали лужи на улицах, блестели листья и трава, и потоки воды с веселым журчаньем стекали в озеро.

Легкий ветерок перебирал примятые дождем колосья, и чудесная живительная свежесть шла от лесов и полей. Уже дети с радостными криками бродили по канавам и лужам, птицы щебетали в чаще ветвей, цесарки ксэндза,

сидя на плетне, драли горло, и все дворы, улицы, хаты, тропки зашумели голосами, а где-то у мельницы женский голос пел:

Дождик льет, и мокну, мокну я,
Заночую я, Марыся, у тебя!

А со стороны поля, вместе с мычанием коров, летела визгливая песня пастушек:

Говорил, что замуж ты меня возьмешь,
Когда рожь да ярку соберешь.
А уже скопл ты и овес —
Значит, брешь ты, как пес!
Ой дана, да дана!

Начали разъезжаться крестьяне, переживавшие грозу, но многие из соседних деревень остались погостить в Липцах — это были те славные люди, что в свое время приезжали помочь бабам на полевых работах. Теперь липецкие богачи щедро угощали их, не жалея ни еды, ни водки, а хозяйева победнее повели своих благодетелей в корчму, потому что на людях и пить веселее.

Парни привели сюда музыкантов, и с самой вечерни слышны были в корчме звуки скрипки, гуденье басов и бряцанье бубна.

Много народу сошлось сегодня в корчму повеселиться: ведь с самой масленицы не было ни одной вечеринки! В корчме не хватило места для всех, и часть посетителей разместилась на бревнах, лежавших перед домом. Правда, погода была прекрасная, на небе сиял золотой разлив вечерней зари, и люди охотно оставались на воздухе и часто покрикивали на Янкеля, чтобы он принес им водки.

Корчму переполняла почти одна только молодежь, и она с места в карьер пустилась плясать оберек¹, да так, что стонали стены и половицы. Ко всеобщему удивлению, в первой паре танцевали Шимек Пачесь с Настусей. Тщетно младший брат, Енджик, тихо уговаривал его и пытался увести — Шимек так разошелся, что и слушать ничего не хотел, все время пил, заставлял пить Настку, угощал приятелей. Он бросал пятаки музыкантам и, обняв Настку за талию, орал изо всей мочи:

— Жарьте, ребята, вовсю, лихо, по-нашему!

И носился по корчме, как взбесившийся жеребед, удальски покрикивая и притопывая каблуками.

¹ Оберек, или обертас, — польский народный танец.

— Портки, чертов сын, сейчас потеряет! — бормотал Амброжий, с завистью поглядывая на выпивавших соседей. — Ишь ножищами, как цепом, молотит, того и гляди, отвалятся! — добавил он громче, придвигаясь к выпивавшим.

— Глядите, чтобы сами чего не потеряли! — буркнул Матеуш, стоявший в компании приятелей.

— Давай выпьем с тобой мировую! — сказал, посмеиваясь, Амброжий.

— На тебе, смотри только рюмку не проглоти, пьяница! — Матеуш протянул ему полную рюмку и отвернулся, так как в эту минуту Гжеля начал что-то тихо говорить товарищам. Его слушали внимательно, забыв о танцах и стоявшей перед ними водке. Было их шестеро, все самые видные в деревне парни. Они о чем-то горячо толковали и, так как вокруг становилось все шумнее и теснее, скоро перешли в комнату корчмаря (за перегородкой сидели старики со своими гостями).

Комнатушка у Янкеля была тесная, заставлена кроватями, на которых спали дети. Парни с трудом разместились за столом. Одна сальная свечка коптила в медном подсвечнике. Гжеля пустил бутылку вкруговую, чокнулись раз-другой, но все еще никто не заговаривал о том, для чего они собрались. Наконец Матеуш сказал с насмешкой:

— Начинай же, Гжеля, чего вы сидите, как вороны под дождем?

Но Гжеля не успел начать — вошел кузнец и, поздоровавшись, искал, где бы присесть.

— Ишь смола!.. Где и не сеяли, взойдет! — выбранился Матеуш, но тотчас добавил, сдерживая раздражение: — За твое здоровье, Михал.

Кузнец выпил и сказал с притворной шутливостью:

— На чужие секреты я не зарюсь. А здесь я, видно, лишний.

— Правильно! Тебе с немцами весело по пятницам кофе пить, а сегодня праздник — так будет еще веселее!

— Чепуху городишь, Плошка, выпил ты лишнее, что ли? — огрызнулся кузнец.

— Говорю то, что все знают. Каждый день ты с ними якшаешься.

— А я не привередлив — кто мне работу дает, на того и работаю.

— Работу! Нет, брат, ты с ними другие делишки обделываешь! — сказал Вахник, понизив голос.

— Так же, как с помещиком, когда ты ему помогал наш лес продавать! — грозно добавил Прычек.

— Да я, кажись, на суд попал? И откуда это вы все знаете?

— Оставьте его, хлопцы, он без нас свое дело делает, так и мы без него обойдемся, — сказал Гжеля, пристально глядя в бегающие глаза кузнеца.

— Если бы вас стражник увидел в окно, он подумал бы, что вы тут сговариваетесь против кого-то! — Кузнец говорил шутивым тоном, но губы у него тряслись от злости.

— Может, и сговариваемся, да не против тебя, Михал, невелика ты птица!

Кузнец нахлобучил шапку и вышел, хлопнув дверью.

— Пронюхал что-то и прибежал на разведку!

— Теперь, пожалуй, будет подслушивать под окном.

— Ничего, он такое про себя услышит, что пропадет охота подслушивать.

— Тише, хлопцы! — начал Гжеля серьезно. — Я уже вам говорил, что Подлесье еще немцам не продано, но каждый день они с паном могут купчую подписать. Я слышал даже, что они в будущий четверг за этим в город поедут.

— Знаем! Надо что-нибудь сделать! — нетерпеливо перебил Матеуш.

— Посоветуй, Гжеля. Ты грамотный, газеты читаешь, тебе легче придумать.

— Ведь если немцы купят хутор и станут нам соседями, будет так, как в Горках; задохнемся мы в Липцах, с сумой всем идти придется или в Америку...

— Отцы наши только затылки чешут да вздыхают! Они ничего не придумают.

— А хозяйства нам не уступают!

— Велика важность — немцы! Вот жили они в Липках, и наши у них все откупили. А в Горках мужики сами виноваты — пили, сутяжничали постоянно, вот и досудились до сумы.

— А мы Подлесье можем у них откупить да прогнать их! — воскликнул Енджик Бoryна, двоюродный брат Антека.

— Легко сказать! Нам и сейчас-то купить не па что, хотя помещик просит только по шестьдесят рублей за

морг, а потом придется, пожалуй, сотни полторы отдать — где их возьмешь?

— Если бы старики выделили каждому из нас его часть, нам легче было бы обернуться.

— Ясно! Тогда каждый знал бы, что делать! — закричали все хором.

— Дурачье вы, дурачье! У отцов сейчас вся земля, и то они едва перебиваются, а вы думаете из своих надсолов деньги выколачивать! — остановил их Гжеля.

Они замолчали. Гжеля был прав, и его слова сразу всех отрезвили.

— Не в том беда, что отцы не хотят вас выделить, — продолжал он, — а в том, что слишком мало земли у нас в Липцах, а людей все прибавляется. Что при дедах наших хватало на троих, теперь приходится делить на десятерых.

— Истинная правда! Правильно говоришь! — шептались скопфуженные парни.

— Так купим Подлесье и поделим! — выпалил кто-то.

— Купил бы деревеньку, кабы мне денег маленько! — нетерпеливо проворчал Матеуш.

— Погодите, может, и найдется средство...

Матеуш вскочил, стукнул кулаком по столу и закричал:

— Ну и дожидайтесь и делайте, что хотите, а с меня довольно! Вот рассержусь и брошу совсем деревню, уйду в город, там люди лучше живут.

— Дело твое. Но другие-то здесь останутся, значит, должны найти какой-нибудь выход.

— Сил моих больше нет, зло берет смотреть, теснота — и как только стены всех вмещают и не треснут! — нужда из всех углов прет, а тут рядом земля гуляет и просится в руки... Близок локоть, да не укусишь, хоть с голоду подыхай! А купить ее не на что, и занять денег негде. Черт бы побрал такие порядки!

Гжеля стал рассказывать, как живут крестьяне в других странах. Парни слушали, горестно вздыхали, а Матеуш перебил его, сказав:

— Что нам с того, что другие хорошо живут! Покажи голодному полную миску да убери ее — наестся он вприглядку? В других краях о народе заботятся, а у нас что? Каждый мужик — как дикая груша в чистом поле: растет она себе, и никому дела нет, вырастет или пропадет. Только бы подати платил, в солдаты шел да против вла-

стей не бунтовал! Опротивела мне такая жизнь, ну ее совсем!..

Гжеля терпеливо выслушал его и вернулся к тому, с чего начал:

— Есть только один способ добиться, чтобы Подлесье было наше.

Все придвинулись ближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Но вдруг в корчме поднялся такой крик, что даже стекла задребезжали и музыканты перестали играть. Один из парней вышел узнать, что случилось, и, вернувшись, со смехом рассказал, что это Доминикова наделала такой переполох: прибежала с палкой за сыновьями, хотела их бить и силой вести домой! Но они не испугались и прогнали мать из корчмы. Теперь Шимек пьет напрапалую, а Енджик, уже мертвецки пьяный, ревет у печки.

Рассказ выслушали, ни о чем не спрашивая, так как с нетерпением ждали объяснений Гжели. План его заключался в том, чтобы помириться с помещиком и получить от него взамен леса землю на Подлесье, по четыре морга пахотной земли за морг леса!

Все страшно обрадовались такой возможности и удивлялись, как это им раньше не пришло в голову. А к тому еще Гжеля, добавил, что такую сделку заключила одна деревня около Плоцка,— он читал об этом в газете.

— Земля будет наша, хлопцы! Эй, Янкель, водки! — крикнул Плошка в дверь.

— За три морга леса досталось бы нам ровно двенадцать моргов поля!

— А нам десять — целое хозяйство!

— И хорошо бы получить с него в придачу кустов на топливо.

— И за настбища мог бы дать хоть по моргу луга!

— И строевого лесу на избы! — говорили парни, перебывая друг друга.

— Вы скоро захотите, чтобы он прибавил еще и по телеге с лошадьё да по корове каждому! — подсмеивался над ними Матеуш.

— Тише! Теперь надо уговорить стариков пойти к помещику и объяснить ему, чего мы хотим. Авось согласится.

— Он Подлесье продает только оттого, что деньги ему до зарезу нужны,— вмешался Матеуш.— Деньги немцы хоть завтра дадут, пусть только захочет. А пока наши будут затылки чесать, да дело это обмозгуют, да столкнут-

ся между собой и баб на свою сторону перетянут, пройдет месяц, помещик немцам землю продаст и — гора с плеч! С деньгами он может ждать, чем кончится дело насчет леса. Гжелин способ хорош, но, по-моему, надо с другого конца начинать.

— Как это? Да говори же, Матеуш!

— Не судить да рядить нужно, а сделать так, как тогда, когда лес отстаивали!

— Иной раз это можно, а иной раз нет! — недовольно сказал Гжеля.

— А я тебе говорю, что можно, только немного по-другому, а выйдет то же самое. К немцам надо идти всем миром! И спокойненько им сказать, чтобы не смели покупать Подлесья...

— Да, как же, они такие дураки, что сразу нас испугаются и уступят!

— Мы им объявим, что, если они купят, не дадим им ни сеять, ни строиться, шагу не позволим ступить за межу! Увидите, испугаются или нет! Выкурим их, как лисиц из нор!

— Не беспокойся, они знают, что делать! Как бог свят, засадят нас опять в тюрьму за такие угрозы! — крикнул Гжеля.

— Посадят и выпустят, век сидеть не будем! А когда нас выпустят, немцам солоно придется... Они не дураки и сначала хорошенько поразмыслят, стоит ли с нами ссориться. Да и помещик другое запоеет, когда мы его покупателей разгоним... А если нет...

Но тут уж Гжеля не выдержал, вскочил с места и начал горячо отговаривать их от таких дерзких замыслов. Он объяснял, какие из-за этого начнутся тяжбы, новые убытки для всех, опять разорение... Говорил, что их за постоянные бунты могут засадить на несколько лет, что лучше все уладить тихо и мирно с самим помещиком.

Он заклинал и умолял их не навлекать на деревню новых несчастий, он даже целовал каждого, уговаривая одуматься. Говорил добрых полчаса, покраснел весь, но все было напрасно, слова отскакивали от них, как горох от стены, и наконец Матеуш перебил его:

— Что ты нам проповедь читаешь, как ксендз, не того нам надо!

Тут и остальные заговорили все разом, вскочили с мест и, барабана кулаками по столу, весело кричали:

— Наша возьмет! Идем на немцев, разгоним шароварников! Матеуш правильно советует, так и сделаем, а кто трусит, пускай под перину прячется!

Они были так возбуждены, что говорить с ними было невозможно.

В это время Янкель принес им бутылку. Вытирая на столе разлитую водку, он послушал их разговор и несмело сказал:

— Матеуш — голова! Умный совет дает.

— Смотрите-ка, и Янкель против немцев! — раздались удивленные возгласы.

— Я всегда за своих мужиков! Маюсь, как и все, да как-нибудь с божьей помощью проживу! А где поселятся немцы, там не только бедному еврею, собаке нечем поживиться! Чтоб они околели, чтоб их... тьфу!.. Холера взяла!

— Еврей — а за мужиков стоит! Слыхали, а? — все больше удивлялись парни.

— Я еврей, но меня не в лесу нашли, я тут родился, как и вы, мой дед и мой отец тут родились... За кого же мне стоять? Разве я вам не свой? Ведь если вам жить будет лучше, так и мне будет лучше! Вот станете хозяевами, и я буду с вами торговать, как мой дед торговал с вашими дедами, верпо? А за то, что вы так умно насчет немцев придумали, я вам целую бутылку рисовой ставлю! За ваше здоровье, хозяева подлесски! — сказал Янкель, чокаясь с Гжелей.

Пили рюмку за рюмкой и так воодушевились, что готовы были целовать Янкеля, усадили его с собой за стол, стали рассказывать все сначала и советовать с ним. Даже Гжеля перестал хмуриться и присоединился к ним, чтобы не подумали о нем худого.

Но совет недолго продолжался — Матеуш встал и крикнул:

— Хватит на сегодня! В корчму, хлопцы, надо ноги размять!

Все гурьбой перешли в корчму, Матеуш немедленно отбоял у кого-то Терезку и пошел с ней танцевать, а за ним и другие вытаскивали девушек из углов, покрикивали на музыкантов и кружились, как вихрь.

Музыка заиграла живее, музыканты знали, что с Матеушем шутки плохи, он щедро платит, но и прибить может.

Расплясалась корчма! Многие были уже порядком навеселе, шум, топот, задорные выкрики вырывались из

раскрытых настежь дверей и окон, а на завалинках и бревнах перед корчмой тоже недурно развлекались: звенели тут рюмки, мужики то и дело чокались и говорили все громче и все бессвязнее.

Был поздний вечер, горели звезды, тихо шумели деревья, с болот доносилось кваканье лягушек, порой и крик выпи, в садах заливались соловьи. Люди наслаждались отдыхом и прохладой. Из корчмы время от времени выходила, обнявшись, какая-нибудь пара и скрывалась в тени... А у корчмы становилось все шумнее, говорили все разом, и трудно было что-нибудь разобрать.

— Только что я поросенка выпустила, не успел он рыла в картофель сунуть, а она как начала ругаться!..

— Выгнать ее из деревни! Выгнать!

— Помню, когда я еще молодая была, сделали так с одной... Перед костелом до крови высекли, отвезли на коровах за околицу, и стало спокойно...

— Эй, Янкель, штоф крепкой!

— Испортила она мою Сивулю, и молоко у нее пропало!..

— Выберем нового, всякий не хуже его справится...

— Зло надо выкорчевывать, пока оно глубже корней не пустило!..

— Полоть поле, пока его сорняки не заглушили...

— Выпьем, брат, и я тебе кое-что скажу...

— Бери быка за рога и не отпускай, пока не свалишь!

— Два морга да один — три морга. Да еще один — будет четыре.

— Пей, кум! И родной брат для тебя столько не делает!

Так звучали во мраке обрывки разговоров, и нельзя было попятить, кто с кем говорит. Только грубый голос Амброжия отчетливо выделялся среди других и слышался то тут, то там, потому что обладатель его переходил от одной компании к другой, заходил и в корчму, везде выпрашивая по рюмочке. Он был уже так пьян, что еле держался на ногах. У стойки он ухватил кого-то за кафтан и стал его слезливо упрашивать:

— Ведь я тебя крестил, Войтек, и по бабе твоей так звонил, что у меня руки распухли. Угости рюмкой, брат. А поставишь полбутылки, так я ей еще потрезвую на вечный покой и другую тебе сосватаю. Молодую, ядреную, как репа! Поставь, брат, полбутылки!..

Молодежь плясала. Развевались юбки и кафтаны, многие подпевали музыкантам и кружились все быстрее, все неистовее. Даже пожилые бабы визгливо покрикивали, поводили плечами, притопывали, а Ягустинка, протолкавшись в середину, подбоченилась и, стуча каблуками в пол, запела хрипло:

Мне не страшны волки,
Будь их невесть сколько,
Мне не страшны мужики,
Хоть бы целые полки!

Х

Эти дни — от праздника тела господня до воскресенья — нелегко прошли для Матеуша, Гжели и их товарищей. Матеуш, строивший избу Стаху, отложил эту работу, другие тоже забросили свои дела и с утра до вечера ходили из дома в дом и, ругая немцев, подговаривали мужиков выгнать их из Подлесья.

Корчмарь, со своей стороны, не жалел слов, а для неподатливых и водки, давал всем в долг, но дело двигалось туго. Старики только тяжело вздыхали и, не высказываясь ни за, ни против, оглядывались на других, а главное на баб, которые все, как одна, и слышать не хотели о походе на немцев.

— Вот еще! Что им в башки взбрело! Мало, что ли, горя на нас свалилось из-за леса? Еще за это дело не отсидели, а уже новые беды на деревню накликают! — кричали они, а жена солтыса, всегда такая тихая, даже метлой замахнулась на Гжелю.

— Будешь людей подстрекать к новому бунту, так я тебя стражникам выдам! Лодыри окайянные, работать не хотят, только бы им разгуливать! — визжала она на всю улицу.

А Бальцеркова налетела на Матеуша.

— Собак на вас выпущу, бездельники! Кипятком ошпарю!

Все они стеной стали против уговоров, глухие ко всем объяснениям и просьбам, и не было никакой возможности толковать им что-нибудь. Они оглушали парней криками, а иные ударялись в слезы, начинали голосить:

— Не пущу моего! Уцеплюсь за кафтан, и пусть хоть

руки мне отрежет — не пущу! Довольно мы нахлебались горя!

— Чтоб вас громом разразило, дуры безмозглые! — ругался Матеуш. — Кричат и кричат, как сороки к дождю! Теленок скорее поймет человеческую речь, чем баба — умное слово! — добавлял он с глубоким презрением.

— Брось, Гжеля, их не вразумишь, разве только кулаками! Если бы она твоя была, тогда еще, может, и послушалась бы, — увыло говорил он Гжеле.

— Что поделаешь, таковы уж бабы, насильно их не переделаешь. С ними надо по-другому — не спорить, а поддакивать и помаленьку на свою сторону перетягивать, — объяснял ему Гжеля. Правда, он и сам вначале был против похода к немцам, но когда рассудил, что другого средства нет, всей душой ратовал за это.

Характер у Гжели был стойкий: если он за что-нибудь брался, то непременно доводил до конца, несмотря ни на какие препятствия. И сейчас ничто его не обескураживало. Захлопывали у него перед носом дверь — он говорил через окно. Женщины накидывались на него с упреками и бранью — он не сердился, даже соглашался с ними, где надо, подпевал, заговаривал о детях, хвалил порядок в их хозяйстве, а под конец опять твердил свое. Не удавалось — шел дальше. Целых два дня его можно было видеть повсюду — в избах, на огородах, даже в поле; он сначала толковал с людьми о том о сем, потом переходил к делу. Тем, кто не сразу понимал, он чертил палочкой на земле план подлесских полей, показывал участки и терпеливо объяснял, какая каждому будет польза от этого. Однако все старания его и других были бы напрасны, если бы им не помог Рох.

Как-то в субботу после обеда они, поняв, что им деревни не поднять, вызвали Роха за Бороныновы амбары и рассказали ему все.

Они боялись, что он будет против их затей. Но Рох подумал немного и сказал:

— Способ-то, правда, разбойничий, но придумывать что-нибудь другое уже нет времени, и я охотно вам помогу.

Он сейчас же пошел к ксендзу, который сидел на огороде и наблюдал за работником, косившим клевер. Работник потом рассказывал, что сначала ксендз рассердился на Роха, кричал, затыкал уши, не хотел его слушать, а потом оба, сидя на меже, долго о чем-то говорили. Види-

мо, Рох убедил ксендза; в сумерки, когда люди начали возвращаться с поля, ксендз пошел в деревню и, заходя во дворы, расспрашивал хозяев о том о сем, а больше толковал с жепщицами и папоследок тихо говорил каждой отдельно:

— Парни хорошо придумали. Надо поторопиться с этим делом, пока не поздно. Вы свое сделайте, а я потом к помещику поеду и буду его уговаривать.

И он добился того, что жепщицы больше не восставали против плана Матеуша, мужчины же рассудили, что если сам ксендз советует, то, пожалуй, стоит так сделать.

Весь вечер совещались, а наутро, в воскресенье, единодушно решили действовать.

Идти на Подлесье собирались после вечерни, во главе с Рохом, который умел говорить по-немецки.

Заручившись обещанием Роха, парни ушли довольные, весело переговариваясь, а он все сидел на крыльце Ганки, перебирая четки и о чем-то думая.

Было еще рано, только что убрали со стола после завтрака, и запах мучной похлебки с салом щекотал нос. Утро было нежаркое, ласточки пулями рассекали воздух. Солнце только вставало из-за избы, и на густой траве в тени еще блестела роса, а с полей прохладный ветерок приносил запах ржи.

В избе было по-воскресному тихо, женщины убрали, дети сидели под крыльцом вокруг миски и медленно ели, с писком отмахиваясь ложками от Лапы, который упорно лез к ним в компанию. У стены на солнце разлеглась свинья и кряхтела, так как поросята тыкались в нее головами, добираясь до сосцов. Аист разгоял кур и бегал за жеребенком, который баловался во дворе. В саду порой шумели деревья, а в поле слышно было только жужжание пчел, летевших за медом, и звонкие трели жаворонков.

Та же праздничная тишина царила во всей деревне, лишь изредка заклохчет курица, сзывая цыплят, донесется смех ребятишек, плескавшихся в озере, или закричат утки.

Солнце ярко освещало пустые улицы. Нигде не видно было людей, только кое-где на крылечках девушки заплетали косы и кто-то тихо играл на дудочке.

Рох перебирал четки, ловил ухом все звуки, а мысли его все возвращались к Ягусе. Он слышал, как она ходила по комнате, иногда выходила на крыльцо и стояла за его спиной или шла во двор и, проходя мимо, опускала глаза

и багровый румянец заливал ее похудевшее лицо. Роху стало жаль ее.

— Ягусь! — позвал он ласково.

Опа остановилась, не дыша, ожидая, что он скажет, но он, не находя слов, только пробормотал что-то невнятное и умолк.

Ягуся опять ушла к себе в комнату, села у открытого окна и печально смотрела на залитую солнцем деревню, на облачка, которые, как белые гуси, бродили по небу. Тяжелые вздохи поднимали ее грудь, а порой и слезы текли медленно по исхудавшему лицу. Мало ли она пережила за эти дни? Вся деревня травила ее, как паршивого пса. Женщины поворачивались к ней спиной, а иные плевали вслед, прежние подруги не замечали ее, мужчины презрительно усмехались, а вчера самый младший парнишка Гульбаса швырнул в нее комком грязи и крикнул:

— Войтова любовница!

Словно ножом полоснули ее по сердцу! И сейчас при одном воспоминании об этом ее душил стыд.

Господи, да разве она виновата? Войт напоял ее так, что она была почти без памяти, — могла ли она ему противиться? А теперь все на нее, теперь вся деревня сторонится ее, как зачумленной, и никто слова не скажет в ее защиту.

Ходить больше никуда нельзя, все закроют перед ней двери да еще, пожалуй, собак натравят! Даже к матери идти незачем; она ее почти выгнала из дому, несмотря на слезы и просьбы... Если бы не Ганка, она бы руки на себя наложила. Да, одна только жена Антека не отвернулась, жалела ее да еще защищала перед людьми!

«Да ведь и не виновата я, нет! Войт виноват, он меня в грех ввел... А уж больше всех виноват этот старый хрыч! — подумала она вдруг о муже. — На всю жизнь меня связал! Была бы я девушкой, так не дали бы меня в обиду... И какая радость мне с ним была? Ни жизни не видала, ни света».

Такие мысли лихорадочно сновали в голове Ягны. Печаль и раскаяние уже сменялись страшным гневом, и она в возбуждении забегала по комнате. «Да, да, все из-за него! И с Аптеком не вышло бы так... И войт не посмел бы... Жила бы я себе спокойно, как прежде, как все живут. Нечистый поставил его у меня на дороге и мать прельстил его моргами, а теперь я должна мучиться... О, чтоб тебя черви ели!»

В порыве злобы она даже кулаки сжала. Увидев через окно лежавшего под деревом Мацея, кинулась туда, нагнулась над ним и прошипела с ненавистью:

— Хоть бы ты поскорее издох, старый пес!

Больной смотрел на нее во все глаза и что-то бормотал, но она тотчас убежала. Ей стало легче — было на ком выместить свою обиду.

Когда она шла обратно в дом, на крыльце стоял кузнец. Делая вид, что не замечает ее, он громче заговорил с Рохом:

— Слышал я от Матеуша, что вы их поведете на немец...

— Да, просят, чтобы я пошел с ними к соседям, — сказал Рох, напирая на слово «соседи».

— По кандалам соскучились! Совсем осатанели мужики. Думают, что если опять пойдут толпой с кольями и криками, так немцы перепугаются и не купят Подлесья! — Он едва сдерживал злость.

— А может, и откажутся от покупки, как знать?

— Ну да, ждите! Они уже и землю измерили, и семьи перевезли, копают колодцы, возят камень для стройки.

— Мне хорошо известно, что они еще у нотариуса купчей не подписали.

— А мне они божились, что все сделано!

— Говорю то, что знаю. И если помещику подвернутся другие покупатели, лучше этих...

— Да ведь липецкие не купят, ни у кого гроша за душой нет.

— Гжеля что-то надумал, и сдастся мне...

— Гжеля! — нетерпеливо перебил кузнец. — Гжеля всегда вперед лезет, а сам дурак набитый, только народ мутит и на худые дела толкает...

— Посмотрим, что выйдет, посмотрим, — отозвался Рох, с легкой усмешкой наблюдая за кузнецом, который со злости так дергал усы, словно хотел их вырвать.

— Ядек идет! — воскликнул он вдруг, увидев входившего во двор сторожа.

— Бумага из канцелярии Анне Матвеевне Борыне, — объявил Ядек, достав из сумки конверт.

Выбежавшая на крыльцо Ганка с беспокойством вертела в руках бумагу, не зная, что с ней делать.

— Дай прочту, — сказал Рох.

Кузнец попробовал заглянуть через его плечо, но Рох быстро сложил письмо и сказал спокойно:

— Суд уведомляет тебя, Ганка, что тебе разрешены свидания с Антеком раз в неделю.

Ганка, дав на чай сторожу, вернулась в комнаты, а Рох только после ухода кузнеца вошел туда же и сказал радостно:

— В бумаге совсем не то написано, — я не хотел говорить при кузнеце! Суд извещает, что Антека выпустят, если ты привезешь залог, пятьсот рублей, или поручительство за него... Что с тобой?

Ганка не отвечала — голос ей изменил. Она стояла как вкопанная, лицо вспыхнуло румянцем, потом побелело, как мел. Вдруг она всплеснула руками и с тяжелым вздохом упала ниц перед образами.

Рох тихо вышел и, сев на крыльце, с довольным видом перечитывал бумагу. Немного погодя он опять зашел в избу.

Ганка все еще молилась. Ей казалось, что она умирает от счастья, слезы текли ручьями, смывая память о всех перенесенных страданиях и обидах.

Наконец она поднялась и, отирая слезы, сказала Роху:

— Теперь я готова ко всему. Что бы меня ни ожидало, а страшнее того, что было, не будет!

Рох даже удивился внезапной перемене в ней: глаза ее ярко блестели, на бледном лице заиграл румянец, она выпрямилась, словно десять лет с плеч сбросила.

— Продай, что хотела, собери деньги и поедem с тобой за Антеком — завтра или во вторник.

— Антек вернется! Антек вернется! — бессознательно повторяла Ганка.

— Не говори пока никому! Вернется — и так узнают. Да и тогда надо будет всем говорить, что его отпустили без залога, это для того, чтобы кузнец к тебе не приста-вал, — вполголоса советовал ей Рох.

Ганка торжественно обещала молчать и доверила тайну одной только Юзе. Ей трудно было сдерживать огромную радость, она ходила, как пьяная, то и дело целовала детей, разговаривала с жеребенком, со свиньей, дразнила аиста, а Лане, который, повизгивая, ходил за ней и смотрел ей в глаза, словно понимая что-то, шепнула в самое ухо:

— Тише, глупый пес, хозяин вернется!

Смеясь и плача, она долго рассказывала обо всем Мацею, а он испуганно смотрел на нее и что-то бессвязно лепетал. Она забыла обо всем на свете, и Юзьке пришлось

напомнить ей, что пора в костел. Ей хотелось петь от радости, лететь куда-то и кричать колосьям, которые с шелестом кланялись ей в ноги, и деревьям, и всей земле: «Хозяин вернется! Антек вернется!»

Она даже позвала Ягпу идти вместе в костел, но та предпочла остаться дома.

Ягне никто не сказал о скором возвращении Антека, но она легко догадалась об этом по намекам и поведению Гавки. Эта новость и ее взволновала, разбудила в душе какую-то радостную, робкую надежду. Забыв все, она побежала к матери.

И пришла не вовремя. У матери с Шимеком как раз вспыхнула жестокая ссора.

Дело было так. Шимек после завтрака сидел у окна с папирсой в зубах, долго размышлял, собирался с духом, поглядывал на брата и наконец сказал:

— Мама, дайте мне денег, надо в костеле за оглашение платить. Ксендз сказал, чтобы я пришел перед вечерней.

— На ком же это ты жениться задумал? — с язвительной усмешкой спросила мать.

— На Настусе Голуб.

Домпникова ничего больше не сказала и продолжала возиться с горшками у печи. Испуганный Енджик подбросил дров в печь и, хотя огонь горел ярко, стал его раздувать. Подождав несколько минут, Шимек начал снова, уже решительнее:

— Целых пять рублей мне дайте, надо и сговор справить.

— А ты уже сватов засылал? — спросила она тем же тоном.

— Да, ходили Клемб и Плошка.

— И она согласна? — У Доминиковой от смеха дергался подбородок.

— А как же! Ясное дело, согласна.

— Еще бы, такая рвань да не согласится! Попалось слепой курице зерно!

Шимек нахмурился, но ждал, что она скажет дальше.

— Принеси воды с озера, а ты, Енджик, поросенка выпусти, слышишь, визжит!

Привыкнув слушаться, они почти машинально сделали то, что она велела. Когда Шимек опять сел у окна, а младший брат стал что-то мастерить у печки, старуха строго скомандовала:



— Шимек, неси пойло корове!

— Самн несите, я вам не работница! — ответил он дерзко, еще больше развалившись на лавке.

— Слышал? Не вводи меня в гнев — сегодня святое воскресенье!

— Вы тоже слышали, что я сказал: давайте деньги, живо!

— Не дам. И жениться не позволю!

— А я и без вашего позволения обойдусь.

— Шимек, опомнись и меня не задирай!

Он вдруг поклонился ей в ноги.

— Да ведь я просил вас, мама, скулил, как пес!

Слезы подступили у него к горлу.

Енджик тоже заревел и начал целовать у матери руки, обнимать ее колени и упрасивать.

Она сердито отпихнула обоих.

— Не смей моей воле перечить — выгоню на все четыре стороны! — крикнула она, грозя Шимеку кулаком.

Но Шимек не испугался, напротив, слова матери только подстегнули его. Он вскипел. Заговорило в нем упрямство Пачесей. Он гордо выпрямился, сделал шаг к матери и сказал со зловещим спокойствием, сверля ее глазами:

— Давайте деньги живо, больше я ни просить, ни ждать не стану!

— Не дам! — взвизгнула Доминикова вне себя от злости и стала искать вокруг палку.

— Так я и сам найду!

Как рысь, подскочил он к сундуку, одним движением оторвал крышку и начал выбрасывать на пол одежду. Доминикова с криком бросилась оборонять сундук. Сначала она пыталась только оттащить Шимека, но его нельзя было с места сдвинуть. Тогда она одной рукой вцепилась ему в волосы, а другой начала бить по голове и лицу, крича благим матом. Шимек еще только отмахивался от нее, как от пазойливой мухи, и продолжал рыться в сундуке, ища денег. Но когда она больно ударила его в грудь, он оттолкнул ее с такой силой, что она растянулась на полу. Мигом вскочив, она схватила кочергу и опять напала на сына. Шимеку не хотелось драться с матерью, и он только защищался, как мог, пытаясь вырвать у нее кочергу. В комнате поднялся шум и крик. Енджик, громко плача, бегал вокруг них и жалобно умолял:

— Мама, ради бога! Мама!

Вошедшая в эту минуту Ягпа бросилась их разнимать, но все ее усилия были напрасны. Стоило Шимеку увернуться и отскочить в сторону, как старуха опять бешено на него налетала и колотила, куда попало. Ошалев от боли, он начал уже возвращать удары. Они сцепились и, катаясь по полу, ударялись о стены и мебель, поднимая страшный шум.

Со всех сторон стали сбегаться соседи, пробовали разнять их, но старуха впилась в сына, как пьявка, и, не помня себя, продолжала его бить.

Наконец Шимек треснул ее кулаком между глаз и отшвырнул от себя, как охапку соломы. Она упала на раскаленную печь, где стояли горшки с кипятком, печь провалилась, и все рухнуло...

Старуху тотчас вытащили из-под обломков, но она, хотя и была сильно обожжена, не обращая внимания на боль и тлевшие юбки, рвалась к сыну.

— Вон из моего дома, выродок проклятый! Убирайся! — вопила она в иступлении.

Пришлось силой держать ее, пока тушили на ней огонь и обкладывали мокрыми тряпками обожженное лицо, а она все вырывалась.

— Чтоб глаза мои больше тебя не видели! Чтоб тебя...

А Шимек, задыхаясь, избитый и окровавленный, только смотрел на мать вытаращенными глазами. Ужас вдруг схватил его за горло, он весь дрожал, ничего не соображал и не мог выговорить ни слова.

Только что в избе немного утихло, как вдруг старуха вырвалась из рук соседок, подбежала к шесту за печью и, срывая с него одежду Шимека, начала выбрасывать все в окно.

— Прочь с глаз моих! Ничего тут нет твоего, все мое! Ни полоски земли тебе не дам, ни куска хлеба, хоть околевой с голоду! — вопила она из последних сил, но наконец жестокая боль одолела ее и она упала с раздражающими стопами. Ее отнесли на кровать.

В комнату набилось столько народу, что повернуться нигде было, толпились и в сенях, и в окнах торчали головы любопытных.

Ягпа теряла голову, не зная, что делать, потому что мать просто выла от боли. Все лицо и шея были у нее обварены кипятком, руки покрыты ожогами, волосы спалены и, видимо, глаза тоже пострадали.

Шимек, как окаменелый, сидел в садике, под окном,

подперев голову руками, и слушал стоны матери. Он был весь в сипяках, на лице запеклась кровь.

Скоро примчался Матеуш и, дернув его за рукав, сказал:

— Пойдем к нам. Уж тут тебе делать печего...

— Не пойду! Земля моя, от отца и деда, так я не отступлюсь! На своей земле останусь! — сказал Шимек с мрачным упорством, бессознательно хватаясь за угол хаты.

Не помогли ни просьбы, ни уговоры — он не двинулся с места и ничего больше не отвечал.

Матеуш сидел с ним рядом, не зная, как быть, а Енджик собрал выброшенные матерью кафтаны, штапы и рубахи, связал все вместе и робко положил узел перед братом.

— Я уйду с тобой, Шимек! — шепнул он со слезами.

— Псякрев! Сказал я, что с места не тронусь, так и не тронусь! — рявкнул Шимек и так ударил кулаком в стену, что Енджик даже присел с испугу.

Они замолчали, потому что из хаты опять донеслись ужасные стоны; там Амброжый осматривал больную. Он положил на обожженные места слой свежего масла, прикрыл их какими-то листьями, а поверх налил еще простокваши и обернул все тело мокрым полотном. Приказав Ягусе, чтобы она часто поливала компресс холодной водой, Амброжый торопливо ушел в костел, так как «сигна-турка» уже звонила.

Подшло время обедни, и люди толпой повалили в костел, а по пути множество знакомых заходило проведать больную. Ягне пришлось даже запереть двери перед любопытными, и с нею осталась одна только Сикора.

Немного погода все успокоилось. Доминикова перестала стонать, на улице наступила тишина, только от костела доносились звуки органа и пение. Нежные рыдающие голоса хора таяли в воздухе.

Солнце уже припекало изрядно, и в полуденной тишине деревья стояли неподвижно, только изредка затрепещет какая-нибудь веточка, зашевелиятся тени. Птицы молчали, и только колосья шуршали тихонько, мотая желтыми гривами.

Парни все еще сидели под окном. Матеуш тихо говорил что-то, Шимек слушал и только головой кивал, а Енджик, лежа около них на земле, засмотрелся на дымок от папиросы, который голубой паутиной поднимался в воздух.

Ягна вышла с ведром и пошла к озеру за водой.

Матеуш встал и, обещав прийти опять после обеда, направился было в костел, но, увидев, что Ягна сидит на берегу, подошел к ней.

Она сидела, опустив ноги в воду. Наполненное ведро стояло рядом.

— Ягуся! — шепотом сказал Матеуш, останавливаясь вблизи под ольхой.

Она поспешно натянула юбку на колени и поглядела на него такими печальными, заплаканными глазами, что у него защемило сердце.

— Что с тобой, Ягусь? Нездорова?

Деревья бесшумно качались, осыпая ее светлые волосы зелено-золотым дождем дрожащих отблесков и теней.

— Нет... Только несладко мне живется... — Она отвела глаза.

— Я бы рад тебе чем-нибудь помочь, — сказал он ласково.

— Правда? А тогда на огородах убежал от меня и больше не показывался...

— Оттого, что ты меня обидела! Как же я мог... Ягусь! — Тон у него был покорный и нежный.

— Да я звала тебя потом, кричала вслед, а ты не воротился.

— Звала? Правда, звала, Ягусь?

— Ну, я же тебе говорю! Хоть разорвись от крика — никто не прибежит! Кому какое дело до сироты? А обидеть да осрамить всякий готов!

Лицо ее вспыхнуло заревом, она потупила голову и в замешательстве болтала в воде ногами. Матеуш тоже молчал, задумавшись.

Опять в тишине баюкающие звуки органа... По блестящей глади озера от ног Ягуси расходились круги, похожие на полосатых змей, у берега на воду ложились тени. А Матеуш и Ягна уже украдкой посматривали друг на друга, и взгляды их встречались...

Матеуша все сильнее тянуло к ней... Хотелось взять ее на руки, как ребенка, приласкать, успокоить.

— А я думала, что и ты против меня, — чуть слышно сказала Ягна.

— Нет. Ты мне всегда была мила... Не помнишь разве?

— Да, это давно, в прошлом году. А теперь и ты, как другие... — сказала она неосторожно.

Матеуш вздрогнул от неприятного воспоминания, проснулись гнев и ревность.

— Потому что ты... ты...

Нет, не мог он выговорить вслух того, что его душило! Он сделал над собой усилие и сказал отрывисто и решительно:

— Ну, прощай...

Он должен был бежать от нее, чтобы не попрекнуть ее войтом.

— Уходишь. Чем же я теперь тебя обидела?

В лице Ягны он прочел испуг и огорчение.

— Ничем... Только... — он заговорил быстро, глядя в ее заплаканные голубые глаза, и горечь, нежность, досада смешались в его душе. — Только прогони ты от себя этого скота, прогони, Ягусь!

— Да разве я его зазывала? Разве я его держу! — крикнула она гневно.

Матеуш стоял в нерешимости и сильном смущении.

Слезы горохом посыпались по пылающим щекам Ягуси.

— Такую подлость со мной сделал... Напоил, а потом... И никто-то за меня не заступится, никто не пожалеет, а все убить готовы! Чем я виновата? — жаловалась она.

— Я ему, подлецу, отплачу! — сказал Матеуш, сжимая кулаки.

— Отплати, Матеуш, отплати! А я уж тебе... — подхватила она с жаром.

Матеуш, ничего не отвечая, быстро зашагал к костелу.

А Ягна еще долго сидела у озера, думая о нем. Может быть, он заступится, не даст больше ее обижать!

«А может быть, и Антек?..» — вдруг подумала она.

Она вернулась домой, полная неясных радостных предчувствий.

Опять запели колокола. Народ выходил из костела.

Ожили дороги, загудели голосами, смехом, стучали повозки. Люди шли группами, останавливались тут и там у ворот. Только у избы Доминиковой все притихали, хмуро переглядывались и проходили мимо. Никто не зашел к больной.

Расшумелась деревня. Во всех избах, в сенях, на крылечках слышен был громкий говор, в садах тоже былолюдно — здесь обедали под деревьями, в холодке. Куда ни глянь, сидели люди и ели. Стук ложек, звон посуды, повизгивания собак нарушали знойную тишину полудня.

У Домипиковой было тихо и пусто. Старуха лежала в жару и стонала, а Ягусе уже не сиделось на месте, она выходила то на порог, то на улицу, возвращалась и опять долгими часами с тоской глядела в окно. Шимек все в той же позе сидел в садике, и только один Енджик не потерял головы и принялся готовить обед на другой половине избы.

Немного погодя, после обеда, к ним пришла Ганка. Она держала себя как-то странно: обо всем расспрашивала, очень жалела больную, но все время украдкой следила глазами за Ягной и озабоченно вздыхала.

Забежал к Шимеку и Матеуш.

— Пойдешь с нами к немцам?

— Земля моя, от отца досталась, с места не сойду! — твердил свое Шимек.

— Настуся тебя ждет, — ведь вам надо отнести ксендзу деньги на оглашение.

— Не пойду никуда... Земля моя...

— Ну и сиди, осел! Никто тебя за хвост не тянет... Сиди хоть до завтра! — рассердился Матеуш. И увидев, что Ганка уходит, присоединился к ней, даже не взглянув на провожавшую ее Ягусю. Они пошли берегом.

— Что, Рох вернулся из костела? — спросил Матеуш.

— Вернулся. У нас уже много мужиков дожидается...

Матеуш оглянулся. Ягна смотрела им вслед. Он быстро отвернулся и спросил тихо, не глядя на Ганку:

— Правда, что ксендз нынче с амвона кого-то отчитывал?

— Ведь ты был в костеле и слышал, зачем же меня за язык тянешь?

— Я пришел уже после проповеди. Мне рассказали, да я не поверил, думал, что врут так, шутки ради.

— Правда это. И не одну честил, а двух... Даже кулаками махал... Позорить на людях и камень бросать в других — на это все мастера!.. А вот помешать греху никто не спешит! — Ганка была глубоко расстроена и зла. — Войта небось ни словом не задел, а ведь он тут всех больше виноват! — добавила она, понизив голос.

Матеуш смачно выругался и хотел еще что-то спросить, но не хватило духу. Они шли молча. Ганку вся эта история сильно задела. «Конечно, Ягна грешна и ее надо бы наказать, но корить ее с амвона, при всем народе, чуть не называя по имени, — это уж слишком! Она жепа Боряны, а не какая-нибудь потаскуха», — думала она с доса-

дой. «Что там между ними было — это их дело, а посторонним соваться нечего!»

— Ни Магды, ни мельниковых работниц он не срамил, а все знают, как они себя ведут! И дворовым из Воли тоже не грозит с амвона кулаками... Про глуховскую помещицу всему свету известно, что она с батраками путается, а небось насчет нее он помалкивает! — говорила она с глубоким возмущением.

— А правда, что он и про Терезку поминал? — спросил Матеуш тихо.

— Да, про обеих, и все сразу догадались, о ком он говорит.

— Кто-то его, должно быть, натравил! — Матеуш с трудом сдерживал волнение.

— Говорят, это Доминиковой работа, а может, и Бальцерковой. Одна отплатила тебе за Шимека с Насткой, другая хочет перетянуть тебя к своей Марысе.

— Так вот где раки-то зимуют! А мне и в голову не пришло!

— Мужики все дальше своего носа не видят!

— Напрасно Бальцеркова старается! Как бы ей еще не досталось от Терезки... А Доминиковой назло Шимек обязательно женится на Настке — уж я за этим присмотрю. Подлые бабы!

— Они свои делишки обделывают, а из-за них невиные страдают! — уныло отозвалась Ганка.

— Каждый рад другого со свету сжить! Просто неволю становится жить в Липцах!

— Когда Мацей был здоров, он все улаживал, люди его слушались...

— Да, а войт этот — пустомеля, дубовая башка, и как может его парод уважать, когда он такие коленца выкидывает! Хоть бы Антек вернулся!

— Вернется он, скоро вернется! Но кто его станет слушать? — глаза у Ганки заблестели.

— А мы с Гжелей и хлопцами уже насчет этого толковали. Как только он придет, мы вместе наведем в деревне порядок. Увидите!

— Да, пора, пора, все разъезжается, как колеса без чеки!

Они дошли вместе до избы Боряны. Во дворе уже собралась целая толпа.

Решено было, что пойдет человек десять хозяев и са-

мые бойкие из парней, по неожиданно вся деревня захотела идти, как тогда в лес. Те, кто собрался, с истерпением ожидали остальных.

— Войт тоже должен идти с нами! — сказал один из парней, строгая палку.

— Начальник его в уезд вызвал. Писарь говорит, будто велено собрать сход и утвердить школы в Линцах и Модлице.

— Пусть собирает — ведь все равно не утвердим! — засмеялся Клемб.

— Того и гляди наложат новую подать с морга, как в Долах!

— Обязательно наложат. Да ведь если начальник прикажет, придется платить, — сказал солтыс.

— А с какой стати он будет нам приказывать? Пускай лучше своим стражникам приказывает, чтобы вместе с ворами не крали!

— Больно ты дерзок, Гжеля! — остановил его солтыс. — Многих уже язык завел дальше, чем им хотелось!

— А я буду говорить, потому что законы знаю и не боюсь начальства! Это только у вас, баранов, поджилки трясутся от страха перед всякой рванью! — закричал Гжеля, смущая всех такой смелостью. Многим даже страшно было его слушать. А Клемб сказал:

— Школа эта нам ни к чему. Мой Адам целых два года ходил в Волю. Вozил я учителю картошку мешками, жена ему к празднику масла да яиц дала, а что толку? Учился хлопец, учился, а до сих пор молитв по книжке прочитать не умеет и по-русски тоже — ни бельмеса! Младшие одну зиму проучились у Роха — и уже не только печатное, даже писанное разбирают.

— Так надо Роха нанять, пусть всех учит, а школа ребятам нужнее, чем башмаки, — вмешался Гжеля.

Солтыс вошел в толпу и сказал вполголоса:

— Лучше Роха не найти, знаю, он и моих учил... Да нельзя! Начальство, видно, уже что-то пронюхало. Он у них на примете... Урядник встретил меня в канцелярии и долго расспрашивал про него... Я, конечно, больше отмалчивался — так он даже на меня осерчал и стал говорить, что ему, мол, хорошо известно, что Рох у нас детей учит и раздает людям польские книжки и газеты... Надо будет Роху сказать, чтобы был поосторожнее...

— Плохо дело! Человек он хороший, но из-за него

деревня сильно пострадать может... Надо что-нибудь придумать... И поскорее, — сказал старик Плошка.

— А вы со страху и выдать его согласны, а? — ядовито буркнул Гжеля.

— Если бы он бунтовал народ против властей, всем во вред, каждый сделал бы это. Молод ты еще, брат, а я хорошо помню, что делалось, когда папы воевали: они воевали, а мужиков за всякий пустяк батогами секли!¹ Не наше это дело.

— В войты метите, а голова у вас — как дырявый сапог! — вспыхнул Гжеля.

Разговор прервался, так как из избы вышел Рох, окинул всех взглядом и, перекрестясь, воскликнул:

— Пора! С богом!

Он пошел впереди, за ним высыпали на дорогу все мужчины, а шествие замыкали несколько женщин и детей.

Жара уже спала, солнце перекатилось к лесу, небо было ясно и воздух так прозрачен, что даже дальние деревни видны были как на ладони, и в зелени бора глаз различал желтые стволы сосен, белые рубашки березок и серые могучие дубы.

За мельницей женщины отстали, а мужики не спеша шагали дальше. За ними вставало облако пыли, в котором только по временам белел чей-нибудь кафтан.

Шли молча. Все лица были суровы, в глазах читался вызов и непреклонная решимость.

Порой, подбодряя себя, ударяли в землю дубовыми палками, а некоторые поплевывали на ладони и выпрямлялись, словно готовясь к прыжку.

Шли чинно, торжественно, как будто это был крестный ход, и если у кого вырывалось слово, он тотчас умолкал под неодобрительными взглядами, не время было болтать, все были сосредоточены, подтягивались и собирали силы.

На межевых буграх под крестом присели отдохнуть, но и тут никто не произнес ни слова, все молча озирались кругом. Уже липецкие хаты едва виднелись из-за садов, золотой купол костела сверкал на солнце, везде, куда ни глянь, зеленели пашни, а на выгонах под лесом бродили стада. От костра, разведенного на опушке леса, тянулась к небу голубая лепта дыма, звонкие песни детей и звуки свирелей разносились далеко, на земле царила вес-

¹ Речь идет о польском восстании 1863 года.

на, радость, дивный покой. И не одно мужицкое сердце сжималось от неясной тоски и опасений; люди тяжело вздыхали и с беспокойством поглядывали в сторону Подлесья.

— Ну, пошли, не пустячное ведь дело! — торопил их Рох, хорошо понимая, что они уже начинают колебаться.

Свернули прямо к хуторским постройкам и пошли старой, заросшей бурьяном дорогой, которая разноцветной лентой вилась среди зеленых полей.

Чахлая рожь густо синела васильками, запоздалый овес глушила ярко-желтая полевая горчица, в сожженной солнцем пшенице краснели маки, а картофель едва всходил. На каждом шагу бросалась в глаза запущенность этих полей.

— Ну и хозяйство! Смотреть больно! — буркнул кто-то из мужиков.

— Самый ленивый батрак лучше обработает!

— Вот тебе и помещик! Даже земли-кормилицы и той не уважит!

— Доит ее и доит, как голодную корову, не диво, что она родить перестала.

Вышли на паровое поле. Закопченные и полубоблившиеся срубы виднелись уже неподалеку, сожженный сад черными скелетами деревьев, горестно простиравших к небу сучья, окружал жилые дома с провалившимися крышами и торчащими дымовыми трубами, а под стенами их, в жидкой тепи мертвых деревьев, сидели группами люди. Это были немцы. Бочонок с пивом стоял перед ними, на крыльце кто-то играл на флейте, а они сидели, развалившись на лавках и траве, без курток, в одних рубахах, с трубами в зубах, и пили из глиняных кружек. У домов играли дети, а невдалеке паслись откормленные коровы и лошади.

Немцы, должно быть, увидели подходивших — они вскочили с мест и, приставив ладони к глазам, вглядывались, что-то крича. Но один из них, старик, сердито залопотал что-то, и все опять спокойно уселись и взялись за свои кружки. Флейта засвистела еще нежнее, жаворонки звенели чуть не над головами, с поля слышалось неумолчное стрекотание кузнечиков, а порой и крик перепела.

И несмотря на то, что сухая земля гудела под ногами мужиков, а подбитые железом каблуки звенели о камни все ближе и ближе, немцы не шелохнулись, словно ничего не слышали. Сидели по-прежнему, наслаждаясь пивом и

предвечерней свежестью. А мужики уже подходили, шагая все медленнее и тяжелее, притаив дыхание и сжимая в руках палки. Сердца у всех колотились, горячая дрожь, как кишок, пробегала по спинам, в глотках пересохло, но они держались прямо и горящими глазами смело смотрели на немцев с выражением суровой решимости.

— Слава Иисусу! — по-немецки сказал Рох и остановился, а за ним полукругом стояли мужики, тесно, плечом к плечу.

Немцы хором ответили на приветствие, все еще не двигаясь с мест. Поднялся только тот седебородый старик и, бледнея, обводил взглядом толпу.

— Пришли мы к вам по делу, — начал Рох.

— Что же, присаживайтесь, хозяева! Вы, я вижу, из Липец. Поговорим по-соседски. Иоганн, Фриц, принесите скамейки для соседей.

— Спасибо, дело недолгое, постоим.

— Не может оно быть недолгое, если вы всей деревней пришли! — сказал старик уже по-польски.

— Пришли все, оттого что оно всех одинаково касается.

— Где там все! Дома втрое больше народу осталось, — внушительно сказал Гжеля.

— Мы вам от души рады. Уж если пришли к нам первые, так, может, пива с нами выпьете? Как добрые соседи... Наливайте, ребята!

— Сам пей! Ишь какой щедрый! Не за пивом мы пришли! — закричали те, кто погорячее.

Рох взглядом остановил их, а старый немец сказал сухо:

— Ну, мы слушаем!

В тишине слышно было сопение, тяжелое отрывистое дыхание, липецкие сдвинулись еще теснее, немцы тоже поднялись все как один и стали против них сомкнутым рядом. Они злыми глазами уставились на мужиков и, нетерпеливо дергая бороды, что-то бормотали.

Из окон смотрели встревоженные женщины, дети прятались в сених, большущие рыжие собаки ворчали у домов, а мужики и немцы добрых десять минут стояли так друг против друга в молчании, как стадо баранов, которые уже возвращают налитыми кровью глазами, перебирают копытами и, напружив спины, нагнув головы, готовы каждый миг кинуться друг на друга. Наконец Рох нарушил молчание.

— Мы пришли от всей деревни, — сказал он по-польски громко и внятно, — просить вас добром, чтобы вы не покупали Подлесья.

— Так, так! За этим! Верно! — подхватили мужики, стуча палками в землю.

Немцы в первую минуту оторопели.

— Что он говорит? Чего им надо? Не понимаем! — повторяли они, не веря своим ушам.

Рох повторил, на этот раз по-немецки. Не успел он кончить, как Матеуш в запальчивости крикнул:

— И чтобы вы, шароварники, убрались отсюда ко всем чертям!

Немцы рванулись, как ошпаренные, зашумели, затараторили по-своему, угрожающе размахивая руками, топая от злости ногами. Некоторые уже полезли было на мужиков с кулаками, но те стояли неподвижно, жгли немцев суровыми взглядами и только крепко стискивали зубы.

— Рехнулись вы все, что ли? — воскликнул старый пемец, поднимая руки к небу. — Запрещаете нам купить землю! Почему? И по какому праву?

Опять Рох изложил ему все спокойно, обстоятельно. Но немец, побагровев от гнева, крикнул:

— Земля принадлежит тому, кто за нее заплатит!

— Это по-вашему так, а по-нашему иначе. Она должна достаться тому, кому она нужна, — сказал Рох торжественно.

— А как же это? Даром, что ли, возьмут ее, по-разбойничьи? — насмешливо спросил немец.

— Вот хорошая плата за нее, — десять пальцев, — тем же тоном ответил Рох.

— Чепуха! Что мы будем терять время на шутки! Подлесье мы купили, оно наше и нашим останется. А кому это не нравится, пусть идет себе с богом и впредь обходит нас издали. Ну, чего вы еще дожидаетесь?

— Чего? А чтобы вам сказать: руки прочь от нашей земли! — выпалил Гжеля.

— Сами убирайтесь, пока целы!

— Эй, смотрите! Сейчас мы еще просим по-соседски! — громко заговорили в толпе мужиков.

— Грозите? А мы на вас в суд подадим. Вы еще не отсидели за лес, так вам набавят, и уж заодно отсидите! — насмеялся старый немец, однако и он уже трясся от злости, и другие едва сдерживались.

— Разбойники! Бунтовщики вшивые! — кричали немцы.

— Тише, немчура, когда парод с вами говорит! — отвечал Матеуш, но они кричали все громче и наступали всей толпой.

Рох, опасаясь, как бы не вышло драки, оттеснял мужиков и успокаивал их, но они его не слушали. Послышались крики:

— Дай-ка в морду первому с краю!

— Неужто уступим, хлопцы? Ведь они над всем народом издеваются!

— Что же, значит, не добьемся своего? — кричали другие все грознее, подбодряя друг друга. А Матеуш, отстранив Роха, вышел вперед, по-волчьи оскалил зубы.

— Слушайте, немцы! Говорили мы с вами добром, по-человечески, а вы грозите нам тюрьмой и смеетесь над нами! Ладно, тогда поговорим по-другому! Мы пришли к вам с миром, а вы войны хотите? Что ж, война так война! Вот клянемся вам перед богом и людьми, что на Подлесье вы не выживете! За вас суд, за вас начальство, и деньги у вас есть, а у нас только вот эти голые руки. Но мы еще посмотрим, чья возьмет! Запомните, что я вам скажу: от огня горит не только солома, он может сожрать и каменные стены, и весь хлеб на корню... Бывает тоже, что скот падает на выгонах... И с каждым человеком может беда приключиться... Так помните, что я сказал: война и днем и ночью, на каждом шагу...

— Война! — хором гаркнули мужики.

Немцы схватились за шесты, лежавшие у стены, несколько человек вынесли ружья, другие подбирали с земли камни. Женщины подняли крик.

— Если хоть один выстрелит, все деревни сюда сбегутся!

— Одного застрелишь, немчура, а другие тебя палками забьют до смерти, как паршивого пса!

— Эй, швабы, лучше нас не задевайте, с мужиками вам не совладать!

Ругань и угрозы, камни и палки летали в воздухе, и многие уже рвались в драку, но Рох унял своих и заставил их отойти. Уходя, они оглядывались и кричали:

— Прощайте и ждите, скоро вам красный петух запоеет!

— Заглянем к вам поплясать с вашими девушками!

Солнце зашло, и сумерки ложились на землю. Холод-

ный ветер гулял по полям, и они волновались, шурша колосьями, трава седела от росы, от деревни доходили детские голоса и звуки дудок, квакали лягушки на болотах. Наступал тихий вечер.

Мужики возвращались домой медленно, накинутые на плечи кафтаны развевались, как белые крылья. Шли, шумно разговаривая и часто останавливаясь, иной затягивал песню, и лес вторил ей, другие весело насвистывали, и все жадно оглядывали земли Подлесья, мимо которых шли.

— Тут землю поделить легко! — сказал старый Клемб.

— Еще бы, можно нарезать наделы ровпехонько, как соты. И у каждого будет и луг и выгон.

— Если бы только немцы отступились! — вздохнул солтыс.

— Не беспокойтесь, ручаюсь, что уйдут! — уверял Матеуш.

— Я взял бы вон ту землю, что с краю, у дороги, — сказал Адам Прычек.

— А мне приглянулась та, что у креста, — сказал другой.

— Эх, получить бы надел, на хуторских огородах!

— Смотрите, какой хитрый, ему самую лучшую подай!

— Всем хватит, всем, — успокаивал их Гжеля, потому что они уже начинали ссориться.

— Если помещик согласится отдать вам Подлесье, вас ждет большая работа! — заметил Рох.

— Справимся! Со всем справимся! — радостно загудели мужики.

— Не страшна работа на своей земле!

— Мы бы и со всеми помещичьими землями управились!

— Только бы дали — тогда увидите!

— Врос бы человек в землю, как дерево, и попробуй его оттуда вырвать!

Так они толковали между собой, все ускоряя шаг, потому что впереди уже темнела толпа баб, бежавших из деревни им навстречу.

XI

Рассвело настолько, что все кругом синело, как спелая слива, когда Ганка подъехала к дому. Все еще спали, но громкий стук брички разбудил детей, и они выбежали

с криками ей навстречу, а Лапа радостно лаял, прыгая перед лошадьми.

— А где же Антек? — крикнула с порога Юзька, надевая юбку через голову.

— Его только через три дня отпустят, но теперь уже наверное, — ответила Ганка спокойно, целуя малышей и оделяя их баранками.

Выбежал и Витек из конюшни, а за ним жеребенок, который тотчас стал подбираться к матери. Петрик доставал из брички покупки.

— Косят у нас уже? — спросила Ганка, садясь тут же на крыльце, чтобы покормить грудью маленького.

— Да, вчера в полдень начали впрягом: Филипп, Рафал и Кобус отрабатывают долг, а Клембов Адам и Матеуш — за деньги!

— Матеуш? Неужели Голуб?

— Он. Я тоже удивилась, но он сам захотел, говорит, что от плотничьей работы недолго и горбатым стать, так хочет спину поразмять за косой.

Ягна открыла окна на своей половине и выглянула.

— Что, Мацей еще спит? — спросила у нее Ганка.

— Он в саду, мы не вносили его на ночь — в избе очень жарко.

— А как там мать?

— По-прежнему... Или, может, малость полегче. Амброжий ее лечит, а вчера приходил и овчар из Воли, окурил ее и какие-то мази дал. Говорит, что месяца через два поправится, только на свет смотреть ей долго нельзя будет.

— Это, говорят, самое верное средство от ожогов, — сказала Ганка и, переложив ребенка к другой груди, стала с интересом расспрашивать о вчерашнем походе к немцам. Было уже совсем светло, заря окрасила небо, играла отблесками в воздухе, с деревьев капала роса, и в гнездах щебетали птицы. В деревне раздавалось блеяние овец и мычание скота, который гнали на пастбища. Кто-то отбивал косу, и ее тонкий, резкий звон дрожал в воздухе.

Ганка, переодевшись с дороги, тотчас побежала к Бору. Он лежал в кузове под деревьями, укрытый перинкой, и спал.

— Отец, — зашептала Ганка, дергая его за руку, — Антек приедет через три дня! Его отправили в губернию, а Рох поехал туда с деньгами — внесет залог и уже вместе вернутся!

Старик вдруг сел, протер глаза и, казалось, слушал ее, но потом опять упал на постель и, натянув перину на голову, как будто уснул.

Бесполезно было с ним говорить. Да и некогда было — косари уже входили во двор.

— Вчера выкосили луг у капустного поля, — доложил Филипп.

— А сегодня ступайте за реку, к буграм, Юзья вам укажет.

— Это на Утиной Яме? Луг большой!

— И трава по пояс, густая, как лес. Не то, что там, где вчера косили.

— А там плохая?

— Да, совсем высохла, — точно щетину косишь.

Они скоро ушли, только Матеуш что-то очень долго закуривал папиросу у Ягуси в комнате, а когда уходил, все оглядывался, как кот, которого отогнали от молока.

Из других домов тоже много людей уже шло косить.

Солнце встало огромное, красное, день обещал быть жарким.

Косари шли гуськом, впереди — Юзя с шестом. Кто шептал молитву, кто потягивался и протирали заспанные глаза. Вышли за мельницу. Луга еще курились редким туманом, но кусты ольх издали казались охваченными пламенем, из-за синей дымки блестела река. Трава поникла под тяжестью росы, где-то уже стопали чайки, а в проливном утреннем лучами воздухе влажно благоухали цветы.

Юзя довела косарей до насыпи, отмерила отцовский луг и, воткнув на границе шест в землю, убежала домой. А они сняли куртки, подвернули до колен штаны и, выстроившись в ряд, пачали точить косы.

— Трава, как бараний тулуп, над ней попотеешь! — сказал Матеуш, выходя вперед и взмахнув для пробы косой.

— Да, высокая, густая, много они соберут сена! — отозвался другой, становясь с ним рядом.

— Только бы в ведро убрали, — добавил третий, поглядев на небо.

— Знаешь поговорку: «Когда мужик пачнет луга косить, любая баба сумеет дождь выпросить», — засмеялся четвертый. — Ведь всегда, словно на зло, как покос, так и дожди!

— Ну нет, в нынешнем году этого не будет! Начинай, Матеуш!

Все разом перекрестились, Матеуш затянул пояс потуже, расставил ноги, пригнулся, вздохнул всей грудью и, широко размахнувшись, начал косить. За ним и другие врезались в окутанный туманом луг и ровными, спокойными взмахами кос непрерывно хлестали траву. Со свистом летали холодные сверкающие лезвия, и тяжело ложилась трава, осыпая их росой, будто слезами.

Ветер слегка шевелил ее, чайки все жалобнее кричали над нею, иногда из-под ног косарей взлетали куропатки. А опп, раскачиваясь справа налево, неумоимо косили и косили, шаг за шагом подвигаясь вперед. Только изредка кто-нибудь останавливался наточить косу или разогнуть усталую спину и опять с азартом косил, оставляя за собой все более длинные выкошенные полосы и глубокие следы ног.

Еще солнце не поднялось над деревней, а все луга стонали уже под косами, везде косили, везде сверкали в воздухе голубые лезвия, скрежетали точильные бруски и в воздухе стоял острый запах вянущей травы.

Погода была самая подходящая для сенокоса. В этом году не оправдалась старая поговорка: «Зазвенит коса — заплачут небеса». Наоборот, вместо дождей наступила засуха.

Дни вставали облитые росой и горячие, как человек в лихорадке, и переходили в пышущие жаром вечера. Высыхали колодцы и речки, желтели хлеба, увядало все. На деревьях появились червячки, зелень на огородах облетела, коровы не давали молока, потому что голодными возвращались с выжженных солнцем пастбищ, — пасти скот на вырубках помещик разрешал только тем, кто платил ему по пяти рублей с головы, и, конечно, далеко не все могли выложить такую уйму денег.

Из-за всего этого людям все труднее становилось дотягивать до нового хлеба, а особенно тяжело было коморникам и другой бедноте.

Вся надежда была на то, что с Иванова дня начнутся дожди и на полях все оживет. Для этого даже уплатили ксепдзу, чтобы отслужил молебен, но и молебен не помог — засуха продолжалась.

Многим нечего было есть, не утихали жалобы, ссоры и всякие стычки. Люди жили, как в бурлящем котле. И не-

удивительно, что, когда начался сенокос, все вздохнули свободнее. Батраки разошлись по усадьбам на заработки, а хозяева, глухие ко всяким новостям, с радостью взялись за косы.

Однако о немцах они не забыли, — чуть не каждый день кто-нибудь бегал в Подлесье подсматривать, что они делают.

Немцы по-прежнему сидели в Подлесье, но перестали рыть колодцы и возить камень. И как-то кузнец рассказал, что они предъявили помещику иск, а па липецких мужиков подали жалобу, обвиняя их в насилии.

Мужики вволю посмеялись над этим, и па лугах косари во время обеда только об этом и говорили.

Полдень был знойный, раскаленное солнце стояло высоко, небо нависло белесым туманом. Ни малейший ветерок не освежал воздуха, и в поле было жарко, как в огромной страшной печи. Повикля в изнеможении листья, молчали птицы, негустые короткие тени не укрывали от солнца, в духоте остро пахло разогретой скошенной травой, и все кругом — поля, сады, хаты — словно охвачено было белым пламенем, все плавилось в раскаленном воздухе, дрожавшем, как кипятки па медленном огне. Даже река текла ленивее, без плеска, а вода в ней сверкала, как жидкое стекло, и была такая прозрачная, что виден был каждый пескар, каждый камушек на песчаном дне, каждый рак, копошившийся в светлой тени у берега. Солнечная дремотная тишина обнимала мир, и только мухи жужжали вокруг людей.

Косари обедали на берегу у самой воды, под высокими ольхами. Матеушу обед принесла Настка, а тем, кто отработывал долг, — Ганка с Ягустипкой. Женщины сидели на траве и, закрывшись от солнца платками, с интересом слушали разговор.

— Я вам с самого начала твердил, что немцы не нынче-завтра должны будут убраться! — говорил Матеуш, выскребая ложкой дно кастрюли.

— И ксендз это самое говорит, — подтвердила Ганка.

— Будет все так, как захочет помещик, — ворчливо сказал Кубус, растягиваясь на земле под деревом.

— Что же это, немцы не испугались вашего крику и до сих пор не сбежали? — съязвила, по обыкновению, Ягустипка, но ее перебил кто-то:

— Кузнец говорил вчера, что помещик хочет с нами мириться.

— Одно мне странно, что Михал теперь с мужиками заодно!

— Значит, учуял, что ему это выгодно,— сказала Ягустипка.

— И мельник тоже, говорят, хлопотал перед помещиком за деревню.

— Все теперь за нас горой стоят! Благодетели, сукины сыны! — отозвался Матеуш. — Я вам скажу, почему они на нашей стороне: кузнецу пан посулил хорошую взятку за то, чтобы он его помирил с Липцами, а мельник испугался, как бы немцы не поставили свою ветряную мельницу на горке около креста.

— И пан, видно, мужиков побаивается, коли мира хочет?

— Угадала ты, мать, он-то больше всего нас боится! Сейчас я тебе растолкую, почему...

Матеуш не договорил, увидев, что от деревни во весь дух мчится Витек.

— Хозяйка, идите скорее! — кричал он уже издали.

— Что там? Горит, что ли? — Ганка в испуге вскочила.

— Хозяин чего-то раскричался!

Она побежала стремглав, не понимая, что случилось.

А случилось вот что: Мацей уже с самого утра сегодня был какой-то странный, беспокойный, он бормотал что-то, все срывался с постели и словно искал чего-то вокруг себя. Поэтому Ганка, уходя в поле, наказала Юзе хорошенько за ним присматривать. Девочка часто подходила к отцу, но до обеда он лежал спокойно и только сейчас вдруг начал громко кричать.

Когда прибежала Ганка, он сидел на краю постели и кричал:

— Куда вы мои сапоги девали? Давайте скорее!

— Сейчас принесут из чулана, сейчас! — успокаивала его перепуганная Ганка; он, казалось, был в полном сознании и грозно вращал глазами.

— Проспал, черт побери! — Он широко зевнул. — Белый день на дворе, а вы спите! Вели Кубе борону готовить, сеять поедem!

Они стояли перед ним, не зная, что делать. Вдруг он согнулся и тяжело рухнул на землю.

— Не бойся, Гапусь... В глазах что-то потемнело... Антек в поле? В поле, а? — повторял он, когда его опять уложили в постель.

— В поле... С самой зарп... — лепетала Ганка, не решаясь ему противоречить.

Он беспокойно озирался кругом и говорил без умолку, но одно слово разумное, а десяток — ни к селу ни к городу. Опять порывался куда-то идти, хотел одеваться и требовал сапоги. Но временам хватался за голову и так страшно стонал, что даже на улице было слышно. Ганка, понимая, что конец близок, распорядилась перенести его в дом и под вечер послала за ксендзом.

Он скоро пришел со святыми дарами, но только соборовал Мацея и сказал:

— Больше ему уже ничего не надо, каждую минуту надо ждать конца.

Вечером всем показалось, что он умирает. Пришло много народу, и Ганка уже сунула ему в руки свечу, но он скоро успокоился и заснул.

На другой день то же самое. Он то узнавал людей и разговаривал, как человек в полном сознании, то целыми часами лежал, как мертвый. При нем неотступно сидела Магда. Ягустинка хотела было его окурить, но он неожиданно проворчал:

— Оставь, искры разлетятся, еще пожар наделаешь!

А когда в полдень прибежал кузнец и все заглядывал в полуоткрытые глаза больного, тот сказал со странной усмешкой:

— Не тужи, Михал... Уже теперь скоро... Скоро от меня избавитесь...

Отвернулся к стене и больше уже ничего не говорил. Он заметно слабел и все реже приходил в сознание. Около него теперь все время сидели, а больше всех Ягуся, с которой творилось что-то непонятное.

Она вдруг перестала ухаживать за больной матерью, оставив ее всецело на попечение Енджика, и засела у постели мужа.

— Я сама за ним присмотрю, это мое дело! — сказала она Ганке и Магде так твердо, что они не стали с ней спорить, тем более что у каждой из них было много других забот.

И Ягуся уже не выходила из комнаты. Не убегала больше от больного, как прежде. Какой-то смутный страх держал ее на привязи.

Вся деревня была на сенокосе, работа шла без роздыху. С самого рассвета, как только первые зори разгорались

— Одно мне странно, что Михал теперь с мужиками заодно!

— Значит, учуил, что ему это выгодно,— сказала Ягустинка.

— И мельник тоже, говорят, хлопотал перед помещиком за деревню.

— Все теперь за нас горой стоят! Благодетели, сукины сыны! — отозвался Матеуш. — Я вам скажу, почему они на нашей стороне: кузнецу нан посулил хорошую взятку за то, чтобы он его помирил с Лилцами, а мельник испугался, как бы немцы не поставили свою ветряную мельницу на горке около креста.

— И нан, видно, мужиков побаивается, коли мира хочет?

— Угадала ты, мать, он-то больше всего нас боится! Сейчас я тебе растолкую, почему...

Матеуш не договорил, увидев, что от деревни во весь дух мчится Витек.

— Хозяйка, идите скорее! — кричал он уже издали.

— Что там? Горит, что ли? — Ганка в испуге вско- чила.

— Хозяин чего-то раскричался!

Она побежала стремглав, не понимая, что случилось.

А случилось вот что: Мацей уже с самого утра сегодня был какой-то странный, беспокойный, он бормотал что-то, все срывался с постели и словно искал чего-то вокруг себя. Поэтому Ганка, уходя в поле, наказала Юзе хорошенько за ним присматривать. Девочка часто подходила к отцу, но до обеда он лежал спокойно и только сейчас вдруг начал громко кричать.

Когда прибежала Ганка, он сидел на краю постели и кричал:

— Куда вы мои сапоги девали? Давайте скорее!

— Сейчас принесут из чулана, сейчас! — успокаивала его перепуганная Ганка; он, казалось, был в полном сознании и широко кривил глазами.

— Присяга, черт побери! — Он широко зевнул. — Белье даже на дворе, а вы сидите! Вели Кубе борзю готовить, сейчас идем!

Она стояла перед ним, но зная, что делать. Вдруг он вскрикнул и тихо рухнул на землю.

— Не бойся, Ганка... В глазах что-то потемнело... Ан- нет, я полон! Я полон, я! — повторил он, когда его опять уложили на постель.

— В поле... С самой зарю... — лепетала Ганка, не решаясь ему противоречить.

Он беспокойно озирался кругом и говорил без умолку, но одно слово разумное, а десяток — ни к селу ни к городу. Опять порывался куда-то идти, хотел одеваться и требовал сапоги. По временам хватался за голову и так страшно стонал, что даже на улице было слышно. Ганка, понимая, что конец близок, распорядилась перенести его в дом и под вечер послала за ксендзом.

Он скоро пришел со святыми дарами, но только соборовал Мацея и сказал:

— Больше ему уже ничего не надо, каждую минуту надо ждать конца.

Вечером всем показалось, что он умирает. Пришло много народу, и Ганка уже сунула ему в руки свечу, но он скоро успокоился и заснул.

На другой день то же самое. Он то узнавал людей и разговаривал, как человек в полном сознании, то целыми часами лежал, как мертвый. При нем неотступно сидела Магда. Ягустинка хотела было его окурить, но он неожиданно проворчал:

— Оставь, искры разлетятся, еще пожар наделаешь!

А когда в полдень прибежал кузнец и все заглядывал в полуоткрытые глаза больного, тот сказал со странной усмешкой:

— Не тужи, Михал... Уже теперь скоро... Скоро от меня избавитесь...

Отвернулся к стене и больше уже ничего не говорил. Он заметно слабел и все реже приходил в сознание. Около него теперь все время сидели, а больше всех Ягуся, с которой творилось что-то непонятное.

Она вдруг перестала ухаживать за больной матерью, оставив ее всецело на попечение Енджика, и засела у постели мужа.

— Я сама за ним присмотрю, это мое дело! — сказала она Ганке и Магде так твердо, что они не стали с ней спорить, тем более что у каждой из них было много других забот.

И Ягуся уже не выходила из комнаты. Не убегала больше от больного, как прежде. Какой-то смутный страх держал ее на привязи.

Вся деревня была на сенокосе, работа шла без роздыху. С самого рассвета, как только первые зори разгорались

на небе, все уходили косить. Ряды мужиков в белых рубашках, как аисты, усеивали луга и, сверкая косами, целый день до вечера неутомимо трудились. Только и слышен был лязг кос о бруску да песни девушек, сгребавших сено.

Зеленая пушистая равнина кипела людьми, полна была шума и говора. Мелькали полосатые штаны, красные юбки, как маки, горели на солнце, звенели косы, слышались песни и веселый смех, везде кипела дружная работа, а под вечер, когда багряное солнце клонилось к лесу и воздух был полон птичьих голосов, когда колосья и травы так и дрожали от музыки полевых сверчков, а с болот доносился хор лягушек, когда от земли поднимались такие ароматы, словно вся она была одной огромной кадульницей, по дорогам катились тяжелые возы с горами сена, возвращались с песнями косари, а на пожелтевших выкошенных лугах теснились стога и копны. Между ними бродили аисты, в воздухе с унылыми криками носились чайки, и белый туман наползал от болот.

В открытые окна врывались голоса полей и людей, веселый шум жизни и труда вместе с запахами хлебов и цветов, разогретых солнцем. Но Ягуся была глуха ко всему.

В комнате стояла мертвая тишина. Сквозь кусты, заслонявшие солнце, сочился в окно зеленоватый дремотный сумрак. Жужжали мухи, да по временам стороживший хозяина Лапа зевал и, подходя, ластился к Ягне, которая целыми часами сидела без мыслей и движения.

Мацей уже не говорил ничего, не стонал, лежал спокойно, и только глаза его, ясные и блестящие, как стеклянные шарики, блуждали по комнате за Ягной, не отрываясь от нее ни на миг, пронизывая ее насквозь, как холодные ножи.

Напрасно она отворачивалась, напрасно старалась о них забыть — они смотрели из каждого угла, плыли в воздухе и горели так страшно и в то же время притягивали ее так непреодолимо, что она покорялась и глядела в них, как в бездонную пропасть. А иногда, словно борясь со страшным сном, жалобно умоляла:

— Да не глядите же так, душу вы мне всю вымотали, не глядите!

Должно быть, он слышал, потому что вздрагивал, лицо перекашивала судорога немого крика, а глаза смотрели еще страшнее, и по спящим щекам тяжелыми крупными каплями катились слезы.

Тогда Ягуся, гонимая страхом, убегала на улицу. Смотрела из-за деревьев на луга, полные народу и веселого шума. И уходила с плачем. Шла к матери, но, заглянув в темную комнату, где пахло лекарствами, спешила уйти и отсюда.

И опять плакала.

Иногда выходила за дом, и тоскующий взгляд ее летел в широкий мир. И она плакала тогда еще отчаяннее, жаловалась горько, как птичка с поломанным крылом, покинутая стаей.

Так без перемен шли дни за днями. Ганка, как и все в деревне, была занята сенокосом и только на третий день с утра осталась дома.

— Суббота, сегодня уж Антек непременно вернется! — говорила она радостно, убирая комнату к приезду мужа.

Прошел полдень, а его все не было. Ганка выходила за костел, на тополевую дорогу, но там было пусто и тихо.

Люди торопились свезти сено с поля, так как все указывало на быструю перемену погоды: кричали петухи, солнце припекало еще сильнее, на горизонте висели тяжелые гроззовые тучи, и поднялся ветер.

Ждали грозы и ливня, но прошел лишь короткий, хотя и сильный, дождь, иссохшая земля вмиг выпила его, только и было радости, что он освежил воздух.

Однако вечер был уже прохладнее, пахло сеном и мокрой землей, дороги лежали в густом мраке, так как луна еще не взошла, и темное небо было только кое-где унизано звездами. Сквозь сады мелькали огни и, как светляки, блестели в озере. Все ужинали на крылечках, слышался смех, где-то пела свирель. Скоро и птицы запели в садах, и поля заговорили тихим стрекотанием кузнечиков, голосами перепелов и коростелей.

У Борынь тоже ужинали на воздухе. Под окном былолюдно, — по случаю окончания покоса Ганка пригласила всех работавших на нее на сытный ужин. Аппетитно пахла яичница с зеленым луком, дружно стучали ложки, каждую минуту раздавался крикливый голос Ягустинки, и шутки ее вызывали взрывы хохота. Ганка накладывала все новые порции и упрашивала всех есть побольше, а в то же время напряженно ловила ухом каждый звук на дороге и каждую минуту выбегала поглядеть, не едет ли муж.

Но Антека не было. Она только наткнулась на Терезку, которая, видимо, кого-то поджидала у плетня.

Матеуш не мог и слова добиться от Ягуся, она была сегодня угрюма и раздражительна. В сердцах он заспорил о чем-то с Петриком. Скоро прибежал Енджик звать Ягусю к матери.

После ужина все разошлись, одни Матеуш что-то медлил и ушел гораздо позже остальных.

Вслед за ним вышла и Ганка за ворота, тщетно вглядываясь в темноту. Вдруг с берега до нее донесся сердитый голос Матеуша:

— Чего за мной ходишь, как собачонка? Не сбегу!.. И так уж про нас языки чешут! — Он прибавил что-то еще более неприятное, и в ответ послышался жалобный плач и слова, прерываемые всхлипываниями.

Ганку это не тронуло. Она ждала Антека, как могла она думать сейчас о чужих делах?

Предоставив Ягустинке хлопоты по хозяйству, она взяла на руки ребенка и, укачивая его, зашла к больному.

— Антек сейчас приедет! — крикнула она ему с порога.

Борына лежал, внимательно глядя на коптящую лампу.

— Сегодня его выпустили, и Рох его ждет, — повторяла она над самым его ухом, счастливыми глазами ловя его взгляд, чтобы убедиться, что он понял. Но, видно, даже эта новость не проникла в его сознание, он и не шевельнулся, не взглянул на нее.

«Может быть, он уже входит в деревню... Может быть, сейчас...» — думала она, поминутно выбегая на крыльцо. Она была уверена, что он приедет, и от волнения словно лишилась рассудка: смеялась, разговаривала сама с собой, шаталась, как пьяная. Она поверяла темноте свои надежды и даже коровам, когда доила их, рассказывала, что хозяин возвращается.

И ждала, ждала с минуты на минуту, чувствуя, что силы и терпение ее истощаются.

Надвигалась ночь, в деревне уже ложились спать. Ягуся, вернувшись от матери, сразу легла в постель, да и весь дом скоро уснул. Ганка еще долго ждала на крыльце, но наконец и она, выбившись из сил и наплакавшись, погасила свет и легла.

Весь мир отдыхал в тишине. Один за другим гасли в деревне огни, как глаза, сомкнутые сном. Вышел месяц на высокое темно-синее небо, обрызганное мерцающим светом звезд, и поднимался все выше, летел, как птица на серебряных крыльях. Кое-где спали облака, свернувшись пушистыми белыми клубками.

А внизу на земле все живое, истомленное жарой, погрунилось в сладкий сон. Только какие-то птицы еще пели свои песни, воды шептали что-то сквозь сон да деревья, купаясь в лунном свете, вздрагивали, словно им спился день. Иногда лаяла собака или пролетающий козодой шумел крыльями, и снова наступала тишина. А низко стлавшийся туман медленно и заботливо укрывал землю, как задремавшую, утомленную мать.

У едва видных во мраке стен и в садах слышно было тихое дыхание — люди спали под открытым небом, спокойно доверяясь ночи.

И в комнате Мацея царила тишина, только сверчок трещал за печкой да сонные вздохи Ягуси трепетали в воздухе, как крылья мотылька.

Было, должно быть, уже очень поздно, пели первые петухи, когда Бoryна вдруг зашевелился на кровати, просыпаясь, и в эту минуту луна ударила в окно и плеснула ему в лицо волной серебряного света.

Он сел в постели и, качая головой, делая усиленные движения горлом, пытался что-то выговорить, но вместо слов слышно было только клокотанье.

Сидел довольно долго, водя по комнате бессмысленным взглядом, по временам перебирая пальцами в воздухе, словно хотел собрать в горсть мерцающую струю лунного света, слепившую ему глаза.

— Светает... Пора! — пробормотал он наконец, спуская ноги с кровати.

Поглядел в окно, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Ему казалось, что давно уже утро, что он проспал и его ждет какая-то спешная работа.

— Пора, пора вставать! — повторял он, часто крестясь и все начиная и не кончая молитву. В то же время он искал вокруг себя одежду, потянулся за сапогами к тому месту, где они всегда стояли, но, не найдя ничего, забыл, что хотел одеться, и беспомощно шарил руками около себя.

В мозгу у него путались воспоминания о каких-то работах, давших делах, отголоски того, что происходило вокруг за все время его болезни и пропало в его сознание мимолетными обрывками, бледными образами, стертыми, как комья земли на жнивье. Сейчас все это внезапно пробудилось, клубилось в мозгу, рвалось наружу, и он каждую минуту гнался за каким-то новым призраком мысли, мелькнувшим в мозгу, по раньше, чем успевал его

поймать, призрак расплзался в памяти, как гнилая пряжа, и сознание металось, как пламя, которому нет пищи.

Так ранней весной снится, быть может, засохшему дереву, что пришла пора очнуться от зимнего оцепенения, пора выпустить сочные побеги, зашуметь с ветром и запеть радостную песнь жизни. Но не знает оно, что мечты его тщетны и бесплодны все усилия.

Все, что умирающий старик делал в эту ночь, он делал бессознательно, в силу многолетней привычки, так лошадь, после многих лет хождения в восте, очутившись на свободе, все еще кружится на одном месте.

Он отворил окно и выглянул в сад. Потом зашел в чулан, после долгого раздумья пошарил в печи и, как был, босиком, в одном белье, вышел из комнаты.

Двери на крыльцо были раскрыты настежь, сени залиты лунным светом. За порогом, свернувшись в клубок, спал Лапа. Шорох шагов разбудил его, он заворчал было, но, узнав хозяина, пошел за ним.

Мацей остановился на крыльце и, почесывая за ухом, делал усилия припомнить, какие же это спешные работы его ждут.

Собака радостно прыгала ему на грудь, он погладил ее, как бывало, и озабоченно оглядывался по сторонам.

Было светло, как днем, месяц стоял уже над самой избой, с белых стен соскользнули голубые тени. Озеро блестело, как зеркало, деревня погружена была в глубокое безмолвие, только птицы залпывались в ветвях.

Вдруг что-то вспомнив, Мацей торопливо пошел во двор. Все хлева стояли открытыми, у степы конюшни хранили Петрик и Витек. Он зашел внутрь, потрепал лошадей по шеем, и они в ответ заржали. Потом мимоходом супул голову в хлев — взглянуть на коров — и начал вытаскивать из-под навеса телегу, взялся уже было за дышло, но увидел блестящий за хлевом плуг, торопливо пошел к нему и, не дойдя, забыл о своем намерении.

Стоял посреди двора, поворачиваясь во все стороны, так как ему чудилось, что его зовут.

Прямо перед ним поднимался колодезный журавль, отбрасывая длинную тень.

— Ну, чего надо? — спросил Мацей и прислушался, ожидая ответа.

Сад, изрезанный полосами света, загородил ему дорогу, посеребренные луной листья о чем-то тихонько шептались.

«Кто меня зовет?» — думал он, трогая рукой стволы.

Неотступно ходивший за ним Лапа вдруг заскулил. Мацей остановился, глубоко вздохнул и сказал весело:

— Правда твоя, песик, сеять пора!

Но тут же позабыл и об этом. Все рассыпалось в памяти, как сухой песок сквозь пальцы, но всплывали все новые воспоминания и толкали его куда-то вперед. Бредовые мысли падали на сознание, как пить на веретено: она как будто убегает, а между тем остается на одном месте.

— Да, да... Пора сеять... — промолвил он снова и бодро зашагал мимо гумна по тропинке, ведущей в поле. По пути паткнулся на злополучный сеновал, сожженный зимой и уже заново отстроенный. Хотел было его обойти и вдруг отскочил. Сознание на миг прояснилось, молнией вернулось назад, в прошлое. Он вырвал из плетня кол и, держа его обеими руками, как вилы, с искаженным от ярости лицом бросился к столбам сеновала, готовый разить насмерть. Но раньше чем нанес удар, бессильно выронил кол из рук.

За сеновалом, вдоль картофельных гряд, от самой дороги тянулся длинный участок запаханного поля. Мацей, дойдя до него, остановился и долго водил вокруг удивленным взглядом.

Луна плыла уже среди пеба. Земля, залитая ее бледным сиянием, вся в жемчугах росы, казалось, заслушалась чего-то в тишине.

В мутной дали сливались небо и земля, с лугов тянулся белый туман, укрывая хлеба на пашне теплым и влажным мехом.

Высокой стеной стояла рожь, клонясь над межей под тяжестью колосьев, похожих на желтые клювы птенцов.

Пшеница уже созревала, стояла гордо, блестя темными усиками, а овес и ячмень едва начинали куститься и зеленели, как луг, в желтой дымке тумана и лунного света.

Уже пели вторые петухи, была глухая ночь, поля отдыхали и словно дышали в глубоком сне, тихий шелест звучал, как эхо дневных забот и трудов. Так дышит мать, отдыхая среди детей, доверчиво уснувших у нее на груди.

Борына вдруг стал на колени и начал набирать землю в подол рубахи, воображая, что набирает из мешка зерно для посева. Набрал столько, что с трудом поднялся, и, перекрестясь, начал сеять.

Согнувшись, он ходил медленно, шаг за шагом, и благословляющим округлым движением руки сеял землю на поле.

Лапа ходил за ним. Когда какая-нибудь птица, вспорхнув из-под ног Мацея, летела прочь, пес гнался за ней, потом слова возвращался к хозяину.

А Боруна, глядя прямо перед собой, в зачарованный мир весенней ночи, ходил по полю бесшумно, как призрак, благословляющий каждый комок земли, каждый стебелек, и сеял, сеял...

Он спотыкался о кочки, застревал в ямах, иногда даже падал, но ничего не замечал, ничего не чувствовал, кроме смутной, но непреодолимой потребности сеять.

Он дошел до самого края поля. Когда не хватало в поделе земли, набирал новой и сеял. А когда дорогу ему преграждали груды камней и колючий кустарник, он возвращался назад.

Он заходил далеко, туда, где уже и птичьих голосов не слышно было, в тумане исчезала из глаз деревня и вокруг расстилалось необозримое желтое море колосьев. Он терялся среди этих просторов, как заблудившаяся птица, как отлетающая с земли душа, потом опять, вынырнув поближе к деревне, возвращался в круг птичьего щебета и замолкшего на время шума человеческого труда, вынесенный на берег живого мира шумливыми волнами нив.

— Пускай борону, Куба, да полегче! — кричал он по временам на воображаемого работника.

И так проходила ночь, а он все сеял без устали. Изредка останавливался, чтобы передохнуть и размять кости, и опять продолжал свою бесполезную работу, никому не нужный труд.

А когда помутнела ночь, звезды померкли и запели пелухи, возвещая рассвет, движения Мацея стали медленнее, он чаще останавливался и, забывая набрать земли, сеял из пустой горсти, словно он себя самого рассеивал всего без остатка на эти поля предков, сеял все прожитые дни, всю жизнь, которую получил в дар и теперь возвращал святым нивам.

И в эти последние минуты его жизни странное что-то творилось вокруг: небо посерело, как грубый холст, луна зашла, и весь окружающий мир вдруг словно ослеп, затонул в мутной пучине, и, казалось, что-то неведомое встало где-то и шло сквозь сумрак тяжелыми шагами, от которых колебалась земля.

Протяжный и зловещий шум донесся со стороны леса. Задрожали деревья, одиноко стоявшие на межах, и дождь сухих листьев шурша посыпался на колосья. Зака-



чались хлеба и травы, с взволнованного поля под ногами Мадея поднялся тревожный жалобный шепот:

«Хозяин! Хозяин!»

Зеленые усики ячменя тряслись, словно от рыданий, и горячими поделуями приликали к натруженным ногам старика.

«Хозяин!» — казалось, молила рожь, заступив ему дорогу и роняя обильные слезы-росинки.

Уныло закричали какие-то птицы. Зарыдал ветер над его головой. Туман окутал его мокрой пеленой, а голоса все росли, крепили, звучали со всех сторон неумолчной жалобой:

«Хозяин! Хозяин!»

Он услышал наконец и, оглядываясь вокруг, тихо молвил:

— Да здесь я! Чего вам? Чего?

Сразу все стихло, и только когда он снова двинулся вперед, продолжая сеять отяжелевшей и пустой рукой, вся земля заговорила, как один могучий хор:

«Останься! Останься с нами! Останься!»

Он замер на месте, пораженный. Ему чудилось, что все двинулось ему навстречу: поползла трава, поплыли, качаясь, колосья, смыкались вокруг него поля, все вокруг вставало и двигалось на него. Страх охватил Мадея, он хотел крикнуть, но из сжатого горла не вырвалось ни единого звука, хотел бежать, но не было сил. Земля хватала за ноги, колосья опутывали его, борозды задерживали, твердые кочки не пускали дальше, деревья грозили ему, преградив дорогу, впивались в тело колючки, камни ранили, злой ветер гнал его, пугала ночь и эти голоса, звучавшие со всех сторон:

«Останься! Останься!»

Он вдруг помертвел. Все утихло и застыло на месте. Яркий, как молния, свет разорвал перед его глазами смертную мглу.

Небо раскрылось, и в ослепительном сиянии он увидел на троне из снопов бога-отца, который протянул к нему руки и сказал ласково:

— Иди ко мне, душа человеческая! Иди, усталый труженик!

Зашатался Бoryпа, раскинул руки и рухнул на землю мертвый.

Над ним занималась заря, а Лапа выл долго и жалобно.

ЛЕТО

I

Так умер Мацей Бoryна.

В доме сегодня, по случаю воскресенья, заспались. Разбудил всех Лапа — он выл, царапался в дверь, а когда его впустили, дергал за одежду то одного, то другого и, выбегая, оглядывался, идут ли за ним. Ганку кольнуло недоброе предчувствие.

— Выйди, Юзька, посмотри, чего собака хочет.

Юзька весело побежала за Лапой, шала и дурачась всю дорогу. Лапа привел ее к труп Бoryны.

На ее страшный крик все сбегались в поле. Окоченевший уже Мацей лежал, как упал в минуту смерти, — вниз лицом, раскинув руки, словно в последней жаркой молитве.

Его принесли в избу, пытались привести в чувство. Но все старания были напрасны — это был труп, холодный труп.

В избе поднялись отчаянные вопли. Голосила Ганка, Юзька с плачем билась головой о стену, Витек ревел так же громко, как Ганкины малыши, и даже Лапа выл и лаял во дворе. Только Петрик повертелся туда-сюда, посмотрел на солнце и ушел спать в конюшню.

А Мацей лежал на своей кровати, вытянувшись, с раскрытым ртом, похожий на грудку сухой земли или трухлявый ствол старого дерева. В закоченевшей руке сжимал он комок земли, в широко открытых глазах застыло выражение восторга, и они смотрели куда-то далеко, словно в разверзшееся перед ним небо.

Ужасом смерти, ледяным холодом веяло от него, и тело поспешили прикрыть рядом.

Весть о смерти Боряны вмиг разнеслась по деревне, и едва только выглянуло солнце из-за крыш, как в хату стали сбегаться люди. Каждую минуту кто-нибудь входил, поднимал край рядна, заглядывал покойнику в глаза, потом, опустившись на колени, читал молитву. Иные, ломая в отчаянии руки, стояли у кровати в горестном молчании, подавленные мыслью о брешности человеческой жизни. И только жалобные причитания осиротевшей семьи не утихали ни на минуту, слышны были по всей деревне.

Пришел Амброжий, выгнал всех из комнаты, запер дверь и вместе с Ягустинкой и Агатай, которая приплеклась молиться над покойником, начал обрядовать его. Он всегда делал это охотно и сыпал при этом шутками да прибаутками, но сегодня у него почему-то было тяжело на душе.

— Вот оно, счастье человеческое! — бормотал он, раздевая умершего. — Схватит тебя костлявая за горло, когда ей вздумается, — и пожалуйте на погост! Попробуй-ка поспорь с ней!

Даже Ягустинка пригорюнилась и сказала уныло:

— Маялся только, бедняга, на этом свете, может, и лучше, что помер.

— Скажешь тоже! Плохо ему жилось, что ли?

— Ну и хорошего он не много видел.

— А у кого же одно только хорошее в жизни? Будь то хоть пан из панов, будь хоть сам король, а без забот и горя не проживет на свете.

— Всего-то счастья и было, что холода да голода он не знал.

— Эх, мать, что голод! Горе больше человека грызет.

— Правда, мне ли этого не знать? А покойника Ягуса крепко допекала, да и дети не жалели.

— Дети у него хорошие, никакой обиды ему от них не было! — вмешалась Агата, прерывая молитву.

— Ты бы лучше молилась! Ишь над покойником читает, а сама уши развесила! — проворчала Ягустинка.

— Дурные дети не убивались бы так! Слышите, как плачут?

— Если бы тебе кто-нибудь столько оставил, так и ты бы, глотки не жалея, до седьмого пота голосила!

— Тише вы, Ягуса бежит! — цыкнул на них Амброжий.

Ягуса вбежала в комнату и остановилась как вкопанная, не в силах выговорить ни слова. На Мадея в эту минуту надевали чистую рубаху.



— Помер! — ахнула она наконец, не отводя от него испуганного, ошеломленного взгляда. Страх стиснул ей горло, оледенил сердце, она с трудом переводила дыхание.

— А ты не знала? — ласково спросил Амброжий.

— Нет. Я у матери была, а Витек только сейчас прибежал сказать... Вправду он мертвый? — спросила она вдруг, подходя ближе.

— Да не к венцу же его наряжаем, а в могилу.

Ягуся все еще, казалось, не понимала и жалась к стене. Опа чувствовала себя, как человек, которого душит кошмар, а он никак не может проснуться от тяжелого сна и в страхе весь обливается потом. Она выходила из комнаты и возвращалась, не в силах оторвать глаз от трупа, то и дело порывалась куда-то бежать, но оставалась на месте. Выходила за дом, к перелазу и, ничего не видя, смотрела на поля или присаживалась на завалинку рядом с Юзей, которая громко плакала, рвала на себе волосы и горестно причитала:

— Ой, тато мой единственный! Ой, тато!

На дворе и в доме раздавались громкие всхлипывания, рыдания, жалобные вопли, только Ягуся не пролила ни одной слезы, не могла причитать, хотя каждая жилка в ней дрожала и тяжкая боль сжимала грудь. Она словно помещалась, и в ее горящих глазах застыло выражение ужаса.

Хорошо, что Ганка скоро овладела собой и, все еще плача, стала распоряжаться и зорко следить за всем. Когда прибежали кузнец с женой, она была уже совершенно спокойна.

Магда заливалась слезами, а кузнец стал расспрашивать о случившемся.

Ганка рассказала все по порядку.

— Хорошо, что господь послал ему легкую смерть! — шепотом заметил кузнец.

— Заслужил он это, — ведь как намучился!

— Бедный! Даже в поля убежал от костлявой!

— А вчера вечером я к нему заглядывала — он лежал тихо, как всегда.

— И ничего не говорил? — спросил кузнец, утирая сухие глаза.

— Ни словечка. Я ему перину оправила, дала попить и ушла.

— И он сам встал! Может, не умер бы еще, если бы около него кто-нибудь был! — простонала Магда сквозь рыдания.

— Значит, суждено ему было так помереть! Ведь сколько болел — больше трех месяцев! А если уж человеку не выздороветь, так самое лучшее для него — скорая смерть. Надо бога благодарить, что перестал мучиться, — сказал кузнец.

— Сам знаешь, сколько денег мы переплатили докторам да на лекарства, а все ни к чему!

— Такой хозяин, такая голова, господи Иисусе! — горевала Магда.

— Обидно мне, что Антек его в живых не застанет!

— Антек — не ребенок, плакать не будет... Надо о похоропах подумать.

— Правда. Вот как назло Роха нет!..

— Без него управимся. Не беспокойся, я все устрою, — отвечал кузнец. Он делал грустное лицо, вздыхал и как будто слезы утирал, но под всем этим таил совсем иные чувства и не смотрел Ганке в глаза. Он принялся помогать Амброжию и, выбирая одежду для Мацея, долго рылся в чулане среди мотков пряжи и всякой рухляди, искал чего-то по углам и даже на чердак лазил — якобы за сапогами, которые там висели. Вздыхал, подлец, как кузнецный мех, молитвы бормотал громче Агаты, восхвалял доброту покойника, а глаза все время шныряли по углам и закоулкам, руки сами собой лезли под подушки, шарили в соломе, под периной с такой жадностью, что Ягустинка не выдержала и сказала с насмешкой:

— Как бы вы не нашли там кое-чего засохшего! А найдете, так держите крепче, чтобы не выскользнуло!..

— Кто не спешит, от того ничего не убежит! — буркнул кузнец и стал искать уже открыто, где только мог, не стесняясь даже Михала, племянника органиста, который, запыхавшись, прибежал за Амброжием.

— Идите в костел, там привезли крестить четверых ребят.

— Подождут. Не оставлю я покойника раздетым.

— Я все сделаю за вас, идите, Амброжий! — уговаривал его кузнец, видимо желая от него избавиться...

— Нет, я взялся, так сам управлюсь. Не часто мне такого хозяина обряжать приходится. Сделай там, что пужно, Михал, выручи меня! Пускай крестные обойдут вокруг алтаря с зажженными свечами... И тебе от них кое-что перепадет.

— В органисты готовится, а на обыкновенных крести-

пах прислуживать не умеет! — бросил он презрительно вдогонку уходившему Михалу.

Ганка привела Матеуша снять мерку для гроба.

— Смотри дерева ему не жалеи, сделай гроб побольше! Пускай хоть после смерти бедняге просторно будет, — грустно сказал Амброжій.

— Боже ты мой, при жизни тесно ему было и на влуках, а теперь в четырех досках поместится! — шепотом промолвила Ягустипка, а Агата перестала молиться и запыла:

— Вот хозяин был, так и похоронят его как следует, а бедный человек не знает даже, под каким забором помирать придется...

Матеуш только головой кивнул, обмерил тело, перекрестился и вышел.

В доме нашлись все нужные столярные инструменты, а сухие дубовые доски давно уже лежали наготове на чердаке. Матеуш соорудил себе верстак в саду и принялся за работу, строго понукая Петрика, присланного ему на подмогу.

День наступил давно, сияло веселое горячее солнце. Уже с самого утра изрядно припекало, сады и поля, казалось, медленно погружались в бурлящий беловатый кипяток накаленного воздуха.

Разомлевшие деревья изредка шевелили листьями, как шевелит крыльями птица, паря в знойном воздухе. Праздничная тишина стояла в деревне, только ласточки щебетали громче обычного и носились над озером, как шальные, а по дорогам, в сером облаке пыли, уже слышалось громыханье повозок — это ехали в костел жители ближних деревень. То и дело кто-нибудь сдерживал лошадей или останавливал их перед крыльцом Борыны, на котором плакала семья покойного, здоровался и, сочувственно вздыхая, заглядывал в открытые двери и окна.

Амброжій до того суетился и спешил, что с него градом лил пот. Когда уже и кровать Мадея вынесли в сад, и постель развесили на плетне, он крикнул Ганке, чтобы она принесла можжевельных ягод — покурить в комнате.

Но Ганка не слышала. Утирая последние невольные слезинки, она не отрывала глаз от дороги, по которой с минуты на минуту должен был приехать Антек.

Однако проходили часы, а его все не было. Она уже хотела послать Петрика в город, чтобы он разузнал, что случилось.

— Ничего он не узнает, только лошадь зря измучает,— толковал ей Былица, который пришел только что вместе с Веронкой.

— Должны же там, в канцелярии, знать что-нибудь!

— Зпать-то они знают... Да, во-первых, сегодня воскресенье, все закрыто, во-вторых — без смазки никуда не проберешься!

— Заждалась я, сил моих больше нет! — пожаловалась Ганка сестре.

— Успеешь еще им натешиться, еще оп себя покажет! — проищел кузнец, поглядывая на Ягусю, сидевшую на завалинке.

— Чтоб у тебя язык отсох!

— От колодок ноги небось затекли, не очень-то поспешишь! — язвительно добавил кузнец, разозленный бесплодными поисками денег.

Ганка не отозвалась больше ни словом — она опять смотрела на дорогу.

Зазвонили к обедне, и Амброжий собрался уходить, наказав Витеку, чтобы он смазал салом сапоги Матея, потому что они так ссохлись, что невозможно было натянуть их на ноги покойнику.

Кузнец и Матеуш ушли вместе, а немного погодя ушли Былица и Веронка, забрав с собой Ганкиных детишек, и в избе остались только женщины да Витек, который лениво смазывал сапоги, нагревая их у печки, и поминутно бегал смотреть на хозяина и на Юзьку, всхлипывавшую все тише и тише.

Затихло движение на улицах, все уже прошли в костел. Тихо стало и в избе у Бороы, из открытых окон и дверей слышался только похожий на птичье щебетанье голос Агаты, молившейся вслух над покойником, и вместе с ним разносились по двору клубы ароматного дыма — это Ягустинка окуривала можжевельником комнаты и сени.

Ганке не сиделось на месте, и она вышла с четками молиться к самому перелазу.

«Вот и помер! Помер!» — думала она печально, перебирая четки, но молитва часто обрывалась, потому что в голове вертелся спутанный клубок самых разнообразных мыслей и опасений.

«Тридцать два морга, да выгоны, да лес, да постройки, да скот — этакое хозяйство!» — Она вздохнула, любовно оглядывая уходившие вдаль поля.

— Хорошо бы выплатить другим их долю и остаться здесь полными хозяевами — вот как был отец!

В ней вдруг заговорило тщеславие, она гордо посмотрела на солнце, многозначительно усмехнулась и с сердцем, полным сладких надежд, зашептала слова молитвы.

— Меньше чем полвлуки не возьму! Половина избы тоже моя, и молочных коров из рук не выпущу! — продолжала она уже вслух с некоторой досадой.

Опять начала молиться и молилась долго, обводя заплаканными глазами поля в золотом наряде из солпечных лучей. Пышно колосившаяся рожь шелестела рыжими кудрями, ячмень переливался темным блеском, как глубокая вода, светло-зеленый овес, густо проросший желтыми цветами полевой горчицы, купался в неподвижном жарком воздухе. Какая-то большая птица парила над цветущим клевером, который окровавленным платком лежал на склоне холма. Кое-где бобы тысячами белых глаз стерегли картофель, а в лощинах бледные цветы льна голубели, как зажмуренные от яркого света детские глаза.

Дивно было кругом, солнце грело все сильнее, и теплый воздух, напоенный запахами цветов, пылавших яркими красками среди колосьев и повсюду, веял с полей такой сладостной, живительной силой, что от радости сердцу тесно становилось в груди и слезы невольно подступали к глазам.

— Святая, родимая! — прошептала Ганка, склоняя голову.

Как птичка, защебетал в воздухе маленький колокол. Ганка опять начала молиться.

Вблизи что-то хрустнуло, и она оглянулась; под вишнями, опершись на плетень, стояла Ягуся и грустно вздыхала.

«Ни минуты покоя нет!» — с досадой подумала Ганка. При виде Ягуси воспоминания обожгли ее, как крапива. «А ведь у нее есть дарственная запись! Целых шесть моргов! Грабительница!» — У Ганки даже под ложечкой засосало от злости. Она повернулась к Ягусе спиной, но не могла больше молиться, старые обиды и ревность грызли ее, как злые собаки.

Было уже за полдень, от домов и деревьев поползли короткие тени, а в гуще колосьев, клонившихся в сторону солнца, тихо стрекотали кузнечики, изредка гудели шмели да кричали перепела.

Жара все усиливалась, становилась уже невыносимой.

Служба в костеле кончилась, и возвращавшиеся домой

женщины присаживались на берегу озера, чтобы спать башмаки. На улицах стало шумно от людей и повозок, и Гапка торопливо ушла в дом.

Борына был уже готов в последний путь.

Он лежал посреди комнаты на широкой лавке, накрытой холстом и уставленной по краям горящими свечами. Он был вымыт, причесан, гладко выбрит, одет парадно — в белый кафтан, который справил он себе к свадьбе с Ягусей, полосатые штаны и почти новые сапоги.

В натруженные иссохшие руки ему вложили образок Ченстоховской божьей матери. Под лавкой стояла лохань с водой для освежения воздуха в комнате, а на глиняных крышках курились ягоды можжевельника, наполняя комнату голубоватым туманом, в котором как-то сильнее ощущалось жуткое величие смерти.

Так лежал чинно в мертвой тишине Мацей Борына, человек разумный и справедливый, первый хозяин и богат в деревне. В последний раз приклонил он усталую голову под кровом отцов, словно птица перед отлетом, раньше чем взвиться в поднебесье и улететь туда, куда от начала веков отлетают все.

Он был готов к прощанию с родными и знакомыми, готов в свой далекий путь. Уже душа его покорно ждала суда божьего, а покинутая ею брeнная человеческая оболочка, этот жалкий труп, лежал с застывшей на лице легкой усмешкой среди свечей и курений, и над ним неустанно звучали слова молитв.

Люди шли и шли нескончаемой вереницей. Горестно вздыхали, били себя в грудь и горячо молились или стояли, задумавшись, грустно покачивая головой и смахивая тяжелую слезу скорби. Шепот молящихся, заглушенные рыдания, говор, тихий, как вздохи, звучали вокруг покойника, как унылый шум осенних дождей. Беспрестанно входили и выходили — шли хозяева и коморники, женщины и девушки, пожилые и молодые. Вся деревня толпилась в комнате и сенях, а у окон гурьба ребятишек подняла такой шум, что Витек, которому не удавалось их разогнать, даже пробовал натравить на них Лапу. Но пес его не послушался, он сегодня не отходил от Юзи, а по временам бегал вокруг избы и выл.

Смерть Мацея тучей нависла над деревней. День был чудесный, солнечный, благоухающий, а между тем печаль овевала хаты, странная тишина царила на всех улицах. Люди ходили вялые, скучные, глубоко удрученные,

горестно вздыхали, разводили руками и задумывались над печальной участью человеческой.

Многие друзья покойного сидели на крыльце, соседи утешали Гапку, Магду и Юзьку, плача вместе с ними и громко жалея осиротевших.

Только к Ягусе никто не подходил с ласковым словом утешения. Хотя она и не любила, когда ее жалели, все же от этого всеобщего пренебрежения ей было так больно, что она убежала в сад и, забравшись в чащу, сидела там целыми часами, прислушиваясь к стуку молотка Матеуша, сколачивавшего гроб.

— Она еще смеет показываться людям на глаза! — прошипела ей вслед жена войта.

— Оставьте, не время сейчас для попреков! — сказала другая баба.

— Бог ей судья! — кротко добавила Гапка.

— За ваши попреки войт постарается ее вознаградить! — засмеялся кузнец.

Хорошо, что за ним в эту минуту прислали от мельника, — жена войта уже падулась, как индюшка, и готова была затеять ссору.

Кузнец с хохотом убежал, а бабы каляли еще о том о сем, но все ленивее, все тише, утомленные не то волнениями этого дня, не то жарой, которая становилась уже совсем немоготу. Стояла необычайная духота, в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, ни один листик, ни один стебелек не шевелился, и хотя с полудня прошло уже немало времени, солнце жгло, как огонь, стены плакали смолой и блекли изнемогающие цветы и травы.

Бабы спдели, нахохлившись, как наседки на песке. Их разморила духота, тишина и заунывный пеумолкающий голос Агаты, все еще молившейся над покойником.

Только когда зазвонили к вечерне и все разошлись по домам, Гапка послала за кузнецом — он должен был идти с нею к ксендзу договариваться насчет похорон.

Витек вернулся очень скоро, но один, без кузнеца.

— Я и подступиться побоялся, потому что Михал сидит с паном у мельника, чай пьют, — объявил он, с трудом переводя дух.

— С паном?

— Ну да, я ведь его знаю! Чай пьют с пирогом, я хорошо видел. А копи стоят в холодке и только ногами перебирают.

Удивленная Ганка не стала дожидаться кузнеца, после вечерки она приоделась и пошла в плебанию с Магдой.

В плебании все окна и двери были открыты настежь, но ксендз еще дома не было. Женщины сели и стали ждать. Через некоторое время служанка объявила, что ксендз на дворе и велел их позвать.

Ксендз сидел в тени у плетня, а посреди двора, подле здоровенной коровы, которую мужик держал на короткой веревке, с рвом вертелся большой пестрый бык. Работник ксендза с трудом удерживал его на цепи.

— Валик! Подожди немного, пускай он еще больше разохотится! — крикнул ксендз и, утирая вспотевшую лысину, подошел к себе Ганку и Магду. Подробно расспрашивал их о смерти Мацея, ласково утешал и ободрял, а когда бабы заговорили про похороны и спросили, сколько это будет стоить, он резко и нетерпеливо перебил их:

— Об этом после. Я шкуры с людей не деру! Мацей был первый хозяин в деревне, значит, и похороны должны быть не какие-нибудь. Да, не какие-нибудь! — повторил он сердито.

Женщины, не смея ничего сказать, только поклонились ему в пояс.

— Вот я вас, бесстыдники! — крикнул вдруг ксендз на детей органиста, подглядывавших из-за плетня, и опять повернулся к Магде и Ганке. — Ну, как вам нравится мой бычок, а?

— Красавец! Лучше мельникова! — поддакнула Ганка.

— Далеко тому до моего! Присмотритесь-ка к нему! — Он подвел их поближе и с нежностью потрепал по спине быка, который рвался к корове, как бешеный. — Шея какая! А спина, а грудь! Дьявол — не бык! — восторгаясь он, пыхтя от удовольствия.

— Правда, я такого еще не видывала!

— То-то! Чистокровный голландец, триста рублей стоит!

— Столько денег! — удивлялись бабы.

— Копейка в копейку! Пускай его, Валик!.. Да осторожнее, корова-то не очень крепкая... Конечно, деньги за него плачены большие, но я беру всего по рублю десять копеек с коровы — хочу, чтобы в Липцах хорошие телята рождалась! Мельник на меня сердит, да мне уже глядеть надоело на тех заморышей, что родятся от его быка, — не телята, а коты какие-то!..

— Держи корову у самой морды, воропа, не то вырвет-

ся! — закричал он на мужика. Потом, увидев, что женщины стыдливо отвернулись, обратился к ним: — Ну, ступайте себе с богом!.. А завтра — вынос в костел! — крикнул он уже вслед им и принялся помогать мужику, который не в силах был один удержать корову. — Будешь меня благодарить за теленка — таких ты еще никогда не видывал!.. Валек, проводи-ка быка, пусть остынет... Хотя такому дьяволу одна корова — что муха! — хвастал ксендз.

Ганка и Магда от него пошли к органисту — с ним надо было отдельно договориться насчет похорон. Жена органиста угостила их кофе, а за кофе, как водится, разговорились, и они вернулись домой, когда солнышко уже клонилось к закату и скот гнал с пастбищ.

У крыльца, попыхивая трубочкой, стоял пан Яцек и разговаривал с Матеушом — он нанимал его распилить деревья для избы Стаха.

Матеуш отвечал уклончиво, как будто и не рад был этой работе.

— Дерево я распилю, не велико дело, а вот построю ли избу — этого еще не могу сказать... Может, уйду куда-нибудь... Надоела мне деревня! Еще не знаю, что буду делать, — говорил он, поглядывая на Ягусю, доившую перед хлевом корову. — Вот утром кончу гроб, тогда потолкуем, — торопливо добавил он и ушел.

А пан Яцек зашел проститься с покойником.

— Хоть бы сыновья в него пошли! — сказал он потом Ганке. — Хороший был человек и настоящий поляк! Во время восстания добровольно вступил в наш отряд и жизни не жалел — видел я его в деле! Да и погиб он из-за нас... Проклятие тяготеет над нами!.. — докончил он, словно про себя. А Ганка, хотя и не все поняла, была благодарна Яцеку за добрые слова о покойнике и поклонилась ему в погн.

— Оставьте! Я такой же человек, как и вы! — крикнул он гневно. — Глупая! Пан — не святой!

Он еще раз взглянул на Мадея, зажег от свечи свою трубку и вышел, не ответив на приветствие кузнеца, входившего в эту минуту в сени.

— Ишь какой гордый стал! Нищий, черт его дери, а важности хоть отбавляй! — со злобной насмешкой бросил кузнец ему вслед. Но он был чем-то очень доволен и, тотчас подсев к жене, стал шептать ей на ухо:

— Наша взяла, Магдуся! Помещик хочет мириться с мужиками. Просит, чтобы я ему помог. Ясное дело, мне

тут перепадет немало! Только смотри, баба,— пи гугу! Дело это важное.

Он заглянул к покойнику, повертелся и ушел в деревню сзывать мужиков в корчму на совет.

Смеркалось, вечерняя заря угасла, и небо напоминало ржавую жечь, присыпанную пеплом, лишь кое-где еще горели облачка, пронизанные золотистым светом заката.

А когда наступил вечер и вся работа по хозяйству была проделана, родня снова собралась около Мацея. Свечи у изголовья горели ярко. Амброжий то и дело подрезал фитили, не переставая нараспев читать над покойником, за ним и остальные повторяли слова молитвы, перемежая их плачем и причитаниями.

В комнате было тесно и душно, и потому соседи стояли на коленях во дворе под окнами и тоже тянули печальную мелодию заукойной молитвы. Казалось, что поет весь сад. А на мир уже медленно надвигалась ночь, в деревне ложились спать, в садах белели постели, огни в хатах гасли один за другим. Беспокойно кричали петухи, нарушая сырую и душную тишину, какая бывает перед переменной погоды.

До поздней ночи пели над Боруной, а когда разошлись, остались при нем только Амброжий и Агата, чтобы бодрствовать до утра.

Оба пели сначала громко, потом, когда ничто уже не нарушало глубокого безмолвия ночи, их стало клонить ко сну, пение перешло в невнятное бормотанье. Они задремали и не просыпались даже тогда, когда приходил Лапа и, тихо скуля, лизал намазанные салом сапоги покойника.

Около полуночи густой мрак окутал землю, погасли звезды, небо заволоклось тучами, и вокруг стало как будто еще тише, лишь иногда вздрагивало какое-нибудь дерево и сыпался тихий, пугливый шелест или срывался откуда-то странный звук — не то крик, не то отдаленный зов,— и пропадал неведомо где.

Деревня, погруженная в глубокий сон, словно лежала на дне темного колодца, и одна только изба Боруны слабо светила в мраке, а в открытое окно виден был Мацей, окруженный желтыми огоньками свечей и голубоватым облаком курений. Амброжий и Агата, уронив головы на стол, храпели на всю комнату.

А короткая летняя ночь проходила быстро, словно ей надо было куда-то поспеть до первых петухов. Догорали свечи, гасли одна за другой, как глаза, уставшие смот-

реть па мертвеца, и к рассвету осталась только одна, самая толстая, золотым острием мерцавшая в темноте.

Но вот серый туманный рассвет лениво сполз с полей и заглянул в окна, прямо в лицо Боруны, и лицо это как будто ожило, — казалось, мертвец проснулся от тяжелого сна и, слушая первое щебетанье птиц в гнездах, смотрел сквозь потемневшие веки в далекое еще сияние утренней зари.

Светало все больше, утро разгулялось, подобно снежной метели. Небо светлело, как пригретое солнцем полотно, разостланное для беления на лугу. С полей потянуло прохладой, сонно вздохнуло озеро, из-под темной завесы ночи показались леса, как черные тучи, а одиноко стоявшие деревья раскинули в свете утра свои верхушки, как пучки черных перьев. Уже и первый ветер прилетел, затормошил сады, повеял в лицо людям, спавшим под окнами.

Но очень немногие проснулись и открыли глаза. Все еще нежились в сладкой ленивой дремоте, как бывает всегда после праздника.

Скоро и день пастал, по какой-то пасмурный и печальный. Солнца еще не было, а в полях уже звенели жаворонки, громче журчали ручьи, всколыхнулись и зашумели пивы, ударяясь колосьями о межи и дороги. Со дворов несло уже тоскливое бляение овец, где-то сварливо боготали гуси, горлалили петухи. Кое-где звучали и голоса людей, скрипели ворота, ржали лошади, начиналось движение и обычная утренняя суeta. Деревня просыпалась и поемногу принималась за привычный труд.

Только у Боруны было еще тихо. После пережитых волнений все спали так крепко, что храп слышен был даже во дворе.

Ветер залетал в открытые двери и окна, с протяжным свистом носился по комнатам, колебал пламя последней свечи. Тщетно трепал он волосы покойника — не пошвелился Боруша, не проснулся, не вскочил, чтобы взяться за работу, не подгонял и других. Лежал мертвый, тихий, холодный, как камень, глухой ко всему.

Ветер, набрав силы, ринулся в сад — и все закачалось, зашелестело, зашумело. Все словно пыталось заглянуть в синее лицо Боруны: смотрел на него пасмурный день, смотрели растрепанные ветром деревья, а стройные, гибкие мальвы за окном, как девушки, низко кланялись ему. Со двора часто залетала пчела, или мотылек устремлялся

прямо па огонь свечи, или, испуганно щебеча, печально влетала заблудившаяся ласточка, носились мухи, заползали жучки и всякая другая божья тварь, и с ними плыло в комнату тихое жужжанье, звон, и шорох крыльев, и щебетанье, сливаясь в один голос живой и нежной грусти:

«Умер! Умер! Умер!»

Все живое трепетало и глухо рыдало, изливая свою скорбь. Но вдруг наступило тревожное молчание, ветер утих, все словно притаило дыхание и пало ниц, ибо в сером сумраке встало огромное красное солнце. Оно поднялось над миром, окинуло его властным и живительным взором и скрылось в клубящихся тучах.

Потемнело вокруг, и не прошло и пяти минут, как пошел теплый частый дождик, и тотчас все поля и сады наполнились монотонным шелестом и плеском.

Заметно похолодало, на дорогах запахло мокрой землей, громче запели птицы, а в серой дрожащей пыли дождя, завесившей даль, жадно пили хлеба, пили вянущие листья, пили деревья, и высохшие русла ручейков, и опаленная земля,— пили долго и с наслаждением, благодарно вздыхая:

«Спасибо, брат дождь! Спасибо, сестрица туча! Спасибо!»

Шум дождя разбудил Ганку, спавшую у самого окна. Она первая вскочила с постели и помчалась в конюшню.

— Петрик! Вставай, дождь идет! Беги скорее клевер сгребать, пока он не перемок совсем! Витек, лентяй ты этакий, выгоняй коров! В деревне уже всех выгнали! — кричала она сердито, выпуская из хлева гусей, которые, радостно гогоча, побежали плескаться в лужах.

Ганка выгоняла во двор свиней, когда пришел кузнец. Они столковались, что нужно купить для завтрашних поминок, кузнец взял деньги, чтобы сейчас же ехать в местечко, но, уже сидя в бричке, подозвал Ганку и сказал вполголоса:

— Ганка, дай мне половину, тогда я никому и не скажусь, что ты старика обобрала. Покончим это дело миром!

Она покраснела, как свекла, и запальчиво крикнула:

— Бреши хоть перед целым светом! Ишь сам на всякую подлость готов, так и других на свой аршин мерит!

Кузнец только глазами сверкнул, подергал усы и, хлестнув лошадей, уехал.

А Ганка ретиво принялась за работу. Ведь такое большое хозяйство требовало забот. Надо было немало порабо-

тать и руками и головой, чтобы со всем управиться. И скоро ее повелительный голос, как всегда, раздавался уже во всех углах двора.

Около Бoryны зажгли две новых свечи и прикрыли его простыней. Агата все еще бормотала над ним молитвы и подсыпала на уголья можжевельных ягод.

Ягуса пришла от матери только после завтрака. Ей было жутко в комнате, где лежал покойник, и она растерянно слонялась по двору, часто поглядывая на Матеуша, который перешел работать в овин. Гроб был уже готов, и он малевал на крышке белый крест, когда Ягна остановилась у входа.

Она молчала, со страхом глядя на черную крышку гроба.

— Вдова ты теперь, значит, Ягусь! — сказал Матеуш с участием.

— Да, вдова, — отозвалась она тихо, со слезами в голосе.

Матеуш смотрел на нее с искренней нежностью; она исхудала, была бледна как полотно, и выражение лица у нее было жалобное, как у обиженного ребенка.

— Да, такова уж судьба человеческая, — сказал он грустно.

— Вдова, вдова! — повторила Ягуса, и голубые глаза ее наполнились слезами, тяжелые вздохи разрывали грудь. Она убежала за дом, и стоя под дождем, плакала так долго и горько, что даже Ганка сжалилась над нею, увела ее в комнату и пыталась успокоить и утешить.

— Слезами горю не поможешь... Нам нелегко, а уж тебе, спрота, и подавно! — говорила она ласково.

— Слезы слезами, а году не пройдет, как пропою на ее свадьбе такого «хмеля», что ошалеет! — насмешливо сказала Ягустинка.

— Не время теперь шутки шутить! — осадил ее Ганка.

— Правду говорю. Красавица она, молодая, богатая — да ей палкой придется женихов разгонять!

Ягна ничего не ответила, а Ганка вышла во двор отнести пороссятам корм и опять стала глядеть на дорогу.

«Что такое случилось? — думала она с тоской. — Его еще в субботу должны были отпустить, а сегодня понедельник — и ни слуху ни духу!»

Но печалиться было некогда — надо было сгребать остаток сена и весь клевер, так как дождь все усиливался и лил уже без передышки.

А вскоре после полудня пришли ксендз и органист, пришли члены костельного братства со свечами, собрались опять кое-кто из знакомых. Мацея положили в гроб, Матеуш забил крышку, ксендз прочитал молитвы, и под тихое пение повезли Бoryну в костел, где уже раздавался погребальный звон.

Когда семья Бoryны вернулась из костела, им показалось в комнатах так пусто, жутко и тихо, что Юзья разрыдалась, а Ганка сказала Ягустипке, убиравшей избу:

— Ведь он столько времени лежал, как труп, а все-таки в доме чувствовался хозяин!

— Вот вернется Антек, и опять будет в доме хозяин, — лгливо отозвалась старуха.

— Ох, поскорее бы вернулся! — вздохнула Ганка.

Но, посмотрев в окно на серую завесу дождя, который все лил и лил, она еще раз-другой вздохнула, отерла слезы и принялась подгонять всех:

— Скорее, скорее, люди! Кто бы ни помер, хоть самый большой человек, — канет, как камень в воду, и никто уже его не вернет. А земля не ждет, над ней надо трудиться.

И повела всех окучивать картофель. Только Юзя осталась дома присматривать за детьми. Она к тому же была нездорова и все еще никак не могла успокоиться. Лапа ни на шаг не отходил от нее, а питомец Витека, анст, как часовой, стоял на крыльце на одной ноге.

Теплый дождь, мелкий, но частый, не утихал ни на минуту, и птицы перестали петь, все притаилось, затихло и, казалось, заслушалось этого немолчного, звонкого шепота капель. Только изредка кричали гуси, плескаясь в синих лужах.

А перед самым закатом выглянуло яркое солнце и зажгло красные огоньки в лужах и каплях.

— Завтра уж наверняка ведро будет! — говорили мужики, возвращаясь с поля.

— Хоть бы он еще шел! Такой дождь — чистое золото!

— Картошка чуть было не пропала совсем!

— А овес! И его спалило...

— Всему дождик на пользу пойдет!

— Эх, если бы так хоть дня три лил! — вздохнул кто-то.

Дождь шел все так же ровно и тихо до самой ночи, и люди наслаждались, стоя перед хатами на прохладном благоухающем воздухе. Сыновья Гульбаса сзывали девушек и парней за деревню, на жнивье — жечь костры, по-

тому что сегодня был канун иванова дня. Но из-за дождя и темноты мало нашлось охотников. У леса только кое-где зажглись бледные огни.

Витек с самых сумерек уговаривал Юзку идти с ним туда, к кострам, но она грустно отвечала:

— Не пойду, не до забав мне, ничего мне не мило...

— Да мы только зажжем, перепрыгнем через огонь и сейчас домой! — умолял Витек.

— Сиди дома, не то Ганке скажу! — пригрозила ему Юзя.

Но он все-таки убежал и вернулся только после ужина, голодный, весь в грязи.

Дождь шел всю ночь и прекратился только утром, когда уже совсем рассвело и люди шли в костел на отпевание Бороны.

Солнца, однако, не было, и в серой дымке пасмурного утра еще ярче зеленели поля и сады, а ручьи вылились серебряной пряжей. Воздух был свеж и ароматен, с деревьев при малейшем дуновении обильно сыпались капли, птицы заливались, как шальные, весело лаяли собаки, носясь по улицам вместе с ребятишками, все голоса летели высоко и звучали как-то особенно радостно. Даже земля, напившаяся досыта, казалось, кипела в неудержимом порыве роста.

В костеле ксенда отслужил заупокойную обедню, и они со слупским ксендзом и органистом, сидя перед главным алтарем, нараспев молились по-латыни.

Борына лежал высоко на катафалке, окруженный лесом пылающих свечей, а около него стояли на коленях все односельчане, молились и слушали протяжное и заунывное пение. Заупокойная молитва то поднималась до вопля отчаяния такого страшного, что волосы вставали дыбом и жестокая боль терзала сердце, то переходила в тихие стопы глубокой скорби, от которых замирала душа и невольные слезы текли из глаз, то уносилась в небо дивным ангельским пением, сулившим вечное блаженство, и тогда люди вздыхали глубоко, отпращив слезы, а иные плакали навзрыд.

Длилось это добрый час, а когда кончилось, поднялся шум, движение, все вставали с колен. Амброжий сплел свечи с катафалка и раздавал их прихожанам, а ксенда еще что-то пропел, окادил гроб, так что воздух стал голубой от дыма, и двинулся к дверям вслед за крестом.

Гроб подняли первые люди в Липцах, вынесли его под громкий плач и вопли и поставили на телегу, выстланную соломой. Ягустипка тайком, чтобы не увидели ксендзы, сунула под солому каравай хлеба, обернутый в чистую полотняную тряпку. Петрик натянул вожжи и, щелкая кнутом, в нетерпении оглядывался на ксендзов.

Печально зазвонил колокол, вынесли черные хоругви, запылали огоньки свечей, Стах поднял и понес крест, а ксендзы запели: «*Miserere mei Deus*»¹.

Мрачная песнь смерти зарыдала над головами толпы безграничной скорбью и ужасом.

Двинулись медленно по тополевой дороге на кладбище.

Черная хоругвь с изображением черепа затрепыхалась на ветру, как страшная птица, и понеслась впереди, а за ней сверкал серебряный крест, шли ксендзы в черных облачениях и тянулась длинная вереница прихожан с горящими свечами.

Телега с гробом, поставленным высоко, чтобы он всем был виден, ехала среди дороги, за ней шли родные покойника, оглашая воздух стонами и плачем, а по сторонам в скорбном молчании двигалась вся деревня. Даже больные и калеки не захотели остаться дома.

Низко нависло серое мутное небо, словно опираясь на могучие тополя, склоненные над дорогой. Казалось, все кругом заслушалось погребального пения. А когда порыв ветра расшевелил травы и деревья, с них, как тихие горькие слезы, закапала роса и взволнованная рожь тихо качала тяжелыми колосьями, клонилась все ниже, прощаясь с хозяином последним земным поклоном.

Пение ксендзов расплылось в воздухе, и суровая тишина сошла на души, только колокола все стонали, гудели, о чем-то взывали к хмурому небу, к лесам и туманной дали. Над полями заливались жаворонки, порой скрипела телега, шуршали хоругви, чавкала под ногами грязь и слышался горький сиротливый плач.

Ксендз опять запел, и от этого заунывного пения слезы наворачивались на глаза, сжималось сердце, и все глаза тревожно и беспомощно поднимались к облачному небу, словно моля его о милосердии. Как едкий дым, тянулись печальные безнадежные мысли.

О судьба человеческая, неумолимая судьба!

Что все наши тяжкие труды? Что жизнь человека?

¹ Помилуй меня, господи (лат.).

Исчезнет он без следа, как снег, и родные дети о нем не будут помнить.

Всё — одно только горе, слезы и мучения!

Что такое счастье человеческое, все радости наши и надежды? Только дым один, прах, обманчивые призраки, ничто...

И что такое ты сам, человек, ты, надменный, дерзко считающий себя выше всех тварей земных?

Ты только ветер, что неведомо откуда приходит, неведомо зачем мечется и неведомо куда уходит.

И ты, человеке, мнишь себя владыкой мира?

Но хотя бы тебе сулили здесь рай — ты должен будешь его покинуть!

Хотя бы ты одарен был великой мощью — смерть ее у тебя вырвет.

Хотя бы тебя признали величайшим мудрецом — ты станешь прахом!

И не одолеешь ты судьбы, несчастный, не победишь смерти, нет!..

Ибо беззащитен ты, слаб, недолговечен, как листок, гонимый ветром.

Ибо ты в когтях смерти, как птенчик, взятый из гнезда: щебечет он радостно, поет, трепещет крылышками, а того не знает, что его сейчас придушит коварная рука и отнимет милую жизнь.

О душа, зачем же выбрала ты своей обителью бренное человеческое тело? Зачем?

С такими мыслями и чувствами шли люди за гробом, печально озирая зеленые поля и тяжело вздыхая. От невыразимой тоски каменели лица, трепетали сердца.

— *Secundum magnam misericordiam tuam*¹.

Тяжелые латинские слова падали, как комья мерзлой земли, и люди невольно клонили головы, словно под неумолимой косой смерти, но шли вперед неудержимо, шли, упрямые и безропотные, серые и крепкие, как камни на межах, готовые ко всему и неустрашимые, подобные и пустым перелогам, и буйно цветущим полям, силой и хрупкостью своей равные деревьям; в них каждую минуту может ударить молния и предать их в руки смерти, а они гордо тянутся к солнцу и поют радостную песнь жизни...

Шли всей деревней, теснясь и толкаясь, по каждый был так погружен в печальные мысли, что шел словно

¹ По великому милосердию твоему (лат.).

одни в необозримой пустыне, всеми покинутый, и, глядя вдаль, сквозь слезы видел отцов, дедов и прадедов, которых спесли туда, на кладбище, мелькавшее уже впереди между толстыми стволами тополей...

Оно было недалеко, это кладбище. За полями выросли купы деревьев, кресты, могильные холмики, и казалось оно страшной, бездонной ямой, в которую медленно, но неуклонно сходит все живое. И многим чудилось, что со всех сторон сквозь дождь гудят колокола, пылают свечи, трепещут в воздухе черные хоругви и плывут погребальные напевы, из всех хат выносят гробы, по всем дорогам тянутся похоронные процессии, и каждый человек кого-то оплакивает, рыдает так, что небо и земля полнятся стоном, и с немолчным шумом льются потоки слез, горьких, как полынь...

Процессия уже свернула на дорожку к кладбищу, когда ее догнал помещик. Он вышел из экипажа и зашагал рядом с гробом, в страшной тесноте, так как дорожка была узкая, густо обсаженная березками, и по обеим сторонам ее стояли хлеба.

Вошли на кладбище и понесли гроб на руках по желтым дорожкам, среди пестревших цветами могил, за часовню, где в чаще орешника и сирени уже ждала свежеврытая могила.

Громкие рыдания и вопли раздирали воздух.

Хоругви и горящие свечи окружили глубокую могилу, народ затеснился к ней, со страхом заглядывая в пустую желтую яму.

Ксендз стал па кучу выброшенного из ямы песка, повернулся лицом к толпе и начал громко:

— Народ христианский!

Все сразу притихли, только стонали колокола вдали да Юзька, обхватив руками гроб отца, отчаянно голосила, пи на что не обращая внимания.

Ксендз взял понюшку табаку из табакерки, чихнул раз-другой и, глядя на толпу сквозь выступившие на глазах слезы, заговорил громко:

— Братья, кого же вы сегодня хороните? Кого? Вы мне ответите: Мадея Боруцу. А я вам скажу: первого хозяина в Липцах, почтенного человека и доброго католика. Знал я его много лет и свидетельствую: жил примерно, бога почитал, исповедовался, и причащался, и беднякам помогал. Да, да, помогал, это я вам говорю!

Ксендз перевел дух и продолжал растроганно:

— И умер, бедняга, умер! Смерть унесла его, как уносит волк из стада самого жирного барана, среди бела дня, у всех на глазах, и никто ему помешать не может. Как падает высокое дерево, в которое ударила молния, так и он пал под жестокой косой смерти.

Но, как говорится в Святом писании, не весь он умер. И вот подошел этот странник к воротам рая, стучится и жалобно просит впустить его. А святой Петр спрашивает:

— Кто ты?

— Я Борына из Липец.

— Что же, так тебя ближние твои допекли, что пришлось из жизни уйти?

— Все вам объясню,— говорит Мацей,— только откройте, дайте отогреться милосердием божьим, замерз я совсем в земном скитании.

А святой Петр, хоть и приоткрыл маленько ворота, все еще не выпускает его и говорит:

— Только не ври, потому что никого тут ты не обманешь. Говори смело, душа человеческая, почему сбегала с земли?

— Всю правду скажу, как на духу! Невтерпеж мне стало на земле: люди там, как волки, грызутся между собой, и так плохо на свете, что всего и не перескажешь... Все лишь ссоры, нелады, грех один, да и только. Бес вселился во всех, и царят на земле разврат, пьянство, злоба...

Забыл народ о послушании, о честности, брат восстает на брата, дети на отцов, жены на мужей, слуги на господина... Не почитают никого — ни стариков, ни начальства, ни даже ксендза!..

Везде хитрость одна, жульничество да воровство. Что имеешь, держи крепко, не то вырвут из рук!

Будь это самый лучший луг — потравят и вытопчут! Норовят запахать хотя бы маленький клочок чужого поля.

Курицу выпустишь со двора — живо утащут, как волки: Куска железа, веревки нельзя оставить — будь они хоть ксендзовы, непременно украдут!

Пьют, развратничают, в божий храм не ходят, хуже язычников!

— И это в Липецком приходе такое творится? — перебил его святой Петр.

— И в других тоже, но в Липецком — хуже всего.

Святой Петр брови нахмурил и сказал, грозя земле кулаком:

— Так вот вы каковы, липецкие! Ах вы, разбойники мерзкие! Живете хорошо, земля у вас плодородная, и выгоны есть, и луга, и леса участок, а вы, псы поганые, с жиру беситесь! Вот скажу господу, он вас к рукам приберет!

Мацей стал своих защищать, но святой Петр еще больше разгневался да как топнет ногой, как закричит:

— Нечего за этих сукиных сынов заступаться! Вот я тебе что скажу: даю им сроку три недели. Если не исправятся, так их прижму голодом, да пожарами, да болезнями, что попомнят меня, негодян этакие!

Так грозно говорил ксендз, потрясая кулаками, а люди плакали, билл себя в грудь и каялись.

Отдышавшись, он опять заговорил о покойнике, о том, что он погиб за всех. И призывал их к миру и согласию, призывал образумиться и не грешить, ибо неизвестно, для кого пробьет завтра последний час и кому придется предстать перед страшным судом божьим.

Даже помещик, и тот утирал кулаком глаза.

Скоро ксендзы кончили свое дело и ушли вместе с помещиком. Гроб опустили в могилу и стали засыпать, и тут поднялся такой плач, такие причитания, что самое жестокое сердце дрогнуло бы.

Ревела Юзька, ревели Магда и Ганка, голосили родственники, близкие и дальние, и совсем чужие. А всех больше плакала-разливалась Ягуся. Что-то так сжало ей сердце, что она кричала, как безумная.

— Теперь воет, а при жизни Мацея что проделывала! — буркнула одна из баб, а Плошкова, утирая глаза, подхватила:

— Плачем хочет разжалобить его детей, чтобы из дому ее не выгнали!

— Думает, что найдутся дураки, поверят! — громко сказала и жена органиста.

Но Ягна ничего не слышала и не видела, она упала на землю и плакала так отчаянно, словно это на нее сыпались тяжелые сыпучие струи песка, над ней звучал мрачный погребальный звон, ее оплакивали...

А колокола гудели, жалуюсь небесам, и все эти рыдания и вопли над свежей могилой звучали жалобой на неумолимую судьбу, на извечную несправедливость к человеку.

Стали понемногу расходиться. Одни в грустном раздумье бродили среди могил, другие не спеша направи-

лись домой, выжидательно оглядываясь назад, так — как Ганка и кузнец приглашали некоторых па поминки после похорои.

В доме Боряны все уже было приготовлено, вдоль стен стояли столы и длинные скамьи, и, как только все уселись, подали водку и хлеб.

Выпили чинно, в молчании, закусили, и органист начал читать молитвы, потом запели литанию, умолкая только тогда, когда кузнец пускал вкруговую повую бутылку, а Ягустинка разносила хлеб.

Женщины собрались на другой половине, у Ганки. Пили чай, заедали сладкими пирогами и пели — да так заунывно и пронзительно, что даже куры в саду раскудахтались.

Угощенье было обильное, Ганка потчевала от всей души, ничего не жалея. В полдень, когда многие уже стали браться за шапки, подали еще клетки с молоком, потом жареное мясо с капустой и горох, щедро политый маслом.

— Другие и свадьбу так не справляют! — шепнула Болеславова.

— Да ведь мало ли покойный им оставил!

— Есть у них чем утешаться!

— Должно быть, и наличных денег порядочно осталось!

— Кузнец жалуется, что деньги у покойника были да куда-то пропали.

— Жалуется, а сам небось хорошо их припрятал!

Так шушукались между собой женщины, дочиста выскребая миски и поглядывая, не слышит ли их Ганка, все время хлопотавшая, чтобы у гостей еды было вдоволь.

На мужской половине за столами становилось все шумнее, лица все больше багровели, беспрестанно звенели рюмки. Любители выпить, которым мало было угощения, уже выбирались потихоньку из дома и шли в корчму.

Один лишь Амброжий был сегодня на себя не похож. Пил-то он не меньше других, а то и больше, но сидел в углу как пришибленный, все тер глаза и тяжело вздыхал.

Кто-то попробовал его расшевелить, вызвать на забавные шутки.

— Не трогай меня, я сегодня невесел! — плаксиво забормотал Амброжий. — Помру скоро, помру... Только собаки по мне выть будут да баба зазвонит в разбитый горшок... Как же, ведь я па крестинах Мацея был... На свадьбе его танцевал! Родителей его хоронил! Хорошо помню...

Господи Иисусе, сколько я народу в могилу проводил, сколько за упокой отзвонил... А теперь пора и мне!..

Он вдруг встал и торопливо ушел в сад. Витек потом рассказывал, что старик допоздна сидел за хатой и плакал...

В сумерки неожиданно пришли ксэндз и помещик.

Ксэндз благосклонно поговорил с родными Мацея, утешал их, приласкал детей и, беседуя с бабами, с удовольствием попивал чай, а помещик, потолковав с тем, с другим, взял из рук кузнеца рюмку, чокнулся со всеми и сказал Ганке:

— Я всех больше жалею, что Мацей умер. Был бы он жив, так я бы помирился с мужиками. Может быть, даже отдал бы то, чего они с самого начала хотели! — Он заговорил громче, обводя всех глазами. — Но с кем же мне об этом толковать? Через комиссара не хочу, а из деревни никто первый ко мне не обратился!

Мужики слушали молча, сосредоточенно, взвешивая каждое его слово.

Помещик говорил еще что-то, подъезжал и так и этак, но все, как горох о стену, ни у одного мужика язык не развязался, все как воды в рот набрали, только поддакивали, скребли затылки да многозначительно переглядывались. Наконец помещик, видя, что ему не сломить этого настороженного недоверия, вызвал с другой половины ксэндза, и они ушли вместе, провожаемые толпой до самых ворот.

Лишь после их ухода мужики стали вслух дивиться и строить догадки.

— Ну-ну! Чтобы сам пан пришел на мужицкие похороны!

— Нужны мы ему, вот он и подъезжает! — сказал Плошка.

— А разве он не мог прийти просто по доброте сердечной? — вступился Клемб.

— Лет тебе немало, а ума не прибавилось! Когда же это бывало, чтобы помещики приходили к мужикам по дружбе, а?

— Тут что-то есть! Недаром он хочет мириться!

— Ему эта мировая нужна больше, чем нам!

— А мы можем еще подождать! — сказал пьяный Сикора.

— Вы-то можете, да другие не могут! — с сердцем крикнул Гжеля, брат войта.

Уже начиналась ссора, один говорил одно, другой — другое, третий спорил с обоими, а остальные просто галдели.

— Пускай отдаст нам лес и землю, тогда помиримся!

— Не надо мириться, вот новые наделы начнут раздавать — так все наше будет! Пускай он, сукня сын, с сумой по миру пойдет за нашу обиду!

— Долги его душат, так он к мужикам за помощью пришел.

— А в былое время он одно знал: «С дороги, хам, если не хочешь батога!»

— Говорю вам, не верьте панам, каждый из них готов продать мужика! — кричал кто-то захмелевший сильнее других.

— Послушайте-ка, хозяева, мой разумный совет! — вмешался кузнец. — Если помещик хочет мириться, так соглашайтесь и берите, что дают, нечего дожидаться с вербы груш!

Встал брат войта, Гжеля.

— Святую правду сказал кузнец! Пошли в корчму, там все и обсудим!

— А я угощаю всю компанию! — весело добавил кузнец.

И они гурьбой вышли на улицу.

Уже начинало смеркаться, скот шел с пастбищ, и по всей деревне неслось мычанье, крики гусей, пискливые трели дудок, песни и крики детей.

А мужики, не слушая протестов и брани жен, пошли в корчму. Один Сикора немного отстал, — брел, хватаясь за плетни, и все что-то бормотал.

У Бороны, когда убрали после гостей и наступил темный вечер, стало удивительно пусто и уныло.

Ягуся металась в своей комнате, как птица в клетке, и часто бегала на Ганкину половину, но, видя, что все очень утомлены и расстроены, уходила, не сказав ни слова.

В избе было тихо, как в могиле, и, когда управились с домашней работой и поужинали, никто не спешил уйти из комнаты, хотя всех клонило ко сну. Сидели у печи, смотрели в огонь и тревожно прислушивались к каждому шороху.

Вечер был спокойный, только порой палетал ветер, и тогда шумели деревья, потрескивали плетни, — дребезжали стекла. По временам Лапа ворчал, грозно ощерившись, а там опять в гробовой тишине тянулось

нескончаемо долгие часы. Они сидели, и все сильнее пробирал их страх, то и дело кто-нибудь крестился и дрожащими губами шептал молитву. Всем чудилось, что кто-то ходит на чердаке, и оттого скрипят балки, что кто-то подслушивает под дверью, заглядывает в окна и трется о ступени, дергает щеколду у двери и потом, тяжело ступая, обходит избу.

Они вслушивались, бледнели, едва дыша, обомлев от ужаса.

Вдруг в конюшню заржала лошадь. Лапа громко залаяла и бросился к дверям, а Юзька, не выдержав, вскрикнула:

— Отец! Ей-богу, отец! — и заплакала от страха.

— Не реви! — впушительно сказала ей Ягустинка. Не мешай душе отлететь с миром! Слезы ее удерживают на земле. Откройте двери, пусть отлетит она, странница, и обретет вечный покой.

Открыли двери. В комнате было тихо. Все боялись шевельнуться и только горящими глазами блуждали кругом. Лапа обнюхивал углы, скулпл иногда и вилял хвостом, словно ластясь к кому-то, и теперь уже все были уверены, что среди них бродит душа умершего.

Наконец Гавка запела дрожащим, сдавленным голосом:

Все дела дневные ваши...

Остальные с безмерным облегчением стали вторить ей.

II

Был чудесный, настоящий летний день. Шел уже, должно быть, десятый час, солнце поднималось все выше и пекло изрядно, когда липецкие колокола все, сколько их было, начали трезвонить изо всех сил.

Тот, которого называли «Петром», гудел всех громче, пел во всю глотку. Так мужик, подвыпив, идет себе дорогой, качаясь из стороны в сторону, и горланит грубым голосом, возвещая всему свету, что ему весело.

Другой колокол, поменьше, которого, по словам Амброжия, окрестили «Павлом», тоже старался изо всех сил, но он больше вторил первому, звенел высоким, чистым голосом, заливался, как иная девушка, когда томит ее любовь

Уже начиналась ссора, один говорил одно, другой — другое, третий спорил с обоими, а остальные просто галдели.

— Пускай отдаст нам лес и землю, тогда помиримся!

— Не надо мириться, вот новые наделы начнут раздавать — так все папе будет! Пускай он, сукин сын, с сумой по миру пойдет за нашу обиду!

— Долги его душат, так он к мужикам за помощью пришел.

— А в былое время он одно знал: «С дороги, хам, если не хочешь батоков!»

— Говорю вам, не верьте папам, каждый из них готов продать мужика! — кричал кто-то захмелевший сильнее других.

— Послушайте-ка, хозяева, мой разумный совет! — вмешался кузнец. — Коли помещик хочет мириться, так соглашайтесь и берите, что дают, печего дожидаться с вербы груш!

Встал брат войта, Гжеля.

— Святую правду сказал кузнец! Пошли в корчму, там все и обсудим!

— А я угощаю всю компанию! — весело добавил кузнец.

И они гурьбой вышли на улицу.

Уже начинало смеркаться, скот шел с пастбищ, и по всей деревне неслось мычанье, крики гусей, пискливые трели дудок, песни и крики детей.

А мужики, не слушая протестов и брани жен, пошли в корчму. Один Сикора пемного отстал, — брел, хватаясь за плетни, и все что-то бормотал.

У Борын, когда убрали после гостей и наступил темный вечер, стало удивительно пусто и уныло.

Ягуся металась в своей комнате, как птица в клетке, и часто бегала на Ганкину половину, но, видя, что все очень утомлены и расстроены, уходила, не сказав ни слова.

В пабе было тихо, как в могиле, и, когда управились с домашней работой и поужинали, никто не спешил уйти из комнаты, хотя всех клонило ко сну. Сидели у печи, смотрели в огонь и тревожно прислушивались к каждому шороху.

Вечер был спокойный, только порой палетал ветер, и тогда шумели деревья, потрескивали плетни, — дребезжали стекла. По временам Лапа ворчал, грозно ошестившись, а там опять в гробовой тишине тянулось

нескончаемо долгие часы. Они сидели, и все сильнее пробирал их страх, то и дело кто-нибудь крестился и дрожащими губами шептал молитву. Всем чудилось, что кто-то ходит на чердаке, и оттого скрипят балки, что кто-то подслушивает под дверью, заглядывает в окна и трется о ступы, дергает щеколду у двери и потом, тяжело ступая, обходит избу.

Они вслушивались, бледнели, едва дыша, обомлев от ужаса.

Вдруг в конюшне заржала лошадь. Лапа громко залаял и бросился к дверям, а Юзька, не выдержав, вскрикнула:

— Отец! Ей-богу, отец! — и заплакала от страха.

— Не реви! — внушительно сказала ей Ягустинка. Не мешай душе отлететь с миром! Слезы ее удерживают на земле. Откройте двери, пусть отлетит она, странница, и обретет вечный покой.

Открыли двери. В комнате было тихо. Все боялись шевельнуться и только горящими глазами блуждали кругом. Лапа обнюхивал углы, скулпил иногда и вилял хвостом, словно ластясь к кому-то, и теперь уже все были уверены, что среди них бродит душа умершего.

Наконец Ганка запела дрожащим, сдавленным голосом:

Все дела диевные наши...

Остальные с безмерным облегчением стали вторить ей.

II

Был чудесный, настоящий летний день. Шел уже, должно быть, десятый час, солнце поднималось все выше и пекло изрядно, когда липецкие колокола все, сколько их было, начали трезвонить изо всех сил.

Тот, которого называли «Петром», гудел всех громче, пел во всю глотку. Так мужик, подвыпив, идет себе дорогой, качаясь из стороны в сторону, и горланит грубым голосом, возвещая всему свету, что ему весело.

Другой колокол, поменьше, которого, по словам Амброжия, окрестили «Павлом», тоже старался изо всех сил, но он больше вторил первому, звенел высоким, чистым голосом, заливался, как иная девушка, когда томит ее любовь

или весенний день и она бежит в поля, забирается в гущу колосьев и поет ветрам, людям, светлому небу и своему счастливому сердцу.

А третий — «сигнатурка» — щебетал, как птичка, и тщетно старался перепеть тех двух, — этого он не мог, сколько ни тараторил обрывистым, захлебывающимся голосом капризного ребенка. Так они и звонили целым оркестром, — тут и бас гудел, и скрипка пела, и слышалось веселое бречанье бубен.

Это они так громко и радостно сзывали людей на престольный праздник: был день Петра и Павла, который в Липцах всегда праздновался с особой торжественностью.

И погода выдалась на редкость — тихая, солнечная. Все предвещало сильную жару, но, несмотря на это, уже с рассвета на площади перед костелом торговцы расставляли свои ларьки, палатки, лотки и столы под полотняными навесами.

Как только зазвучал веселый колокольный звон, на дорогах, в тумане поднятой пыли, загромыхали повозки, потянулись пешеходы. Везде, на сколько хватал глаз, по дорогам, тропинкам, межам переливались яркими красками женские наряды и белели развевающиеся кафтаны мужиков.

Шли гуськом, разноцветными лептами сверкая среди зелени.

А солнце золотой птицей поднималось все выше и выше на безоблачном синем небе и так щедро разливало свет и тепло, что воздух над полями уже дрожал и рябило в глазах. Порой еще налетал от лугов прохладный ветерок, — и тогда колыхалась рожь, тихонько шелестел овес, дрожали молодые колосья пшеницы, а цветущий лен разливался голубой струей, как вода, в которой отражено небо. Но мало-помалу все замирало в знойной тишине.

Эх, и веселый же был денек — поистине праздничный! Колокола гудели долго, и так громки были их голоса, что птицы пугались и колыхалась трава, а их бронзовые сердца все бились, бились сильно, звонко и мерно, к самому солнцу вознося свою проникновенную песнь и мольбу:

«Помилуй! Помилуй! Помилуй, пресвятая мать божья!»

«И я прошу! И я! И я!»

Празднично было все — убранные зеленью избы, даль, как бы сиявшая зажженными свечами, радостные голоса.

И что-то, чего не выразишь словами, носилось в воздухе, переполняя сердца мирным блаженством и весельем.

На праздники со всех сторон валил народ. На дорогах клубилась пыль, тархтели повозки, ржали лошади, звучал громкий говор. Иногда кто-нибудь из проезжавших высовывался из брички и окликал пеших. С заунывным пением спешил к костелу запоздавший нищий. Люди осматривались кругом с немим восторгом, потому что земля стояла нарядная, как невеста, вся в цветах и зелени, в птичьих песнях, шелесте колосьев и жужжании пчел, такая прекрасная, необъятная, счастливая и священная в своей животворящей силе, что у людей даже дыхание спирало в груди.

Как часовые, стояли деревья на межах, засмотревшись на солнце, а внизу, куда ни глянь, раскинулись поля, зеленые, шумящие, как бурные волны, и, как волны, колыхались они порой из стороны в сторону, билась о дороги, о межи и капавы, пестревшие, как разноцветные ленты, густо расшитые желтым, белым и фиолетовым. Цвели уже шпорник разных оттенков, цвела душистая повилика, робко выглядывая из ржи светлыми глазками, а местами, где земля была порыхлее, так густо росли васильки, словно туда упал кусочек неба. Целыми рощицами цвели полевой горошек, и лютики, и молочай, и кроваво-красный чертополох, и полевая горчица, и клевер, и маргаритки, и дикая ромашка, и тысячи других цветов; от их благоухания просто голова кружилась.

Люди ехали и ехали непрерывно, и скоро Липцы переполнились до краев. На улицах, на берегах озера, под каждым плетнем, во дворах и везде, где только можно было найти немного тепи, стояли телеги и брички, выпряженные лошади, а на площади перед костелом телеги стояли вплотную одна подле другой и была такая теснота, что невозможно было протолкаться.

Липцы просто исчезали под этой лавиной людей, повозок, лошадей. Толчея все усиливалась, говор и крики разносились по всей деревне. Народ шумел, как лес под ветром. Приехавшие женщины сидели на берегах озера — мыли ноги и надевали башмаки, приводили себя в порядок перед тем, как идти в костел. Мужики стояли группами, разговаривая со знакомыми, девочки и мальчики толпились у ларьков и палаток, а больше всего — вокруг шарманщика: весело заливалась шарманка, а на ней какой-то заморский зверек в красном наряде, мордочкой смахивав-

иний на старого немца, так потешно прыгал и гримасничал, что, глядя на него, все покатывались со смеху.

Зазвонили к обедне, народ бурным потоком хлынул в костел и сразу наполнил его так, что в давке у всех ребра трещали. Подходили все новые и новые богомольцы, толкались, брапились, и все-таки большинству пришлось остаться снаружи, у стен и под деревьями.

Приехали несколько ксендзов из других приходов, они сразу засели в исповедальнях под деревьями и начали исповедовать, несмотря на сумятицу кругом и на жару.

Ветер совсем улегся, и зной становился нестерпимым. Словно пылающий огонь лился на головы, по люди терпеливо стояли в очереди у исповедален или бродили по пого-сту, тщетно ища тени или хоть какой-нибудь защиты от солнца.

Загремел орган, началась в костеле служба. Все опустились на колени и стали усердно молиться.

Подшел полдень. Солнце стояло уже прямо над головами, и все на земле замерло в изнеможении. Не дрожал ни один листочек, ни одна птица не мелькала в воздухе, ни один звук не доносился с полей. Мертвое, раскаленное добела небо нависло стеклянной крышей. Обжигала земля, жгли горячие степы, а люди стояли на коленях, не шевелясь, еле дыша, и словно варились в этом солнечном кипятке. Дым кадилиц плыл в открытую дверь, одевая голубоватой благоуханной мглой склоненные головы прихожан. Шелестели слова молитв, рассыпаясь в добела накаленном недвижимом воздухе знойного полудня. Яркие платки, корсажи и юбки играли на солнце, и все кладбище казалось усаженным цветами, которые смиренно склонялись перед богом, скрытым в этом ослепительном солнечном дне, в великой тишине, обнимавшей мир.

Только изредка кто-нибудь с глубоким вздохом разгибал спину и опускал руки, или слышался плач ребенка, или ржанье лошади доносилось от телег.

Даже нищие примолкли. Тишина разморила людей, и многие уже похрапывали или клевали носом, стоя на коленях. Время от времени кто-нибудь выходил из костела освежиться, и скрипели где-то колодезные журавли.

Только когда начался крестный ход, когда костел задрожал от мощного хора голосов, вынесли хоругви, а за ними, под алым балдахином, с чашей в руках появился ксендз, которого вели под руки помещики, — народ на площади встрепенулся и двинулся за процессией.

Зазвонили колокола, грянула песнь, мощная и радостная, взлетая до самого солнца, а шествие медленно, как разлившаяся река, обтекало белые стены костела. Впереди плыл алый балдахин, весь окутанный дымом кадил, сверкала золотая чаша в руках ксендза, мерцали огоньки свечей. Развернутые хоругви, как птицы, реяли над людским муравейником, качались образа, украшенные тюлем и лептами, гремел орган, весело гудели колокола, а люди пели дружно, с воодушевлением, уносясь тоскующей душой куда-то в небо, к самому солнцу.

.

После крестного хода в костеле снова началась служба, а на кладбище стало тихо, как прежде, по никто уже не дремал от жары, оживленное стал шепот молящихся, громче звучали вздохи, нящие позвякивали своими чашками, и там и сям люди тихо разговаривали.

Из костела вышли помещики, тщательно ища, где бы можно присесть в тени. Наконец Амброжій прогнал из-под какого-то дерева собравшихся там людей, выпес табуретки, и господа сели, продолжая беседу.

Был среди них и помещик из Волы, по этому не сиделось на месте: он все прохаживался по кладбищу и, увидев мужика из Линец, тотчас подходил к нему, заводил дружеский разговор. Даже к Ганке протолкался и спросил:

— Ну что, вернулся ваш?

— Где там! До сих пор нет его.

— Да ведь, говорят, вы за ним ездили?

— Как же, ездила, сразу после похорон отца. Но в канцелярии сказали, что его выпустят только через неделю, — в среду, значит.

— Ну, а как же залог? Внесете?

— Насчет этого уже Рох хлопочет, — ответила Ганка уклончиво.

— Если денег у вас нет, так я поручусь за Аптека.

— Спасибо вам! — Ганка низко поклонилась. — Может, Рох как-нибудь устроит, а если нет, придется искать другого способа.

— Так помните: если понадобится, я поручительство дам.

И отошел к Ягусе, сидевшей с матерью неподалеку, у стены, но, не придумав, что сказать, только улыбнулся ей и вернулся к своим.

Ягуся проводила его глазами и с любопытством стала разглядывать помещичьих дочек, — они были разодеты на диво и такие беленькие, такие тонкие в талии! А пахло от них, как от кадила! Несколько молодых паничей увивались вокруг них, заглядывали им в глаза, и все они чему-то так весело смеялись, что людей даже досада брала.

Неожиданно на другом конце деревни, как будто на мосту у мельницы, громко застучали колеса, и пыль взвилась над деревьями.

— Запоздал кто-нибудь, — шепнул Петрик Ганке.

— Приехали, дураки, свечи в костеле гасить, — добавил кто-то.

Перегнувшись через ограду, некоторые с любопытством смотрели на дорогу, огибавшую озеро.

Вскоре, сопровождаемая визгом и лаем собак, показалась вереница больших фур под белыми верхами.

— Немцы! Немцы с Подлесья! — крикнул кто-то. Это действительно были немцы. Ехало десятка полтора фур, запряженных крепкими лошадьми. Под полотняными верхами виднелся всякий домашний скраб, сидели женщины и дети, а рыжие тучные мужчины с трубками в зубах шли пешком. Рядом с фурами бежали огромные псы и, оскалив зубы, отвечали лаем липецким собакам, то и дело насккивавшим на них.

Народ сбегался поглазеть на немцев. Многие даже перелезли через ограду, чтобы увидеть их поближе.

Немцы ехали шагом, с трудом пробираясь через запруженную повозками и лошадьми площадь. Никто из них даже перед костелом не снял шапки и не здоровался с людьми. Глаза у всех горели, бороды тряслись, — должно быть, от злости. Они смотрели на мужиков дерзко, как разбойники.

— Шароварники окаянные!.. Свпные хвосты!

Ругательства посыпались, как камни.

— Ну, что, немчура, чья взяла? — крикнул Матеуш.

— Кто кого одолел?

— Что, испугались мужицкого кулака?

— Погодите, у нас нынче праздник, погуляем в корчме!

Немцы не отвечали, подгоняя лошадей.

Какой-то мальчишка швырнул в них камнем, другие принялись выковыривать кирпичи, чтобы последовать его примеру, но их вовремя удержали.

Немцы наконец проехали и скрылись на тополевой дороге, только из облака пыли все слабее доносился собачий лай и стук колес.

А липецкие так обрадовались, что никто уже не мог молиться, и толпа вокруг помещика все росла, а он, очень этим довольный, весело разговаривал со всеми, угощал табаком и напоследок заискивающе сказал:

— Ловко вы их выкурили, весь рой убрались!

— Им запах наших тулупов не правится! — со смехом заметил кто-то, а Гжеля, брат войта, сказал с притворным огорчением:

— Слишком уж хлибкий народ, не годится им с мужиками в соседстве жить: только дашь кому-нибудь по башке, как он наземь летит!

— А разве с ними кто-нибудь дрался? — с любопытством спросил помещик.

— Нет, зачем драться! Матеуш только ткнул одного ва то, что тот ему не ответил, когда он с ним поздоровался, — так немец кровью облился и чуть богу душу не отдал.

— Совсем слабый народ, на вид мужики, как дубы, а ткнешь кулаком — и словно в перину угодишь! — вполголоса объяснил Матеуш.

— Не везло им на Подлесье. Коровы у них, говорят, пали.

— А ведь верно — они ни одной коровы с собой не увели!

— Про это Кобус мог бы кое-что рассказать, — ляпнул кто-то из парней, но Клемб резко прикрикнул на него:

— Глуп ты, как сапог! Коровы от заногтицы околели, это все знают...

Липецкие корчились от сдерживаемого смеха, но никто больше ни слова не проронил. И только кузнец, подойдя поближе, сказал:

— За то, что немцы убрались, папа помещика благодарить падо!

— Лучше я своим продам, хотя бы за полцены! — горячо уверял помещик. Он стал распространяться о том, как и он, и его деды, и прадеды всегда стояли за мужиков, всегда шли с пародом.

Сикора усмехнулся и сказал тихо:

— Мне это самое старый пан приказал батогам на спине прописать, да так хорошо, что и сейчас еще помню...

Помещик, как будто не слыша, стал рассказывать, каких хлопот ему стоило избавиться от немцев. Мужики, разумеется, его слушали, вежливо поддакивали, а тайне оставались при своем мнении насчет его любви к народу.

— Благодетели! И не заметишь, как тебя вокруг пальца обведут! — бурчал Сикора, но Клемб толкал его, пока не заставил замолчать.

Они все еще приятно беседовали, когда какой-то молоденький ксенда в белом стихаре и с подносом в руках пробрался к ним сквозь толпу.

— Эге, да, никак, это органистов Ясь! — воскликнул кто-то.

Это действительно был Ясь, уже в одежде ксендза. Он собирал пожертвования на костел, и поднос быстро наполнялся — ведь Яся все знали и отказать было целовко; каждый доставал из узелка копейку или две, а частенько и золотый звякал о медяки. Помещик бросил на поднос рубль, его дочки насыпали серебра, а Ясь, потный, красный и сияющий, неугомонно собирал и собирал, ходя по всему кладбищу, никого не пропуская и никому не забывая сказать приветливое слово. Наткнувшись на Ганку, он заговорил с ней так участливо, что она положила целый двугривенный. Потом он остановился перед Ягусей и звякнул подносом. Она вскинула на него глаза и остолбенела от удивления, да и Ясь немного смутился, сказал что-то невпопад и торопливо пошел дальше.

Ягуся даже забыла дать денег на костел и долго смотрела ему вслед. Он был точь-в-точь как тот святой, что нарисован в боковом алтаре, такой молодой, красивый и стройный! Он словно околдовал ее, — она терла глаза и часто-часто крестилась, но это не помогло.

— Сын органиста, а вот как далеко пошел!

— То-то мать и пыжится, как индюк!

— Он с самой пасхи в семинарии учится!

— Наш ксендз вызвал его себе на помощь по случаю праздника.

— Отец — скряга, живодер, а па него денег не жалеет.

— Ну, еще бы, лестно ему, что сын ксендзом будет.

— Да и доходно!

Так шептались вокруг, но Ягуся ничего не слышала, и глаза ее повсюду следовали за Ясем.

Обедня между тем отошла. Ксендз еще объявлял с амвона о предстоящих свадьбах и корил грешников, но прихожане понемногу расходились, и нищие хором затянули свои заунывные песни, прося подавения.

Ганка тоже шла к выходу. К ней протолкалась дочка Бальцерка, чтобы рассказать великую новость.

— Знаете, — затараторила она, еле переводя дух. —

Сейчас было оглашение насчет свадьбы Шимека Пачеси с Настусей!

— Неужели? А что же Доминикова па это скажет?

— Известно, что: в драку полезет с сыпом!

— Ничего она этим не добьется — Шимек в таких лотах, что имеет право жениться.

— Ну, и ад у них там начнется! — вставила Ягустинка.

— И без того мало ли у нас в деревне ссор да греха! — вздохнула Гашка.

— А про войта слышала? — спросила Плошкова, выставляя из толпы свое тучное тело и красное толстошеек лпцо.

— Нет. Столько хлопот было с похоронами, да и новых забот немало, так я и знать не знаю, что в деревне делается.

— Урядник сказал моему, что в кассе нехватка большая. Войт уже бегают по людям и клянчат денег в долг — видно, хоть сколько-нибудь хочет собрать, потому что не сегодня-завтра нагрянет следствие...

— Еще отец покойный говорил, что этим кончится!

— Зазнался, важничал, командовал всеми — теперь будет раслачиваться!

— А ведь у него и хозяйство все описать могут?

— Могут. А не хватит, так за остальное отсидит в остроге, — сказала Ягустинка. — Пожил, бестия, в свое удовольствие, теперь пусть кается!

— А я и то удивлялась, что он даже на похороны Мацея не пришел!

— Что ему Борыпа, когда он со вдовой его дружбу свел!

Она замолчала, увидев, что впереди идет Ягуся, ведя за руку мать. Старуха шла сгорбившись, все еще с повязкой на глазах. Ягустинка и тут не упустила случая съязвить:

— А когда же свадьба у вашего Шимека? Вот не ждал никто, что нынче оглашение будет! Да и то сказать — трудно удержать парня, ему уж надоело бабью работу делать. Теперь его Настуся выручит!

Доминикова вдруг выпрямилась и сказала сурово:

— Веди меня, Ягуся, веди скорее, а то как бы меня эта сука не укусила!

И пошла вперед чуть не бегом, а Плошкова тихо фыркнула:

— Ишь слепая, а увидела!

— Слепая, а до Шимекова чуба доберется!

— Дай бог, чтобы других не трогала!

Ягустинка уже ничего не отвечала, потому что у ворот началась давка. Ганка, потеряв своих, осталась далеко позади. Впрочем, она даже была этим довольна, — ей надоели злобные перебранки. Теперь она спокойно стала оделять нищих копейками, ни одного не пропуская, а слепому с собакой сунула целый пятак и сказала:

— Приходите к нам обедать, дедушка! К Борынам!

Нищий поднял голову и широко раскрыл слепые глаза.

— Это Антекова жена, должно быть? Спасибо! Приду, приду непременно!

За воротами кладбища стало уже просторнее, но и там сидели нищие двумя рядами, между которыми оставался широкий проход. Они кричали на все лады, прося милостыню, а в самом конце ряда стоял на коленях молодой парень с зеленым козырьком над глазами и, подыгрывая себе на скрипке, пел песни о королях и древних временах. Его обступила куча народу, медяки так и сыпались в шапку.

Ганка остановилась у ограды кладбища, высматривая в толпе Юзьку, и вдруг неожиданно-негаданно увидела своего отца. Он сидел в ряду нищих и, протягивая руку ко всем проходящим, жалобно просил подаяния.

Ганку словно кто ножом пырнул! В первое мгновение она подумала, что это ей померещилось, протерла глаза раз, другой — нет, отец, он самый!

Отец между нищими! Господи Иисусе Христе! Она чуть не сгорела со стыда.

Надвинула платок на глаза и пробралась к нему сзади, между возов, возле которых сидел Былица.

— Что это вы делаете, а? — простионала она, присев за ним на корточки, чтобы спрятаться от людских глаз.

— Ганусь!.. Да я... Я...

— Сейчас же идите домой! Срам какой, господи! Пойдемте!

— Не пойду... Я давно это надумал. Чем вам обузой быть, лучше я у добрых людей просить буду... Пойду вместе с другими по миру... Святые места увижу, новое что-нибудь услышу... Еще и вам деньжонок припесу... На тебе золотый, купи Петрусю какую-нибудь диковинку... На!

Ганка крепко ухватил его за рукав и почти силой потащила по проходу между возами.

— Сейчас же домой ступайте! Стыда у вас нет!

— Пусти, а то рассержусь!

— Бросьте котомку, живо, пока не увидел кто!

— Пусти! Буду делать то, что хочу, так и знай! Чего мне стыдиться? Кого голод прижмет, тому сума — мать родная!

Он вдруг вырвался, шмыгнул между возами и лошадьми и скрылся.

Бесполезно было искать его в толпе, бурлившей на площади перед костелом.

Солнце пекло так, что лупилась кожа, пыль набивалась в горло и не давала дышать, а парод, хоть и утомленный, все еще весело толкался на площади.

На всю деревню заливалась шарманка, тянули свои песни нищие, ребятишки свистели в глиняные свистульки, собаки лаяли, а лошади, которым сегодня особенно досаждали назойливые слепни, ржали и кусались. Люди окликали знакомых, собирались компаниями и теснились к палаткам, у которых звенели веселые девичьи голоса.

Прошел добрый час, прежде чем толпа немного утихла. Одни ушли в корчму, другие собирались домой или, изнемогая от жары и усталости, расположились в тени повозок у озера, в садах и дворах, чтобы поесть и отдохнуть.

Никому уже не хотелось ни двигаться, ни говорить, люди, как и деревья, разомлели от зноя. К тому же в деревне все сели обедать и наступила полная тишина — раздавались только крики детей, да шарахались иногда лошади у телег.

А в плетении ксендза угощал обедом приезжих ксендзов и помещиков. В открытые окна виднелись головы, слышался говор, смех, звон посуды, и пахло так аппетитно, что не один из стоявших под окнами глотал слюнки.

Амброжий, одетый по-праздничному, с медалями на груди, вертелся в сепях и то и дело выбегал на крыльцо с криком:

— Уйдешь ты отсюда, чертенок, или нет? Сейчас тебя палкой огрею, так будешь помнить!

Но не так-то легко было отогнать сорванцов, — они, какстая воробьев, облепили забор, а кто посмелее, подбирались даже под окна, и Амброжий часто грозил им тубуком ксендза и ругался.

Подшла Ганка и остановилась у калитки.

— Ищешь кого-нибудь? — спросил Амброжий, ковыляя к ней.

— Не видел отца моего?

— Былицу? Жара ныче, не дай господи,— так он, должно быть, приткнулся где-нибудь в тени и спит... Эй ты, чертово отродье! — крикнул он опять и погнулся за одним из мальчуганов.

А Ганка, сильно расстроенная, пошла прямо домой и все рассказала сестре, которая пришла к обеду.

Веронка только плечами пожала.

— Оттого, что он пристал к нищим, корона у него с головы не свалится, а нам будет легче — это уж наверняка! И не такие, как он, кончали дни на паперти.

— Господи, срам какой! Чтобы родной отец милостыню просил! Что Антек на это скажет? Начнут теперь люди косточки нам перемывать, скажут, что это мы его послали христардничать!

— Пусть себе брешут, что хотят. Судачить про других каждый рад, а вот помочь никто не спешит.

— Я не позволю, чтобы отец побираться ходил!

— Так возьми его к себе и корми, коли ты такая гордая.

— И возьму! Ты ему уже и ложку щей жалеешь! Ну, теперь я понимаю: это ты его заставила...

— Что ж, у меня лишнее есть? У детей кусок отниму, а ему дам?

— Ведь ты обязана его содержать, забыла?

— Коли нет у меня, так где я ему возьму? Из-под земли, что ли?

— Хоть из-под земли достань, а отцу первому дай! Он не раз мне жаловался, что ты его голодом моришь, о свинье больше заботишься, чем о нем.

— Ну как же, отца голодом морю, а сама обжираться, как помещица! Так разжирела, что у меня уж юбка с бедер сползает и еле ноги волочу. Только в долг и живем.

— Не врй! Подумает кто, что правда!

— Правда и есть! Кабы не Янкель, так и картошки с солью у нас не было бы. Да ведь сытый голодного не разумеет,— говорила Веронка с горечью, чуть не плача. В эту минуту во двор вошел слепой пищий со своей собакой.

— Садитесь на завалинке,— сказала ему Ганка и пошла разогревать обед.

Слепой сел на завалинке, костыли поставил в сторону и снял веревку с шеи собаки. Сидел и втигивал носом воздух, пытаясь угадать, едят ли уже и в какой стороне.

А все сажались обедать под деревьями. Ганка наполнила миски, и вокруг распространился вкусный запах.

— Каша с салом. Хорошая штука! Кушайте на здоровье! — бормотал слепой, облизываясь.

Ели не спеша, дуя на каждую ложку. Лапа вертелся тут же и тихо повизгивал, а собака нищего сидела у стены, высунув язык и тяжело дыша, потому что жара была страшная, даже тень не спасала от нес. В знойной, сонной тишине только ложки стучали, да иногда под стрехой щebetала ласточка.

— Эх, хорошо бы мисочку простокваши — прохладить-ся! — вздохнул слепой.

— Сейчас припесу! — успокоила его Юзья.

— Что, много сегодня выпросил? — спросил Петрик, лениво поднося ложку ко рту.

— Господи, помилуй нас, грешных, и прости тому, кто нищих обижает! Выпросишь много, как же! Кто только нищего увидит, сейчас в небо смотрит или обойдет за версту! А иной подаст грошник, а сдачи рад бы взять пятак. Придется с голоду околевать!

— В нынешнем году всем перед жатвой тяжело, — тихо сказала Веронка.

— Правда, а на водку у всех хватает.

Юзья подала ему миску, и он торопливо принялся за еду.

— Говорили на погосте, будто Липцы нынче с помещиком будут мириться, — начал он снова. — Правда это?

— Если отдаст, что мужикам полагается, так, может, и помирятся, — сказала Ганка.

— А немцы уже убрались, знаете? — вмешался Витек.

— Погибели на них нет, — выругался слепой и даже кулаком погрозил.

— А что, и вас они обидели?

— Зашел я к ним вчера вечером, а они на меня собак натравили. Еретики окаянные, собачье племя! Говорят, липецкие так им досаждали, что удирать пришлось, — говорил нищий, усердно выгребая кашу из миски. Наевшись, он покормил собаку и встал.

— На работу спешить? Сегодня у вас страда! — засмеялся Петрик.

— Как не спешить — прошлый год было нас в петров день шестеро, а нынче человек сорок! Орут так, что уши пухнут.

— Приходите почевать, — приглашала его Юзья.

— Дай тебе бог здоровья, что помнишь о спроте.

— Ишь сирота, а брюхо еле носит! — фыркнул Петрик, наблюдая за нищим, который катился по улице, грузный, как колода.

Все скоро разошлись: кто прилег в холодке всхрапнуть, кто пошел опять на площадь.

Зазвонили к вечерне. Солнце уже клонилось к западу, жара как будто немного спала, и хотя многие еще отдыхали, на площади перед костелом у ларьков и палаток толпилось все больше и больше народу.

Юзька помчалась с подругами покупать образки, а главное — посмотретья вволю на ленты, бусы и другие прелести.

Опять играла шармапка, опять пели нищие, позвякивая чашками, и постепенно говор становился громче, деревня гудела, как улей, в котором роятся пчелы.

Все отдохнули, поели и рады были повеселиться. Толковали с приятелями, глазели на все, или шли выпить рюмочку с кумовьями, или просто сидели в тееи, размышляя о том о сем. Все вволю намолились, наплакались, наслушались музыки и пения, нагляделись на людей, набрались впечатлений, хоть на один день отрешились от забот и насладились праздником. И уж, конечно, всех громче галдели бабы, проталкиваясь к лавкам, чтобы хоть полюбоваться на всякие замазчивые товары, хоть потрогать их руками.

Шмек купил Настусе янтарные бусы, ленты и красный платочек, она тотчас нарядилась в эти обновки, и оба ходили от лавки к лавке, обнявшись, веселые, захмелевшие от своего счастья.

Юзька увязалась за ними, но она только прицепивалась ко всему, осматривала разложенные на столах товары и то и дело, горестно вздыхая, пересчитывала свои жалкие гроши.

Недалеко от них бродила Ягуся, делая вид, что не замечает брата. Она ходила одна, грустная, пришибленная. Не тешили ее сегодня ни качавшиеся над прилавками ленты, ни шармапка, ни весь этот шум и веселая суета. Она шла, куда ее увлекала толпа, останавливалась, когда останавливались другие, не зная, зачем сюда пришла и куда идет.

К ней подошел Матеуш и сказал смиренно:

— Не гони ты меня!

— Да когда же я тебя гнала?

— Сколько раз! И обругала, не помнишь, что ли?

— Нехорошо ты тогда говорил со мной, вот и пришлось обругать. Кто ж меня...

Она вдруг замолчала. Через толпу в их сторону медленно пробирался Ясь.

— И он на праздник приехал! — шепотом сказал Матеуш, указывая на юного ксендза, который со смехом обorongялся от людей, пытавшихся целовать ему руки.

— Настоящий папич! Ишь какой стал! А еще недавно за коровами бегал, хорошо помню!

— Ну да! Стал бы такой коров пасти! — с неудовольствием возразила Ягна.

— Я тебе говорю! Помню, как его раз органист вздул за то, что он коров пустил в Прычков овес, а сам спал где-то под грушей.

Ягуся отошла от Матеуша и нерешительно стала пробираться к Ясю. Он издали улыбнулся ей, но, так как все глазели на него, он отвернулся и, купив в ларьке образков, стал раздавать их девушкам и всем, кто хотел.

Ягуся стояла, как вкопанная, и смотрела на него во все глаза, а ее алые губы улыбались светлой, блаженной улыбкой, сладкой, как мед.

— Вот тебе, Ягусь, твоя святая, — сказал он, сузив ей образок. Руки их встретились — и разошлись стремительно, как обожженные.

Ягуся дрожала, не решаясь вымолвить ни слова. Ясь что-то еще сказал, но она не слышала, не понимала, она вся утонула в его глазах.

Толпа разделила их. Ягна спрятала образок за пазуху и долго еще искала взглядом Яся. Его не было, он ушел в костел, потому что уже звонили к вечерне. Но он все еще стоял перед ее глазами.

— Как святой на картине! — прошептала она невольно.

— То-то девки все глаза проглядели! Дуры! Не для пса колбаса!

Ягуся быстро обернулась: подле нее стоял Матеуш.

Она пробормотала что-то неопределенное, желая поскорее от него отделаться, но он упорно шел за нею, долго что-то обдумывая, и наконец спросил:

— Ягусь, а что мать сказала, когда ксендз сделал оглашение насчет Шимека?

— Что ж, пусть себе жепится, если хочет, — его дело! Матеуш поморщился и с беспокойством спросил:

— А как же насчет земли? Отдаст она его долю?

— Откуда мне знать? Она ничего не говорит. Пусть он сам у нее спросит.

К ним подошли Шпмек с Настусей, откуда-то выпрыгнул и Енджик, и все остановились тесной кучкой. Шпмек первый начал:

— Ягусь, мать меня обижает, а ты-то неужто будешь на ее стороне?

— Ясное дело, я за тебя стою... Ну, и переменялся же ты за это время! Совсем другим человеком стал! — удивлялась Ягна, глядя на брата.

Он стоял перед ней, гордо выпрямившись, расфранченный, гладко выбритый, в шляпе набекрень и белом, как молоко, кафтане.

— Переменялся, потому что вырвался на волю.

— И что же, лучше тебе на воле? — спросила Ягна, посмеиваясь над его гордым видом.

— Выпусти птишку из клетки, тогда увидишь! Слышала оглашение?

— А свадьба когда же?

Настуся нежно прижалась к Шпмеку и сказала, краснея:

— Через три недели, еще до жатвы.

— Хоть в корчме свадьбу справлю, а матери кланяться не стану!

— А есть у тебя куда жену привести?

— Есть. К матери перееду на другую половину. У чужих угла искать не стану! Пусть только отдаст мне мою землю, так я буду знать, что делать! — кипятился Шпмек.

— И я помогу, во всем буду помогать, — подхватил Енджик.

— Да ведь и Настусю мы не с пустыми руками ведем! Дадим ей тысячу злотых чистоюanom, — сказал Матеуш.

Его отозвал в сторону кузнец, что-то шепнул ему и побежал дальше.

Потолковали еще немного. Больше всех говорил Шпмек, мечтая вслух, как он станет хозяином, как прикупит земли и примется за нее, и все скоро увидят, что он за человек. Настуся смотрела на него с восторженным удивлением, Енджик поддакивал, и только Ягуся почти не слушала, рассеянно блуждая глазами вокруг. Ее ничто не занимало.

— Ягусь, приходи в корчму, сегодня музыка будет, — попросил Матеуш.

— Корчма уж меня не развеселит,— ответила она грустно.

Он заглянул ей в глаза, нахлобучил картуз и быстро пошел прочь, расталкивая людей. Около плембани он столкнулся с Терезкой.

— Куда это тебя несет? — спросила она робко.

— В корчму. Кузнец сзывает всех на совет.

— И я бы пошла с тобой...

— Что ж, я тебя не гошю, места хватит. Как бы только не стали опять судачить, что ты за мной бегаешь,— вот ты о чем подумай!

— Все равно уже злые языки разделявают меня, как псы дохлую овцу.

— А почему ты это допустила? — Матеуш начинал злиться.

— Почему? Разве ты не знаешь, почему? — сказала Терезка с кротким укором.

Матеуш рванулся и зашагал так быстро, что она едва за ним попевала.

— Вот уже и заревела, как теленок! — бросил он, оборачиваясь.

— Нет, пет... Это сорника мне в глаз подала.

— Ох, эти бабы слезы — они мне нож острый!

Он подождал, пока Терезка поравнялась с ним, и сказал неожиданно ласково:

— На вот тебе немного денег, купи себе что-нибудь на ярмарке, а потом приходи в корчму, потанцуем!

Терезка посмотрела на него такими глазами, словно ей хотелось благодарить его на коленях.

— Что мне деньги!.. Ты такой добрый... такой... — прошептала она, зардевшись.

— Только ты вечером приходи, раньше у меня времени не будет.

Он еще раз оглянулся на нее с порога корчмы, улыбнулся и вошел в сени.

В корчме была уже теснота и жара. В передней комнате толклось множество людей, пили, разговаривали. За перегородкой собралась молодежь во главе с кузнецом и Гжелей. Было здесь и несколько пожилых хозяев — Плошка, солтыс, Клемб и племянник Мацея, Адам Бoryна. Затесался к ним и Кобус, хотя никто его не звал.

Когда вошел Матеуш, Гжеля с жаром говорил что-то и рисовал мелом на столе.

Речь шла о мировой с помещиком, обещавшим дать мужикам взамен каждого морга леса по четыре морга поля на Подлесье и еще столько же продать в рассрочку. Он соглашался даже отпустить им в долг лесу на постройку изб.

Все это Гжеля объяснял подробно и чертил мелом на столе, показывая, как можно было бы поделить землю и какой участок получит каждый.

— Вы хорошенько рассудите! — говорил он. — Дело верное, как золото!

— Обещание — дураку утеха! — буркнул Плошка.

— Это не пустые обещания. Он все у нотариуса подпишет. Пошевелите мозгами, мужики! Столько земли деревня получит! Ведь этак каждому прирежем целое новое хозяйство! Сами посудите...

Кузнец еще раз повторил то, что ему поручил сказать помещик. Его выслушали внимательно, но никто не вымолвил ни слова. Смотрели на белый чертеж на столе и размышляли.

— Правда, дело золотое, только разрешит ли комиссар? — первым заговорил солтыс, озабоченно почесывая лохматую голову.

— Обязан разрешить! Если сход постановит, у начальства позволения спрашивать не станем! Раз захотим — значит, так тому и быть! — загремел Гжеля.

— Обязан или не обязан, а ты потише ори! Поглядите-ка кто-нибудь, не подслушивает ли урядник?

— Я его только что видел у стойки, — сказал Матеуш.

— А когда же пан обещал переписать на нас землю? — спросил кто-то.

— Говорит, хоть завтра! Как только все между собой сговоримся, он сейчас же бумагу напишет, а там землемер отмерит, что кому.

— Значит, после жатвы можно будет уже и землю получить?

— А осенью обработать ее как следует!

— Господи Иисусе, вот когда пойдет работа!

Заговорили все разом, шумно, весело, перебивая друг друга. Радость охватила их, в глазах засветились уверенность и сила, гордость выпрямила спины, руки сами собой тянулись, чтобы взяться поскорее за эту желанную землю.

Иные на радостях уже пели, кричали Янкелю, чтобы подал водки, другие что-то еще толковали о наделах, и

всем уже мерещились новые хозяйства, богатство, всякое благополучие. Болтали, как пьяные, хохотали, барабанили кулаками по столу и лихо притопывали каблуками.

— То-то праздник будет в Липцах!

— Какое веселье пойдет! Эх, и погуляем же!

— А сколько свадеб будет на масленой!

— Девочек не хватит в деревне!

— Так мы городских прикупим!

— Черт возьми, на рысках ездить будут!

— Тише, вы! — крикнул старый Плошка, ударив кулаком по столу. — Раскричались, как евреи в субботу! Я вот что хочу вам сказать: пан обещал, а нет ли тут какого подвоха? Как думаете, а?

Все сразу притихли, словно их холодной водой окатили, и только через минуту солтыс сказал:

— Я тоже никак не пойму, с чего это он так расщедрился?

— Да, неспроста это он! Столько земли отдать чуть не задаром!.. — протянул кто-то из стариков.

Но Гжеля вскочил с места и закричал:

— Бараны вы глупые, больше ничего!

И начал запальчиво доказывать все сначала — даже взмок весь, как мышь. Кузнец тоже усердно действовал языком и толковал с каждым отдельно, но старый Плошка только качал головой да усмехался так ядовито, что Гжеля, не выдержав, подскочил к нему с кулаками.

— Так скажите же свое, если вы думаете, что мы людей морочим!

— И скажу! Я хорошо знаю их собачью породу. Да, знаю и говорю вам: не верьте пану, пока не будет все черным по белому написано. Испокон веков они у нас на горбах сидели, от пашей крови жирели, вот и этот хочет за паш счет пожить.

— Если ты так думаешь, так и не мирись, а другим не мешай! — крикнул Клемб.

— Ты, Томаш, ходил с ними в лес воевать, вот оттого и теперь их сторону держишь!

— Ходил, да! А надо будет, так опять пойду! Стою я не за помещика, а за мир и за справедливость, за всю деревню. Только дурак не видит в этом пользы для Липец. Только дурак не берет, когда ему дают!

— Нет, это вы все дураки, — готовы за подтяжки штаны отдать! Если помещик сам предлагает столько, значит, может дать и больше.

Заспорили уже все, и чем дальше, тем яростнее. Поднялся такой шум, что прибежал Янкель и поставил на стол целую бутылку водки.

— Ша, ша, хозяева! Не ссорьтесь! Дай же бог, чтобы Подлесье стало новыми Лппцами! Чтобы каждый мужик жил, как помещик! — выкрикивал он, пуская рюмку вкруговую.

Выпили и заговорили еще громче. Все, кроме старика Плошки, были за мировую с помещиком.

Кузнец, должно быть, ожидал от этого большой выгоды для себя — он говорил громче всех, распространяясь о великодушии помещика, и угощал всю компанию то водкой, то пивом и даже рисовой со спиртом.

Угощались так усердно, что не один уже глазами хлопал и еле языком ворочал, а Кобус, который все время рта не раскрывал, теперь начал хватать то того, то другого за кафтан и кричать:

— А коморники что, собаки? И нам тоже полагаются наделы. Не дадим мириться! По совести надо все решить. Один насилу жирное пузо свое таскает, а другой с голоду подыхай? Поровну надо землю делить! Помещики какие пашились! Голоштанники чертовы, а носы задирают, словно чихать собираются! — кричал он все громче и так неприлично ругался, что его в конце концов выставили за дверь, но он еще на улице долго выкрикивал проклятия и угрозы.

Компания скоро разошлась, и только охотники повеселиться остались в корчме, где уже играла музыка.

Близился вечер, солнце зашло за лес, и все небо было в огне, а нивы и сады купались в багрянце и золоте. Повевал влажный, ласковый ветер, заквакали лягушки, в полях кричали перепела, трескотня кузнечиков папоминала шелест золотых колосьев. Люди уже разъезжались с праздника, и по дорогам громыхали брички, а порой какой-нибудь пьяный затягивал громкую песню.

Затихли Липцы, опустела площадь перед костелом, и только на завалинках у хат еще сидели люди, наслаждаясь прохладой и отдыхом.

Наступили сумерки, потемнели поля, даль сливалась с небом, все утихало, дремота постепенно одолевала землю, обливала ее теплая роса, а из садов, как вечерняя молитва, долетал птичий гомон.

Шел скот с пастбищ, протяжное тоскливое мычание оглашало воздух, и рогатые головы показывались над озером, еще пламеневшим в лучах заката. Где-то около

мельницы визжали купавшиеся мальчишки, а со дворов доносились песни девушек, блеяние овец, крики гусей.

У Борын было пусто и тихо. Гапка ушла с детьми в гости, Петрик тоже куда-то скрылся, а Ягуся, с самой вечерки не возвращалась домой, и одна только Юзья хлопотала по хозяйству.

Слепой пищий сидел на крыльце, подставляя лицо прохладному ветру, и бормотал молитву, пастороженно прислушиваясь к движениям аиста, который вертелся около него, то и дело нацеливаясь клювом в его погн.

— Чтобы тебе пусто было, разбойник! Ишь как долбанул! — ворчал старик, подбирая под себя ноги и размахивая длинными четками. Аист отбегал на несколько шагов и снова ловко заходил сбоку, вытянув клюв.

— Слышу, слышу тебя! Не подпущу! Смотри, какая хитрая бестия! — шептал слепой.

Со двора донеслась музыка, и он, машинально отгоняя четками аиста, с наслаждением слушал ее.

— Юзя, а кто это так знатно играет?

— Это Витек. Выучился у Петрика и теперь постоянно пиликаст, просто уши болят! Витек, перестань! Ступай положи клеверу жеребят! — крикнула она громко.

Скрипка умолкла. А слепой, видно, что-то задумал; когда Витек прибежал на крыльцо, он сказал ему очень ласково:

— Славно ты играешь. На вот тебе пятачок!

Мальчик очень обрадовался.

— А божественное что-нибудь мог бы сыграть?

— Что ни услышу, все сыграю!

— Ну, да каждая лиса свой хвост хвалит. А вот это ты сыграешь, а? — и он затаил что-то визгливо и заунывно.

Витек, даже не дослушав, принес скрипку, сел рядом и сыграл очень верно то, что напевал пищий. Потом стал играть подряд все, что слышал в костеле, и так хорошо, что дед даже поразился.

— Ого, да ты в органисты годишься!

— Я все могу сыграть, все, и разные господские песни и те, что поют в корчмах, — хвастал обрадованный Витек, продолжая играть. Но пришла Гапка и тотчас прогнала его помогать Юзе.

На дворе уже совсем стемнело, гасли последние отблески зари, высокое темное небо заискрилось звездами,

как росой, и деревня отходила ко сну. Только от корчмы глухо долетали крики и звуки музыки.

Гайка на крыльце кормила ребенка и беседовала со слепым. Дед врал напрапалую, но она с ним не спорила, думала о своем и с тоской смотрела в темноту.

Ягна еще домой не вернулась. Не было ее и у матери.

Она в самом начале вечера пошла в деревню к девушкам, но нигде ей не сиделось, что-то не давало ей покоя, словно кто за волосы тянул. В конце концов она в полном одиночестве стала бродить по деревне. Долго смотрела на потемневшее уже озеро, в котором ветер рябил воду, на дрожащие тени, на свет, струившийся из окон и умиравший неведомо где. Она зашла за мельницу, до самых лугов, укрытых теплым мехом белого тумана. Чайки с криками летали над нею.

Она слушала, как вода падает с плотины в черную пасть реки, под стройные дремлющие ольхи. Но в этом шуме воды чудились ей чей-то тоскливый зов и слезная жалоба, и она убежала оттуда. Постояла под освещенными окнами мельника, из которых слышались говор и стук тарелок.

Металась из одного конца деревни в другой — так река, не находящая своего моря, тщетно бьется в берегах.

Томило ее что-то, чего она не могла бы выразить словами, — не то горе, не то любовь. Сухие глаза горели, в груди накалились тяжелые рыдания.

Она и не заметила, как очутилась перед плебанией. У крыльца чьи-то лошади нетерпеливо били копытами. Свет виднелся только в одной комнате: там играли в карты.

Наглядевшись досыта, Ягна пошла проулком между двором Клемба и огородом ксендза. Осторожно пробиралась она вдоль живой изгороди, низко свисавшие ветки вишпел ласкали ее лицо влажными от росы листьями. Она шла бездумно, не зная куда, пока низенький домик органиста не загородил ей дорогу.

Все четыре окна были освещены и раскрыты настежь.

Ягна остановилась в темном месте у плетня и заглянула внутрь.

Вся семья органиста сидела под всяческой лампой, пили чай. Ясь ходил по комнате и что-то рассказывал.

Ягусе слышно было каждое его слово, каждый скрип половиц, неумолчное тиканье часов и даже сопение органиста.

Но Ясь рассказывал что-то мудреное, она ровно ни-

чего не понимала. Она только смотрела на него, упивалась каждым звуком его голоса, как сладчайшим медом. Он все ходил, то скрываясь в глубине комнаты, то появляясь снова в кругу, освещенном лампой. Иногда он подходил к окну, и тогда Ягпа испуганно прижималась к плетню, боясь, что он ее увидит. Но Ясь смотрел в небо, усыпанное звездами. По временам он говорил что-то забавное, и все смеялись, и веселье, как солнце, освещало лица. Наконец Ясь сел рядом с матерью, маленькие сестренки забрались к нему на колени, обняли за шею, а он нежно прижимал их к себе, щекотал и тормозил. В комнате зазвенел детский смех.

Часы начали бить, и жена органиста сказала, вставая:

— Ну, мы тут тары-бары, а тебе спать пора! Ведь чуть свет надо выезжать.

— Надо, надо, мамуся! Боже, как быстро прошел этот день! — с горестным вздохом сказал Ясь.

У Ягуси больно сжалось сердце, и слезы невольно полились из глаз.

— Ну, да скоро капикулы, — опять заговорил Ясь. — И ксендз-регент обещал меня отпустить на время, если наш ксендз ему напишет.

— Напишет, не беспокойся, уж я его упрошу! — сказала мать, принимаясь стлать ему постель на диване, прямо против окна.

Долго все прощались с Ясем, а дольше всех мать — она, плача, прижимала его к груди и целовала.

— Спи сладко, сынок, спи, дитятко!

— Вот только помолюсь и сейчас же лягу, мамочка. Наконец все разошлись.

Ягуся видела, как в соседней комнате ходили на цыпочках, чтобы не тревожить Яся, закрывали окна. Скоро весь дом погрузился в молчание.

Она тоже хотела идти домой, но что-то словно держало ее, и она не могла двинуться с места. Еще крепче прижалась спиной к плетню, еще больше съежилась и стояла, как замороженная, не сводя глаз с этого освещенного и открытого окна.

Ясь почитал немного, потом стал на колени у окна, перекрестился, сложил руки и стал шепотом молиться.

Была поздняя ночь, глубокая тишина обнимала мир. В вышине мигали звезды, теплый ветерок доносил ароматы полей, шептались по временам листья, и пела какая-то птица.

У Ягуси сердце бешено колотилось, а губы и руки сами тянулись к Ясю, и хоть она и сжалась вся, ее пробирала странная, непобедимая дрожь, и она бессознательно падалась на плетень так, что он затрещал.

Ясь высунул голову из окна, посмотрел вокруг и опять начал молиться.

А с Ягусей творилось что-то непонятное: такой огонь пробежал по ее телу, что хотелось кричать от этой сладостной муки. Она забыла, где она, она задыхалась. Вспыхивали в ней молниями какие-то безумные порывы, подхватил ее жгучий вихрь пугавших ее необузданных желаний, от которых напрягалось тело... Она уже хотела подползти поближе к Ясю... только бы коснуться губами его белых рук, стать перед ним на колени и видеть близко-близко это милое лицо, молиться па него, как па чудотворную икону. Но она не двинулась с места, охваченная непонятным страхом.

— Иисусе! Иисусе милосердный! — вырвался у нее тихий стон.

Ясь встал, высунулся в окно и, казалось, смотрел прямо на нее. Он крикнул:

— Кто там?

Ягуса на мгновение замерла, притаила дыхание. А душа, полная счастливого волнения, трепетала в ожидании.

Но Ясь только окинул взглядом улицу и, ничего не заметив, закрыл окно, быстро разделся и потушил свет.

Долго еще сидела Ягна, глядя на черное, темное окно. Холод пронизывал ее и словно окропил ей душу жемчужной росой. Кипение крови утихло, сменившись чувством невыразимого блаженства. Сошла на нее торжественная тишина, похожая на раздумье цветов перед восходом солнца, и она стала молиться. В этой молитве не было слов — только дивная сладость восторгов, священное изумление души, непостижимая радость пробуждающегося весеннего дня и блаженные слезы благодарности.

III

— Я пойду, Гануся! — просила Юзька, уронив голову на спинку передней скамьи.

— Ну, беги, задрав хвост, как теленок! Беги! — сердито отозвалась Ганка, поднимая глаза от четок.

— Да у меня что-то голова кружится и так пост
внутри...

— Не мешай, сейчас кончится...

Ксепдз и в самом деле уже кончал заупокойную обедню по Бoryне, заказанную семьей на восьмой день после его смерти.

Все ближайшие родственники сидели на боковых скамьях, только Ягуся с матерью стояли на коленях перед самым алтарем. Чужих не было никого, кроме Агаты, которая, стоя под хорами, громким шепотом молилась.

В костеле было тихо, прохладно и темновато, но посредине дрожала широкая полоса яркого света — это солнце врывалось в открытые двери и озаряло даже амвон.

Племияшник органиста, Михал, прислуживал за обедней. Он по обыкновению так звонил в колокольчик, что в ушах гудело, и, выкрикивая ответы ксепдзу, следил глазами за ласточками, которые печально залетали в костел и с тревожным щебетаньем носились под сводами.

С озера доносилось шлепанье вальков, за окнами чиркали воробьи, а с погоста то и дело какая-нибудь паседка с громким кудахтаньем приводила в притвор целый выводок пискливых цыплят, и Амброжию приходилось их выгонять.

Ксепдз кончил, и все вышли на кладбище.

Они были уже возле колокольни, когда Амброжий крикнул им вслед:

— Эй, погодите-ка! Его преподобие хочет вам что-то сказать.

Ксепдз прибежал, запыхавшись, с требником под мышкой, приветливо поздоровался и, утирая лысину, промолвил:

— Хотел вам сказать, дорогие мои, что вы поступили по-христиански, заказав обедню по покойнику! Это облегчит его душе путь к вечному спасению. Облегчит, говорю!

Он понюхал табак, звонко чихнул и спросил:

— Что, будете сегодня о дележе толковать?

— Да, так уж водится, чтобы на восьмой день... — подтвердили все.

— Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Делитесь, но помните: чтобы все было мирно и по совести! Чтобы у меня никаких ссор и споров, не то с амвона стыдить вас буду! Покойник в гробу перевернется, если вы его кровное добро начнете рвать, как волки барана! И боже вас упаси обидеть сирот! Гжеля далеко, а Юзька еще

глухой ребенок! Что кому причитается, отдать свято все до копейки! Уж как он своим имуществом ни распорядился, а надо выполнить его волю. Может, он там в эту минуту смотрит на вас, бедняга, и думает: «В люди их вывел, хозяйство им оставил немалое, так авось при дележке не перегрызутся, как собаки!» Я постоянно твержу с амвона: все на свете держится только миром да согласием, а грызней никто еще ничего не добился. Ничего, говорю, кроме греха да срама. И о костеле не забывайте! Покойник был щедр, — на свечи лц, на обедню, на другие ли пужды денег не жалел, и потому его бог благословил...

Он долго еще поучал их, и бабы даже прослезнились, а Юзька с громким плачем бросилась целовать у него руки. Он привлек ее к себе и, поцеловав в голову, сказал ласково:

— Не реви, дурочка, господь бог о сиротах печется.

Он, видно, тоже был тронут, потому что украдкой вытер глаза, угостил кузнеца табаком и поспешил заговорить с другом:

— Ну как, с напом мириться будут?

— Будут. Нынче поехало к нему пятеро мужиков.

— Ну, слава богу! Уж я даром благодарственный молебен отслужу по такому случаю!

— А мне думается, что деревне следует в складчину молебен с крестным ходом заказать! Ведь это вроде как новые наделы — и совсем даром!

— Ты, Михал, голова! Я уже о тебе говорил с помещиком. Ну, идите с богом и помните: чтобы мирно все было и по совести! Да, вот что, Михал! — крикнул он уже вдогонку кузнецу. — Зайди-ка потом, посмотри мою бричку, правая рессора что-то трется об ось.

— Это она под лазиновским ксендзом так осела.

Ксендз уже ничего не ответил, и они пошли прямо домой.

Ягуся шла позади всех и вела мать, которая плелась с трудом, отдыхая на каждом шагу.

День был будний, рабочий, и улицы вокруг озера пусты, только ребятишки играли на песке да куры рылись в раскиданном навозе. Несмотря на раппий час, солнце сильно припекало — счастье еще, что ветер освежал воздух. Под его буйным дыханием качались сады, полные краснеющих вишен, да рожь билась о плетни, как бурные волны.

Во всех избах были раскрыты окна и двери, на плетнях

проветривались постели. Все мужики и бабы работали в поле. Кое-кто еще свозил последнее сено, и запах его сладко щекотал ноздри.

Наследники Борыны шли медленно и молча, размышляя каждый о своем.

Откуда-то, должно быть с полей, где окучивали картофель, долетала песенка и уносилась дальше с ветром, неведомо куда. А у мельницы вода с шумом падала на колеса, и какая-то баба так колотила белье вальком, что эхо разносилось вокруг.

— Мельница теперь работает без передышки! — заметила Магда.

— Когда в деревне голод, у мельника жатва!

— Нынешним летом всем тяжело дотягивать до нового урожая. Везде нужда, а коморники — те уж просто с голоду мрут! — вздохнула Ганка.

— Козел с женой так и шныряют по деревне, — того и гляди у кого-нибудь случится крупная кража, — бросил кузнец.

— Не болтай зря! Перебиваются, бедняги, как могут! Вчера Козлова продала утят органисту, вот им малость полегче стало.

— Живо пропьют и это! Я ничего худого про них не говорю, только странно мне, что перья моего селезня, который пропал в тот день, когда мы хоронили отца, Мацюсь пашел за их хлевом! — сказала Магда.

— А кто тогда стащил наши постели? — вставила Юзька.

— Когда же будет их суд с войтом?

— Нескоро еще. Плошка за них горой, уж он войту ногу подставит, не беспокойтесь!

— И отчего это Плошка так любит в чужие дела соваться?

— Ну как же — друзей себе вербует, в войты метит!

Им пересек дорогу Янкель, тащивший за гриву стреноженную лошадь, которая лягалась и упиралась изо всех сил.

— Насыпьте ей перца под хвост, так она полетит, как рысак!

— Смейтесь себе па здоровье! Мучение с этой лошадыо!

— Набей ее соломой, приделай новый хвост да на ярмарку сведи, авось кто купит вместо коровы, потому что в лошади она уже не годится! — пошутил Михал.

И вдруг все захохотали: лошадь вырвалась, побежала к озеру и, не обращая внимания на мольбы и угрозы Янке, преспокойно вошла в воду.

— Вот так затейница! Должно быть, у цыган куплена!

— Поставьте ей ведро водки, может, и выйдет на берег! — смеялась жена органиста, которая стерегла выводок утят.

— Похожие на желтенькие шарики, утята плавали в озере, а на берегу тревожно кудахтала наседка.

— Славные утятки, это, наверное, те, что у Козловой куплены? — спросила Ганка.

— Да. И все убегают к озеру. Ути, ути, ути! — звала она, бросая им для приманки горстями пшено. Но утята поплыли к другому берегу, и она побежала за ними.

— Скорее идите, бабы! — торопил кузнец.

Когда пришли в избу и Ганка стала готовить завтрак, Михал опять начал обыскивать и комнаты и двор, не забыл даже картофельные ямы, так что Ганка, не выдержав, сказала:

— Бовнсья, не пропало ли что?

— Не люблю покупать kota в мешке!

— Да ты лучше меня тут все знаешь! — съязвила она, разливая кофе по кружкам. — Доминикова, Ягуся! Идите к нам! — крикнула она на другую половину.

Сели за стол и принялись за кофе с хлебом.

Все молчали, никто не решался первый пачать предстоящий разговор о наследстве. Ганка тоже была как-то необычайно сдержанна. Она усердно всех угощала, подливая кофе, но в то же время не спускала глаз с кузнеца, а тот ерзал на месте, шиырил глазами по комнате и все откашливался. Ягуся сидела хмурая и часто вздыхала, глаза у нее влажно блестели, как будто она недавно плакала. А Доминикова нахохлилась, как курица, и все что-то шептала дочерн. Одна лишь Юзька, как всегда, трещала без умолку, возясь с горшками, в которых варилась картошка.

Всех тяготило затянувшееся молчание, и наконец кузнец первый начал:

— Ну, как же делиться будем?

Ганка вздрогнула и, выправившись, сказала спокойно, видимо уже заранее хорошо все обдумав:

— Да что ж? Я тут только мужнино добро стерегу и ничего решать не имею права. Вернется Антек, тогда и делиться.

— Когда еще он вернется! А так оставаться не может.

— И все-таки останется! Могло так быть, пока отец хворал, значит, может и до тех пор, пока не вернется Аптек.

— Не он один последник!

— Но он самый старший, значит, ему и хозяином быть после отца!

— Вот еще! У него такие же права, как и у других детей!

— Что ж, может, и к тебе хозяйство перейдет, если так вы с Антеком договоритесь. Ссориться с тобой не стану, тут не мне решать!

— Ягусь! — громко сказала Доминикова. — Напомни же им и про свои права.

— Зачем? Они и сами хорошо помнят.

Гапка вдруг густо покраснела и, отпихнув Лапу, который совался ей под ноги, пропедила сквозь зубы:

— Да, обиду хорошо помним!

— Это еще что за разговор! Про шесть моргов надо говорить, что покойник записал на Ягусю, а не про какие-то глупые сплетни!

— Если у вас есть бумага, так никто у вас их не вырвет! — гневно проворчала Магда, сидевшая до тех пор молча с ребенком на руках.

— Бумага есть, в волости написана, при свидетелях.

— Все ждут, так и Ягуся может подождать.

— Ясно, приходится подождать. А только то, что у нее здесь свое, она сейчас заберет: корову с телятком, свиней, гусей...

— Все — общее, все будем делить! — резко возразил кузнец.

— Делить! Хотелось бы тебе, да не выйдет! Что она в приданое получила, того никто у нее отнять не может! Уж не хотите ли и юбки ее, и перины тоже поделить между собой, а? — Доминикова все больше повышала голос.

— Я в шутку сказал, а вы сразу накидываетесь на человека!

— Ладно!.. Я тебя насквозь вижу!

— Ну, чего попусту болтать? Гапка верно сказала, что надо подождать Аптека. А сейчас я должен к помещику бежать, меня там ждут.

Кузнец встал и, заметив тулуп Мацея, висевший в углу на шесте, стал его снимать.

— Он мне в самый раз будет.

— Не тронь, пусть сушится,— остановила его Ганка.
— Ну, так эти сапоги отдай. Одни голенища целы, да и те уж раз подшиты,— сказал кузнец, ловко стаскивая их с песта.

— Ничего тронуть не дам! Возьмешь что-нибудь, а потом будут говорить, что я половину хозяйства разорила. Сперва опись надо сделать. Пока начальство на все опись не сделает, и кола из плетня взять не позволю!

— Описи еще не было, а отцовская постель уже куда-то пропала!

— Я же тебе объясняла, как дело было. Сразу после его смерти развесили постель на плетне, а ночью кто-то ее стащил. Невозможно было тогда за всем уследить!

— Удивительно, что так сразу и украли...

— Ты что же хочешь сказать? Что я взяла и теперь вру?

— Тише, бабы! Только без ссор! Оставь, Магдуся! Кто украл, тот пусть саван себе из этого полотна сошьет.

— Одна перина весила без малого тридцать фунтов!

— Сказано тебе, заткни глотку! — гаркнул кузнец на жену и вызвал Ганку во двор, якобы для того, чтобы посмотреть поросят. Она пошла за ним, но все время была пастороже.

— Хочу тебе кое-что сказать.

Она с любопытством ждала, догадываясь, о чем он поведет речь.

— Знаешь, прежде чем придут описи делать, надо как-нибудь вечером отвести хоть двух коров ко мне. Свинью можно дяде доверить, и все, что только возможно, у людей припрятать... Я тебе укажу, где... О зерне скажешь при описи, что оно давно Янкелю продано, он охотно подтвердит, если ему дать за это с полкорца. Кобылу мельник возьмет, подкормится она на его пастбищах. А добро разное можно попрятать в ямах или во ржи. Советую тебе по дружбе! Все умные люди так делают. Ты работала, как вол, так тебе по справедливости больше и полагается. Ну, и мне из этого дашь кое-что, самую малость, и ничего не бойся, я тебе во всем помогу. Уж я так устрою, чтобы земля за тобой осталась. Только ты меня слушайся, на моих советах никто еще не прогадал... Ну, что скажешь?

— А то скажу, что своего из рук не выпущу, а на чужое не зарюсь! — с расстановкой ответила Ганка, презрительно глядя ему в лицо. Кузнец завертелся, как от удара палкой по голове, смерил ее взглядом и прошипел:

— Я бы тогда и слова никому не сказал про то, как ты ловко отца обобрала...

— А ты говори! Вот я Аптеку расскажу, он с тобой насчет твоих советов потолкует.

Кузнец с трудом сдержал ярость, только плюнул и, торопливо уходя, крикнул в открытое окно жене:

— Магда, ты тут гляди в оба, чтоб опять воры чего-нибудь не унесли!

Гапка смотрела на него с насмешливой улыбкой.

Он побежал, как ошпаренный, и, столкнувшись у ворот с женой войта, долго что-то ей говорил, размахивая кулаками.

Жена войта принесла казенную бумагу.

— Это для вас, Гапка, сторож принес из канцелярии.

— Может, насчет Аптека! — шепнула она с тревогой, беря бумажку через передник.

— Нет, кажись, насчет Гжели. Моего дома нет, уехал в волость, а сторож сказал, будто тут написано, что Гжеля ваш помер...

— Иисусе, Марця! — вскрикнула Юзя, а Магда вскочила.

Они смотрели на бумажку с ужасом и беспомощно вертели ее в дрожащих руках.

— Может быть, ты, Ягуся, разберешь, — попросила Гапка.

Все в страхе и тревоге обступили Ягусю, но она, после долгих попыток прочитать хотя бы по складам написанное, сказала с досадой:

— Не по-нашему написано, ничего понять нельзя.

— Где ей! Зато кое-что другое она хорошо умеет! — вызывающе прошипела жена войта.

— Ступайте своей дорогой и не задевайте людей, когда вас не трогают! — проворчала Доминикова.

Но та, видимо, обрадовавшись случаю, немедленно ее срезала:

— Других осуждать умеете, а что же вы дочке-то не запрещаете чужих мужей приманивать?

— Полпо вам, Петрова! — вмешалась Гапка, видя, к чему клонится дело, но жена войта уже закусилла удила:

— Хоть раз душу отведаю! Сколько я из-за нее горя припьяла, сколько настрадалась... До смерти обиды не прощу!

— Ну и лайся! Ты всех собак за пояс заткнешь! — буркнула старуха довольно спокойно, по Ягусю густо по-

краснела. Она сгорала от стыда, и в то же время в ней кипало мстительное ожесточение, и она, словно назло войтихе, все выше поднимала голову и нарочно сверлила ее презрительным взглядом, а на губах ее бродила едкая усмешка.

Задетая за живое, жена войта дала волю языку и яростно ругалась, перечисляя все Ягусины грехи.

— Осатадела ты от злости и мелешь всякий вздор! — перебила ее Доминикова. — А муж твой тяжко ответит перед богом за Ягусино несчастие!

— Как же, ответит! Соблазнил невинное дитя! Это дитя с каждым готово в кусты забраться!

— Заткни пасть, не то, хоть я и слепа, а нащупаю твои космы! — пригрозила старуха, стискивая в руке палку.

— Попробуйте! Только троньте! — вызывающе крикнула жена войта.

— Ишь разжирела на чужой беде и теперь пристаёт к людям, как репей к собачьему хвосту!

— Какая чужая беда? Чем я кого обидела? Чем?

— Вот засадят твоего в острог, тогда узнаешь.

Войтиха подскочила к ней с кулаками, но Ганка успела вовремя ее оттащить и резко прикрикнула на обеих:

— Бога побойтесь, бабы, тут вам не корчма!

Обе притихли, тяжело дыша. У Доминиковой даже слезы брызнули из-под повязки на глазах и струйками текли по изможденному лицу. Но она первая успокоилась, села и, разводя руками, вздохнула:

— Иисусе, будь милостив ко мне, грешной!

Войтиха выскочила из хаты, как угорелая, но вернулась с дороги, сунула голову в окно и закричала Ганке:

— Говорю тебе, выгони из дому эту потаскуху! Выгони ее, пока не поздно, чтобы потом не пожалеть! Ни часу не оставляй ее под своей крышей, иначе она тебя выживет отсюда, эта чертовка! Эй, берегись, Ганка! Мой тебе совет — не жалей ее, она только и дожидается мужа твоего. Вот увидишь, что она тебе подстроит!

Она еще больше перегнулась через подоконник и, грозя Ягне кулаками, впрыскала, не помня себя от злости:

— Погоди ты, проклятая, погоди! К святому причастию не пойду, жива не буду, если не добьюсь, чтобы тебя из деревни колыями выгнали! К солдатам ступай, сука! Там тебе место, драшь, там!

Войтиха убежала. В комнате стало тихо, как в могиле.



Домниппкова вся тряслась от сдерживаемых рыданий, Магда качала ребенка, Гапка, глубоко задумавшись, смотрела в огонь.

А Ягуся, хотя лицо ее еще сохраняло дерзкое выражение и злая усмешка кривила губы, побледнела как полотно. Последние слова разъяренной бабы ударили ее в самое сердце. У нее было такое чувство, словно сто ножей сразу вонзилось в нее и вся кровь хлынула из ран, все силы ее покинули, осталась только невыразимая горечь, такая страшная нечеловеческая боль, что хотелось биться головой о стену и кричать в голос. Но она пересилила себя и, ухватив мать за рукав, лихорадочно зашептала:

— Пойдемте отсюда, мама! Уйдем скорее! Убежим!

— Да, пойдем, совсем я ослабла. Но тебе надо будет вернуться сюда и до конца стеречь свое добро.

— Нет, не останусь! Так мне тут все опротивело, что больше не стерпеть! Лучше бы я поги себе переломала раньше, чем вошла в этот дом!

— Так худо тебе было у нас? — тихо сказала Гапка.

— Хуже, чем собаке на цепи! В аду и то, наверное, лучше!

— Что же ты так долго терпела? Ведь ног тебе никто не связывал, могла уйти! Не беспокойся, кланяться тебе не буду, не попрошу остаться!

— Уйду, уйду! Сгиньте, коли вы такие!

— Молчи, пока я тебе своих обид не припомнила!

— Все против меня, вся деревня!

— Живи честно, тогда никто про тебя худого слова не скажет!

— Перестань, Ягусь, ведь Гапка тебе не враг. Молчи!

— Пусть и она шипит, пусть! Наплевать мне на эту брехню! Что я такого сделала? Украла? Убила кого-нибудь?

— И ты еще смеешь спрашивать? — с удивлением сказала Гапка, стоя перед ней. — Эй, не выводи меня из терпения, не то и я тебе кое-что скажу!

— Говори! Брешь! Мне все равно! — кричала Ягпа все запальчивее.

Гпсв в ней разбушевался, как пожар, она уже готова была на что угодно, на самое худшее.

У Ганки глаза наполнились слезами, воспоминание об измене Аптека так больно впилося в сердце, что она едва могла выговорить:

— А что у тебя с моим было, а? Покарает тебя господь за меня, увидишь! Ты Аптеку покоя не давала... бегала за ним, как... как... — она захлебнулась плачем.

Ягуся оцетипилась, как волк, застигнутый в берлоге и готовый терзать клыками всех, и все без разбору. Не помня себя от ненависти и жажды мести, она выскочила на середину комнаты и сдавленным от бешенства голосом начала выкрикивать слова, плетью хлеставшие Ганку:

— Это я за ним бегала! Я? Врешь! Все знают, что я его от себя гнала! Ведь он, как собачонка, скулил у моей двери, чтобы я ему хоть башмак свой показала! Это он ко мне приставал! Он меня опутал и делал со мной, глупой, что хотел! Уж если на то пошло, я скажу тебе правду, только как бы ты об этом не пожалела! Он так меня любил, что и рассказать невозможно! А ты ему надоела хуже горькой редьки, по горло сыт был бедняга твоей любовью, топпило его от нее, и он только плевался, вспоминая о тебе! До того дошел, что готов был руки на себя положить, чтобы только тебя не видеть больше... Вот тебе правда, коли ты ее хотела! А теперь запомни, что я еще скажу: захочу — так, хоть ты ноги ему целуй, отшвырнет он тебя, как тряпку, и за мной побежит хоть на край света! Ты это помни и со мной не равняйся, поняла?

Она кричала это, уже овладев собой, злобно и смело, и никогда еще она не была так хороша, как в эту минуту. Даже мать слушала ее с удивлением и страхом — так непохожа была на прежнюю эта новая Ягна, злая и грозная, как туча, извергающая молнии.

А Ганку ее слова сразили насмерть. Они исколтали ее до крови, жестоко и безжалостно, они растоптали ее, как жалкого червяка. Они свалили ее, как дерево, разбитое молнией, лишили сил и памяти. Упав на лавку, она ловила воздух побелевшими губами. От боли все в ней словно рассыпалось в порошок, и даже слезы застыли на лице, пепельно-сером от муки. Тяжкие, подавленные рыдания разрывали грудь. Она с ужасом смотрела куда-то в пространство, словно в бездну, внезапно открывшуюся перед ней, и дрожала, как былинка, которую ветер, сорвав, уносит на гибель.

Ягна уже давно замолчала и ушла с матерью на свою половину, Магда тоже ушла, не добившись от Ганки ни слова, даже Юзя убежала к озеру за утятами, а Ганка все сидела на одном месте, помертвев, как птица, у которой отнимают птенцов, — ни кричать, ни защищать их, ни уле-

теть она уже не может и только порой забьет крыльями и жалобно пискнет.

Очнувшись наконец от этого оцепенения, она упала ниц перед образами, плача навзрыд, и дала обет сходить на богомолье в Чепстохов, если то, что она слышала, окажется неправдой.

Ягуса не внушала ей печальности, — один только страх, и, услышав ее голос, она крестилась, словно отгоняя нечистого.

Наконец она принялась хлопотать по хозяйству. Руки почти машинально делали свое дело, а мысли были далеко. Она и не помнила, как выпроводила детей в сад, как убрала избу и, сготовив завтрак, приказала Юзе поскорее нести горшки в поле.

Оставшись одна и немного успокоившись, она стала вспоминать и обдумывать каждое слово Ягны. Она была женщиной разумная и добрая и легко прощала обиды. Но на этот раз гордость ее была задета слишком сильно, чтобы можно было забыть. Ее то и дело кидало в жар, сердце корчилося от боли, а в голове рождались планы мести. Однако в конце концов она и это поборолла в себе и прошептала:

— Конечно, где мне равняться с ней красотой! Но и ему венчанная жена и мать его детей! — К пей вернулась гордость и уверенность в себе. — Если и побежит за ней, так вернется! Не женится ведь он на ней!

В таких мыслях находила она горькое утешение.

Близился полдень, солнце стояло над озером, и жара была такая, что земля обжигала ноги, а накаленный воздух как будто выходил из печи. Люди уже шли с поля, с дороги под тополями вместе с тучей пыли неслошь мычание скота.

Гапка вдруг приняла решение. Она постояла еще у стены, подумала и, отерев глаза, прошла через сени, распахнула дверь в комнату Ягуси и сказала твердо и совершенно спокойно:

— Сейчас же убирайся воп из нашего дома!

Ягня вскочила с лавки. Долго стояли они одна против другой, меряя друг друга глазами. Наконец Гапка отступила за порог и повторила охрипшим голосом:

— Мигом убирайся, не то велю работнику тебя вышвырнуть. Сию минуту! — добавила она неумолимо.

Старуха бросилась было к пей уговаривать, объяснять, но Ягуса только плечами пожала:

— Не говорите с этим помелом! Известно, чего ей надо!

Она достала со дна сундука какую-то бумагу.

— Запись тебе покоя не дает, морги эти несчастные! На, возьми, ешь! — сказала она презрительно, швыряя бумагу Ганке в лицо. — Подавись своей землей!

И, не слушая протестов матери, стала поспешно связывать узлы и выносить их на двор.

У Ганки потемнело в глазах, как будто ее обухом по голове хватили, по бумагу она подняла и сказала с угрозой:

— Живей, не то собак на тебя натравлю!

Она задыхалась от удивления: не укладывалось у нее в голове, что это правда. «Целых шесть моргов земли бросила, как разбитый горшок! Не иначе, как в голове у нее пеладно!» — думала она, следя глазами за Ягной.

А Ягна, не обращая на нее никакого внимания, уже снимала со степы свои образа. Вдруг в комнату ворвалась Юзья.

— Кораллы мне отдай, они мои, от матери остались!

Ягна начала было снимать кораллы с шеи, но вдруг передумала.

— Нет, не отдам! Мацей их мне подарил, значит, они мои.

Юзя подняла такой крик, что Ганке пришлось на нее прыгнуть, чтобы унялась. А Ягна, глухая ко всем ее наскокам, вынесла из комнаты свои вещи и побежала за Енджи-ком.

Доминикова уже ничему не противилась, но не отвечала ни заговаривавшей с нею Ганке, ни визжавшей Юзье. Только когда вещи взвалили на телегу, она встала и, грозя кулаком, сказала:

— Будь ты проклята! Все беды на твою голову!

Ганка похолодела, но, пропуская эти слова мимо ушей, крикнула им вслед:

— Пригонит Витек скот, так он отведет к тебе твою корову. А за остальным пришлите кого-нибудь вечером.

Ягна с матерью вышли молча и пошли берегом озера. Фигуры их отражались в воде.

Ганка долго смотрела им вслед. У нее почему-то на сердце кошки скребли, но некогда ей было разбираться в своих чувствах, — работники уже возвращались с поля. Она спрятала бумагу в сундук, заперла сундук и двери на половину Мацея и припнулась готовить обед. Но весь

депъ она была расстроена и молчалива и даже льстивые речи Ягустинки слушала как-то неохотно.

— Хорошо ты сделала, давно надо было ее выпнать! Всякий стыд потеряла — кто же ее тронет, коли старуха с ксендзом запанибрата! Другую он давно проклял бы с амвопа.

— Верно, верно! — соглашалась Гапка, но отходила, чтобы не продолжать этого разговора. Когда все, поев, ушли опять на работу, она позвала Юзьку, и обе отправились на засеянное льном поле полоть густо разросшуюся там сурепу, уже издалека ярко желтевшую на полосах.

Гапка рьяно принялась за работу, но на душе у нее было беспокойно: мучили и пугали угрозы Доминиковой, а главное — она спрашивала себя, что скажет на это Аптек.

«Ничего, покажу ему запись, так сразу повеселеет! Вот дура-то! Шесть моргов — ведь это целое хозяйство!» — думала она, оглядывая поля.

— Гануся, а ведь мы совсем забыли про эту бумагу насчет Гжели!

— Правда! Ты работай, Юзя, а я сбегаю к ксендзу, он мне ее прочитает.

Она даже рада была пойти в деревню и кстати разузнать, что люди говорят о ее поступке.

Вернувшись домой, она приделась, достала бумагу и пошла в плебанию. Ксендза дома не оказалось — он был в поле, где его поденщики перекапывали морковь. Гапка увидела его еще издали: он стоял полуодетый, в одних штанах и соломенной шляпе. Она не решилась подойти близко, боясь, что он уже обо всем знает и еще, чего доброго, отчитает ее при всех. Поэтому она повернула обратно и пошла к мельнику. Мельник вместе с Матеушем пускал в ход лесопилку.

— Мне жена только что рассказала, как вы мачеху вытурили! Ого, на вид — трясогузка, а когти ястребиные! — со смехом сказал мельник, готовясь прочитать поданную ему Гапкой бумагу. Но, едва пробежав ее глазами, воскликнул:

→ Дурные вести! Гжеля ваш утонул! Еще на страстной! Пишут, что вещи его вы можете получить в волости у воинского начальника.

— Гжеля помер! Господи помилуй! Такой молодой, такой здоровый! Ведь ему только двадцать шестой год пошел! И к жатве обещал домой вернуться! Утонул! Инсусе

милосердный! — простонала Ганка, ломая руки. Эта весть ее сильно огорчила.

— Везет вам с несчастьем! — сказала Матеуш сердито. — Теперь еще Юлику выгнали, а мы остались вам и кузнецу.

— Ты что? С Терезкой разговаривай, ты же ее не метишь? — огрызнулась Ганка.

Мельник захохотал, а Матеуш сердито посмотрел на нее.

— Эта не даст себе с тобой шутки, вот. Ладно тебе, сказал мельник ей велед.

Ганка по дороге пришла в Матеуш. Та, услышав весть, заплакала и сказала, всхлиывая:

— Воля божья, мои дорогие. Народу тут все меньше, а жить мало в Липцах... Ох, доля твоя, Ганка! Нынче жив, завтра в земле тихонь! Надо было Юлику съездить за его вещами, зачем им пропадать? Как же так, мычный, домой рвался!

— А помнишь, он раз толкал в море, когда ты была тогда спас? Знать, на роду ему было записано в море жизнь кончить.

Погоревали, поплакали и разошлись. У каждой была достаточно повседневных забот, особенно у Ганки.

Обе новости мигом распространились по деревне. И возвращаясь в сумерки с поля, все рассказывали в тавернах. Гжелю, копейно, все очень жалели, что не поспешат Ягуси, — мнения разделились: все женщины, особенно пожилые, были на стороне Ганки и просто жалели на Ягусю, а мужики, хотя и пессимисты, заступались за Ганку и уже кое-где дело доходило до ссор.

Вечер только начинался, а в деревне уже бурлило. Там в котле, кумушки бегали друг к другу поспрашивать, прокрикивались через плетни и сады. Там, где были окна, люди сидели, заговаривали с проходившими мимо. Стеленки были приятные, прохладные, небо — с бледным розовым оттенком. С полей слышен был треск кузнечиков, треск мушкетеров, а в канавах и болотах сонно квакали лягушки. Тесно, жарко, мычание, блеяние и ржание, громит табуны лошадей над деревней. И на улицах, у ворот — толпы людей, толпились люди, шли разговоры о том, что случилось в Липцах, и строились догадки, с чем вернется из Липцов мужики.

Матеуш, возвращаясь домой с доверенными, прислушивался к тому, что говорят, но никому не верил. Он мотал ругательства и обходил бабину хату.

кучка баб, кричавших у дома Плошков, так его возмутила, что он не выдержал и сказал резко:

— Гапка не имела права ее выгонять, Ягна у себя жила. За такую штуку Аптекова баба может и в тюрьме отсидеть и заплатить немало!

Толстая раскрасневшаяся Плошкова заорала на него:

— Гапка земли у нее не отнимает! Она другого опасалась — ведь Аптек не пынче-завтра должен вернуться! Попробуй, уследи за домашним вором! Или, по-твоему, ей надо смотреть на это сквозь пальцы?

— Э!.. знаете поговорку: кувыркался, а сам за траву держался! Поиграл он с Ягусей — и перестал. А вы мелете, что на язык взбредет, не по совести, а просто из одной зависти.

Матеуш словно ткнул палкой в осиный рой — на него налетели все бабы.

— Чему же нам завидовать, а? Чему? Тому, что она потаскушка, распутница, что бегаеи вы за пей, как кобели, что всем вам хочется к ней под перину? Что из-за нее срам на всю деревню?

— Может, и это вам завидно, черт вас разберет! Ведьмы окайнные, солпца боитесь! Была бы Ягуся такая, как Магда из корчмы, так вы бы ей все прощали, а оттого, что она краше всех, каждая из вас готова ее в ложке воды утопить!

Бабы подняли такой крик, что Матеушу пришлось спастись бегством.

— Чтоб у вас языки отсохли, чертовки! — выругался он и, проходя мимо избы Доминиковой, заглянул в открытое окно. В комнате было светло, но Ягуси он не увидел, а войти не решился и, вздохнув, свернул к своей избе. По дороге встретилась ему Веронка, шедшая к сестре.

— А я только что у тебя была. Стах уже деревья обтесал и яму выкопал, можно резать. Когда придешь?

— Когда? А может, и совсем не приду! Так мне опостылела паша деревня, что брошу все к черту и уйду куда глаза глядят! — гневно крикнул Матеуш и торопливо прошел мимо.

«Ишь как бесится! Видно, его что-то сильно укусило!» — думала Веронка, входя во двор Борыны.

Гапка убирала со стола после ужина, по тотчас отвела сестру в уголок и стала рассказывать, как дело было. Веронка от разговора о Ягусе уклонилась, а насчет Гжели сказала только:

— Раз он помер, значит, его часть вы поделите между собой?

— Я еще про это не думала.

— А когда пан даст вам землю за лес, придется на каждого с полвлуки — ведь вас только трое! Господи, богачам и чужая смерть на пользу! — горько вздохнула Веронка.

— Что мне богатство! — возразила Гапка. Однако, когда все легли спать, она долго еще считала, рассчитывала и тайно радовалась. Став на колени, чтобы помолиться, она прошептала смиренно:

— Если он помер — значит, такова воля божья! — и искренне помолилась за упокой души Гжели.

На другой день около полудня к ним зашел Амброжий.

— Куда это вы ходили? — спросила Гапка, разводя огонь в печи.

— У Козла был — ребенок у них насмерть обварился. Она меня позвала, да поздно — его уже только в гроб надо положить и похоронить.

— Который же это?

— Меньшой, которого она весною привезла из Варшавы. Упал в котел с кипятком и почти сварился.

— Не везет что-то у Козлихи этим подкидышам!

— Да, не везет! Она-то на этом не теряет, получит деньги на похороны... Ну, да я не с тем к вам пришел.

Гапка с беспокойством посмотрела на него.

— Знаете, Доминикова ведь поехала с Ягусей в город, — говорят, подавать в суд на вас за то, что дочку выгнали...

— Пусть подает! Что они мне сделают?

— Утром исповедались, а потом долго толковали с его преподобием. Я хоть не подслушивал, а кое-что слышал, — так, пятое через десятое... Они на вас жаловались, и ксендз так рассердился, что даже кулаком махал.

— Ксендз, а сует пос в чужие дела! — запальчиво воскликнула Гапка. Однако она была так удручена этой вестью, что целый день ходила сама не своя, полная тревоги и самых мрачных предчувствий.

Поздним вечером чья-то бричка остановилась у ворот.

Гапка выбежала на улицу, дрожа от страха. В бричке сидел войт.

— О Гжеле вы уже знаете! — начал он. — Ну, что говорить, несчастье — и все тут. Но есть у меня для вас и хо-

рошая новость: сегодня или, самое позднее, завтра придет Аптек.

— А вы меня не обманываете? — усомнилась Гапка, не смея верить.

— Войт вам говорит, значит, верьте! Мне в волости сказали...

— Ну, и хорошо, что вернется, давно пора! — промолвила она холодно, как будто совсем не радуясь. Войт помолчал и заговорил самым дружеским тоном:

— Нехорошо вы поступили с Ягусей! Она уже па вас жалобу подала, вас могут осудить за самоуправство и насилие. Вы не имели права ее трогать, она в своем доме жила! Ладно будет, если Аптек вернется, а вас посадят! Как друг вам советую: уладьте вы с пей это дело! Я уж постараюсь, чтобы они жалобу взяли из суда, но обиду вы сами должны загладить.

Гапка выпрямилась и сказала резко:

— Вы за кого же застываетесь: за обиженную или за свою полюбвицу?

Войт так стегнул лошадей, что они рванулись с места и понеслись вскачь.

IV

Все эти тяжелые переживания не давали Ганке уснуть ночью, к тому же ей беспрестанно чудились чьи-то шаги то у плетня на улице, то даже как будто у самой хаты. Она прислушивалась с бьющимся сердцем, но весь дом крепко спал, даже дети не капризничали. Ночь была глухая, хотя и светлая, звезды заглядывали в окна, шумели по временам деревья под ветром, который дул с самой полуночи, налетая порывами.

В комнате было душно, жарко, скверно пахло от почевавших под кроватью утят, но Ганке лень было встать и открыть окно. Сон не приходил, жарко было от перины, подушки жгли, как раскаленное железо, и она ворочалась с боку на бок. Беспокойство все росло, и самые разнообразные мысли сновали у нее в голове. Она то обливалась горячим потом, то вся дрожала и, наконец, не в силах побороть страх, вскочила с кровати и босиком, в одной рубашке, схватив топор, подвернувшийся под руку, вышла во двор.

Двери всех хлевов были раскрыты настежь, везде царило глубокое безмолвие сна. Слышно было только, как

храпел Петрик, растянувшись у конюшни, как лошади с хрустом жевали сено и побрякивали уздечками. Неприязненные па ночь коровы разбрелись по двору. Они лежали, жуя жвачку и поднимая тяжелые головы, вперяли в Ганку большие, черные, таинственные зрачки.

Ганка вернулась в комнату. Опять лежала с открытыми глазами и тревожно прислушивалась. В иные минуты она готова была голову дать на отсечение, что ясно слышит какие-то голоса и отдаленные шаги.

«Может быть, это в какой-нибудь хате не спят и разговаривают», — пыталась она убедить себя. Но, как только начали сереть окна, встала и, набросив на плечи тулуп Аптека, вышла.

На крыльце аист Витека спал, стоя па одной ноге и спрятав голову под крыло. Во дворе белели стайки гусей.

Уже верхушки деревьев выступали из мрака, часто капала с них роса, шумя по листьям и травам. Тянуло бодрящим холодком.

Синеватый туман окутывал поля, кое-где из него выступали деревья, как высокие столбы густого черного дыма.

Мутно белело озеро, похожее па громадный глаз, затянутый бельмом, и ряды ольх шептались па ним тихо и тревожно, потому что вокруг все еще спало, погруженное в серую непроглядную мглу и тишину.

Ганка села на завалинке и, прислонясь к степе, незаметно для себя задремала. Очнувшись она только через добрых полчаса, когда мрак уже совсем поредел и па востоке далеким заревом разгоралась алая заря.

«Если они с Рохом выпли ночью, так того и гляди должны прийти», — думала она, поглядывая па дорогу. Короткий сон так подкрепил ее, что она уже не ложилась больше и, чтобы не скучно было дожидаться солнца, собрала детское белье и пошла па озеро стирать.

Светало быстро, скоро закричал первый петух, за ним и другие, хлопая крыльями, пачали перекликаться па всю деревню. Потом запели жаворонки. Из сумрака, стлавшегося еще низко над землей, поемпогу выступали белые стены, плетни и пустые дороги.

Ганка усердно стирала. Вдруг неподалеку послышались тихие шаги. Она застыла на месте, притаилась, как испуганный кролик, внимательно оглядываясь по сторонам. Какая-то тень выскользнула со двора Бальцерков и, крадучись, прошмыгнула под деревьями.

«Наверное, от Марыси, по кто?» — размышляла Ганка, не успев разглядеть человека, — он исчез внезапно, как сквозь землю провалился. «Такая красавица, так кичится своей красотой, а пускает к себе ночью парней! Кто бы подумал!»

Вдруг она заметила еще одну фигуру — это с другого конца деревни пробирался куда-то работник мельника.

«Должно быть, из корчмы, от Магды! Как волки, бродят по почам! Что делается, господи!» — вздохнула Ганка, но и ее неожиданно охватила какая-то истома. Она несколько раз блажепно потянулась... Впрочем, холодная вода быстро отрезвила ее, и она запела тихим, заунывным голосом:

Как встанут утренние зори...

Песня летела низко по росе, растворяясь в розовом сиянии утра.

В деревне уже открывались окна, стучали деревянные башмаки, слышались голоса.

Ганка развесила на плетне выстиранное белье и побужала будить своих. Но они так разоспались, что если и поднималась чья-нибудь голова, она тотчас падала опять на подушку.

Ганка не на шутку разозлилась, когда Петрик крикнул ей:

— Рапо еще, ну вас! До солища буду спать! — и не тронулся с места.

Дети хныкали, а Юзька жалобно просила:

— Еще чуточку, Гануся! Да ведь я совсем недавно легла.

Ганка уняла детей, выгнала птицу из хлевов и, подождав еще пемного, уже перед самым восходом, когда небо все пылало и заря румянила озеро, подняла такой шум, что пришлось всем вскочить с постели. Она с места в карьер обрушилась на заспанного Витека, который слонялся по двору, терся об углы и почесывался.

— Вот как дам тебе чем-нибудь твердым, так живо у меня проснешься! Ты почему, урод этакий, не привязал коров к яслям! Хочешь, чтобы они почью друг дружке брюхо распороли рогами?

Витек огрызнулся, и она бросилась к нему, но он, конечно, ждать не стал и, к счастью для себя, успел удрать. Тогда Ганка зашла в конюшню и принялась за Петрика:

— Лошади стучат зубами о пустые ясли, а ты валяешься до солнца!

— Кричите, как сорока к дождю! На всю деревню слышно!

— И пусть слышат! Пусть знают все, какой ты бездельник, дармоед! Погоди, вот вернется хозяин, он тебе задаст!

— Юзья! — кричала она через минуту уже в другом конце двора. — У Красотки вымя твердое, так ты сильнее тяни, не то опять только половину молока выдоишь! Да поторопись, на деревне уже гонят коров! Витек! Бери завтрак и выгоняй стадо! Да смотри — потеряешь овец, как вчера, так я с тобой расправлюсь!

Так распоряжалась она и сама вертелась волчком: насыпала курам зерна, свиньям вынесла ушат с кормом, теплку, отнятому от матери, приготовила пойло, насыпала крупы утятам и выгнала их на озеро. Витек получил тумак в спину и завтрак в котомку. Не был забыт даже его анст. Она поставила ему на крыльце котелок с вчерашней картошкой, и он, осторожно подобравшись к нему, совал туда клюв и глотал. Ганка была всюду, обо всем помнила и со всем управлялась. Как только Витек погнал коров и овец на пастбище, она надела на Петрика, так как не могла стерпеть, что он болтается без дела.

— Вычисти хлев! Коровам ночью жарко от навоза, да и пачкаются они, как свиньи!

Как только солнце взошло и оглядело мир своим красным пламенным оком, пачали сходитьсь коморицы, отработывавшие Ганке за землю, которую она отвела им под лен и картофель.

Ганка велела Юзе чистить картошку, покормила грудью малыша и, повязав голову платком, сказала:

— Смотри тут за всем! А если вернется Антек, дай мне зпать на капустное поле. Пойдемте, бабы, пока роса и прохладно, надо окучивать капусту, а после завтрака возьмемся за вчерашнюю работу.

Она повела их за мельницу, на заливные луга и торфяники, еще седые от росы и оседающего тумана. Торфяная земля скользила под ногами, как мокрый ремешок, а местами была такая вязкая, что приходилось обходить кругом.

В бороздах, глубоких, как канавы, стояла вода, покрытая зеленой ряской.

На капустных полях не было еще никого, только чайки кружили над грядами, да бродили ансты, усердно охо-

тятся на лягушек. Пахло болотом и осокой, которая густо росла по краям старых торфяных ям.

— Славное утро, да, кажись, жара опять будет,— сказала одна из женщин.

— Хорошо еще, что ветерок прохладный.

— Это потому, что рано. А попозже он хуже солнца сушит.

— Давно не бывало такого сухого лета! — говорили женщины, принимаясь за работу на высоких капустных грядках.

— Смотри, как выросла, уже и головки кое-где завываются!

— Только бы червь ее не обглодал! В засуху он может появиться.

— Может. В Воле уже всю поел!

— А в Модлице капуста вся засохла, пришлось наново сажать!

Так они переговаривались, разрыхляя землю мотыгами. Капуста на грядках поднялась уже высоко, но сильно заросла сорными травами. Молочай доходил до колен, одуванчики и даже чертополох разрослись густо, как лес.

— И отчего это лучше всего растет то, чего люди не сеют и чего им не надо? — заметила одна из работниц, отрывая земля с какого-то вырванного кустика сорной травы.

— Как и всякий грех! Греха тоже никто не сеет, а на свете его не оберешься.

— Эх, милые вы мои, грех с человеком рождается, с ним и умирает! Недаром говорят: «Где грех, там и смех». А еще так: «Кабы не грех, и человеку бы давно конец». Видно, и грех и сорная трава на что-нибудь да пужпы, коли их бог сотворил! — философствовала Ягустинка.

— Стал бы господь бог зло создавать! Вот еще! Это человек, как свинья, все рылом своим непременно изгадит! — сурово сказала Ганка, и все замолчали.

Солнце поднялось уже довольно высоко, и туман заметно осел, когда из деревни начали сходить на работу и другие женщины.

— Хороши работницы! Дожидаются, пока солнце всю росу высушит, чтобы им ног не промочить,— насмехалась Ганка.

— Не все такие работающие, как вы!

— Да ведь не у всякого столько дела, сколько у меня! — вздохнула Ганка.

— Вот вернется муж, тогда отдохнешь.

— Нет, я обет дала: как только он вернется, в Чепстохов на богомолье пойду. А войт говорит, будто он уже нынче домой придет.

— Войт в волости все узнаёт, — так, должно быть, это правда. А в нынешнем году много народу собирается в Чепстохов! Я слышала, что и оргапистиха идет. Она говорит, будто сам ксендз поведет богомольцев.

— А кто же ему брюхо понесет? — засмеялась Ягустипка. — Сам он его не дотащит — шутка сказать, такая даль! Это он обещает только, как всегда.

— Я уже два раза была там с богомольцами и каждый год ходила бы! — вздохнула Филипка.

— Бездельничать каждый непрочь!

— Как хорошо-то, господи! — продолжала Филипка с жаром, пропуская мимо ушей насмешку. — Человек словно на небо идет, так легко и весело в дороге. А чего только не пасмотришься, чего не послушаешься, а сколько помолишься! Проходишь каких-нибудь две недели, а кажется, будто на годы избавилась от горя и всяких забот. Слово-но заново па свет родишься!

От деревни по тропинке вдоль реки, между тростниками и густым молодым ольшаником, бежала к ним какая-то девочка. Гапка смотрела, заслонив глаза, но не могла разглядеть, кто это. И только когда та была уже близко, она узнала Юзю. Юзя мчалась во весь дух и издали кричала, размахивая руками:

— Гапусь! Аптек верпулся! Гапусь!

Гапка бросила мотыгу и рванулась, как взлетающая птица, но в тот же миг опомнилась, опустила подоткнутую юбку и, хотя ее так и подмывало бежать домой, хотя сердце билось так, что трудно было дышать и говорить, сказала спокойно, как ни в чем не бывало:

— Ну, вы работайте тут без меня, а полдничать приходите в хату.

И пошла медленно, не спеша, по дороге расспрашивая обо всем Юзью.

Жепщипы переглядывались, глубоко возмущенные такой холодностью.

— Это она только па людях такая спокойная, чтобы не смеялись над ней, что по мужу стосковалась! А я бы не утерпела! — сказала Ягустипка.

— И я тоже!

— Только бы Аптек опять не завел шашпи...

— Ягусп больше не будет под рукой, так, может, у него и пропадет охота.

— Что ты, милая! Когда мужику приглянется баба, он за пей на край света побежит!

— Ох, правда! Скотину легче от потравы отвадить, чем иного мужика от греха...

Они чесали языки, работая все лепивее, а Ганка между тем шла так же неторопливо, умышленно заговаривая со всеми встречаемыми, хотя она не сознавала, что говорит, не слышала, что ей отвечают. В голове была одна мысль: Антек вернулся, Антек ждет ее!

— Он с Рохом пришел? — спрашивала она не в первый раз.

— С Рохом. Ведь я говорила тебе!

— А какой он? Какой?

— Да я не знаю. Пришел и сразу с порога спрашивает: «А где же Ганка?» Я сказала и сейчас же со всех ног побежала за тобой. Вот и все.

— Спрашивал про меня! Дай тебе господи!.. — Ганка задыхнулась от радости.

Она увидела Антека еще издали — он спдел с Рохом на крыльце и, замстив ее, пошел ей навстречу.

Она шла все медленнее, — подкашивались ноги, и она хваталась по дороге за плетень. У нее спирало дыхание, в голове стоял какой-то туман, и она едва могла выговорить:

— Ты! Ты!..

Поток слез затопил остальные слова.

— Я, Гапусь, я! — Антек обнял ее крепко, с искренней нежностью. А она жалась к нему, не помня себя, и счастливые слезы ручьями текли по бледному лицу, губы тряслись. Она укрылась в его объятиях, как истосковавшийся ребенок.

Долго она не могла произнести ни слова, да и что можно было сказать, как выразить все, что она чувствовала? Она готова была стать перед ним на колени, лежать в пыли у его ног. И только изредка вырывалось у нее какое-нибудь слово, падая, как тяжелое, полновесное зерно, как благоухающий цветочек счастья. А глаза, преданные, полные безграничной любви, ложжились к его ногам, как верные собаки, отдаваясь на его волю, его мягкость и нежность.

— Похудела ты, Гапусь! — тихо сказал Антек, ласково глядя ее по лицу.

— Ну еще бы... столько натерпелась, так долго ждала...

— Извелась баба на работе! — вставил Рох.

— Ой, да ведь и вы тут! Совсем про вас забыла! — Она кинулась целовать ему руки, а Рох сказал шутливо:

— Как тут про меня помнить!.. Ну, обещал я тебе его привезти и привез, вот он, принимай!

— Вот он! Вот он! — повторила Ганка, с внезапным удивлением и восхищением глядя на мужа: перед ней стоял словно другой Антек. Лицо его побелело, стало тоньше, и такой он был красивый, осанистый, словно какой-нибудь пап.

— Переменился я, что ли? Что ты так на меня уставилась?

— Как будто и нет, а все же какой-то другой...

— Погоди, вот поработаю в поле, так быстро опять стану такой, как прежде.

Ганка вдруг побежала в комнату за малышом.

— Ты ведь его еще не видел! — воскликнула она, вынося ревевшего мальчика. — Гляди: похож на тебя, как две капли воды.

— Хорош парень! — Антек завернул его в полу своего кафтана и стал баюкать.

— Рохом его называли. Петрусь, иди же и ты к отцу! — Она посадила старшего, и он, что-то лепеча, стал карабкаться к Антеку на колени. Антек обнял обоих с необычайной для него нежностью.

— Червячки мои дорогие, сыночки родимые! Петрусь-то как вырос и уже что-то болтает по-своему.

— Упрям только. Да зато такой смывшлый — догнется до кнута и давай щелкать им и гусей погонять! — Ганка присела на корточки около них. — Петрусь, скажи «тата». Ну, скажи скорее!

Петрусь сказал и продолжал еще что-то лепетать, тербя отца за волосы.

— Юзька, а ты чего на меня косишься? Иди сюда!

— Не смею... — застенчиво пискнула Юзя.

— Иди же, дуреха, иди! — Антек ласково привлек ее к себе. — Теперь уж ты меня всегда слушайся, как отца. Не бойся, обижать тебя не стану.

Юзя горько расплакалась, вспомнив отца и брата.

— Как сказал мне войт, что Гжеля помер, меня точно кто обухом по голове хватил, даже в глазах потемнело. Такой хлопец славный, такой хороший брат! Кто мог ожи-

дать? А я уже прикидывал, как мы с ним землю поделим, и насчет жены для него подумывал! — тихо, с грубой болью сказал Антек.

Чтобы отвлечь всех от печальных мыслей, Рох воскликнул, вставая:

— Хорошо вам толковать, а у меня с голоду кишки уже марш играют!

— Господи, совсем у меня из головы воп! Юзька, поймай-ка тех желтых петушков! Цып, цып, цып! А может, сначала яичек и хлеба? Свежий есть, а масло вчерашнее. Зарежь их, Юзя, и обвари кипятком. Я мигом их вам приготовлю... Экая я ворона! Совсем позабыла.

— Петушков, Гануся, оставь на после да состряпай-ка обед по-нашему! Мне так городские харчи приелись, что я с удовольствием сяду за миску борща с картошкой, — весело сказал Антек. — А Роху приготовь что-нибудь другое.

— Нет, спасибо. И мне картошка да борщ слаще всего.

Ганка бросилась к печи. Картофель уже кипел в горшке. Она принесла из чулана колбасу для борща.

— Это я для тебя сберегла, Антось. Она из той свиньи, что ты приказал заколоть к пасхе.

— Ну, ну, кусище изрядный, но, даст бог, управимся... Рох, а где же наши гостинцы?

Старик передал ему узел немалых размеров, и Антек начал доставать из него подарки и раздавать всем.

— Это тебе, Ганусь! Пригодится в дорогу надевать. — Он подал ей шерстяной платок, точь-в-точь такой, как у жены органиста, — по черному полю красные и зеленые клетки.

— Мне! Не забыл, Антось! — ахнула Ганка с горячей благодарностью.

— Забыл бы, если бы не Рох. Он мне напомнил, и мы с ним вместе все выбрали.

Накупил он много: жене подарил еще башмаки и шелковый головной платок, голубой в желтых цветочках. Юзьке — такой же платок, но зеленого цвета, и еще воротничок и несколько ниток бус с длинной лентой для завязывания сзади, а детям привез пряников и свистульки. Даже для Магды отложил в сторону что-то завернутое в бумагу, не забыл и Витека и Петрика.

Все эти сокровища встречались криками восторга, их разглядывали, примеряли, и от радости у Ганки даже

слезы текли по разгоревшимся щекам, а Юзька то и дело хваталась за голову.

Рох улыбался, потирая руки, а Антек только посвистывал.

— Вы эти гостиницы заслужили! Рох мне рассказывал, как вы тут с хозяйством хорошо управлялись. Да ну, отстайте, не надо меня благодарить, — отмахивался он от женщин, которые бросились обнимать и целовать его.

— Мне и не снились такие прелести, — слезливо прошептала Ганка, примеряя башмаки. — Тесноваты маленько, ноги распухли оттого, что все босиком хожу, да зимой будут в самый раз...

Рох стал расспрашивать, что делается в деревне, но Ганка отвечала ему рассеянно, занятая стряпней. Скоро она поставила перед ними большую миску картофеля, щедро политого салом, и не меньшую миску борща, в котором плавала колбаса величиной с колесо.

Все накиннулись на завтрак.

— Вот это еда! — весело покрикивал Антек. — Колбаса какая пахучая! А в остроге меня кормили так... чтоб их черти взяли! Последнее время я уж совсем есть не мог.

— Рассказывали мужики, как там кормят — и собака бы есть не стала. Правда это?

— Правда. Но хуже всего, что приходилось сидеть взаперти. Пока холода стояли — еще куда ни шло. А как стало пригревать солнышко и землей запахло, — думал я, что ошалею! Воля меня манила больше, чем колбаса эта. Уж я решетку принимался ломать, да помешали.

— Правда, что там бьют? — боязливо спросила Ганка.

— Бьют. Меня-то и пальцем тронуть не смели, пусть бы попробовал кто — я бы ему, окайшному, задал перцу!

— Кто же тебя, силача такого, одолеет! — радостно поддакивала Ганка, любуясь им и следя за каждым его движением.

С завтраком быстро покончили, Антек и Рох пошли спать в овин, куда Ганка уже натащила им гору перни и подушек.

— Побойся бога, да мы тут изжаримся совсем, — засмеялся Рох.

Ганка, не отвечая, закрыла за ними ворота и пошла на огород полоть. Она вдруг почувствовала странную слабость. С минуту озиралась кругом и вдруг заплакала. Она плакала от счастья, плакала оттого, что солнце пригревало ей спину и зеленые деревья качались над головой, что

птицы пели и кругом все цвело и благоухало, и на душе у нее было так хорошо, так светло и покойно, как после исповеди, и даже еще лучше.

— И это все ты сделал, Иисусе! — вздохнула она, поднимая заплаканные глаза к небу с невыразимой благодарностью за счастье, что ей выпало на долю.

— Вот и переменилось все к лучшему! — говорила она с удивлением, чувствуя себя на седьмом небе. И все время, пока Аптек и Рох спали, она оберегала их сон, как паседка цыплят. Детей увела в глубь сада, чтобы их крики не разбудили спящих, прогнала со двора всех животных. Она не заметила даже, что свиньи роются в молодой картошке, а куры раскапывают огурцы. Забыла все на свете и то и дело заглядывала в овин.

День тянулся томительно, она места себе не находила. Прошел час завтрака, прошел обед, а они все спали! Она всех отправила в поле работать, не заботясь, как они там без нее управятся, а сама ходила между овином и домом, как часовой.

Сто раз вынимала она подарки, примеряла их и рассматривала, восклицая:

— Ну, где найдется другой такой добрый и заботливый муж? Где?

А потом побежала по деревне и всем, кого встречала, уже издали кричала:

— Знаете, мой-то вернулся! Спит теперь в овине.

И смеялись ее глаза, смеялось все лицо, она словно светилась счастьем. Бабы даже удивлялись:

— Околдовал ее этот висельник, что ли? Совсем одурела!

— Теперь опять нас задерет, увидите!

— Ничего, пусть только Аптек примется за прежних, так с нее живо спесь соскочит! — шушукались бабы.

Разговоры эти, конечно, не доходили до ушей Ганки. Вернувшись домой, она захлопотала, спешно принялась готовить вкусный обед, но, услышав крики гусей на берегу, выбежала и стала пвырять в них камнями, чтобы они замолчали. Из-за этого у нее чуть не вышла ссора с мельничихой.

Только что Ганка послала работавшим в поле еду, как и мужчины пришли из овина. Она подала им обед на воздухе, в тени, поставила даже водку и пиво, а после обеда — полрешета спелых вишен, которые взяла у экономки Ксендза.

— Обед — прямо свадебный! — пошутил Рох:

— Хозяин вернулся, это ли не праздник? — отозвалась Ганка. Она все время была на ногах, прислуживала им, а сама ела очень мало.

После обеда Рох сразу ушел в деревню, обещая прийти вечером, а она робко спросила у мужа:

— Хочешь осмотреть хозяйство?

— Хочу. Праздник кончился, надо за дело приниматься! Господи боже мой, не думал я, что так скоро стану хозяйничать в отцовском доме!

Он вздохнул и пошел за Ганкой. Она повела его прежде всего в конюшню, где фыркали три лошади, а в загородке вертелся жеребенок, потом в пустой коровник, потом на гумно и к сеновалу, где лежало свежее сено. Он заглянул даже в хлевы и под навес, где хранился всякий инвентарь и стояли телеги.

— Бречку надо будет на гумно перетащить, здесь она совсем рассохнется.

— Сколько раз я приказывала Петрику! Да что же, колп он не слушается!

Она стала сзывать поросят и птицу, чтобы похвастать перед Аптеком большим приплодом, а потом подробно рассказала о полевых работах, где что посеяно и сколько. При этом она пытливо и выжидательно смотрела ему в глаза, но Аптек только слушал и все запоминал, задавая время от времени вопросы, и лишь под конец сказал:

— Даже поверить трудно, что ты одна со всем справлялась!

— Для тебя я и больше могла бы сделать! — ответила она горячим шепотом, обрадованная его похвалой.

— Молодчина ты у меня, Гануся, молодчина! Я и не думал, что ты такая!

— Надо было — так я рук не жалела!

Аптек обошел даже сад, полный уже наполовину красных вишен, и грядки лука, петрушки, капустной расады.

Когда они возвращались в избу, Аптек, проходя мимо открытых окон отцовской половины, заглянул внутрь.

— А где же Ягна? — Он удивленно оглядывал пустую комнату.

— Где ей быть? У матери. Выгнала я ее! — ответила Ганка твердо, поднимая на него глаза.

Аптек сдвинул брови, подумал немного и, закуривая папиросу, сказал спокойно и как бы нехотя:

— Доминикова — злая собака, она этого так не оставит. Не миновать нам суда!

— Говорят, она уже вчера ездила в город жалобу подавать.

— От жалобы до приговора еще далеко. Но надо будет хорошенько это дело обдумать, чтобы она нам чего-нибудь не подстроила.

Ганка стала рассказывать, из-за чего и как все произошло, о многом, конечно, умалчивая. Антек ее не прерывал, не задавал вопросов, только слушал, хмури брови и сверкая глазами. Когда же она подала ему бумагу, брошенную ей в лицо Ягусей, он насмешливо сказал:

— Она только для того и годится, чтобы с ней на двор сходить...

— Да что ты! Ведь это та самая, которую ей отец дал!

— Цепя ей грош ломаный! Если бы Ягна у нотариуса подписала, что от земли отказывается, тогда другое дело. А эту бумажку она для смеху бросила!

Он пожал плечами, взял на руки Петруся и пошел к перелазу.

— Погляжу на поля и вернусь! — бросил он через плечо Ганке, и она осталась дома, хотя ей сильно хотелось пойти с ним. Проходя мимо сеновала, уже заново отстроенного и набитого сеном, Антек исподлобья посмотрел на него.

— Матеуш его привел в порядок. Одной соломы на крышу три стога пошло! — крикнула ему вслед Ганка, стоя на плетне.

— Ладно, ладно, — буркнул Антек с видом человека, которого не интересуют всякие мелочи. Миновав картофельное поле, он пошел межой.

В этом году ближние поля были почти целиком под озимью, и потому Антек дорогой встречал мало людей. А встречая кого-нибудь, коротко здоровался и поспешно проходил мимо. Однако он все больше замедлял шаг — тяжело было нести Петруся, да и разомлел он как-то от жаркого и неподвижного воздуха. Он то останавливался, то присаживался, не переставая осматривать чуть не каждую полосу земли.

— Эге! Да сурепа лен глушит! — воскликнул он, остановившись у полос, голубых от цветущего льна, но густо проросших желтыми кустиками сурепы. — Купила засоренные семена и не провеяла их!

Он постоял и около ячменя. Чахлый и уже несколько сожженный солнцем, ячмень, едва был виден из-за осота, ромашки и конского щавеля.

— В мокрую землю сеял! Изрыл пашню, как свинья! Чтоб тебя, стервеца, скрючило за такую работу! А забороповал-то как! Один пырей... Тыфу!

Он плюнул со злости и вышел на огромное поле ржи, которая, как река, сверкающая на солнце, волновалась у его ног, шумя тяжелыми колосьями. Тут Аптек от души порадовался: рожь выросла отличная, солома была крепкая, колосья — как плети.

— Растет, как лес! Это еще отец сеял. И у помещика лучшей ржи не увидишь!

Он вылутил колос — зерно было крупное, тяжелое, но еще мягкое. «Недели через две и жать пора. Только бы ее градом не побил!»

Но дольше всего Аптек любовался пшеницей. Из-за черноватых блестящих усиков уже выглядывали густые, крупные колосья.

— На горке растет, а ничуть ее не пожгло! Золото, не пшеница!

Он шел все дальше, медленно взбираясь по отлогому склону холма, на котором высилась черная стена леса. Деревня осталась позади, утонув в садах на дне лощины. Только озеро поблескивало в просветах между избами, да кое-где окно горело на солнце. Где-то в стороне кладбища косили клевер, косы сверкали в воздухе, как синие зарницы. В других местах мелькали яркие платья баб, на узких перелогах паслись стада белых гусей. За деревней, на зеленых картофельных полях, как муравьи, копошились люди, а еще выше, в необозримой дали, маячили другие деревни, одинокие избы, деревья, склоненные над дорогами, широкие поля, и все это было окутано голубой дымкой, переливавшейся, как волны в реке.

Глубокая тишина стояла над полями, раскаленный воздух слепил глаза и дышал зноем, в его беловатом дрожащем пламени только изредка пролетал аист, тяжело паря на ослабевших крыльях, или мелькали изморенные жарой вороны.

Пели невидимые жаворонки. В голубых чистых просторах неба кое-где, как заблудившаяся овца, бродили белые облачка.

А в полях разгулялся сухой, горячий ветер, кувыркаясь, как пьяный. Порою он взвизгивал со свистом, пугая

птиц, или, пританцвшись, внезапно налетал на пивы и, взбаламутив их до дна, потрепав и спутав колосья, опять куда-то пропадал, а расколыхавшиеся пивы долго еще шептались, как будто жалуясь на проказника.

Антек остановился на паровом поле у леса. Опять вскинулся от гнева.

— До сих пор не вспахано! Лошади стоят без дела, павоз прест в куче, а он и в ус себе не дует! А, чтоб тебя!.. — выбранился он, направляясь вдоль леса к кресту, стоявшему у дороги.

Он был утомлен, в голове шумело, пыль набилась в горло. Присел под крестом, в тени берез, уложил заснувшего Петруся на свой кафтан и, утирая пот, задумчиво глядел вдаль.

Солнце уже клонилось к лесу, и первые робкие тени поползли от деревьев к полям. Лес что-то тихо бормотал, качая пронизанными солнцем верхушками, а густые заросли орешника и осин дрожали, как в лихорадке. Усердно стучали дятлы, где-то далеко трещали сороки. По временам между замшелыми дубами, как свернутая в клубок радуга, мелькала желна.

Из потемневшей глубины леса, только кое-где обрызганной солнечными бликами, веяло холодом, пахло грибами, смолой и нагретым болотом.

Вдруг над лесом взвился ястреб, раза два описал круг над полями, с минуты неподвижно парил в воздухе и молнией упал вниз, в рожь.

Антек бросился на помощь, но было уже поздно: посыпались перья, хищник скрылся, жалобно закричали куропатки, и какой-то перепуганный зайчишка мчался стремглав, только хвостик белел вдаль.

— Вмиг высмотрел, разбойник проклятый! — пробормотал Антек, садясь на место.

Он прикрыл Петрусю лицо, потому что над ним назойливо жужжали пчелы и немолчно гудел мохнатый шмель.

Вспомнилось ему, как еще недавно в тюрьме он рвался на волю, в эти поля, как пзывала душа в тоске по ним.

— Измучили они меня, окаянные! — пробурчал он и вдруг притих, чтобы не спугнуть перепелок, которые тут же около него боязливо высунули из ржи головки, перекликаясь по-своему. Но они тотчас испуганно попрятались, потому что целая орава воробьев упала на березы, с берез сметела на землю, неистово чирикающая, толкаясь, заводя драки и ссоры. Вдруг и воробы присмирели, застыв на месте:

ястреб снова кружил над землей, да так низко, что тень его бежала по полю.

«Ага, приструнил оп вас, горлопаны! Точнехонько так бываст с людьми: страхом больше сделаешь, чем просьбой», — размышлял Антек.

На тропинке рядом показались трясогузки. Тряся хвостиками, они прыгали совсем близко, по когда Антек шевельнул рукой, перелетели за канаву.

— Вот дуры! Чуть-чуть я не поймал одну для Пеструся!

Вышли из лесу вороны и, расхаживая по бороздам, клевали, что попадалось, по, почуяв человека, стали осторожно, поворачивая головки и поглядывая на него, обходить вокруг, подсакивая все ближе и разевая противные хищные клювы.

— Мной не поживьтесь! — Антек швырнул в них ком земли, и они исчезли тихо, как воры.

А потом, так как он сидел неподвижно, словно в забытьи, заглядевшись на окружающий мир и всем существом своим слушая его голоса, всякие живые твари начали пахально лезть на него: муравьи ползали по спине, бабочки то и дело садились на волосы, божьи коровки искали чего-то па лице, а зеленые жирные гусеницы торопливо взбирались на сапоги. Лесные птички что-то щебетали у него над головой, белка, выскочив из лесу, задрала рыжий хвост, раздумывая одно мгновение, не прыгнуть ли па него. А он ничего не замечал, весь погрузившись душой во что-то, что исходило от этих необъятных земных просторов и наполняло его упонительной, невыразимой радостью.

Казалось ему, будто он вместе с ветром носится по полям, колышется вместе с влажно блестящим мягчайшим руном травы, бежит ручьем по горячим пескам среди лугов, где благоухает сено. Он летел с птицами высоко над землей и, полный неведомых сил, окликал солнце. Потом снова становился шумом полей, колыханием лесов, стремительной силой всякого роста и мощью земли, рождающей в радости и веселье. Он постигал не только все то, что можно видеть и чувствовать, осязать и понимать умом, но и то непостижимое, что открывается иным лишь в час смерти, что томит всю жизнь человека и влечет его в неведомое, исторгает блаженные слезы или наваливается на него каменной глыбой неутолимой тоски.

Все это пронеслось сквозь него, как облака, — не успе-

вал он уловить одно, как уже приходили другие, новые ощущения, еще более неуловимые.

Он не спал, по сон сыпал ему в глаза маковые зерна и уводил куда-то выше земли, в страну чудес.

Человек он был жесткий, не склонный к чувствительности, но в эти дивные минуты готов был припасть к земле, прильнуть к ней горячими устами, обнять весь этот любимый мир.

— Видно, меня так от воздуха разбирает! — оборонялся он, протирая глаза кулаком и хмурия брови. Но разве мог он превозмочь это, задушить в себе радость жизни, разгоревшуюся ярким пламенем?

Ведь он опять был на земле отцов и праотцов, среди своих — так и не диво, что чувство счастья переполняло его, и каждое биение сердца звучало громким и веселым криком на весь мир: «Вот я снова здесь! И здесь остаюсь!» Он внутренне распрямлялся, готовый вступить в эту новую жизнь, которую прошел уже его отец, прошли деды и прадеды, он так же, как они, подставлял плечи, чтобы взять на себя бремя тяжелого труда и нести его неутомимо и бесстрашно до тех пор, пока Петрусь, в свою очередь, не сменил его...

«Так уж оно положено! Молодой за старым, сын за отцом, — всегда, куда будет на то твоя воля, Иисусе», — думал он.

Подпер руками отяжелевшую голову, но она опускалась все ниже под грузом всяких мыслей и воспоминаний, и голос, суровый и карающий, голос совести, говорил ему горькую и мучительную правду, а он смиренно склонился перед ним, признаваясь во всех своих грехах. Тяжело далась ему эта исповедь, нелегко было каяться, но он превозмог гордость, поборол в себе самолюбие и тщеславие, беспощадно и трезво пересмотрел всю свою жизнь. Каждый свой поступок понял он теперь до конца, разбирал его и судил сам себя со всей строгостью.

«Глуп я был — вот что! На свете все должно идти своим порядком. Ах, и мудро же говаривал отец: «Когда все едут в одну сторону, беда тому, кто с воза свалится, — попадет под колеса! Пеший конному не товарищ». Да, видно, каждому человеку приходится до всего своим умом доходить! И многим это дорого обходится!» — уныло размышлял Антек, и горькая усмешка бродила на его губах.

От леса донесся стук колотушек и мычанье возвращавшегося домой стада.

Аптек поднял Петруся и пошел обочиной дороги, пропуская вперед скот, который гнали с лесных пастбищ.

Пыль из-под копыт тучей поднималась выше тополей, и в этом тумане, розовом от вечерней зари, мелькали большие рогатые головы. По временам овцы сбивались в кучу — их сгоняли собаки, не давая свернуть в придорожное поле. Впзжали свиньи под ударами кнута, мычали телята, отбившиеся от матерей. Несколько пастухов ехали верхом, остальные шли пешком за стадом, щелкая кнутами, переговариваясь и покрикивая. Иногда кто-нибудь запевал так громко, что ему отвечало эхо.

Все они уже обогнали Антека, когда его заметил Витек и подбежал поздороваться и поцеловать руку.

— А здорово ты вырос! — ласково сказал ему Аптек.

— Вырос, верно: те штаны, что дали мне осенью, уже мне до колен!

— Ничего, хозяйка даст тебе новые, не беспокойся. А что, коровам на выгоне корма хватает?

— Где там! Трава вся выжжена! Кабы хозяйка не давала им дома сена, у них молоко совсем пропало бы... Дайте-ка мне Петруся, я его покатаю маленько на лошади!

— Нельзя, вдруг не удержится и слетит!

— Да я его сколько раз возил на кобыле! Ведь придерживать буду, не бойтесь! Дайте, хлопчик страсть как лошадей любит!

Он взял Петруся и посадил на старую клячу, которая плелась, опустив голову. Мальчик ухватился ручонками за гриву и, колотя лошадь голыми пятками по бокам, радостно покрикивал.

— Ишь какой молодец! Сынок ты мой милый! — прошептал Антек. Он свернул в поле и пошел межам к дороге, огибавшей овины.

Солнце только что зашло, и небо было золотое, а местами пежно-зеленое. Ветер утих, колосья тяжело клонились к земле, в поля доносился обычный шум деревенской жизни и отдаленное пение.

Аптек шагал медленно, словно изнемогая под бременем воспоминаний. Он думал о Ягусе. Видел перед собой ее голубые глаза и сверкающие зубы меж полных красных губ, дышавших, казалось, так близко, что он даже вздрагивал и останавливался. Она стояла перед ним, как живая, и он протирали глаза, гнал ее из памяти, но она, как назло, шла рядом, плечо к плечу, как бывало, и так же,

как тогда, веяло от нее жаркой страстью, от которой кровь ударяла ему в голову.

«Пожалуй, хорошо, что Ганка выгнала ее из дому! Как заноза, сидит она во мне, и боль не проходит... Ну, да что было, того не воротить!» — Он вздохнул, удивляясь, отчего так больно сжимается сердце.

— Нет, нельзя! — резко сказал он себе, выпрямляясь. — Кончилась собачья свадьба!

Он вошел уже к себе во двор. Во дворе былолюдно и шумно, все заняты были обычными вечерними работами, Юзька доила у хлева коров и визгливо пела, а Ганка на крыльце месила муку на клецки.

Антек поговорил с Петриком, поившим лошадей, и зашел на половину отца. За ним тотчас суцулась туда и Ганка.

— Надо будет все в порядок привести, и переберемся сюда. Известка у нас есть?

— Есть, я на ярмарке купила. Завтра же позову Стаха, он побелит. Здесь нам удобнее будет!

Антек обходил все углы, о чем-то размышляя.

— В поле был? — спросила Ганка робко.

— Был. Все хорошо, Гануся, я и сам бы лучше не распорядился.

Она густо покраснела от радости.

— Только Петрик этот — ему свиней пасти, а не поле обрабатывать! Пачкун!

— Думаешь, не вижу? Я даже разузнавала уже насчет нового работника.

— Ничего, я его к рукам приберу. А не будет слушаться — выгоню на все четыре стороны!

Ганка хотела еще что-то сказать, но, услышав рев детей, побежала к ним, а Антек вышел во двор. Он внимательно осматривал все, и хотя редко бросал какое-нибудь слово, лицо его было так сурово, что у Петрика душа ушла в пятки, а Витек старался не попадаться хозяйни на глаза.

Юзька доила уже третью корову и пела все громче:

Стой, Сивуля, стой!
Молочка побольше дай!

— Орешь, как будто с тебя шкуру дерут! — прикрикнул на нее Антек.

Юзька замолкла. Но она была девочка самолюбивая и

упрямая и скоро опять запела, только уже потише, с некоторой опаской.

— Ты бы перестала горло драть — хозяйин дома! — строго сказала ей Ганка, принесшая пойло для последней коровы. — Скоро, скоро он всех вас заставит слушаться! Антек взял у нее из рук ушат и, подставляя его корове, сказал со смехом:

— Вой, Юзя, вой, крысы скорее из хаты сбегут.

— Что захочу, то и буду делать! — дерзко ответила Юзья, но когда они отошли, сразу притихла и только все коснулась на брата да шмыгала носом.

Ганка возилась со свиньями, таская им тяжелые ушаты с пойлом. Антек даже пожалел ее и сказал:

— Пусть хлопцы отнесут, тебе, я вижу, не под силу. Вот погоди, найму тебе работницу, от Ягустники пользы не больше, чем от козла молока. А что это ее сегодня не видно?

— К детям убежала, мприться хочет с ними. Да, работница пригодилась бы, только расход большой! Я и сама, конечно, могу управиться, но как хочешь, твоя воля! — От избытка благодарности она готова была целовать ему руки, но только сказала весело:

— А тогда можно бы и гусей побольше развести и еще одного боровка откормить на продажу!

— Хозяева мы теперь, так надо хозяйство вести так, как велось при отце и деде! — сказал Антек, помолчав.

После ужина он вышел посидеть на завалинке. Стали сходиться знакомые и друзья, здоровались, поздравляли с приездом.

Пришли Матеуш и Гжеля, пришел Стах Плошка, Клемб с сыном, двоюродный брат Антека, Адам Боряна, и другие.

— Заждались мы тебя, как коршун дождя, — сказал Гжеля.

— Что подделаешь, держали меня и держали! Никак не вырваться было от этих волков!

Все уселись в темноте на завалинке, только Рох сидел под окном, в широкой полосе света, лившейся из комнаты в сад.

Вечер был теплый, тихий и звездный, меж деревьев блестели оготки. По временам вздыхало озеро, и у всех хат на завалинках сидели люди, наслаждаясь прохладой.

Антек стал расспрашивать о деревенских делах, но Рох перебил его:

— А знаете, друзья, начальство приказало не позже, как через две недели, созвать сход и утвердить школу.

— Нам что за дело, пускай старпки решают! — выскочил было Стах Плошка, но Гжеля напал на него:

— Это легче всего — сваливать все на стариков, а самому лежать брюхом кверху! Оттого-то у нас в деревне такое и творится, что молодым ни до чего дела нет!

— Получу надел, тогда и буду голову ломать!

Разгорелся яростный спор, но вмешался Антек:

— Нечего и говорить, что школа в Липцах пужба! Да только не такая, какую начальство нам навязывает. На эту пельзя давать ни гроша.

Его поддержал Рох. Он стал уговаривать мужиков не давать денег на школу.

— Вы постановите платить по злотому, а потом вам по рублю велят доплатить... Помните, как было, когда дом для суда строили? Там кое-кто здорово подкормился на ваши деньги, изрядное брюхо отрастил.

— Уж я постараюсь, чтобы сход денег не дал! — шепнул Гжеля Роху, подсев к нему. А Рох немного погодя отвел его в сторону, передал какие-то книжки и листки и тихо и серьезно объяснял ему что-то.

Остальные поговорили еще о том о сем, но как-то вяло. Даже Матеуш был сегодня невесел, говорил мало и внимательно следил глазами за Антеком.

Собирались уже расходиться, — ведь чуть свет надо было вставать на работу, но прибежал кузнец. Он только сейчас вернулся из усадьбы и на чем свет стоит ругал всю деревню.

— Какая муха тебя опять укусила? — спросила Ганка, высунувшись из окна.

— Сказать даже совестно, что за олухи наши мужики! Пан с ними, как с людьми, говорит, как с хозяевами, а они хуже ребят, что гусей пасут. Сговорились уже обо всем с паном, и все, как один, согласны были, а как пришлось подписывать — так один за ухом чешет и бормочет: «Уж не знаю, право...», другой говорит, что с женой посоветуется, третий начинает конючить, чтобы ему еще соседний лужок прибавили. Что с таким народом сделаешь? Помещик так рассердился, что о мировой и слушать больше не хочет, и даже не велел пускать липецкую скотину в лес пастись, а кто погонит ее туда, с того штраф брать.

Всех изволновала неожиданная весть. Ругали виноватых, спорили между собой все ожесточеннее. Наконец Матеуш сказал грустно:

— А все оттого, что народ у нас темный, глупый, как бараны, и пекому его вразумить.

— Да мало ли Михал всем растолковывал?

— Что там Михал! Он о своей выгоде хлопочет и с помещиком всегда заодно — вот народ ему и не верит. Слушать-то слушают, а идти за ним не хотят.

Кузнец вскочил, стал горячо доказывать, что он хлопочет только о благе деревни, что он даже своим поступается, только бы устроить эту сделку с помещиком.

— Хоть в костеле присягай — и то тебе не поверят! — буркнул Матеуш.

— Ну, тогда пусть кто другой попробует, посмотрим, сумеет ли! — воскликнул кузнец.

— Ясное дело, кто-нибудь должен за это взяться.

— Но кто? Может, ксендз? Или мельник?.. — раздались насмешливые голоса.

— Кто? Антек Борыпа — вот кто! А если и он не вразумит наших мужиков, тогда надо плюнуть на все это дело.

— Да что ж я? Кто меня слушать станет? — смущенно пробормотал Антек.

— Голова на плечах у тебя есть, в деревне ты теперь первый хозяин, — все тебя послушаются.

— Правда! Верно! Пойдем за тобой! — заговорили вокруг. Кузнецу это, видно, не понравилось, он беспокойно вертелся, дергал усы и ядовито усмехнулся, когда Антек сказал:

— Ну, ладно, не святые горшки лепят, могу и я попробовать. На днях поговорим об этом.

Стали расходиться, по каждый отдельно отзывал Аптека в сторону, уговаривал, обещал идти за ним, а Клемб сказал ему:

— Народом всегда должен верховодить кто-нибудь, у кого и разум есть, и сила, и совесть.

— И кто, коли понадобится, сумеет палкой ребра пересчитать!.. — со смехом вставил Матеуш.

Скоро на завалинке под окном остались только кузнец и Антек — Рох молился на крыльце.

Оба долго сидели молча, занятые своими мыслями. Слышна была возня Гапки в комнате. Она взбивала подушки и перины, надевала чистые наволочки, потом дол-

го молилась, словно перед великим праздником, расчесывала у окна волосы и все истерпеливее поглядывала на мужа и кузнеца. Она наострила уши, когда кузнец тихо заговорил. Он советовал Антеку не браться за это дело, уверяя, что с мужиками ему не сладить, а помещик настроен против него.

— Неправда! Он за него поручиться хотел в суде! — крикнула Ганка в окно.

— Если ты больше меня знаешь, так давайте о другом говорить! — Кузнец был зол, как черт.

Антек встал, сонно потягиваясь.

— Одно скажу тебе напоследок: ведь выпустил тебя до суда, так? А ты ввязываешься в чужие дела, не зная еще, что суд насчет тебя решит!

Антек сел снова и так глубоко задумался, что кузнец, не дождавшись ответа, ушел домой.

Ганка вертелась у окна, то и дело поглядывая на мужа, но он не замечал ее. Наконец она сказала робко и умоляюще:

— Пойдем, Антек, спать пора... ты небось порядком устал...

— Иду, Ганусь, иду. — Он тяжело поднялся.

Ганка начала торопливо раздеваться, дрожащими губами бормоча молитву.

«А что, если меня в Сибирь сошлют?» — думал Антек, входя в избу.

V

— Петрик, принеси-ка дров! — крикнула с крыльца Ганка. Она была растрепана и вся в муке — месила хлеб.

В печи уже гудел огонь. Ганка то поправляла его, то принималась лепить караван и выносила их на крыльцо, на солнце, чтобы скорее всходили. Она двигалась проворно, так как тесто уже лезло из большой квашни, прикрытой перепой.

— Юзька, подбрось дров в печь, под еще совсем не нагрелся!

Но Юзьки не было в избе, а Петрик не спешил исполнить приказание — он во дворе накладывал навоз на телегу и преспокойно беседовал со слепым пшчим, который у амбара плел из соломы перевясла.

Полуденное солнце сильно пекло. Со стен сочилась смола, земля обжигала ноги, и даже двигаться было труд-

но. Сленни, громко жужжа, носились над телегой, а лошади, спасаясь от их укусов, металась из стороны в сторону и чуть не рвали упряжь.

Стояла гнетущая жара, клошившая ко сну, даже птицы замолкли в саду, куры лежали под плетнем, как мертвые, а поросята, хрюкая, разлеглись в грязи у колодца. От навоза шел такой едкий смрад, что слепой то и дело чихал.

— На здоровье, дедушка!

— Да-а! Это тебе не ладан! Хоть я и привык, а за-свербило в носу хуже, чем от табаку!

— К чему привыкнешь, то и нравится! Так сказал мой унтер, когда на ученье первый раз дал мне в морду.

— Ну и что, привык ты? Хи-хи-хи!

— Нет, мне скоро падоела такая наука, поймал я этого стервеца в укромном месте да так ему рожу разукрасил, что вспухла, как горшок. После этого он меня больше не бил...

— Долго ты служил?

— Целых пять лет. Откупиться нечем было, вот и пришлось ружье таскать. Сначала помыкал мною, кто хотел, натерпелся я... потом товарищи научили. Долго над моей речью все потешались, но я не одному пощупал ребра — и оставили меня в покое.

— Ишь какой богатырь!

— Богатырь не богатырь, а с тремя справлюсь! — похвастал Петрик с усмешкой.

— И на войне был?

— Как же, с турками воевал. Разбили мы их наголову!

— Петрик, где же дрова? — крикнула снова Ганка.

— Там, где и были! — пробурчал Петрик себе под нос.

— Ведь тебя хозяйка зовет, — напомнил ему слепой.

— Ну и пусть зовет. Еще чего! Может, и посуду скоро мыть заставит?

— Оглох, что ли? — завопила Ганка, выбежав на крыльцо.

— Печку топить я вам не занимался! — крикнул Петрик в ответ.

Ганка разразилась бранью, но пареш дерзко отругивался, так и не подумав выполнить ее приказание. А когда она уж очень допекла его каким-то замечанием, он воткнул вилы в навоз и злобно закричал:

— Я вам не Ягуся, меня криком не выгоните!

— Я тебе покажу! Попомнишь меня! — грозила заде-

тая за живое Гапка и в раздражении принялась с таким азартом месить тесто, что облако мучной пыли наполнило комнату и летело из окон.

Долго еще Гапка, то вынося хлеб на крыльцо, то подбрасывая дров в печь, то выбегая, чтобы взглянуть на детей, продолжала ворчать на дерзкого парня. Она устала от работы и жары; в комнате можно было задохнуться, в снях было не лучше — там топилась хлебная печь. К тому же мухи, облепившие стены, сильно падали, и она чуть не плакала, отмахиваясь от них веткой. Вся в поту, раздраженная, она работала все медленнее.

Она месила последнюю порцию теста, когда Петрик выехал со двора.

— Постой, дам поесть!

— Тпру!.. Давайте! У меня уже и то от голода в животе урчит.

— Мало ты ел за обедом, что ли?

— Э... Пустая еда проходит через живот, как сквозь сито.

— Пустая, скажите пожалуйста! Мясо, может, тебе давать? Я сама тайком колбасу не жру. У других перед жатвой и того нет. Посмотри, как живут коморники!

Она вынесла ему на крыльцо крынку простокваши и краюху хлеба.

Петрик жадно принялся за еду. Ел медленно, бросая кусочки хлеба аисту, который приковылял из сада и караулил подле него, как собака.

— Простокваша жидкая, одна сыворотка, — пробурчал он, уже немного утолив голод.

— А тебе сметаны захотелось? Подождешь!

Когда он наелся и взял уже в руки вожжи, она добавила колко:

— Наймись к Ягусе, она тебя лучше кормить будет!

— Это уж навверняка. Пока она здесь хозяйкой была, никто не голодал!

Он стегнул лошадей и пошел со двора, подпирая плечом телегу.

Слова его больно уязвили Гапку, но раньше, чем она успела ответить, Петрик был уже за воротами.

Ласточки щебетали под стрехой. Стая голубей, воркуя, слетела на крыльцо. Гапка согнала их, но в эту минуту от сада допеслось хрюканье, и она испугалась, не копаются ли свиньи на грядках лука. Но оказалось, что это соседская свинья подрывает плетень.

— Сущь только рыло да сожри что-нибудь, уж я тебя отделаю!

Едва она опять взялась за работу, как аист вскочил на крыльцо и украдкой, косясь на нее то одним, то другим глазом, стал клевать сырые караваи и большими кусками глотать тесто.

Ганка с криком кинулась к нему. Он удирал, вытянув клюв и наснех глотая, а когда она уже почти догнала его и замахнулась поленом, он взлетел на крышу амбара и долго стоял там и курлыкал, чистя клюв о соломенную стреху.

— погоди, вор ты этакий, я тебе ноги переломаяю! — грозила она, заравнивая дыры в караваих.

Примчалась Юзья, и Ганка выместила свое раздражение на ней.

— Где тебя носит? Вечно гоняешь по деревне, задрал хвост! Вот скажу Аптеку, какая ты работница! Выгребай из печки, живо!

— Я только к Касе Плошковой сходила. Все в поле: ей, бедняжке, и воды подать некому.

— А что, разве она хворает?

— Ну да. Оспа, должно быть, она вся красная и горит, как в огне.

— Вот занеси только болезнь в дом, так я тебя в больницу отправлю!

— Не заражусь, я сколько раз у больших сиживала! Забыла ты, как я с тобой возилась, когда ты рожала?

Юзя продолжала болтать, отгоняя мух от теста и принимаясь выгребать угли из печи.

— Надо людям обед в поле отнести, — перебила ее Ганка.

— Сейчас пойду. Аптеку приготовить яичницу?

— Приготовь. Только сала много не клади.

— И ему сала жалеешь?

— Не жалею, а боюсь, как бы ему не повредило, если слишком жирно будет.

Девочке хотелось идти в поле, она мигом управилась с работой и, раньше чем Ганка закрыла отверстие печи, взяла три крынки с молоком, хлеба в фартук и побежала.

— Погляди, высох ли холст, а когда назад пойдешь, помочи его опять, тогда он еще до вечера высохнет! — крикнула ей Ганка в окно, но Юзя была уже за плетнем, и только песня летела за ней следом да во ржи мелькала русая головка.

На участке у леса поденщицы раскидывали навоз, который подвозил Петрик, а Антек запахивал его.

Глинистая земля, несмотря на то, что ее недавно борошили, была сухая и твердая, трескалась, точно камни, и лошади, тащившие плуг, папрягались так, что рвали постромки.

Антек, словно вросший в плуг, пахал усердно, забыв обо всем на свете. Иногда стегал лошадей, но чаще понукал их только причмокиванием, потому что они совсем изнемогали от тяжелой работы и жары. Твердо и осторожно вел он плуг и взрезал пласт за пластом, проводя широкие, прямые загоны. Поле предназначалось под пшеницу.

По бороздам расхаживали вороны, выклеывая червей, а гнедой жеребенок, щипавший траву на меже, то и дело рвался к матери, добираясь до ее сосцов.

— Ишь что вспомнил, сосун! — буркнул Антек, шлепнув его по ногам. Жеребенок задрал хвост и отскочил в сторону, а он терпеливо продолжал пахать, порой только окликая баб. Он был сильно утомлен и, когда подъехал Петрик, крикнул сердито:

— Люди ждут, а ты тащишься, как мусорщик!

— Дорога тяжелая, лошадь еле ноги волочит.

Лошади Антека уставали все больше, были уже все в мыле. Да и ему пот заливал глаза, руки немели. Увидев Юзьку, он радостно воскликнул:

— Вовремя пришла! Мы уж тут из сил выбились.

Он допахал полосу до леса, отпряг лошадей и пустил их на густо поросшую травой дорогу вдоль опушки, а сам прилег в тени и с жадностью пил молоко прямо из крынки. Юзька села рядом и тотчас принялась болтать.

— Отстань, не интересуют меня эти глупости! — проворчал Антек.

Юзька обижено огрызнулась и убежала в лес по ягоды.

Бор стоял тихо, нагретый, благоухающий, в легкой дымке солнечного ливня. Только по временам шевелились зеленые заросли, и тогда из глубин лесной веяло смолистым запахом сосен, доносились какие-то ауканья и пение птиц.

Антек растянулся на траве и курил. Неясно, как сквозь туман, видел он помещика, скакавшего верхом по полю, и каких-то людей с пестами.

Сосны-великаны, словно отлитые из меди, высились над ним, и зыбкая тень их скользила по глазам, наводя сон.

Он совсем уже было задремал, как вдруг на дороге загрохотал чей-то воз.

«Это работник органиста на лесопилку лес возит», — подумал Антек, приподняв отяжелевшую голову, и опять упал на траву. Но он уже не уснул, потому что кто-то рядом крикнул: «Слава Иисусу!»

Это коморницы гуськом выходили из лесу с вязанками хвороста на спине, а позади всех плелась Ягустинка, согнувшись под своей пошей чуть не до земли.

— Отдохните, у вас уже глаза на лоб лезут!

Она села рядом, прислонив вязанку к дереву, и с трудом перевела дух.

— Не под силу вам такая работа! — сказал Антек сочувственно.

— Да, совсем я замучилась.

— Петрик, погуще павоз клади, погуще! — крикнул Антек работнику. — А что же вам никто не поможет?

Ягустинка только поморщилась и отвела больные, воспаленные глаза.

— Поддались вы что-то. И не узнать вас!

— Под молотом и кремнь поддается, — вздохнула Ягустинка, поцурив голову. — Нужда съедает человека скорее, чем ржа железо.

— Да, в нынешнем году и хозяевам трудно приходится перед жатвой.

— Кто одну лебеду с отрубями ест, тому вы про пужду хозяев не рассказывайте!

— Побойтесь бога, что же вы молчали? Приходите вечером, найдется еще для вас какой-нибудь корец картошки. В жатву отработаете.

Ягустинка заплакала и не могла выговорить ни слова благодарности.

— А может, Гапка и еще что-нибудь для вас найдет, — добавил Антек ласково.

— Кабы не Гапка, мы бы давно околели, — зашентала Ягустинка сквозь слезы. — Ясное дело, отработаю, когда только потребуется, спасибо вам! Я не о себе хлопочу... Что я? Ветошь старая, и к голоду мне не привыкать... А вот как ребятки мои родимые запишат: «Бабуся, есть!» — и почем им голодные рты заткнуть, так, скажу тебе, я бы руки себе отрубила или алтарь ограбила да корчмарю снесла, только бы их накормить!

— Так вы опять с детьми вместе живете?

— Да, ведь мать я... неужто я их в такой нужде остав-

лю? А пынешним летом на них все беды валятся. Корова околела, картошка сгнила, для посадки — и то пришлось покупать... А потом ветром амбар свалило. К тому же невестка с самых родов все хворает, и хозяйство брошено на волю божью.

— Еще бы, коли Войтек ваш только и знает, что в корчме сидеть да водку пить.

— Выпивал он с горя, только с горя, а с той поры, как получил в лесу работу, он к Япкелю ни ногой, — это тебе всякий скажет! — горячо вступилась за сына Ягустинка. — Бедняку каждая рюмочка в счет! Больно уж господь бог расхотелся!.. Так взъесться па одного темного мужика! И за что? Что он худого сделал? — бормотала она, поднимая к небу грозно вопрошающие глаза.

— А вы-то сами мало их проклинали? — сказал Аптек сурово.

— Станет Иисус слушать дурацкую болтовню! Да если бы и стал... — Она заговорила тревожнее. — Ведь если мать и клянет детей, в душе она им зла не желает, нет! Чего в гневе не сбрехнешь!

— А что, Войтек луг отдал уже в аренду?

— Мельник давал ему целую тысячу золотых, да я по позволила сдать. Что этому волку попадет в лапы, сам черт у него не вырвет! Может, еще кто другой подвернется, у кого деньги есть...

— Луг хороший, верных два покоса в год! Эх, были бы у меня лишние деньги! — вздохнул Аптек, облизываясь как кот па молоко.

— Его еще Мацей хотел купить, потому что он рядом с Ягусиным полем.

Аптек дрогнул при этом имени, но только через несколько минут спросил с притворным равнодушием, блуждая взглядом по дальним полям:

— А что там у Доминиковой слышно?

Но Ягустинка видела его насквозь. Усмешка пробежала по ее увядшим губам, глаза заискрились, и, придвинувшись ближе, она жалостливо сказала:

— А что? Ад, да и только! В доме как после похорои, тоска просто душу леденит, ниоткуда ни помощи, ни утешения. Глаза они выплакали, ожидая, когда господь над ними смилуется. А особенно Ягуса...

И пошла, словно пряжу разматывала, рассказывать о Ягусе, о ее несчастьях, печали и одипочестве. Говорила с жаром, подлаживаясь к Аптеку и стараясь выпытать у

него что-нибудь, но он упорно молчал: его вдруг одолела мучительная тоска.

К счастью, вернулась Юзька с полным фартуком черники. Она отсыпала ему ягод в шапку и, собрав крынки, со всех ног побежала домой.

А Ягустника, не дождавшись от Антека ни слова, стала подниматься, кряхтя и охая.

— Погодите! Петрик, подвези ее! — коротко приказал Антек и опять взялся за плуг. Некоторое время он терпеливо взрезал твердую, словно спекшуюся землю, гнулся, как вол в ярме, весь ушел в работу, но тоска не проходила. День казался ему слишком долгим, он часто поглядывал на солнце и нетерпеливым взглядом измерял поле — оставалось вспахать еще порядочный кусок. И он все больше злился и без всякой надобности стегал лошадей да резко покрикивал на женщин, чтобы они живее шевелились! Что-то его томило так, что было уже невмogu, а в голове снова мысли, от которых глаза застилало туманом, и плуг все чаще вихлялся в руках, задевая за камни, а у леса так глубоко ушел под какой-то корень, что сошник оторвался.

Пахать дальше было невозможно. Антек поставил плуг на полозья и, заложив мерина, поехал домой взять другой плуг.

В избе никого не было, все валялось в беспорядке, испачканное мукой, а Ганка с кем-то бранилась в саду.

— Неряха! Ругаться — на это у нее время есть! — проворчал Антек, выходя во двор. Там он еще больше разозлился, когда оказалось, что и второй плуг, вытащенный им из-под навеса, тоже никуда не годится. Долго он что-то мастерил, пробуя его починить, и все с большим раздражением прислушивался к перебранке в саду. Вздвешенная Ганка кричала:

— Заплати за убытки, тогда выпущу твою свинью, а не заплатишь — в суд подам! Полотно, что белилось на поляне, она мне весной изорвала, картошку подрyla — за все заплати! У меня свидетели есть! Ишь какая хитрая, думает свиней моим добром откармливать! Да нет, шалишь, своего не подарю! В другой раз и твоей свинье и тебе ноги переломаяю!

Ганка визжала все пeнстoвее, соседка тоже в долгу не оставалась, они ругались вовсю, грозя друг другу через плетень кулаками.

— Ганка! — крикнул Антек, взваливая плуг на спину.

Она прибежала, возбужденная, растрепанная, охрипшая от крика.

— Чего ты орешь на всю деревню?

— Свое защищаю! Что же, позволить, чтобы чужие свиньи на моем огороде рылись? Мне будут пакостить, а я — молчать? Не дождутся они этого! — выкрикивала Ганка, но он резко остановил ее:

— Оденься! Ходишь каким-то пугалом.

— Вот еще, стану я на работе рядиться, как в костел!

Он оглядел ее с отвращением, — она и в самом деле имела такой вид, как будто ее только что вытащили из-под кровати, — и, пожимая плечами, ушел в кузницу чинить плуг.

Кузнец работал: уже издали слышны были звонкие и сильные удары молотов, а в кузнице гудел огонь и было жарко, как в пекле. Когда Антек вошел, Михал со своим подручным ковали толстые железные полосы. Пот ручьями лил с его намазанного лица, но он ковал без передышки, с каким-то остервенением.

— Для кого это такие хорошие оси?

— К телеге Плошки. Он будет возить лес на лесопилку.

Анте́к присел на пороге и стал свертывать паппросу.

Молоты все били непрерывно: раз — два, раз — два; красное железо делалось под их ударами податливым, как тесто, и его гнули, как хотели. Кузница вся содрогалась от грохота.

— А ты не хочешь возить? — спросил Михал, сунув железо в огонь и раздувая мехи.

— Да разве мельник допустит? Он, говорят, вошел в компанию с органистом...

— Лошади у тебя есть, работник баклуши бьет... а платят хорошо! — соблазнял его кузнец.

— Конечно,годились бы деньги к жатве, но я мельнику кланяться не стану!

— А ты бы с купцами поговорил...

— Да я их не знаю... Вот кабы ты за меня похлопотал!..

— Если просишь, так поговорю, сегодня же к ним сбегаю.

Анте́к поспешно отступил за порог, потому что опять загремели молоты и огненным дождем посыпались искры.

— Я сейчас приду, погляжу только, какое дерево возьм.

И на лесопильне кипела работа. Пилы с глухим скрежетом разрезали длинные бревна, ревела вода, падая с колес в реку, и пенясь, бурлила в тесных берегах. Стелег сваливали сосны, такие тяжелые, что гудела земля, и шесть мужиков обтесывали стволы, а другие укладывали готовые доски на солнце.

Всем управлял Матеуш, мелькавший то тут, то там. Он распоряжался толково и зорко следил за всем.

Он дружески поздоровался с Антеком.

— А где же Бартек? — спросил Антек, ища его глазами среди рабочих.

— Надоели ему Липцы и ушел куда глаза глядят.

— Есть же люди, которым не сидится на месте!.. Работы у тебя, я вижу, надолго хватит, — столько лесу!

— Да, хватит на год, а то и больше. Если помещик с мужиками столкнется, так он половину бора вырубит да продаст.

— А знаешь, на Подлесье пыпче опять землю разме-
ряют!

— Да ведь каждый день кто-нибудь из мужиков с паном отдельно договаривается! Бараны этакие, не захотели нас послушать и всем миром с ним сторговаться — он тогда дал бы больше. А теперь они поодиночке, втихомолку это делают, один другого хочет обскакать!

— Иной человек — как осел: хочешь, чтобы он вперед шел, так тащи его за хвост! Теперь пан у каждого сколько-нибудь да урвет.

— А ты свою землю получил?

— Нет, еще срок не вышел после смерти отца, делиться нельзя. Но я себе уже присмотрел поле.

На том берегу между ольхами мелькнуло чье-то лицо, и Антеку показалось, что это Ягуся. Продолжая разговаривать с Матеушем, он все беспокойнее вглядывался в прибрежные заросли.

— Жара какая... Надо пойти искупаться, — сказал он наконец и зашагал вниз по берегу, как будто бы выбирая удобное место, но, как только деревья его заслонили, пустился бежать.

Да, это была она. Шла с мотыгой на капустное поле.

— Ягуся! — окликнул ее Антек, поравнявшись с ней.

Она быстро оглянулась, узнав голос, и увидела его

лицо, выглядывавшее из-за тростника. Остановилась, не зная, что делать, испуганная и растерянная.

— Не узнала? — взволнованным шепотом сказал Антек и попытался перейти к ней на другой берег. Но река в этом месте была глубока, хотя шириной всего в несколько шагов.

— Как же не узнать? — Ягна боязливо оглядывалась на капустное поле, где пестрели юбки баб.

— Где это ты прячешься, что и не видно тебя?

— Где? Выгнала меня твоя из дому, так живу у матери.

— Вот и насчет этого я хотел бы поговорить с тобой. Выйди, Ягна, вечером за погост, скажу тебе что-то. Приходи! — просил Антек.

— Как же! Еще кто-нибудь увидит! Нет, довольно с меня и того, что было! — возразила она твердо. Но он так приставал, так молил, что она смягчилась, ей стало жаль его.

— Да что же ты мне скажешь нового? Зачем меня зовешь?

— Неужели я тебе совсем чужой стал, Ягусь?

— Не чужой, да и не свой! Не до тебя мне...

— Ты только приходи, не пожалеешь! Боязно тебе за погост — так приходи за ксендзов сад. На то место... помнишь? Помнишь, Ягусь?

Ягна даже отвернулась — таким жарким румянцем вспыхнуло ее лицо.

— Не поминай, стыдно!.. — Она совсем смутилась.

— Приходи, Ягусь, я хоть до полуночи ждать буду.

— Ладно, жди. — Она вдруг повернулась к нему спиной и убежала в поле.

Анте́к жадно смотрел ей вслед, и такое страстное желание заговорило в нем, что он готов был бежать за ней и взять ее на глазах у всех... Он с трудом овладел собой.

«Нет, это меня от жары так разобрало!» — подумал он, торопливо раздеваясь, чтобы выкупаться в реке.

Освеженный купаньем, он размышлял:

«Слаб человек! Его, как пушину, бог весть куда занести может!»

Ему стало стыдно за себя, он осмотрелся по сторонам, не видал ли кто его с Ягной, и стал вспоминать все, что ему о ней рассказывали.

«Так вот ты какова, ягодка!» — думал он с презрением и невольной грустью, но вдруг остановился под дере-

вом и стоял с минуту, закрыв глаза, потому что все еще как будто видел ее перед собой во всей ее чудной прелесть.

— Другой такой на свете нет! — простонал он, и ему страшно захотелось еще раз увидеть ее, еще раз прижать ее к груди и пить радость из этих алых губ, упиться их сладким медом насмерть...

— В последний раз, Ягуся! Только одип разок еще! — шептал он с мольбой, словно она была тут, перед ним. Долго потом протирал он глаза и озирался кругом, пока не пришел в себя.

Он пошел назад в кузницу. Михал был один и уже принимался за его плуг.

— А выдержит твоя телега такую тяжесть? — спросил он.

— Ого! Было бы что класть на нее!

— Уж если я обещал, так будет!

Аптек начал делать расчет мелом на дверях.

— Я еще до жатвы заработаю триста злотых! — объявил он радостно.

— Как раз хватило бы на твое дело в суде! — заметил кузнец небрежно.

Антек сразу нахмурился, и в глазах его появился угрюмый блеск.

— Ох, это дело! Как вспомню, все из рук валится и жить не хочется...

— Оно и не диво... Одного я попятить не могу: почему ты никакого средства не ищешь?

— Что же я могу сделать?

— А сделать что-нибудь надо! Неужели под нож идти, как теленок к мяснику?

— Лбом стелу не прошибешь! — Антек печально вздохнул.

Михал с ожесточением ковал, а Аптек глубоко задумался. Думы эти были так тревожны, что он менялся в лице, порой вскакивал с места и беспомощно оглядывался. А кузнец дал ему вдоволь намучиться, украдкой следя за ним хитрыми глазами, и наконец сказал тихо:

— Вот Казимир из Модлиц нашел же средство...

— Это тот, что бежал в Америку?

— Он самый. Умец, шельма, понимал, что его ждет...

— Да разве доказано было, что он убил стражника?

— Он не ждал, пока докажут! Не дурак он, чтобы в тюрьме гнить.

— Ему-то легко было уехать — холостой!

— Кому спастись падо, тот ни на что не глядит. Я тебя уговаривать не хочу, чтобы ты не подумал, будто у меня тут свой расчет есть. Я только объясняю тебе, как делали другие. А ты поступай, как тебе покажется лучше. Вот вернулся же на праздниках Войтек Гайда из тюрьмы! Десять лет — еще не вся жизнь, можно вытерпеть...

— Десять лет! Господи! — простонал Антек, хватаясь за голову.

— Да, срок немалый, а он ровно десять лет пробыл на каторге.

— Все я готов вынести, только не тюрьму! Иисусе, я несколько месяцев просидел, а чуть с ума не сошел!

— А через три недели был бы ты уже за морем — вот спроси у Янкеля...

— Так далеко уехать, все бросить, оставить дом, детей... землю, родную деревню, и в такую даль... навсегда! — говорил Антек в ужасе.

— Столько людей уехали туда по доброй воле, и никому в голову не приходит возвращаться в здешний край.

— Мне и подумать об этом страшно!

— А ты погляди на Войтека да послушай, что он рассказывает про каторгу, так еще страшнее тебе станет. Мужичку сорока лет пет, а весь поседел, сгорбился, кровью харкает и едва ноги волочит. Того и гляди богу душу отдаст... Ну, да что тебе втолковывать, у тебя своя голова на плечах, сам рассудись.

Кузнец вовремя замолчал, понимая, что посеял тревогу в душе Антека и остальное можно предоставить времени. Он уже заранее радовался успеху своих планов и, починив плуг, сказал весело:

— Ну, теперь побегу к купцам, а ты назавтра готовь телегу — будешь лес возить. Насчет суда не думай! Что будет, то будет, на все воля божия! Вечером зайду к тебе.

Но Антеку не так легко было забыть этот разговор. Он проглотил дружеские советы кузнеца, как рыба крючок с приманкой, и теперь этот крючок разрывал ему внутренности. Страшные и мучительные мысли словно парализовали его.

— Десять лет! Десять лет! — бормотал он по временам, цепenea от ужаса.

Смеркалось, люди возвращались с поля. Во дворе поднялась суета, Витек пригнал стадо, и женщины готовились доить, возились с вечерней уборкой.

Анте́к выкатил телегу за гумно, чтобы осмотреть ее и приготовить к утру, но у него после разговора с кузнецом ко всему пропала охота, и он крикнул Петрику, поившему у колодца лошадей:

— Смажь телегу да приготовь ее на завтра, будешь лес возить на лесопилку.

Петрик сердито выругался — ему совсем не улыбалась такая работа.

— Заткни глотку и делай, что велено! Гапуся, дай лошадям три мерки овса, а ты, Петрик, принесешь им клевера с поля, пусть подкормятся.

Ганка пыталась его расспросить, но он буркнул в ответ что-то невнятное и, повертевшись во дворе, ушел к Матеушу, с которым они теперь были в большой дружбе.

Матеуш только что вернулся с работы и, сидя на завалипке, ел простоквашу, чтобы прохладиться.

Откуда-то, как будто из сада, слышался тихий жалобный плач.

— Это кто там ревет?

— Настуся. Ума не приложу, что делать с этой парой! Оглашение было, свадьба назначена на воскресенье, а Домнишкова вчера объявила через солтыса, что хозяйство все на нее записано, и она Шимеку не выделит ни полоски земли и в дом его не пустит. И она обязательно так сделает, — знаю я эту старую собаку!

— А Шимек что на это?

— Шимек? Как засел утром в саду, так и до сих пор сидит, словно пень, и даже Настусе ни слова не отвечает. Боюсь, не спятил бы!

— Шимек! — крикнул он в сад. — Иди-ка сюда! Боряна пришел, может быть, он что-нибудь посоветует.

Шимек появился через минуту и, ни с кем не здороваясь, сел на завалипке. Он за это время исхудал, высох, как осповая доска. Но глаза его горели, в осунувшемся лице читалась твердая решимость.

— Ну, что же ты надумал? — мягко спросил Матеуш.

— Да что? Возьму топор и зарублю ее, как собаку.

— Дурак! Этот вздор побереги для корчмы.

— Как бог свят, убью! А что же остается? Землю отцовскую она мне не отдает, из дому гонит и деньгами мою долю выплатить не хочет. Что я буду делать? Куда я, сирота, денусь, куда? Чтоб родная мать так сына обижала! — простонал Шимек, утирая рукавом слезы, но тут же вско-

чил и закричал: — Не отступлюсь от своего, псякрев! В тюрьме сгнию, а ей не спущу!

Его успокоили, но он сидел мрачный и такой злой, что не отвечал даже на слезливый шепот Настуси. Матеуш и Аптек стали совещаться, как бы ему помочь, но ничего не могли придумать — разве с Домниковой сладить?

Наконец Настуся, отозвав брата в сторону, стала что-то ему объяснять.

— Смотри-ка! Баба, а как дельно рассудила! — радостно воскликнул Матеуш, возвращаясь на место. — Она говорит, что надо купить у пана на Подлесье моргов шесть земли в рассрочку. Что, хорошо придумано? А матерп можно кукиш показать, пусть бесится!..

— Совет-то хорош, не хуже всякого другого, а деньги где?

— У Настки есть тысяча злотых, на задаток хватит.

— Ну, а где же пзба, скот, инвентарь, зерно для посева?

— Где? А вот тут! Тут! — неожиданно крикнул Шимек, вскочив и протягивая вперед сжатые кулаки.

— Гм... Сказать легко, а осилишь ли? — недоверчиво заметил Аптек.

— Дайте только землю, тогда увидите! — сказал Шимек твердо.

— Ну, значит, нечего и раздумывать — ступай к помещику и покупай.

— Погоди, Аптек, надо с мыслями собраться...

— Увидите, как я все налажу, — быстро заговорил Шимек. — Кто у матери пахал? Кто сеял? Кто жал? Я, я один! Худо, что ли, поля обрабатывал? Бездельник я какой-нибудь? Пусть вся деревня скажет, пусть мать скажет! Дайте только землю, подсобите, братцы, а я за это по гробу вам обязан буду. Помогите только, дорогие вы мои, поддержите! — твердил он, то плача, то смеясь, словно опьянев от радостной надежды.

Когда он немного успокоился, все вместе принялись обсуждать этот план.

— Только бы пан согласился на рассрочку! — вздохнула Настка.

— Мы с Матеушем поручимся за Шимека, тогда, я думаю, согласится.

Настуся так была растрогана добротой Аптека, что чуть не кинулась целовать ему руки.

— Я сам немало хлебнул горя, так знаю, каково дру-

гим! — промолвил Антек тихо и встал, собираясь уходить. Уже совсем стемнело, только небо еще светилось да на западе догорала вечерняя заря.

Антеки постоял у озера, колеблясь, куда идти, — и пошел домой.

Но шел он медленно, как будто против воли, то и дело останавливался поговорить со знакомыми. На улице былолюдно. Из-за плетней звенели песни, где-то кричали перепуганные гуси, у мельницы визжали купавшиеся мальчишки, на том берегу озера перебрашивались какие-то бабы, а пронзительные звуки дудки резали слух.

Хоть Антеки и не спешил и охотно останавливался по дороге, в конце концов он очутился перед своей избой. Окна были открыты и освещены, у стены плакал ребенок, а во дворе раздавался крикливый голос Ганки, и по временам сердито огрызалась Юзька.

Антеки опять остановился в нерешимости. Когда же Лапа радостно завизжал и стал кидаться к нему на грудь, он в неожиданном порыве раздражения пнул его ногой и повернул обратно. Дошел до тропинки, которая вела к плетням, проскользнул мимо дома органиста так бесшумно, что даже собаки его не почуяли, и вышел за сад ксендза на широкую межу, отделявшую его поля от полей Клембы.

Его укрыла густая тень пышно разросшихся здесь деревьев.

Лунный серп уже повис на темном небе, ярко мерцали звезды. Наступал вечер, росистый, очень теплый, настоящий летний вечер. Во ржи кричали перепела, с дальних лугов долетал глухой плач выпи, а над полями стояла благоуханная тишина.

Ягуса все не шла, а неподалеку от Антеки по меже прохаживался ксендз в белой сутане, с непокрытой головой. Он бормотал молитву, как будто не замечая, что его лошади, пасшиеся на голом вытоптанном перелогe, перешли межу и жадно циплют клевер Клембы, который рос густо, как лес, и уже цвел.

Ксендз ходил, бормотал молитвы, смотрел на звезды и время от времени, останавливаясь, настороженно прислушивался: чуть только со стороны деревни доносился какой-нибудь шум, он торопливо поворачивал обратно и с притворным гневом кричал на лошадей.

— Куда полез, Сивка? В Клембу клевер, а? Смотрите, какие жулики! Поправилось чужое, а? А батогом по ногам не хотите? Ну, говорю, батогом! — строго грозил он.

Но лошади так смачно хрупали клевер, что у ксепдза не хватало духу гнать их с чужого поля. Он только оглядывался и бормотал:

— Ну, поешьте немного, поешьте... Я уж зато помоюсь за Клемба или чем-нибудь ему отплачу... Ишь бездельники, как налегают на свежий клевер!

И опять ходил взад и вперед, читал молитвы и караулил, не подозревая, что Антек смотрит на него, слушает и с возрастающим беспокойством ждет Ягусю.

Так прошло добрых полчаса, и Антеку неожиданно пришла мысль подойти к ксепдзу и посоветоваться с ним о своих делах.

«Человек он ученый, лучше моего понимает, что надо делать», — рассуждал он про себя, отходя в темноте за амбар. Обогнув его, он уже смело вышел на межу и громко откашлялся.

Ксепдз, услышав, что кто-то идет, заорал на лошадей:

— Ах вы, пакостники негодные! Ни на минуту глаз с них спускать нельзя — сейчас в чужое поле заберутся, как свиньи! Сюда, Каштан! — И, подобрав сутану, побежал выгонять лошадей.

— Борына, ты? Как живешь? — сказал он, когда Антек подошел ближе.

— А я ищу вас, ваше преподобие, в плебанию заходил...

— Вот вышел помолиться и заодно лошадок покараулить, потому что Валек побежал в усадьбу. Такие они у меня поровистые, такие пакостники, просто беда!.. Гляди, как у Клемба густо клевер взошел! Это из моих семян... А у меня весь морозомхватило, одна ромашка да осот растут! — горестно вздыхая, говорил ксепдз.

Он сел на камень.

— Ну, садись, потолкуем. Славная погода! Недели через три зазвонят косы!

Антек сел рядом и стал не торопясь рассказывать, зачем пришел. Ксепдз слушал его внимательно, нюхая табак, звонко чихал и время от времени покрикивал на лошадей:

— Куда! Ослеп, не видишь, что чужое? Ах ты, упрямая скотина!

Антек рассказывал как-то бессвязно, запинался и путал.

— Вижу, тебя что-то мучает. Говори все начистоту, — сразу полегчает! Кому же и открывать душу, как не ксендзу!

Он погладил Антека по голове, попотчевал табаком. Тот, набравшись духу, поведал ему все свои тревоги.

Ксендз долго думал, вздыхал и наконец сказал:

— Я бы на тебя за лесника только эпитимию¹ наложил: ты отца защищал, а лесник был негодяй и лютеранин, — невелика убыль! Но суд тебя не оправдает. Отсидишь самое меньшее четыре года. Что тут посоветовать? Боже мой, и в Америке люди живут, и из тюрьмы домой возвращаются. Но и то и другое несладко!

Он то настаивал, чтобы Аптек уехал уже завтра, то советовал остаться и отбыть наказание, а в конце концов сказал:

— Самое верное — это положиться на волю божью и ждать.

— А меня тем временем закуют в кандалы да и в Сибирь угонят.

— Из Сибири многие возвращаются, я сам знаю не один случай...

— А что я после стольких лет застану дома? Разве жепа одна управится с хозяйством? Все прахом пойдет! — беспомощно бормотал Аптек.

— От всего сердца рад бы тебе помочь, да что же я могу... Вот, погоди, отслужу обедню, чтобы господь смилостивился над тобой. Загоня-ка мне лошадей в конюшню, поздно уже. Слышишь, поздно, говорю, спать пора!

Аптек был так озабочен, что, только уйдя от ксендза, вспомнил о Ягусе и поспешил на условленное место.

Она ожидала его, притаившись за овинком.

— Жду, жду, а ты...

Голос у нее как будто охрип.

— Не мог же я так сразу убежать от ксендза. — Он хотел ее обнять, но она его оттолкнула.

— Оставь! Не до нежностей мне!

— Я тебя не узнаю! — сказал задетый за живое Аптек.

— Какая была, такая и есть.

— Нет, ты сильно переменялась. — Он придвинулся ближе.

— Сколько времени ты обо мне и не вспоминал, а теперь удивляешься.

¹ Э п и т и м и я — церковное покаяние.

— Нельзя думать больше, чем я о тебе думал, по не мог же я бежать к тебе из острога!

— А я осталась с больным да с заботами! — Ягна вздрогнула, как от холода.

— И ни разу тебе в голову не пришло навестить меня — другим была занята!

— А ты ждал меня, Антось? Правда, ждал? — прошептала она недоверчиво.

— И как еще ждал! Как дурак, по целым дням торчал у решетки, все глаза проглядел, каждый день ждал, что приедешь.

— Господи! А тогда... за сеновалом... ты так меня изругал! Да и до этого такой бывал сердитый! А когда тебя увозили, ты на меня и не взглянул, словечка мне не сказал! Я хорошо помню — для всех у тебя нашлось ласковое слово, даже для пса, только не для меня! Я чуть с ума не сошла!

— Я тогда ничуть на тебя не злился, Ягусь. Но, понимаешь, иной раз так горит душа от муки, что готов, кажется, и себя и всех убить...

Примолкли оба, стоя рядом. Луна светила им прямо в лицо. Они тяжело дышали, терзаемые жестокой болью воспоминаний, в глазах стыли слезы тоски и горьких сожалений.

— Не так ты меня встречала когда-то! — грустно сказал Антек.

Ягна вдруг заплакала громко и жалобно, как ребенок.

— Как же мне тебя встречать? Как? Мало ты обижал меня? Осрамил, бросил — люди травят меня, как собаку.

— Я тебя осрамил? Из-за меня это? Я виноват? — Антек вдруг вскипел.

— Ты. Из-за тебя выгнала меня из дому эта череха, это свинское помело! Из-за тебя я стала посмешищем для всей деревни...

— А про войта забыла? А про других? — грозно повысил голос Антек.

— Все из-за тебя! Все! — шептала Ягна уныло. — Зачем ты меня заставлял выходить к тебе? Ведь у тебя жена есть! Глупа я была, а ты меня так опутал, что я только тебя на свете и видела! И зачем же ты потом оставил меня одну, людям на потеху?

Тут уже и Антек, в приливе горечи, зашипел сквозь стиснутые зубы:

— Так это я тебе велел стать моей мачехой? Уж не я ли тебя заставлял путаться со всяким, кто только хотел?

— А зачем ты мне не запретил? Если бы любил, так не давал бы мне воли, не оставил бы одну, уберег бы от беды, как делают другие! — жаловалась Ягна с глубокой мучительной грустью, которая окончательно обезоружила Антека. Гнев его испарился, сердце задрожало от нежности.

— Тише, Ягусь, не плачь, дитятко! — шептал он.

— Я такая несчастная, а ты тоже против меня, как все! И ты тоже! — всхлипывала она, припав головой к стенке амбара.

Он усадил ее на межу, сел рядом и, обняв, стал гладить по волосам, утирать ее заплаканное лицо, целовать дрожащие губы и мокрые глаза, эти любимые глаза, такие печальные теперь. Он ласкал ее и успокаивал, как умел, и она плакала все тише, доверчиво прижимаясь к нему, прильнув головой к его груди, как к груди матери, на которой так сладко выплакивать все горести и обиды.

Но у Антека уже зашумело в голове от близости ее жаркого тела. И поцелуй его становился все более страстным, он все крепче прижимал ее к себе...

Ягна сначала не сознавала, к чему дело клонится и что с ней происходит. Только когда она почувствовала себя уже совсем в его власти, когда он впился в ее губы так, словно хотел их раздавить, она стала вырываться и просить испуганно, чуть не плача:

— Пусти меня, Антек! Пусти, ради бога! Я закричу!..

Но разве могла она бороться с ним? Он сжимал ее так, что нечем было дышать, ее кидало то в жар, то в дрожь.

— В последний раз позволь! В последний! — молил он, задыхаясь.

Все закружилось перед ней, она утонула в блаженстве, а он взял ее, как прежде, в могучем порыве, и она отдавалась ему тоже, как бывало, в сладостном изнеможении, на счастье без меры, на самую смерть...

Ночь стояла вся в звездах, месяц был уже на середине неба. Уснули в бездонной тишине поля, мир не дышал, погруженный в упительное забытие.

И они ни о чем уже не помнили, все исчезло в огне и буре любви, вечно жаждущей и вечно неутолимой. Как высохшее дерево, венчаясь с молнией, вспыхивает пламенем и они гибнут вместе, а гром вместо свадебных песен поет им панихиду, так Антека и Ягну сжигал какой-то

венасыттый огонь. Ожила в них прежняя любовь, вспыхнув буйным, веселым пламенем на единый миг забвения, на эту одну минуту последнего счастья.

Да, последнего, ибо, когда они опять сели рядом, уже что-то омрачило им души, уже они поглядывали друг на друга тревожно, украдкой и быстро отводили глаза с чувством стыда и раскаяния.

Напрасно Антек искал губами ее губ, бывало так жаждавших поцелуев,— Ягуся с неудовольствием отворачивалась.

Напрасно шептал он ей самые нежные слова, ласковые прозвища — она не отвечала, неподвижно глядя на луну. И Антек злился и охладевал, испытывал досаду и непонятную тоску.

Уже они не находили, о чем говорить, уже томились, и каждый с нетерпением ожидал, чтобы другой встал и ушел.

В душе Ягуси все словно выгорело и рассыпалось пеплом. Она вдруг сказала с затаенным раздражением:

— Опять меня приневолил, как разбойник!

— Да разве ты не моя, Ягусь, не моя? — Он хотел обнять ее, но она с силой оттолкнула его.

— Не твоя и ничья, понятно? Ничья! — Она опять расплакалась, но Антек больше не утешал и не обнимал ее. Помолчав, он спросил серьезным тоном:

— Ягусь, ты ушла бы со мной на чужбину?

— Куда же это? — Она подняла на него заплаканные глаза.

— А хоть бы в Америку! Поедешь со мной, Ягусь?

— А что же ты с женой сделаешь?

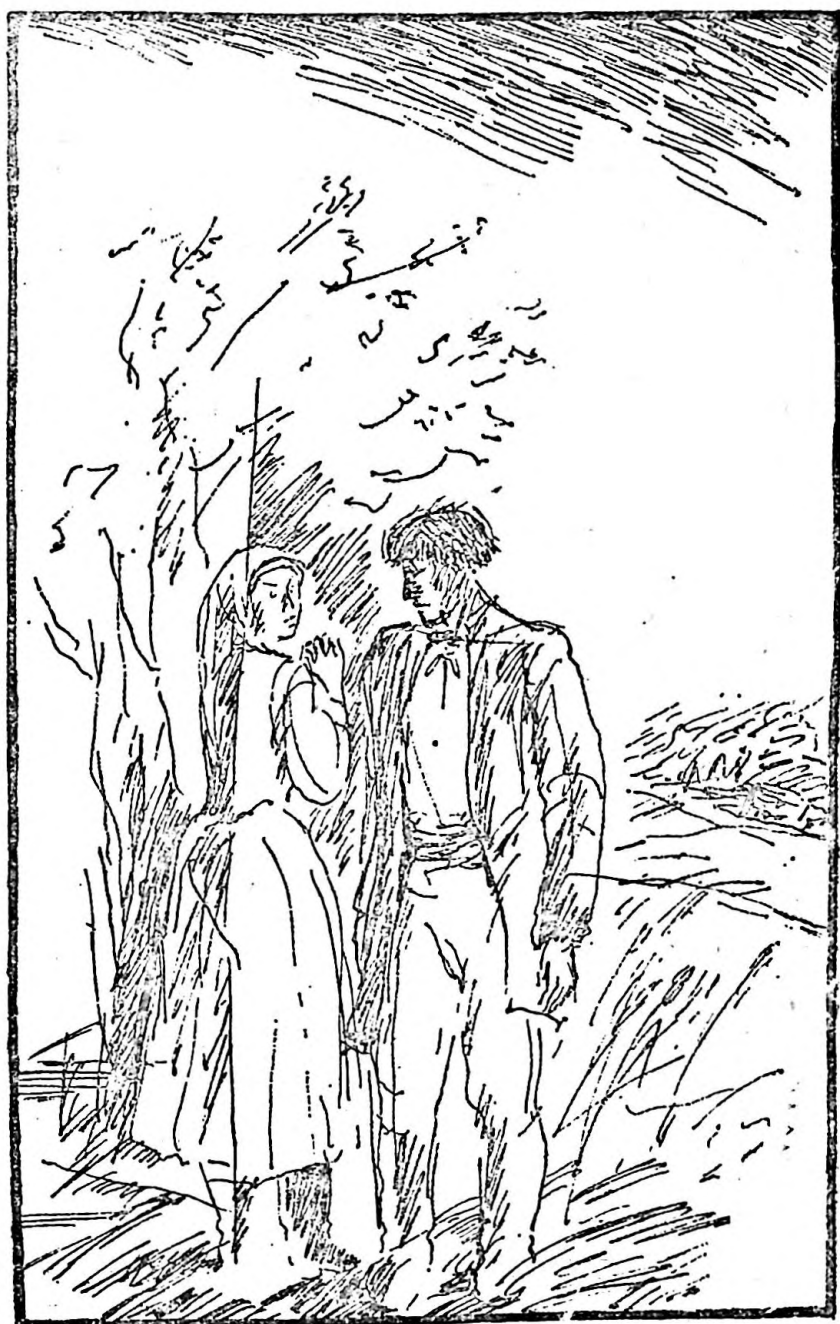
Он вскочил, как ужаленный.

— Всерьез спрашиваю! Яду ей подсыплешь, что ли?

Анте́к схватил ее, прижал к себе и, осыпая страстными поцелуями ее лицо, стал просить, уговаривать, чтобы она уехала с ним в дальние края, где они уже навсегда заживут вместе. Он долго говорил ей о своих планах и надеждах, потому что ухватился вдруг за мысль бежать с нею, как пьяный хватается за плетень, — и болтал также, как пьяный, охваченный лихорадочным возбуждением. Ягна выслушала все до конца и сказала насмешливо:

— Принудил ты меня к греху, так думаешь, что я уже совсем одурела и поверю всем твоим бредням?

Он клялся ей, что это не бредни, а истинная правда,



по она не хотела больше его слушать и, вырвавшись, сказала шепотом:

— И не подумаю с тобой уезжать. Зачем? Разве мне плохо одной? — Она накинула платок на голову и внимательно осмотрелась по сторонам. — Поздно, побегу уж я!

— Куда ты спешишь? Никто ведь теперь дома за тобой не следит.

— Да тебе-то пора... Там Ганка уже перину проветривает и вздыхает...

Уязвленный ее словами, Антек злобно процедил:

— Я всдь тебя не попрекаю теми, кто тебя в корчме поджидает.

— Да, да, не один готов ждать меня хоть до утра, так и знай! Очень уж ты много о себе думаешь! Как будто ты один на свете! — с ядовитой усмешкой сказала Ягна.

— Да беги себе хоть к Янкелю, беги! — с трудом прохрипел Антек.

Но Ягна все не двигалась с места. Они стояли рядом, тяжело дыша и враждебно глядя друг на друга, и, казалось, искали слов, которые ранили бы побольнее.

— Ты звал меня, чтобы что-то сказать, так говори сейчас, потому что больше я к тебе не выйду!

— Не беспокойся, не позову...

— На коленях просить будешь — и то не приду!

— Ясное дело, времени не хватит — ведь сколько раз приходится тебе каждую ночь к мужикам выходить!

— Чтоб у тебя язык отсох!

Она побежала полем к деревне.

Антек не бросился ее догонять, даже не окликнул и только смотрел, как она тенью летела по загонам. Когда она исчезла среди садов, он протер глаза, как во сне, и горько вздохнул.

— Совсем я ошалел! Инсусе, до чего баба может довести человека!

Ему было ужасно стыдно, когда он возвращался домой. Он не мог себе простить того, что случилось, сурово корил себя за это и мучился.

Постель ему была приготовлена в саду, так как в избе спать было невозможно из-за жары и мух.

Но он не мог уснуть. Лежал и, глядя на далекое мерцание звезд, вслушиваясь в тихую поступь ночи, все думал о Ягусе.

— Ни с пей, ни без нее! Эх, чтоб тебя! — выбранился он тихо. Горестно вздыхал, ворочался с боку на бок и,

сбрасывая перину, охлаждал ноги в росистой траве, но сон не приходил, и мысли о Ягусе не оставляли его ни на минуту.

В избе заплакал кто-то из малышей и послышалось бормотанье Ганки. Антек подвинул голову, но через минуту все утихло, — и снова одолели его те же мысли. Они словно оведали его весенним ветром, волновали душу сладкими воспоминаниями. Но он уже не отдавался им безвольно, нет, он трезво разбирался в них и в конце концов торжественно, как на исповеди, сказал самому себе:

— Этому надо положить конец! Стидно и грешно! Что люди опять скажут? Ведь я семейный человек, хозяин, этому должен быть конец!

Так он решил, но ему было жаль расстаться с Ягной, невыразимо жаль.

«Только раз дай себе волю, — и так со злом сродниться, что и смерть не разделит», — размышлял он с горечью.

Уже светало, небо одевалось серой пеленой, а Антек все еще не спал. Наконец утро заглянуло ему в глаза, и Ганка прибежала будить его. Лицо у Аптека было хмурое, но он сегодня удивительно ласково обошелся с женой и, когда она рассказала, зачем вчера поздно вечером приходил кузнец, погладил ее по растрепанной голове.

— Ну, если уж так посчастливилось и я буду возить лес, куплю тебе чего-нибудь на ярмарке.

Ганка обрадовалась и стала просить, чтобы он купил шкаф со стеклом для посуды, такой, как у органиста.

— Скоро ты начнешь подумывать о таком диване, как у панов в усадьбе! — засмеялся Антек, однако обещал купить все, что она просила, и заторопился вставать — работа ждала. Надо было тянуть лямку, как изо дня в день.

Он еще раз потолковал с кузнецом и тотчас после завтрака отправил Петрика возить навоз, а сам поехал на паре лошадей в лес.

В лесу на вырубке кипела работа. Множество людей обтесывали деревья, срубленные еще зимой. Удары топоров и визг пилы издали напомнили неустойчивое постукивание дятлов. В высокой траве паслись липецкие стада и дымили костры.

Антек вспомнил о битве, происходившей тут, и только головой покачал, увидев, как дружно работают вместе липецкие мужики и репечкая шляхта.

— Беда их вразумила! И нужно было все это, а? —

сказал он Филиппу, сыну Ягустинки, обрубавшему сучья у сосен.

— А кто был виноват? Помещик и богатые хозяева! — угрюмо буркнул Филипп, не отрываясь от работы.

— А пожалуй, больше всего злоба да глупое подстрекательство.

Он остановился на том месте, где убил лесника, и недоброе чувство шевельнулось в нем.

— Сволочь, из-за пего все мои несчастья! Жаль, что нельзя еще ему подбавить!

Он плюнул и взялся за работу.

С этого дня он начал возить лес на лесопилку, работал с утра до вечера с такой страстью, словно хотел замучить себя до смерти, однако и этим не мог заглушить мыслей о Ягусе и о своем злосчастном деле в суде.

Однажды Матеуш рассказал ему, что Шимек купил землю на Подлесье, — помещик согласился на рассрочку уплаты и даже обещал дать соломы и дранок, а свадьбу Настуси отложили до тех пор, пока Шимек не обзаведется кое-каким хозяйством.

Но Антека не трогали теперь чужие заботы — мало ли у него было своих? Притом кузнец чуть не каждый день всячески пугал его судом и осторожно, очень хитро намекал, что, если ему срочно понадобится, кое-кто может дать денег в долг.

Антек уже сто раз был близок к тому, чтобы бросить все и бежать, но стоило ему взглянуть на деревню, стоило подумать, что никогда нельзя будет вернуться, и его охватывал ужас. Он предпочитал тюрьму, все, что угодно, только не это. Однако и о тюрьме думал с отчаянием.

От этой душевной борьбы он исхудал, стал угрюм, к домашним был суров и придирчив. Ганка с ума сходила, тщетно пытаясь выведать, что с ним. Сначала она заподозрила, что он опять связался с Ягусей. Но у нее глаза были зоркие, да и Ягустинка, которую она подкармливала, следила за этой парой, и другие подтверждали, что Антек и Ягуся избегают друг друга и никогда не встречаются, так что на этот счет Ганка была спокойна. Но, хотя она ублажала мужа, как только могла, и кормила вкусно и вовремя, и дом держала в чистоте и порядке, и все в хозяйстве шло, как нельзя лучше, — Антек был раздражителен, мрачен, бранился из-за каждого пустяка, и она не слыхала от него никогда ласкового слова.

Тяжелее всего бывало Ганке, когда он ходил молчали-

вый, печальный, как осенняя ночь, и не злился, не брюзжал, а только горько вздыхал и уходил на весь вечер в корчму пить с приятелями.

Спросить у него прямо она не смела, а Рох клялся, что тоже ничего не знает, — старик приходил к ним теперь только ночевать, а целыми днями бродил по окрестным селам со своими книжками и учил людей молиться сердцу Иисусову, — эту службу власти запрещали совершать в костелах.

Как-то вечером они ужинали не на крыльце, а в комнате, потому что после захода солнца поднялся ветер. Вдруг на берегу залаяла разом целая свора собак. Рох положил ложку и внимательно прислушался.

— Кто-то чужой в деревне! Надо поглядеть.

Он вышел, но тотчас вернулся, бледный, и сказал быстро:

— На деревне пашки звепят. Если будут спрашивать, — я в деревне.

Выскочил в сад и скрылся.

Антек побледнел, как смерть, и вскочил из-за стола. Собаки заливались уже перед домом, на крыльце слышались тяжелые шаги.

— Может, это за мной? — пробормотал Антек в тревоге.

Все обомлели, увидев на пороге стражников.

Антек застыл на месте и только поглядывал на открытые окна и двери. К счастью, Ганка не растерялась и спокойно пригласила стражников сесть, пододвинув им скамью.

Они вежливо поздоровались и сразу попросились на ужин. Ганке пришлось жарить им яичницу.

— Куда это вы собрались так поздно? — спросил наконец Антек.

— По служебному делу, и очень важному, — ответил урядник, обводя глазами всех присутствующих.

— Наверное, в погоню за ворами? — продолжал Антек уже смелее и принес из чулана бутылку водки.

— И за ворами и по другому делу. Выпей с нами, хозяин!

Он выпил. Стражники нагнулись на яичницу, стуча ложками.

Все сидели тихо, как испуганные кролики. Стражники выскребли сковородку дочиста, выпили еще, и урядник, отерев усы, сказал важно:

— И давно тебя из тюрьмы выпустили?
Антек дрогнул.
— Как будто вы, пан урядник, не знаете?
— А где же Рох? — неожиданно спросил урядник.
— Какой Рох? — Антек мигом понял, что не он им нужен, и успокоился.

— Говорят, у вас живет какой-то Рох?
— Пан урядник, должно быть, спрашивает про того старпчка, что ходит по деревне? Ну, да, ведь его Рохом звать.

Урядник сделал нетерпеливый жест и сказал грозно:

— Ты со мной шуток не шути, нам известно, что он живет здесь!

— Правда, он не раз жывал у нас, но и у других тоже. Нищий он, — так, где придется, там и ночует. Нынче в избе, завтра в хлеву, а то и просто под плетнем. А на что он вам?

— Да я так просто спрашиваю.

— Хороший человек, воды не замутит, — вмешалась Гапка.

— Знаем, знаем, кто он такой! — многозначительно бросил урядник. Он всячески пробовал выведать у них что-нибудь и табаком даже угощал, но все твердили одно и то же. Так ничего и не узнав, розозленный урядник встал с лавки:

— А я говорю, что он живет у вас!

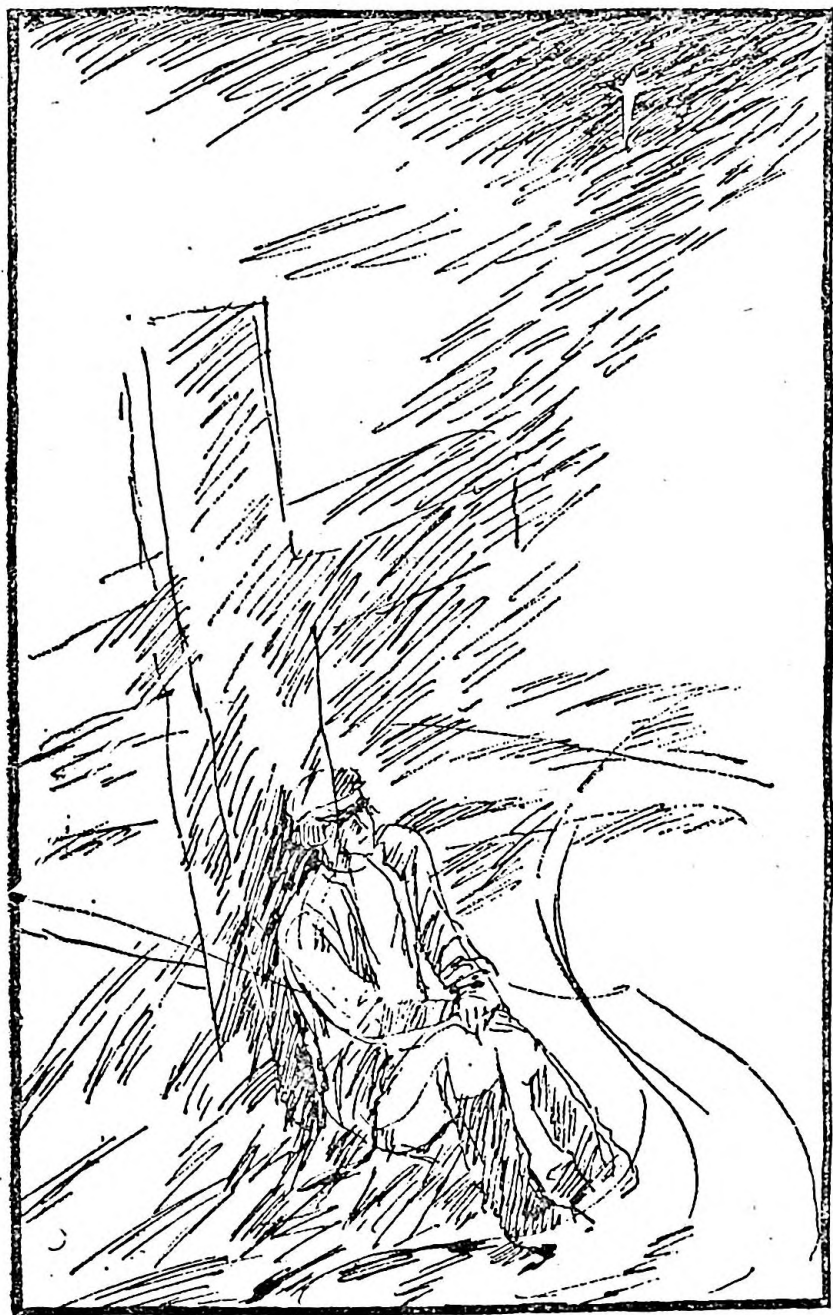
— Да ведь в карман я его не спрятал! — огрызнулся Антек.

— Я тут по служебному делу, это понимать надо, Борына! — грозно наступал на него урядник. Но он смягчился, получив на дорогу полтора десятка яиц и порядочный кусок свежего масла.

Витек ходил за стражниками следом и потом рассказывал, что они и к солтысу зашли, и пробовали заглядывать в освещенные окна других хат, но собаки поднимали такой лай, что им не удалось ничего высмотреть, и они ушли ни с чем.

Это событие так повлияло на Антека, что, оставшись наедине с женой, он заговорил с ней о том, что его мучило.

Гапка слушала с бьющимся сердцем, не проронив ни слова, и только напоследок, когда Антек сказал, что им ничего другого не остается, как распродать все и бежать отсюда, хотя бы в Америку, она стала перед ним с белым, как мел, лицом.



— Не псеуду п детей погубить не дам! А если заста-
вишь, возьму топор, детей зарублю, а сама — хоть в коло-
дец! Правду тебе говорю — бог свидетель! И ты это запо-
ми! — кричала она, упав на колени перед образами, слов-
но давая торжественную клятву.

— Тихе ты! Ведь я только так сказал...

Опа вздохнула с облегчением и сказала уже спокойнес,
но с трудом сдерживая слезы:

— Отбудешь срок и вернешься! Не бойся, с хозяйством
я управлюсь... Ты меня еще не знаешь... Ни полоски земли
не пропадет, из рук не выпущу. Господь поможет, так п
это вынесу! — Она тихо заплакала.

Антек долго размышлял и наконец сказал:

— Ладно, будь, что будет. Подождем суда.

Так ничего и не вышло из ловких маневров кузнеца.

VI

— Ложись ты наконец и не мешай спать! — сердито
заворчал Матеуш, поворачиваясь на другой бок.

Шимек прилег на минутку, по, как только Матеуш
опять захрапел, он стал тихонько выбираться из амбара,
где они ночевали: ему показалось, что в окно уже проника-
ет мутный рассвет.

Ощупью собрал он свои инструменты, еще пакануие
приготовленные, и так спешил, что у него то и дело что-
нибудь с грохотом валилось из рук, и Матеуш сонно ру-
гался.

На дворе было еще темно, но звезды уже побледили,
небо на востоке едва заметно светилось, и хрипло кричали
первые петухи, хлопая крыльями.

Шимек нагрузил на тачку все свое добро, тихонько
прокрался мимо избы и вышел к озеру.

Деревня спала, как убитая, даже ни одна собака не
залаяла на него, и в тишине слышно было только жур-
чанье воды, сочившейся сквозь опущенные мельничные
затворы.

На улицах, затененных садами, было еще совсем тем-
но, лишь кое-где белела стена хаты, да озеро выделялось
из мрака блеском отраженных в нем звезд.

Подходя к избе матерп, Шимек замедлил шаг и насто-
роженно прислушался, — за оградой как будто ходил кто-
то, слышалось непрерывное глухое бормотанье.

— Кто там? — раздался вдруг голос матери. Он обмер и стоял, не дыша, не смея шелохнуться. Старуха, не дождавшись ответа, опять стала ходить взад и вперед.

Шимек видел ее: как тень, двигалась она под деревьями, нащупывая дорогу палкой и вполголоса твердя молитву.

«Бродит по почам, как домовой», — подумал Шимек, по вздохнул с невольной жалостью и тихопоко, опасливо прошмыгнул мимо. «Ага, грызет ее совесть за то, что меня обидела. Грызет!» — повторил он с глубоким удовлетворением, выходя на широкую дорогу за мельницей. Здесь он помчался, словно его подгоняли, не обращая внимания на ямы и камни.

Остановился он только у креста, на развилке дорог, ведущих к Подлесью. Было еще слишком темно, чтобы приниматься за работу, и он присел под распятнем передохнуть и подождать утра.

— Поля от леса не отличишь! Самое подходящее время для воров! — бормотал он, осматриваясь. Земля еще топила в мутной мгле, но на небе все ярче разгорались золотые полосы.

Чтобы скоротать время, которое тянулось ужасно медленно, Шимек начал читать утреннюю молитву, по всякий раз как он касался рукой покрытой росой земли, слова молитвы вылетали у него из памяти, и он с наслаждением думал о том, что вот идет работать на своей земле, на своем хозяйстве.

«Теперь ты моя, не выпущу тебя!» — думал он гордо и радостно. С одержимостью влюбленного смотрел горящими глазами в мутный сумрак у леса, где уже ждали его купленные у помещика шесть моргов.

— Выхожу я вас, сироты мои дорогие, и уже не оставлю, пока жив! — бормотал он, запахивая тулуп на открытой груди, потому что темного озяб. Привалившись спиной к подножию креста, он смотрел в светлеющую даль, но скоро его сморил сон, и он захрапел.

Уже серели поля, как широко разлившиеся воды, а седая от росы рожь качалась и хлестала колосьями Шимека, когда он проснулся и вскочил.

— Белый день, пора за работу! — прошептал он, разминая кости, и стал перед распятнем на молитву. Сегодня он не бормотал ее наспех, чтобы только отделаться. Нет, он усердно, от всей души молил бога помочь ему.

— Помоги, Иисусе милосердный! Родная мать меня

обидела, на тебя только вся надежда. Ведь я теперь последний бедняк и берусь за тяжелую работу! Грешен я, что и говорить, но ты мне помоги, так я па обедню в костел денег отнесу, а то и на две! Свечей накуплю, а как разжвусь, даже и балдахин справлю! — просил он, прикладываясь к кресту. Потом па колених прополз вокруг, смиренно поцеловал землю и встал.

Он ощущал такой прилив сил, бодрости, веры в себя, что, схватившись за тяжелую тачку, двинул ее, как перышко, с вызовом поглядывая на Липцы, лежавшие внизу и еще окутанные мглой, из которой поднималась только башня костела, сверкая золоченым крестом в лучах утренней зари.

— Увидите! Ого! Увидите! — весело покрикивал Шимек, вступая па свою землю. Она лежала у самого леса, с одной стороны примыкая к липецким полям. Но, господи боже, что это была за земля! Участок дикого поля, весь в ямах, оставшихся здесь от кирпичного завода, в кочках и больших камнях, поросших терновником. Царский скипетр, дикая ромашка, конский щавель буйно разрослись па пригорках, и только кое-где торчала кривая сосенка, попадались купы ольх и кусты можжевельника, а в овражках и ямах теснился целый лес осоки и тростника. Словом, земля была такая, что пес бы над ней заплакал и даже сам помещик не советовал Шимеку ее покупать, но парень уперся:

— Она мне подходит. Я и с такой справлюсь!

Отговаривал его и Матеуш, со страхом посматривая на этот заброшенный пустырь, где только хуторские собаки справляли свадьбы, но Шимек сказал упрямо и решительно:

— Не отступлюсь! Всякая земля хороша, если рук не жалеть!

И купил ее, потому что помещик продал дешево, по шестьдесят рублей морг, да еще обещал дать лесу и всяких других материалов для стройки.

— Со всем управлюсь, все сумею! — воскликнул Шимек, жадно глядя кругом, и, оставив тачку на меже, обошел свой участок, границы которого были обозначены воткнутыми в землю ветками.

Ходил медленно, и от великой радости сердце громко стучало в груди. Он мысленно памечал, с чего начать и в каком порядке все делать. Ведь ему предстояло работать для себя, для Настуси, для будущего рода Пачесей, и он

готовился папирать все силы, он пакпнулся на работу, как голодный волк, дорвавшийся до живого мяса.

Обойдя все поле, он стал выбирать место для избы.

— Вот здесь лучше всего: и деревня напротив и лес под боком, легче будет с дровами и тише зимой,— рассуждал он и, обозначив камнями место для четырех углов, скинул тулуп, перекрестился и, поплевав на ладони, принялся корчевать пни и выравнивать землю.

День встал весь золотой, из деревни неслошь мычанье коров, которых гнали на пастбище, скрипели колодезные журавли, люди шли в поле, и по дорогам тархтели телеги. Ветерок, игравший колосьями, доносил сюда голоса. Все было, как изо дня в день. А Шимек ничего не видел — он с головой ушел в работу. Порой разгибал усталую спину, переводил дух, протира л глаза, залитые потом,— и опять вбивался в землю, как непасытная пьявка, и по своему обыкновению беседовал с каждой вещью, как с живым существом.

Выворачивая из земли огромный камень, он приговаривал:

— Ну, належался ты здесь, отдохнул, а теперь можешь моей хате фундаментом послужить.

А вырубая терновый куст, говорил, посмеиваясь:

— Не упирайся, дурачина! Думает, что я с ним не слажу! Неужели же оставлять тебя, чтобы ты людям штаны рвал, а?

Древним камням сказал:

— И вас сдвину с места, тесно тут! Вымощу вам двор перед хлевом, как у Боряны!

В минуты передышки он любовным взглядом обнимал свою землю и горячо шептал:

— Моя! Моя! Никто тебя у меня не вырвет!

И, жалея эту бедную, перодящую землю, заросшую бурьяном и заброшенную, шептал ей ласково, как ребенку:

— Потерпи малевько, горемычная, обработаю тебя, подкормлю, вспашу, и будешь родить, как другие. Не бойся, будешь мною довольна!

Солнце встало над полем и светило ему прямо в глаза.

— Вот спасибо! — промолвил он, жмурясь. — Опять, видно, жара будет и сушь! Ишь какое ты красное встало сегодня!

Скоро зазвепел маленький колокол в костеле. Над липецкими трубами медленно поднимались голубые султаны дыма.

— Хорошо бы поест сейчас, хозяин, а? — Он стянул потуже пояс. — Да, не принесет уж тебе мать горшок в поле, не принесет!

Он печально вздохнул.

На полях Подлесья закопошились люди. Они, как и Шимек, выходили работать на недавно приобретенной у помещика земле. Шимек увидел Стаха Плошку, пахавшего на паре крепких лошадей.

«Господи, когда же ты мне хоть одну лошадку пошлешь!» — подумал он.

Юзеф Вахник возил камень на фундамент для новой избы, Клемб с сыновьями окапывал свой участок капавой, а Гжеля, брат войта, у самой дороги на перекрестке что-то долго вымерял шестом.

«Место самое подходящее для корчмы», — заметил про себя Шимек.

Гжеля, отметив вымеренное место колышками, подошел к Шимеку поздороваться.

— Ого! Работаешь ты, как я погляжу, за десятерых! — Гжеля смотрел на него с удивлением и восхищением.

— Приходится! Что у меня есть? Одни штаны да пара рук! — буркнул тот, не отрываясь от работы. Гжеля надавал ему всяких советов и вернулся на свой участок, а после него подходили и другие, кто — ободрить приветливым словом, кто — просто выкурить папироску и позубоскалить. Шимек отвечал им с все возрастающим нетерпением и в конце концов резко прикрикнул на Прычека:

— Делал бы свое дело да другим не мешал! Праздник себе устроили, черти!

И его оставили в покое.

Солнце поднималось все выше. Оно было уже над костелом и катилось неудержимо, заливая мир ослепительным светом и жаром. Ветер утих, и ничто не мешало зною окутывать землю зыбкой пеленой, в которой хлеба купались, как в kloкочущем кипятке.

— Ну, меня не скоро прогонишь! — сказал Шимек, обращаясь к солнцу, и, увидев Настусю, которая несла ему завтрак, пошел ей навстречу.

Он жадно ел, а Настуся уныло оглядывала поле.

— Да разве на таких камнях и болотах уродится что-нибудь?

— Все уродится, увидишь, и пшеница у тебя будет па пироги!

— Пока трава вырастет, кобылу волки съедят!

— Не съедят, Настуся! Земля у нас есть, теперь переждать легче. Ведь целых шесть моргов! — утешал ее Шимек, торопливо доедая завтрак.

— Что же, землю грызть будем? А зимовать где?

— Это уж моя забота, ты не беспокойся! Я все обмозговал и все устрою. — Он отодвинул пустые судки и повел Настку смотреть участок.

— Вот тут будет стоять изба, — объяснял он весело.

— Будет стоять! Из грязи ты ее слепишь, как ласточки!

— Нет, из дерева, и веток, и глины, и песка, из чего попало, только бы там в ней продержаться какой-нибудь годик, пока не станем на ноги.

— Знатную усадьбу ты, я вижу, задумал строить! — недовольно проворчала Настка.

— Лучше жить в лачуге, да своей, чем у людей угол снимать.

— У Плешковой можно перезимовать. Она сама по доброте сердечной сказала, что даст нам комнату.

— По доброте сердечной, как же! Это она хочет матери досадить. Ведь они грызутся, как собаки. Не нуждаюсь я в ее доброте! Не сомневайся, Настуся, такую избу тебе поставлю, что и окно будет, и печь, и все, что полагается. Вот как бог свят, через три недельки изба будет готова! Без рук останусь, а изба будет!

— Да неужели же ты один ее выстроишь!

— Матеуш обещал помочь.

— А может, и мать твоя чем-нибудь нам поможет? — спросила Настуся робко.

— Умру, а у нее не попрошу! — крикнул Шимек, но, видя, что Настка еще больше опечалилась, и сам приуныл и, когда они присели во ржи, стал жалобно оправдываться:

— Да как же это можно, Настуся? Ведь выпала она меня и тебя ругает.

— Боже ты мой, хоть бы коровенку дала, а то у нас, как у последних нищих, ничего нет. Даже подумать страшно!

— Будет и корова, Настусь, будет! Я уже одну присмотрел.

— Ни хаты, ни скотины, ничего! — заплакала Настка, прижимаясь к нему. Шимек утирал ей глаза, гладил по голове, но и ему стало так тяжело, что сам чуть не разревелся. Он вскочил, схватил лопату и с притворным гневом прикрикнул на Настку:

— Побойся ты бога, девка! Столько дела, а она только знай хнычет!

Настуся поднялась, все еще угнетенная и озабоченная:

— Если с голоду не помрем, так волки нас съедят на этом пустыре!

Тут уж Шимек рассердился не на шутку и, принимаясь за работу, сказал сурово:

— Если будешь реветь да болтать всякий вздор, оставайся-ка лучше у себя дома.

Настка прильнула к нему, пытаясь его задобрить, но он оттолкнул ее.

— Вот нашла время миловаться!

Однако, хоть он еще сердился на нее за бабьи разговоры, он не устоял перед лаской, и Настуся ушла спокойная и даже веселая.

— Господи, ведь и баба тоже человек, а объясняешь ей по-людски — не понимает! Одно знает — реветь да скулить! С неба-то ничего не упадет, все надо своими руками заработать! А они — как дети малые: то смех, то плач, то злоба да попреки! — бормотал Шимек, принимаясь за работу.

Так работал он изо дня в день, уходил чуть свет, приходил домой поздно вечером и часто целый день не говорил ни с кем ни слова. Еду ему приносила Терезка или кто-нибудь другой, потому что Настуся отработывала долг ксендзу на его картофельном поле.

Вначале к нему еще заглядывал кое-кто, но он неохотно вступал в разговоры, и люди перестали приходить, только издали дивились его неутомимости.

— Ишь упорный какой! Кто бы подумал!.. — буркнул как-то Клемб.

— Не диво — Доминиковой отродье! — отозвался кто-то со смехом. А Гжеля, с первых дней внимательно наблюдавший за Шимеком, промолвил:

— Работает он, как вол, это верно... А все же трудно одному, надо бы ему маленько подсобить!

— Ясно, одному не справиться. Надо, надо помочь, он этого стоит! — соглашались мужики, но никто не спешил первый предложить Шимеку помощь: ждали, пока он сам попросит.

А Шимек не просил, ему это и в голову не приходило. Он очень удивился, когда однажды к его участку подъехала телега.

В телеге сидел Енджик и уже издали весело кричал брату:

— Ну, показывай, где пахать! Это я!

Шимек долго глазам не верил.

— И как это ты решился! Ох, и вздует она тебя, беднягу, ох, и вздует же!

— Пусть только тропет, тогда уже совсем к тебе перейду.

— Это ты сам надумал мне помогать?

— Сам! Я давно хотел, да боялся, следила опа за мной, и Ягуся отговаривала, — рассказывал Енджик, принимаясь за работу. Они пахали вдвоем весь день, а уезжая, Енджик обещал и завтра прнехать.

И действительно приехал, как только взошло солнце. Шимек сразу приметил, что лицо у него в синяках, но только под вечер спросил:

— Что, сильно тебе досталось?

— Э... Слепая она, так нелегко ей меня нащупать, а сам я ведь в руки ей не полезу, — ответил Енджик как-то увыло.

— Это Ягна тебя выдала?

— Нет, Ягуся нас выдавать не станет.

— Пока ей что-нибудь не взбредет в башку! Кто их разберет, баб этих! — вздохнул Шимек.

Он запретил брату приезжать.

— Я уж сам как-нибудь справлюсь, а ты мне поможешь потом, при посеве.

И Шимек опять остался один и работал, как лошадь, впряженная в ворот, не обращая внимания ни на усталость, ни на жару. А между тем дни наступили такие знойные и душные, что земля трескалась, пересыхали ручьи, пожелтела трава, а хлеба стояли еле живые в этой адской жаре. Пусто и тихо было на полях, потому что люди просто не в силах были работать — небо точно поливало их огнем, а солнце резало глаза. Мутно-белое небо нависло раскаленным пологом, ни малейший ветерок не шевелил листы, молчали птицы, не слышно было нигде человеческого голоса, а неумолимое солнце каждый день катилось себе с востока на запад, сея на землю огонь.

И так же неизменно, как солнце, выходил каждый день на работу Шимек, не поддаваясь жару, и даже почевал уже теперь в поле, чтобы не тратить даром времени. Матеуш пытался умерить его пыл, но Шимек отвечал коротко:

— В воскресенье отдохну.

Как-то в субботу вечером пришел он домой такой разбитый, что уснул за столом, на другой день спал чуть не до вечера, а проспавшись, слез с полатей, принарядился по-праздничному и засел за полную миску. Женщины ухаживали за ним, как за важной особой, часто подбавляя ему еды и следя за каждым его движением. А он, наевшись досыта, гаркнул весело:

— Спасибо, мать! А теперь мы пойдем маленько повеселиться.

И отправился с Настусей в корчму, а за ними пошли и Матеуш с Терезкой.

Корчмарь кланялся теперь Шимеку в пояс, водку подавал раньше, чем он прикажет, величал хозяином. Шимек, заважничав да к тому же изрядно подвыпив, лез к самым видным хозяевам и, вмешиваясь в их разговор, авторитетно рассуждал обо всем.

В корчме былолюдно, играла музыка, но никто еще не танцевал — только выпивали да гуторили, жалуясь, как водится, на жару и на трудные времена.

Пришли даже Борыны и кузнец с женой, но эти ушли за перегородку и, должно быть, изрядно угощались, — еврей то и дело носил им туда водку и пиво.

— Аптек что-то нынче заглядывается на свою бабу, как ворона на кость, и даже людей не замечает! — уныло жаловался Амброжий, тщетно совавшийся за перегородку, откуда доносился заманчивый звон рюмок.

— Потому что ему свой лапоть дорожке сапогов, которые на всякую ногу лезут, — сказала Ягустинка и засмеялась.

— Зато в таких сапогах мозолей не натрешь! — отозвался кто-то, и в корчме загремел дружный хохот. Все понимали, что речь идет о Ягусе.

Не смеялся только Шимек. Обняв брата за шею, он целовал его врасос и говорил уже совсем пьяным голосом:

— Ты обязан меня слушаться, смекай, кто с тобой говорит!

— Знаю, знаю... Да мать мне приказала... — жалобно бормотал Енджик.

— Что мать! Меня надо слушаться — я хозяин!

Музыканты заиграли полонез, грянула песня, поднялся шум, защелкали каблуки, застонали половицы, и закружились пары.

Потанцевав с Настусей, Шимек дал себя увести из корчмы. Уже почти протрезвившись, сидел он с женщинами на завалинке перед избой. Припелась и Ягустинка, и они болтали до поздней ночи. Шимек собирался идти к себе на участок, но все чего-то тянул, медлил, жался к Настке и вздыхал, так что мать ее наконец сказала:

— Оставайся ночевать у нас в овине, куда ты ночью потащешься!

— Я ему в кузове постелю, — предложила Настуся.

— А ты пусти его к себе, Настуся, — вмешалась Ягустинка.

— Еще чего! И что только вам в голову лезет! — пробормотала Настуся застыдившись.

— Да чем же он тебе не муж? Если и немного пораньше, чем ксендз вас окрутит, так это не грех. Парень работает, как вол, надо его наградить.

— Истинная правда! Настусь, Настусь! — Шимек, как волк, кинулся за девушкой, догнал ее где-то в саду и, не выпуская из объятий, стал целовать и просить: — Неужели ты меня прогонишь, Настусь? Прогонишь, любимая ты моя, в такой поздний час?

Мать нашла себе какое-то дело в сених, а Ягустинка, уходя, сказала:

— Не противься ему, Настуся! В жизни мало счастья, так уж если оно попало к вам, как слепой курице зерно, не упускайте его!

Наутро, чуть свет, Шимек, как всегда, ушел на работу и трудился, не разгибая спины. Но, когда Настка принесла ему поесть, он с большей жадностью тянулся к ее алым губам, чем к миске.

— Обмани только, кипятком оболью! — грозила она, не сводя с него глаз.

— Моя ты теперь, Настусь... Сама мне отдалась, и уж я тебя не выпущу! — страстно лепетал Шимек и, заглядывая ей в глаза, добавил тише: — Смотри, чтобы первый был мальчпк.

— Бесстыдник! Ишь какие глупости у него в голове! — Вся вспыхнув, она оттолкнула его и убежала, потому что невдалеке появился пан Яцек.

С трубкой в зубах, со своей неизменной скрипкой под мышкой, он подошел к Шимеку и, поздоровавшись, стал расспрашивать, как подвигается работа. Шимек не прочь был похвастать своими успехами, но вдруг онемел, уви-

дев, что пап Яцек отложил скрипку, скинул куртку и принялся месить глину.

Шимек даже лопату из рук выронил и рот разинул.

— Чего это ты так удивляешься, а?

— Как же! Неужто вы, пап Яцек, будете работать со мной?

— Буду. Помогу тебе избу выстроить. Думаешь, не сумею? Вот увидишь!

И с этого дня они работали вдвоем. Правда, сил у старика было мало и к крестьянской работе он не привык, но делал все с толком и был так изобретателен, что работа пошла гораздо быстрее и складнее. Шимек, конечно, слушался его во всем и время от времени бормотал себе под нос:

— Господи боже мой... Слыханное ли дело? Не бывало еще такого на свете, чтобы пан...

Пан Яцек только усмехался. Он рассказывал Шимеку такие диковинные вещи, что Шимек от удивления и благодарности готов был в ноги ему кланяться, а вечером пересказывал все Настке.

— Вот говорили — полоумный, а он не глупее самого ксендза.

— Иной говорит умно, а делает глупости. Был бы он в своем уме, так разве стал бы тебе помогать или Веропкиных коров пасти?

— Правда, никак этого не понять!

— Голова у него не в порядке — вот и все!

— Зато лучше его нет человека на свете!

Шимек был бесконечно благодарен пану Яцеку, но, хотя они работали вместе, ели из одного горшка и спали под одним тулузом, он никак не мог обходиться с ним за просто.

«Как-никак панская порода!»

Он думал о пане Яцке с глубоким уважением и благодарностью, потому что при его помощи изба росла, как па дрожжах. А когда еще и Матеуш явился помогать, и Адам Клемб привез из леса всего, что было нужно, изба вышла такая хорошая, что ее даже из Липец было видно. Матеуш работал усердно почти целую неделю и других подгонял, а в субботу днем, когда изба была готова, он повесил на трубу зеленый венок и убежал на свою работу.

Шимек еще белил стены и выметал стружки и сор, а пан Яцек оделся, взял скрипку под мышку и сказал с улыбкой:

— Ну, гнездо готово, сажай теперь пasedку.

— Да ведь завтра после вечерни свадьба,— сказал Шимек и стал его благодарить.

— А я недаром работал! Вот как меня из деревни выгонят, переберусь к тебе.

Он закурил трубку и побрел к лесу.

А Шимек, хотя работа была окончена, все еще ходил вокруг избы и с восторгом любовался ею.

— Моя! Ну, конечно, моя! — твердил он и, словно не веря собственным глазам, трогал стены, заглядывал в окно, с наслаждением вдыхал кислый запах известки и сырой глины... Только в сумерки пошел он в деревню готовиться к завтрашнему дню.

В деревне все знали уже о свадьбе, и одна из соседок успела донести об этом Доминиковой, но старуха сделала вид, будто не понимает, о чем речь.

На другой день, в воскресенье, Ягуся с раннего утра то и дело тайком убегала к Настусе, таская ей из дому объемистые узлы, а старуха, хотя и отлично понимала, что происходит, не протестовала, но ходила по дому молча и такая сумрачная, что Енджик только после обеда решился к ней подступить.

— Так я пойду уж, мама! — сказал он шепотом, из осторожности держась подальше.

— Ты бы лучше лошадей выгнал на клевер!

— Да сегодня же Шимека свадьба, не знаете, что ли?

— Слава богу, что не твоя! — Она язвительно усмехнулась. — Только посмей напиться, так увидишь, что я с тобой сделаю! — пригрозила она сердито и, когда парень стал одеваться, поплелась куда-то в деревню.

— А вот напьюсь, назло тебе напьюсь! — бормотал Енджик, спеша к избе Матеуша.

Отправились в костел, но тихо, без песен, без криков и музыки. Венчание было скромное, всего при двух свечах, и Настуся горько плакала, а Шимек почему-то был мрачен и гордо, с вызовом смотрел на всех и обводил глазами пустой костел.

Ягуся сразу после венчания ушла к матери, но в течение дня несколько раз забегала посмотреть, как веселятся на свадьбе. Матеуш играл на флейте, Петрик на скрипке, и все танцевали в тесной избе, а иные даже перед избой, между столами, за которыми расселись гости. Пили, ели и беседовали тихо, потому что среди бела дня и в трезвом состоянии орать было как-то неловко.

Настоящего веселья не было, и многие, угостившись и для приличия посидев некоторое время, стали собираться домой, как только зашло солнце. Один Матеуш разгулялся: играл, пел, тащил девушек танцевать, угощал водкой. а когда появлялась Ягуся, не отходил от нее, смотрел ей в глаза и что-то горячо ей нашептывал, не обращая внимания на Терезку, которая с блестевшими от слез глазами неотступно следила за ним.

Ягуся не сторонилась его, слушала терпеливо, но оставалась глубоко равнодушной и все смотрела, не идут ли Антек с женой, потому что боялась с ними встретиться. Они, к счастью, не пришли. Да и никого из богатых хозяев не было на свадьбе, хотя приглашение все приняли и, как того требовал обычай, прислали подарки. Когда кто-то упомянул об этом, Ягустинка крикнула:

— Приготовили бы богатое угощение да поставили бы бочку горелки, так и палкой не разогнать было бы первейших хозяев. Они не любят понапрасну брюхо трясти и сухими языками молоть.

Быстро пролетела короткая ночь и, когда из чужих остался один Амброжий, опорожнявший все недопитые бутылки, молодые решили сейчас же перебраться в свою новую пазу. Матеуш уговаривал их остаться здесь на время, но Шимек заупрямился, попросил у Клемба лошадь, уложил на телегу сундуки, постель и всякий скарб, торжественно усадил Настусю. Потом, поклонясь теще в ноги, расцеловавшись с Матеушем, он низким поклоном простился со всей родней, перекрестился, стегнул лошадь и тронулся в путь, а рядом шли провожавшие.

Встало солнце и заискрились покрытые росой поля, зазвенели птицы, всколыхнулись тяжелые колосья. Весь мир праздновал рождение нового дня, каждый стебелек, каждая травка дышали радостью, и радость эта, как молитва, уносилась в ясное небо.

Шли молча. Только за мельницей, увидев, что высоко над телегой кружат два аиста, мать Настуси сказала, щелкнув пальцами:

— Тыфу, тыфу, не сглазить бы! Хорошая примета — будут у вас дети плодиться.

Настуся покраснела, а Шимек, подпирая плечом телегу на выбоинах, задорно посвистал и гордо оглянулся кругом.

Когда они остались одни в хате, Настуся, оглядев свое новое хозяйство, горько расплакалась, а Шимек крикнул:

— Не реви, глупая! У других и этого нет. Еще будут тебе люди завидовать!

Сильно утомленный и не совсем трезвый, он как повалился в углу на солому, так сразу и захрапел, а Настуся еще долго сидела на завалинке и плакала, глядя на белевшие из-за садов липецкие хаты.

Часто и после этой ночи горевала она о том, что они так бедны, но плакала все реже, потому что в деревне как будто сговорились помогать им. Первой пришла жена Клемба с курицей под мышкой и целым выводком цыплят в корзине, а с ее легкой руки чуть не каждый день стали заходить другие хозяйки — и не с пустыми руками.

— Милые вы мои, и чем же я вам отплачу! — шептала растроганная Настуся.

— А хоть бы добрым словом, — ответила Сикора, подавая ей целый кусок полотна.

— Разживешься — так отдашь тем, кто беднее тебя, — добавила, отдуваясь, толстая Плошкова, доставая из-за запаски изрядный кусок сала.

Они панесли ей столько, что этого могло хватить падолго, а как-то в сумерки Ясек Недотепа привел им своего пса, Кручека, и, привязав его у крыльца, убежал, как ошпаренный.

Настуся и Шимек весело смеялись, рассказывая об этом Ягустинке, которая шла мимо них из лесу. Старуха с пренебрежительной гримасой сказала:

— Он сегодня утром собирал для тебя ягоды, Настуся, по мать их у него отобрала.

VII

Ягустинка шла к Борынам, чтобы отнести собранные в лесу ягоды больной Юзе. Перед домом Ганка доила корову. Ягустинка присела рядом на завалинку и стала подробно рассказывать, сколько подарков получила Настуся.

— Это бабы пазло Доминиковой ее дарят, — сказала она в заключение.

— Ну, Настке-то это все равно! Однако надо бы и мне чего-нибудь ей снести, — пробормотала Ганка.

— Соберите, так я отнесу, — охотно вызвалась Ягустинка.

Из окна донесся слабый голос Юзьи:

— Гануся, отдай ей мою свипушку! Я, паверное, умру, так Настуся за меня молиться будет.

Ганке это предложение пришлось по вкусу, и она тотчас приказала Витеку отвести поросенка Настусе — пдти сама она почему-то не решалась.

— Витек, только ты непременно скажи ей, что свинка от меня! И пусть она придет поскорее, потому что мне уже не встать! — жалобно сказала Юзя. Бедняжка хворала вот уже целую педелю и лежала на другой половине избы в жару, вся распухшая и покрытая оспевными нарывами. Сначала, уступая ее мольбам, выносили ее на целый день в сад, под деревья, но потом ей стало настолько хуже, что Ягустинка запретила выносить ее на воздух.

— Тебе надо лежать в потемках, а то на солнце вся сыпь внутрь перейдет!

И Юзя лежала одна в затемненной комнате, стонала и тихонько жаловалась на то, что к ней не пускают ни детишек, ни подруг, — ухаживавшая за ней Ягустинка палкой гнала всех прочь.

Наговорившись с Ганкой, старуха отнесла больной ягоды и принялась замешивать мазь из чистой гречневой муки, обильно заправленной свежим несоленым маслом и яичными желтками. Толстый слой этой мази она наложила на лицо и шею Юзи, а сверху прикрыла мокрыми тряпками. Девочка терпеливо позволяла проделывать над собой все и только с тревогой допытывалась:

— А не останется на лице рябип?

— Не сдирай, тогда следов не будет, — вот как у Настуси.

— Да ведь как зудит, господи! Уж лучше вы мне свяжите руки, потому что я не утерплю! — со слезами попросила Юзя. Ягустинка пробормотала над ней какой-то заговор, окурила ее сухим молодильником и, связав ей руки, ушла работать.

Юзья лежала неподвижно, слушая жужжанье мух и тот странный шум, что постоянно теперь гудел у нее в голове. Слышала, как сквозь сон, что время от времени заходил кто-нибудь из домашних и молча уходил. То ей чудилось, будто ветви яблони, тяжелые от румяных яблок, низко нависли над ней, а она тщетно тянется и не может до них дотянуться. То начинало казаться, что вокруг нее теснятся овцы и жалобно блеют. Но когда в комнату тихо вошел Витек, она сразу угадала, кто это.

— Ну, отвел поросенка? Что Настуся сказала?

— Так обрадовалась, что чуть его в хвост не поцеловала!

— Ишь какой, вздумал над Настусей смеяться!

— Ей-богу, правда! И велела мне сказать, что завтра к тебе прибежит.

Вдруг Юзья заметалась на кровати и закричала испуганно:

— Отгони овец, затопчут они меня, отгони скорее!

Потом затихла и как будто уснула. Витек ушел, но очень часто заходил к ней. Раз она забеспокоилась и спросила:

— Что, уже полдень?

— Скоро полночь, должно быть. Все спят.

— Правда, темно. Убери воробьев из-под стрехи, шумят, как оголтелые!

Витек начал ей что-то рассказывать о гнездах, но она вдруг вскрикнула, пробуя подняться.

— А где Сивуля? Витек, не пускай ее на чужие поля, а то тебя отец выпорет!

Немного погодя она велела ему сесть поближе и стала шепотом рассказывать:

— Ганка меня не пускает на свадьбу к Настусе, а я пазло ей пойду! Надену голубой корсаж и ту юбку, что надевала в престольный праздник. Все на меня залюбуются, увидишь!.. Витек, нарви мне яблок, только смотри, как бы Ганка тебя не поймала!.. Плясать буду только с парнями!

Она замолкла и неожиданно уснула.

Витек теперь целыми часами сидел у ее кровати, отгоня веткой мух, поил ее, охранял, как наседка цыплят. Ганка оставила его дома для того, чтобы он ухаживал за больной, а скотину пас за него, вместе со своей, Мацюсь Клемб.

Мальчик скучал по лесу и воле, но он так жалел больную Юзью, что готов был для нее звезды с неба снимать, и все придумывал, чем бы ее позабавить и развлечь.

Однажды он принес ей целый выводок молодых куропаток.

— Юзя, погладь их, тогда они запищат. Погладь!

— А мне и погладить-то печем! — захныкала Юзья, поднимая голову с подушки.

Витек развязал ей руки, она взяла дрожавших птичек в свои бессильные, онемевшие ладони и стала прижимать к лицу и глазам.

— Как у них сердечки бьются! Боятся, бедненькие! Выпусти их.

— Я их выследил и поймал, а теперь выпускать? — возражал Витек, но все-таки выпустил птичек.

В другой раз принес он ей молодого зайчика и, держа его за уши, посадил к ней на постель.

— Зайпья, милый зайпья, от матери тебя взяли, спротивку, от матери! — приговаривала Юзя шепотом, прижав его к груди, как ребенка, и нежно лаская. Но заяц крикнул, как будто его резали, вырвался у нее из рук, скакнул в сени, угодив в целую стаю кур, которые разлетелись с кудахтаньем, из сеней прыгнул на крыльцо и через дремавшего Лапу в сад. Лапа погнался за ним, за Лапой — Витек с отчаянными криками, и поднялся такой переполох, что Гапка прибежала со двора, а Юзя хохотала до слез.

— А может, собака его сцапала, а? — с беспокойством спрашивала она потом у Витека.

— Как же! Только его хвостик она и видела! Заяц прыгнул в рожь, как камень в воду. Здорово бегаёт! Не горюй, Юзя, я тебе что-нибудь еще принесу.

И он таскал ей, что только мог: перепелок, словно обрызганных золотом, ежа, прирученную белку, которая очень смешно прыгала по комнате, птенцов ласточки, так жалобно пищавших, что родители их с криками влетели в комнату и Юзья велела Витеку отдать им птенчиков, и еще всякую всячину, не говоря уже о грушах и яблоках, — их он припасил столько, сколько они вдвоем с Юзью могли съесть, конечно, тайком от старших. Но Юзю ничего не тепло, взгляд у нее часто бывал мутный, невидящий, и она отворачивалась, усталая и недовольная.

— Не хочу, принеси что-нибудь новое! — капризничала она. Она не смотрела даже на анста, который ковылял по комнате, совал клюв во все горшки и напрасно прятался за дверь, подстерегая Лапу. Развлекла ее немного только живая желна, которую однажды принес ей Витек.

— Инсусе, вот прелесть-то! Как будто ее кто раскрасил!

— Она злая, как черт, берегись, как бы в нос тебя не клюнула.

— Да она и не рвется из рук. Ручная, что ли?

— Я ей ноги и крылья связал, а глаза залил смолой.

Они некоторое время возились с птицей, но желна си-

дела неподвижно на одном месте, была печальна, не хотела есть и скоро околела, к великому огорчению всего дома.

Так проходили дни за днями. Стояла все такая же жара, и чем ближе к жатве, тем она становилась сильнее. Днем уже невозможно было выйти в поле, да и ночи не приносили прохлады, они были до того душные, что даже в саду люди не могли уснуть. Словно тяжелое бедствие обрушилось на деревню. Траву выжгло, и скот, возвращаясь с пастбищ голодным, ревел в хлевах, картофель вырос с орешек да таким и остался, спаленный овес едва поднялся, ячмень пожелтел, а рожь высыхала раньше времени и белела пустыми колосьями. Людей все это сильно угнетало, и они каждый день с робкой надеждой смотрели на закат, не предвещает ли он перемену погоды. Но небо было все так же безоблачно, оно казалось стеклянным и пылало белым пожаром, солнце закатывалось чистое, не закрытое ни единым облачком.

Иные горячо молились перед образами, но это не помогало. Хлеба погибали, плоды недозрелыми падали с деревьев, высыхали колодцы, и даже в озере вода так сильно убывала, что и лесопилы не могла работать и мельница остановилась. Дойдя до полного отчаяния, мужики решили вскладчину отслужить молебен, и на него собралась вся деревня. Молились так, что молитвы эти могли бы смягчить и камень.

На другой день с утра было так душно и жарко, что птицы падали, обессилев, коровы жалобно мычали на пастбищах, лошади не хотели выходить из конюшен, а люди, измученные вконец, укрывались в сожженных солнцем садах, не решаясь выйти даже на огород. Но около полудня, когда все, задыхаясь, умирало в этом белом слепящем кипятке, солнце вдруг померкло, помутнело, словно в него швырнули горсть золы, а вскоре где-то в вышине зашумело, как будто стая птиц захлопала огромными крыльями, и со всех сторон стали надвигаться густо-синие тучи, все ниже и все грознее нависая над землей.

Повесело жутю, и все притихло, затаилось в невольном трепете.

Заворчал отдаленный гром, порыв ветра взметнул на улицах пыль, солнце разлилось, как желток на песке, и вдруг стало тепло, и на небе замелькал целый рой молний, как будто кто-то встряхивал огненными вожжами. Первая молния ударила так близко, что люди выбежали из хат.

Все вдруг взвихрилось, солнце погасло, землю окутала мутная мгла, и налетела гроза.

Клубящийся мрак прорезали струи ослепительного света, гром перекатывался по небу, шумел проливной дождь, и стонали под ветром деревья.

Молнии сверкали одна за другой, слепя глаза, из-за ливня ничего кругом не было видно, и местами даже выпал град.

Гроза бушевала около часу. Полегли хлеба в полях, по дорогам текли пенящиеся потоки. Чуть только утихало немного и начинало проясняться, как опять гремел гром, словно тысячи телег мчались по мерзлой земле, и опять дождь начинал лить как из ведра.

Все с тревогой выглядывали из хат, кое-где зажигали лампадки или даже выносили на завалинки образа, чтобы охранить дом от несчастья. Но гроза уже проходила, не натворив больших бед, и только когда все почти успокоилось и дождь уже не лил, а только моросил, из какой-то последней тучи, повисшей над деревней, ударила молния в амбар войта.

Вспыхнул огонь, поднялся столб дыма, и в одно мгновение весь амбар запылал. В деревне поднялась страшная суматоха. Все, кто только мог, бежали на место пожара, но о спасении амбара нечего было и думать, он пылал сверху донизу, как груда щепок. Антек, Матеуш и другие, не жалея сил, старались уберечь хату Козла и ближние постройки. К счастью, воды на улицах было сколько угодно, но опасность была велика — некоторые крыши начинали уже дымиться, искры летели дождем на соседние дворы.

Войта не было дома, он еще утром уехал в волость, а жена его отчаянно голосила, бегая вокруг пожарища. Когда опасность миновала и все стали расходиться, жена Козла подошла к ней и, подбоченившись, закричала:

— Вот видишь, пани войтова, наказал тебя господь за нас!

Жена войта бросилась к пей, и дело дошло бы до драки, если бы не подоспел Антек. Он разнял баб и так накричал на Козлову, что она, как побитая собака, убралась к себе в хату.

Гроза ушла за леса, выглянуло солнце, по ярко-голубому небу бежали стада белых облаков. Защебетали птицы, воздух был свеж и прохладен, люди принялись спускать воду и заравнивать размытые дождем ямы.

Антек почти у самого дома неожиданно столкнулся с

Ягусей, которая шла куда-то с корзиной и мотыгой. Он торопливо поздоровался, но она враждебно посмотрела на него и прошла мимо без единого слова.

— Ишь какая гордая! — проворчал рассерженный Антек и, встретив во дворе Юзьку, сурово накричал на нее за то, что она вышла в такую сырость.

Юзя уже настолько поправилась, что ей можно было целыми днями лежать в саду. Оспины хорошо зажили и подсохли, не оставив следов, но Ягустинка еще до сих пор мазала их своей мазью, — тайком от Ганки, которая была недовольна таким расходом масла и япц.

Помаленьку выздоравливая, Юзя лежала почти всегда одна, потому что Витек уже опять пас коров. Иногда забегала на минутку поболтать та или другая подружка, приходил посидеть подле нее Рох или старая Агата, говорившая всегда об одном и том же: что она, наверное, умрет осенью и у Клембов в избе, не как нищенка, а как хозяйка. Но чаще всего Юзя лежала одна или, вернее, в обществе Лапы, не отходившего от нее ни на шаг, аиста, который бежал на каждый ее зов, да птиц, слетавшихся на хлебные крошки.

Как-то раз, когда дома никого не было, зашла к ней Ягуся и принесла целую горсть карамели, но Юзя не успела даже ее поблагодарить: откуда-то донесся голос Ганки, и Ягна поспешно убежала.

— Кушай на здоровье! — крикнула она ей через плетень и скрылась. Она шла к брату.

Настуся сидела около коровы, тянувшей пойло из лохани, а Шимек, весело насвистывая, кончал пристройку к избе.

— У вас уже и корова есть? — удивилась Ягна.

— Есть. Что, хороша? — с гордостью сказала Настка.

— Корова славная. Должно быть, из усадебных? Когда купили-то?

— Покупать не покупали, а корова наша! Вот расскажу тебе все, так ты за голову схватишься и не поверишь! Вчера на заре слышу: что-то трется об угол хаты, да так, что вся хата дрожит. Это, думаю себе, скот мимо гонят, и какая-нибудь свинья подошла грязь с себя стереть. Легла я опять, да не успела задремать — что-то будто мычит за окном. Вышла, гляжу — стоит корова, к дверям привязана и перед ней клевера охапка, а вымя у нее полно молока, и она мордой ко мне тянется. Я глаза протерла, — во сне, думаю, мерещится. Да нет, стоит живая корова, мы-

чит и пальцы мне лижет. Я подумала, что она от стада отбилась, а Шимек тоже говорит:

— Сейчас за ней кто-нибудь прибежит!

Одно мне покою не давало — что она была привязана. Ведь не сама же она себя привязала! Ну, полдень миновал, а никто за ней не идет! Я ее выдоила, потому что молоко уже капало из вымени. Прошел вечер, прошла и ночь, я на деревне всех расспрашивала, спросила даже у пастуха из усадьбы, — никто не слышал, чтобы у кого-нибудь корова пропала, а старый Клемб сказал, что она, может, краденая и лучше ее отвести в канцелярию. Мне, конечно, жалко было ее отдавать, да что же делать! Вдруг днем приходит Рох и говорит:

— Ты женщина хорошая и бедная, вот господь бог и послал тебе корову.

— Как же, говорю, уже коровы стали с неба падать! Никакой дурак этому не поверит!

А он засмеялся и, когда собрался уходить, говорит:

— Корова ваша, не бойтесь, никто ее у вас не отберет.

Тут я подумала, что это от него, упала ему в ноги и стала благодарить, а он и слушать не стал.

— Когда встретишь пана Яцека, — говорит он и смеется, — так не вздумай только его за корову благодарить, а то он тебя палкой отколотит — не любит, чтобы его благодарили.

— Значит, это пан Яцек подарил вам корову?

— Кто же еще так добр к бедным людям?

— Правда, он и Стаху дал лесу на избу и так много им помогает!

— Святой человек, я за него теперь каждый день богу молюсь.

— Только бы не увели у вас коровку-то!

— Что? У меня корову украдут? Господи, да я за нее глаза выцарапаю, да я на край света пойду, а ее отыщу! Бог не допустит такой беды! На ночь будем брать ее в избу, покуда Шимек не выстроит хлев. Да и Яськова собака скотипу постережет. Радость ты моя, миленькая моя! — Она обняла корову за шею и стала целовать в морду. Корова замычала от боли, пес залился веселым лаем, раскудахтались испуганные куры, а Шимек насвистывал все громче.

— По всему видно, что господь вас благословил! — с легкой грустью сказала Ягна и вздохнула, внимательно приглядываясь к обоим. И Настуся и Шимек казались ей

совсем другими, она не узнавала их, в особенности Шимека. Ведь она всегда считала его ротозеем, который до трех сосчитать не сумеет, в доме был он на побегушках, и помыкали им все, кому не лень, а теперь вдруг оказался настоящим человеком, делал все с толком, держался с достоинством и рассуждал умно.

— Которое же поле ваше? — спросила она после долгого молчания.

Настуся повела ее показывать поле и объясняла, где они что будут сеять.

— А семепато откуда возьмете?

— Шимек говорит, что будут, значит, будут! Он слов на ветер не бросает.

— Брат оп мне, а я слушаю и дивлюсь, как будто о незнакомом человеке говоришь.

— А какой он хороший, и разумный, и работающий! Другого такого на свете нет! — горячо сказала Настуся.

— Да, видно, что так, — все с той же легкой грустью согласилась Ягна. — А это чье же поле насыпью огорожено?

— Антека Бороны. На нем не работают, — ждут, Должно быть, дележа.

— С полвлуки здесь будет! Да, нехудо им живется!

— Дай им бог в десять раз больше. Ведь Антек поручился за нас помещику и многим еще помог!

— Антек хлопотал за Шимека?

Ягна даже остановилась от удивления.

— Да, и Гапка тоже добрая — подарила мне поросенка! Он еще молоденький, но хорошая будет свинья, породистая.

— Чудеса! Гапка тебе свинью подарила? Просто даже не верится!

Они вернулись к избе, и Ягуся, достав из-за пазухи завязанные в платочек десять рублей, сунула их в руку Настусе.

— Возьми вот немного денег! Раньше я не могла дать вам, потому что Янкель за гусей долго мне не платил.

Они от души поблагодарили ее, а она на прощанье сказала:

— Потерпите, мать сменит гнев на милость и тоже вам уделит что-нибудь.

— Не надо мне ничего, пусть она мою долю в гроб с собой возьмет! — выпалил Шимек так неожиданно и с такой злобой, что Ягуся сразу замолчала и ушла.

Шла домой в глубоком раздумье. Ее томила какая-то чуждая тоска.

— А я что? Сухой бурьян, никому не нужный! — сиротливо вздохнула она.

На полдороге встретился ей Матеуш. Он шел к сестре, но повернул и пошел провожать Ягусю, внимательно слушая то, что она рассказывала о молодой паре.

— Не всем так хорошо, — сказал он угрюмо.

Разговор не клеился, Матеуш чего-то вздыхал, озабоченно скреб затылок, а Ягуся загляделась на Липцы, облитые пламенем заката.

— Эх, душно на этом свете и тесно! — промолвил он, словно про себя.

Ягуся вопросительно посмотрела на него.

— Что это с тобой? Кислый такой, точно уксусу хлебнул!

Матеуш стал жаловаться, что ему опостылела и деревня, и жизнь, и все на свете и что он непременно уйдет куда глаза глядят.

— А ты женись — вот жизнь и переменится, — пошутила Ягуся.

— Кабы меня захотела та, которая у меня в мыслях, — он пристально заглянул в глаза Ягусе, но она опустила голову, недовольная и смущенная.

— Так ты спроси у нее. За тебя любая пойдет, и не одна у нас в Липцах ждет не дождется сватов.

— А вдруг откажет, что тогда? Стыд будет и досада!

— Откажет — к другой посватаешься.

— Нет, я не таков. Присмотрел себе одну — и к другим меня не тянет.

— Э, для мужика все бабы хороши, он со всякой рад связаться.

Матеуш не возразил ничего и попробовал подъехать с другой стороны:

— Знаешь, Ягусь, парни только и ждут, когда можно будет к тебе сватов с водкой послать.

— Пусть сами эту водку хлещут, не пойду ни за кого! — ответила Ягна так твердо, что Матеуш даже оторопел.

Она сказала это искренне: никто из парней не был ей мил... разумеется, кроме Яся, но Ясь...

Она тяжело вздохнула, с наслаждением отдаваясь воспоминаниям о нем. Матеуш, так ничего и не добившись, пошел обратно, к сестре.

А Ягна, робко озираясь, думала о Ясе:

«Как он там поживает, что-то делает теперь?»

Вдруг кто-то крепко обнял ее сзади. Она стала отбиваться.

— Теперь не уйдешь от меня, нет! — горячо шептал войт.

Она вырвалась из его рук и яростно крикнула:

— Если еще хоть раз меня тронешь, я тебе глаза выдарапаю и такой крик подниму, что вся деревня сбежится.

— Тише, Ягусь, я тебе гостинец привез.

Он пытался сунуть ей в руки кораллы.

— Сунь их псу под хвост, не надо мне от тебя подарков!

— Ягуся, да что ты? — ахнул удивленный войт.

— А то, что боров ты и больше ничего! И не смей больше ко мне приставать!

Опа в гневе убежала от него и, как буря, влетела в избу. Мать чистила картошку, а Енджик во дворе доил коров. Ягуся проворно принялась хлопотать по хозяйству, но вся тряслась от злости, никак не могла успокоиться и, едва только стемнело, опять собралась уходить.

— Зайду к органисту, — сказала она матери.

Опа теперь часто туда ходила и всячески угождала родителям Яся, чтобы хоть изредка услышать о нем.

Вот и сейчас она бежала туда, страстно желая и надеясь узнать о нем что-нибудь новое.

Скоро засияли во мраке освещенные окна его комнаты, где Михал что-то писал за столом под висячей лампой. Органист с женой сидели в холодке перед домом.

— Завтра днем Ясь приезжает! — встретила ее жена органиста. От этой вести Ягуся так и обомлела, ноги у нее подкосились, сердце сильно билось, и трудно стало дышать.

Посидев немного для приличия, она ушла. Побежала, словно за ней гнались, на дорогу под тополями, к лесу...

— Иисусе милосердный! — шептала она, полная благодарности. Слезы текли из глаз, а в сердце пела радость. Хотелось смеяться, кричать, лететь куда-то, целовать эти деревья, припасть к этим полям, спящим в лунном свете.

— Ясь приедет, Ясь приедет! — шептала она по временам и, срываясь, как птица, летела вперед на крыльях ожидания и тоски, словно навстречу судьбе своей и невыразимому счастью.

Только поздно вечером вернулась она в деревню. Во всех хатах было темно, свет горел лишь у Борын, где собралось много народу. Ягна пошла домой — ждать завтрашнего дня и мечтать о Ясе.

Напрасно ворочалась она с боку па бок — сон не шел. Когда мать уснула, она тихонько встала и, накинув платок, села на завалинке ждать либо сна, либо рассвета.

У Борын, за озером, в одной половине избы еще было светло, и оттуда доходил глухой говор.

Засмотревшись на дрожавшие в воде блики света, Ягна забыла обо всем, погрузилась в туманные и неуловимые мечты, опутавшие душу, как паутина, уносившие ее в какой-то тихий предвечерний час, залитый розовой зарей, в мир неутолимой тоски.

Луна уже зашла, белесый сумрак укрыл поля, в вышине горели звезды, и порой одна из них падала быстро и где-то очень далеко. Теплый легонький ветерок касался лица Ягны нежно, как любимые руки, а порой приносил с собой знойное и ароматное дыхание полей и такой пегой проникал в сердце, что Ягна потягивалась, закинув руки за голову. Так сидела она, уйдя в свои мечты, в предчувствии невыразимого счастья, как молодой побег, который растет и наливается соками. А ночь ступала тихо и осторожно, словно боясь спугнуть человеческое счастье.

У Борын все еще светилось, и на улице стоял на страже Витек, зорко следя, чтобы кто-нибудь непрошенный не стал подслушивать. А в хате мужики тайком совещались перед завтрашним сходом в волости, куда всйт вызывал всех липецких хозяев.

В комнате было темновато, один только огарок слабо мерцал на печке, и трудно было различить лица. Здесь собралось человек двадцать — все, кто был заодно с Антеком и Гжелей.

Сидевший где-то в темноте Рох подробно объяснял, что будет, если они согласятся на открытие русской школы в Липцах. Потом Гжеля учил каждого в отдельности, что надо сказать начальству и как голосовать.

Совещание затянулось до поздней ночи, не обошлось без ссор и споров, но в конце концов столковались и еще до рассвета поспешно разошлись, потому что на другой день надо было выехать рано.

А замечтавшаяся Ягуся все еще сидела на завалинке, слепая и глухая ко всему, и только иногда, как нескончаемую молитву, шептала: «Приедет! Приедет!» И неволь-

по наклонялась вперед, словно вглядываясь в завтрашний день, словно желая увидеть, что несет ей этот серевший над землей рассвет, и со страхом и радостью покорялась тому, что должно совершиться.

VIII

Было около полудня, становилось все жарче, и липецкие уже все собрались перед волостной канцелярией, а начальника еще не было. То и дело выходил писарь и, держа руку козырьком над глазами, смотрел на широкую улицу, окаймленную кривыми вербами, но на улице только блестели лужи, оставшиеся после вчерашнего ливня, и порой медленно катилась запоздавшая телега да между деревьями белел мужицкий кафтан.

Народ ждал терпеливо, и только войт бегал, как угорелый, выглядывая на дорогу и все громче понукал мужиков, засыпавших выбоины и ямы на площади перед канцелярией.

— Живее, люди, ради бога! Только бы успели кончить до его приезда!

— Смотрите, как бы с вами со страху грех не случился! — слышался голос из толпы.

— Шевелитесь, люди! Не время шутки шутить, я обязанности свои исполняю.

— Вы бога одного бойтесь, войт! — со смехом сказал кто-то из репечких.

— Пусть только еще кто рот откроет, — в кутузку велю засадить! — строго крикнул войт и побежал смотреть на дорогу с кладбища, расположенного на пригорке за домом, в котором помещалась канцелярия.

Огромные вековые деревья осеняли дом, за ветвями их серела башня костела, а из-за каменной ограды кладбища кресты простирали черные руки над крышами и дорогой.

Ничего так и не увидев, войт поручил одному из солтысов надзирать за работавшими, а сам ушел в канцелярию. Туда все время входили люди — это писарь поминутно вызывал кого-нибудь из мужиков, чтобы напомнить о накопившихся недоимках, или неуплаченных судебных издержках, или о чем-нибудь еще похуже. Конечно, эти напоминания никому не были приятны, мужики слушали и вздыхали — что станешь делать в такое трудное время перед новым урожаем? Где тут платить, когда у многих и из

соль не хватало! И они только клаялись писарю в пояс, а иной и руку у него целовал.

Были и такие, что совали ему в подставленную руку последний злотый и просили подождать до жатвы или до ближайшей ярмарки.

Писарь этот был хитрая шельма и обдирал людей так, что среди мужиков стон стоял. Кому обещаний надает, кого стражниками пугнет, кому польстит и очки вотрет, с иными был запашибрата и у каждого умел что-нибудь выклянчить: то у него овес весь вышел, то молодые гуси нужны были для пачальника, то намекал насчет соломы для перевясел, и мужики волей-неволей обещали все, что ему нужно было. Сегодня он на прощанье отводил в сторону тех, с кем был знаком поближе, и якобы по дружбе давал советы.

— Вы деньги на школу дайте, потому что, если будете противиться, начальник рассердится и, пожалуй, помещает вам сговориться с помещиком насчет леса, — предостерегал он липецких мужиков.

— Как же так? Ведь мы миримся по доброй воле! — удивлялся Плошка.

— Мало ли что? Не знаете разве, что паны всегда заодно?

Плошка ушел сильно расстроенный, а писарь продолжал вызывать людей из разных деревень и, страшая каждого чем-нибудь, требовал, чтобы они утвердили расход на школу. Это мигом разнеслось в толпе ожидавших крестьян.

А собралось их немало — больше двухсот человек. Вначале стояли деревнями, сосед около соседа, и легко было узнать, кто из Липец, кто из Модлицы, или из Пшиленка, или из Репок, потому что в каждой деревне одевались по-своему. Но, когда разнеслась весть, что придется утвердить школу, потому что этого хочет сам начальник, все смешалось, люди переходили от одной группы к другой, оживленно толкуя между собой, и только репечкая шляхта держалась особняком, заносчиво поглядывая на мужиков.

Больше всего народу толпилось у корчмы, стоявшей напротив канцелярии среди деревьев. Неприятная жара измучила всех, люди шли освежиться пивом. И корчма была переполнена, и под деревьями стояли мужики, разговаривая и наблюдая отсюда за канцелярией и за квартирой писаря в другой половине дома, где суматоха и беготня все усиливались.

Время от времени в окне появлялась жирная рожа супруги писаря, и раздавался крик:

— Живей, Магда! Чтоб ты ноги себе поломала, рохля такаая!

Служанка ежеминутно вихрем проносилась по комнатам, и при этом стонали половицы и дребезжали стекла. Где-то громко кричал ребенок, за домом кудахтали испуганные куры, и сторож, запыхавшись, гонялся за цыплятами, разбежавшимися по дороге и полю.

— По всему видно, что начальника угощать будут, — заметил кто-то.

— Говорят, вчера писарь привез полную бричку бутылок.

— Налижуются опять, как в прошлом году!..

— Отчего им не пьянствовать — мало ли они с парода податей собирают, а ведь за ними следить некому, — сказал Матеуш, но вдруг кто-то закричал:

— Тише ты, стражники уже пришли!

— Подкрадываются, как волки, и не заметишь, когда и откуда!

Все встревоженно притихли, потому что стражники расселись около канцелярии, окруженные кучкой людей, среди которых были войт и мельник, а немного подалее слонялся кузнец, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорилось.

— Ишь мельник-то ластится к ним, как голодная собака!

— Раз стражники здесь, значит, и начальник сейчас будет! — воскликнул Гжеля и подошел туда, где стояли Антек, Матеуш, Клемб и Стах Плошка.

Посоветовавшись, они разбрелись между людей, объясняя им что-то — должно быть важное, потому что их слушали в сосредоточенном молчании, изредка с беспокойством поглядывали на стражников и все теснее сбивались в кучу.

Антек, прислонясь к углу корчмы, говорил коротко, веско и повелительно, а в другой группе, под деревьями, ораторствовал Матеуш, пересыпая свою речь шуточками, вызывавшими общий смех. В третьей, у кладбища, Гжеля говорил так мудро, словно по книжке читал, и даже понять его трудно было.

Все трое убеждали мужиков не слушать начальника и тех, кто всегда с начальством заодно, и денег на школу не давать.

Их слушали внимательно, толпа вокруг них колыхалась, как лес под напором ветра. Ничего не говорили, только кивали головами, — ведь каждый понимал, что от новой школы проку не будет, только наложат еще новые поборы, а это никому не улыбалось.

Мужиков охватило беспокойство, они переминались с ноги на ногу, покашливали, и никто не знал, как быть.

Конечно, Гжеля говорил умно, слова Антека доходили до самого сердца, но, с другой стороны, страшно было идти против начальства.

Оглядывались один на другого, раздумывали и все ждали, что решат богатей, по мельник и самые богатые хозяева из других деревень держались особняком, стоя как будто с умыслом на виду у стражников и писаря.

Антек подошел к этой группе и начал уговаривать их, по мельник проворчал:

— У кого голова на плечах, тот сам знает, за что голос подавать.

И отвернулся к кузнецу, а тот всем поддакивал, но беспокойно шнырял в толпе, вынюхивая, к чему дело клонится. Он то уходил к писарю, то заговаривал с мельником, то угощал Гжелю табаком, а замыслы свои таил про себя, и до самого конца неизвестно было, на чьей он стороне.

Большинство склонялось к тому, чтобы голосовать против школы. Люди разбрелись по площади и, не обращая внимания на полуденный зной, толковали все оживленнее и смелее. Вдруг писарь крикнул из окна:

— Эй, подойдите-ка сюда кто-нибудь!

Никто не двинулся с места, словно и не слышали.

— Пусть кто-нибудь сбегает в усадьбу за рыбой, еще утром должны были прислать, а до сих пор не прислали. Только живее! — повелительно кричал писарь.

— Мы не за тем пришли, чтобы на посылках у тебя быть, — раздался в толпе голос какого-то смельчака.

— Пускай сам бежит! Боится брюхо растряссти! — засмеялся другой.

Писарь выругался, а через минуту из дома через заднюю дверь вышел войт, прошмыгнув за корчму и побежал к усадьбе.

— Он детей у писаря уже перепеленал, так теперь немного проветрится.

— Скоро его заставят и ночной горшок выносить, — насмехались мужики.

— И что это помещика нашего не видать? — удивлялись некоторые, а кузнец с хитрой усмешкой заметил:

— Не дурак он, чтобы сюда показываться.

На него посмотрели вопросительно.

— Зачем ему ссориться с начальником? Ведь за школу он голосовать не станет, — знаете, сколько ему пришлось бы платить! Хитер!

— А ты-то, Михал, с нами или против нас? — припер его к стенке Матвус.

Кузнец завертелся, как придавленный погой червяк, и, буркнув что-то невнятное, стал проталкиваться к мельнику, который подошел к мужикам и громко, чтобы слышали другие, говорил старому Плошке:

— А я вам советую: постановите то, чего начальство хочет. Школа, хотя бы самая плохая, все же лучше, чем ничего. А такую, какой вы хотите, вам не разрешат. Что поделаешь, лбом стену не прошибешь! Не захотите их школу утвердить, так и без вашего согласия ее откроют.

— Если мы денег не дадим, на какие же деньги ее выстроят? — сказал кто-то в толпе.

— Дурень! Не дашь по доброй воле, так они и сами возьмут — продадут твою последнюю корову, да еще в острог попадешь за бунт! Понятно?.. Это вам не с помещиком воевать! — обратился он к лицецким. — С начальником шутки плохи! Говорю вам: делайте, что прикажут, и бога благодарите, что дешево отделаетесь.

Мельнику поддакивали те, кто был того же мнения, а старый Плошка после долгих размышлений неожиданно брякнул:

— Вы правильно говорите, а Рох только народ мутит и в беду нас введет.

Тут вышел вперед какой-то мужик из Пшиленка и сказал громко:

— Рох с панами заодно, вот он и подстрекает народ против властей.

На него закричали со всех сторон, но мужик не оробел и, когда вокруг стало потише, опять заговорил:

— А дураки ему помогают. Да, да! — он обвел толпу живыми, умными глазами. — Кому мои слова не по путру, пусть выйдет сюда, я ему в глаза повторю, что он дурак! Не знаете разве, что всегда так было: паны бунтуют и народ подстрекают. Доведут его до беды, а как отвечать придется, — кто за все расплачивается? Как поставят вам казачков по деревням, по чьим спинам нагайки загуляют?

Кто страдать будет? Кого в тюрьму потащат? Вас, мужиков! Паны за вас тогда не вступятся, нет: они от всего отрекутся, как Иуда, и будут начальство у себя в усадьбах угощать.

— Ясно, что им народ? Только на то и нужен, чтобы на его горбу сидеть.

— Если бы можно, они рады бы хоть завтра барщину вернуть! — раздался голоса.

— Гжеля говорит, — начал снова тот же мужик, — «пусть учат по-польски, а не хотят — так на школу ни гроша не дадим!» Что же, против властей пойдем? Это ведь работник только может крикнуть хозяину: «Не хочу работать, наплевать мне на тебя», да и удрать, и ничего ему за это не будет. А народ-то никуда не убежит, и за бунт ему достанется, потому что никто другой спину за него не подставит... Верьте мне, построить школу вам дешевле обойдется, чем перечить начальству. Правда, учат в этих школах не по-нашему, да ведь все равно русских из нас не сделают, потому что и говорить между собой и молиться будем только так, как матери нас учили... А напоследок я вам еще вот что скажу: давайте-ка, мужики, только за себя стоять! Господа меж собой дерутся, не наше это дело, пусть хоть загрызут друг друга! Все они нам такие братья, что чумы на них мало!

Мужики обступили его тесной толпой и орали на него, как на бешеную собаку. Напрасно мельник и другие пробовали его защищать. Сторонники Гжели уже и кулаками ему грозили, и дошло бы, пожалуй, и до чего-нибудь похуже, если бы старый Прычек не крикнул вдруг:

— Стражники слушают!

Сразу все замолчали, а Прычек вышел вперед и начал сердито:

— Правильно он говорит: вы за себя стойте!.. Тише! Ты свое слово сказал, дай и другому сказать! Горло дерут и думают, что умнее их и нет никого! Кабы от крика ума прибавлялось, так у всякого горлопана было бы ума больше, чем у самого ксепдза! Смейтесь, смейтесь, сукины дети, а вот я вам расскажу, как было в те годы, когда паны бунтовали. Хорошо помню, как они нас морочили и клялись, что, когда будет опять Польша, так и волю нам дадут, и землю, и лес, и все! Толковали, обещали, а то, что у нас теперь есть, нам не они, а кое-кто другой дал, да еще их наказал за то, что не хотели ни в чем помочь народу. Слушайте панов, если вы такие дураки, а я старый воро-

бей, меня па мякине не проведешь! Знаю я, какую им надо Польшу! Опять плеть на наши спины, опять барщина да притеснения! Еще меня...

— Дайте ему кто-нибудь в морду, чтоб замолчал! — крикнул голос из толпы.

— А теперь,— продолжал старик,— я такой же пац, как другие, у меня свои права есть, и никто меня пальцем не смеет тронуть! Там для меня Польша, где мне хорошо, где я имею...

Ему не дал закончить град насмешливых замечаний, посыпавшийся на него со всех сторон:

— Свинья тоже хрюкает от удовольствия да свой хлев и полное корыто хвалит!

— А ее откормят, и потом — дубиной по башке и нож в горло!

— На ярмарке стражник его отколотил, вот он теперь и знает, что его никто тронуть не смеет!

— Ни черта не смыслит, а языком мелет!

— Важный пац, что и говорить! Воля ему дана — куда хочет, туда вши и понесут!

— Глуп, как сапог, а еще людей учить вздумал!

Старик вскипел, но сказал только:

— Скоты! Уже и седины не почитают!

— Тогда, значит, каждую сивую кобылу надо почитать за то, что она сивая?

Грянул смех. Но вдруг все отвернулись от старика и стали смотреть на сторожа, который влез на крышу и, держась за дымовую трубу, всматривался в даль.

— Юзек, рот закрой, а то еще влетит что-нибудь! — кричали сторожу насмешники, увидев, что над ним кружит стая голубей. Но сторож, не слушая их, вдруг заорал:

— Едет! Едет! Уже на повороте из Пишленка!

Толпа собралась перед домом и терпеливо глядела на дорогу, где ничего еще не было видно.

К этому времени солнце передвинулось уже за крышу дома, и тень от навеса становилась все длиннее. В тени поставили стол, покрытый зеленым сукном, а посредине стола — распятие. Рыжий, толстомордый помощник писаря, все время ковыряя в носу, вынес и положил на стол какие-то бумаги. Писарь поспешно стал переодеваться в парадный костюм, по всему дому опять разносились крики его супруги, звон посуды, грохот передвигаемой мебели и беготня. Через несколько минут появился и войт. Он остановился на пороге, красный, как рак, потный, запылав-

шийся, но успел уже надеть цепь на грудь и, обводя глазами толпу мужиков, строго крикнул:

— Потише, люди, тут вам не корчма!

— Эй, Петр, поди-ка сюда, я тебе кое-что скажу! — позвал его Клемб.

— Тут я тебе не Петр, а начальство, — с важностью отрезал войт.

Это заявление вызвало среди мужиков громкий смех и всякие замечания. Но войт вдруг торжественно возгласил:

— Расступитесь, люди! Начальник!

На дороге показалась коляска и, подсакивая на ухабах, подкатила к дому. Начальник поднес руку к козырьку, мужики сняли шапки, наступила тишина. Войт и писарь кинулись высаживать начальника из коляски, а стражники, вытянувшись в струнку, застыли у дверей.

Начальник позволил спять с себя белый плащ и, обернувшись, окинул взглядом толпу, погладил светлую бородку, хмуро кивнул головой и вошел в квартиру писаря, куда тот приглашал его, согнувшись в дугу.

Коляска отъехала, мужики снова затеснились около стола, думая, что сейчас начнется собрание, но прошло четверть часа, прошло полчаса, а начальник все не выходил. Из комнат писаря доносился звон рюмок, смех и аппетитные запахи, от которых щекотало в носу.

Солнце пригревало все сильнее, людям надоело ждать, и некоторые уже стали украдкой пробираться к корчме, но войт закричал:

— Не расходиться! Кого не будет — оштрафую!

И люди, конечно, останавливались, но ругались все крепче и нетерпеливо поглядывали на окна, которые изнутри кто-то притворил и занавесил.

— Ишь стесняются водку хлестать у всех на глазах.

— И лучше, что не видим, а то приходится только понапрасну слюнки глотать! — говорили в толпе.

Из арестантской, находившейся рядом с канцелярией, раздалось протяжное унылое мычание, и через минуту оттуда вышел сторож, таща на веревке большого теленка. Теленок упирался изо всех сил и вдруг боднул сторожа головой, да так, что свалил его с ног, и помчался по дороге, задрвав хвост и поднимая пыль.

— Держи разбойника! Лови!

— Насыпь ему соли на хвост, тогда вернется!

— Ну и нахал! Убежал из кутузки, да еще пану войту

хвост показал! — смеялись мужики, наблюдая, как сторож гопится за теленком. Наконец при помощи солтыса телка удалось загнать во двор. Не успели сторож и солтыс отдышаться, как войт распорядился подмести в арестантской и сам за ними присматривал, опасаясь, как бы начальник не вздумал заглянуть сюда.

— Надо бы тут покурить, войт, чтобы начальник не унюхал, какой тут сидел арестант.

— Ничего, водка у него нюх отшибет!

Слыша все эти колкие насмешки, войт только глазами сверкал и стискивал зубы. Но в конце концов мужикам и это надоело, их так донимали солнце и голод, что они, не слушая приказов войта, целой гурьбой двинулись под деревья. Только Гжеля сказал ему:

— Люди — не собаки, не прибегут к тебе, хоть до вечера ори!

И, пользуясь тем, что стражники их не видят, опять стал ходить от одного к другому, напоминая, как надо отвечать начальнику.

— Только ничего не бойтесь, — говорил он, — закон на нашей стороне. Как постановим, так и будет! Если сход не захочет, никто его принудить не может.

Не успели еще люди прилечь в тени и подзакусить, как солтысы начали их созывать, а войт прибежал с криком:

— Начальник идет! Скорее! Начинаем!

— Наелся, так прыти у него много, а нам не к спеху, подождет! — сердито бурчали мужики, лениво сходясь к канцелярии.

Солтысы стали каждый во главе своей деревни, а войт и помощник писаря сели за стол. Помощник подсвистывал голубям, которые, испугавшись шума, вспорхнули с крыши и трепещущим белым облаком кружили в воздухе.

— Молчать! — крикнул вдруг один из стражников, вытянувшихся в струнку у порога.

Все глаза обратились на дверь, но из нее вышел только писарь с какой-то бумагой в руках и сел за стол.

Войт зазвонил в колокольчик и сказал торжественно:

— Ну, люди добрые, начинаем! Тише там, модлицики! Пап секретарь прочитает вам пасчет школы. Слушайте внимательно, чтобы все поняли, о чем речь.

Писарь надел очки и начал читать медленно и внятно.

Он читал уже минут десять среди полнейшей тишины, как вдруг кто-то крикнул:

— Да мы не понимаем!

— Читайте по-нашему! Не понимаем! — подхватило множество голосов.

Стражники стали зорко всматриваться в толпу.

Писарь поморщился, но, читая дальше, стал тут же переводить на польский язык.

Опять наступила тишина, все сосредоточенно слушали, взвешивая каждое слово и не сводя глаз с читавшего. А писарь тянул:

— ...Так как приказано в Липцах открыть школу, каковая будет обслуживать и Модлицы, Пшиленк, Репки и другие деревни поменьше, то...

Он долго объяснял, какую пользу принесет школа, как благотельно просвещение, как правительство денно и нощно заботится о том, чтобы помочь народу. Потом стал подсчитывать, сколько будет стоить участок, постройка здания и содержание школы и учителя. Оказалось, что на все это надо утвердить добавочный налог по двадцати копеек с морга.

Наконец писарь кончил, протер очки и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Пап начальник говорил, что, если сегодня утвердите, он разрешит начать стройку еще в нынешнем году, а с будущей осени дети уже пойдут в школу.

Он ждал, но никто не произнес ни слова. Наконец войт сказал:

— Все хорошо слышали то, что прочитал пан секретарь?

— Слышали! Не глухие, чай! — отозвались голоса в толпе.

— Кто против, пусть выйдет вперед и скажет.

Мужики подталкивали друг друга локтями, переглядывались, но никто не решался выступить первым.

— Ну, так утвердим быстро налог, и по домам! — предложил войт.

— Значит, все согласны? — торжественно спросил писарь.

— Нет! Не хотим! — крикнул Гжеля, а за ним еще несколько десятков мужиков.

— Не надо нам такой школы! Не согласны! Довольно и так податей платим! Нет! — кричали уже со всех сторон все смелее, громче и задорнее.

На шум вышел начальник и остановился на пороге. Увидев его, все притихли, а он, пощипывая бородку, сказал очень милостиво:

— Как живете, хозяйева?

— Спасибо! — ответили те, кто стоял поближе, с трудом выдерживая натиск толпы, которая хлынула вперед, чтобы услышать, что будет говорить начальник.

Прислонясь к косяку, он заговорил по-русски. Стражники бросились в толпу крича:

— Шапки долой! Шапки!

— Пошли прочь, гады, не путайтесь под ногами! — выругал их кто-то.

Начальник что-то долго говорил сладеньким голосом, а кончил по-польски, уже совсем другим тоном:

— Утвердите сейчас же, мне некогда!

И строго смотрел на мужиков. Многие струхнули, толпа заволновалась, пробежал тревожный глухой шепот:

— Ну, что, будем голосовать за школу? Говори же, Плошка, что делать? Где Гжеля? Слышите, начальник приказывает утвердить! Давайте соглашаться, что ли!

Шум рос. Наконец вышел вперед Гжеля и сказал смело:

— На такую школу не дадим ни гроша.

— Не дадим! Не согласны! — поддержало его человек сто.

Начальник грозно нахмурил брови.

Войт обомлел, у писаря даже очки свалились с носа, только Гжеля не испугался и смело смотрел на начальника. Он хотел еще что-то добавить, но выступил старик Плошка и, низко поклонясь, начал смиренным тоном:

— Дозвольте, ваша милость, сказать, как я по-своему разумею: школу-то мы утвердим, да нам думается, что по двадцати копеек с морга многовато будет. Времена ныне тяжелые, и насчет денег у нас туго! Вот только это я и хотел сказать.

Начальник, занятый какими-то своими мыслями, не отвечал и только время от времени кивал головой, словно соглашаясь. Ободренный этим войт, а за ним и его приятели стали с жаром отстаивать школу; больше всех шумел мельник, не смущаясь острыми насмешками сторонников Гжели. Наконец разозленный Гжеля крикнул:

— Мы только из пустого в порожнее переливаем.

Выбрав подходящую минуту, он подошел к начальнику и смело спросил:

— А какая же это будет школа?

- Такая, как и все! — ответил тот, открывая глаза.
— Такая нам не нужна!
— На польскую школу дадим хоть по полтине с морга,
— а па другую — ни гроша!
— Что толку от такой школы! Мои дети учились три
года, а ни черта не знают.
— Тише, люди, тише!
— Разбрыкались, бараны, а волк того и гляди на стадо
нападет!

— Крикуны окаянные, новую беду на всех накликают!
Мужики все более распалялись, орали наперебой, под-
нимая страшный шум. Каждый доказывал свое и убеждал
других, толпа разбилась на кучки, и везде кипели споры.
Громче и неистовее всех горланила компания Гжели, вос-
ставая против утверждения школы. Тщетно войт, мельник,
хозяева из других деревень уговаривали, просили и даже
страшали их, чем угодно, — большинство мужиков заку-
сили удила и кричали, что на ум взбредет.

А начальник сидел, словно ничего не слыша, и шеп-
тался с писарем. Дав им накричаться вволю, он велел вой-
ту позвонить в колокольчик.

— Тише вы! Тише! Слушать! — унимали народ сол-
тысы.

И не успела еще водвориться полная тишина, как раз-
дался суровый голос начальника:

— Школа должна быть, понятно? Слушайте и делайте,
что вам приказано!

Однако мужики не испугались, и Клемб сказал, словно
отрубил:

— Мы никого не заставляем на голове ходить, так дай-
те же и нам ходить на тех ногах, что у нас выросли.

— Заткни глотку! Цыц, псякрев! — ругался войт,
тщетно звоня из всех сил в колокольчик.

— Я сказал и повторяю: в нашей польской школе и
учить должны по-польски!

— Карпенко! Иванов! — гаркнул начальник стражни-
кам, стоявшим в толпе, но мужики мигом окружили и за-
жали их, и кто-то шепнул им:

— Попробуйте только тронуть кого-нибудь!.. Нас тут
человек триста... Смекаете?

Толпа расступилась, пропуская стражников, и, сомк-
нувшись опять, хлынула им вслед, ближе к начальнику,
с глухим яростным гулом, из которого выделялись отдель-
ные выкрики:

— Каждая тварь имеет свой голос, только нам хотя павязать чужой!

— И все-то приказы да приказы, а мужик слушайся, плати и шапку ломай!

— Скоро без позволения нельзя будет и на двор сходить!

— Коли им такая власть над всем дана, пусть прикажут свиньям запеть жаворонком!.. — крикнул Антек и под общий смех продолжал: — Или гусям — замычать, тогда утвердим школу.

— Подати наложили — платим. Рекрутов требуют — даем! А насчет этого — руки прочь!

— Тише, Клемб!.. Сам царь издал такой указ, где черным по белому написано, чтобы школы и суды были польские. Его и будем слушаться! — сказал Антек громко.

— Ты кто такой? — спросил начальник, в упор глядя на него.

Анте́к дрогнул, но сказал смело, указывая на лежавшие на столе бумаги...

— Там написано... Не сорока меня уронила! — дерзко добавил он.

Начальник поговорил с писарем, и тот объявил, что Анто́ний Боруна, как состоящий под судом, не имеет права припимать участие в сходе.

Анте́к побагровел от гнева, но раньше, чем он успел что-нибудь сказать, начальник рявкнул: «Пошел вон!» — и глазами указал на него стражникам.

— Не соглашайтесь, мужики! Закон за нас! Ничего не бойтесь! — крикнул Антек.

И медленно пошел по направлению к деревне, поглядывая на стражников, как волк на собак, так что они предпочли держаться на приличном расстоянии.

А на площади перед канцелярией кипело опять, как в котле, спорили о школе, об Антеке, о всякой ерунде. Кто укорял соседа за прошлогоднюю потраву, кто просто отводил душу, кто шумел из одного лишь озорства, и пошла неразбериха, галдеж, сумятица, — казалось, вот-вот начнется драка. Гже́ля пытался их успокаивать — мужики ничего не слушали. Войт призывал к порядку, звонил так, что у него рука опемела, и тоже ничего не добился. Люди наскакивали друг на друга, как разозленные пидюки, слепые и глухие ко всему.

Только когда один из солтысов начал колотить палкой по пустой бочке, стоявшей под навесом, и бочка загудела,

как барабан, мужики немного опомнились и стали унимать друг друга.

Не дождавшись тишины, начальник гневно закричал:

— Довольно разговоров! Тише там! Молчать и слушать, когда я говорю! Утверждайте школу!

Сразу все стихли, охваченные страхом, стояли, как окаменелые, и только молча и беспомощно переглядывались. Начальник так грозно всматривался в их испуганные лица, что они и думать не смели ему перечить.

Он снова сел, а войт, мельник и еще кое-кто бросились в толпу и стали уговаривать и запугивать всех.

— Голосуйте за школу! Иначе беда будет, слышали?

Тем временем писарь делал переключку, и каждую минуту кто-нибудь из толпы кричал:

— Здесь! Здесь!

После проверки войт влез на стул и скомандовал:

— Кто за школу, переходи направо и поднимай руку!

Перешли многие, но значительное большинство осталось на месте. Начальник насупился и приказал опрашивать всех поименно, объявив, что так будет правильнее.

Это очень огорчило Гжелю: он хорошо понимал, что, если мужики будут голосовать каждый отдельно, то никто не решится идти против начальства.

Но ничего уже нельзя было поделать. Помощник писаря начал вызывать по списку, и каждый мужик подходил, а писарь отмечал его фамилию черточкой, если мужик был за школу, или крестиком, если против.

Продолжалось это долго, потому что пароду была тьма, а затем объявили результат:

— Двести голосов за школу, восемьдесят против.

Компания Гжели подняла крик:

— Голосовать наново! Жульничают!

— Я сказал «нет», а он мне черточку поставил! — закричал кто-то, а за ним многие утверждали то же самое. Самые горячие уже стали кричать:

— Не позволим! Изорвать список, изорвать!

К канцелярии в этот момент подъехала коляска помещика, и толпе волей-неволей пришлось отступить в сторону. А начальник, прочтя письмо, поданное ему лакеем, объявил торжественно:

— Так, очень хорошо, значит, школа в Липцах будет.

Никто, конечно, и рта не раскрыл, — стояли стеной и смотрели на него.

Он подписал какие-то бумаги и сел в коляску.

Ему смиренно клапались, но он и не взглянул ни на кого, даже головой не кивнул и, отдав какие-то распоряжения стражникам, уехал.

Некоторое время люди в молчании смотрели ему вслед, потом кто-то из сторонников Гжели сказал:

— Ишь мягок, хоть к ране его прикладывай! А мигнуть не успеешь, как этот ягвенок волком обернется и тебе в горло зубами вцепится.

— Чем же дураков удерживать, как не угрозами?

Гжела только вздохнул, окинул взглядом толпу и сказал тихо:

— Да, проиграли мы сегодня. Что поделасшь, не умеет еще народ за себя постоять.

— Всего бояться, так нелегко им будет этому научиться.

— И что за человек — даже закон ему нипочем!

— Законы они для нас писали, а не для себя!

Какой-то мужик из Пшилепка подошел к Гжеле.

— Я думал против школы голосовать, да как просверлил он меня глазами, у меня и язык отнялся, а писарь записал, что хотел.

— Да, столько тут жульничества было, что можно бы обжаловать...

— Пойдем в корчму. Будь они прокляты! — выругался Матеуш и, повернувшись лицом к толпе, закричал:

— А знаете, мужики, что вам начальник забыл сказать? Что все вы трусливые псы и бараны. Здорово вы поплатитесь за свою покорность!.. Ну и пусть с вас шкуру дерут. Так вам и надо!

Мужики стали было огрызаться, но их внимание отвлекла проезжавшая бричка, в которой сидел сын органиста, Ясь.

Липецкие тотчас обступили его, и Гжела рассказал обо всем, Ясь выслушал, потолковал с ними и поехал дальше. А мужики отправились в корчму, и после второй рюмки Матеуш объявил:

— Если хотите знать, во всем виноваты войт и мельник!

— Верно, они всех больше уговаривали да стращали людей, — подтвердил Стах Плошка.

— А коли начальник грозил, значит, он уже что-нибудь знает насчет Роха! — шепотом сказал кто-то.

— Если еще не знает, так допесут ему. Найдутся охотники!

— Где стражники? — с беспокойством спросил Гжеля.

— Пошли как будто в сторону Липец.

Гжеля еще повернулся в корчме и незаметно вышел. Он пошел в Липцы полем, внимательно озираясь по сторонам.

IX

Аптек, уходя, все оглядывался на толпу мужиков, как кот, которого отогнали от миски, и раздумывал, не вернуться ли назад. Но, видя, что за ним идут стражники, принял вдруг новое решение. Он по дороге сломал себе крепкий сук и, остановившись у плетня, начал строгать его, исподтишка поглядывая на стражников, которые, как ни старались идти медленнее, скоро поравнялись с ним.

— Куда это, пан старшой? На разведки? — пасмешливо спросил Антек.

— По служебным делам, хозяин. А может, нам с вами по дороге? Вместе пойдем, а?

— Душой бы рад, да сдается мне, что дороги у нас разные.

Он торопливо осмотрелся: кругом ни души, но канцелярия еще слишком близко. И он зашагал рядом со стражниками, держась поближе к плетню и зорко следя, чтобы они внезапно не отрезали ему путь.

Старший это заметил и заговорил с ним по-приятельски, горько жалуясь, что у него с самого утра еще крошки во рту не было.

— Для начальника писарь не поскупился сегодня на угощение, так, наверное, и вам оставил кое-какие объедки. Ну, а в деревне не полакомитесь: клецки да капуста для таких папов не еда! — с умыслом насмеялся Антек.

Стражник помоложе, здоровенный детина с бегающими глазами, что-то сердито забормотал, но старший не сказал ни слова.

Антек, все еще усмехаясь, прибавил шагу, и стражники насилу за ним поспевали, шагая прямо по лужам и выбоинам. Деревня словно вымерла — солнце пекло так сильно, что люди попрятались, и только изредка кто-нибудь выходил поглядеть на них, да в тени виднелись русые головки детей. Одни собаки провожали их громким лаем.

Старший закурил папиросу и, сплюнув сквозь зубы, начал жаловаться, что ни днем, ни ночью покоя нет, все служба да служба.



— Это верно, нелегко нынче хоть что-нибудь с мужика содрать!

Стражник матерно выругался, а Аптек, которому надоела эта осторожная игра, крепче сжал в руке палку и сказал уже совсем вызывающе:

— Что, разве не правда? От вашей службы только и проку, что по деревням собак дразните да у мужика последний грош вытягиваете.

Старший стерпел и это, хотя позелепел от злости и нащупывал шашку. Но когда дошли до крайней избы, он неожиданно напал на Антека и крикнул товарищу:

— Держи его!

Однако они плохо рассчитали: Аптек отшвырнул их, как собачонок, отскочил к стене и, по-волчьи оскалив зубы, размахивая палкой, сдавленным, обрывающимся голосом проворчал:

— Ступайте-ка лучше своей дорогой... со мной не сладите... и четверым не поддамся!.. Зубы вам выбью, как псам. Чего пристали? Я ни в чем не виноват. Подраться вам захотелось? Ладно, только сперва наймите подводу для своих костей. Ну-ка, подойди да тронь попробуй!

Он размахивал палкой и уже кричал во весь голос, готовый драться насмерть. Стражники стояли, как вкопанные, не решаясь напасть на этого рассвирепевшего великана, у которого палка так и свистела в руках. Наконец старший, видя, что дело плохо, попробовал обратить все в шутку:

— Ха-ха! Здорово мы над тобой подшутили! — крикнул он с деланным смехом и повернул обратно. Но, отойдя на некоторое расстояние, погрозил Аптеку кулаком и уже совсем другим тоном закричал: — Еще увидимся с тобой, пан хозяин! Тогда потолкуем!

— Чтоб тебе раньше издохнуть! — крикнул в ответ Аптек. — Ишь трусил, так шуточками отделывается! Поговорю и я с тобой, только бы мне тебя одного где-нибудь поймать! — бурчал он, провожая их глазами, пока они не скрылись из виду.

«Тот дурак натравил их на меня, думал, что так они меня и возьмут, как собаки зайца! Это он за то обозлился, что я ему отпор дал... Правда-то глаза колет», — размышлял Аптек. Дойдя до помещичьего сада, уже довольно далеко за деревней, он сел в тени отдохнуть, потому что еще весь дрожал и был мокрый, как мышь.

Сквозь решетчатую деревянную ограду видна была белая усадьба, стоявшая в роще высоких лиственниц. Открытые окна чернели, как ямы, а на террасе с колоннами сидели господа и, должно быть, обедали, так как вокруг них все время суетились слуги и слышен был звон посуды. По временам до Антека доносились взрывы веселого, долго не умолкавшего смеха.

«Этим хорошо на свете жить! Пьют, едят и ни о чем не тужат», — думал Антек, принимаясь за хлеб с сыром, который Гапка сунула ему в карман.

Он ел и смотрел на росшие по краям дороги огромные цветущие липы, вокруг которых неумолчно жужжали пчелы. От разогретых солнцем цветов шел сладкий аромат. Где-то на пруду крикала утка, слышался сонный хор лягушек, в чаще звучали тихие голоса всякой лесной твари, а на полях то звенела, то утихала музыка кузнечиков. Но прошло немного времени — и все вокруг примолкло, словно захлебнувшись солнечным кипятком. Мир онемел, все живое попряталось в тени, и только ласточки беспрестанно мелькали в воздухе.

От блеска и зноя больно было глазам. Даже в тени было душно, высохли последние лужи, а от созревших хлебов и сожженных солнцем паровых полей веяло жаром, как из открытой печи.

Хорошо отдохнув, Антек быстро зашагал к уже недалекому лесу. Как только он вышел из тени на залитую солнцем дорогу, его так и ожгло, словно он ринулся в пылающий белый огонь. Он снял кафтан, но и это не помогло — рубаха, прилипшая к потному телу, жгла, как раскаленная жесть. Стащил сапоги, но босые ноги ступали по песку, как по горячей золе.

Попадавшиеся на дороге кривые березки не давали тени, рожь клонила над дорогой тяжелые колосья, поблекшие от жары цветы поникли в изнеможении.

Знойная тишина стояла вокруг, нигде не видно было ни человека, ни птицы, ни единого живого существа, не дрожал ни один лист, ни одна травка, словно в этот час на истомленную землю налетела полудынца и запекшимися губами высасывала из нее последние силы.

Антек шел все медленнее, думая о сходе, и его то охватывало раздражение, то разбирал смех, то мучила досада.

«Ну, что с такими сделаешь! Всякого стражника бояться. Приказали бы им слушаться начальника сапога, так и его слушались бы! Эх, бараны вы, бараны! — думал он

со смесью глубокого огорчения и гнева.— Правда, трудно им всем, каждый бьется, как рыба об лед, каждого пужда душит, где уж им такими делами заниматься? Народ темный, нищий, не понимает, что ему нужно... Да, человек — что свинья, нелегко ему рыло поднять к солнцу...»

Так размышлял Антек, задыхая, и все эти мысли и волнение за других заставили его только острее почувствовать, как плохо ему самому, — быть может, даже хуже, чем другим.

«Только тем хорошо, кто ни о чем не думает!» — Он махнул рукой.

Он так углубился в свои мысли, что чуть не налетел на еврея-тряпичника, сидевшего во ржи у дороги.

— Что, устали? Еще бы, такая жарница! — заговорил он первый, останавливаясь подле старика.

— Наказание божье! Как в печи! — воскликнул еврей и, встав, присосался, как пьявка, к своей тачке. Закинув лямку на старчески сгорбленную спину, он толкал тачку вперед с невероятными усилиями, так как она была нагружена мешками с тряпьем, деревянными ящиками, а сверху стояла еще корзина яиц и большая клетка с цыплятами. Вдобавок дорога шла по глубокому песку, а жара стояла немилосердная, и, как старик ни напрягал последние силы, ему приходилось часто останавливаться и отдыхать.

— Нухим, ты же опоздаешь на шабес!¹ — жалобно увещевал он самого себя. — Нухим, толкай, толкай, ты сильный, как лошады! Ну, раз, два, три! — И, подбодряя себя таким образом, он с криком отчаяния хватался за тачку, толкал ее на несколько шагов вперед и опять останавливался.

Анте́к кивнул ему головой и прошел мимо, но еврей умоляюще закричал:

— Помогите мне, хозяин, я хорошо заплачу! Не могу больше, никак не могу... — Он упал на тележку, задыхаясь, бледный, как мертвец.

Анте́к, ни слова не говоря, вернулся пазад, положил на тачку свой кафтан и сапоги, крепко ухватился за нее и стал толкать ее вперед так быстро, что колесо закрипело и поднялась пыль. А еврей семенил рядом, тяжело отдуваясь, и поощрительно говорил:

— Только до леса, а дальше дорога хорошая и уже недалеко! Я вам заплачу целый пятак.

¹ Ш а б е с — суббота (евр.).

— Сунь его себе в нос! Дурень, очепь мне нужен твой пятак! И почему эти евреи думают, что все на свете делается ради денег!

— Ну, пу, не сердитесь! Не хотите денег, так я дам отличные свистульки для детей. Нет? Так, может, ниток, иголок, лент каких-нибудь? Не нужно? Так, может, булок, карамели, баранок или еще что-нибудь? У меня все есть. А может, купите, хозяин, пачку табаку? Или угостить вас рюмочкой хорошей водки? Я ее держу для себя, но вам уж по знакомству... Верьте совести, только по знакомству!

Он закашлялся так сильно, что глаза у него на лоб полезли, и, когда Антек немного замедлил шаг, ухватился за тачку и пошел рядом, жалобно поглядывая на него.

— Хороший будет урожай, уже рожь упала в цене, — начал он, меняя разговор.

— Уродится или нет, а купцы поровят все равно меньше платить. Мужiku всегда убыток.

— Хорошую погоду послал господь, зерно уже сухое. — Старик по дороге срывал колосья, вылушчивал зерна и ел.

— Да, так хорошо господь распорядился, что ячмень уже весь пропал!

Они лениво беседовали о том о сем, и речь зашла о сходе, о котором еврею, по-видимому, было уже известно, потому что он сказал, тревожно озираясь по сторонам:

— Знаете, начальник еще зимой подписал контракт с одним подрядчиком на постройку школы в Липцах. Мой зять у них маклером был.

— Еще зимой, говоришь? Раньше, чем сход утвердил? Да как же это возможно?

— А что, позволения ему падо было спрашивать, что ли? Разве он не хозяин в своем уезде?

Анте́к стал его расспрашивать. Еврею были известны разные любопытные вещи, и он отвечал охотно, а в заключение благодушно сказал:

— Так уж оно водится. Мужика земля кормит, купца — торговля, помещика — имение, ксендза — приход, а начальника — все. Каждому надо как-нибудь прожить. Верно я говорю?

— А мне думается, что не должен один другого обдирать! Каждый должен жить по правде, как бог велел.

— Что подлаешь! Каждый живет, как может.

— Знаю, что своя рубашка ближе к телу, да оттого-то и плохо всем!

Еврей только головой покивал и, видимо, остался при своем мнении.

Они дошли между тем до леса и укатанной дороги. Антек передал еврею тачку, купил детям па целый злотый конфет, а когда еврей стал его благодарить, буркнул:

— Чего там! Помог я тебе оттого, что мне так захотелось.

Он торопливо зашагал по направлению к Липцам. Деревья своими пышными кронами нависали над дорогой, и она вся была в тени. Только посредине меж ветвей сквозила узкая полоса неба и на земле искрилась река дрожащего света. Бор был старый, могучие дубы, сосны и березы стояли вперемежку тесной толпой, а внизу к толстым стволам жалось молодое племя — орешник, осина, можжевельник и грабы. Местами высились развесистые ели, жадно тяпущиеся к солнцу.

На этой лесной тропе после вчерашней бури еще блестело множество луж и валялись сломанные сучья и верхушки деревьев, а кое-где и вырванное с корнем стройное деревцо, как труп, лежало поперек дороги. Тихо было здесь, прохладно и сумрачно, пахло грибами и плесенью, деревья стояли неподвижно, словно засмотревшись в небо, и сквозь их тесно переплетавшиеся верхушки местами пробивалось солнце, ползая золотыми пауками по мхам и красным ягодам, которые застывшими капельками крови осыпали блеклую траву.

Прохлада и глубокий покой, царивший в лесу, манили к отдыху, и, присев под деревом, Антек незаметно задремал. Разбудил его конский топот и фырканье. Увидев проезжавшего верхом помещика, он подошел к нему.

Поздоровались, как принято, по-соседски.

— Ну, и печет же! — сказал помещик, поглаживая неспокойно стоявшую лошадь.

— Да, печет здорово, через недельку пора будет с косой выходить в поле.

— В Модлицах уже вовсю рожь косят!

— Там пески. Ну да в нынешнем году везде жатва будет ранняя.

Помещик стал расспрашивать его о сходе в волости и, услышав о том, что там происходило, от удивления широко открыл глаза.

— И вы так открыто, громогласно требовали польской школы?

— Ну, я же вам сказал! Врать не стану.

— И как это вы решились при начальнике! Ну-пу!

— В указе написано черным по белому, значит, имеем право.

— Но чего это вам вздумалось требовать польской школы?

— Чего вздумалось? Ведь мы поляки, а не немцы или другой кто.

— А кто же это вас подучил, а? — спросил помещик тише, наклоняясь к нему с седла.

— Дети и без учителя уму-разуму набираются, — уклончиво ответил Антек.

— Вижу, что недаром Рох шляется по деревням! — тем же тоном продолжал помещик.

— Да, они вдвоем с дядюшкой вашим учат народ, как умеют! — сказал Антек с ударением, пристально глядя ему в глаза.

Помещик как-то беспокойно засерзал в седле и перевел разговор на другое, но Антек умышленно возвращался к этой теме, говорил и о разных других бедах крестьянской жизни и жаловался на темпоту и заброшенность, в которой живет народ.

— Все потому, что никого не слушаются! Я знаю, как ксендзы их учат да уговаривают работать, не лениться, — а все как горох о стену!

— Э, проповедью поможешь не больше, чем мертвому — кадилом!

— Так чем же еще вам помогать? Поумнел ты, я вижу, в остроге! — колко заметил помещик.

Антек покраснел, сверкнул глазами, но ответил спокойно:

— Поумнел, это верно! Знаю теперь, что во всех наших бедах папы виноваты.

— Ерунду какую-то мелешь! Что же папы тебе сделали плохого?

— А то, что, когда еще Польша была Польшей, они только и знали, что парод батогами сечь да притеснять, а сами пировали, вот так и пропили весь парод, а теперь надо начинать сначала.

Помещик был вспыльчив. Он рассердился и крикнул:

— Не твое дело, хам, господ судить! Знай себе навоз да вилы, понял? И язык держи за зубами, а то как бы тебе его не укоротили!

Он свистнул хлыстом в воздухе и поскакал так быстро, что у лошади даже заекала селезенка.

А Аптек, не менее его взбешенный, пошел своей дорогой.

— Собачье племя! — бормотал он злобно. — Ишь как заговорил ясновельможный! Когда ему мужики нужны, так с каждым братается, сволочь! Самому цепа — грош ломаный, а он других хамами обзывает! — Со злости он сбивал погой мухоморы, попадавшие по дороге.

Он уже выходил из леса на дорогу под тополями, когда вдруг услышал как будто знакомые голоса и внимательно осмотрелся: под крестом в тени берез стояла чья-то запыленная бричка, а на опушке леса он увидел сына органиста, Яся, и Ягусю.

Аптек даже глаза протер, совершенно уверенный, что это ему померещилось. Но нет, они стояли в каких-нибудь десяти шагах от него и смотрели друг на друга, сияя от радости.

Удивленный Аптек насторожил уши, но он слышал только голоса и не мог разобрать ни одного слова.

«Она из леса шла, а он ехал, вот и встретились», — подумал он, но в тот же миг его словно что-то кольнуло, он нахмурился, и глухое мучительное подозрение зашевелилось в нем.

— Нет, это они стоворились!

Однако в следующую минуту сутана Яся и его лицо с выражением какой-то удивительной чистоты успокоили Аптека, и он вздохнул с безмерным облегчением. Непонятно было ему только, зачем Ягуся, идя в лес, так разоделась? И почему так ярко сияют ее глаза, трепещут вишневые губы? Почему она вся искрится радостью?

Аптек пожирал ее голодным волчьим взглядом, а она в эту минуту, подавшись вперед высокой грудью, протягивала Ясю коробок. Ясь брал из него ягоды, сам ел и ей клал в рот.

— Почти ксендз уже, а забавляется, как ребенок! — снисходительно пробормотал Аптек и быстро пошел к деревне, увидев по солнцу, что уже поздно.

«Эта завоза во мне не болит только до тех пор, пока ее не тронешь! — думал он о Ягусе. — А как жадно она на него смотрела! Ну и пусть, и пусть!»

Но тщетно он отмахивался от этих мыслей, завоза все большее впивалась в сердце.

«А от меня бегают, как от чумы! Видно, новенького захотелось! Хорошо еще, что с Ясем у нее ничего не вый-

дет...— Ярость разгоралась в нем все сильнее. — Как собака: кто ей свистнет, за тем и бежит».

Он шел быстро, но не мог убежать от горьких воспоминаний. По дороге встречались какие-то люди, он никого не замечал. Только у самой деревни вдруг успокоился, увидев жепу органиста, которая сидела у капавы и вязала чулок. Самый младший сынишка играл около псе на песке, а стайка гусей ципала траву между тополями.

— Вот как далеко вы забрались с гусями! — сказал Аптек, останавливаясь подле нее и утирая потное лицо.

— Вышла навстречу Ясю — он того и гляди подъедет.

— Да, я его только что обогнал у леса.

— Яся? Так он уже едет! — воскликнула она и вскочила. — Гусыньки, гуль-гуль-гуль! Куда вы, баловники? Куда? — закричала она на гусей, которые неожиданно побежали в рожь у дороги и принялись выклевывать зерна из колосьев.

— Да, бричка стояла под крестом, а Ясь ваш разговаривал с какой-то жепщиной.

— Значит, он сейчас будет здесь! Должно быть, знакомую встретил и разговорился. Такой славный мальчик, он и чужую собаку не пропустит, не погладив ее. А кого же это он встретил?

— Я как следует не рассмотрел, по мне показалось, что это Ягуся.

Заметив гримасу недовольства на лице старухи, он добавил с многозначительной усмешкой:

— Я не разглядел, потому что он сразу в чашу зашли... от жары, должно быть...

— Святые угодники! Что это вам в голову приходит! Станет Ясь связываться с такой...

— Она не хуже других, а может, и лучше! — неожиданно вспыхнул Аптек.

Жепа органиста быстрее задвигала спицами, что-то очень уж внимательно вглядываясь в петли своего вязанья. «Чтоб у тебя язык отсох, сплетник окающий! — думала она, сильно задетая. — Стал бы Ясь с такой девочкой... Ведь он уже почти ксендз...» Но тут ей вспомнились всякие истории про ксендзов, и, затревожившись, она решила поподробнее расспросить Антека, по его уже и след простыл. Зато на дороге поднялось облако пыли и подвигалось к псе все ближе и ближе. Через несколько минут Ясь уже обнимал ее крепко, изо всех сил, и нежно приговаривал:

— Мамуся дорогая! Мамуся!

— Святые угодники! Да ты меня задушишь! Пусти, разбойник, пусти сейчас! — И, когда Ясь ее отпустил, она, в свою очередь, принялась обнимать, целовать и любовно оглядывать его.

— Ох, заморилл тебя, сыночек! Бледный какой! И худой!

— От супов из святой воды не растолстеешь! — смеялся Ясь, подбрасывая на руках визжавшего от восторга братишку.

— Ничего, я тебя откормлю! — сказала мать, нежно глядя его по щеке.

— Ну, едем, мамуся, скорее дома будем.

— А гуси? Господи, опять они во ржи!

Ясь бросился выгонять гусей из ржи. Потом усадил брата в бричку и пошел по дороге, гоня гусей перед собой и отвечая на расспросы матери.

— Смотри, как он вымазался! — немного погодя заметила она, указывая на малыша.

— До ягод моих добрался. Ешь, Стась, ешь! Это я в лесу Ягусю встретил, она ходила в лес по ягоды и мне немножко отсыпала, — объяснил Ясь, порозовев от смущения.

— Да, мне Борына только что говорил, что он вас встретил.

— А я его и не заметил! Должно быть, он стороной прошел.

— Сынок, в деревне люди сквозь стены видят, даже и то, чего вовсе не было! — внушительно сказала органистка, опустив глаза на мелькавшие в руках спицы.

Ясь как будто не понял намека. Увидев стаю голубей, летевшую низко над полем, он швырнул в них камешком и весело воскликнул:

— Сразу видно, что ксендзовы, ишь какие откормленные!

— Тише, Ясь, еще услышит кто! — ласково пожурила его мать. Она размечталась о том, как он когда-нибудь станет ксендзом, а она на старости лет поселится у него и будет мирно и счастливо доживать свои дни.

— А Фелек когда приедет на каникулы?

— Разве вы не знаете, мама, что его арестовали?

— Силы небесные! Арестовали! Что же он такого сделал? Вот я всегда предсказывала, что Фелек плохо копчит! Этому шалопаю в писари бы идти, а мельнику захоте-

лось доктора из него сделать! Ведь так они им гордились, так носы задирали, а теперь сынок в тюрьме, вот утешение! — Она даже дрожала от злорадства.

— Да нет, тут совсем другое — он в крепости сидит.

— В крепости! Значит, что-нибудь политическое? — она понизила голос.

Ясь не знал или, может быть, не хотел ответить. А она тревожно зашептала:

— Уж ты-то, мальчик, ради бога не мешайся в эти дела!

— У нас и говорить нельзя о таких вещах, — сейчас же выгонят.

— Вот видишь! Выгонят тебя, и ты не сможешь стать ксендзом! Да я умерла бы от стыда и горя! Господи, смилуйся над нами!

— Вы за меня не бойтесь, мама!

— Ты же видишь, как мы из кожи лезем, чтобы вам, детям, получше жилось. Ты сам знаешь, как нам трудно — такая семья, а доходов все меньше и меньше. Если бы не земля, так мы при этом ксендзе с голоду бы умирали! Знаешь, он теперь сам договаривается с мужиками насчет платы за венчание и похороны! Сам! Слыханное ли дело? Говорит, что отец с людей шкуру драл. Ишь какой благодетель из чужого кармана!

— Да ведь и в самом деле драл, — робко возразил Ясь.

— Что ты? Против отца идешь? Против родного отца? А если драл, так для кого, а? Не для себя ведь, а для вас, детей, для тебя, на твое ученье, — обиженно сказала жена органиста.

Ясь стал просить прощения, но вдруг замолчал, услышав какой-то дребезжащий звон, который доносился со стороны озера.

— Слышите, мама? Это ксендз пошел к кому-то со святыми дарами.

— Нет, это, верно, для пчел на плебании зовят, чтобы не улетели. Они должны роиться. Ксендз наш больше думает о своем быке и пасеке, чем о костеле.

Они уже подходили к погосту, как вдруг их оглушило громкое жужжанье, и Ясь едва успел крикнуть кучеру:

— Пчелы! Придержи лошадей, а то испугаются и понесут!

В самом деле, над площадью перед костелом гудел огромный пчелиный рой. Он то носился в воздухе звеня-

ищей тучей, пща удобного места, где бы сесть, то спускался пониже и метался меж деревьев, а за ним бежал запыхавшийся ксендз без шляпы, в одних подштапниках и рубаше, размахивая кропилом. Амброжпй был тут же — он крался стороной, в тени, отчаянно звопил в колокольчик и орал. Так они оба несколько раз обежали площадь, ни на минуту не останавливаясь, потому что пчелы спускались все ниже, как будто намереваясь сесть на крышу дома. Но вдруг рой поднялся повыше и полетел прямо на бричку Яся. Органистиха взвыла и, накинув юбку на голову, присела в канаве. Гуси разлетелись, лошади стали рваться, и кучер соскочил с козел, чтобы закрыть им глаза. Только Ясь стоял спокойно, подняв голову. Рой неожиданно повернул и полетел прямо на колокольню.

— Воды! — гаркнул ксендз и галопом помчался за пчелами. Подбежав близко, он стал так усердно поливать их, что они уже не могли шевелить промокшими крыльями и сели на окно колокольни.

— Амброжпй! Тащи лестницу и решето! Живо, а то улетят! Шевелись же, хромой черт!.. А, Ясь, здравствуй, разведи-ка огонь в кадиле, надо их подкурить, тогда они успокоятся! — кричал разгоряченный ксендз, не переставая кропить водой оседавший рой. Не прошло и пяти минут, как лестница стояла уже под колокольней, Амброжпй звопил, кадильница в руках Яся дымила, как печная труба, а ксендз лез на колокольню. Добравшись до пчел, он стал шарить среди них, отыскивая матку.

— Есть! Слава богу, теперь не улетят! Подкури их еще снизу, Ясь, чтобы не расползались! — командовал он, собирая пчел голыми руками. Они садились ему на лысину, ползали по лицу, а он без всякого страха что-то говорил им и все собирал и собирал их в решето — рой был огромный.

— Осторожно! Сердятся, могут ужалить! — предостерег он остальных, сходя с лестницы. Пчелы тучей окружали его, летали над ним с громким жужжанием. Сойдя вниз, он пошел к плебану, неся в вытянутых руках решето так торжественно и важно, как будто это была чапа со святыми дарами. Ясь окуривал его, качая кадилом, Амброжпй из всех сил звонил и время от времени кропил пчел водой. Так они шествовали до пасеки за плебанней, где на огороженном участке стояло несколько десятков ульев.

Когда Ксендз занялся водворением пчел в новый улей, Ясь, уже очень голодный и утомленный, потихоньку улизнул домой. Здесь ему, конечно, ужасно обрадовались, много было визгу, поцелуев и расспросов, а когда прошла первая радость встречи, его усадили за стол, нанесли ему разных вкусных вещей, упрашивая есть. Весь дом дрожал от шума и беготни, каждый жаждал услужить Ясю раньше других, все теснилось к нему поближе.

В разгаре этой сумятицы прибежал, запыхавшись, Гжеля и стал с беспокойством спрашивать, не встречал ли кто Роха. Но его никто и в глаза не видал.

— Нигде его найти не могу! — озабоченно сказал Гжеля и, ничего не объяснив, побежал дальше искать по измам Роха. А тотчас после его ухода Яся позвали в плебанию.

Ксендз, в ожидании его, ужинал на крыльце. Он отчески расцеловал Яся и, усадив около себя, сказал милостиво:

— Рад, что ты прискал, будет с кем вместе молиться. А знаешь, сколько у меня новых роев в этом году? Пятнадцать! И сильные такие, как старые рои, некоторые уже наготовили меду по четверти улья! Их еще больше роилось, да я велел Амброжию смотреть за пасекой, а этот болван уснул и пчелки — фыть! Улетели! А один рой у меня мельник украл. Правду тебе говорю: украл! Пчелы улетели на его грушу, а он забрал их и не думает отдавать! Сердит на меня за быка, вот и мстит, чем только может, грабитель этак! Ты уже слыхал про Фелека? Вот подлые, кусаются, как осы! — закричал он вдруг, отгоняя платком мух, упорно садившихся ему на лысину.

— Слышал только, что он в крепости сидит.

— Хоть бы этим кончилось! Допраля, а? Говорил я ему, увещевал — не слушался, осел, вот теперь копчен бал! Старик — дубина и шут гороховый, а Фелека жаль, способный шельмец, по-латыни так бегло читает — и епископ лучше не сумеет! Ну, да что пользы, если в голове ералаш! Думают лбом стену прошибить. Ведь сказано... постой, как же это? Да, вспомнил: чего нельзя — не касайся, а что запрещено — то издали обходи. Ласковый теленок двух маток сосет, да... — Ксендз говорил все тише и отрывистее, отгоняя мух. — Ты это запомни, Ясь! Да, запомни, говорю!

Он свесил голову на грудь и весь ушел в глубокое кресло, но когда Ясь привстал со стула, он открыл глаза и забормотал:

— Замучили меня пчелки! Так ты приходи по вечерам требник читать. Да смотри, себя не роняй и с мужиками не водись — кто в отруби полезет, того свины съедят! Съедят, говорю, — и баста! — Он прикрыл лысину платком и захрапел уже по-постоящему.

По-видимому, того же мнения был и органист. Когда его работник погнал лошадей на пастбище и Ясь вскочил на одну из них, отец крикнул ему:

— Слезай сейчас же! Не подобает ксендзу без седла ездить и быть запанибрата с пастухами!

Ясю очень хотелось покататься, но он послушно слез с лошади и, так как уже смеркалось, пошел за огород читать вечерние молитвы.

Но как можно было сосредоточиться? Где-то глухо звела девичья песня, в соседнем саду болтали бабы, и каждое слово отдавалось в воздухе, шумели дети, купаясь в озере, откуда-то раздавались взрывы смеха, мычали коровы, пронзительно кричали цесарки ксендза, и вся деревня гудела, как улей. Ясь то и дело сбивался, а когда наконец сосредоточился и, став на колени во ржи, благоговейно устремил глаза на звездное небо, из деревни допеслись такие отчаянные вопли, проклятия и причитания, что он вскочил и побежал к дому, сильно встревоженный.

Мать в эту минуту вышла звать его ужинать.

— Что там случилось? Дерутся, что ли?

— Это Юзеф Вахник вернулся из волости выпивши и подрался со своей бабой. Ей давно следовало задать трепку! Не беспокойся, ничего ей не сделается.

— Да она кричит, как будто ее режут!

— Бабы всегда так. Если бы он ее палкой бил, она бы молчала. Ничего, завтра она ему отплатит! Пойдем, сыпок, ужин остынет.

Ясь почти не притронулся к еде и, очень утомленный, сразу после ужина лег спать. Но рано утром, как только взошло солнце, он был уже на ногах. Обежал все поле, принес лошадям клеверу, подразнил индюков ксендза, поздоровался с собаками, которые от радости чуть с цепей не сорвались, насыпал зерна голубям, помог младшему брату выгнать коров, нарубил за Михала дров, проведаль в саду распускаявшиеся маргаритки, поиграл с жеребенком, побывал везде, все обласкал взглядом, как дорогих друзей, — и мальвы, осыпанные цветами, и гревшихся на солнце поросят, даже крапиву и бурьян, притаившихся

под плетнями. Мать следила за ним влюбленными глазами и шептала, синхронительно усмехаясь:

— Сумасшедший! Вот сумасшедший!

А Ясь все бродил вокруг, сияя, как этот июльский день. Веселый, смеющийся, он словно излучал солнечный свет и тепло, обнимая весь мир любящей душой. Как только зазвонила «сигнатурка», он все бросил и побежал в костел.

В новеньком стихаре с красными лептами он прислуживал за обедней и в промежутках горячо молился. Все же он заметил Ягусю, стоявшую на коленях несколько в стороне, и всякий раз, поднимая голову, встречал ее яркие синие глаза, устремленные на него, видел затаенную улыбку на полуоткрытых губах.

После обедни ксендз увел его в плебапию и посадил писать, так что он только после полудня выбрался в деревню повестить знакомых.

Прежде всего он зашел к Клембам, ближайшим соседям, жившим через дорогу. Однако в пэбе он не застал никого, и только в сепях, в углу, что-то зашевелилось, и чей-то голос прохрипел:

— Это я, Агата!

Она приподнялась и в удивлении развела руками:

— Господи Иисусе, пан Ясь!

— Лежите, лежите! Хвораете? — заботливо спросил Ясь и, придвинув себе чурбанчик, сел около Агаты, с трудом уздавая ее лицо, высохшее, как земля.

— Уж только жду, когда господь меня приберет. — Голос ее звучал торжественно.

— А чем вы больны?

— Ничем. Это смерть подходит. Вот приютили меня Клембы, чтобы я у них померла... Лежу, молюсь и ожидаюсь терпеливо того часа, когда постучится она и скажет: «Пойдем со мной, душа человеческая».

— А почему же они вас в комнату не перенесли?

— Пока еще не настал час, зачем я буду место у них занимать? И так уж пришлось телепка убрать из сепей. Но они мне обещали, что в последний час перенесут в комнату, положат на кровать, под образами... и свечи зажгут... и ксендза позовут. А как помру, оденут на меня праздничную одежду и похороны справят как следует... Я ведь па все денег дала, и люди они хорошие, так авось спрoutu не обидят. Недолго я буду у них тут место занимать... Они мне при свидетелях обещали... при свидетелях...

— А не скучно вам одной лежать?

Голос Яся дрожал от жалости.

— Нет, мне очень хорошо, панич. Дверь открыта, так мне все видно. Кто по улице пройдет, кто заговорит где-нибудь, а кто к сюда заглянет, иной раз даже добрым словом порадует... Как будто я по деревне хожу! И когда все в поле уйдут, — мне и то не скучно: куры на дворе в мусоре роются, свинья за стеной похрюкает, собачки забегут, или воробьи залетят в сени... А перед закатом и солнце маленько сюда посветит... иной раз какой-нибудь сорванец камешком швырнет... Так денек и пролетит незаметно... А по ночам тоже... приходят ко мне...

— Кто же это? Кто приходит? — Ясь близко заглянул в ее открытые, по слову незрячие глаза.

— Свои... те, что давно померли, и родня, и знакомые. Правду говорю, панич, приходят... А раз, — зашептала Агата с улыбкой невыразимого счастья, — раз пришла ко мне пресвятая дева и говорит тихонько: «Лежи себе, Агата, Иисус тебя наградит!» Сама Ченстоховская, я ее сразу узнала... В короне и мантии, вся в золоте и кораллах. По голове меня погладила и говорит: «Не бойся, сирота, на небесах будешь ты первой хозяйкой, помещицей будешь...»

Бормотала старуха, как засыпающая птица, а Ясь, наклонясь над ней, слушал, и казалось ему, что он заглянул в какую-то непостижимую глубину, где свершается нечто, совсем уж не подвластное человеческому уму. Ему стало страшно, но он не мог уйти, не мог оторваться от этого жалкого человеческого существа, этой увядшей былинки, которая, дрожа, как луч, угасающий во мраке, еще грезит о какой-то новой жизни. Впервые Ясь так близко заглянул в глаза неумолимой судьбе человека, и не диво, что его охватил ужас, глаза наполнились слезами, глубокое сострадание тяжестью своей пригнуло его к земле, и горячая мольба сама собой рвалась с дрожащих губ.

Агата очнулась и, приподняв голову, в восторге прошептала:

— Ангел ты мой! Добрая ты душа!

Уйдя от нее, Ясь долго еще стоял у какой-то стены, греясь на солнце и радуясь светлому, прекрасному дню, жизни, кипевшей вокруг.

Что же из того, что какая-то душа человеческая стонет в когтях смерти?

Солнце не перестало светить, шумели по-прежнему колосья, белые облака плыли в вышине, на улицах играли дети, в садах созревали румяные яблоки, в кузнице гремели молоты, кто-то чинил телегу, другой точил косу, готовясь к жатве, пахло свежим хлебом, гуторили бабы, на плетнях сушились холсты, по полям и дворам ходили люди, и, как всегда, как из дня в день, шумел человеческий улей в трудах и заботах, не думая о том, кто первый скатится в бездну. Да и что пользы об этом думать?

Так и Ясь быстро встряхнулся и пошел дальше.

Он посидел немного около Матеуша, который строил для Стаха избу и уже подводил сруб под крышу. Постоял у озера с Плошковой, белившей холст. Навестил больную Юзьку, выслушал все жалобы жены войта, посмотрел в кузнице, как кузнец закаливает косы и точит серпы, заглянул и на огороды, где работало много девушек и баб. И везде ему были рады, везде его дружески приветствовали и смотрели на него с гордостью: ведь он родился и вырос в Липцах и, значит, был для всех свой.

Только напоследок зашел Ясь к Доминиковой. Старуха сидела перед избой и пряла шерсть. Яся это очень удивило, потому что глаза у нее были закрыты повязкой.

— А я пальцами нащупываю, какая нитка тонкая, какая толстая, — поясняла она ему и, очень довольная тем, что он ее навестил, кликнула Ягусю, занятую какой-то работой во дворе.

Ягуся пришла не одетая, в одной только юбке и рубашке и, увидев Яся, покраснела, как вишня, закрыла грудь руками и убежала в дом.

— Ягусь, принеси-ка молока! Может, пап Ясь выпьет холодненького.

Ягуся скоро принесла полную крынку молока и кружку. Она успела одеться и повязать голову платком, но почему-то была так смущена, что, когда наливала в кружку молоко, руки у нее тряслись, и она то бледнела, то краснела, не смея поднять глаз на гостя.

За все время, пока Ясь сидел у них, она не сказала ни слова и, только когда он уходил, проводила его на улицу и смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Ею вдруг овладело такое сильное желание бежать за ним, что, боясь поддаться искушению, она ушла в сад, обхватила обеими руками ствол яблони и, прижавшись к нему, стояла, тяжело дыша, в полузабытии, в блаженном трепете, укрытая, как плащом, ветвями, низко свисавши-

ми под тяжестью яблок. Стояла, опустив веки, с улыбкой, прятанной в уголках рта, счастливая и испуганная, чувствуя, что к горлу подступают радостные слезы, как той весенней ночью, когда она смотрела на Яся в окно.

Да и Яся, видно, тянуло к ней. Он часто заглядывал к Доминиковой и, посидев минутку, уходил, бессознательно чему-то радуясь. Он каждый день видел Ягусю в костеле. Она до конца обедни не вставала с колен и молилась так горячо, в таком самозабвении, что Ясь растроганно любовался ею и даже дома как-то упомянул о ее набожности.

Его мать пожала плечами.

— Ей многое отмолить надо...

Ясь был слишком наивен и чист душой, чтобы понять этот намек. Ягуся бывала у них, ее любили все в доме, он видел, какая она набожная, и ему в голову не могло прийти никакое подозрение. Раз он вслух удивился, что с самого его приезда она ни разу у них не была.

— Я как раз сегодня послала за ней, чтобы помогла мне гладить, очень много белья накопилось, — сказала его мать.

Вскоре пришла Ягуся, так разодетая, что даже Ясь изумился.

— Уж не на свадьбу ли вы идете?

— А может, к тебе сваты приходили, Ягуся? — пропущала одна из сестер Яся.

— Пусть только посмеют, я их в шею выгоню! — засмеялась Ягуся, краснея, как роза, потому что все на нее смотрели.

Старуха тотчас отправила ее гладить, но девочки и Ясь пошли за ней, и такое началось у них веселье, так хохотали из-за всякого пустяка, что старухе пришлось накричать на них:

— Тише вы, сороки! Ясь, ступай-ка лучше на огород, тебе неприлично тут дурачиться.

И пришлось Ясю волей-неволей взять книжку и уйти, как всегда, в поле. Там, далеко за деревней, на межах, под грушами, или на пограничных буграх он часто сидел, читая или думая о чем-нибудь.

Ягуся уже знала все места его одиноких прогулок, хорошо знала, где искать его тоскующими глазами, куда следовать за ним хотя бы только радостными мыслями. Она кружила вокруг него, как бабочка вокруг огня, не могла не кружить, потому что ее неудержимо влекло к нему. Она уже без оглядки отдавалась во власть этой слад-

кой силе, словно бурным волнам, уносившим ее в какой-то пригрезившийся мир счастья. Она отдавалась своей любви всем сердцем, даже не думая о том, на какой берег она ее вынесет, какая ждет ее участь.

Поздней ли ночью, когда она ложилась спать, ранним ли утром, когда вставала, сердце ее твердило всегда одно и то же, как молитву:

— Увижу его! Опять увижу!

Когда она стояла на коленях перед алтарем, и всегда выходил служить обедню, и раздавались волнующие звуки органа, в благовонном дыму кадиланиц звучал горячий шепот молящихся, и Ясь, весь в белом, стройный, прекрасный, сложив руки, медленно проходил в этом дыму и разноцветных лучах, струившихся от окон, Ягусе иногда казалось, что это оживший ангел сошел с иконы и с ясной улыбкой идет к ней. Она молитвенно смотрела на него, и рай открывался ей, и она падала ниц, прижимая губами к тем местам, где ступала его нога.

В порыве восторга она пела, и в голосе ее звучала вся сила беспредельного человеческого счастья.

Бывало не раз — обедня кончится, разойдутся все, и в опустевшем костеле Амброжий бредит уже ключами, а она все стоит на коленях, глядя туда, где стоял Ясь, погруженная в безмолвное упоение, в радость, томившую до боли, и невольно катятся из глаз слезы, как тяжелые и чистые жемчужные зерна.

Теперь каждый день был для нее праздником, потому что в душе ее свершалась торжественная литургия вечной радости, и когда выходила она в поле, ей о том же звенели зрелые колосья. Сожженная солнцем земля и деревья в садах, ломившиеся под тяжестью плодов, далекие леса, и странницы-тучи, и вознесенная над землей священная чаша солнца — все пело вместе с ее душой гимн счастья и благодарности.

Ах, каким прекрасным кажется мир глазам влюбленных!

И как же силен человек, когда любит! С самим богом, кажется, вступил бы в единоборство, смерти не поддался бы, даже против судьбы пошел бы! Жизнь для него — вечный праздник, самая жалкая тварь дорога ему, как брат родной. На коленях готов он благодарить каждый день, благословлять каждую почку. В любую минуту раздать готов людям всего себя, и все-таки остается богачом, все прибавляется и сил, и любви, и дивных дней.

Душа влюбленного парит над землей, видит близко звезды, дерзко устремляется в небо, грезит о вечном счастье, ибо кажется ей, что нет предела и преград ее сплю и любви.

То же чувствовала и Ягуся.

Стояли обычные дни тяжелого труда, приготовлений к жатве, и она работала проворно, распевая, как жаворонок, и вся светилась счастьем. Расцветшая, как роза в ее садике, стройная, как мальва, всегда веселая, она притягивала все глаза, чаровала людей, и даже старики заглядывались на нее, а парни опять вертелись вокруг, как бывало, вздыхали и часами простаивали у ее хаты, но она гнала всех.

— Хоть в землю врати — все равно ничего не выступишь! — говорила она, насмехаясь.

— Над всеми смеется! Горда, как помещица какая-нибудь! — жаловались парни Матеушу, а он только горестно вздыхал, потому что и он добился немногого, — только того, что иногда мог заходить к ним в сумерки и беседовать с Доминиковой, а в это время смотреть на Ягусю, хлопотавшую по хозяйству, и слушать ее песни. Смотрел и слушал он так жадно, что становился все мрачнее и все чаще заглядывал в корчму, а потом дома буянил. И, конечно, больше всего доставалось Терезке. Она таяла с горя и раз, встретив Ягусю, повернулась к ней спиной и плюнула. Но замечтавшаяся Ягуся прошла, даже не заметив ее.

Терезка в гнев сказала девушкам, стиравшим на берегу:

— Видали, какая пава! Пройдет — ни на кого и не взглянет.

— А разоделась, как на ярмарку!

— До самого полудня волосы свои убирает!

— И постоянно покупает себе ленты и всякие обновки, — говорили завистницы.

С некоторых пор стоило Ягне показаться на улице, как опять ее провожали взгляды, острые, как когти, и ядовитые, как змеи. При всяком удобном случае женщины перемывали ей косточки и поносили ее на чем свет стоит — не могли они ей простить того, что она одевалась лучше всех, была всех краше, что на нее заглядывались мужчины и парни.

— Заважничала так, что просто терпеть нельзя!

— А паряжается как!

— И откуда только деньги берутся!

— Откуда? А войта она даром, думаешь, своими милостями дарит?

— Говорят, и Аятек не скупится, — сообщали друг другу на ушко бабы, собираясь у Плошковой во дворе.

— Нужна она Аятеку, как собаке пятая нога, — вмешалась Ягустинка. — Нет, у нее другой уже на примете! — И она многозначительно усмехнулась, а бабы стали ее умолять, чтобы сказала, кто. Однако Ягустинка не проговорила и только под конец сказала:

— Я сплетен не разношу. Есть у вас глаза — так сами смотрите!

И с этой минуты сто пар глаз еще усерднее стали следить за каждым шагом Ягуси, как гопчие за зайцем.

А Ягуся, хоть и замечала на себе эти косые, внимательные взгляды, ни о чем не догадывалась. Да и какое ей было дело до них, если она могла в любое время увидеть Яся!

Чуть не каждый день она заходила теперь к органисту, и всегда в те часы, когда Ясь бывал дома. Он садился около нее, и она, ощущая на себе его взгляд, замирала от блаженства, ее бросало в жар, ноги дрожали, а сердце молотком стучало в груди. Когда же Ясь в другой комнате занимался с сестрами, она, притаив дыхание, слушала звуки его голоса, как дивную музыку, и раз даже мать его это заметила.

— Что ты так прислушиваешься?

— Уж очень мудро по пап Ясь говорит, ничего не попать!

— Вот чего захотела! — снисходительно усмехнулась органистиха. — Ведь он не в простой школе учится! — И она завела бесконечный разговор о сыне. Старуха благоволила к Ягне и охотно приглашала ее, потому что Ягна всегда готова была помочь во всякой работе и притом чистенько приходила не с пустыми руками: то груш припесет, то ягод, а иногда и брусок свежего масла.

Ягуся слушала ее рассказы о сыне всегда с одинаковым интересом, но как только Ясь уходил из дому, она тоже спешила уйти — будто бы к матери. Она любила издали следить за Ясем и не раз, притаившись во ржи или за деревом, подолгу смотрела на него с нежностью, взволнованная до слез.

Но милее всего были ей короткие, жаркие и светлые ночи. Как только мать засыпала, она выпоспла свою по-

стель в сад, ложилась на спину и, глядя в небо, мерцавшее меж ветвями, мечтала. Знойное дыхание ночи касалось ее лица, звезды заглядывали в ее широко открытые глаза, голоса благоуханной темноты, полные волнующего сладострастия, прерывистый шепот листьев, сонное жужжание каких-то насекомых, шорохи, похожие на затаенные вздохи, какие-то зовы, словно идущие из-под земли, и чей-то беспокойный смех — все это вливалось в ее уши странной музыкой, пронизывало жаркой дрожью, спирало дыхание в груди и наполняло такой истомой, что она падала тяжело, как зрелый плод, на холодную росистую траву и лежала неподвижно, полная священной, животворящей силы, подобно зреющим нивам, подобно отягощенным плодами ветвям, или спелой пшенице, готовой отдаться серпам, или хотя бы птицам, или ветрам, потому что постылась она в ожидании.

Так проводила Ягуся короткие светлые ночи и знойные, душные дни июля, и они улетали, как сладкие, всегда желанные сны.

Она ходила, как во сне, едва отличая день от ночи.

Домникова чувствовала, что с дочкой творится что-то странное, но, не зная, в чем дело, только радовалась ее неожиданной набожности.

— Поверь мне, Ягусь, кто с богом, с тем бог! — твердила она ласково.

Ягуся только усмехалась, полная тихого счастья и покорного ожидания.

Как-то днем она совсем нечаянно наткнулась на Яся. Он сидел под межевой насыпью с книжкой. Отступить было уже поздно, и она остановилась перед ним, вся вспыхнув от смущения.

— Что вы тут делаете? — бессвязно пробормотала она, опасаясь, не догадывается ли Ясь о чем-нибудь.

— Сядьте. Вы, видно, очень устали.

Она стояла в нерешимости, но Ясь потянул ее за руку, и она села рядом с ним, торопливо пряча под юбку босые ноги.

Ясь тоже казался смущенным и как-то беспомощно озирался по сторонам.

В поле было пусто, из-за хлебов далекими островками маячили крыши липецких хат и сады. Ветер тихонько играл колосьями, пахло рожью и чебрецом, нагретыми солнцем. Какая-то птица пролетела над их головами.

— Ужасно жарко сегодня! — сказал Ясь, *чтобы начать* разговор.

— Да и вчера пекло здорово!

Радость и страх сжимали Ягусе горло, и она с трудом вымолвила эти слова.

— Не нынче-завтра жать начнут.

— Да, наверное... — подтвердила она, *выжмурив на него* глаза.

Ясь улыбался и пробовал говорить непринужденно, даже шутливо.

— А вы, Ягуся, хорошеете с каждым днем!

— Какая уж моя красота! — Она зарделась, глаза ее потемнели, губы дрогнули улыбкой затаенного счастья.

— Вы, Ягуся, вправду не хотите замуж идти?

— И думать не думаю! Мне и одной хорошо.

— Неужели вам никто не нравится? — спрашивал Ясь, осмелев.

— Никто, никто! — Она отрывательно взглянула Ясью в глаза, не сводя с Яся мечтательных глаз. Ясь заглянул ближе, заглянул глубоко в их голубую бездну. Он прозел в них молитвенный восторг, великую расставную заду в него, страстный крик беззаветно любившего сердца. Душа в ней трепетала, как солнечные зайчики над водой, как птица, поющая высоко над землей.

Ясь отодвинулся с какой-то непонятной ему самому тревогой, провел рукой по глазам и встал.

— Ну, мне пора домой! — Он кивнул Ягусе на прощанье и побрел по широкой меже к деревне, то читая на ходу свою книгу, то блуждая взглядом вперед. Близкого погоды он оглянулся и остановился. Ягуся шла подалее в нескольких шагах от него.

— Мне тоже этой дорогой ближе. — сказала она ему, шепотом, как бы оправдываясь.

— Тогда пойдемте вместе, — сказал Ясь не совсем хот-по. Он опустил глаза на раскрытую страницу и читал что-то вполголоса, медленно зашагал дальше.

— О чем тут написано? — спросила Ягуся робко, поглядывая в книгу.

— Если хотите, я вам немного прочитаю.

Неподалеку стояло ветвистое дерево. Ясь сел в тени и начал читать. Ягуся присела напротив и подперев руками подбородок, слушала внимательно, не отрываясь от него.

— Ну, нравится? — спросил Ясь через минуту, поднимая голову.

Она покраснела и, избегая его взгляда, сконфуженно пробормотала:

— Не знаю... Тут не про королей рассказывается, а? — Ясь только поморщился и опять начал читать, но уже медленнее и как можно внятнее. Читал о полях и хлебах, о какой-то усадьбе в березовой роще, о сыне помещика, вернувшемся домой, о паненке, сидевшей с детьми в саду... и все это было так складно, в стихах, точь-в-точь как те гимны, что поют с амвона, и шло прямо в сердце, по раз хотелось Ягусе вздохнуть, перекреститься и заплакать.

В тихом уголке, где сидели они с Ясем, было страшно жарко, вокруг стояла густая стена ржи, в которую вплелись васильки, полевой горошек и душистая повилочка, и ни одно дуновение ветерка не охлаждало воздух. В знойной тишине по временам лишь шуршали колосья, чирикал в ветвях воробьи, жужжала летящая мимо пчела да звенел голос Яся, в котором слышалась Ягусе какая-то неизъяснимая нежность. Она смотрела на Яся, не отрываясь, как на прекрасную картину, и слышала каждое его слово, но жара ее разморщила, и ее стало клонить ко сну. К счастью, Ясь перестал читать и взглянул ей в глаза.

— Красота какая, правда?

— Верно, что красота... как будто проповедь в костеле слушаешь.

У Яся даже глаза заблестели, и на щеках выступил румянец, он стал с увлечением перечитывать ей те места, где говорилось о полях и лесах, но Ягуся его перебила:

— Да ведь и малый ребенок знает, что в лесах деревья растут, в реках вода течет, а на полях сеют. Для чего же в книжках про это писать?

Ясь от удивления даже отодвинулся.

— А я люблю только рассказы про королей, и крылатых змеев, и про всякие страсти. Слушаешь — и мурашки даже по телу бегут, и как будто углей тебе наложили за пазуху! Когда Рох рассказывает про все это, я слушала бы его день и ночь. А у вас, пан Ясь, таких книжек нет?

— Да кто же станет читать такие глупости! — презрительно сказал глубоко возмущенный Ясь.

— Глупости! А ведь Рох и в книжках читал про это.

— Глупости он вам читал, все это враки!..

— Неужели такие чудеса выдумывали только для того, чтобы людей обмануть?

— Конечно, все это сказки и выдумки.

— Значит, и про полудниц неправда? И про змеев? — спрашивала Ягня все печальнее.

— Неправда, я же вам говорю! — нетерпеливо отрезал Ясь.

— Значит, и то неправда, что Иисус странствовал со святым Петром?

Ясь не успел ответить — около них, словно из земли, выросла Козлова. Стояла и насмешливо смотрела на них.

— Да ведь папа Яся ищут по всей деревне! — сказала она сладеньким голоском.

— Что там случилось?

— В плебанню понаехали жандармы — целых три брички!

Встревоженный Ясь вскочил и опрометью побежал к деревне.

Ягня пошла туда же, почему-то сразу помрачнев.

— Помешала я вам молиться, должно быть? — процедила Козлова, идя рядом.

— Какие там молитвы! Он мне из книжки разные истории читал... в стихах.

— Ишь ты... А я совсем другое думала!.. Органпстиха меня послала его искать... бегу в эту сторону, гляжу туда, сюда, нет нигде... Осенило меня вдруг — заглянула под грушу, а они сидят да воркуют, как голубки... и место самое подходящее — от людских глаз далеко!

— Чтoб у тебя поганый язык отсох! — вспыхнула Ягня и прибавила шагу.

— И будет кому грехи тебе отпустить! — язвительно крикнула ей вслед Козлова.

Х

Войдя в деревню, Ягня сразу заметила, что случилось что-то серьезное: собаки громко лаяли, дети прятались в садах, осторожно выглядывая из-за деревьев и плетней, народ возвращался с поля, хотя солнце стояло еще высоко, бабы собирались кучками и о чем-то шептались, и на всех лицах читалась сильная тревога, во всех глазах — страх и ожидание.

— Что тут приключилось? — спросила она у дочку Бальцерку, выглянувшей из-за угла.

— Не знаю, говорят, со стороны леса солдаты идут.

— Господи Иисусе! Солдаты! — У Ягни подкосились ноги.

— А Клембов парнишка говорит, что из Воли казаки едут! — крикнула им, пробегая, дочка Прычковых.

Ягуся заспешила и домой пришла сильно встревоженная. Мать сидела на пороге с куделью, а около нее — несколько тараторивших соседок.

— Я их видела, как вижу вас: сидят на крыльце, а старшие — в комнатах у ксендза.

— И Михала, племянника органиста, послали за войтом.

— За войтом! Ох, милые вы мои, значит, дело нешуточное!

— А может, они приехали только недоимки собрать?

— Ну, вот еще, станет столько людей за таким делом приезжать. Нет, тут что-то другое!

— Что бы ни было, а добра не жди! Помяните мое слово!

— А я вам скажу, зачем они приехали, — объявила Ягустинка, подходя к ним.

Бабы сбились в кучку и, как гуси, вытянув шеи, с жадным любопытством приготовились слушать.

— Будут всех баб в солдаты брать! — Ягустинка залилась своим скрипучим смехом, но никто ей не вторил, а Доминикова сказала едко:

— У тебя одни только глупые шутки на уме!

— А вы из мухи слона делаете! Все зубами стучат от страха, а в душе рады переполоху. Велика важность, жандармы!

Во двор вкатилась Плошкова и начала рассказывать, как она увидела брички и тут ее словно что-то толкнуло — она сразу догадалась, кто едет.

— Тише! Глядите-ка, Гжеля и войт бегут в плебанию!

Все глаза устремились на другой берег озера, вслед бегущим.

— Эге, и Гжелю требуют!

Но они не угадали: Гжеля пропустил брата вперед, а сам оглядел стоявшие перед плебанией брички, порасспросил кучеров, присмотрелся издали к сидевшим на крыльце жандармам и в сильном беспокойстве помчался к Матеушу, работавшему у Стаха. Матеуш сидел верхом на стене почти достроенной избы, вырубая пазы для стропил.

— Что, еще не уехали? — спросил он, не прерывая работы.

— Пет. И беда в том, что...
ехали.

— От них добра не жди! —

— А может быть, что...
грозил мужикам, а стражи...
пыхивали, кто бунтует...
вниз.

— Тогда, значит, они...
Гжеля с беспокойством. Он...

— Мне думается,...

— А ведь верно — они...
это мне в голову не пришло —...
нул, но в следующую минуту...
и сказал грустно: — Да, уж...

— Как же можем мы это...
отца родного выдать! —

— Да ведь против них же...
ничего!

— Надо его предостеречь. Пусть...
ся, — сказал Былина.

— А может быть, тут...
из-за войтовых делишек? —

— На всякий случай побегу...
Гжеля и нырнул в реку, чтобы...
к Борынам.

Антек сидел на крыльце...
наковальне. Узнав, в чем...

— Старик только что...
крикнул он.

— Что такое? — спросил...
Но не успели они ему ответить...
шись, Михал, племянник...

— Антоний, к вам...
озера!

— Это за мной! —...
лову.

— Господи Иисусе! —...
Ганка и громко заплакала.

— Тише ты! Надо что-нибудь...
Антек, напряженно размышляя.

— Созову всю деревню, и...
чился Михал, выламывая толстый...
глазами.

— Не дури! Рох, за соколом...
Пасилете

где-нибудь в борозде, пока я вас не кликну. Скорее, пока не подошли!..

Рох заметался по комнате, супул лежавшей в постели Юзе какие-то бумаги и шепнул ей:

— Спрячь под себя и не выдавай!

И, как был, без кафтана и шапки, выскочил в сад и как в воду канул — только за сеновалом зашумела рожь.

— Уходи, Гжеля! Ганка, займись своим делом. А ты, Мпхал, удирай и никому ни гугу! — командовал Антек, садясь и припимаясь опять за прерванную работу. Он клепал серп так же ровно и спокойно, как прежде, только поминутно рассматривал лезвие на свет и глаза у него бежали по сторонам. Лаї собак приближался, а вскоре слышались и тяжелые шаги, бряцание шашек и голоса.

У Антека заколотилось сердце, задрожали руки, но он продолжал клепать ровно, аккуратно, не поднимая глаз, пока жандармы не остановились перед ним.

— Дома Рох? — спросил войт, видимо спльно перетрусивший.

Антек окпнул взглядом всю компанию и неторопливо ответил:

— На деревне, должно быть, я его с утра не видал.

— Откройте! — гаркнул кто-то из жандармов, чпном повыше.

— Да и так открыто! — ворчливо ответил Антек, поднимаясь.

Урядник и жандармы вошли в избу, а стражники остались караулить в саду и на дворе.

На улице собралась чуть не половина деревни — стояли молча и наблюдали. Жандармы переворопчили весь дом, как коппу сена, Антека заставляли все показывать и отпирать, а Ганка сидела у окна с ребенком на руках.

Поискп Роха, конечно, ни к чему не привели, хотя жандармы искали везде, не пропуская ни одного уголка, и один даже заглянул под кровать.

— Как же, сидит он там и ждет вас! — проворчала Ганка.

Урядник, увидев на столе под распятием какие-то книжки, набросился на них, как рысь, и начал внимательно просматривать.

— Откуда это у вас?

— Должно быть, Рох положил, вот и лежат.

— Бoryнова неграмотна, — пояснил войт.

— Кто из вас умеет читать?

— Никто, нас в школе так учили, что теперь никто даже в молитвеннике ни слова не разберет, — ответил Антек. Урядник передал книжки жандарму и пошел на другую половину избы.

— Она что, хворает? — Он подошел к кровати Юзьки.

— Вот уж недели две лежит, оспа у нее.

Урядник поспешно отступил в сени.

— А он в этой комнате жил? — спросил он у войта.

— И в этой и где попало, как всякий попчий.

Обыскивали все закоулки, даже за образа заглянули. Юзя следила за ними горящими глазами, дрожа от страха. Когда кто-то из них подошел поближе, она завизжала не своим голосом:

— Под себя я его спрятала, что ли? Ищите!

Когда обыск кончился, Антек подошел к уряднику и, кланяясь ему в пояс, смрепно спросил:

— А дозвольте спросить, что, Рох этот украд что-нибудь?

Урядник близко заглянул ему в лицо и сказал внушительно:

— Если окажется, что ты его укрываешь, так вместе отправитесь, слышишь?

— Слышать-то слышу, да никак не пойму, в чем дело-то! — Антек озабоченно скреб затылок. Урядник пристально посмотрел на него и ушел в деревню.

Они ходили и по другим хатам, заглядывая туда, сюда, опрашивали всех, кого возможно, и только когда зашло солнце и по всем улицам гнали скот с пастбищ, уехали, так ничего и не добившись.

Деревня вздохнула свободно, начались толки, каждый спешил рассказать, как делали обыск у Клембов, у Гжели, у Матеуша, и каждый, если верить ему, видел все лучше всех, меньше всех боялся и больше всего допекал жандармов.

Антеке же, когда они с Ганкой остались одни, сказал ей тихо:

— Дело так обернулось, что нельзя нам больше держать его у себя.

— Как же так! Неужто выгонишь его, такого святого человека, благодетеля нашего?

— Эх, черт их возьми! — выругался Антек, по зная, что делать. К счастью, скоро пришли Гжеля и Матеуш, и они все троем ушли совещаться в овин, так как в избу поминутно забежал кто-нибудь разузнать, как было дело.

Когда они вышли из овина, было уже совсем темно, Ганка подошла к коров, а Петрик приехал из лесу. Аптек тотчас выкатил бричку, а Гжеля и Матеуш, для отвода глаз, пошли по деревне якобы искать Роха.

Всех это удивляло, — каждый готов был присягнуть, что Рох прячется у Борыпы.

— Нет, он сразу после обеда куда-то пропал, и с тех пор ни слуху ни духу! — сообщали всем оба приятеля.

— Повезло ему, не то он бы уже в колодках шагал!

Гжеля и Матеуш добились своей цели — мигом разнеслась весть, что Рох еще в полдень ушел из деревни.

— Пронюхал и дал тягу! — радовались все.

— И пусть бы не приходил больше — нечего ему тут делать! — сказал старый Плошка.

— Мешал он вам? Обидел чем-нибудь? — проворчал Матеуш.

— А мало он тут баламутил? Мало вас бунтовал? Из-за него всей деревне несдобровать.

— Что ж, поймайте его и выдайте!

— Если бы вы умнее были, так давно бы так сделали...

Матеуш обругал его и даже драться полез, его едва удержали. Погрозив кулаком Плошке, он ушел, да и все стали расходиться по домам, потому что час был поздний.

Аптек только того и ждал. Когда улицы опустели и люди засели в хатах ужинать, а из окон понеслись запах жареного сала, стук ложек и тихий говор, он привел Роха в комнату, где лежала Юзя, не позволив зажечь там огонь.

Старик пискоро поел, собрал свои вещи и стал прощаться с женщинами. Ганка упала ему в ноги, а Юзя горько расплакалась.

— Оставляйтесь с богом, авось еще когда-нибудь увидимся! — говорил Рох, обнимая их и отечески целуя в голову.

Аптек торопил его, и он, благословив детей, пошел за сеновал, к перелазу.

— Лошади будут ждать у Шимека на Подлесье, а повезет вас Матеуш.

— Мне еще надо забежать кое к кому в деревне... Где мы встретимся?

— У креста около леса, сейчас туда пойдем.

— Вот и хорошо, мне надо еще о многом с Гжелей поговорить.

И он точно растворился в темноте, даже шагов не было слышно.

Аптек запряг лошадей, положил в бричку четвертку ржи и мешок картошки, долго что-то объяснял Витеку, отведя его в сторону, потом сказал громко:

— Витек, отведи лошадей к Шимеку на Подлесье и вернись. Попял?

Мальчик только глазами блеснул, вскочил на козлы и помчался с такой быстротой, что Аптек даже крикнул ему вслед:

— Потихе, дьявол, лошадей мне испортишь!

Рох тем временем незаметно пробрался к Доминиковой, где лежали какие-то его вещи, и заперся там в спальне.

Езджики сторожил на улице, Ягуся то и дело выглядывала во двор, а старуха в комнате тревожно прислушивалась.

Рох вышел минут через десять, потолковал еще тихонько с Доминиковой и, вскинув узел на спину, собрался уходить. Ягуся стала настойчиво просить, чтобы он позволил ей донести узел хотя бы до леса. Он согласился, они вышли через сад в поле.

Шли полем медленно, осторожно и молча.

Ночь была светлая, звездная, земля спала в тишине, и только на деревне лаяла собака.

Когда они уже подходили к лесу, Рох остановился и взял Ягусю за руку.

— Ягуся, — сказал он ласково, — выслушай внимательно то, что я тебе скажу.

Она кивнула, дрожа от дурного предчувствия.

Рох заговорил с ней, как женой на исповеди. Корил ее за Аптеку, за войта, а больше всего за Яся. Просил и заклинал ее всем святым опомниться и жить по-человечески.

Лицо Ягуси пылало от стыда, сердце сжималось от муки, но когда Рох заговорил о Ясе, она смело подняла голову.

— А что же я делала с ним плохого?

Рох стал ласково объяснять ей, каким соблазнам они оба подвергаются и до какого греха и позора это может их довести.

Но она не слушала больше, только вздыхала и думала о Ясе, ее губы с безудержной, неиступленной нежностью шептали его имя, а горящий взор летел куда-то в темноту, к нему и птицей кружил над милой его головой.

— Да я пошла бы за ним на край света! — вырвалось у нее невольно, и Рох вздрогнул, заглянул в ее широко открытые глаза и умолк.

На опушке леса под крестом забелели кафтаны.

— Кто это? — Обеспокоенный Рох остановился.

— Это мы! Свои!

— Отдохну немного, ноги меня уже не держат, — сказал Рох и сел между ними. Ягуся опустила на землю узел и села в стороне, под крестом, в густой тени берез.

— Как бы у вас не было из-за меня новых неприятностей!

— Э, хуже всего то, что вы от нас уходите! — сказал Антек.

— Может, еще вернусь когда-нибудь...

— Проклятые! Травят человека, как бешеную собаку! — воскликнул Матеуш.

— А за что? Боже мой, за что? — вздохнул Гжеля.

— За то, что хочу правды и справедливости народу, — торжественно ответил Рох.

— Всем трудно жить на свете, а хуже всех — справедливому человеку.

— Не горюй, Гжеля, придут лучшие дни.

— На то и надеемся, страшно было бы думать, что все напрасно...

— Жди у моря погоды! — вздохнул Антек, глядя туда, где в темноте белело лицо Ягуси.

— А я вам говорю: кто вырывает сорную траву и сеет хорошие семена, тот соберет урожай, когда придет пора жатвы.

— А если не уродится? Ведь и так бывает?

— Бывает. Но каждый сеет с надеждой на богатый урожай.

— Ну, еще бы, кому охота напрасно трудиться!

Примолкли мужики, думая о словах Роха.

Пролетел ветер, и над ними зашелестели березы, глухо зашумел бор, пошел по полям шорох колосьев. Месяц бежал по небу, словно улицей, меж рядами белых облаков. От деревьев легли тени, обрызганные лунным светом. Козодои бесшумно кружили над головами. Неясная тоска щемила всем сердце.

Ягуся вдруг тихо заплакала.

— Что это ты? О чем? — спросил Рох с участием.

— Не знаю... грустно мне что-то!..

И всем было грустно, все сидели скучные, потухшими глазами смотрели на Роха. А он заговорил, и в голосе его звучала глубокая вера:

— Обо мне не тревожьтесь. Что я? Только песчинка,

одни стебелек на широком поле. Ну, ищут жито и губят — так что же? Ведь таких, как я, столько будет, и каждый готов отдать жизнь за общее дело. В какое-то время — и будут таких тысячи, придут они из деревенских хат и усадеб и сложат там свою кровь свою, падут одни за других, как камни, и на этих камнях воздвигнется великий жданный храм... Он будет, говорю вам, и через сто веков, никакие злые силы не разрушат его, ибо воздвигнет он на жертвенной крови...

Рох говорил, что не пропадет даром ни одна капля крови, ни одна слеза, ни одно усилие, что, как семя на удобренной земле, постоянно родятся новые борцы, новые силы, и придет священный день правды и справедливости для всего народа.

Он говорил горячо, а иногда так мудро, что не все можно было понять, но сердца слушателей охвачены восторгом, и верой, и такой жадной потребой, что Антек воскликнул:

— Ведите! Пойду! Пойду хотя бы на смерть!

— Все пойдем, а что станет нам на дороге — sentirem!

— Да кто нас осилит, кто нас удержит? Пусть только попробует!..

Кричали все с таким воодушевлением и так громко, что Роху приходилось их унимать. Привыкший еще ближе, он стал объяснять, как все будет, когда наступит этот желанный день, и что им следует делать для того, чтобы он наступил поскорее.

Он говорил такие важные и неожиданные для них вещи, что они слушали не дыша, со смешанным чувством тревоги и радости, принимая каждое слово с сердечным трепетом. Ведь он открывал им рай, и глазам их представлялись уже несказанные чудеса, а душам жила сладкая надежда.

— От вас зависит, будет так или нет. Это в вашей власти! — заключил Рох, порядком утомленный.

Луна спряталась за тучку, небо посерело, поля заволкло туманом. Тихо заговорил лес, и тревожно шумели колосья, из окрестных деревень доносился лай собак. А мужики сидели молча, необычайно тихие, озабоченные тем, что слышали, такие торжественные, словно только что приняли великую присягу.

— Пора мне! — сказал Рох, вставая, и стал прощаться

с каждым отдельно. Потом, помолясь на коленях, упал лицом на землю и заплакал, обнимая ее руками, как обнимают мать перед вечной разлукой.

Ягуся заплакала навзрыд, да и мужики укладкой утирали слезы.

Проводив его, они тотчас разошлись. В деревню возвращались только Антек и Ягуся,— остальные скрылись где-то около леса.

— Смотри никому не говори того, что слышала,— сказал Антек после долгого молчания.

— Я с новостями по соседям не бегаю! — гневно огрызулась Ягуся.

— А главное, чтобы войт, сохрани бог, не узнал! — продолжал он сурово.

Ягна, не отвечая, пошла быстрее, но Антек догнал ее и шел рядом, то и дело поглядывая на ее сердитое, заплаканное лицо.

Лука уже опять спяла над самой дорогой, и они шли словно серебряной дорожкой, окаймленной причудливыми тепями деревьев. У Аптека вдруг задрожало сердце, тоска раскрыла свои ненасытные объятия... Он придвинулся так близко, что, протянув руку, мог бы обнять Ягусю. Но он этого не сделал: не хватало смелости. Злое, презрительное молчание Ягуси удерживало его. И он только сказал резко:

— Ты так летишь, словно хочешь убежать от меня.

— Да, ты угадал. Увидит нас кто-нибудь — и опять сплетни пойдут.

— Или, может, спешишь к другому?

— А кто же мне запретит? Я вдова теперь.

— Недаром, видно, говорят в деревне, что ты метишь в экономки к одному ксендзу!

Ягна рванулась, как вихрь, и побежала от него. Из ее глаз жгучими потоками струились слезы.

XI

Уже местами люди выходили с серпами, кое-где на взгорьях и косы сверкали. В деревнях, где поля были расположены в низинах, еще только готовились к жатве, но и там опа должна была начаться со дня на день.

И в Липцах через несколько дней после бегства Роха начались усиленные приготовления. Спешно приводили в порядок решетки телег, разошедшиеся телеги мочили в озе-

ре, убирали овпы, и опп везде стояли пастежы открытыми, кое-где в тепи скручивали из соломы перевясла, и почти у каждой пзбы мужики клепали косы. Бабы пекли хлеб, готовили еду па дни страды, и такая была суматоха, как бывает в деревпе только перед большим праздником.

К тому же в Липцы съехалось много народу из других деревень, и на дорогах и у мельницы было шумно, как на ярмарке. Мужики приехали, чтобы смолоть зерно, но, как назло, воды было мало, на мельнице работал только один жернов, да и то еле-еле. Мужики терпеливо ждали своей очереди, каждому хотелось смолоть до жатвы.

Немало народу толпилось и у дома мельника — покупали муку, крупу разную, а то даже и готовый хлеб.

Мельник лежал больпой, но все делалось по его указке. Он кричал жене, сидевшей во дворе под открытым окном:

— Репецким не давай в долг ни на грош — они своих коров водили к ксендзову быку, а не к нашему, так пускай же ксендз им и муку в долг отпустит!

И не помогали ни просьбы, ни жалобы. Напрасно мельничиха просила за самых бедных — мельник заартачился и ни одному из тех, кто водил корову к ксендзу, не позволил отпустить в долг ни фунта муки.

— Поправился им бык ксендза, так пусть его доят! — выкрикивал оп.

Мельничиха, которой тоже что-то сегодня нездоровилось, заплаканная и с подвязанной щекой, только плечами пожимала и тайком от мужа не одному давала в долг, сколько могла.

Пришла Клембова и попросила полчетверти пшепа.

— Если заплатите сейчас, так берите, а в долг не дам ни крупинки.

Клембова спльно огорчилась: она, конечно, пришла без денег.

— Томаш за ксендза горой стоит, так пусть у него и крупы просит!

Клембова обиделась и сказала запальчиво:

— Конечно, он за ксендза стоял и будет стоять, а у вас ноги его больше не будет!

— Невелика печаль, не заплачем! Попробуйте молоть в другом месте.

Она ушла очень озабоченная, потому что в доме не было ни гроша, и, наткнувшись на жену кузнеца, сидевшую у запертой кузницы, стала ей жаловаться на мельника и даже заплакала.

Но Магда сказала с усмешкой:

— Не горюйте, недолго ему царствовать!

— Да кто же справится с таким богачом?

— Как построят у него под самым носом ветряную мельницу, так шелковый станет!

Клембова п глаза вытаращила от удивления.

— Мой мельнику ставит. Сейчас только пошел с Ма-теушем в лес дерево выбирать. Будет ее строить на Под-лесье, около креста.

— Ну, пу! Михал ветряную мельницу строит! Вот не думала, не гадала! А этому обдирале-мельнику так п надо, теперь спесп-то поубавится!

Повеселевшая Клембова быстро шла домой, но, увидев Гапку, стирающую у избы, подошла к ней поделиться не-ожиданной новостью.

Аптек, что-то мастеровивший у телеги, услышал их раз-говор и сказал:

— Магда правду говорят: кузнец купил у помещика двадцать моргов на Подлесье и поставит там ветряную мельницу. Мельник взбесится от досады, но поделом ему, теперь мягче станет! Он уж всем тут так насолпл, что его никто не пожалует.

— А что, про Роха пичего не слыхать?

— Ничего. — Аптек торопливо отвернулся.

— Страшно это — третий день, как пропал человек, и неизвестно, что с ним.

— Да ведь он не раз уже куда-то уходил, а потом опять возвращался.

— А кто из ваших в Ченстохов идет? — спросила Гапка.

— Идет Евка моя с Мацюсем. Нынешний год из Липец-лемного народу собирается.

— И я пойду — вот стираю на дороге одежду полегче.

— А из других деревень, говорят, много пойдет.

— Подходящее время выбрали — в самую страду! — проворчал Аптек. Решению жены идти на богомолье он, однако, не противился, зная, по какому случаю она дала этот обет.

Поговорили еще о том о сем. Вдруг прибежала Ягу-стинка.

— Знаете повесть? Час тому назад вернулся с военной службы Ясек!

— Терезкин муж? А она говорила, что он вернется только к осени.

— Я его сейчас видела. Глядит молодцом и говорит, что страсть как по своим стосковался.

— Хороший он мужик, только горячий и упрямый. А Терезка дома?

— Она лен у ксендза рвет и еще не знает, что ее дома ждет.

— Опять в Липцах заварится каша — ведь ему сейчас же все расскажут!

Аптек внимательно слушал — эта новость его сильно заинтересовала, но в разговор он не вмешивался. Ганка и Клембова, искренне жалевшие Терезку, стали предсказывать ей тяжелую расплату за грех, но Ягустинка перебила их:

— Ну ее к чертям, такую справедливость! Уйдет какой-нибудь бычок на несколько лет бог знает куда, жену одну оставит, а потом, если с ней, бедняжкой, грех случится, он готов ее со свету сжить. И все против нее! Где же тут справедливость? Мужiku можно там гулять с друзьями, и никто про него худого слова не скажет! Ну, и дурацкие порядки на свете! Что же, разве баба — не живой человек, деревянная она, что ли? А если уж ей приходится отвечать, так пусть и любовник расплачивается, — вместе небось грешили! Отчего ему только утеха, а ей слезы, а?

— Милая моя, так уж испокон веков повелось, так оно и останется, — сказала Клембова.

— Останется людям на погибель, дьяволу на радость! Нет, я бы иначе постановила: взял кто-нибудь чужую жену — так пусть она с ним навсегда и остается, а не захочет он, потому что ему уже другая больше приглянулась, — дубиной подлеца, да и в острог!

Аптек расхохотался, — уж очень его насмешила запальчивость Ягустинки. Она подскочила к нему и закричала:

— Вам это только смешно, да? Разбойники вы окающиеся, вам каждая мила до тех пор, пока своего не добьетесь. А потом еще издеваетесь!

— Раскричалась, как сорока к дождю! — с досадой сказал Аптек.

Ягустинка скоро умчалась в деревню и пришла только к вечеру заплаканная.

— Что это с тобой? — встревожилась Ганка.

— Насмотрелась на горе людское, даже в голове мутится! — выговорила Ягустинка сквозь слезы и всхлипывания. — Знаешь, Козлиха все выложила Ясеку!

— Все равно, не она, так другая ему рассказала бы — таких дел не скроешь.

— Верь мне, там у них страшное что-то готовится! Побежала я к ним — никого дома не было. Захожу сейчас — сидят оба и плачут, а на столе разложены подарки, что он ей привез. Господи, у меня даже мороз заходил по телу, как будто я в могилу заглянула. Ничего не говорят, только плачут. Мать Матеуша рассказала мне, как дело было, — у меня волосы дыбом встали!

— Не знаете, он про Матеуша что-нибудь говорил? — с беспокойством спросил Антек.

— Зол на него, не дай бог! Матеушу это даром не пройдет.

— Не беспокойтесь, Матеуш у него милости просить не будет! — гневно отозвался Антек и, не слушая больше, пошел на Подлесье предупредить друга.

Он застал его у Шимека. Матеуш и Настуся сидели на завалинке и о чем-то тихо беседовали. Антек отозвал его в сторону и рассказал о приезде Ясека.

Матеуш так и ахнул, а придя в себя, начал ругаться.

Они пошли в деревню. Матеуш хмурился и тяжело вздыхал.

— Влжу, что тебе нелегко. Жаль расставаться? — осторожно спросил Антек.

— Какое там, она мне давно костью поперек горла стоит. Нет, у меня другое на душе...

Антек удивился, но расспрашивать считал неудобным.

— О каждой жалеть — жизни не хватит. Попалась мне в лапы, я ее и взял — и всякий на моем месте сделал бы то же самое! Не беспокойся, натешился я, как пес в колыде! Сколько мне этого реву, да пытья, да жалоб пришло — на десятерых хватило бы! Убегал я — так она, как тепь, за мной ходила. Пусть же теперь Ясек ею тепшится! Нет, не любовницы у меня в голове, а совсем другое!

— Пора бы тебе жениться!

— Вот и Настка мне то же самое говорила.

— Девоч в деревне тьма, выбрать нетрудно.

— Я давным-давно себе одну облюбовал, — нечаянно вырвалось у Матеуша.

— Так зови меня в сваты да свадьбу справляй — хоть сейчас после жатвы.

Но Матеуш только нахмурился и опять заговорил о Ясеке, а разузнав все у Аптека, стал рассказывать о хозяй-

стве Шимека и, как бы невзначай, упомянул, что Енджик под секретом говорил Настусе, будто Доминикова хочет судом требовать землю, которую Мацей завещал Ягусе.

— Что отец записал, того никто у нее не отымет. Земли я, конечно, не отдам, но честно заплачу, сколько она стоит. Сутяга эта старуха, хочется ей судиться!

— А правда, что Ягуся отдала запись Гапке? — осторожно спросил Матеуш.

— Что ж из того, ведь у нотариуса она отказа не подписывала?

Матеуш почему-то вдруг повеселел и уже не мог удержаться от соблазна поговорить о Ягусе — то и дело упоминал о ней и горячо ее расхваливал.

Антек, смекнув наконец, что у него на уме, сказал едко:

— А ты слышал, что про нее опять говорят?

— Э, бабы всегда ее чернят.

— За Ясем, сыпком органиста, бегают, говорят, как сука, — продолжал Антек настойчиво.

— А ты видел? — Матеуш даже побагровел от гнева.

— Я за ней не слежу, мне до нее дела нет, по другим видят каждый день, как они с Ясем сходятся то в лесу, то на меже.

— Вздуть бы одну-другую, так сразу бы сплетничать перестали!

— А ты попробуй! Может, испугаются и перестанут! — сказал Антек с расстановкой. Внезапная, мучительная ревность проснулась в нем, и мысль, что Матеуш может жениться на Ягусе, грызла его, как бешеная собака.

Он не отвечал ничего на вызывающие и часто неприятные замечания Матеуша, боясь выдать свою муку, но в конце концов не выдержал и, прощаясь, сказал с злой усмешкой:

— Кто на ней женится, у того свояков много будет.

Приятели расстались довольно холодно.

Пройдя несколько шагов, Матеуш тихо засмеялся.

«Должно быть, она его к себе не подпускает, вот он и злится и ругает ее. Ясь еще совсем мальчишка, пусть себе бегают за ним! Ее тянет к нему больше оттого, что он ксендз».

Матеуш рассуждал так снисходительно потому, что, выведав у Антека, как обстоит дело с дарственной записью Мацея, он окончательно решил жениться на Ягне. Он шел медленно, высчитывая в уме, сколько ему придется выпла-

тить Енджику и Шимеку, чтобы остаться единственным хозяином на двадцати моргах.

— Старуха, правда, ведьма, но не век же она проживет.

Вспомнились ему Ягусины грешки — и это его немного расстроило.

— Ну, да все это — дело прошлое, а захочется ей новых пашней, так я из нее живо дурь вытрясу!

У плетня дожидалась его мать.

— Ясек вернулся, — встревоженно зашептала она. — Ему все рассказали!

— Тем лучше, не придется врать!

— Терезка уже несколько раз прибегала... грозит, что утопится...

— Ох, с нее станется... она и вправду может такое сделать! — в ужасе сказал Матеуш. Это его сильно взволновало, и, сев на пороге ужинать, он не мог проглотить ни куска, все только прислушивался, пытаясь угадать, что делается в соседнем саду, у Ясека. Беспокойство его росло, он отодвинул миску и, куря одну папиросу за другой, тщетно старался побороть внутреннюю дрожь, клял себя, клял всех женщин, пробовал посмеяться над всей этой историей, но страх за Терезку мучил его невыносимо. Он раза два порывался встать и пойти куда-нибудь на люди, но продолжал сидеть, ожидая неизвестно чего.

Было уже темно, когда он услышал чьи-то шаги, и прежде чем он сообразил, с какой стороны они слышны, Терезка повисла у него на шее.

— Спаси меня, Матеуш! Господи, я так ждала тебя, так ждала!

Он усадил ее рядом, но она опять прильнула к его груди, как ребенок, и с болью и отчаянием шептала сквозь лившиеся ручьем слезы:

— Ему уже все сказали! Я не думала, что он так скоро вернется... Я у ксендза работала... Прибегает кто-то и говорит... Я чуть не померла на месте... шла домой, как на смерть... а тебя дома не было... Пошла я тебя искать... И в деревне тебя не было. Ходила, ходила целый час, и пришлось все-таки идти домой... Вхожу... а он стоит посреди избы, белый, как стена... подскочил ко мне с кулаками: «Правду говори!.. правду!»

Матеуш даже затрясся и утер с лица ледяной пот.

— Я ему призналась... Врать уже не к чему... С топором на меня кинулся... Я думала — конец... и первая ему говорю: «Убей! Легче будет нам обоим!» А он и пальцем

меня не тронул. Только поглядел в лицо, сел под окном да как заплачет!.. Иисусе Христе, хоть бы он бил меня, ногами топтал, ругал — мне бы легче было, легче... А он сидит и плачет! И что ж я, несчастная, теперь делать буду, что? Куда мне деваться? Спаси ты меня, Матеуш, а то в колодезь брошусь либо что другое над собой сделаю. Спаси! — простонала она, упав ему в ноги.

— Чем же я тебе помогу, сиротинка, чем? — беспомощно бормотал Матеуш.

Терезка вдруг вскочила в диком порыве безумного гнева:

— Так зачем ты меня в грех ввел? Зачем обманывал?

— Тише, вся деревня сбежится!

Она опять кинулась к нему на шею и, осыпая поцелуями его лицо, обняв его со всей силой страха, любви и отчаяния, завывала:

— Ох, единственный ты мой, убей, только не гони от себя! Любишь? Любишь? Да обойми же, приласкай последний разок, возьми ты меня к себе, не дай пропасть, не отдавай на муку, на погибель! Один ты у меня на всем свете, один... Оставь меня у себя, буду тебе служить, как верная собака, как батрачка!

Так молила она страстными словами, рвавшимися из самой глубины ее измученного сердца.

А Матеуш словно в тисках извивался и всячески увиливал от решительного ответа. Стараясь успокоить Терезку ласками и поцелуями, он поддакивал всему, что она говорила, а в то же время оглядывался все тревожнее и нетерпеливее, потому что ему показалось, что Ясек сидит на плетне.

Терезка, поняв наконец горькую правду, оттолкнула его и закричала, хлеща его словами, как плетью:

— Врешь ты, как пес! Всегда меня обманывал, а теперь уж не проведешь! Бойшься Ясека, вот и вертишься, словно угорь! А я-то ему верила, как лучшему человеку на свете! Боже мой, боже! А Ясек такой добрый, подарков мне навез, никогда худого слова мне не сказал, — и я так ему отплатила! Поверила такому обманщику, такому разбойнику, такому псу!.. — Ступай за своей Ягусей! — завпажала она вдруг, подскочив к нему с кулаками, — ступай, вы с ней хорошая пара — вор и потаскуха!

Она упала на землю, захлебнувшись страшным, безумным плачем.

Матеуш стоял над ней, не зная, что делать, мать его

всхлипывала где-то у стены. Вдруг из сада вышел Ясек и, подойдя к жене, зашептал ей нежные, ласковые слова, и в голосе его дрожали слезы:

— Пойдем домой, пойдем, бедная ты моя! Не бойся, не обижу тебя, довольно ты за свой грех патерпелась. Пойдем, жена...

Он взял ее па руки и понес к перелазу, крикнув Матеушу:

— А тебе до смерти не прощу ее обиды — бог мне свидетель!

Матеуш молчал. Стыд душил его, заливал сердце такой горечью, такой невыносимой тоской, что он помчался в корчму и пил всю ночь.

Обо всем этом мигом узнали в деревне. Люди немало дивились и с большим уважением отзывались о поступке Ясека.

— Другого такого днем с огнем не найдешь, — говорили растроганные женщины и сурово осуждали Терезку, которую горячо защищала одна только Ягустинка.

— Терезка не виновата! — кричала она везде, как только услышит, что нападают на Терезку. — Она еще сопливая девчонка была, когда Ясека забрали в солдаты, осталась одна-одинешенька, даже ребенка не было, — так и не мудрено, что за столько лет соскучилась она без мужика. Ни одна не выдержала бы такого долгого поста. А Матеуш учуял и стал к ней подъезжать, ласковыми речами туманить, на музыку водить — вот и свел дуручку с пути!

— И суда на них нет, на греховодников! — вздохнула одна из баб.

— У него уже башка линяет, а все еще за бабами таскается.

— Холостой он, бедняга, так чем же ему поживиться, как не чужим? — шутили парни.

Но разговоры об этом скоро утихли — наступило время жатвы, дни стояли на редкость сухие и жаркие, на высоких местах рожь так и просилась под косу, созревал и ячмень. Каждый день кто-нибудь выходил в поле на разведки, и хозяева побогаче уже искали подепщиков.

Первым вышел в поле органист и поставил жать десятка полтора баб. Даже его жена и дочери взялись за серпы, а он только бдительно надзирал за всем. Ясь примчался после обедни, но недолго наслаждался работой в поле — как только наступила полуденная жара, мать прогнала его домой, боясь, как бы ему не напекло голову.

— Понщет тепп у Ягуси, это ему на руку! — буркнула ему вслед Козлова.

Дома тоже было жарко, скучно, от мух не было житья, и Ясь пошел по деревне. Проходя мимо Клембов, он услышал из настежь открытой двери чьи-то глухие стоны.

Агата лежала в сених у порога, а в избе не было ни души — вся семья ушла жать.

Ясь перенес Агату в комнату, положил на кровать и приводил в чувство, пока она не открыла залитые слезами глаза.

— Кончаюсь уж я, панич,— сказала она, улыбаясь, как разбуженный ребенок.

Ясь хотел бежать за ксендзом, но она удержала его за край сутаны.

— Пресвятая дева мне сегодня сказала: «Готовься к завтрашнему дню». Значит, еще есть время, панич. Завтра!.. Благодарю тебя, милосердный боже!

Она стонала все тише, с улыбкой сложила руки и, казалось, погрузилась в горячую молитву без слов. Ясь, понимая, что началась агония, побежал звать Клембов.

Он зашел к ней опять уже после полудня. Агата лежала на кровати в полном сознании, и сундучок ее стоял подле нее на лавке. Она холодеющими руками доставала из него все приготовленное на смертный час: чистую простыню и наволочки, бутылочку освященной воды, почти повое кропило и порядочный кусок свечи-громняппы, образок Ченстоховской божьей матери и повую рубашу, добротную шерстяную юбку, чепец с пышной оборкой, платок и совсем новые башмаки, все это смертное приданое, которое она по крохам, нищенствуя, собирала всю жизнь. Она разложила все около себя на кровати, радуясь каждой вещи и хвалясь ею перед бабами, а чепец даже примерила, и, поглядевшись в зеркальце, прошептала, сияя от счастья:

— Как хорошо! Я в нем на богатую хозяйку похожа!

Она наказала, чтобы на нее завтра с самого утра надели все эти сокровища.

Ей ни в чем не прекословили, ходили на цыпочках, стараясь, чем могли, скрасить ее последние минуты.

Ясь сидел подле нее до сумерек, читал вслух молитвы, а она повторяла их за ним, но каждую минуту засыпала с легкой улыбкой на губах.

Когда в доме уже ложились спать, она подозвала Томаша.

— Не бойся, я недолго буду вам тут мешать,— сказала она робко.

На другое утро ее одели, как она хотела, уложили на кровати Клембовой. Она сама следила, чтобы все было как следует, сама трясущимися руками взбила жиденькую перину, налила на тарелку святой воды, положила на нее кропило и, убедившись, что все сделано как полагается, попросила сходить за ксендзом.

Ксендз пришел, приготовил ее в последний путь и поручил Ясю оставаться при ней до конца, потому что сам он куда-то торопился.

Ясь, сидя у кровати, тихо читал требник, Клембовы тоже остались дома, а скоро прибежала Ягустинка и забилась в угол тихо, как заяц. В комнате слышно было только жужжание мух, люди ходили бесшумно, как тени, тревожно поглядывая на Агату. Она была еще в сознании, прощалась с каждым, кто заходил в избу, а ребяташкам, толпившимся в сенях и под окном, роздала по медяку.

— Натe, помолитесь за Агату!

Потом замолчала и несколько часов не говорила ни слова.

Лежала «по-хозяйски», честь честью, на кровати и под образами, как мечтала всю жизнь. Лежала, полная тихой гордости, невыразимо счастливая. Шевелила молча губами, блаженно улыбалась и смотрела через окно в бездонное небо, в широкое поле, где уже звенели и сверкали косы и ложилась спелая, тяжелая рожь. Смотрела еще дальше, на что-то, видимое только ее отлетающей душе.

И вот в час, когда день уже клонился к концу и компату заливало красное пламя заката, она вдруг сильно вздрогнула, села на постели и, протянув вперед руки, воскликнула громко, не своим голосом: «Пора уже мне, пора!» — и упала навзничь.

В избе зазвучали рыдания, все встали на колени у кровати, Ясь начал читать отходную, Клембова зажгла свечу. Умиравшая повторяла за Ясем слова молитвы, но все тише, все слабее, язык у нее заплетался, глаза меркли, как этот летний день, истомленный зноем, лицо покрывала мгла вечной ночи. Свеча выпала из рук Агаты, и она умерла.

Амброжий, подоспевший в последнюю минуту, закрыл ей глаза. Люди приходили помолиться у ее тела и завидовали такой легкой и счастливой кончине.

Только Ясь, заглянув в ее мертвые глаза и лицо, застывшее, серое, как земля, изрытое когтями смерти, испытал такой ужас, что убежал домой, бросился на постель и, зарывшись лицом в подушки, плакал.

Ягуся побежала за ним и, сама потрясенная ужасом и жалостью, стала его успокаивать и утирать заплаканное лицо. А Ясь прижался к ней, как к матери, положил голову к ней на грудь и, обняв ее за шею, захлебываясь слезами, бормотал:

— Боже мой, как это страшно, как страшно!

В комнату вошла его мать и, увидев эту картину, пришла в ярость:

— Это еще что такое? — зашипела она, с трудом сдерживая себя. — Ишь какая нашлась утешительница! Ясю пнянка не нужна, сам может нос себе утирать!

Ягуся подняла на нее заплаканные глаза и, дрожа от волнения, начала рассказывать о смерти Агаты. Ясь тоже торопливо принялся объяснять матери, что с ним было, но органистиха, которой уж достаточно наговорили кумушки, заорала на него:

— Глуп ты, как теленок! Молчи лучше, а то и тебе достанется!

Она подскочила к двери, распахнула ее и крикнула Ягусе:

— А ты убирайся вон, и чтоб ноги твоей здесь больше не было, не то собак патравлю.

— Да в чем я виновата? В чем? — бормотала Ягуся, обомлев от стыда и горя.

— Пошла вон сию же минуту! Я не буду плакать из-за тебя, как Гапка и войтова жена! Я тебе покажу шашни заводить, бесстыдинца, попомнишь ты меня, плюха! — кричала она во весь голос.

Ягуся, громко плача, выбежала на улицу и помчалась куда глаза глядят.

А Ясь стоял, как пораженный громом.

XII

В первую минуту он хотел бежать за Ягусей.

— Куда! — грозно крикнула мать, загоразивая дверь.

— Почему вы ее выгнали, за что? За то, что она так ко мне добра! Это несправедливо, я этого не допущу! Что она плохого сделала? — кричал Ясь в страшном волнении, вырываясь из крепких рук матери.

— Сядь смиренно, иначе отца позову! За что? А вот я тебе сейчас скажу: ты будешь ксепдзом, и я не хочу, чтобы в моем доме ты завел себе любовницу! Не хочу дожить до такого стыда и срама, видеть, как люди на тебя пальцами указывают! Вот потому я ее и выгнала. Понял теперь?

— Господи помилуй! И что это вы, мама, говорите! — ахнул Ясь, глубоко возмущенный.

— Знаю, что говорю! Думаешь, мне не было известно, что ты с ней встречаешься? Но видит бог, я ничего дурного не подозревала. Я всегда думала, что если мой сын надел одежду священника, он никогда не позволит себе ее запятнать! Да я бы тебя на веки прокляла и вырвала из своего сердца, хотя бы оно у меня кровью обливалося! — Глаза ее засверкали так грозно и неумолимо, что Ясь оцепенел от страха. — Спасибо, Козлова мне глаза открыла, да я теперь и сама вижу, до чего тебя хотела довести эта дрянь!

Ясь горько заплакал и сквозь всхлипывания, жалуясь на эти ужасные обвинения, с такой искренностью рассказывал о всех своих встречах с Ягусей, что мать ему поверила и, обняв его, стала успокаивать.

— Не удивляйся, что я за тебя испугалась, — ведь хуже этой дряни нет никого во всей деревне!..

— Ягуса хуже всех в деревне?! — Ясь ушам своим не верил.

— Хоть стыдно мне и говорить про это, но я тебе все расскажу.

И она принялась рассказывать ему все, что слышала о Ягусе, не скупясь при этом и на всякие измышления.

У Яся волосы дыбом встали. Он вскочил и крикнул:

— Неправда это, ни за что не поверю, что Ягуса такая! Никогда...

— Мать тебе это говорит, понимаешь? Не из пальца же я высосала!

— Все выдумки и больше ничего! Ведь это было бы ужасно! — Он в отчаянии всплеснул руками.

— А что это ты так горячо ее защищаешь, а?

— Я защищаю всякого, кто не виноват.

— Глуп ты, как баран, — рассердилась мать, сильно уязвленная его недоверием.

— Думайте, как хотите. Но если Ягуса такая скверная, зачем вы позволяли ей бывать у нас? — петушился Ясь.

— Я перед тобой оправдываться не намерена, если ты

так глуп, что ничего не понимаешь! Но предупреждаю: держись от нее подальше, потому что, если я вас где-нибудь застапу вместе, так на глазах у всей деревни задам ей такую баню, что она меня долго будет помнить! Да и тебе достанется...

Она ушла, яростно хлопнув дверью.

А Ясь, не отдавая себе отчета, почему его так волнуют сплетни о Ягусе, долго пережевывал слова матери, давился ими, как колючими шипами, насыщая душу их полынной горечью.

— Так вот ты какая, Ягуся! Вот какая! — твердил он с горестным укором. И, явись она в эти минуты, он отвернулся бы от нее с гневом и презрением. Мог ли он даже подозревать такие ужасные вещи?

Он думал о них все с большей мукой и сто раз вскакивал, порываясь бежать к Ягне, бросить ей в глаза весь этот длинный перечень обвинений. Пусть знает, что говорят о ней, и пусть опровергнет это, если может... пусть скажет громко, что это неправда!

Так думал Ясь и метался, как в лихорадке. Но чем дальше, тем больше верил он в невинность Ягуси, и ему все больше становилось жаль ее. С тихой грустью вспоминал он их встречи, и солнечный туман бездумного счастья заволакивал глаза и томил сердце. Он вдруг вскочил и закричал, словно обращаясь ко всему свету:

— Неправда это! Неправда! Неправда!

За ужином он упорно смотрел в тарелку, избегая взглядов матери, и хотя разговор шел о смерти Агаты, он в него не вмешивался и все капризничал, не хотел есть, спорил с сестрами, жаловался на жару в комнате и, как только убрали со стола, побежал в плебанию. Ксендз сидел на крыльце с трубкой в зубах и толковал о чем-то с Амброжем. Ясь обошел их издалека и, ходя взад и вперед под деревьями, уныло размышлял:

«А может быть, это правда? Мама не стала бы выдумывать!»

Из окон плебании падал свет на цветник, вокруг которого играли собаки, весело ворча друг на друга. С крыльца доносился грубый голос:

— А ячмень в Свином Овражке смотрел?

— Смотрел, солома еще маленько зелена, но зерно уже сухое, как перец.

— Надо бы завтра облачения проветрить, они совсем залежались. Стихарь отнеси к Доминиковой, пусть Ягуся

его выстирает. А кто это приводил сегодня к нашему быку корову?

— Из Модлиц кто-то. Мельник встретил его на мосту и хотел к себе переманить, обещал даже денег с него не брать, но мужик все-таки пошел к нам!

— И умно сделал — заплатит рубль и всю жизнь будет хороших коров иметь. Не знаешь, как там Клембы, собираются Агату хоронить?

— Да ведь она на похороны целых десять золотых им оставила.

— Значит, похороним ее с почетом, как хозяйку. Да, вот что: скажи братству, что воску на свечи я им продам. Завтра ты ступай с работниками в поле и подгоняй их, а то барометр что-то того... не было бы грозы!.. Когда же наши богомольцы идут в Ченстохов?

— Молебен заказали на четверг, так, наверное, сразу после него и двинутся.

Ясь раздражал этот разговор, он отошел подальше, к низенькому плетню, отделявшему сад от пасеки, и стал прохаживаться по узкой, заросшей травой дорожке, задевая головой ветви, низко свисавшие под тяжестью яблоч.

Вечер был душный, пахло медом и рожью, скошенной где-то за огородами. В жарком воздухе трудно было дышать. Обмазанные известкой стволы белели в сумраке, как саваны, развешанные для просушки. У озера сердито лаяли собаки, а из хаты Клембов доносилось заунывное пение.

Утомленный душевными волнениями, Ясь пошел наконец к дому. Вдруг откуда-то, как будто с пасеки, до него донесся сдавленный горячий шепот.

Он никого не видел, но остановился и слушал, притаив дыхание.

— Чтоб тебя!.. Пусти, не то закричу!

— Дурочка... чего вырываешься? Разве я тебя обижу?

— Еще услышит кто! Ой, бога побойся, ты мне ребра переломаешь! Пусти!..

Петрик Бoryпов и Марина, служанка ксендза! Ясь узнал их голоса и, усмехнувшись, пошел было дальше, но, сделав несколько шагов, вернулся на прежнее место и стал подслушивать. Он не понимал, что с ним, почему так сильно бьется сердце. Густые кусты и темнота скрывали Петрика и девушку, но Ясь все яснее слышал короткие, отрывистые, страстные слова — они вырывались, как языки пламени, и по временам после долгих пауз слышалось тяжелое, шумное дыхание и возня.

— ...такую самую, как у Ягуси, вот увидишь!

— Так я тебе и поверила! Я не дура... Ох, дай дух перевести!..

Запуршали кусты, что-то тяжело шлепнулось на землю, но через минуту опять раздался прерывистый горячий шепот, заглушенный смех и звуки поцелуев.

— По ночам не сплю, все о тебе, Марысь... о тебе, милая ты моя...

— Ты каждой то же самое говоришь! Ждала я тебя до полуночи, а ты у другой был...

Ясь словно оглох и дрожал, как осиновый лист. Ветер пролетел по саду, закачались деревья и зашептались тихонько, как сквозь сон, а с пасеки сильно пахло медом, даже дух захватывало. Ясь бросило в жар, что-то так сладко томило, что он потянулся и вздохнул, а на глаза набегали слезы.

— Я о ней столько же думаю, сколько об этих звездах... Она теперь Яся приворожила...

Ясь встрепепулся, прижался к плетню и слушал, дрожа все сильнее.

— Правда... каждую ночь к нему выходит... Козлова их в лесу застала...

Все закружилось вокруг Яся, в глазах потемнело, и он едва устоял на ногах. А там, в кустах, все слышались дразнящие звуки поцелуев, смех, шепот...

Ясь вихрем помчался прочь, цепляясь сутапой за кусты. Прибежал домой, красный, как рак, весь в поту. К счастью, никто не обратил на это внимания. Мать пряла у печки, тихо напевая «Все дела дневные паши», сестры вторили ей тоненькими голосами, подтягивал и Михал, чистивший костельные подсвечники, а отец уже спал.

Ясь заперся в своей комнате и засел за треск, хотя он упорно твердил латинские слова, в ушах у него еще звучал тот шепот, те поцелуи. В конце концов он уронил голову на молитвенник и поневоле отдался своим мыслям.

«Так вот оно что! — твердил он про себя с все возрастающим ужасом и сладостной дрожью. — Так вот оно что!»

Чтобы отвлечься от этих надоедливых мыслей, он взял треск под мышку и пошел к матери.

— Схожу, помолюсь над Агатой, — сказал он тихо и смиренно.

— Иди, иди, сынок, я попозже приду за тобой.

Она посмотрела на него ласково.

В избе у Клембов уже почти никого не было. Один Амброжий читал молитвы над умершей, тело которой накрыто было холстиной. Мерцала восковая свеча, вставленная в кружку, в открытые окна заглядывали осыпанные яблоками ветви и светлая звездная ночь, а иногда — удивленное лицо любопытного прохожего.

Ясь стал на колени у свечи и так углубился в молитву, что и не заметил, как ушел домой Амброжий. Клембы легли спать в саду, и он остался один в избе. Пропели уже первые петухи, а он все молился. Хорошо, что мать о нем не забыла и пришла за ним.

Однако и дома Ясь не спал эту ночь. Как только он начинал дремать, перед ним вставала Ягуся, и он срывался с постели, протирал глаза и в испуге осматривался вокруг. Но он был один, весь дом был погружен в глубокий сон, из соседней комнаты раздавался храп его отца.

— Так, может быть, она оттого... — Ясь задумался, вспоминая ее горячие поцелуи, ярко блеснувшие глаза, дрожащий голос. — А я-то думал!..

Его передернуло от стыда, он соскочил с постели, отворил окно и, сев на подоконник, до самого рассвета размышлял и каялся в невольном грехе.

На другое утро, во время службы в костеле, он не смел поднять глаз на людей, но тем горячее молился он за Ягусю. Совершенно уверенный теперь, что она тяжкая грешница, он, однако, думая о ней, не испытывал ни негодования, ни отвращения.

— Что с тобой? Ты так вздыхал за обедней, что чуть свечи не погасли! — спросил у него ксендз в ризнице.

— Очень жарко в сутане! — пожаловался Ясь, торопливо отвернувшись.

— Привыкнешь, так будешь носить ее, как вторую кожу.

Ясь поцеловал у него руку и пошел завтракать. По дороге зашел к Клембам. В избе было душно, и такой тревогой наполнило его желтое, застывшее в улыбке лицо умершей, что он, перекрестившись, тотчас вышел... и за порогом столкнулся лицом к лицу с Ягусей. Она шла с матерью и, увидев его, остановилась, но он прошел мимо, не сказав ни слова, даже не поздоровавшись, и только уже на улице невольно оглянулся. Ягуся стояла на том же месте и печально смотрела ему вслед.

Дома он не захотел завтракать, жалуясь на сильную головную боль.

— А ты пойдй прогуляйся. Может быть, голова перестанет болеть,— посоветовала мать.

— Куда же я пойду? Вы сейчас же бог знает что подумаете!

— Ясь, что ты болтаешь!

— Да ведь вы мне не даете шагу ступить, вы мне запрещаете даже разговаривать с людьми! Ведь вы...— он вымещал на матери свое раздражение. Кончилось тем, что она обвязала ему голову полотенцем, смоченным в уксусе, уложила спать в темной комнате и, прогнав всех детей во двор, стерегла его, как наседка цыплят, пока он хорошенько не выпался.

— А теперь ступай гулять. Иди под тополя, там тень и прохладно.

Ясь ничего не ответил, но, зная, что мать зорко следит за ним, назло ей пошел в другую сторону. Он шатался по деревне: постоял в кузнице, наблюдая, как кузнец работает молотом, зашел на мельницу, бродил по огородам, заглядывал туда, где убирали лен, да и повсюду, где только краснели юбки баб, посидел на меже с папом Яцеком, который пас коров Веронки, напился молока у Шимека и Настуси на Подлесье и вернулся в деревню только в сумерки, так нигде и не встретив Ягуси.

Он увидел ее на другой день, на похоронах Агаты. Все время, пока служили папихиду, она так смотрела на него, что буквы прыгали у него перед глазами и он путал слова молитвы. А когда провожали гроб на кладбище, Ягуся, несмотря на грозные взгляды органистихи, шла почти рядом с Ясем, и, слыша ее печальные вздохи, он таял, как снег на вешнем солнце.

Когда гроб опускали в могилу и бабы заголосили, Ясь услышал и ее горький плач, но понял, что не по Агате она так плачет, а от тяжелой муки наболевшего, обиженного сердца.

«Надо с пей поговорить»,— решил он, возвращаясь с кладбища. Но он нескоро освободился: с полудня начали съезжаться в Липцы люди из дальних деревень и даже из других приходов, все те, кто хотел идти в Ченстохов. Богомольцы должны были двинуться в путь на другое утро, сразу после торжественного молебна, и вот они понемпогу собирались, запрудили своими телегами берега озера. Многие приходили в плебанию, и Ясю пришлось сидеть там и улаживать вместо ксендза всякие дела. Уже под вечер, улучив минуту, он взял книжку и незаметно вышел

в поле, за овны, под ту грушу, где не раз сжижались они с Ягусей.

Конечно, в книгу он и не заглянул, бросил ее в траву и, осмотревшись, прыгнул в рожь. Крадучись, чуть не ползком пробрался он на огород Доминиковой.

Ягуся окучивала картошку. Не подозревая, что кто-то на нее смотрит, она часто выпрямлялась усталым движением и, опершись на лопату, печальными глазами смотрела куда-то вдаль, тяжело вздыхая.

— Ягуся! — робко окликнул ее Ясь.

Она побледнела, как полотно, застыла на месте, едва веря глазам. Ей вдруг стало печем дышать. Она смотрела на Яся, как на чудное видение, счастливая улыбка заиграла на ярко заалевших губах и, как солнце, озарила лицо.

У Яся тоже блеснули глаза, а сердце словно медом налилось. Он молчал и, присев на грядке, смотрел на Ягусю с удивительной нежностью.

— А я боялась, что никогда уже больше не увижу вас, пап Ясь.

Словно благоуханный ветер повеял с лугов и ударил в лицо Яся. Он даже голову опустил — таким несказанным счастьем отдавался в его душе этот голос.

— А вчера у хаты Клембов пап Ясь и не посмотрел на меня...

Она стояла перед ним, от волнения порозовев, как цветущий куст шиповника, нежная, как яблоневый цвет, помогающий от зноя, невыразимо прелестная.

— А у меня чуть сердце не разорвалось! Думала — с ума сойду!

Слезы алмазами засверкали у нее на ресницах.

— Ягуся! — вырвалось у него из глубины сердца.

Она стала на колени в борозде, устремив на него взор, сияющий, как небо, и, как небо, бездонный, опьяняющий, как поцелуй, как прикосновения любимых рук, полный соблазна и в то же время детски невинный.

Ясь задрожал и, словно защищаясь от ее чар, начал резко упрекать ее, перечисляя все ее грехи, о которых он слышал от матери. А Ягна, не отводя от него глаз, упивалась каждым звуком его голоса, каждым словом, но смысл этих слов не доходил до нее: она сознавала только одно — что сидит около нее тот, кто ей милее всех на свете, и что-то говорит, и глаза у него горят, а она стоит перед ним на коленях и молится на него с той безграничной верой, которую рождает только любовь.

— Скажи, Ягуся, что все это неправда! Скажи! — умолял Ясь

— Неправда! Неправда! — подтвердила она так искренно, что он сразу ей поверил, не мог не поверить. А она припала грудью к его коленям и, глядя в глубину его глаз, шепотом призналась в своей любви к нему. Как на исповеди, открыла перед ним душу, бросила ее к ногам любимого, как заблудившуюся птицу, вся отдавалась в его власть, на его милость и немилость.

Ясь затрепетал, как лист под бурей, хотел оттолкнуть Ягусю и бежать, но только шептал, как в бреду, замирающим голосом:

— Молчи, Ягусь, этого нельзя, грех это! Молчи!

Наконец она умолкла, обессиленная.

Не смея взглянуть друг другу в глаза, они сидели молча, так близко, что каждый слышал, как бьется сердце другого, ощущал его жаркое, тихое дыхание. И было им удивительно хорошо и радостно, по бледным лицам текли слезы; а красные губы смеялись.

Солнце зашло, землю золотой росой заливал свет зари, все притихло, словно заслушалось вечернего звона колоколов и возносило благодарственную молитву отошедшему благодатному дню.

Ягуся и Ясь шли полями, осыпанными пылью последних лучей солнца, шли по каким-то межам, густо поросшим цветами, шли среди созревших хлебов, погружая руки в колосья, шли, глядя на пламенеющий закат, в золотые просторы неба, с небом в душе и с небом в глазах.

Они не обменялись больше ни словом, и только порой скрещивались, как молнии, их взгляды, ослепшие от внутреннего жара, ничего не видящие.

Они не сознавали, где они, куда идут и зачем.

И вдруг обрушился на их головы резкий и решительный голос:

— Ясь, домой!

Ясь вмиг отрезвел. Они стояли на дороге под тополями, а перед ними — его мать с грозным и неумолимым видом. Он что-то бессвязно забормотал.

— Ступай домой!

Она взяла его за руку и сердито потащила за собой, а он шагал покорно, не думая сопротивляться,

Ягуся шла за ними, как замороженная. Вдруг органистича подняла с земли камень и со страшной злобой швырнула в нее.

— Пошла прочь! В конуру, сука! — крикнула она с презрением.

Ягуся оглянулась кругом, не понимая, к кому это относится, и, когда они скрылись из виду, долго еще бродила по дорогам.

Когда дома все уснуло, она вышла и до утра сидела на завалянке.

Часы шли за часами, пели петухи, ржали лошади у востов над озером. Потом рассвело, деревня просыпалась — шли по воду, выгоняли скот на пастбище, некоторые уже выезжали в поле работать, тараторили бабы, капризно плакали дети. А Ягуся все сидела на одном месте и с открытыми глазами грезилa о Ясе. Опять она разговаривала с ним, и они близко смотрели друг другу в глаза, опять шли куда-то вдвоем — и так все время одно и то же, одно и то же...

От этого дивного сна наяву разбудила ее мать, а главное — Ганка, которая пришла, уже одетая в дорожку, и несмело протянула ей руку в знак примирения.

— Я в Ченстохов иду, так уж прости меня, в чем я перед тобой согрешила.

— На добром слове спасибо, но обида обидой останется! — проворчала старуха.

— Что старое поминать! Прошу я вас от чистого сердца: простите меня!

— Я на тебя больше уже не гневаюсь, — вздохнула Доминикова.

— И я тоже нет, хоть немало я натерпелась! — сказала Ягуся серьезно и, услышав звон «сигнатурки», ушла в избу одеваться, чтобы идти в костел.

— А знаете, с нами идет и органистов Ясь, — помолчав, сказала Ганка.

Услышав эту новость, Ягуся выбежала на крыльцо поудетая.

— Мне сейчас только мать его говорила, что он непременно хочет идти в Ченстохов. Что ж, веселее нам будет идти с молодым ксендзом, да и почету больше. Ну, оставайтесь с богом!

Ганка дружески простилась с ними и пошла к костелу, по дороге рассказывая всем новость. Люди, конечно, удивлялись, и только Ягустинка покачала головой и сказала тихо:

— Тут что-то есть! Не по доброй воле он идет, нет! Но для толков и домыслов не оставалось времени, по-

тому что половина деревни собралась уже в костеле, пксендз начал служить молебен о благополучном странствии.

Ясь, как всегда, прислуживал ему. Лицо у него было бледное, измученное, а глаза, обведенные синими кругами, еще блестели от слез, и, как сквозь туман, видел он все вокруг: Терезку, которая в продолжение всей службы лежала распростертая перед алтарем, испуганные глаза Ягуси, свою мать, сидевшую на скамье помещика, причащавшихся богомольцев.

Все это смутно мелькало перед ним сквозь еле сдерживаемые слезы, заслоненное горем, терзавшим его сердце, глубокой, смертельной грустью.

Стоя в алтаре, пксендз простился с уходящими, а потом, уже на площади, благословил их. Подняли хоругвь, заблестел впереди крест, кто-то запел, — и богомольцы тронулись в далекий путь.

Из Липец шли: Ганка, Марыся Бальцерек, жена и дочь Клемба, криворотый Гжеля, Терезка с мужем (эти двое дали обет всю дорогу не есть горячей пищи) и несколько коморниц. А вместе с богомольцами из других деревень собралось человек сто.

Провожали их всей деревней, позади ехали телеги, нагруженные узлами. Несмотря на ранний час, было уже жарко, солнце слепило глаза, и пыль туманом стояла в воздухе, так что люди шли, словно в серых облаках, которые не давали дышать.

Шла и Ягуса с матерью и другими. Она за эти дни страшно осунулась. Дрожа от душевной боли, глотая горькие слезы, она смотрела на Яся, как на солнце, — издали, потому что мать и сестры не отходили от него ни на минуту, и не было возможности поговорить с ним или хотя бы подойти так близко, чтобы он увидел ее.

С ней заговаривали то Матеуш, то мать, то другие, по она не отвечала и думала только об одном: Ясь уходит от нее навсегда, она больше его не увидит никогда, никогда.

Под крестом у леса все распрощались с богомольцами, они с пением пошли дальше и скоро скрылись из виду, — только в солнечной дали над дорогой поднимались клубы пыли.

«Отчего? Отчего?» — стонала Ягуса, бредя за остальными в деревню.

«Сейчас упаду и умру!» — думала она, словно ощутив

уже приближение смерти, и шла все медленнее, обессиленная жарой, усталостью и страшной тоской.

«Что же мне теперь делать?» — спрашивала она себя, глядя кругом, на этот день, такой пустой и мучительно яркий.

Она с терпением ждала ночи и тишины, но и ночь не принесла ей облегчения. До самого рассвета бродила она вокруг дома, по улицам, дошла даже до креста у леса, туда, где в последний раз видела Яся, и застывшими от муки глазами искала чего-то на широкой песчаной дороге — следов его, хотя бы тепа, хотя бы клочка земли, на который ступила его нога.

Не было, не было нигде ничего, не было ей пощады и спасения!

Под конец уже и слезы иссякли, и опустошенные тяжелым отчаянием сухие глаза зияли, как бездонные колоды скорби.

И только иногда во время молитвы срывалась с запекшихся губ горькая жалоба:

— Да за что же это все, боже мой, за что?

.

XIII

В доме Пачесей стало уж совсем невыносимо. Ягуся бродила, как помешанная, ничего вокруг не замечая, Енджик работал спустя рукава и все больше времени проводил у Шимека, и хозяйство Доминиковой пришло в полный упадок. Частенько коровы уходили на пастбище невыдоенные, свиньи визжали от голода, лошади ржали у пустых яслей. Полуслепая старуха не могла одна управляться со всем — ведь она ходила еще с повязкой на глазах, опираясь на палку.

Голова у нее шла кругом от забот. Еще бы! В поле, оставленном под пшеницу, навоз высох, и некому было его запахать, лен так и просился уже из земли, картошку пора было второй раз прополоть и окучивать, дрова в доме все вышли, инвентарь портился, а между тем наступала пора жатвы и работы хватило бы на десять рук, а она шла через пень-колоду. Доминикова даже коморницу наняла и сама трудилась из последних сил, и детей заставляла работать, но Ягуся была глуха ко всем мольбам и увещаниям, а Енджик в ответ на ее угрозы дерзко огрызался.

— Вот брошу все и уйду куда глаза глядят! Выгнали вы Шимека, так работайте теперь сами! Он-то по вас не скучает — изба у него есть, и деньги есть, и корова, жена есть — хозяин что надо! — дразнил он мать, на всякий случай держась подальше.

— И в самом деле, разбойник этот дельно со всем управляется! — Домникова тяжело вздохнула.

— Еще как управляется-то! Настуся, и та ему дивится.

— Надо бы кого-нибудь принаять... или работника взять? — вслух размышляла старуха.

Епджик почесал ватылок и сказал робко:

— Да зачем же чужого человека брать, когда Шимек мог бы... стоит ему только слово сказать...

— Дурак! Не суйся, куда не просят! — прикрикнула на него старуха. Ее сильно угнетало сознание, что, как ни вертись, а придется уступить и помириться с Шимеком.

Но больше всего тревожила ее Ягуся. Напрасно пыталась она выведать у дочери, что с ней. Епджик тоже ничего не знал, а расспрашивать соседок она не решалась, боясь, что они ей наврут бог знает что. Целых три дня после ухода богомольцев в Ченстохов Домникова терялась в догадках. Только в субботу днем, доведенная до отчаяния, она взяла под мышку жирного селезня и отправилась к ксендзу.

Вернулась она уже под вечер заплаканная, мрачнее осенней ночи. То и дело вздыхала, ни с кем не говорила, а после ужина, оставшись наедине с Ягусей, открыла дверь и пачала:

— Знаешь, что говорят про тебя и Яся?

— Я не люблю сплетни слушать! — недовольно сказала Ягуся, поднимая лихорадочно блестящие глаза.

— Любишь или нет, а должна бы знать, что от людей ничего не укроется! Добрая слава лежит, а худая по свету бежит! О тебе бог знает что говорят!

И она подробно рассказала дочери все, что слышала от ксендза и жены органиста.

— В ту же ночь учинили над Ясем суд и расправу, органист его вздул, а ксендз от себя чубуком добавил, и, чтобы от тебя уберечь, отправили его в Ченстохов. Слышишь? Вот что ты наделала! — сердито кричала старуха.

— Силы небесные! Били его! Яся били! — Ягуся встала, готовая бежать к нему на помощь, но опомнилась и только простонала сквозь стиснутые зубы:

— Чтоб у них руки отсохли, чтобы их чума истребила!

Из ее покрасневших глаз струились горячие слезы, все раны сердца открылись, и оно обливало кровью.

Но Домникова, не обращая внимания на ее отчаяние, напоминала ей все ее грехи, ни одного не забыв, попрекала ее всем тем, что давным-давно терзало материнское сердце.

— Раз навсегда этому надо положить конец! Больше тебе так жить нельзя! — кричала она все запальчивее, хотя слезы текли из-под повязки на глазах. — Дождалась, что тебя считают хуже всех в деревне, пальцами в тебя тычут! Срам-то какой на мою старую голову, стыд какой, господи!

— И вы, говорят, смолоду были не лучше! — злобно огрызнулась Ягна.

Мать так рассвирепела, что с трудом могла выговорить:

— Хоть святой будь — в покое не оставят!

И больше она уже не смела терзать Ягну попреками.

Ягуся принялась гладить. Вечер был ветреный, за окнами шумели деревья, по небу между мелкими облачками плыла луна. Где-то пели девушки и пиликала скрипка.

За окнами на улице слышался голос проходившей мимо жены войта:

— Как уехал вчера в волость, так и пропал...

— Они с писарем еще вчера вечером в город поехали. Солтыс говорит, что их вызвал к себе уездный начальник, — отвечал голос Матеуша.

Когда они прошли, старуха заговорила снова, но уже мягче:

— А почему это ты прогнала Матеуша?

— Потому что он мне надоел и нечего ему тут торчать. Я мужа не ищу!

— А пора бы уже поискать, пора! Тогда и люди судачить про тебя перестанут. Хоть бы и Матеуш — чем не жених? Мужик толковый, славный.

Долго еще она хвалила Матеуша, но Ягуся ни словом не отзывалась на все ее речи, занятая работой и своими печальными думами, и мать наконец оставила ее в покое и стала перебирать четки. На улице стихли все звуки, только деревья спорили с ветром да тарахтела мельница. Была уже поздняя ночь, луна совсем потонула в облаках, и только края их кое-где загорались светлыми искрами.

— Ягусь, надо тебе завтра к исповеди пойти. Отпустят грехи, так легче станет.

— На что это мне? Не пойду!

— К исповеди пойти не хочется? — (Слышала? Давно пиковой даже голос охрип.)

— Нет. Ксепда на расправу скор, з доможь пиковую не торопится.

— Молчи, покарает тебя господь за такие грубые слова! А я тебе говорю: ступай к исповеди, покайся за богу молись — авось тогда еще моя перемена будет.

— А в чем я согрешила? В чем хантыла-то моя? Ахали я и так паказана? Это за любовь мою, за все что я какой я дождалась награды! Горшка моей любви я не вижу нет! — жалобно сказала Ягуся.

Не предчувствовала, бедная, что за нее обрывается нечто более страшное, неожиданное и несправедливое.

На другое утро, в воскресенье, по деревне как гром в ясном небе, прогремела весть, будто вот-вот известная им недостача денег в кассе.

Трудно было сразу этому поверить. И хотя еще за каждый час кто-нибудь сообщал все новые и новые подробности, люди еще не принимали этого близко к сердцу.

— Выдумают, пустомели, что-нибудь, — и жалуются на потехи, — говорили степенные мужики.

Однако пришлось поверить. Вести из деревни из уст кузнец и решительно все подтвердил и в пятницу Липкам сказал во всеуслышанье:

— Все правда! В кассе недостает пяти тысяч, а я не забурт все хозяйство, а если и уйдет на деньги, Липкам Липкам за него доплатить.

Все всполюшились ужасно. Липкам же, не имея ни копейки, едает, сварить нечего, многие уны в доме своем, чтобы как-нибудь дотянуть до нового урожая. А тут еще слышать за вора! Это уже превзошло все, что они могли и удивительно, что вся деревня заболела, и прокатились угрозы, брань градом сыпалась на Липкам.

— Чтобы тебе, подлецу, осквернить все хозяйство!

— Я с ним вместе не был, так и Липкам же был!

— И я не буду! Он был в кассе, а Липкам же был в кассе, мы за него теперь отдуваемся! — говорили другие, настроенные до слез.

— Давно я за ним следил и предостерегал, а вы не идете. Не слушали, вот теперь раскатысь! — говорил старый Плошка, а ждал, что поможет, раскатысь всем, кто только хотел слушать.

— Знаете, мой Антек уже подсчитал, что я могу еще

та придется платить по три рубля с морга! Ну, да за такого дружка не жаль и по десять заплатить!

И так это всех пришибло, что к обедне пошло совсем мало народу, остальные, собираясь во дворах, перед избами, а больше всего у озера, обсуждали новость, тужили и тщетно ломали головы над вопросом, куда войт девал такую уйму денег.

— Должно быть, обобрали его, не мог он один столько растратить!

— Он писарю доверял, а тот известно, что за птица.

— Жалко человека, нам он насолил, а уж себя и совсем загубил! — говорили иные степенные мужики, а толстая Плошкова с притворным соболезнованием утирала сухие глаза и вздыхала:

— А мне так жаль его жену! Бедная, первой в деревне была, нос задирала, а теперь что? Избу отберут, землю продадут и придется ей, несчастной, в чужом углу жить да на работу наниматься. И хоть бы попользовалась она этими деньгами!

— Вот еще! Мало она как сыр в масле каталась? — закричала Козлова. — Жили, сволочи, как помещики, каждый день мясо ели! Она полкружки сахару себе в кофе клала и чистую рисовую стаканами пила! Видела я, как Петр каждый раз привозил из города полную бричку всякой всячины. А с чего у них животы раздуют? Не от поства же!

К ее словам внимательно прислушивались, но под конец она уже стала плести всякий вздор. Это слова жены органиста на всех произвели большое впечатление. Она как будто случайно очутилась на улице и, послушав разговоры, сказала с притворным равнодушием:

— Ну вот, неужто не знаете, на что войт столько денег издержал?

Ее тотчас обступили и стали приставать, чтобы она сказала, что знает.

— Ясное дело: на Ягусю растратил все!

Этого никто не ожидал, и люди в недоумении переглядывались.

— Об этом уже с весны весь приход толкует! Я говорить не хочу, а вот спросите у кого-нибудь из Модлиц, когда узнаете правду.

И она хотела уйти, как будто боясь проговориться. Но бабы ее не пустили, приперли к плетню и так упрашивали, что она стала по секрету рассказывать им, какие войт при-

позил Ягусе кольца из чистого золота, шелковые платки, и тончайшее полотно, и кораллы, и сколько денег ей давал! Все это, конечно, было чистейшее вранье, но органистихе свято поверили, и только одна Ягустипка сердито сказала:

— Врунам раздолье — бреши, сколько хочешь! А вы это видели, пани?

— Видела и могу в костеле присягнуть, что он для нее крал, а может, она же его и подговорила! Она на все способна, для нее нет ничего святого, ни стыда у нее, ни совести! Бегаёт по деревне и сеет только соблазн да горе! Даже Яся моего соблазнить хотела! Мальчик невинный, как ребенок, он от нее убежал и все мне рассказал. Ведь это ужас: что такое — даже ксендза в покое не оставляет! — быстро говорила органистиха, задыхаясь от злости.

И, словно искра упала в порох, разом вспыхнули вдруг все давние обиды на Ягусю, зависть, злоба, непамять к пей. Стали выкладывать все, что у кого было в памяти, и поднялся невообразимый галдеж. Бабы оралы, перебивая друг друга и все больше ожесточаясь:

— И как только такую земля носит!

— А из-за кого Мацей помер? Вспомните-ка!

— Всю деревню бог покарает за нее, окаянную!

— И ксендза даже в грех хотела ввести! Господи помилуй!

— А сколько было из-за нее ссор, драк да сраму!

— Она позорит всю деревню! Из-за нее на Липцы уже пальцами указывают!

— Пока такая живет в деревне, постоянно будет распутство да грех: пынче войт украл для нее, завтра другой сделает то же самое!

— Кольями ее убить и собакам падаль бросить!

— Выгнать эту чуму из деревни на все четыре стороны!

— Выгнать! Одно спасение — выгнать! — вопили разъяренные бабы и вслед за органистической толпой повалили к жепе войта.

Она вышла к ним с опухшим от слез лицом, такая несчастная, убитая горем, что бабы стали ее обнимать, плакать вместе с нею и жалеть ее от всего сердца.

Только через некоторое время органистиха напомнила ей о Ягусе.

— Истинная правда! Это она во всем виновата! — заголосила жена войта. — Она, эта потаскуха, эта чертовка!

Чтоб ты околела под забором, чтобы тебя черви съели за мое несчастье, за мой позор! — Она упала на скамью, обливаясь слезами.

Бабы наплакались, на нее глядя, и разошлись по домам, так как солнце уже клонилось к закату. Осталась только жепя органиста. Запершись вдвоем в избе, они долго совещались и, видно, приняли какое-то серьезное решение, потому что еще до наступления сумерек побежали по избам и начали тайную работу.

К ним примкнули Плошки, подбили еще кое-кого и пошли все к ксендау. Он выслушал их, но только руками развел и сказал:

— Я ни во что не вмешиваюсь! Делайте, что хотите, а я ничего не знаю и завтра рано утром на целый день уеду в Жарнов!

Вечером в деревне было очень беспокойно: совещались, спорили, шушукались. Когда совсем стемнело, собрались в корчме и опять начали судить да рядить, а органист угощал всех водкой. Здесь были самые видные хозяева и почти все замужние женщины. Совещание было в разгаре, когда Плошкова вдруг закричала:

— А где же Антек Боруна? Вся деревня тут, а он первый хозяин в Липцах, без него нельзя решать.

— Верно! Послать за ним! Обязан прийти! Без него нельзя! — заорали и другие.

— Может, он станет ее защищать, кто его знает, — шепнула одна из баб.

— Не посмеет против всей деревни идти. Коли все, так все!

Прибежавшему за Антеком солтысу пришлось стащить его с кровати, потому что он уже спал.

— Ты должен пойти и сказать, как думаешь. Не пойдешь, так будут кричать, что ты ее выгораживаешь и против всех идешь! Бабы не простят тебе старых грехов. Пойдем, с этим надо раз навсегда кончить.

И Антек крепя сердце пошел, потому что нельзя было не идти.

В корчме яблоку негде было упасть. Органист стоял на скамье и под тихий ропот толпы говорил, словно проповедь читал:

— И другого средства нет! Деревня — что изба: вытащит один вор из-под нее бревно, другому захочется балку взять, а третьему — выпутать кусок стены, а в конце концов изба развалится и всех задавит. Запомните это хорошень-

ко. Если каждому дозволим красть, ломать, вредить людям, распутничать, — так что же с деревней-то будет? Не деревня уж это тогда будет, а хлев дьявольский, стыд и позор для честных людей! Все ее будут издалека обходить и креститься при одном упоминании о пей. Говорю вам: рано или поздно на такую деревню падет божья кара, как пала на Содом и Гоморру! И все погибнут, потому что все одинаково виноваты — и те, кто творит зло, и те, кто допускает, чтобы зло разрасталось. Святое писание учит нас: если согрешит рука твоя, отсеки ее, если соблазняет тебя око твое — вырви его и брось собакам! Ягуся хуже чумы, потому что сеет соблазн, грешит против всех заповедей и павлекает на деревню гнев божий! Выгоните ее, пока не поздно! Мера грехов ее уже переполнилась, и пришло время покарать ее! — ревел органист, как бык, и глаза его так и прыгали на багровом лице.

— Да, да! Пора! Народ волен карать и награждать! Выгнать ее из деревни! Выгнать! — все громче вопили остальные.

Говорил еще брат войта, Гжеля, говорил старый Плошка, выкрикивал что-то Гульбас, но их почти не слушали, потому что все кричали разом. Жена органиста без устали рассказывала, как было дело с Ясем, войтиха тоже всем уши прожужжала, изливая свое горе, и шум стоял, как на ярмарке.

Только Антек молчал. Мрачнее тучи стоял он у прилавка, стиснув зубы, бледный от муки. Бывали минуты, когда ему хотелось схватить скамью и колотить ею по всем этим орущим ртам, топтать всех ногами, как мерзких червей. И так ему все опротивело, что он пил рюмку за рюмкой, то и дело сплевывал и тихо ругался.

К нему подошел Плошка и громко, на всю корчму, спросил:

— Все уже согласились, что Ягусю надо выгнать из деревни. Скажи и ты свое слово, Антоний.

В корчме внезапно наступила тишина. Все глаза были устремлены на лицо Антека, люди были почти уверены, что он будет протестовать, но Антек перевел дух, выпрямился и сказал громко:

— Я в деревне живу, значит, с деревней должен заодно быть. Хотите ее выгнать — выгоняйте. А хотите на алтарь поставить — ставьте! Мне все равно.

Он отстранил рукой стоявших у него на дороге и, ни на кого не глядя, вышел.

После его ухода в корчме совещались еще долго, до самого рассвета, и утром уже все знали, что решено выгнать Ягусю из деревни.

За нее мало кто заступался, потому что таким не давали слова сказать. Один только Матеуш, ничего не боясь, ругал всех в глаза, проклинал всю деревню и, наконец, взбешенный до крайности, побежал за помощью к Антеку.

— Знаешь насчет Ягуси? — Матеуш был бледен, как мертвец, и весь дрожал.

— Знаю. Они имеют право... — коротко ответил Антек, умываясь у колодца.

— Чума их возьми с их правом! Это органиста работа! Неужели мы допустим такую несправедливость? В чем она шиновата? То, в чем ее винят, — ложь, чистейшая ложь! Господи, выгнать человека, как бешеную собаку! Нельзя этого допустить!

— Что же, пойдешь один против всей деревни?

— Ты так говоришь, словно ты с ними заодно! — с гневным укором пробормотал Матеуш.

— Я ни с кем не заодно, а до нее мне никакого дела нет.

— Помоги, Антек, придумай что-нибудь. Господи, у меня в голове мутится! Ты подумай: что она будет делать, куда денется? Эх, сукины сыны, разбойники, волки проклятые! Схвачу топор и буду рубить направо и налево, а этого не допущу, не допущу!

— Ничем я тебе помочь не могу! Решили все, так что один человек сделает? Ничего.

— Ты на нее зол! — неожиданно крикнул Матеуш.

— Зол или нет, никому до этого нет дела, — сурово ответил Антек.

Прислонясь к колодцу, он смотрел куда-то в пространство. Мучительно переплелись в нем притаившиеся, но всегда живые любовь и ревность, и душа металась и столбалась, как дерево в бурю.

Он обернулся. Матеуша уже не было, а деревня показалась ему вдруг чужой, ужасно шумной и стала ему противна.

Этот памятный день был какой-то необычайный. Бледное солнце медленно ползло по загромазденному грязными тучами, низко нависшему небу, было душно и жарко, каждую минуту налетал ветер и взметал на улицах пыль, падалась гроза, где-то над лесом уже как будто сверкали молнии.

И среди людей уже с утра поднялась буря. Все поскрипало по деревне, как шальные, во всех избах вслихивали ссоры, у озера подрались какие-то бабы, непрерывно лаяли собаки, и почти никто не ушел в поле работать. Не выгнанные на пастбище коровы мычали в хлевах. Даже обедни сегодня ксендз не служил и уехал куда-то чуть свет. Суматоха все усиливалась, беспокойство росло с минуты на минуту.

Аптек, видя, что перед домом органиста собирается толпа, вскинул косу на плечо и поспешно ушел на дальнее поле.

Ветер мешал работать, путая колосья и швыряя песок в глаза, но он косил упорно, вслушиваясь в отдаленный говор.

«Может быть, уже... — мелькнула вдруг мысль, и сердце молотом застучало в груди, гнев распрямил спину. Он хотел бросить косу и бежать на помощь, но вовремя опомнился: — Кто виноват, должен быть наказан... Пусть терпит, пусть...»

Рожь шурша клонилась к его ногам, хлестала его, как волны, ветер трепал волосы и сушил лицо, потное от мучительного волнения, глаза почти ничего не видели. В эти минуты он весь был там, подле Ягусп, и только твердые, привычные руки сами управлялись с косой, кладя ряд за рядом.

Ветер донес от деревни чей-то долгий, протяжный крик.

Аптек выронил косу и сел под стеной ржи. Он, казалось, врос в землю, вцепился в нее изо всех сил, словно железными когтями, — и выдержал, не поддавшись, хотя взгляды его, как обезумевшие птицы, летели туда, к деревне, хотя сердце ныло в тревоге, хотя весь он дрожал от ужаса.

«Все должно идти своим чередом... Надо пахать, чтобы сеять, надо сеять, чтобы жать, а все, что мешает, вырывать, как вредную, сорную траву», — говорил в нем какой-то строгий, извечный голос, — может быть, голос самой земли. Он еще бунтовал, но слушал все покорнее.

«Да, каждый имеет право ограждать себя от волков!»

Еще мучили его последние остатки жалости, и мысли, как лютый секущий вихрь, поднимали его с места. Почти бессознательно он вскочил, поточил косу, перекрестился и принялся за работу. Валил колосья ряд за рядом, коса так и свистела в воздухе и стонала под нею рожь.

А в деревне между тем настал страшный час суда и

кары. Никакими словами не опишешь, что там творилось! Какое-то безумие охватило Липцы. Все рассудительные люди заперлись у себя в избах или убежали в поле, а остальные, собравшись у озера, орали все яростнее, словно охмелев от злобы, подзадоривая друг друга выкриками.

И через минуту вся деревня, как шумная река в половодье, хлынула к избе Доминиковой. Впереди шли оргапистиха и жена войта, а за ними с ревом валило все расвирепевшее стадо.

Бурей ворвались в избу, так что задрожали стены. Доминикова загородила им дорогу, но ее сшибли с ног и затоптали, Енджик бросился к ней на помощь, но с ним в одно мгновение сделали то же самое. Наконец Матеуш, вооружившись колом, пытался не допустить их к спаленке за перегородкой, грудью защищал дверь, но через несколько минут и он уже лежал у стены с разбитой головой, без сознания.

Ягуся была заперта в спальне. Когда вышибли дверь, она стояла, прижавшись к стене, и не защищалась, не издала ни одного звука. Она была бледнее мела, в широко открытых глазах горел мрачный огонь предсмертного ужаса.

Сто рук протянулось за ней, сто рук жадными когтями вцепились в нее со всех сторон, сорвали с места, как вырывают кустик из земли, и потащили на улицу.

— Связать ее, а то еще вырвется и убежит! — распорядилась жена войта.

На улице уже стояла наготове телега, до самого верху наполненная свиным пометом и запряженная двумя черными коровами. Ягусю связали, как барана, бросили на павоз и среди адского шума тронулись в путь. Оскорбительные прозвища, насмешки и проклятия сыпались на нее.

Перед костелом шествие остановилось.

— Надо ее раздеть догола и на паперти высечь розгами! — крикнула Козлова.

— Таких всегда секли перед костелом до крови! Берите ее! — визжали другие.

К счастью, ворота были заперты, а у калитки стоял Амброжий с ружьем ксендза в руках и, как только толпа остановилась, гаркнул во весь голос:

— Кто посмеет ступить на костельную площадь, застрелю, как бог свят! Убью, как собаку! — он держал ружье наготове, и взгляд его был так страшен, что толпа отступила и двинулась дальше, на дорогу под тополями.



Они спешили, так как гроза подвигалась и могла разразиться каждую минуту. Небо хмурилось все больше, ветер клонил тополя чуть не до земли, из-под ног летела пыль, засыпала глаза, и вдали уже слышались раскаты грома.

— Погоняй, Петрик, погоняй живее! — торопили все, с беспокойством глядя на небо. Толпа как-то притихла, рассыпалась в беспорядке по обочинам дороги, потому что посредине песок был очень глубок, и только время от времени какая-нибудь баба из самых бешеных подскакивала к телеге и орала:

— Ты, свинья! Потаскуха! К солдатам ступай, негодница!

— Погуляла всласть, так нажрись теперь стыда, отдай горя! — издевались они над ней.

Работник Борын, Петрик, который взялся ее везти, так как никто другой не хотел, шел рядом с телегой, подхлестывая коров, и, улучив минутку, участливо шептал Ягусе:

— Уже недолго! Потерпи! Такая обида им даром не пройдет.

А Ягуса, связанная, в изорванной одежде, избитая до крови, опозоренная навеки, бесчеловечно униженная и невыразимо несчастная, лежала в павозе и словно не слышала, не сознавала, что делается вокруг, и только горячие слезы непрерывным потоком лились по ее обезображенному синяками лицу, да по временам в немом крике поднималась грудь.

— Скорее, Петрик, скорее! — все чаще раздавались возгласы в толпе. Люди как будто опомнились и хотели скорее все кончить. До межевой насыпи у самого леса они уже не шли, а бежали.

Подняли доски телеги и вместе с навозом, как мерзкую падаль, швырнули Ягусю на землю. Да так, что земля под ней загудела. Она упала ничком и даже не шевельнулась.

Войтиха подбежала к ней и, пнув ногой, заверещала:

— Вернешься в деревню, так собаками тебя затравим!

Она подобрала не то комок земли, не то камень и изо всей силы швырнула в Ягусю:

— Вот тебе за моих детей!

— За позор всей деревни! — ударила ее другая.

— Пропади ты пропадом!

— Чтоб тебя земля не приняла!

— Чтоб ты подохла с голоду и жажды!

Били ее словами, летели в нее камнями, комья земли,

горсти песку, а она лежала неподвижно и смотрела на колыхавшиеся над ней деревья.

Внезапно стемнело, и полил крупный и частый дождь.

Петрик с телегой что-то замешкался около Ягуси, и, уже не дожидаясь его, люди кучками двинулись назад в деревню, как-то странно притихшие. На полдороге встретили Доминикову — она шла, вся в крови, в изорванной одежде, плача и с трудом нащупывая палкой дорогу, а когда поняла, что за люди идут мимо нее, закричала страшным голосом:

— Чтоб вас чума задушила! Чтоб вам от воды и огня не было спасения!

Люди только головы втягивали в плечи и в ужасе спешили мимо.

А она большими шагами побежала на помощь Ягусе.

.

Гроза разбушевалась не на шутку, небо стало спзым, огромными клубами кружилась в воздухе пыль, тополя со стопами гнулись до земли, ветер с наступленным воем налетел на хлеба, заметавшиеся во все стороны, и, как стадо взбесившихся быков, ворвался в лес, и лес закачался и грозно зашумел.

Удары грома следовали один за другим, от его раскатов дрожала земля, тряслись пзбы. Клубились медно-синие тучи, низко свесившись над землей своими вздутыми брюхами, и то и дело какая-нибудь разверзалась, гремел гром, и лился поток ослепительного света.

Порой сыпался редкий град, стуча по листьям и веткам.

А в синей мгле, среди пыли и града, отчаянно метались деревья, кусты, колосья. Казалось, они порывались бежать, по вихри хлестали их со всех сторон, и, ослепшие от молний, обезумевшие от грохота, они только качались с диким посвистом. А где-то высоко, сквозь тучи, мрак и ветер, пролетали голубые дрожащие молнии, как огненные змеи, неслись неведомо откуда и неведомо куда, вспыхивали и исчезали, ослепляющие, но и сами слепые и пемые, как судьба человека.

Так продолжалось с перерывами до позднего вечера, и гроза утихла только когда пришла ночь, мирная, прохладная и темная.

.
А на другой день погода стояла чудная, безоблачное небо синело ярко, как умытое, земля искрилась росой,

пение птиц звучало как-то особенно весело, и все живое с наслаждением вдыхало свежий ароматный воздух.

В Липцах все вошло в привычную колею, и, как только встало солнце, мужики все, как один, стали выходить в поле жать. Из всех хат шли в поле семьями, везде сверкали косы и серпы, с каждого двора выезжали телеги на межи и полевые дороги.

И, когда зазвенел маленький колокол в костеле, каждый уже стоял на своей полосе и, услышав звон — а на ближних пашнях и звуки органа, — читал молитву и потом, перекрестясь, крепко упирался ногами в землю, стибался и начинал работать. Глубокая торжественная тишина стояла на пашнях, словно здесь шла литургия тяжелого, неустанного и плодотворного труда.

Солнце поднималось все выше, поля купались в его огневом блеске, и день жатвы звенел, как золото, тяжелым спелым зерном, и время текло, как течет в закрома золотая пшеница.

Деревня стояла пустая, словно вымерла, избы были заперты, и все, кто только мог двигаться, даже дети, старики и больные, ушли в поле.

Собаки и те рвались с привязей и убегали с опустелых дворов вслед за хозяевами.

И на всех полях, куда ни глянь, в страшном зное, среди золотистых хлебов, от зари до позднего вечера сверкали серпы и косы, белели рубахи, алели юбки, неутомимо копошились люди и шла напряженная работа. Никто уж не ленился, не кивал на соседа и ни о чем другом не думал, — гнул пах полосою своею и трудился в поте лица.

Только поля Доминиковой лежали заброшенные, словно забытые. Зерно уже сыпалось из колосьев, но никто не показывался здесь, и соседи, проходя, с боязливым сожалением отводили глаза, многие вздыхали, смущенно чесали затылки, тревожно косясь на других, еще ретивее принимались за работу — некогда было предаваться раздумью.

И бежали страдные дни, как колеса с золотыми спицами, сверкая в солнечных лучах, и проходили один за другим, все такие же жаркие и полные тяжелого и радостного труда.

Через несколько дней, так как погода стояла на редкость сухая, принялись вязать толстые снопы. Их складывали в копны и постепенно свозили в деревню.

Непрерывно двигались тяжелые, доверху нагруженные возы, ехали со всех полей, по всем дорогам к настежь рас-

крытым овинам. Словно волны сыпучего золота разлились по дорогам, дворам и гумнам и даже на берегах озера, а с деревьев у дороги висела золотая солома, и везде пахло травами и молодым зерном.

Уже кое-где на токах стучали цепи — там спешно молотили рожь. А на широких опустевших полях, на золотистой стерне целые стада гусей жадно охотились за неподобранными колосьями, паслись овцы и коровы, тут и там дымили первые костры, и по целым дням звенели песни девушек, слышался веселый говор, громыхание телег, везде улыбались загорелые счастливые лица.

Не успели скосить рожь, а уже на высоких местах овес просился под косу, ячмень дозревал прямо на глазах, и все гуще золотилась пшеница — и людям некогда было передохнуть, даже поесть как следует.

Но, несмотря на такой тяжелый труд, на то, что многие от усталости засыпали по вечерам, как убитые, пад мисками, — когда все возвращались с поля, Липцы так и гудели от веселого шума, говора, смеха, песен и музыки.

Ведь кончилось трудное время перед новым урожаем. Теперь амбары были полны, хлеба много, и каждый мужик, даже самый бедный, ходил с гордо поднятой головой, уверенный в завтрашнем дне, и мечтал о долгожданных радостях.

В один из таких золотых дней жатвы, когда уже свозили с поля ячмень, проходил деревней слепой нищий с собакой-поводырем. Как ни жарко было, он никуда не зашел, потому что очень спешил на Подлесье. Тяжело ему было тащиться на костылях, он брел медленно и, часто останавливаясь подле жнецов, здоровался, угощал их табакон и, как будто невзначай, навел разговор на Ягусю и липецкие события.

Однако разузнал он немного — все отвечали неохотно и спешили от него отделаться.

На Подлесье, где он присел под крестом отдохнуть, окликнул его Матеуш, тесавший неподалеку бревна для будущей мельницы кузнеца.

— Укажите мне дорогу к Шимеку Пачесю, — попросил дед, вставая и подбирая костыли.

— Не отдохнешь ты у них — там теперь только плач да горе! — сказал Матеуш, понижая голос.

— Ягуся все еще хворает? Говорили мне, будто она не в своем уме...

— Неправда! Но она все лежит без памяти. Камень, и тот бы над ней сжалился. Ох, люди, люди!

— Так загубить душу христианскую? А старуха, слышно, жалобу подает на всю деревню?

— Ничего она не добьется! Всем миром постановили... они право имеют...

— Страшное это дело — гнев всего народа! Ох, страшное! — старик даже вздрогнул.

— Верно. Да только глуп этот народ, и зол, и несправедлив! — с жаром воскликнул Матеуш.

Проводив старика до хаты Шимека, он зашел внутрь, но тотчас вышел, украдкой утирая слезы. Настуся пряталась на завалинке. Нищий подсел к ней и достал из кармана спину бугылочку.

— Вот этой водой надо обрызгивать Ягусю три раза в день и темя ей смачивать — и через неделю все как рукой снимет. Мне эту воду дали монашки в Пширове.

— Спасибо вам! Вот уж две недели прошло, а она все лежит без памяти, иной раз только рвется с постели, словно куда-то бежать хочет, и все плачет да Яся зовет.

— А как Доминикова?

— Тоже на мертвеца похожа. Все возле Ягуси сидит. Она долго не протянет.

— Господи Иисусе, как пропадают люди!.. А где же это Шимек?

— В Липцах живет. Ведь теперь все их хозяйство па его плечах, — мне-то за ними здесь ходить приходится.

Она супула нищему в руку целый пятак, но он не хотел брать.

— Я не за деньги, я из любви к ней принес. И еще помолюсь за нее, может, бог все переменит к лучшему. Жалела она бедных людей, хорошая была, мало таких на свете.

— Правда, правда, у нее доброе сердце! Может, оттого она и горя столько припала! — прошептала Настуся, печально глядя вдаль.

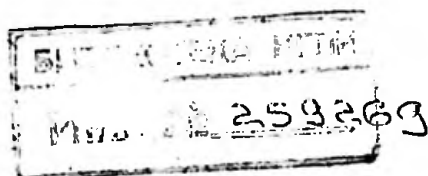
В Липцах звалили к вечерне, по временам доносился стук колес, лязг патачиваемых кос и далекая-далекая песня. Золотистая дымка заката уже окутывала деревню, поля и леса.

Дед встал, отогнал собак, поправил котомку па спине и, опершись на костыли, сказал:

— Ну, оставайтесь с богом, дорогие!

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Весна	5
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Лето	289



Реймонт В.

Р 35 Мужики: Роман в 2-х т.— М.: Худож. лит.,
1981. Т. 2. Пер. с пол. М. Абкиной. 1981.— 519 с.

Р $\frac{70304-102}{028(01)-81}$ 111-81 4703000000

И(Пол)

ВЛАДИСЛАВ РЕЙМОНТ

м у ж и к и

том 2

Редактор

Ю. Ж и в о в а

Художественный редактор

Е. Е в е н к о

Технический редактор

Л. С и н и ц ы н а

Корректоры

Л. Л о б а н о в а

Е. П а в л о в а

ИБ №2072

Сдано в набор 02.06.80. Подписано в печать 21.01.81. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 27,3 усл. печ. л. 29,754 уч.-пзд. л. 27,3 усл. кр. отт. Тираж 100 000 экз. Зак. 1—1258. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28. Отпечатано на Голодном предприятии республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, г. Киев, Довженко, 3.